



Шолом
ДЛЕЙЖЕМ

Шолом
ДЛЕЙЖЕМ





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА
1973

ШОЛОМ- АЛЕЙХЕМ



**собрание
сочинений
в шести
томах**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
М. БАЖАН, М. БЕЛЕНЬКИЙ, Б. ПОЛЕВОЙ,
И. РАБИН, Г. РЕМНИК, Р. РУБИНА

**ШОЛОМ-
АЛЕЙХЕМ**



**собрание
сочинений
ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ**

Перевод с еврейского

С (Евр) 1
Ш 78

Иллюстрации художника

М. Х. Горшмана

Оформление художников

Ю. Владимирова

Ф. Терлецкого

7-3-3

Подп. изд.

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ

Повесть в письмах



КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Менахем Мендл — не герой романа и вообще личность не выдуманная. Это человек обыденный, заурядный, с которым автор лично и близко знаком. Он вместе с ним прошел лет двадцать жизненного пути. Встретившись в 1892 году на одесской «малой бирже», мы потом рука об руку проделали все семь кругов ада на бирже в Егупце *, «шли» с ним вместе в Петербург и Варшаву, пережили множество кризисов, кидались от одной профессии к другой, но — увы! — нигде счастья не нашли и вынуждены были в конце концов, по примеру многих, эмигрировать в Америку. Там, говорят, евреям неплохо... Об этом можно будет судить по дальнейшим его письмам из Америки.

А пока суд да дело, я собрал все письма, которые он на протяжении восемнадцати лет писал своей жене Шейне-Шейндл в разное время и печатал в разных местах, так же как и письма его жены к нему, и составил из них книгу, чуть ли не письмовник.

Да и в самом деле письмовник. В нем шесть разделов; при этом я имел в виду следующее: если купец пожелает написать письмо своей жене, скажем, из Одессы, — пусть ищет образец в первой книге — «Лондон». Биржевой спекулянт, торгующий всякого рода акциями и тому подобным товаром, найдет образчик письма во второй книге — «Бумажки» или же в третьей — «Миллионы». Маклер, сват или агент пусть ищут дальше. Словом, каждый найдет здесь свое.

А так как еврейские дела, по милости божьей, повсюду одинаковы, то есть начинаются они как будто бы

совсем неплохо и сулят золотые горы, а кончаются в большинстве случаев крахом, как у моего Менахем-Мендла, то над составлением письма нет нужды особенно трудиться. Его можно взять прямо из книги таким, как оно есть. А если найдется один из тысячи, у которого дела идут хорошо, то он может быть уверен, что это ненадолго. Все, что висит в воздухе и держится на ветру, должно в конце концов рухнуть! Это, конечно, не особенно приятно, но зато правда, а ведь правду все люди любят...

Готовя второе издание писем, я многие из них сильно сократил, а многие и вовсе выбросил. Потеряли при этом только наборщики, больше никто. Автор этой книги считает, что произведение, чем оно короче, тем лучше. Кто находит, что книга и сейчас длинновата, может быть уверен, что при дальнейших изданиях она с каждым разом будет становиться все короче и короче, пока не приблизится к идеалу: «С молчанием этого не сравнить...»

Шолом-Алейхем

Нерви (Италия), канун праздника хануки.*

1909

«ЛОНДОН»

ОДЕССКАЯ БИРЖА

I

*Менахем Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку **

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг от друга только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я просто не в состоянии описать тебе город Одессу, его величие и красоту, его жителей с их чудесными характерами, а также блестящие дела, которые здесь можно делать.

Представь себе, стоит мне выйти с тросточкой на Греческую (так в Одессе называется улица, где заключаются всякие сделки) — и у меня двадцать тысяч дел! Хочу пшеницу — пожалуйста! Отруби? — Отруби! Шерсть? — Шерсть! Мука, соль, перья, изюм, мешки, седетки, — в общем, все, что ни назови, можно найти в этой Одессе! Я поначалу наметил было два-три дельца, но они мне пришлись не по душе. И я шатался по Греческой до тех пор, пока не наткнулся на настоящее дело. А именно? Я торгую «Лондоном»* и зарабатываю на этом совсем неплохо! Иной раз четвертной перепадет, иной раз полсотни, а при удаче — так и вся сотня. Словом, «Лондон» — это такое дело, которое может человека осчастливить в один день. Вот недавно приехал сюда

какой-то синагогальной служка, хапнул одним махом тридцать тысяч, и теперь ему сам черт не брат! Говорю тебе, жена моя дорогая, золото здесь на улицах валяется! Я, упаси бог, не раскаиваюсь, что съездил в Одессу. Но ты, пожалуй, спросишь, как я попал в Одессу, — ведь я совсем ехал в Кишинев? Суждено мне, видать, свыше нажить добрых несколько рублей! Вот послушай, как господь бог направляет человека.

Когда я приехал в Кишинев к дяде Менаше за приданым, он меня спрашивает: зачем оно мне нужно?

— Стало быть, нужно! Не надо было бы, я бы не приезжал.

Тогда он мне говорит, что наличных у него сейчас нет, он может дать распоряжение к Бродскому* в Егупец.

— Пускай будет Егупец! Лишь бы деньги!

А он говорит, что не знает, есть ли сейчас в Егупце деньги. Он может дать мне письмо к Бахраху в Варшаву.

— Пускай будет Варшава, — отвечаю, — лишь бы деньги!

Тогда он говорит:

— Зачем тебе Варшава? Варшава далеко. Если я хочу, он даст мне бумагу к Барабашу в Одессу.

— Пускай будет Одесса! — говорю я. — Лишь бы деньги!

— На что тебе так понадобились деньги? — спрашивает он опять.

— Стало быть, нужны! — повторил я. — Не надо было бы, я бы не приехал.

Короче говоря, изворачивался он, как мог, но могло это ему, как мертвому банки: раз я сказал: «Деньги!» — значит, деньги!

Тогда он достал два векселя по пятьсот рублей сроком всего на пять месяцев, на триста рублей дал письмо к Барабашу в Одессу, а остальные наличными: это, говорит он, будет мне на расходы.

Так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Будь здорова, кланяйся от меня тестю, и теще, и деткам, чтоб здоровы были, и каждому в отдельности.

Твой супруг Менахем-Мендл.

Главное забыл! Когда я пришел с денежным письмом к Барабашу, мне говорят, что никакое это не письмо! А что же это? На вербе груши! Пускай, говорят они,

раньше прибудет от вашего дяди Менаше вагон пшеницы, и пускай эта пшеница будет продана, вот тогда вам дадут деньги. Интересная история! Я тут же написал дяде Менаше в Кишинев открытку, что, если он не вышлет немедленно пшеницу, я ему телеграфирую! Словом, пиши туда, пиши сюда — ходил я по Одессе сам не свой. И только вчера прибыли из Кишинева сто рублей наличными и на двести рублей вексель. Теперь ты понимаешь, почему я тебе все это время не писал? Я считал, что эти триста рублей пропали! Отсюда следует, что человек никогда не должен отчаиваться. Есть на свете бог, он правду видит. Все наличные я всадил в «Лондон», купил комплект «госов» и «бесов»*, и — благодарение богу, — говорят, что есть уже прибыли!

Тот же.

II

Шейн-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу* Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что меня снова мучает давнишняя спазма, такую бы самую твоему дяде Менаше, который так ловко зажил эти полторы тысячи целковых приданого! Такую бы ему жизнь! Такое счастье! Моя мать, дай ей бог здоровья, говорит: «Послали kota по сметану!» Векселя я бы у него брала? А хворобу он не хочет? Лихоманку на пять месяцев! Слушай, Мендл, дай бог мне соврать, но боюсь, что остальных денег ты не увидишь, как ушей своих, которые занесло аж в Одессу. Твое счастье, что мама ничего не знает об этих векселях: несдобровать бы тебе! А то, что ты пишешь о твоих заработках, всем нам, конечно, это очень приятно. Но — тысяча чертей тебе! Почему бы не написать по-человечески, что это за товар такой, которым ты торгуешь? Почем аршин? Или его продают на вес? Откуда мне знать, что это такое и с чем это едят? И еще одного я не понимаю: вот, ты говоришь, купил товар

и вот уже имеешь прибыль? Что же это за товар, который растет в цене, как на дрожжах? «Мухоморы, — говорит моя мама, — и те без дождя не растут!» А если товар и в самом деле вздорожал, почему же ты его не продашь? Чего ты ждешь? Чтоб к нему и подступу не было?

А почему ты не пишешь, где остановился, как стоишь? Как будто я тебе чужая, не жена до ста двадцати лет, а какая-нибудь полюбовница поганая! Как мать говорит: «Уйдет корова в стадо, так «до свидания» не скажет!»

Послушал бы ты меня, Мендл, расторгнулся бы поскорее, собрал бы наличные и приехал бы домой. Найдешь здесь более приличное дело, чем вот это самое... Знать бы мне так лихорадку, как я знаю, что это такое!

И будь здоров, как желает тебе от всего сердца твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

III

Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она! Со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг от друга только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно: меня несколько не удивляет, что ты не понимаешь, в чем смысл «Лондона». Коль скоро опытные купцы, бородачи, об этом понятия не имеют, так где уж тут разобраться женщине? Поэтому я все объясню, чтобы ты поняла, в чем тут дело.

Надо сказать, что «Лондон» — материя тонкая. Продают его только на словах, а видеть никто его не видит. И каждую минуту он то дорожает, то дешевеет. То — «гос», то — «бес». Это значит, что рубль в Берлине то повышается, то понижается. Все зависит от Берлина: как Берлин скажет, так и будет! Курсы прыгают вверх и



вниз, как сумасшедшие, депеши летят туда и сюда, а люди носятся, как на ярмарке, делают дела, получают прибыль, а среди них и я. Шум, суета — одуреть можно! Вот, например, вчера я сделал «стеллаж»*, стоил он мне полсотни, а сегодня утром, ровно в двенадцать час-св, от моей полсотни и следа не осталось!

Но ты, наверное, не знаешь, что значит «сделать стеллаж» — надо тебе это объяснить. Дают, к примеру, полсотни за день, а тот «ставит курс». Ты можешь сделать из этого «стеллажа» «две стороны»: то есть два «беса» или два «госа», а то и просто остановиться и продать другому «втемную» до «закрытия» (так у нас в Одессе называется предвечернее время, как у вас, скажем, сумерки). И вот если курс «отстает», то полетели твои пятьдесят рублей. Вот это значит «сделать стеллаж».

Но только ты не огорчайся, дорогая моя жена! Потерять полсотни — по здешним делам сущие пустяки! Бог поможет, пойдет «правой стороной», и я заработаю деньги, много денег! А насчет того, что ты пишешь о векселях дяди Менаше, то ты ошибаешься. Черт его еще не взял, он еще пользуется доверием! Если бы я уступил хоть немного, у меня бы эти векселя с руками оторвали! Но я не желаю. Если понадобятся деньги, я лучше продам парочку «госов» или «бесов». Но мне и это сейчас ни к чему. Я лучше куплю еще один «стеллаж». Чем больше «стеллажей», тем лучше! Ляжешь спать со «стеллажом», так и спишься по-другому!

Так как я сейчас очень тороплюсь, то пишу тебе вкратце. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты спрашиваешь, где я остановился и что ем? Так пишу тебе, жена моя, что я и сам не знаю, на каком я свете. Одесса — огромный город, все здесь очень дорого, дома высоченные — до небес, полчаса надо карабкаться по железным лестницам, пока доберешься до своего пристанища под самым небом. Окошечко крошечное, как в тюрьме. Я просто оживаю, когда наступает день и можно вырваться из этой тюрьмы туда, на Греческую. И вот там, на ходу то есть, и перекусишь, что бог пошлет, потому что — кто это может усесться кушать, когда надо поминутно узнавать, каковы курсы

в Берлине! Зато фрукты здесь нипочем. Виноград едят, не как у нас в Касриловке в Новый год, только чтобы сотворить молитву над ним, — здесь его едят каждый день, на улице, без всякого стеснения.

Тот же.

IV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что смотрю я на тебя, как на сумасшедшего! Знать бы мне так твою Одессу, не к ночи будь помянута, как я понимаю, что ты такое болтаешь в твоём письме: «гос», «бес», «дилижанс»... Черт вас там ведаёт! Летят у тебя полусотенные, как галушки, — там у вас, видать, и деньги не деньги, трын-трава! Конечно, в золоте можно ходить при таких делах! Не понимаю, хоть ты мне голову сними, что это за товар, которого никто не видит? Кот в мешке!..

Слышишь, Мендл, не нравится мне все это! Я у отца своего не приучена к такого рода воздушным заработкам, упаси меня бог от них и в дальнейшем! Как моя мама говорит: «На воздухе и простудиться недолго...» Ты пишешь: «С дилижансом и спится по-другому...» Кто это спит с дилижансом? По-каковски ты говоришь? По-турецки, что ли? А насчет того, что ты пишешь, будто векселя дяди Менаше у тебя с руками оторвут, то, если я в это и не поверю, большого греха не будет. Правильно мать говорит: «Не верь, пока не пересчитаешь...» Знаешь что, Мендл? Послушай меня, жену, — плюнь ты на Одессу и приезжай лучше домой, в Касриловку. Полторы тысячи у тебя есть, квартиру дает нам отец, лавки в аренду сдаются, — чего тебе еще не хватает? Зачем нужно, чтобы люди перемывали мои косточки, чтобы враги болтали, будто ты удрал в Одессу, а меня бросил, — не дожить тебе до этого! Скапуться за нашу Касриловку может твоя Одесса со всеми твоими домищами с железными лестницами, по которым надо карабкаться, как одурелому! Очень стоит ради этого портить себе желудок!

Подумаешь, виноград дешев! Виноград надо жрать, а сливы чем плохи? У нас нынче урожай на сливы, пятиалтынный — ведро! Но разве тебя интересует, что дома делается? Ты даже не спрашиваешь, как дети поживают. Забыл уже, что ты отец троих деточек, дай им бог здоровья! Недаром мама говорит: «Дальше очи—дальше сердце...» Такую бы тебе болячку, какую правду она говорит!

Пока будь здоров и счастлив, как желает тебе

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

V

*Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что сейчас пошел невероятный «бес», и я накупил себе «Лондона» целую кучу и обеспечил себя семнадцатью «бесами» и восьмью «стеллажами». Затем я должен получить несколько сот рублей «дифференцов», и тогда я, с божьей помощью, сделаю еще немножко «бесов». Посмотрела бы ты, дорогая моя, как тут заключаются сделки на слово, ты поняла бы, что такое Одесса. Простой кивок здесь все равно что контракт. Я выхожу на Греческую, захожу в кафе, сажусь за столик и заказываю стакан чаю, или кофе, или еще там чего-нибудь. Подходит ко мне один маклер, второй, третий... Не надо ни контрактов, ни расписок, ни строчки написанной! У каждого маклера — книжечка и карандашик. Он достает книжечку и записывает, что я имею у него два «беса», а я достаю несколько рублей и плачу ему — удовольствие! А спустя час-другой, если бог захочет, узнают «таксировку» из Берлина, и прибегает тот же маклер и дает тебе четвертной билет чистой прибыли, а потом, когда прибывают еще сведения, он сует тебе полсотни, а к концу дня, если богу угодно, набегает и вся сотня, а иной раз может случиться, что и две, а то и все три... Почему бы и нет? На то и биржа! Биржа — это игра, дело удачи. А насчет того, что ты не веришь в векселя

дяди Менаше, то могу тебе сообщить, что я их уже продал, — иначе откуда бы я взял деньги на такое количество «бесов» и «стеллажей»? «Стеллажи» — это не дилижансы, как ты пишешь. Дилижансы — это то, на чем ездят из Радомысли в Житомир, а «стеллаж» — это лист бумаги, на котором кто-нибудь пишет и расписывается в том, что, когда настанет «ультимо», то есть в конце месяца, он обязан столько-то фунтов сверх того или иного курса — либо дать тебе, либо получить с тебя. Так что выбор за тобой, поступай как знаешь: хочешь — давай, хочешь — получай. Теперь ты понимаешь, что такое «стеллаж»? Если бог даст добрые «варьяции» на «Лондон» и в газетах заговорят о войне, русский рубль полетит вниз, а «Лондон» как двинется вверх — ничего кругом узнать нельзя! Вот заговорили на прошлой неделе, будто английской королеве что-то неможется, и тут же русский рубль упал, а «стеллажи» подскочили выше домов! Теперь в газетах пишут, что королева поправилась, — и русский рубль поднялся в цене, и уже можно покупать «стеллажи», сколько душе угодно. Словом, не беспокойся, дорогая моя, все, бог даст, будет, как у нас в Одессе говорят, «в наилучшем порядке»! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно деткам и всем остальным.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! У нас в Одессе страшная жара, — изжариться можно, да и по ночам таешь как воск. Поэтому, как только наступает вечер, город пустеет. Народ разъезжается на Фонтаны — на Большой Фонтан или на Малый Фонтан, а то и вовсе на «Ланджерон». Там имеется все, что душе угодно, можно купаться в море, можно слушать музыку — и все это бесплатно, без копейки денег!

Тот же.

VI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу,

вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я уже опять вожусь с зубами, дай бог твоим одесским «дронжикам»! Я здесь лезу на стенку от зубной боли, мучаюсь с его детьми, а ему хоть бы что! Живет себе, как господь бог, в Одессе, катается верхом на «дронжиках», купается в море, и музыка ему подыгрывает. Чего ему еще не хватает? Как моя мама говорит: «На метле бы он у меня верхом разъезжал, а не на дронжиках!» Одно из двух: если ты купец и торгуешь этим замечательным товаром, который называется «Лондон», то думай о торговле, а не об английской королеве. Думай лучше о своей жене. У тебя есть жена — до ста двадцати лет, и трое деток, дай им бог здоровья. Моя мама говорит: «Думай о себе, тогда забудешь о других...» А что касается твоих счастливых дел, то скажу тебе правду, у меня от них голова кругом идет! Не верю, хоть режь меня, что сотни так и летят прямо в руки! Что это, колдовство такое, наваждение, что ли? Смотри, как бы ты на радостях не тронул приданое. Имей в виду, если хоть один грош убудет из приданого, достанется тебе от матери!.. Хоть бы вспомнил! Ведь ты знаешь, что мне до зарезу нужна шелковая мантилья, шерсть на платье, два куса морозовского батиста. Всякую глупость я должна ему напоминать, — сам он, бедняга, ничего не знает, мозги у него высохли. Не зря моя мама говорит: «Кто сам не догадается, того в бок толкают». Как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

VII

*Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже далеко пошел, а именно — у меня уже полно «бесов», и я

теперь в состоянии дать и взять сразу десять тысяч фунтов, двадцать тысяч фунтов, разумеется, при наличии «депо»... У меня уже крупные знакомства в конторах, и я уже могу себе позволить сидеть у Фанкони в кафе наравне с другими крупными спекулянтами за белыми мраморными столиками и заказывать порцию мороженого, потому что у нас в Одессе такой порядок: чуть присел к столику — к тебе подходит человек во фраке и велит, чтобы приказали подать мороженое. Нельзя же быть свиньей — и поневоле велишь подать. Но не успеешь съесть одну порцию мороженого, как тебе велят потребовать вторую, — иначе тут сидеть нельзя и остается шататься по улице. Дельцу это, конечно, не пристало, да и городской следит, чтобы на улице зря не околачивались... Но так как людям все-таки нужно быть на улице, то они ловчатся, обманывают городского, прячутся от него как можно дальше... А если он все же поймает кого-нибудь, то тащит его, как драгоценность, прямо в участок: «Вот, мол, я доставил вам еврея...» Ты не веришь в крупные «варьяции» и «дифференцы»? Это значит, что ты слаба в политике. Вот, к примеру, сидит у нас в кафе у Фанкони человек, которого прозвали «Гамбетта» *. День и ночь он говорит о политике, и только о политике! Он приводит тысячу доказательств, что пахнет войной. Он слышит, говорит, каждую ночь пушечные выстрелы — не здесь, а у французов. Французы, говорит он, никогда в жизни не простят Бисмарку *. Должна, непременно должна в скором времени вспыхнуть война, иначе и быть не может! Послушать Гамбетту, то нужно продать все, что имеешь, снять с себя последнюю рубаху и покупать «стеллажи» и «бесы» — бесконечное количество!

Ты пишешь мне насчет мантильи... Дорогая моя, я присмотрел для тебя кое-что получше: золотые часики с медальоном и золотой цепочкой, и брошь, и браслеты видел я в окне совсем недалеко от Фанкони... Замечательные вещи! Прима! Но так как я сейчас очень занят, то пишу тебе вкратце. Дай бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Сутолока здесь, не сглазить бы, очень велика, и люди так поглощены делами, что забы-

вают о субботе и о празднике. Для меня, конечно, суббота — это суббота! Хоть бы камни с неба валились, я в субботу непременно иду в синагогу. Одесскую синагогу стоит посмотреть! Во-первых, она называется «хоральной», потому что потолок у нее колпаком, а особой восточной стены там нет *. Все сидят лицом к востоку. А кантор * (его зовут Пине; ну и кантор!) хоть и бреет бороду *, но молитвы знает получше вашего старого верзилы Мойше-Довида! Ты бы видела, что он вытворяет, когда доходит до молитвы «Да будет благословенно имя владыки вселенной!». «Хвалебную песнь субботе» можно по билетам слушать! Вокруг кантора стоят певчие в маленьких талесах * — красота! Если бы суббота была дважды в неделю, я бы дважды в неделю ходил слушать Пине. Не понимаю я здешних евреев, почему они не ходят молиться? И даже те, что ходят, не молятся. Сидят, как намалеванные, в цилиндрах, с жирными холеными рожам, в маленьких талесах и молчат. А если кому-нибудь захочется помолиться чуть погромче, к нему подходит служка с пуговицами и говорит, чтоб тихо было. Странные в Одессе евреи!

Тот же.

VIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что я не понимаю, с какой такой радости надо сидеть у Фанкони — сгореть бы ей! — за мраморным столиком и жрать с утра до ночи черт знает что! Лишь бы деньги тратить? И что это у вас там, в Одессе, за сумасшедший, которому снится, что стреляют, чтоб его самого застрелило! Войны ему захотелось! Как моя мама говорит: «Чужая кровь что вода!» Золотые часики с браслетами ты увидал в одесских магазинах? Нашел, чему радоваться! Что мне, Мендл, от твоих подарков, которые ты видишь за стеклом? Моя мама говорит; «Вареники во сне — это

не вареники, а только сон...» Ты лучше зайди в магазин и купи мне кусок полотна на белье, и мадаполаму на наволочки, и пару байковых одеял, и немного серебра для дома, и еще кое-чего. Представь себе, даже Блюма-Злата — чтоб ее пузырем раздуло! — и та уже куржится передо мной. Почему? Она, видишь ли, носит нитку жемчуга, чтоб ее задушило! Вот кому доля замужем! Людям везет во всем. Одна я родилась в такой злополучный час, что должна каждую мелочь мужу напоминать! Пусть тебе кажется, что ты купил еще один «гос», или «бес», или черт его знает, как это там у вас называется! Я говорю ему: продай, что имеешь, и сосчитай деньги, а он покупает еще! Чего ты боишься? Не достанешь потом этого товара? Я уже понимаю, что это за торговля и что за город твоя Одесса, когда суббота — не суббота, и праздник — не праздник, и кантор ходит с бритой мордой, — мои бы болячки на его голову! Мне кажется, из такого города и от таких людей бежать надо, как от поганой ямы, а он там завяз и вылезать не хочет. Как моя мама говорит: «Забрался червяк в хрен и думает, что слаще ничего и нету...» Поэтому и пишу тебе, дорогой мой муж, подумай хорошенько, что ты делаешь, и перестань проводить время в замечательной твоей Одессе, пусть она сгорит, — как желает тебе

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Да! Скажи мне, Мендл, вот эта «Фанконя», о которой ты пишешь, что вы там просиживаете дни и ночи, — кто это такая, это «он» или «она»?..

IX

*Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шендл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что пахнет уже крупными тысячами! Если бог даст и «ультимо» пройдет благополучно, то в моих руках главный выигрыш! Заин-

кассирую все свои «дифференцы», съезжу домой и возьму тебя, с божьей помощью, сюда, в Одессу. Квартиру снимем на «Ришелье», купим хорошую мебель и заживем так, как живут у нас в Одессе. Но пока я, не про тебя будь сказано, вожусь с желудком: видно, мороженое мне повредило... Теперь, когда прихожу к Фанкони, я мороженого не ем. Я велю подать себе напиток, который тянут через соломинку. Это и сладко и горьковато, вроде лакричного порошка с солью... Больше двух, в крайнем случае — трех стаканов этого напитка одолеть невозможно. А все остальное время приходится таскаться по улице и иметь дело с городовым. А это очень неприятно! Уж он давно ко мне присматривается, но до сих пор господь бог милостив: я каждый раз удираю от него и прячусь. Чего не делают ради заработка! Только бы реализация прошла благополучно, — тогда я, с божьей помощью, куплю тебе все, что пожелаешь, и гораздо больше, чем ты можешь себе представить. А насчет Гамбетты ты ошибаешься: вовсе он не сумасшедший, он только малость вспыльчив. Упаси бог сказать ему что-нибудь о политике не так, как ему нравится! Он готов разорвать человека на куски! Он утверждает, что не сегодня-завтра обязательно должно что-то случиться. А то, что сейчас вдруг тихо стало, говорит он, лишний раз доказывает, что война на носу. «Перед бурей, — говорит он, — всегда бывает тихо...» Вчера я мог продать несколько «бесиков» и два-три «стеллажа» и прилично заработать, но Гамбетта не дал мне этого сделать. «Я, говорит, вам голову оторву, если вы в такое время выпустите из рук товар! Наступает такая пора, — говорит он, — когда полусотенный «стеллаж» будет стоить двести рублей, и триста, и четыреста, и даже тысячу, а почему и не две?.. Будь так, как говорит Гамбетта, даже наполовину, — и я разбогател! Надеюсь, что после реализации я поверну обратно на «гос», начну покупать рубли и давать «Лондон» на чем свет стоит! Я покажу им, что такое «Лондон» и что такое рубль! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно.

Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты спрашиваешь о Фанкони (не «Фанконя», как ты пишешь), то это не «он» и не «она».

Это — кафе, где пьют кофе, едят мороженое и заключают сделки на «Лондон». Дай бог мне хотя бы половину стоимости сделок, которые там заключают за день!

Тот же.

Х

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что дети болеют корью, все трое; я ночей не сплю, а он там распивает какую-то бурду с лакрицей! Чего ему не хватает, скажите на милость! Головной боли? Ишь ты, как он распрыгался! В Одессу он хочет меня забрать! Думает, только скажет мне: «Одесса», — я туда и полетела! Выбей эту дурь из головы, Мендл, ты меня туда не заманишь! Будь спокоен. Бабка моей бабки никогда там не бывала и обожалась без Одессы, так уж и я как-нибудь обойдусь. Так я тебя и послушалась: брошу отца с матерью и всех родных и помчусь в треклятую Одессу, чтоб она в огне сгорела! Говори что хочешь, Мендл, не нравится мне твоя Одесса. Терпеть ее не могу, сама не знаю за что. По моему разумению, тебе следует распродать помаленьку твой товар и получить деньги. Мама говорит: «Из всех молочных блюд самое лучшее — это кусок мяса!..» А если ты немного и потеряешь, черт с ним, их счастье! Что же касается твоего сумасшедшего Гамбетта (а я все-таки говорю тебе, что он сумасшедший!), который не дает тебе продавать, то я вообще не понимаю, при чем тут он? Какое ему дело? Плюнь ты ему в рожу, если он опять станет морочить тебе голову своими войнами! Послушай меня, Мендл, кончай с этим делом, продай все, ради бога! Заработал несколько целковых? И хватит. Сколько можно торчать в этой Одессе?

Но что говорить? Разве я что-нибудь значу? Ведь я же всего лишь Шейне-Шейндл, я ведь не Блюма-Злата! Блюма-Злата только пикнет на своего мужа, а его уже

лихоманка трясет! Ради бога, Мендл-сердце, распродай все и собирайся в дорогу! Не забудь только дюжину вышитых сорочек для меня, бархату маме на пальто — пусть и она помнит, что зять ее был в Одессе и торговал с сумасшедшими, — кусок ситца модного рисунка и, если войдет в чемодан, немного стеклянной посуды, а остальное — по твоему усмотрению. И приезжай домой, пусть люди перестанут мне колоть глаза и чернить меня. Попробуй только меня не послушать! Ничего! По-моему сделаешь! Если бы так чирьи на спине у врагов моих, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

XI

*Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомяю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести! Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что день реализации настал и все пошло кувырком, господи спаси и помилуй! Большая «варьяция», которой я ждал, как месии, обернулась мыльным пузырем. Бисмарк, говорят, простудился, схватил насморк — и в политике пошла такая суматоха, что никто ничего не понимает! «Лондон» стал действительно на вес золота, но рубль провалился в тартарары, и пошел страшный «бес»! Ты, пожалуй, спросишь, где же мои «бесы» с моими «стеллажами»? Но дело в том, что теперь уже «бесы» не «бесы» и «стеллажи» не «стеллажи», никто не хочет брать, никто не желает давать, вот и поступай как знаешь! И словно на зло, я рассовал свой товар таким людишкам, которых чуть прижало, а их уже и раздавило. Словом, горе, чума, все вверх дном! Ах, если бы я изловчился на один день раньше! Но поди будь пророком! Теперь все мечутся, как угорелые, безумие охватило каждого! Все кричат: «Лондон!»!, «Где мой «Лондон»?», «Давайте мне «Лондон!»!. Но где там «Лондон»? Что там «Лондон»?

Летят оплеухи, мелькают кукиши, родителей поминают, и я тоже, как и все... В общем, нигде, как видно, никакого «Лондона» нет!.. Короче, дорогая моя жена, кругом мрак... Все мои заработки, все приданое, драгоценности, которые я для тебя купил, — все это пошло туда... Даже субботний кафтан пришлось снять и заложить.

Я сейчас в очень печальном положении, даже представить себе трудно, и так скучаю по дому, что вся душа истомилась! Проклинаю себя сто раз на дню! Лучше бы я ногу себе сломал до того, как приехал сюда, в Одессу, где человек ничего не стоит. Здесь можно умереть на улице, и никто даже не оглянется. Сколько маклеров кормилось возле меня, сколько их благодаря мне нажилось, а сейчас они меня даже не узнают! Раньше они меня здесь называли «касриловским Блейхредером»*, а теперь сами же маклеры надо мной издеваются. Они говорят, что я не понимаю дела. «Лондон», говорят они, понимать надо! А где же они раньше были, эти умники! Обо мне вообще больше не говорят, как если бы я умер! Лучше бы я и в самом деле умер, чем дожить до такого! И как назло, здесь этот Гамбетта, пропади он пропадом, виснет над головой и не перестает трещать на ухо о своей политике: «Ну, не говорил ли я вам, что будет «бес»?» — «Что мне толку от вашего «беса», — спрашиваю я, — когда мне «Лондона» не дают?» А он смеется и говорит: «Кто же вам виноват? Биржу, говорит, понимать надо! А кто не умеет торговать «Лондоном», пусть торгует солеными огурцами...» Говорю тебе, жена моя дорогая, — так опротивела мне Одесса с ее биржей, с Фанкони, со всеми этими людишками! Бежал бы куда глаза глядят! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. И кланяйся сердечно деткам, и тестю, и теще.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Здесь, в Одессе, такой порядок: если кому-нибудь нужно одолжить немного денег, он обращается не к соседу, не к родственнику или к знакомому, как, скажем, у нас в Касриловке. Не потому что лень к ним сходить, нет, — просто каждый знает наперед, что никто с деньгами не сунется: не дают, и дело с концом! Как же быть, если деньги все-таки нужны? Для этого существует «ломбард», который выдает какую угодно

ссуду, был бы залог приличный: золото так золото, серебро так серебро! Медь? И медь сойдет, и одежина, и стул. Приведи корову, — тебе и под нее деньги дадут. Беда только в том, что оценивают в ломбарде все чересчур дешево! Зато проценты берут без стеснения, кусачие проценты, так что процент подчас всю ссуду съедает. Вот ломбард и производит каждые две недели «леситацию», то есть распродажу невыкупленных закладов. Люди покупают вещи по дешевке и неплохо зарабатывают. Будь я при деньгах, я бы тоже этим занялся и вернул себе то, что потерял, да еще с лихвой... Но что поделаешь! Без денег лучше не родиться на свет божий, а уж если родился, то лучше умереть... Не могу я больше писать. Пиши мне о твоём здоровье, как поживают детки, и кланяйся сердечно тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Тот же.

XII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе: дурья голова, подумай, что ты натворил! Какой черт понес тебя в Одессу? Чего ты там не видал? Жареных рябчиков ему захотелось! «Лондон»! Мороженое! Бурды с лакрицей! Увидал, что «Лондон» банкротится, чего же ты вовремя не покончил с ним, согласился бы на какой-нибудь процент, как все купцы поступают! А люди где? А раввин? Господи боже мой, что это за отговорка — «ульtimo-шмультимо»? Ведь ты покупал товар, куда же он девался?! Боже мой, какое несчастье! Чуяло мое сердце, что от Одессы — сгореть бы ей! — добра не будет! Я пишу ему: уезжай, Мендл, плюнь на них с их «Лондоном», чтоб его холера забрала, господи милосердый! Удирай, говорю я ему, удирай, Мендл! Как мать говорит: «Дырявая крыша, трещала б потише!» Нет, не слушает, ведь я же всего только Шейне-Шейндл, горе мне, а не какая-нибудь Блюма-

Злата. Нет, моя мама умница! Она все время твердит, что мужу потакать нельзя, мужа надо держать в руках, чтобы он чувствовал, что есть у него жена! Но что поделаешь, когда у меня такой характер, не могу я быть грубой, как Блюма-Злата, не умею я мужа в гроб вгонять, как она, не умею! Была бы твоей женой Блюма-Злата, — не дожить ей до того! — тогда бы ты знал, как велик наш бог! А насчет того, что ты говоришь о смерти, умник мой, то должна тебе сказать, что ты большой дурак: не по своей воле человек рождается, не по своей воле и умирает. А если даже потеряно приданое, так ничего больше не остается, как руки на себя наложить? Глупый! Где это сказано, что Менахем-Мендл должен иметь деньги? Разве с деньгами Менахем-Мендл не тот же Менахем-Мендл, что и без денег? Чудак! Против бога хочешь идти? Ты же видишь, что он не велит, чего же ты ерепенишься? Черт с ними, с деньгами! Пусть тебе кажетя, что разбойники напали на тебя в лесу или ты заболел и все приданое просадил ко всем чертям! Главное, не будь бабой, Мендл! Положись на предвечного, он — всех кормящий и насыщающий. Приезжай домой, гостем будешь, дети тебя заждались... Посылаю тебе несколько рублей на дорогу, и смотри, Мендл, не ходи ни на какие «лестации» и не торгуй старым тряпьем! Этого еще не хватало! Как только получишь мое письмо и деньги, немедленно распрощайся с Одессой. А как только ты выедешь из города, пусть он загорится со всех четырех сторон, пусть он горит, и пылает, и сгорит дотла, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Конец первой книги

«Б У М А Ж К И»

ЕГУПЕЦКАЯ БИРЖА

I

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже не в Одессе. Я в Егупце (тоже красивый город, мне бы такую жизнь!) и не торгую больше ветром и воздухом, «Лондоном»... У меня сейчас, слава богу, дело более верное, солидное. Бумажное дело, то есть я торгую «бумажками» *. Ты, конечно, спросишь, как я попал в Егупец? Должен тебе, дорогая моя жена, рассказать целую историю и просить не обижаться за то, что я так долго не писал. Просто не о чем было писать. К тому же я рассчитывал, что вот-вот еду домой, и бог свидетель, как тянуло меня домой, но, видно, предначертано свыше, чтобы я очутился в Егупце и торговал «бумажками». Клянусь тебе, дорогая моя, своей жизнью, что я уже в вагоне сидел, ехал в Касриловку. Так вот надо же мне было встретиться с одним одесским спекулянтom, который едет в Егупец. Чем он занимается в Егупце, спрашиваю. Он говорит, торгует «бумажками». Что значит «бумажками»?



«Бумажки», объяснил он, это не «Лондон», который зависит от Берлина, от Бисмарка и от английской королевы.

«Бумажки» — это такое дело, которое зависит только от Петербурга и от Варшавы. И еще одно достоинство: это вещь, которую можно видеть, нащупать руками, не то что «Лондон», который не больше, чем фантазия, сон... Затем он стал мне расхваливать город Егупец и тамошних спекулянтов: это совсем другие люди, говорит он, деликатные люди! Он, говорит, не даст десять битых одесситов за одного егупецкого биржевика! Словом, человек этот так меня разохотил, что я решил: ведь я же все равно еду мимо Фастова, дай-ка заодно съезжу в Егупец посмотреть здешнюю биржу и здешних дельцов. И попал я как раз в такое время, когда на бумаги идет ужасный «бес», а «премии» продают за полцены. Много денег вкладывать не нужно, вот я и решил — сыграю разок, авось, бог милостив, заработаю, и будет у меня на расходы. И бог смилостивился, «бумажки» поднялись, я продал свои «премии» с прибылью, купил еще парочку «премий» и снова заработал, сколотил добрых несколько сотен и — как раз — наличными. Тогда я подумал: зачем мне платить кому-то «премии», лучше я сам себе «ангажирую»* наличные «бумажки»! Обратился через контору в Петербург и составил себе «портфель» из самых различных «бумажек»: «Путивль», и «Транспорт», и «Волга», и «Мальцевские»* и тому подобные акции, которые растут в цене, и я, слава богу, тоже расту! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяюсь сердечно деткам, а также тестю и теще.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Когда будешь писать, пиши мне на мое имя в Бойберик*, потому что в Егупце мне жить нельзя*. Поэтому я целыми днями верчусь на Крещатике возле биржи, а вечером еду в Бойберик. Там живет вся компания биржевиков. Живут на дачах, ночи напролет играют в карты (мужчины и женщины вместе, — такой здесь порядок...). А рано утром все спешат в Егупец, а вместе со всеми и я.

Тот же.

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем!

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, чтоб враги мои были так в силах жить, как я в силах писать тебе письма. Я еле ноги волочу, мне еще, чего доброго, потребуется «реперация», — так говорит наш новый доктор — горе ему и все казни египетские! * Он надеется из меня деньги выкачивать! А от чего, думаешь, все это у меня? Только от досады, от сердечной боли. Помилуй, я посылаю тебе на расходы и наказываю, чтобы ты приехал домой, а ты уезжаешь в Егупец, — разве не заслужил ты, чтоб тебя живым в землю зарыли! А позор какой! Людей стыдно! Как мать говорит: «Сморкай нос да размазывай по роже...» Торговля! Дела! А я-то думала: уж если твой замечательный «Лондон» очурился наконец, то я хоть в себя приду, вернется домой кормилец мой богоданный! Что же оказывается? Новое несчастье — Егупец проклятый! «Бумажки!» Новая напасть! Где это видано, чтобы люди торговали черт знает чем, клочками бумаги! Читаю я твое письмо, дорогой мой, и думаю: отец вседержитель! То ли ты, упаси бог, сошел с ума, то ли я спятила? Говоришь ты со мной на каком-то тарабарском языке: «бумажки», «Петербург»... «Крещатик»... «Портфель»... Наваждение, честное слово, нечистая сила тебя одолела! Днем он в Егупце, ночью — в Бойберике с мужчинами и женщинами вместе... Что ты делаешь по ночам в Бойберике? Что ты себе думаешь? Одно из двух: хочешь от меня избавиться, приезжай и разведись со мной. А не хочешь — убирайся уж лучше ко всем чертям в Америку, как Иосл Лейбл-Арона, и пусть уж я лучше не знаю, где твои косточки захоронены, если мне суждено оставаться навеки брошенной женой с малыми детишками-цыплятами! Но не дождутся этого враги мои!

На твое, негодник, счастье, я не могу сейчас ехать, я наказана богом и вынуждена лежать в постели... Правильно моя мать говорит: «Без пальцев и кукиша не покажешь...» Не то бы я сразу же, как получила твое

письмо, съездила в Егупец и доставила бы тебя домой! Я бы показала тебе, что жена — это жена! А что я тебя иной раз словом задену, так ведь это с досады, да и отходчивая я. Как мать говорит: «Спичка вспыхнет, да тут же и погаснет...» Как желает тебе

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

III

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Амины!

А во-вторых, да будет тебе известно, что иметь дело с «бумажками» — не значит, как ты думаешь, просто торговать бумагой. Это только так называется, на самом деле речь идет об акциях, петербургских акциях, например, таких, как «Путивль», «Транспорт», «Волга», «Мальцевские» и тому подобных. Это такие фабрики, где на акции строят железные дороги, то есть выпускают акции по сто рублей, а платят за них триста, потому что выдают «девендент» *. Чем больше «девендента», тем лучше. Но так как до конца года никто не знает, какой «девендент» будет выдан, то действуют втемную — покупают и покупают. Начинается, таким образом, «гос», то есть бумаги растут в цене, люди зарабатывают деньги, а среди них и я. Ты бы видела, дорогая моя жена, как мелкие людишки, маклеры, нищие вдруг выросли, сделались богачами! Живут на дачах в Бойберике, ездят за границу, на купанья, дамы у них ходят разодетые в бархат и золото, дети разъезжают на «лесепедах», в доме держат «губернанток», говорят по-французски и играют на фортепьянах, едят варенье и пьют вишневку, рубль — не деньги, не житье, а сплошное удовольствие! И все это — на «бумажки». Посмотрела бы ты, что творится на Крещатике, когда наступает день! Полно народу! Да и что удивительного? Из контор выгоняют, на улице стоять не дают. А ведь каждому хочется узнать раньше других, как обстоят дела... Кутерьма! Вот прибыли

сегодня из Петербурга «Путивльские» по сто семьдесят восемь, — ну, как же не купить «Путивль»? Или, скажем, «Мальцевские», говорят, пришли по тысяче триста пятьдесят, — неужели не купить «Мальцевские»? Они каждый день растут в цене! На свои «Путивльские» мне предстоит заработать добрых несколько сотен. Но подождут они, положим, пока я их продам! Наоборот, я рассчитываю прикупить еще штук полтора «Путивльских», и пять «Мальцевских», и немного «Волги». А если бог даст, то куплю еще немного «Транспорта», потому что из Петербурга пишут, чтобы обязательно покупали «Транспорт»! У всех здесь имеется «Транспорт»: у мужчин, у женщин, у врачей, у меламедов *, у лакеев и прислуг, у ремесленников, — у кого только нет «Транспорта»?! Здесь, когда встречаются, первым долгом спрашивают: «Как сегодня с «Транспортом»?» Зайдешь в ресторан, хозяйка спрашивает: «Почем сегодня «Транспорт»?» Покупаешь коробок спичек, лавочник спрашивает: «Почем сегодня «Транспорт»?» Словом, Егупец — это место, где действительно можно заработать. Все спекулируют, все тянутся вверх, зарабатывают деньги, а среди них и я. Но так как мне сейчас некогда, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. А пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты спрашиваешь, что я делаю по ночам в Бойберике? Я же тебе писал, что в Егупце евреям жить нельзя, разве что «первогильдейцам» *. Когда я разгрузю свой «портфель» и увижу итог, я уплачу «гильдию» и смогу жить в Егупце со всеми наравне. Пока приходится скрываться, а лучшего места, чем Бойберик, не найти. Это дачная местность. Здесь много дачников. Дачники бегут, и я бегу. Понимаешь?

Тот же.

IV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу,

вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что у нас случилось несчастье, которое окончилось счастьем. Наш Мойше-Гершеле проглотил копейку! Пришла я с базара — это было в пятницу, купила рыбу, свежую, еще трепетавшую, а ребенок кричит, надрывается! Я его бью, колочу, а он не перестает кричать! «Чего тебе надо? Наказание божье! Тварь противная! На, возьми мои горести! Колики в животе! На тебе копейку!» Еле-еле, с трудом успокоился. Через несколько минут спохватываюсь: «Мойше-Гершеле, где копейка?» — «Нима тапейти», — отвечает он и ручкой показывает на ротик. Проглотил? Ох, горе мне! Ох, беда! Беру ребенка, заглядываю ему в рот, — ах ты, господи! Ах, несчастье мое! «Мойше-Гершеле! Душа моя! Скажи, куда ты девал копейку?» Трясу его, колочу, щипаю, синяков наставила, а он в один голос кричит: «Нима, гам тапейту, гам!» Словом, привела его к доктору, а тот велел кормить его картошкой... Два дня мучили ребенка, насильно пичкали картошкой, ни молока, ни глотка воды не давали, одну только картошку да картошку, думала — конец моему ребенку! И только на третий день стали убирать в доме, смотрю — в кровати, под подушкой, лежит копейка! Так бы они здоровы были, наши доктора, как знают они, что такое болезнь! Вот не хватало мне! Как мама говорит: «К горестям добавка...» Я должна возиться с его детьми, с докторами, с чертями-дьяволами, а ему, золотодобытчику моему, хоть бы что! Носится из Одессы в Егупец, из Егупца в Бойберик! Нашел, чему радоваться: «бумажки», «транспорты», «портфели»! Втемяшил себе в башку, что можно одним духом богачом стать! А ведь это — мать говорит: «Похуже всякой хворобы...» Глупый, рассказываешь ты мне чудеса в решете: «акции-шмакции», «девендент-шмевендент»... Выеденного яйца все это не стоит! С одними пятью пальцами богачом не станешь. Моя мама говорит: «Кто лихоманку вложит, тот хворобу и вынет...» Заруби себе, Мендл, на носу: все твои егупецкие людишки, которые, как ты пишешь, одним махом разбогатели, в скором времени, бог даст, снова будут теми же нищими, только малость посвежее. Потому что я верю в твои «транспорты» и «мальцевские» так же, как и в одесский «Лондон». Уж

я скорее поверю в колдовство и нечистую силу, чем во все твои егупецкие «портфели»... Ох, съела бы собака мое сердце, она бы взбесилась... Я должна видеть, как у людей жены уважением пользуются, слово иной раз скажут, а то и прикрикнут так, что у мужа поджилки трясутся, а мне нужно подлаживаться, слово боюсь вымолвить, обругать не смею мужа за позор, который мне приходится принимать от людей... Я должна делать веселую мину. «Щеки себе щипать, — как мама говорит, — чтоб румянец стоял...» Но что мы и что наша жизнь? Буду я так изнывать и таять потихоньку, покуда не истаяю как свеча, буду убиваться от досады, — убиваться и надорваться бы твоим егупецким шелкунам, как желает тебе и сейчас и всегда от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Погоди-ка! Берл, сынок дяди Менаше, нажил себе новую беду: он на той неделе погорел, остался в чем мать родила. А теперь ему хлопот не обернуться: враги донесли, что все у него было застраховано втрое против стоимости, поэтому он, наверное, сам пустил красного петуха... Пригласили его к следователю. Но Берл тоже не из тех, что десяток на копейку: у него свидетели, которые готовы присягнуть, что его в ту ночь и дома-то не было. Однако пока что его засадили, а Златка с испуга выкинула и родила семимесячного. Поздравляю тебя!

V

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

Во-вторых, да будет тебе известно, что я уже связался с Варшавой. Ты, пожалуй, спросишь: коль скоро я живу в Егупце и торгую с Петербургом, зачем же я полез в Варшаву? Не беспокойся, Варшава — тоже город! В Варшаве тоже имеются «бумажки», да какие

еще «бумажки»! На Варшаве биржевики состояние нажили! Варшава — это не Петербург! Варшава сотнями швыряется. Варшава на той неделе взяла да и подняла «лилипуты» * с тысячи двухсот до двух тысяч! Ну, скажи сама, можно ли не купить такую бумагу? Или, скажем, «возочки»*. Недели три тому назад они стоили тысячу четыреста. А сейчас, как ты думаешь, какая им цена? Две тысячи! И без купона! * Ведь это же злодеем надо быть, чтоб не купить такую бумагу! Затем у Варшавы еще одно достоинство: она не требует денег, она знать не хочет никаких «депо». Хочешь иметь «лилипуты», «возочки»? Уплати сотню-другую сверх курса и делай себе «премию» до «ульtimo», то есть до начала следующего месяца. Наступит начало месяца, тогда поступай, как знаешь: либо бери «бумажки», либо не бери. Но кто даст тебе дожидаться начала месяца? На то господь бог и создал маклеров на белом свете, чтоб они проходу не давали: «Нет ли у вас «лилипутов»?», «Нет ли у вас «возочков»?» И морочат голову до тех пор, пока не дадут сколько-нибудь сверх курса и не выманят у тебя твои «бумажки». Вот только вчера надели на меня два одесских маклера, пристали, чтобы я отдал им мои «лилипуты» и «возочки». Нашли кого дурачить! «Братцы! — говорю я им. — Нет у меня ничего! Быть бы мне так же чистым от всякого зла!» Словом, отбояривался я от них до тех пор, пока они все-таки не выманили у меня пять «лилипутов» и пять «возочков». Но я их здорово нагрел! Я тут же сделал кое-какие комбинации, и есть надежда, что я, с божьей помощью, на этом деле заработаю, потому что везет мне, не сглазить бы, в последнее время здорово: что ни куплю, на другой день дорожает. Все говорят, что я счастливчик! Дай бог, чтобы «ульtimo» прошло в Варшаве благополучно, тогда у меня освободится весь «портфель», и я свяжусь с другой конторой, потому что в той, с которой я сейчас веду дела, столько народу, что не знаешь, на каком ты свете. На той неделе чуть не вспыхнул скандал: уже доходило до пощечин, то есть один из нас уже получил пощечину... Но так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся от меня сердечно каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! То, что ты пишешь относительно Берла, сына дяди Менаше, мне кажется вполне вероятным: при наших касриловских заработках купцу иначе никак не обернуться. А вот у нас, в Егупце, такая история случиться не может. Во-первых, здесь всем живется, не сглазить бы, очень хорошо, а во-вторых, если и приключится пожар, то тушат его по-иному: еще до того, как начинает гореть, летит команда в медных киверах, прыгает прямо в огонь и поливает из кишки. Тебе стоило бы посмотреть на пожар в Егупце!

Тот же.

VI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупце

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем!

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что, по-моему, ты уже, прости господи, совсем свихнулся, тебе уж впору, как всем сумасшедшим, по улицам бегать. Мало того что его знают в Одессе, в Егупце и в Бойберике, — ему нужно, чтобы и Варшава знала, что есть на свете Менахем-Мендл, который занимается торговлей. Раньше он торговал «Лондоном», а сейчас торгует всяким хламом, какими-то «бумажками», «портфелями», «возочками», которые надо искать аж в Варшаве, да еще драться из-за этого. Эх, нашелся бы умный человек и выбил бы дурь из твоей головы, чтобы не думал ты черт знает о чем, в то время как дома у тебя жена — да живет она до ста двадцати лет, которая возится с твоими детьми: и днем и ночью то одно, то другое! Только вчера чуть не ошпарила ребенка кипятком из дуршлага. Хорошо еще, что не всю голову. Недаром мама говорит: «И на беду удача нужна!» А ему — ничего! Гуляет, таскается по пожарам... Обрадовался: Егупец горит; сгореть бы ему вместе с Варшавой и с Петербургом, господи милосердый! Всяк, кто в бога верует, надо мной потешается. Ведь я даже по улице пройти не могу. Все тычут пальцами: «Вон она, Менахем-Мендлова

благоверная из Егупца!» Хорошо прозвище, горе мне! Дай боже моей маме долгих лет — она твердит: «Мужа нельзя отпускать ни на минуту, потому что покуда плотник на досках сидит, доски на месте... Я,— говорит она,— наперед знала, что добром это не кончится. Денежного зятя захотелось мне... Как это говорится: «Боров, есть у тебя деньги? Давай породнимся!» «Золотое дно»... Золото вытекает, а дно остается. Письма я бы ему писала? А лихорадки он не хочет? Кто намеков не понимает, того палкой бьют... Я бы, говорит, его на метле домой привезла! На кочерге!..» Скажи сам, не права ли она? Но что делать, когда я, прости господи, такая овца... Мне что ни скажут, то и ладно, и чего только от меня не добиваются? Другая на моем месте, например Блюма-Злата, давно бы уже побывала в Егупце у всех раввинов, на улице бы поймала и задала бы тебе такую взбучку, что ты забыл бы, как тебя звать и чем торгуешь... О твоих золотых делах и удачах можно судить по подаркам, которые ты присылаешь мне из Егупца, — по брильянтам и алмазам, по вышитым сорочкам и стеганым одеялам... Шутка ли? Добром говорю тебе, дорогой мой супруг, больше я этого вынести не могу! Одно из двух: либо приезжай поскорее домой и будь человеком, как все люди, либо пусть погибель придет на голову моих врагов, и пусть будет этому конец, как желает тебе и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

VII

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

Во-вторых, да будет тебе известно, что я шумлю, лечу, горю, в огонь прыгаю и расту, расту! Многие мне завидуют: что бы я ни купил, на другой день дорожает. «Возочки» поднялись еще на двести рублей, а мои «лилипуты» уже перевалили за две с половиной тысячи. Но

мне сейчас невыгодно их продавать, потому что говорят, что они еще поднимутся... Возможно даже, что заграница набросилась на наши «бумажки». Устроили «сендекат», то есть такую шайку, хотят раскупить все, до последней «бумажки», и не оставить нам ни одной! Ты спросишь: в чем дело? Очень просто! Денег, понимаешь ли, теперь во всем свете — хоть пруд пруди! Процент — дешевле пареной репы: четыре-пять годовых для нас предостаточно. А если дело приносит десять — пятнадцать, так ведь это же счастье! А насчет «лилипудов» я тебе уже писал, что это бумажка такой фабрики, на которой делают железные дороги и выплачивают «девидент». Дороги находятся в «Симбири», «бумажки» — в Варшаве, а покупатели — в Егупце. Представляешь себе? То же самое и с «возочками», и с «Путивлем», и с «Транспортом». Но ты можешь подумать, что, покупая «бумажки», кто-нибудь видит их в глаза? Ошибаешься! Надо тебе объяснить, чтобы ты поняла все в точности. Захотелось тебе, например, купить «Транспорт». Приходишь в контору, вносишь в кассу несколько рублей — «депо» и велишь записать для тебя немного товара. Тебе выдают письмо о том, что закуплено для тебя столько-то «Транспорта» по такой-то цене, с таким-то «депо». Если, упаси бог, это падает в цене, то ты должен доплатить. Но — глупости! — не так-то скоро падают цены, и доплачивать не приходится. Наоборот, цены растут! Вот так я работаю все время, и дела мои идут хорошо, дай бог дальше не хуже. Помог бы мне бог вырваться в Васильково, — я бы тогда уплатил гильдию и перестал бы скитаться: днем в Егупце, ночью в Бойберике. Все маклеры нынче заделались купцами. Посмотрела бы ты, как живут, что едят! А их дамы — в брильянтах и алмазах!.. Я расспросил, где здесь покупают брильянты, и присмотрел для тебя парочку вещей таких, скажу я тебе, что не только у вас в Касриловке, но даже у нас в Егупце они могли бы наделать шуму! Но так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты, наверное, думаешь, дорогая моя, что один я торгую «бумажками»! Бродский тоже торгует

ими. Разница только в том, что я, когда иду покупать бумаги, должен рассчитать, сколько мой желудок переварить может, а Бродский покупает сразу тысячу штук, пять тысяч, десять тысяч. Шутишь с Бродским? Тот, как выедет в своей карете, — Крещатик дрожит! Все шапки снимают, в том числе и я. Вот ловко было бы, если бы я вдруг выскочил в Бродские!.. Глупенькая, если бог захочет...

Тот же.

VIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем!

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой супруг, что «из поросячьего хвоста, — как говорит моя мама, — бобровой шапки не сошьешь...». Это я относительно твоей замечательной невестки Ентл, чтоб она сгорела! На прошлой неделе она надумала распустить по городу слух, будто ты уехал в Америку, а меня — не дожидаться ей этого! — оставил вдовой при живом муже. Откуда, говорит, она это взяла? Сора-Нехама слыхала от Лейзера-Гершке Аврома, будто Борух, сын Бенциона, сам видел у Мойше-Шмуеля письмо, полученное от Меер-Мотла из Америки. Я, конечно, побежала к Мойше-Шмуелю: «Где письмо?» А он спрашивает: «Какое письмо?» — «Которое Меер-Мотл писал вам из Америки». А он мне: «Кто вам сказал?» — «Борух, Бенционов сын!» — отвечаю я. А Мойше-Шмуель: «Как он мог сказать вам, этот лгун, этот враль, что-нибудь подобное, когда я с ним вот уже больше года не разговариваю?» Бегу оттуда к Боруху, сама не своя. Оказывается, что его уже третья неделя, как в Касриловке нет. Полетела к Лейзеру-Гершке и задала ему порцию как следует: зачем он наболтал Соре-Нехаме такую чепуху насчет письма, которого и на свете не было? А он смотрит на меня, как на помешанную: о чем речь? Оказывается, это она сама, твоя Ентл то есть, пропади она пропадом,

выдумала все! На что способна, подлая! Но тебе, наверное, все, что я пишу, и в голову не лезет, тебя больше интересуют твои егупецкие дамы, чтоб их дьявол побрал с их брильянтами вместе! Слышишь, Мендл! Я даже имени их слышать не желаю, — до того я их ненавижу! Мне уже опротивели подарки, которые ты собираешься купить для меня! Наперед тебе говорю, дорогой мой супруг: если хочешь купить мне что-нибудь, покупай то, чего там не носят. Не хочу, чтобы ты сравнивал меня с кем-либо, — пусть они провалятся сквозь землю! Но дожить бы уже и увидеть от тебя хоть что-нибудь на самом деле, а не на бумаге. Как моя мама говорит: «Словом меньше, да куском больше...» Зачем тебе откладывать на другой день? При таких делах, если не оторвешь силой, ничего иметь не будешь! Но можешь говорить что угодно: покуда не увижу своими глазами — не поверю. Не потому, что считаю тебя лгуном, а потому, что тебе егупецкие жулики наврут с три короба, а ты и уши развеснишь. Что ты равняешься по Бродскому? Вы с ним вместе свиней пасли? Дают тебе за твои бумажки какие-нибудь деньги — бери! Что ты из себя корчишь? Одесские шарлатаны и в Бойберике нашли тебя и пытались выманить твои драгоценности? Пожалуйста! Пусть носят с этим барахлом! Как моя мама говорит: «Хватай шапку с орехами и беги!..» Но что говорить с сумасшедшим! Вдруг ему вздумалось сделаться купцом, да еще васильковским к тому же! С жиру бесится человек! Не знает, что бы еще ему придумать! Что это тебе так понравился Васильков? Впрочем, чему тут удивляться? Когда днем торчат в Егупце, ночью — в Бойберике, а торгуют с Петербургом и Варшавой, почему не быть прописанным в Василькове? Хоть у черта на куличках! Смотри, Мендл, как бы все твои счастливые дела не кончились тем, что мне опять придется высылать тебе на расходы, как желает тебе и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Должна тебе, дорогой мой муж, сообщить невеселую весть: твой брат Берл-Биньомин остался вдовцом... Уж когда письмо было запечатано, пришли и сказали, что Ентл умерла. Умерла от родов, родила двойню. Двоешки живы, а она умерла. Казалось бы, могло быть наоборот? Как моя мама говорит: «Любит бог напере-

кор делать...» Пусть ей земля будет пухом! Твоя золовка, да простит мне, со мною хоть и не ладила, но по моей земле она не ходила. Я бы ничего не имела против того, чтобы она жила еще сто лет и не оставляла бы семерых сирот, мал мала меньше! На похоронах я была и так наплакалась, что еле живая домой пришла. «Как вспомнишь про смерть, так и за жизнь не поручишься...» — говорит моя мама.

IX

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомяю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я целую неделю пролежал в Бойберике. Болезнь была не то чтобы опасная, но противная: разболелась поясница, вернуться не мог. Теперь немного полегчало. Всю неделю думал, что с ума сойду, — шутка ли, восемь дней кряду быть оторванным от биржи, не знать курсов! Мне казалось, что там весь свет перевернулся! Бог даст, завтра-послезавтра уже, наверное, поеду в город. А пока пишу тебе письмо, хочется поговорить и, кстати, дать тебе полный отчет о моих делах, чтоб ты не думала, что я плутую, что я заморожен или обманываю себя. «Портфель» мой сейчас состоит из полутораста штук «Путивля», ста штук «Транспорта», пяти «Мальцевских», пяти «лилипуптов» и пяти «возочков», не считая «премий». Что касается «Путивля» и «Транспорта», то они у меня проданы вперед (получил трешницу в задаток). Как только их у меня выкупят в срок, — а выкупят ведь обязательно! — мне останется чистого заработка, за вычетом всех расходов, тысячи четыре-пять. Кроме того, у меня имеется десятка два «госов» на «Путивль» и на «Мальцевские», так что я и на них надеюсь заработать сотен семнадцать — восемнадцать. Вот тебе уже без малого семь тысяч. За пять «Мальцевских» я считаю, на худой конец, четыре тысячи рублей наличными, потому что

ведь это же будет позор, если они в ближайшее время не поднимутся по меньшей мере до двух тысяч рублей за штуку, хотя в последние дни они немного подались вниз. Но это всего только махинации петербургских биржевиков... Остается самое главное — то есть «лилипуты» и «возочки». Здесь расчет точный: до «ульtimo» осталось ровно восемнадцать дней. А так как «лилипуты» повышаются ежедневно на сто рублей, то мы имеем, таким образом, восемнадцать раз по сто рублей, помноженные на пять, итого ровно девять тысяч рублей. А «возочки»? Ведь они растут на полтора ста в день, — значит, восемнадцать раз по полтора ста, помноженные на пять, — то есть тринадцать тысяч пятьсот рублей! А где же «Волга», «Днепр», «Дон»? А прочие? Словом, чересчур большого кошель я себе не шью, но считаю, что за вычетом всяких расходов — «картаж», «крадеж»* и тому подобное, — мне останется чистых тысяч сорок — пятьдесят! Бог даст, «ульtimo» пройдет благополучно, тогда я реализую все свои «бумажки» и «повернусь на другую сторону» — то есть начну работать «а-ля-бес», стану все продавать и зарабатывать деньги. Потом я снова метнусь «а-ля-гос» и снова крупно заработаю. Так, если богу угодно, пятьдесят тысяч могут превратиться в сто и в двести, а из двухсот тысяч станет четырехста и так далее — до миллиона! А как же ты думаешь, глупенькая, становятся миллионщиками? Бродским? Да и что такое Бродский? Такой же смертный, который ест, и пьет, и спит. Я его сам видел, видеть бы мне так все самое лучшее! Словом, не огорчайся, дорогая моя, я присмотрелся к бирже и стал таким знатоком, что ко мне уж иной раз и за советом приходят. Я, с божьей помощью, понимаю всю эту игру! А то, что ты не веришь и велишь мне кончать с этим делом, меня не удивляет. Взять хотя бы Хинкиса! Есть у нас такой спекулянт по фамилии Хинкис, человек горячий и заядлый картежник. Днем играет на бирже, а ночью — в карты. И вот приключилась с ним на прошлой неделе история. Приснилась ему ночью скверная карта — примета, указывающая на «бес», и он в один день распотрошил весь свой «портфель». Сейчас он, конечно, волосы на себе рвет! И поделом! Пускай не верит снам! Я жду не дождусь завтрашнего дня, чтобы узнать курсы. Я решил, как только приеду в город, зайти к ювелиру за твоей брошью и брильянтовыми сережками и, если будет у меня завтра

время, сходить на Подол и купить тебе немного белья, скатертей, полотенец, детям на рубашки и еще кое-что из хозяйственных вещей, — не то, что ты говоришь, будто я тебя, упаси бог, забыл. Но так как у меня сейчас мало времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Поцелуй деток и кланяйся сердечно тестю, и теще, и каждому в отдельности. А Берл-Биньомину скажи от моего имени, чтоб он не принимал слишком близко к сердцу смерть жены. Все образуется...

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Из того, что я писал тебе о Василькове, ты, видно, ничего не поняла. Так как мне здесь жить нельзя, то я хочу сделаться местным купцом, а этого нельзя добиться сразу: надо хотя бы полгода числиться прописанным в Василькове. А как только стану здешним жителем, я сниму квартиру на Подоле и заберу сюда в добрый час тебя и детей. Ты очень зла на Егупец, но это потому, что ты не знаешь города и здешних людей. О самом городе и говорить нечего — картинка! А люди здешние — ну, прямо золото! Куда одесситам до них! Здесь мужчины и женщины такие сердечные, такие приветливые!.. Единственный недостаток, что они очень любят карты. Как только наступает ночь, все принимаются за работу, просиживают до утра и кричат: «Пас!» Крупные заняты игрой, которая называется «преферанц», а те, что помельче, играют в стукалку, в очко или в «тертель-мертель».

Тот же.

Х

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, чтоб ты не огорчался, — тебя можно поздравить: твой братец

Берл-Биньомин уже женился, в добрый час! Даже полных двух месяцев не выждал — уехал в Бердичев, который поставляет мачех на весь мир, и привез оттуда мамашу своим деткам, девушку лет девятнадцати! Такую бы жизнь и долю всем мужчинам, как красиво это все выглядит! Недаром мама говорит: «Лучше уж нам вдовами оставаться, нежели вам детей наших сиротами делать!» Представляю себе, как бы ты слезы проливал, Мендл, если бы тебе, упаси бог, пришлось меня пережить, — не дожить бы до этого егупецким дамам! Они бы налетели на тебя, как пчелы на мед, и подцепили бы тебя в первый же месяц! И было бы у тебя, как моя мама говорит: «Тут тебе и плошка, тут тебе и ложка» — мог бы навсегда остаться егупецким жителем! «Шумишь», — пишешь ты? Шуми! Лети! Прыгай в огонь! Я к тебе не поеду, даже если бы знала, что ты там на смертном одре лежишь! А твои пятьдесят тысяч меня мало трогают. Во-первых, ты мой — как с пятьюдесятью тысячами, так и без них, а во-вторых, твои пятьдесят тысяч значат для меня не больше, чем понюшка табаку. Запомни мамины слова: «Покуда деньги на бумаге — это бумага, а не деньги...» Скажу тебе правду, дорогой мой, если ты имеешь сколько-нибудь наличными и намерен ждать, пока из них станет непременно пятьдесят тысяч, то ты либо сумасшедший, либо злодей и разбойник, которому не жаль ни жены, ни детей. Мне нравится, как он кормит меня «завтраками»: завтра он будет у ювелира, завтра он купит мне белье — все завтра. Дурень эдакий! О завтрашнем дне пусть господь заботится. Ты купи лучше сегодня. Оторвешь и захватишь — все равно что найдешь! Моя мать, дай ей бог здоровья и долголетия, говорит очень умно: «На что тебе, дочка, подарки, скатерти, полотенца? Деньги пусть придет! Смерть, — говорит она, — не спрашивает у покойника, есть ли у него саван...» Подожду еще неделю-другую, пока не буду чувствовать себя вполне здоровой, а тогда я сажусь и еду, с божьей помощью, туда, к тебе, и тогда, Мендл, я тебе не позавидую! Я буду следовать за тобой по пятам, я там везде побываю. И ручаюсь тебе, что ты удерешь из Егупца среди темной ночи, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что творится нечто ужасное! Прибыли из Петербурга такие курсы, что у всех у нас в глазах потемнело. Словно громом убило, бомбой! Во всех конторах мрак, на Крещатике — землетрясение! И сразу же после Петербурга Варшава стукнула нас своими курсами. Началась суматоха, паника, столпотворение. Биржевики разбежались, будто корова их языком слизнула, а вместе с ними и я. Конец бирже! Конторы опустели, банкиры ходят без головы — все рухнуло! Представь себе, дорогая моя, что даже «Мальцевские», которые я считал, на худой конец, по две тысячи рублей, упали до девятьсот пятидесяти! Или, скажем, «Путивль»: скорее я мог рассчитывать на то, что они вообще провалятся, нежели на понижение со ста восьмидесяти до шестидесяти восьми! О «Транспорте» и говорить не приходится: сорвался, никто его и в руки не берет! То же самое и «Волга», и «Дон», и все прочие бумажки. Однако все это еще золото в сравнении с Варшавой. Там и вовсе беда! С тех пор как мир существует, такого несчастья не было. Варшава сшибла «лилипутов» с двух тысяч четырехсот пятидесяти на шестьсот двадцать! А «возочки», которые держались так хорошо, так чудесно; мы думали, вот-вот они до трех тысяч дойдут! А сегодня? И не угадаешь: четыреста шмардованцев!* Как тебе нравится такой курс? Светопреставление! Ну и Варшава! Отличилась! Гнала, гнала, и вдруг — на тебе! С чего все взялось, никто толком не знает. Один говорит одно, другой — другое. Дело тут, конечно, в деньгах, то есть в том, что денег нет! По-немецки это называется «гельд-мангель», а по-нашему просто: «Ни ломаного гроша!» Ты, пожалуй, спросишь, как же так, ведь только еще вчера деньги на улицах валялись? На

это никто тебе не ответит, но факт таков, что спекулянтов словно кипятком ошпарило, а заодно со всеми и меня. Скажу тебе правду: меня злость берет не столько на Петербург, сколько на Варшаву. Петербург двигался медленно: каждый день там понижались цены рублей на двадцать — тридцать, и все тут. Все-таки это более или менее прилично. А Варшава, — чтоб ей ни дна ни pokrышки! — ведь это прямо-таки Содом! * Упаси господи! Нет такого дня, чтобы она не рванула то полтораста, то двести, а то и триста рублей... Пощечина за пощечинной, — так что мы здесь все ходили как пришибленные, оглядываться не успевали! Миллионов стоит нам эта Варшава, миллионов! Бог ты мой, где же был наш рас-судок? Ах, если бы я тебя послушался, жена моя доро-гая, ведь я бы теперь всему свету три кукиша мог пока-зывать! Бродскому было бы далеко до меня! Но, видно, так бог велит. Не пришла, значит, настоящая пора... Хо-рошо еще, что мой банкир, дай ему бог долголетия, не торопит меня с уплатой нескольких рублей, которые я остался должен его конторе. Наоборот, он жалеет меня: обещает, когда положение улучшится, «подкинуть» кое-что, чтобы я при его помощи мог иной раз сколько-ни-будь заработать. Но пока делать нечего. По бирже хо-дят не спекулянты, а мертвецы. Маклеры околачиваются без дела. Биржа, говорят, умерла и не воскреснет. Не за что братья. Были бы деньги, я мог бы кое-как перебить-ся, переждать это лихолетие. Небо еще, как говорят, на землю не свалилось. Глупости! Сердце мне предска-зывает, что будет еще чем заниматься. Господь бог жив, а Егупец — это город... Не то, так другое... Но где взять деньги? Как твоя мама говорит: «Без пальцев и кукиша не покажешь...» Попытался было занять у кого-нибудь ненадолго, но все говорят, что в городе сейчас очень пло-хо с деньгами, даже крупным дельцам приходится туго, они еле дышат, ни за грош пропадают... Сотворил бы господь бог со мной чудо: пусть бы разбойники на меня напали и убили или так бы мне умереть на улице, пото-му что, дорогая моя, я уже не в состоянии все это пере-носить! Помилуй! Так хорошо, так крепко, так на месте я себя чувствовал! Держал в руках, как говорят, пол-ную шапку, и вдруг — на тебе!

Так как я очень пришиблен, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно.

Пока дай бог здоровья и удачи. Пиши мне, как поживают детки, как твое здоровье? Кланяйся сердечно тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Говорят в народе, что после пожара богатеют. Я полагаю, что после такого поражения, какое мы сейчас пережили, можно делать блестящие дела. Потому что все подешевело наполовину. Теперь можно было бы почти без денег делать «госики» с «премиями» на самые лучшие «бумажки». Я предсказываю и готов поклясться, что каждый, кто сейчас приобретает что-нибудь в Петербурге или в Варшаве, осчастливит себя! Я могу похвастать, что хорошо разбираюсь во всех тонкостях дела. Для биржевой игры требуются три вещи: сметка, удача и деньги. Сметка у меня, слава богу, ничуть не меньше, чем у всех здешних дельцов. Удача — это от бога. А деньги? Деньги — у Бродских.

Тот же.

XII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же сведения в дальнейшем.

А во-вторых, пишу тебе, дорогой мой муж, что, может быть, и следовало бы написать тебе очень много, но мне нечего писать, слов больше не хватает. Да и что из того, что я буду тебя проклинать, живым в могилу вгонять, — мне это разве поможет? Ведь я же не Блюма-Злата, которая мужа поедом ест. Я есть тебя не буду, я даже слова тебе не скажу, языком не шевельну. Одно только спрошу я у тебя, несчастье ты мое: скажи сам, не говорила я тебе, что так все это кончится? Не писала ли я тебе все время: Мендл, беги, беги, как от огня! На что тебе мусор, бумажки? Моя мама правильно говорит: «Сиди дома, сапоги целее будут...» Но он меня не слушает! Приковало его к Егупцу! Помереть готов за та-мошних людишек, — помереть бы им за меня, за тебя,

за всех нас. Стала бы я унижаться перед ними, занимать у них деньги! Дай им бог легкую хворобу и весеннюю лихоманку на целый год! Как моя мама говорит: «Лучше прибежать к самому концу молитвы, чем прибегнуть к самому лучшему человеку...» Но тебе я все-таки удивляюсь, Мендл! Ты ведь знаешь, что в священных книгах написано: «Не своей волею жив человек, не своей волею умирает», — зачем же ты говоришь глупости? Все от бога. Ведь ты же видишь: сам бог тебе указывает, чтоб не зарился ты на легкий хлеб в Егупце! Человек должен трудиться, мытариться и жену кормить! Вот Нехемия — тоже порядочный человек, в книгах знает толк, а посмотри, как он из кожи лезет вон, ездит по ярмаркам, пешком тащится, землю роет, работает, как вол. Он, быть может, тоже не отказался бы разгуливать, как ты, с тросточкой по Егупцу и палец о палец не ударять, торговать прошлогодним снегом, ездить в Бойберик и смотреть, как егупецкие дамы играют в карты... Но у него есть жена, которую зовут Блюма-Злата. Ей достаточно взглянуть на Нехемию, чтоб у него язык отнялся. Он и без слов ее понимает. А пусть придет ему такая блажь, что он приехал из Ярмолинца и не привез жене мантильи, или шляпки, или зонтика, или горести, или хворобы ей в душу!.. А что же? Так, как я, от которой ты отделяешься тем, что каждый раз обещаешь купить мне и то и другое, — а чуть до дела, так и нет ничего! Но ты, наверное, думаешь, что я очень нуждаюсь в твоих подарках? Нужны они мне — твои брошки и брильянты! Только бы мне дожждаться, увидеть тебя в добром здравии! Мне даже не верится, что ты еще жив! Сегодня ночью мне снилась бабушка Цейтл, царство ей небесное. Такая же, как и была, ни чуточки не изменилась. Поэтому я хотела бы уж дожждаться тебя и как можно скорее, как желает тебе счастья и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Конец второй книги

МИЛЛИОНЫ

КУПЦЫ, МАКЛЕРЫ И «СПЕКУЛЯНТЫ»

I

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже больше не спекулянт. Плюнул я на спекуляцию, не знать бы ее! Она измучила меня, как лихорадка, извела и состарила. Шутка ли, что мы тут пережили! От Егупца ничего не осталось, на бирже все вверх дном, тьма кромешная, как после войны, еще хуже, чем в свое время в Одессе. Все потерпели поражение, всех обуяла паника. Люди стали объявлять себя банкротами, а среди них и я. Что ни день, то новое банкротство. Банкротство прямо-таки в моду вошло! Чего уж больше? Крупные банкиры, львы, и те стали улепетывать. Начало положил банкир, через которого мы все вели дела по нашим «бумажкам» с Петербургом и Варшавой. Прихожу в одно прекрасное утро в контору: застряло там несколько моих «Мальцевских» и «Путивльских» акций, по которым ему с меня причиталась небольшая разница. Начинаю расспраши-

вать: где он, этот барин? А мне отвечают: поминай как звали, он уже давным-давно в Америке! Словом, поднялся переполох. Сразу же принялись за железную кассу и нашли там бутылку чернил и старый, потертый пятиалтынный да еще с дыркой. Другой оставил в нескороемом шкафу охапку старых календарей и удрал в Палестину. Третий, совсем крупный банкир, хоть и не обанкротился, но просто в течение недели вылетел в трубу с несколькими миллионами и остался при одном своем имени. Только Бродскому каким-то чудом удалось счастливо выскочить. Я убедился раз навсегда: если не суждено, — ничего не поможет, как ни мудри! Хорошо еще, что я вовремя спохватился и тут же занялся другим делом, почтенным делом, а именно: я стал маклером, просто маклером, здесь же, в Егупце, на бирже. Маклеров в Егупце, не сглазить бы, — что звезд на небе. Чем же я хуже их? У меня тоже как будто есть руки, и ноги, и нос, и глаза, как у всех людей, а таких родовитых, как я, здесь много, — тем не менее им всем пристало ходить с тросточкой и заниматься маклерством. Подумаешь, премудрость какая! Надо уметь соврать, а если к тому же иметь немного нахальства, то этого вполне достаточно, чтобы сделаться маклером. Наоборот, чем больше лжи и чем больше нахальства, тем искуснее маклер. Уверяю тебя, в Егупце есть маклеры, которые у вас в Касриловке могли бы быть разве что извозчиками, — еле-еле умеют имя свое подписать, и все же, сама видишь, как твоя мама говорит: «Захочет бог, так и веник выстрелит...» Надо только напялить на себя белую рубаху и шляпу получше, повсюду соваться, вынюхивать, ловить слово на лету, скок сюда, прыг туда и «Пожалте картаж!». Картаж — это комиссионные, плата... И до чего же это легкий хлеб — этот «картаж»! Ни забот, ни хлопот! Я только вчера сцапал полсотни, честное слово, даже не знаю за что! Я сделал десять тысяч пудов сахара легко, легче, чем папиросу выкурить. То есть сделали другие, а я просто втерся. Одним словом, я с божьей помощью хапнул полсотни! Если и дальше так пойдет, хотя бы в течение полугода, то я снова встану на ноги и буду тем, чем был прежде, потому что у нас в Егупце деньги играют главную роль. Самого человека здесь и в грош не ставят, кто ты такой по происхождению, — до этого никому дела нет. Можешь быть кем хочешь, чем угодно, — были бы деньги! Но

так как я занят и не имею времени, то пишу тебе вкратце. Бог даст, в следующем письме напишу все подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет детям, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Напиши мне, прошу тебя, что у вас слышно хорошего, идут ли дожди, как поспевают бураки и много ли жучков? Мне это необходимо знать, и как можно скорее!

Тот же.

II

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, душа моя, — погибель и холера на врагов моих! Ты изверг, Титус-злодей *, разбойник эдакий! Ты ведь знаешь, что жена твоя была при смерти после операции, которую сделал наш замечательный доктор, — дай бог твоим егупецким дамам... Я еле ноги волочу. А с детьми твоими сколько возни: зубки, горлышки, животики, дифтерит, всякие напасти и несчастья на головы врагов моих! Как это можно молчать столько времени, ни единого письма не написать? Одно из двух: если ты умер — напиши, а если ты еще жив, то тем более должен писать! Но что толковать с человеком, у которого не все дома. Как моя мама, чтоб она жива и здорова была, говорит: «Скорее пьяный протрезвится, нежели дурак поумнеет...» Можешь себе представить, горе мое горькое, когда я, Шейне-Шейндл, дочь Борух-Герша — мужа Леи-Двоси, должна быть женой маклера! Но чем люди не занимаются? Человек готов стать маклером, лоточником, гицелем *, лишь бы жить в Егупце, провались он сквозь землю! Затем ты пишешь, что заработал пятьдесят рублей на теперешних твоих замечательных делах и надеешься каждый день загребать по полсотни... Не каждый день бывает празд-

ник! Думаешь, это тебе одесский «Лондон», «бумажки» и всякие прочие твои счастливые дела, которые до сих пор у меня в печенках сидят? Дурья голова! У тебя пятьдесят раз подряд глаза на лоб полезут, прежде чем ты дождешься следующих пятидесяти рублей. А помимо всего, я вообще что-то не верю в твои егупецкие заработки, которые всегда начинаются так счастливо, а кончаются химерой. Ты, говоришь, очень счастлив, что не сошел с ума... Должна тебе сказать, что из твоего письма это не видно...

Пишешь ты что-то непутевое. Справляешься зачем-то о бураках, спрашиваешь, идут ли у нас дожди? Чего же ты хотел, чтобы летом падал снег? И какое отношение имеет мужчина к буракам? Да и откуда теперь возьмутся бураки? У нас варят борщ из рассола, из щавеля, а бураки поспеют только к осенним праздникам. И почему ты вдруг стал интересоваться жучками? Какие еще жучки на твою голову? Не хватало еще жучков? Мало того что с клопами возишься, — ему еще жучки попадались! Ну, скажи сам: в Егупце ты торчишь, сахар ты делаешь, пятидесятирублевки ты ловишь на лету — не хватает тебе только бураков, дождя и жучков! Понимаешь ли ты что-нибудь во всем этом? Моя мать — дай ей бог жизни и здоровья — говорит очень разумно: «Помешанный бьет чужие стекла, не свои...»

Так вот, послушай меня, Мендл! Брось ты все это и, если у тебя осталось еще сколько-нибудь от твоих пятидесяти рублей, приезжай домой, а если не осталось, я тебе вышлю на расходы. Вспомни о том, что у тебя дома есть жена — дай бог до ста двадцати лет! — и маленькие дети, которые ждут не дождутся отца. И пусть люди перестанут перемывать мои косточки, и пусть у меня лицо не горит от стыда, как желает тебе счастья и благополучия

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Да! А почему ты не интересуешься домашними делами? Тебя, видно, мало трогает, что мать расстроила брак моей сестрички? Думаешь, из-за денег? Деньги само собой. Но началось с того, что отец жениха приехал к нам на субботу. И мама с ним повздорила: намекнула на то, что он из мясников, закинула словечко насчет того, что от вола, кроме воловьего мяса, и ждать нечего,

и еще кое-какие шпильки подпустила. И вот он приехал домой — болячка ему! — и прислал отказ! А пока что бедняжка Нехама-Брайндл в третий раз разневестилась, — снова в девках сидит.

III

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домо-чадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что ты не совсем раскусила то, о чем я тебе писал. Не огорчайся, пожалуйста, оттого, что я из биржевика превратился в маклера, — все к лучшему! Я в Егупце не один. Здесь у нас — не сглазить бы! — маклеров хоть отбавляй: маклеры «сахарные», «биржевые», «хлебные», «денежные», маклеры, торгующие домами, именьями, лесами, машинами, баржами, бревнами, фабриками, заводами, железными дорогами — вообще всем, что только может в голову взбрести и чего твоя душа пожелает... Ни одна сделка не обходится без маклера. И каждый маклер прибегает к другому, потому что у одного маклера имеется покупатель, а у другого — продавец, вот и составляется пара. Затем часто случается, что к одному маклеру присосутся еще два-три маклера, тогда все делится куртажем, сколько кому придется. Если дележ не удастся кончить полюбовно, то либо полагаются на суд третьих лиц, либо поступают, как бывало в Одессе, — то есть «компезируют» оплеухами... Теперь ты уже понимаешь, что такое маклерство? Самые крупные маклеры — это сахарники, потому что весь сахар проходит через их руки, а они получают огромные деньги, разъезжают в собственных каретах, живут в Бойберике на дачах, играют в карты и имеют содержанок и шансонеток... Вообще я убедился, что маклерство — самое лучшее дело. Ибо чем маклер рискует? Одно из двух: если я

попал в точку, то мой клиент зарабатывает деньги, а если нет, то обоим нам могила!

Разумеется, ты права: не каждый день удается заработать полсотни. С того времени мне ничего больше не попадало, а тот заработок растаял в одну минуту, потому что долгов у меня было больше, чем волос на голове, к тому же я несколько рублей сам кое-кому одолжил и сейчас снова сижу без гроша. Однако надеюсь, что вскоре, с божьей помощью, устрою одно дело, и тогда я тебе пришлю переводом немного денег. А что я справляюсь насчет дождей, то это очень просто: сахар, понимаешь ли, делают из бураков, а бураку нужны дожди, иначе он расти не будет. Вот я и спрашиваю: часты ли у вас дожди? Но дай бог, чтоб дождей лучше не было, пускай жучки жрут бураки на чем свет стоит! Потому что, когда мало бураков, мало и сахара, а если сахар будет на вес золота, спекулянты станут делать дела, маклеры будут зарабатывать деньги, а в том числе и я.

Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе вкратце. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет сердечный деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты пишешь о твоей сестрице... Так вот, если у нее еще никого на примете нет, то у меня есть для нее жених, замечательный жених! Здешний, холостой, хотя не такой уж молодой, можно сказать в летах, с седоватой бородкой. Богачом его назвать нельзя. Но ремесло у него приличное: он маклер и трется среди сахарников. Если тебе это кажется подходящим, телеграфируй или напиши открытку, и я устрою им встречу.

Тот же.

IV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Египец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, славу богу,

вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу тебе я — все, что снилось мне в прошлую ночь, и эту ночь, и за весь год, все это пусть обрушится на головы моих врагов! Нашел, чему радоваться: если не будет дождей, то не будет бураков, а не будет бураков, не будет сахару, а когда не будет сахару, он заработает деньги! Точь-в-точь история с цыганом и медведем! А что ты скажешь, Мендл, если я тебе сообщу, что дожди у нас льют как из ведра, изо дня в день, что бураки прут из земли, как нечистая сила, а жучков, кроме клопов и тараканов, у нас и в помине нет, — легче тебе от этого?

Господь свидетель: я знала наперед, что от пятидесяти рублей у тебя одно воспоминание осталось; я знала наперед, что ты скорее растранижишь, раздашь в долг эти несколько рублей, чем подумаешь о том, что у тебя есть жена до ста двадцати лет! Давать деньги займа? Хворобу я бы им дала и все мои горести! Потому что, когда тебе придется обратиться за одолжением к ним, тогда увидишь, что никого дома не окажется. Как моя мама говорит: «Кто горазд брать, тот не любит давать», «Имел я милого дружка, покуда не дошло до кошелька». Но кто же во всем виноват, как не я сама? Шутка ли, так потакать мужу! Ведь он с жиру бесится! Не знает, что бы ему придумать! Шатается по Егупцу, словно граф какой, не хватает ему только дождей да жучков, а я здесь, как собака в конуре, из бед не вылезая! На каждом шагу какое-нибудь несчастье! Идет ребенок Мойше-Гершеле, — чтоб он сгорел! — падает и рассекает себе губу; было у меня колечко с камушками, прислуга украдала... Везет, слава тебе господи, со всех сторон... Как мама говорит: «Пришла беда — отвориай ворота!..» Ну, не права я была, когда говорила, что полусотенные на улице не валяются? А что касается жениха, которого ты предлагаешь моей Нехаме-Брайндл, то пускай уж он лучше сидит там в болячках, твой старый холостяк с седой бородой. Не доживет Егупец, чтобы мы оттуда женихов брали! Ей сватают знаешь кого? Первого ее жениха. Он развелся с женой, а сейчас снова сватается к моей сестричке. Пришлась, видно, по вкусу этому шарлатану! Но как мать говорит: «Лучше вор, да свой, чем раввин, да чужой...» А как только сватовство состо-

ится, мы их тут же и поженим, и хотела бы я посмотреть, как это ты не приедешь на свадьбу Нехамы-Брайндл, как желает тебе счастья и всего хорошего
твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Наш Коппл успел еще раз обанкротиться рублей на триста и уже снова уважаемый человек в местечке. А Берла, сына дяди Менаше, опять постигло несчастье: он погорел рублей на сто, а получает двести пятьдесят. Но мне кажется, что это уже последний пожар у нас в городе, потому что товарищество «Якорь», как поговаривают, перестало страховать касриловские дома и касриловские лавки. А Мириам-Бейля надумала: к чему ей парик? Не лучше ли щеголять собственными волосами? Подражает невесткам нашего богача, — болячка им! — которые с мужчинами в карты играют. Но я злословить не люблю. Как моя мама говорит: «Думай о себе, тогда о других позабудешь». И напиши мне, ради бога, что значит «сорежанки» и «шенжешетки». Что это такое и для чего это нужно?

V

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что ты оказалась права. Сахар действительно для меня не дело. Во-первых, от крупных маклеров-сахарников житья нет. Не успеешь оглянуться, как налетает самый крупный маклер и выхватывает прямо из-под рук, хоть он и без того богат, — и поди жалуйся на него господу богу! Ты, пожалуй, спросишь: «Как же так? Где же справедливость?..» Должен тебе сказать, что в Егупце таких вопросов не задают. Справедливость здесь товар не ходкий. «Любезность», «жалость» здесь не водятся. Это одно. А в-третьих, я тебя спрашиваю, скажи на милость,

что это за занятие такое, это самое сахарное дело, когда день и ночь приходится смотреть на небо и молить бога то о дожде, то о засухе?.. Вообще я убедился, что это не для меня. Нужно быть большим нахалом, плюнуть на календарь, а спекулянту внушать, что он ни черта не смыслит, и говорить до тех пор, пока человеку не делается дурно, пока его не прошибет холодный пот... А я — бог мне свидетель — ничего этого не умею. Я люблю заработать свой рубль с почетом. Сейчас у меня, с божьей помощью, дело, о котором я, по крайней мере, знаю, что это — дело! Я трусь возле денег, устраиваю займы, учет *, то есть я занимаю и одалживаю деньги под векселя, иначе говоря, я учитываю чужие векселя из божеского процента. Как говорится: прибыли меньше, зато сон спокойнее. Это такое дело, при котором тебе со всех сторон почет оказывают. Потому что, какие уж там чины, когда деньги нужны... Люди становятся мягче воска, готовы живыми в гроб лечь, а маклеру сулят золотые горы... Встретился мне здесь один мануфактурщик из Бердичева, познакомился я с ним у себя в заезжем доме. Прекрасный молодой человек, с замечательным характером. Он обещает, если я устрою ему кредит тысяч на десять — пятнадцать, так вознаграждать, что я смогу даже маклерство бросить... Хотя я до сих пор денег еще не достал, но есть надежда, что я их, с божьей помощью, наверное, раздобуду. Все маклеры, устраивающие денежные дела, здорово наживаются, разъезжают на собственных лошадях. А собственный выезд, надо тебе сказать, — это хорошее средство для заработков, так как в Егупце хорошему выезду оказывают гораздо больше почтения, нежели человеку... Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно.

Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам, и тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! То, что ты пишешь о банкротстве Копла, кажется мне смешным в сравнении со здешними банкротствами. Купца, который не обанкротился хотя бы три раза, здесь и купцом не считают. В былые времена банкроты обязательно удирали. Теперь это вышло из моды. Здесь даже не говорят «обанкротился», гово-

рят: «Он не платит». То есть он не желает платить — и делай с ним что хочешь! Ты спрашиваешь, что такое «содержанки» и «шансонетки»? По-древнееврейски это означает «наложницы», а по-нашему их называют «веселыми женщинами». Но, право же, мне они и в голову нейдут...

Тот же.

VI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что от твоих замечательных писем у меня уже, право, сердце пухнет, пусть горою пухнут мои враги! Только что ты, кажется, делал сахар — и вдруг заимодавец! Откуда у тебя деньги взялись? А уж если случилось, что ты и вправду заработал несколько рублей, так ты должен их тут же растратить? Ведь ты сам совсем недавно писал, что как только перепадет тебе немного денег, ты сразу же пришлешь мне перевод. Чего стоит твое слово? Но моя мать, дай ей бог здоровья, права, когда говорит: «Дочь моя, от туда денег не жди, потому что с кладбища ничего не возвращается, а в особенности, — говорит она, — из почтенного, замечательного города Егупца, чтоб он сгорел! Я тебе, — говорит она, — уже не раз повторяла поговорку: «Упаси меня, боже, от бердичевских богатеев, от уманских святош, от константиновских факторов, от могилевских богохульников, от каменецких ходатаев и от егупецких шалопаев!» Скажи сам, разве она не права? Но что ему жена, что ему дети? День и ночь — то одно, то другое... Мало ли мы в прошлом году, — не теперь будь сказано, — провозились с копейкой, думая, что Мойше-Гершеле ее проглотил?

А на прошлой неделе он (бесенок, а не дитя!) надумал и чуть на тот свет не отправился. Был здоров, весел... Вдруг вижу, дитя мое кончается! Клонит головку набок и кричит не своим голосом. «Что с тобой, сыночек,

золотко мое, скажи, что у тебя болит?» Показывает ручкой на левое ухо и кричит. Я его тискаю, целую, щипаю, обнимаю, а он все кричит! Лишь на третий день я привела доктора. Спрашивает он меня, этот умник, смотрела ли я ребенку ухо? Я говорю: не только смотрела, я уже и спицей ковыряла, ничего не видно! Тогда он меня спрашивает, что мы ели в прошлую субботу? Я говорю: «Что евреи едят в субботу? Редьку, лук, студень, кугл *, что вам еще нужно?» Тогда он говорит: «Может быть, вы варили фасоль, или горох, или другие овощи?» Я отвечаю: «А в чем дело? А если мы и ели горох? По этому случаю ребенок должен держать головку набок и кричать?» А он и говорит: «Коль скоро у вас в доме был горох, ваш ребенок, вероятно, играл с сырым горохом и сунул себе горошину в ухо, а она там у него разбухла и проросла...» Словом, он притащил какую-то машину, полчаса мучил ребенка и вытащил у него из уха целую горсть гороха! Вот тебе, только этого не хватало! Весь мир уписывает горох за обе щеки — и ничего, а у меня без чудес не обходится! Как мать говорит: «Неудачник и на траве поскользнется, и нос себе расшибет». Так вот, дорогой мой супруг, на что тебе сдались займы, дела с бердичевскими жуликами, с банкротами, — собери свои несколько рублей и приезжай домой, здесь тоже найдется для тебя дело. Как мать говорит: «За деньги все получить можно, не считая лихорадки...»

Как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Знаешь, о чем я попрошу тебя, Мендл? Не пиши ты мне о твоих егупецких шарлатанах с веселыми женщинами — я и слышать их поганого имени не желаю! Пускай они там в огне сгорят! Послушай лучше, какая история произошла у нас. Сын Лейви Мойше-Мендлова, Борис, как его называют по имени деда Бериша, царство ему кромешное (поганец, каких мало), зашел на прошлой неделе с двумя служками к Либе Мойше-Мордхе-са в лавку и обращается к дочке Либиной, Фейгеле (она себя называет Фанечкой): «Фанечка, душенька, покажи пальчик!» Фанечка показала. Тогда он надевает ей кольцо и произносит: «Будьте свидетелями, господа, в том, что я обручился с ней по закону Моисея и Израиля!»

Поднялась суматоха, шум, гам. Либа упала в обморок, весь город сбежался полюбоваться на это зрелище.

Вмешались люди, побежали к раввину. А раввин говорит, что брак законен, и, для того чтобы расторгнуть его, Борис должен дать ей развод! Но Фанечка заявляет, что она вовсе не хочет разводиться, она, оказывается, втюрилась в него уже давно... Сговорились обо всем заранее. Ну, что ты скажешь? Все мои беды — на их головы!

VII

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные весты. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что денежное дело — это нищенское занятие. То есть вообще давать займы, может быть, не так уж плохо, но для этого нужны свои деньги, а не чужие. Бегаешь, суетишься — и все понапрасну! Нечего завидовать человеку, который вынужден прибегать к милости здешних заимодавцев, ко всем этим бердичевским, винницким и шполянским ростовщикам, которые растут без дождя, как крапива... И даже крупные, с позволения сказать, банкиры, — не жели прибегать к ним, лучше уж сидеть дома и стричь «кумпоны»... Словом, я плюнул на денежное дело и принялся за дома. Почему за дома? Потому что здесь, в Егупце, объявился новый вид спекуляции — домами! Небось думаешь, что в Егупце покупают дома так же, как у вас в Касриловке? Ошибаешься. Здесь, когда покупают дом, его сразу же несут в банк и получают под него деньги; потом его закладывают и снова получают деньги; потом сдают квартиры и опять-таки получают деньги. Словом, покупают дом без гроша и становятся, в добрый час, домовладельцами. Ты, пожалуй, скажешь, если так, то ведь каждый может иметь свой дом! На это я тебе отвечаю: где же взять деньги для задатка? Конечно, если я, с божьей помощью, проведу дело, которым я сейчас занят (я собираюсь сделать парочку домов), тогда я и

сам куплю дом (на твое имя) тысяч за двадцать, не вкладывая ни ломаного гроша... Вот тебе расчет, как на ладони: пятнадцать тысяч дает мне банк, шесть тысяч я получаю по второй закладной*, — стало быть, тысяча уже остается у меня в кармане! Так что на расходы я уже частично имею... А где же квартирная плата и прочие доходы? А как же, ты думала, делаются богачами в Егупце? Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! История о том, как сын Лейви Мойше-Мендлова обручился с Либиной дочерью, мало меня удивляет. Здесь, в Егупце, без влюбления ни одно сватовство не обходится: жених и невеста обязательно должны раньше крутить любовь, иначе и сватовство не сватовство. Здесь часто случается, что муж бросает свою жену и влюбляется в чужую жену, или жена покидает мужа и влюбляется в другого, а жена того мужа влюбляется в жену мужа той жены, то есть в мужа той жены... Обмениваются, так сказать: мое — твое, а твое — мое... Это тебе не Касриловка, это Егупец...

Тот же.

VIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получить такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе — где это слыхано на свете, чтобы молодой муж покинул жену и детей, тещя и тещу, пустился бы в чужой город и что ни день занимался новым делом: то он делает сахар, то занимает деньги, то делается владельцем собственного дома в Егупце, да еще без гроша денег?! Нежели иметь дом и быть должным за него больше, чем он стоит, пускай он

лучше сгорит дотла вместе с остальными домами в Егупце. Подумаешь, какое меня ждет счастье! Когда у него уладятся дела и он заработает деньги, он мне купит дом на мое имя... На что мне дом? Ты пришли лучше деньги, а я уж сама куплю что надо. Как мать говорит: «Был бы хлеб, а ножик мы и сами найдем...» Ведь это же прямо-таки напасть какая-то, сглазили меня, да и только! Казалось бы, чем я хуже Блюмы-Златы? Такая же женщина, такая же красавица, а ума мне тоже у нее не занимать стать... За что же, спрашивается, выпала мне такая несчастная доля, а Блюму-Злату с каждым днем распирает все больше вширь — высохнуть бы ей, как щепке, господи милосердый! Но, с другой стороны, что, собственно, имею я против Блюмы-Златы? По моей земле она не ходит. Пускай себе живет и здравствует со своим Нехемией, а мне пусть бог поможет, в свою очередь. Как мать говорит: «Лучше себе пожелать, нежели другого проклясть...» Просто больно делается, когда видишь, что люди живут, одеваются, а я должна сидеть вдовой при живом муже и дожидаться, авось кормильцу привалит счастье: поп уронит, а он поднимет, — тогда он выстроит мне дом в Егупце. Не дождется твой Егупец, чтобы я ради твоих расчудесных людей, которые обмениваются женами, пожертвовала всем, пустилась туда к тебе, сняла бы парик * и сделалась у тебя наложницей... Пускай они себе голову сломят на ровном месте, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

«Ни красоты не нужно, — говорит мама, — ни ума: счастье нужно». Сравни, к примеру, мою Нехаму-Брайндл и Рохл тети Двойры. Эта хороша, как летнее солнце, а та — кислятина. А вот поди же: Нехама-Брайндл, бедняжка, сидит в девицах, а Рохл выходит замуж за какого-то разяву из Ямполя, очень порядочного, честного, тихого, то есть глуповатого, но из очень родовитой семьи. У него, говорят, сестра выкрестка. Он, правда, не совсем здоров, но зато солдатчины не боится. Удовольствие смотреть на эту парочку. Она думает, что умнее никого на свете нет, а он уверен, что никого красивее нет. Как моя мать говорит: «Не то любо, что хорошо, а то хорошо, что любо...»

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

Во-вторых, да будет тебе известно, что возня с домами — дело пустяковое. Я вовремя спохватился и занялся другим товаром — имениями. Имения — это совсем не то! Во-первых, не нужно сапоги трепать: напишешь письмо, отошлешь опись, тот съездит, посмотрит землю, и дело, с божьей помощью, сделано. А во-вторых, имеешь дело не со злыднями, не с нищими, а с господами, с помещиками, князьями, графами! Ты, пожалуй, спросишь, каким образом я очутился среди графов? Это целая история.

Ты ведь знаешь, что жить здесь мне нельзя. А так как часто случается, что полиция навевывается к нам в гостиницу по ночам для проверки и «очистки», то хозяйка нас обычно об этом предупреждает, чтобы мы могли вовремя растаять как дым: кто в Бойберик, кто на Демиевку*, а кто — на Слободку... * Но иной раз хозяйка и сама не знает, когда нагрянет облава, — в таких случаях очень скверно! Однажды на той неделе лежим это мы, все гости, и спим... Вдруг слышим — стучат. Хозяйка соскакивает с постели и обращается к нам, вся дрожа:

— Евреи! Марш из дому, ползайте в солому!..

Поднялась беготня, стали прятаться: кто в погреб, а я — на старое свое место — на чердак, и следом за мной еще один человек из Каменца. Лежу так на чердаке, кошки скребут на сердце, и слышу я, как человек этот стонет.

— Чего вы вздыхаете? — спрашиваю я шепотом.

— Горе мое горькое! — отвечает тот. — Бумаги свои я оставил в изголовье. За бумаги беспокоюсь.

— А что это за бумаги?

— О, — говорит он, — очень нужные бумаги! Стоят по меньшей мере полмиллиона.

Услышав такие речи, я потихоньку придвинулся к моему соседу и спрашиваю:

— Откуда у вас столько бумаг? И что это за бумаги такие?

— Это имения, — отвечает он. — Есть у меня имения в Волынской губернии, крупные имения, с угодьями, с лошадьми и волами, с овцами и водяными мельницами, с винокуренными заводами, с прекрасными дворами, с роскошными садами, со всяческим добром!

Я придвинулся к моему соседу еще ближе:

— Откуда у вас столько имений, откуда такие богатства?

— Имения, — отвечает он, — принадлежат не мне, не на моем мусоре выросли. Это барские имения, но они у меня на руках. То есть я должен их продать, ради этого-то я и приехал сюда, привез с собою все бумаги, описи. Как вы думаете, не пострадаю я?

— Боже упаси! — говорю я. — Кому нужно чужое? Дай бог, чтобы сюда на чердак не добрались...

Тем временем пробую пощупать его с другой стороны.

— Ну, а вы уже что-нибудь сделали с вашими имениями?

— Нет, — отвечает, — пока еще ничего. Боюсь здешних маклеров. Они, говорят, ужасные лгуны, ни одному их слову верить нельзя! Может быть, вы знаете маклера по имениям, но только порядочного человека, честного, не лгуна?

— Ох, — говорю я, — с большим удовольствием! Я сам маклер по имениям. То есть с имениями я в жизни своей дела не имел, но это ничего не значит: дал бы только бог покупателя, — можно и имение сделать.

— Я вижу, — сказал тогда мой маклер, — что имею дело с настоящим человеком, с порядочным человеком. Дайте же мне слово, что все это останется между нами, и я передам вам все, — где расположены мои имения и что в них находится.

Словом, мы, с божьей помощью, сделали дело, то есть решили работать на паях: он вкладывает в дело все свои имения, а я — своих покупателей. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Тревога в гостинице оказалась напрасной. Какой-то сосед по ошибке постучал к нам в окно, а мы зря разбежались. Но из этого ясно видно: что бы господь ни творил, все к лучшему. Например, если бы сосед не постучал в окно, не было бы никакой тревоги, я не оказался бы на чердаке, не познакомился бы с маклером из Каменца и не знал бы никаких имений и никаких графов. Теперь бы только хоть немножечко удачи.

Тот же.

Х

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, пишу я тебе, что меня одолел кашель, — дай бог твоим егупецким мадамам того же. И козье молоко уже пью, уже и у доктора была. Сколько эти доктора вытянули у меня денег за последние годы, — прохворать бы им столько же с аптекой заодно. Хорошо еще, что у нас вторая аптека открылась и можно поторговаться.

Поздравляю тебя с твоими новыми делами, с именьями и графами! Только и знает, что каждый день новое занятие выискивает! Мало того что он такой расторопный да удачливый, — он еще привередничает: во всем недостатки находит... Как моя мама говорит: «Девица плясать не умеет, а говорит, что музыканты плохи...» Боюсь я, Мендл, что ты до тех пор будешь хвататься за всякие дела, пока не начнешь торговать на улице спичками, как сын тети Соси Гецл, который пустился в Америку, думал, что там он кота за хвост поймает, а сейчас такие письма шлет, что камень и тот растрогать можно. В Америке, пишет он, каждый вынужден работать до полусмерти, не то, хоть распухни с голоду, никто тебе куска хлеба не подаст... Чудная страна, чтоб она сгорела вместе с твоим Егупцем! Поделом вам! Моя мама говорит: «Имеешь хлеб — не гонись за пряником!» Очень хотела бы, чтобы господь сотворил чудо, и мне не пришлось бы в близком будущем услышать о тебе то же, что

рассказывают о Гецле, сыне тети Соси, а может быть, что-нибудь и похлеще... Как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

«Земля и небо, — говорит мама, — поклялись, чтобы в мире ничего не пропадало без следа!» Приехал к нам из губернии чиновник и рыщет и докапывается, — хочет узнать, куда девались деньги, что Мойше-Мордхе завещал на общественные дела. Какие-то бездельники донесли, будто деньги остались у нашего богача. А богач говорит, что деньги ушли. Куда ушли? На ветер... Хоть бы его к арестантским ротам присудили, боже милосердый!..

XI

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что у меня уже имений свыше чем на миллион! Есть у меня имения на редкость — таких никогда и не увидишь! Ты, пожалуй, спросишь, откуда у меня столько добра? А вот послушай.

Когда я вышел на биржу со своим компаньоном из Каменца и объявил, что продаю имения, ко мне со всех сторон посыпались маклеры, у которых тоже есть имения для продажи, и мы сделали дело, а именно: мы поменялись имениями, то есть мы им дали описи наших имений, а они дали нам описи своих. Так что одно из двух: если мы сделаем их имения, то мы наверное заработаем; если же они сделают наши имения, то мы опять-таки заработаем. Так или иначе — мы ничего не теряем! Словом, я втерся в компанию маклеров и сам стал, с божьей помощью, не из последних, сижу уже у Семадени наравне со всеми за белым мраморным столиком, как в Одессе, и пью кофе со сдобными булочками. Такой

уж здесь обычай, — не то подходит человек и выгоняет вон. Тут, у Семадени, и есть самая биржа. Сюда собираются маклеры со всех концов света. Здесь всегда крик, шум, гам, как — не в пример будь сказано — в синагоге: все говорят, смеются, размахивают руками. Иной раз ссорятся, спорят, затем судятся, потому что при дележе куртажа вечно возникают недоразумения и претензии; без суда посторонних лиц, без проклятий, кукишей и оплеух никогда ни у кого — в том числе и у меня — не обходится. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Есть у меня в Волынской губернии имение с дворцом. Во дворце этом шестьдесят шесть комнат, потолок и полы в них не более и не менее — сплошь из зеркального стекла, есть и сад, который называется «анджиреей». В этом саду и летом и зимой растут лимоны и апельсины. Затем лошади там, кареты — загляденье! И все это продается за бесценок! Послал бы мне господь бог хорошего покупателя, — кто бы тогда сравнялся со мной? Беда только в том, что маклеры имений в большинстве случаев на язык слабоваты, то есть не прочь иной раз преувеличить... Но что поделаешь? Ради заработка и привирать приходится.

Тот же.

XII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я уже кровью харкаю от твоих веселых писем! Стыд и срам показать кому-либо, что ты пишешь. Как моя мама говорит: «Самая страшная боль та, которую не выскажешь!» Что это за

работа, спрашиваю я тебя, сидеть по целым дням у Симе-Дины (кто она такая, ко всем чертям? Была у нас когда-то Симе-Дина — лекариха, но ее уже давно на свете нет!) и распивать кофе с булочками в будний день? Подумаешь, нашел чему радоваться: у него есть для продажи именина с шестьюдесятью шестью комнатами — шестьдесят шесть волдырей на языки моим врагам! И правда-таки, но что ему там в Егупце, если я здесь денно и ночью вожусь с его детьми? Вот вчера только Лееня — дай ей бог здоровья — подралась с Мойше-Гершелем и угодила ему вилкой в лицо. Хорошо еще, что не в глаз! Но что тебе мои слова — в одно ухо вошло, в другое вышло... Ведь это же прямо неслыханно! Пишу, пишу, разрываюсь на части, а он сидит себе, как проклятый, в Егупце, пьет кофе и любит драками маклеров на бирже! Хоть бы господь бог кого-нибудь надоумил отдубасить тебя по заслугам! Может быть, ты бы тогда поумнел, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная жена *Шейне-Шейндл*.

Можешь гордиться, Мендл, своими аристократами, погибель на них! Послушал бы ты, что творится у нас в городе с нашими двумя молодыми докторами — доктором Кубебе и доктором Лакриц. Дерутся, как кошки. Доктор Кубебе надумал и подал жалобу на доктора Лакрица, будто он отравил ребенка. Тогда Лакриц, не долго думая, сообщил, что Кубебе вместе с агентом Файвлом застраховали покойника в обществе «Якорь». Тогда Кубебе донес, будто доктор Лакриц... Впрочем, пускай они оба скапуются вместо меня, и моей семьи, и всех моих родных, и всего нашего народа!

XIII

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Амины!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я сейчас торгую исключительно лесом, потому что имение без леса — это дом без трубы! Самая изюминка всякого имения — это лес. Торговля лесом многих осчастливила, миллионерами сделала. Ты, пожалуй, спросишь, откуда у меня взялся лес? А вот послушай, как бог направляет человека. Когда я занялся имениями и стал водиться с маклерами, я как раз наскочил на одного из крупных. Он меня и спрашивает:

— Что у вас за товар? А ну-ка, покажите!

Достаю свою пачку описей — имений там на миллион семьсот тысяч — и выкладываю.

— Извините меня, — говорит он, — я должен вам сказать, что имения ваши и трех понюшек табаку не стоят.

— Как так? Почему?

— А потому, — отвечает он, — что все ваши имения — голые! Небо и земля, еще раз небо и земля и опять-таки небо и земля! А где же лес? Что толку от имения, когда в нем леса нет? Что же вы молчите? Лес давайте мне, лес!

Словом, пришлось промолчать: мне перед самим собой стыдно было за то, что я ношусь с ничем не стоящим товаром!

— Если так, — говорю, — дайте вы мне хорошее имение с лесом. У меня покупатель найдется.

— О! — отвечает он. — С большим удовольствием. У меня, — говорит, — есть для вас лес, в который человеческая нога не ступала. Там имеются деревья, стоящие от сотворения мира, дубы до облаков, кедры ливанские. С одной стороны — железная дорога, с другой стороны — река. И где, вы думаете, протекает река? Вот лес, а вот и река: хватить по дереву — бултых в воду!

Услыхав такие речи, я тут же пошел поразнюхать насчет покупателя, и господь мне помог — наскочил на нужного человека. Узнал, конечно, через маклера, а этот маклер — через другого. Но это ничего не значит, только бы дело выгорело — хватит на всех. Пришел я к покупателю и предлагаю: так, мол, и так, лес стоит от сотворения мира, с одной стороны — железная дорога, с другой — река: хватить по дереву — бултых в воду! Конечно, ему это дело понравилось. Взял он меня на цугундер, стал расспрашивать, как лес называется, где он находится, какие в нем растут деревья, скольких они аршин от земли,

высота, ширина, от какого места начинаются ветви, какая на них кора, как расположены слои внутри дерева, как туда проехать, какова дорога, снежная ли в тех местах зима?.. Словом, засыпал меня вопросами и не дал слова сказать в ответ. Наконец он обращается ко мне:

— К чему нам пустые разговоры? Принесите опись леса, тогда потолкуем.

— На что вам, — отвечаю, — опись? Давайте-ка я лучше слетаю на одной ноге и приведу к вам самого хозяина леса, ведь это же лучше тысячи описей!

В общем, сбегал, поймал и привел прямо к покупателю в номер. Увидели друг дружку лесовладелец и покупатель да как расхохочутся, я думал с обоими тут же удар случится.

— Вот это и есть ваш лесовладелец? — спрашивает покупатель.

— Вот это и есть ваш покупатель? — спрашивает лесовладелец.

В это время открылась дверь, вошли еще двое, и все вместе, без дальних слов, уселись за стол, достали карты и затеяли вчетвером партию в очко. А дело отложили на завтра. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет тестю, теще, деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

XIV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что мне уже жизнь не мила. Как моя мама говорит: «Нежели так ехать, лучше пешком ходить...» Могу себе представить, — горе мое горькое! — кто такие твои купцы: к ним приходят говорить о лесе, которому и цены нет, а они, бросив все дела,

салятся на всю ночь играть в очко, чтоб у них в голове так окало, как окает у меня в груди, когда начинает донимать проклятуший кашель! Горе, горе! До чего я дожила! Мой муж, который не знал, как выглядят карты, теперь говорит о картах! Не хватало еще, Мендл, чтобы ты на старости лет картежником сделался! Новое несчастье — леса! Что у тебя общего с лесом? Ты видел хотя бы когда-нибудь, как дерево растет? Недаром мама говорит: «Где уж равнину свиньями торговать?!» Боюсь, что от твоих лесов будет не больше толку, чем от всех твоих золотых дел, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Весь свет только и делает, что носится с тобой! На прошлой неделе твоя родственница Крейндл — провалилась она сквозь землю! — встретила на рынке возле рыбного ряда мою мать и стала меня оплакивать, — болячка бы ей, господи! Почему, говорит, я не развожусь с тобой, и пусть будет покончено с этим делом. Можешь себе представить, мать в долгу не осталась! Она с ней не ссорилась, упаси бог, не ругалась, но доняла ее словечками, как она умеет: «Там, где двое на одной подушке, третьему делать нечего. Нежели новый черепок, лучше старый горшок... Друзья, что крапива — растут без дождя... Почему бы ей на более близкого не оглянуться?.. Каждый чует, что другой чесноку наелся... Отрастил бык длинный язык, а трубить не умеет...» Такими и подобными словечками мать донимала ее до тех пор, пока та не ушла, — у нее и язык отнялся...

XV

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что «лес» оказался «степью». Ни медведей, как говорится, ни чащи!

Ни леса, ни деревьев, ни реки — чепуха, прошлогодний снег! Зря морочил голову и другим и себе, зря ноги бил, зря сапоги трепал. Я убедился, дорогая жена, что леса — это не для меня, иметь дело с такими лгунами мне не по силам. Они способны выдумать, что на небе — ярмарка, по их милости можно и в тартарары провалиться! Что же мне оставалось делать? Я вовремя спохватился и принялся за другое — за заводы (то есть фабрики, где делают сахар). Это сейчас самое выгодное дело. Люди покупают заводы, а маклеры зашибают деньгу, богатеют! Есть тут один маклер из Белой Церкви, он втерся к Радомысльским, каждую неделю делает для них два-три заводика, получает свои десять — пятнадцать тысяч рублей и уезжает на субботу домой. Куда уж больше? Служители, факторы заделались маклерами заводов, носят золотые часы, говорят по-немецки, страдают уже от катара желудка, посылают своих жен на воды, стали большими аристократами. Словом, единственное дело, оставшееся в Егупце на бирже, — это заводы! Заводы делают все маклеры, а в том числе и я. Тебе, наверно, интересно знать, каким образом я пристроился к такому фундаментальному делу? Ведь я даже не знаю, с чем это едят! А вот послушай, как бог направляет человека.

Уже давно я перестал бывать у Семадени (не Симедина, как ты говоришь. Это вообще не женщина, а мужчина, и порядочный изверг к тому же). А перестал я бывать не потому, что я с ним поссорился, а просто опротивело мне кофе с булочками, да и денег нет при себе... Стал я вместе с другими шататься по улице. Тут я познакомился с одним маклером по заводам, видно, очень порядочным человеком и с большими связями. Он вхож, говорит, к самым большим людям, даже к Бродским.

— Из каких краев будете? — спросил он меня.

— Из Касриловки. То есть родился я в Ямполье, прописан в Мазеповке, жену взял из Касриловки, а торговать — торгую в Егупце.

— А что такое эта самая Касриловка? Деревня или местечко?

— Что значит, — говорю я, — местечко? Это настоящий город!

— А евреям там разрешается жить?

— Еще как разрешается!

— Ну, а река, — спрашивает он, — у вас есть?

— Да еще какая река! — отвечаю. — Штинкайла называется!

— Ну, а железная дорога далеко?

— Да нет! Всего в каких-нибудь семидесяти с лишним верстах. А почему это вас интересует?

— Давайте, — отвечает, — вашу руку! Дайте слово, что все это останется между нами. Могу вам сообщить, реб * Менахем-Мендл, что мы, с божьей помощью, вскоре заработаем деньги, много денег, полную шапку! Только что мне пришла в голову мысль, да такая, что раз в сто лет приходит. Дело в том, что желающих покупать заводы сейчас развелось много. А заводов нет. Сколько было, расхватили Радомысльские. А больше и продавать не хотят. Поэтому народ принялся за постройку новеньких, свеженьких заводов. А так как в деревни евреям доступа нет, то и приходится строить заводы в местечках, где евреям жить разрешается. Теперь вы уже понимаете, что ваша Касриловка с первых дней творения создана для того, чтобы в ней был построен заводик? А у меня как раз есть клиент, который может построить завод стоимостью в полмиллиона рублей, было бы только место. Все места порасхватили! Не знаете ли вы, с кем можно переговорить, растут ли там бураки и найдется ли место для постройки завода?

— Ох! — отвечаю я. — С превеликим удовольствием! У меня там, — говорю, — жена, дай ей бог долголетия, и тесть, и теща, и вся родня. Могу сейчас же написать туда письмо, и вы можете быть уверены, что мне немедленно ответят обо всем подробно.

Так вот, дорогая жена, я и пишу тебе и прошу повидаваться с Азриелем-старостой и с Мошкой-рыжим — он трется возле начальства... Пусть он выпытает, есть ли место, сколько можно получить бураков и почем? Обо всем этом немедленно сообщи мне письмом. Это необходимо! Тут, понимаешь, пахнет крупным заработком — тысяч десять — пятнадцать, не меньше!

Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу все подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечно кланяюсь каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Я расспросил моего компаньона и узнал, что клиент его один из Радомысльских, купец очень азартный: все они, Радомысльские, люди горячие и очень охочие до заводов, будь то хоть ветряная мельница, была бы только труба да гудок. Поэтому я надеюсь, что дело это верное, и мы, с божьей помощью, заработаем. Правда, у нас довольно-таки много компаньонов, чуть ли не целый десяток. Но пускай уж выгорит дело, а за богатствами, ты знаешь, я не гонюсь!

Тот же.

XVI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупце

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я читала и перечитывала твое послание, но не поняла ни слова. Чего ты хочешь? Спрашиваешь, есть ли места? Так вот могу тебе сообщить, что у нас на новом кладбище мест сколько угодно, на пол-Егупца хватит. И почему тебя так интересуют бураки? Почему ты заодно не спрашиваешь о капусте, о хрене и пастернаке? А что касается реки, то дай бог такую долю твоим компаньонам, какая у нас вода! Чуть весна наступит, здесь пьют воду с головастиками, а летом всю реку затягивает зеленью, как травой. Очень хотелось бы, чтобы твои егупецкие ловкачи, которые возятся с желудками, попробовали нашу водичку в середине лета! Нет, Мендл, пускай они хиреют у себя в Егупце, а уж мы как-нибудь обойдемся без их заводов. Выбей себе, Мендл, дурь из головы! Ты так же будешь делать заводы, как делал леса, имения, дома и сахар. Ручаюсь, что прежде, чем ты успеешь оглянуться, твои компаньоны тебя кругом облапошат, потому что ты был растяпой и останешься растяпой, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Да, скажи, пожалуйста, Мендл, что это еще за новости у нас передают? Говорят, будто там, в Егупце, уже записываются на Палестину. Кто уплатит сорок копеек, тот едет. Что это такое? У нас об этом сильно поговаривать стали. Молодежь собирается каждый вечер у Иосла Мойше-Иосиса и толкует о Палестине. Словом, столпотворение. Как моя мама говорит: «Давно уже шуму не было!»

XVII

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домо-
чадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Амины!

А во-вторых, да будет тебе известно, что погоня за заводами почти прекратилась. Наступил кризис, и сейчас заводы, можно сказать, на улице валяются: нет на них покупателей! Народ, понимаешь ли, объелся заводами, даже через край хватил, деньги дороги, а сахар продают за бесценок, потому что столько сахару понаделали, что его и девать некуда, хоть брось! Дело загублено, заводчики готовы жизнь отдать за копейку, капиталисты воздерживаются, а маклеры болтаются без дела, и я тоже!

Но ты, чего доброго, можешь подумать, что на этом свет клином сошелся? Не беспокойся, дорогая моя, и господь еще на небе сидит, и Егупец еще на месте стоит. Такие человечки, как я, не пропадают. Наоборот, именно сейчас у меня есть надежда выплыть. Я веду сейчас дело, которое должно дать на мою долю чуть ли не сто тысяч! Это огромное дело, миллионов на десять, а может быть, и больше. Этому нет границ! Возможно, что одного только золота там на много тысяч. А серебра, а железа, а меди, а свинца, а ртути! О каменном угле и о камнях я уже не говорю! Затем там масса лесов, полей, всякого добра... Говорят — золотые россыпи, а хотят за все это всего-навсего два с половиной миллиона рублей! Просто даром! Единственный недостаток

в том, что это далековато, а именно аж в Сибири, ехать туда надо чуть ли не три недели подряд, так как железной дороги там нет.

Кому можно предложить такое огромное дело? Ясно, Бродскому. Но вот в чем беда: как проникнуть в контору Бродского? Прежде всего, у дверей стоит швейцар с пуговицами и окидывает взглядом одежду. Если сюртук на тебе поношенный, швейцар гонит в шею. А если даже чудом проскочишь мимо швейцара, то прстоишь часов шесть на лестнице в ожидании, авось господь смилуетя, авось удасться увидеть Бродского. Но когда наконец и сподобишься увидеть его, он пролетает стрелой, не успеешь оглянуться, как он уже в карете сидит, — и поминай как звали! Нельзя же быть грубияном, приходится откладывать встречу на следующий день. А на следующий день та же история! Шутка ли, когда у человека столько дел! Не так это просто пробиться к Бродскому! Но будем надеяться, что я когда-нибудь все-таки пробьюсь, и тогда все будет хорошо! Так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл. Ты спрашиваешь о Палестине. Ты, наверно, имеешь в виду сионизм *. Это, видишь ли, очень высокая идея, хотя в Егупце к ней относятся не особенно горячо. Я бывал как-то у здешних сионистов на заседаниях, хотел разузнать, в чем тут дело. Но они все время говорят по-русски, и очень много говорят. Казалось бы, что с евреями они могли бы говорить по-еврейски! Я как-то пытался потолковать об этом со своими маклерами, но они меня на смех подняли: «Ерунда! Ценинизм? Доктор Герцл? * Пустое дело!»

Тот же.

XVIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу,

вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что моя Гитл осталась вдовой с семьей сиротами мал мала меньше! Умер мой зять от зуба, хотя, вообще говоря, он и всегда был нездоров. Частенько, не про меня будь сказано, похаркивал кровью. И все же мы думали, что он еще поучается на белом свете. Но вот он пошел к фельдшеру Шмельке, выдернул себе зуб, потом вернулся домой, лег и помер. Как моя мама — да продлит господь ее годы — говорит: «Никто не знает, что ждет его в будущем...» А покуда что Гитл, бедняжка, убивается, обливается слезами — даже описать невозможно! Конечно, случись, упаси бог, наоборот, то есть если бы она, не дай бог, умерла, а Залмен-Меер остался бы вдовцом, он бы, наверное, столько слез не проливал и, разумеется, сразу же после тридцати дней траура привез бы из Бердичева мачеху своим детям. Я говорю не только о нем, — это касается всех мужчин. Все вы своих жен не стойте! Скажи, где это слыхано, чтобы отец семейства вбил себе в голову такую дурь — миллионы! Экое счастье ему привалило: стоит у Бродского за дверью! Боюсь, что дальше ты не двинешься. Хоть бы сапоги пожалел, право! Так-таки и выложил Бродский свои миллионы и полетел в Сибирь! Как же? Сам Менахем-Мендл слышал о том, что где-то там, у черта на куличках, валется золото и ртуть! Как моя мама говорит: «Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видал, как хромой побежал...» Ведь я же знаю наперед, в следующем письме ты напишешь, что твое золотое дело прахом пошло. Но отыщется еще какой-нибудь черт, дьявол с каким-нибудь новым вздором, расскажет тебе, что корова над крышей пролетала и яичко снесла, а ты развесишь уши и снова будешь носиться как сумасшедший!

Если бы ты, Мендл, хоть раз подумал о том, что у тебя дома есть жена — дай бог до ста двадцати лет! — и малые дети, которые ждут тебя, как мессию *, тебе не захотелось бы валандаться по чужим домам и носиться с такими глупостями, от которых с души воротит! Еще не проучил тебя Егупец, — чтоб он сгорел! — как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Интересная история! Меера Мешулемса ты помнишь? У него есть дочь Шпринцл. Здоровенная такая, ну прямо железная, немного, правда, засиделась в девках, но очень толковая. Так вот повадилась к ней книгоноша, который разносит по домам книжки и романсы напрокат. Пристрастилась Шпринцл к этим книжкам и романсам, прочла их штук сто и вроде как обалдела, не про меня будь сказано! Говорит на каком-то тарабарском языке такие слова, что ничего не поймешь... Уверяет, будто ее зовут не Шпринцл, а «Берта», и ждет, что с минуты на минуту придет кто-то по имени «лорд», ее «покровитель», выкрадет ее через окно и отвезет куда-то к черту на рога, аж в Лондон, а из Лондона — в Стамбул...

Прямо-таки погибли нет на пустопорожние головы, которые придумывают такие дикие небылицы!..

XIX

Менахем-Мендл из Египца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домо-чадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что велик наш бог! Послушай только. С тех пор как я стал вхож к Бродским, я начал пользоваться большим уважением на бирже, возле меня стали вертеться маклеры со всего света и предлагать мне тысячи разных дел: дома, имения, леса, железные дороги, пароходы, миллионные фабрики — и все это для Бродского. Среди этих маклеров имеются два компаньона, нездешних: один из них носит крылатку с пелериной, а у другого такое имя, что мне даже неловко написать его... Эти два маклера поймали меня однажды, когда я возвращался от Бродского, и «пелерина» обратился ко мне со следующими словами:

— Послушайте, реб Менахем-Мендл, что мы вам хотим сказать. Дело видите ли, вот в чем... Мы слышали, что вы вертитесь там, возле Бродских... Ну, что ж!

Пускай вам господь бог поможет... Мы против вас ничего не имеем!

— Итак, — говорю я, — чего же вы хотите?

— Чего, — отвечает он, — нам хотеть? Того же, что и каждый маклер хочет... Мы хотим заработать. Мы тоже маклеры, у нас тоже дела... А вдруг, мало ли что бывает? Отчасти благодаря вам, отчасти благодаря нам, может быть, удастся что-нибудь сделать вместе?.. Поделимся. Лучше меньше заработать, лишь бы заработать. Как это говорится: «И из кривды ужин стряпают...»

— Короче говоря, — перебил я, — к чему такие длинные разговоры? Скажите лучше, что у вас есть, не стесняйтесь.

— Дел у нас, — отвечает он, — слава тебе господи, много. У нас есть уголь в Полтавской губернии, есть железно в Каневском уезде, есть погорелая мельница в Переяславле, есть машины, совершенно новые — выдумал их один пинский еврей... Затем имеется у нас помещик, который хочет выменять лес на винокурный завод, есть еще один человек, который хочет без денег купить в Егупце большой дом... Наконец, имения! Леса! Может быть, у вас есть покупатели, — мы вам дадим имения; может быть, у вас есть имения, — мы вам дадим покупателей!

— Нет, — говорю я, — имениями и лесами я больше не торгую — кончено! Я уже обжегся на имениях и дал себе слово ни имений, ни лесов больше в руки не брать!

— Эх! — говорит «пелерина». — Дело делу рознь. Вот, к примеру, имеется у нас сейчас имение на Кавказе! Имение с нефтью. То есть такая земля, из которой бьет керосин. Бьет, не переставая! Вполне возможно, что земля эта может выбросить миллион пудов керосина в сутки!

— Если так, — говорю, — мы с вами сойдемся. Это дело подходящее! Это давайте сюда!

И мы втроем пошли в «Еврейскую молочную» (я уже больше не хожу к Семадени: оттуда выгоняют, а в «Еврейской молочной» по-домашнему, все-таки среди своих, здесь можно сидеть, разговаривать и делать что угодно), там мы обсудили дело и заключили союз. Когда же нужно было распаться, они мне открыли секрет, что в деле участвуют еще несколько компаньонов: один толстогубий, другой рыжий — он торгует часиками — дикий лгун, упаси бог! Еще один с красным носом в прыщах, тоже

дикий лгун, и еще один вдовец. Такое количество компаньонов мне, правду сказать, не очень-то понравилось. Но «пелерина» столько говорил и столько примеров приводил, что я не мог не согласиться с тем, чтобы мы все расписались на бумаге. Само собой разумеется, что между компаньонами не обходится без претензий: каждый доказывал, что ему причитается более крупная доля. Но помог бы мне бог так легко уладить дело с другой стороной, как легко было сговориться с маклерами, — было бы совсем неплохо. Потому что как же на таком деле не заработать хотя бы миллион?

Я твердо решил, если только дело это, даст бог, выгорит, я тут же снимаю контору на Николаевской и становлюсь, с божьей помощью, крупным маклером.

Так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи! Сердечный привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Я имел в виду написать тебе о чем-то очень нужном, но забыл о чем. Так что оставляю это до другого раза.

Тот же.

XX

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, я пишу тебе вкратце, потому что у меня уже сил не стало говорить с тобой. Все это словно горох об стену. Как моя мама говорит: «Играй жениху печальное, а у него свое на уме...» Ты, конечно, в большом почете в Егупце: ведь ты стоишь у Бродского за дверью, а миллионами у тебя кишмя кишит. Но, несмотря на все это, пожалуйста, не зазнавайся.

Миллионы пока что не у тебя, а у Бродского, и дело может обернуться так, что земля, о которой ты пишешь, течет не елеем, а помоями... И как до дела дойдет, то

кончится пощечинами... А бить кого будут? Тебя! Поэтому я тебе советую: убирайся оттуда, пока цел, и приезжай домой. Забудь обо всем, что было до сих пор. Может быть, я тебя когда-нибудь словом задела... Как мать говорит: «Лучше оплеуха от друга, нежели поцелуй от врага...» Дай телеграмму и приезжай как можно скорее, и пусть я уже избавлюсь от всего этого, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Могу рассказать тебе историю, которая у нас произошла и прогремела на весь мир! Ты ведь знаешь Меер-Мотла, сына Мойше-Меера? Так вот есть у него дочка Рацл... Дочка, надо сказать, богоданная... Шибко образованная: трещит по-французски, колотит по фортопчану, ни с кем не водится. Шутка ли, она ведет свой род от мясников. Как моя мама говорит: «Родовит — не лыком шит». Словом, женихов ей сватают со всего света, а она привередничает: что ни покажешь, не нравится! Ей нужен жених со всеми достоинствами: красивый, умный, богатый — звездочка с неба. Сваты из сил выбивались и откопали-таки ей жениха на редкость — заморский фрукт и как раз из маленького местечка Овруча! Съехались на смотрины; жениха с невестой, как водится, оставили одних в комнате, чтоб они могли познакомиться. И вот невеста обращается к жениху: «Что у вас слыхать насчет Дрейфуса?» * — «Насчет какого Дрейфуса?» — спрашивает он. А она ему: «Вы не знаете, кто такой Дрейфус?» А он ей: «Нет. Чем он торгует?» Она, конечно, вылетела из комнаты и упала в обморок, а жених, бедняга, должен был с позором вернуться в Овруч... Болячка ему, болячка ей, болячка им обоим!

Очень прошу тебя, объясни мне, ведь ты там среди людей: кто такой этот самый Дрейфус, с которым весь мир носится?

XXI

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домоладцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу,

пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Амины!

А во-вторых, да будет тебе известно, что с Бродским я разошелся. То есть мы с ним, упаси бог, не ссорились, но я попросту перестал бывать у него: что мне Бродский, когда я добираюсь уже до Ротшильда* в Париже?

Ты, верно, спросишь, куда мне, Менахем-Мендлу, до Ротшильда в Париже? Разгадка — Кавказ и опять-таки нефть! Вся нефть, что на Кавказе, принадлежит ему, а он сам сидит себе в Париже. Каким же, спрашивается, образом мне попасть к Ротшильдлу?

И вот приходит мне в голову мысль: есть у нас на бирже одна птица по имени Тодрес. Тодрес этот в свое время был крупным спекулянтом, горячим, завзятым дельцом. После того как народ порастряс свои последние гроши, все крупные спекулянты (и я в том числе) сделались маклерами, а Тодрес укатил в Париж и вороочает там колоссальными, миллионными делами. На мое счастье, Тодрес сейчас в Егупце. Я, конечно, не поленился, побежал к нему домой и передал, что пронюхал на Кавказе местечко, которое брызжет нефтью. А так как тут требуются большие деньги, то как будто бы ясно, что дело это под стать только Парижу. Тогда мне Тодрес говорит:

— У меня есть покупатель!

— Кто такой? — спрашиваю.

— Ротшильд! — отвечает он.

— А вы знакомы с Ротшильдом?

— Знаком ли я с Ротшильдом? — говорит он. — Дай бог нам обоим столько денег, сколько я уже на нем заработал!

— Извините! — отвечаю я. — Может быть, вы потрудитесь написать Ротшильдлу в Париж?

— Написать, — говорит он, — не штука! Хотя мы с Ротшильдом запанибрата, но одно другого не касается: нужно иметь опись и план, иначе нельзя.

Тогда я пошел к своим компаньонам и принес ему опись и все, что требуется.

Ну, что ты скажешь, дорогая жена: нравится тебе, как Менахем-Мендл с божьей помощью дела делает? И если только всевышний поможет и придет добрая

весть от Ротшильда, представляешь себе, что будут значить для меня все егупецкие крупные маклеры? Плохо только, что сейчас не хватает наличной трешницы! Если бы ты только видела, что у нас творится, какое всюду безденежье! Прямо-таки за целковый помирают! Со дня на день ждут крупных банкротств.

Но не горюй, дорогая жена! Все это до поры до времени. За наши мытарства мы, даст бог, будем вознаграждены сторицею. Пусть только прибудет благая весть из Парижа, я уж тогда заберусь в магазин и не забуду ни о себе, ни о тебе, ни о детках, дай им бог здоровья!

Но так как я сейчас занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты спрашиваешь о Дрейфусе. Это очень интересная история. Дело было так: в Париже жил Дрейфус, капитан. То есть жил-был капитан по имени Дрейфус. А Эстергази был майор (майор выше капитана, а может быть, и наоборот, — капитан выше?). И был он, Дрейфус то есть, евреем, а Эстергази, майор, — христианином. И вот он написал «бордеро» *. То есть майор Эстергази написал «бордеро», а всю вину свалил на него, то есть на Дрейфуса. Дрейфус пошел и хотел оправдаться. А его засудили — вечно сидеть среди моря на острове, одному-одинешенькому, взаперти. Тогда пошел Золя *, и поднял гвалт, и стал доказывать: «Помилуйте! — Он прекрасно знает, что это «бордеро» писал не Дрейфус. — Чего, мол, вы к нему привязались! Это майорова работа, Эстергази!» Тогда и его посадили. А он, Золя то есть, взял да и удрал. Тогда пошел еще один, Пикар, полковник, и тоже стал кричать и скандалить. Тут выскочил Мерси *, генерал, заметь, и еще какой-то Роже, тоже генерал, и еще много генералов, и ложно свидетельствовали против Дрейфуса. Пошла тут среди французикув кутерьма: требуют, чтоб доставили его, то есть Дрейфуса. И вот привезли его в Рени на суд. Приехал адвокат из Парижа, его хотели пристрелить и таки стреляли ему в спину. Но он от всех этих генералов камня на камне не оставил. А Дрейфуса все-таки во вто-

рой раз осудили, но тут же и выпустили. То есть и виноват, и все-таки не виноват, и делай с нами, что хочешь!.. Теперь ты уже понимаешь историю с Дрейфусом?

Тот же.

XXII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я, тебе уже недалеко до полного сумасшествия, не хватает лишь одного: взять палку в руки и бегать по улицам! Скажите на милость, какая радость: он брызжет керосином, летает в Париж, швыряется миллионами! Равняет себя с егупецкими богачами: у них нет денег — и у него ни гроша. Как моя мать говорит: «И я корова, я тоже сдохну в стаде». Помяни мое слово, Мендл: тебя привезут домой либо в кандалах, либо в смирительной рубаше, как тебе и полагается, чтобы ты помнил, что есть у тебя жена, — да живет она до ста двадцати лет, — которая понимает побольше твоего. А за подарки, которые ты намерен купить для меня, я тебе очень благодарна. Желаю егупецким лавочникам побольше таких покупателей, как ты, а твои компаньоны — лгуны, которые зарабатывают миллионы и подымают за грош; дай бог и дальше не хуже, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

В истории Дрейфуса, о которой ты мне писал, я не поняла ни одного слова! Как может быть еврей капитаном? И что это за «бандеро» такое, которое сваливают друг на друга? Зачем этот самый Золя должен был удирать, почему его хотели застрелить и почему сзади, а не спереди?.. Как моя мама говорит: «Знать бы так козам чужие огороды, как он знает, что с ним творится».

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домашними!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что Кавказ мог бы провалиться сквозь землю прежде, чем я о нем узнал! Мне теперь прямо-таки нельзя на бирже показаться! В чем дело? Очень просто: вчера выхожу на биржу, а навстречу мне идет Тодрес и говорит:

— Послушайте-ка, уважаемый, где он находится, ваш Кавказ?

— Кавказ? — отвечаю. — На Кавказе! А что такое?

— Я, — говорит он, — искал по карте, где находится ваше дело, оказывается, что города, который вы назвали, на свете нет!

— То есть как же это на свете нет?

— А так... Нет такого города... И название какое-то неслыханное... Как же это человек берет на себя смелость предлагать несуществующие дела? Да еще кому? Вы знаете, кто такой Ротшильд?

— Почему же, — говорю, — мне не знать? Я очень хорошо знаю, кто такой Ротшильд, но я-то чем виноват? Так сказали мне, так и я вам сказал.

И тут же отправился разыскивать «пелерину». Нашел я его в «Еврейской молочной» — там, где все сидят, и стал расспрашивать.

— Скажите мне, пожалуйста, «пелерина»-сердце, где находится наше дело?

— Что это за вопрос? — отвечает он. — Дело-то ведь у нас! У вас же покупатель!

— Нет, — говорю я, — не об этом речь. Я имею в виду самое дело, где оно расположено, в каких местах, как туда проехать, через какой город?

— Этого, — отвечает он, — я как раз не знаю. Об этом должен знать мой компаньон.

Пошли вместе искать компаньона. Но компаньон говорит, что слышал обо всем от красноносого. А красно-

носый заявляет, что он понятия не имеет: слышал, говорит, от толстогобого, что «пелерина» имеет какое-то дело на Кавказе, но где на Кавказе, что на Кавказе, — он знать не знает и ведать не ведает, не знать бы ему так зла!

Словом, когда начали докапываться, как завязалось дело и кто его предложил, — один стал кивать на другого, другой — на третьего, и в конце концов пришли к выводу, что виноват во всей истории не кто иной, как я. Уж у меня — прости господи! — счастье такое: всегда я оказываюсь козлом отпущения!..

Знаешь, дорогая жена, к какому заключению я пришел? Если нет счастья, лучше живым в могилу лечь! За что бы я ни принимался, все на первых порах идет чинно и благородно, вот-вот, кажется, и счастье у тебя в руках, вот оно как будто бы уже в кармане, а под конец колесо поворачивается в обратную сторону, и все оказывается нелепым сном! Не суждено мне, видимо, нажитья на маклерстве, сорвать крупный куш и удрать! Не суждено Менахем-Мендлу стать на ноги, как другим маклерам в Егупце! Все орудуют, трещат, и только я один стою и смотрю, как люди ворочают делами, зарабатывают деньги, только я шатаюсь, как чужой. Вижу перед собою миллионы и миллионы, а поймать их не могу. Я всегда и всюду как бы в стороне... Видимо, я еще не набрел на правильный путь. Никто не знает, где его счастье обретается... Надо долго искать, а кто ищет — тот найдет.

Так как я очень пришиблен, то пишу кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Передай привет тестю и теще, напиши мне, как твое здоровье, целуй деток и напиши, что хорошего в Касриловке.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! «На миру и смерть красна». Когда видишь, что и другой мучается, становится немного легче на душе. Взять, к примеру, того постояльца, что живет со мной в одной комнате. Был он когда-то, по его словам, подрядчиком, богачом, имел свои дома и магазины. А теперь он судится с казной и надеется получить много денег, очень много... Но так как у него ни гроша за душой, то я его поддерживаю. Бог даст, когда ему присудят его деньги, он, говорит, меня не забудет...

Живет со мной и другой еще несчастнее того: он писатель, пишет в газетах и сочиняет книгу. Но пока книга будет готова, он живет вместе с нами, и хозяйка из жалости иногда дает ему стакан чаю. А еще у нас в заезжем доме есть один нищий из нищих, так что писатель в сравнении с ним прямо щенок! Кто он и что он такое, — я и сам не знаю: то ли агент, то ли сват, то ли актер... Поет песенки, крыс выводит... Веселый человек: рубахи на теле нет, с голоду пухнет — и хоть бы что!

Словом, кругом видишь столько горя, что забываешь о своем собственном. Помни же, ради бога, напиши о своем здоровье, о детках, о тесте, и теще, и о каждом в отдельности.

Тот же.

XXIV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупце

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе: скажи сам, дурак набитый, кто был прав? Что я тебе говорила? Ведь ты целовать должен каждое мое слово! Как мать говорит: «Целуй плетку, которая тебя бьет...»

Ну, ты уже расторговался, нам, мол, много не надо... А теперь связался с замечательной компанией: подрядчики, нищие, сочинители, песельники, крысоморы... Смеяться некому, да и только! Конечно, ради этого стоит торчать в Егупце, жить в гостинице и сорить деньгами. Однако мне нравится, что ты наконец одумался: видно, говоришь ты, не суждено тебе там стать на ноги и сделаться миллионером! Ты еще сомневаешься, Мендл? Ведь я уже сколько времени твержу, чтобы ты выбил из головы все эти глупости. Быть бы мне так защищенной от всяческого зла, а тебе от глупости своей, как защищен ты от миллионов! Забудь, Мендл, о миллионах, забудь о том, что существует на свете Бродский, и благо будет душе твоей! «Не гляди на то, что выше тебя, а гляди на то, что ниже тебя», — так, кажется, написано в

наших священных книгах? И не завидуй егупецким лю-
дишкам, которые гремят и трещат. Пускай трещат, пу-
скай трескаются, пускай они себе шею свернут, как же-
лает тебе и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Скажи, пожалуйста, с чего это ты, дорогой мой Мендл,
вдруг стал расспрашивать о нашей Касриловке? И с ка-
ких пор я тебе так дорога стала, что ты забеспокоился
о моем здоровье? Видно, ты и в самом деле соскучился
без нас? Как моя мама говорит: «Пускай теленок пры-
гает, проголодается, домой прибежит!»

Жду от тебя телеграммы о выезде. Пора, давно пора!
Пусть это письмо мое будет последним...

Конец третьей книги

ПОЧТЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ — ПИСАТЕЛЬ

I

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я бросил все дела! Покончено с биржей, с Семадени, с маклерством — все это жульничество, суета, позор, черт знает что! У меня теперь новая профессия, совершенно новая, почище и посолиднее: я стал — в добрый час! — писателем. Я пишу! Ты, пожалуй, спросишь, какое я имею отношение к писательству? Это от бога!

Как ты, наверное, помнишь из последнего письма, я у себя в гостинице познакомился с писателем, который пишет в газетах и тем кормится. Каким образом? Он садится, пишет какую-нибудь вещь и отсылает, а когда ее напечатают, он получает плату со строки, копейку за строчку, сколько строчек, столько копеек. Вот я и подумал: господи боже мой, чем я хуже его? Подумаешь, какая премудрость? Я как будто тоже учился в хедере, а почерк у меня даже лучше, чем у него, может быть, и мне попытаться писануть в ев-

рейскую газету? Что мне за это будет? Авось голову не снимут. Одно из двух: да — да! Нет — нет!

И я взял да и написал прямо в редакцию: так, мол, и так, — рассказал всю свою биографию, о том, как я когда-то гремел на бирже в Одессе и в Егупце, всем богам переслужил, торговал и маклачил «Лондоном», и «бумажками», и прошлым годом, до миллионов добирался, семьдесят семь раз бывал то богачом, то нищим, то на коне, то под конем. Словом, не пожалел труда, написал им обо всем подробно, чуть ли не на десяти страницах. И просил, чтоб они мне ответили, нравится ли им мое писание. Если нравится, то я буду им писать и писать. И что же ты думаешь? Не прошло и полутора месяцев, как от редакции прибыл ответ. Пишут, что писание мое им очень понравилось, и предлагают мне, чтобы я изложил им все мои описания подробно. И если мои описания будут хорошо описаны, то они мои сочинения с удовольствием напечатают в своей газете и заплатят мне со строки, по копейке за строку. Понимаешь? Сколько строчек, столько копеек. Я, конечно, тут же принялся подсчитывать, сколько я могу написать? Полагаю, что в течение долгого летнего дня можно написать, по крайней мере, тысячу строк! Выходит, таким образом, десятка в день? Стало быть, почти триста рублей в месяц. Очень приличное жалование, как ты находишь? И, не долго думая, я купил бутылку чернил, стопу бумаги и сел за работу.

Так как сейчас у меня самый разгар писания, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующих письмах напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам, и тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Если бог поможет и я справлюсь со своими описаниями, то есть с названием, потому что названия у меня еще нет, я тут же отошлю это в редакцию и попрошу, чтобы они выслали в счет его несколько рублей на твоё имя в Касриловку. Хочу, дорогая моя, чтобы и ты порадовалась теперешней моей профессии. Это почище маклерства: там это называется «картаж», а у писателей — «гонорар». Приятный заработок — этот самый гонорар... Легкий и почетный...

Тот же.

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой суженый: что с тобой будет? Ведь тебя никакая пуля не берет! Ни добром, ни злом! Как об стенку! Моя мама — ее слова записывать надо! — говорит: «Больной выздоровеет, пьяный протрезвится, черный белым станет, а дурень так дураком и останется...» Скажи, не права ли она? Подумай, чего ты ни делал с тех пор, как я тебя мужем своим знаю, горе мое горькое! А тебе все еще мало: на старости лет надумал рифмачом заделаться, бумагомарателем стал и марает! И находятся еще такие дураки, которые за это платят. Кто знает, что ты своими описаниями натворить можешь! Уж я научена! Как моя мама говорит: «Битой собаке палку не показывай...» А профессии выбирает он себе все-таки легкие, птичьи. Что ему? Он будет себе сидеть в Егупце в гостинице и «мазюкать», а я буду валяться здесь, в Касриловке, с его детьми и хворать «фленцией»! * Вот уже недели три, как она забралась к нам, «фленция» эта самая, и даже не думает убираться. Всех свалила — от мала до велика...

А за деньги, которые ты мне даришь из твоих писательских заработков, я заранее благодарю! Твоим бы егупецким ловкачам иметь их столько на обед, сколько ты получишь этого самого «голенара»... * Дурень ты сплошной — с головы до ног!.. И если ты не хочешь, чтобы я, молодая, на тот свет ушла и оставила, упаси бог, детей твоих сиротами, выбрось из головы все твои воздушные заработки и свою замечательную писанину и приезжай наконец домой к жене и детям, к тестю и теще, — гостем будешь, как моя мама говорит: «Печку на радостях впору развалить...» Как желает тебе здоровья и счастья и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Мойше-Довида, коллєктора *, ты помнишь? Надумал он и давно уже стал коситься на свою жену. Хотел от нее избавиться, но не знал, каким образом. И вот он взял и отправился в Америку. Но она поймала его на границе и закатила такой скандал, что он десятому закажет от жены удирать. На что способен литвак! * Мои бы горести на его голову!

III

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что все, слава богу, идет хорошо. Мое имя напечатано в газете наряду со всеми писателями, и я теперь чувствую себя совсем другим человеком. В первую минуту, когда я увидел напечатанным свое имя — «Менахем-Мендл», у меня слезы на глаза навернулись. Думаешь, отчего? От радости, что есть такие хорошие, ласковые, порядочные люди на свете! Я имею в виду редакцию. Ведь надо понимать, что я у них не один, есть еще довольно много писателей и помимо меня. И тем не менее она не поленилась, села и прочла все мои писания, как видно, от корки до корки, и ответила мне в газете, то есть в почтовом ящике, что мои описания ей нравятся, но что они несколько длинноваты. Это — одно. А во-вторых, она желает, чтобы я не выдумывал из головы; она хочет, чтобы я только «изображал» (так и сказано) жизнь города Егупца со всеми его типами. Судя по всему, она хочет знать, что у нас в Егупце творится, ибо как же иначе понимать слово «типы»? Не правда ли, какая деликатность со стороны редакции? Ну, так ведь нельзя же быть грубияном и откладывать на другой день. Я снял кафтан, сел и пишу ей, — вот уже третий день пишу и пишу, а писанию все еще конца нет! И так как я очень занят писанием и не имсю времени, то пишу

тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Прошу тебя, напиши, получила ли ты какие-нибудь деньги от редакции? Я просил, чтоб она тебе выслала пока, в счет будущего, немного денег. Что может случиться? Десяткой меньше, десяткой больше, — мы с ней сочтемся.

Тот же.

IV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупце

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что уже кровью харкаю от твоих замечательных писем. Что это еще за красавица, ради которой ты снял кафтан и стал с ней шуры-муры разводить? Пускай она сгорит вместе со своими деньгами! Нужна она мне очень, как моя мама говорит: «Не дари мне меда твоего, и не надо мне жала твоего...» Уж она бы, положим, не обрадовалась, твоя Редакция, если бы послала мне деньги!.. Опротивели мне писания, которые ты посылаешь мне! А если уж и суждено мне иметь мужем писаку, то я не понимаю, почему для этого необходимо сидеть в Егупце? Чернил, что ли, нет в Касриловке? Стало быть, тут что-то не так, неспроста это... Как моя мама говорит: «Раскусишь яблочко, а там — червяк...» Так вот, дорогой мой муж, собери свои писания и приезжай домой без всяких отговорок, — я уже больше не могу видеть, как томятся дети. Они каждый раз спрашивают: когда папа придет? А я откладываю от пасхи до осени, а с осени до пасхи... А уж о Мойше-Гершеле и говорить не приходится! Такой умница, гораздо умнее отца, как желает тебе счастья и всего хорошего и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Как тебе нравится моя Брайндл? Она уже и со вторым мужем разводится. Никто не знает почему. Но по секрету он показал мне свою руку всю в кровоподтеках. Он, говорит, готов отказаться от приданого и ее драгоценностей, лишь бы избавиться от напасти. Как мать говорит: «Лучше золотник счастья, нежели фунт золота...» Всеи нашей семье не везет на мужей...

V

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже испил две бутылки чернил, принимаюсь за третью. Шутка ли, описать такой город, как Егупец! Начал я с гостиницы, где живу, и первым долгом взялся за хозяйку. Ты, пожалуй, спросишь: почему за хозяйку? Потому что хозяйина у нас нет. Она уже тринадцать лет как вдовец. Муж ее был солдатом *, а она у него второй женой. Вышла за него, говорит она, чтобы потом, пользуясь его правами, иметь возможность жить в Егупце. Жила она за ним так, что только врагам пожелать можно, потому что она лет на двадцать моложе его и считалась красавицей. Все мужчины — и евреи и русские — сохли по ней... А теперь она должна ждать случая, авось какому-нибудь Менахем-Мендлу захочется съесть тарелку борща или кусок мяса с хреном, и на такие заработки содержать сына-гимназиста и дочь-гимназистку, которые палец о палец не ударяют и ни в чем ей помочь не хотят. Привыкли на всем на готовеньком. Только и ждут, чтобы мамаша утром чашку кофе в постель подала. А потом, когда они приходят из гимназии, — есть ли, нет ли, — обед должен стоять на столе! А если подано не так скоро, устраивают скандал!

Вот какие это дети. На днях девица-гимназистка раскричалась утром, почему нет мыла, вбежала полуголая,

вся шея наружу, в комнату, где гости сидели и пили чай, да как напустится на мать: «Что за свинство!»

Тут уж мы не выдержали и стали ее отчитывать: «Этому, что ли, учат вас в гимназиях?»

— Мало того, — говорю я, — что мать так трудится, ботинки твои чистит, пока ты спишь...

Я только еще хотел проучить ее как следует, но тут налетел на меня ее братец:

— А вам какое дело?

И стал меня ругать на чем свет стоит.

Это, конечно, меня задело, и я описал бедную вдову с ее распрекрасными деточками. Надеюсь, что напечатают, — это будет лучше всяких нравоучений. Мир велик! Есть, наверное, еще такие же бедные вдовы и такие же дети, гимназисты и гимназистки, которые доводят своих матерей до могилы... Теперь ты понимаешь, дорогая моя, за что мне платят деньги? Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Ты спрашиваешь о редакции. Ты, наверное, не поняла, что это такое. Редакция — это не один человек, а несколько. Они в складчину все вместе издают газету. Газету рассылают во все города и выручают за нее деньги. Но так как газета должна иметь материал, то редакция просит нас, чтобы мы писали, и платит нам за это. Мы оказываем ей любезность и пишем, а она печатает. Теперь ты понимаешь, что это за дело?

Тот же.

VI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я читала твое письмо и глазам своим не верила. Дурной сон, да и только! Нашел, что описывать! Господь бог послал ему вдову

с детьми, черт знает какими, а он разжалобился и сделал из этого праздничное блюдо! Будь я на твоём месте в Егупце, я бы этого паренька по-другому описала, а девку с голыми плечами посадила бы на кухню картошку чистить, а не то что нравоучение ей читать. Нравоучителем заделался мой муж, проповедником, и ему еще, видите ли, деньги за это платят. Как моя мама говорит: «Всякие есть сумасшедшие на свете!..» Мне кажется, не жели совать нос в чужие горшки и вмешиваться в чужие семейные дела, лучше было бы, чтоб голова сохла за свои собственные. Ведь ты, кажется, детям своим отцом приходишься. Или нет? Ты бы послушал, как Мойше-Гершеле учит еврейскую азбуку! Окочуриться могла бы твоя егупецкая вдова с редакцией вместе! Было бы у меня легче на душе, я сняла бы его вместе с остальными детьми и послала бы тебе карточку, посмотрел бы ты, кого променял на вдов и на редакции, на горести и на всякие напасти, как желает тебе здоровья и счастья и сейчас и всегда твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

VII

*Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домо-чадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что с хозяйкой я уже покончил и теперь принялся за постояльцев, то есть описываю подряд всех неудачников, которые живут здесь. Могу похвалиться, что мне это, не сглазить бы, удается: один другого чище. Но самый крупный из них тот, которого прозвали «Счастливым». О нем можно столько написать, что не хватит ни бумаги, ни чернил. Сам он, этот молодой человек, из Жванца. Женат он был сначала на девице из Ладыжина, затем — на сорокской, поселился в Екатеринославе и занялся первым своим делом — стал торговать золотом, то есть какая-то шайка продала ему несколько мешков золота, забрала у него

все деньги, а на поверку оказалось, что купил он песок. Стало ему очень скверно, хоть бросайся живым в Днепр. Взял он тогда тросточку, вышел на биржу, состряпал какое-то дело, заработал несколько рублей и объявил в газетах, что ищет компаньона. Прошло немного времени, и нашелся компаньон, торгующий железом. Купили они участок земли возле Кривого Рога, за который предлагали много тысяч отступного. Но он заявил: либо полмиллиона, либо — ничего! Ничего и не получилось! Тогда он бросился на каменный уголь, отыскал какого-то инженера, немца, то есть еврея, который говорил по-немецки, заарендовал вместе с ним по сходной цене шахту и принялся за работу — добывать уголь. Но вдруг, неизвестно откуда, хлынула вода — потоп! Поставили две машины выкачивать воду. Но с одной стороны выкачивают, а с другой прибывает новая — бесконечное лихо! Тогда он плюнул на немца и познакомился с евреем, который скупает яйца — битые, тухлые — и делает из желтков какую-то вещь, я забыл, как она называется. Но надо же так случиться, что лопнула машина, компаньон удрал, а наш Счастливчик остался один с битыми яйцами. Яйца эти стали издавать такой убийственный запах, что на него составили протокол. И однажды ночью ему пришлось выпрыгнуть из окна и бежать: пусть, мол, Екатеринославу останутся на память эти тухлые яйца. Немного денег у него было, он поехал в Кременчуг и с кем-то в компании открыл фабрику гильз. Но компаньон оказался страстным любителем шахмат, а так как сам он тоже ярый шахматист, который может просидеть за шахматами день и ночь, не евши, не пивши, то оба они играли в шахматы до тех пор, покуда не остались при пустых коробках. Куда девались гильзы, никто не знает. Между тем он услышал, что в местечке, недалеко от Кременчуга, какой-то аптекарь распродает полную лавку разных товаров за бесценок. Он поехал, купил чуть ли не задаром весь товар и упаковал его, уверенный, что заработает кучу денег. Но и тут не обошлось без беды: среди купленных вещей оказался ящик с порохом. И ящик этот возьми да и выстрели в вагоне, — вагон разлетелся, а кондуктору ногу оторвало — еле жив остался. Как тебе нравится такой счастливчик? Он сам о себе говорит, что стоит ему на речку взглянуть, как в ней вся рыба дохнет. И вдобавок ко всему он еще остряк. Сам он маленький, подвижной, с горящими гла-

замп, шляпа сдвинута на затылок, руки в карманах, а голова работает — комбинации строит, бесконечное количество комбинаций! Он говорит, что должен непременно стать миллионером, не то он поднимется и уедет в Америку. И меня уговаривает ехать. Он уверяет, что такие люди, как мы, нигде не пропадают. Но я еще с ума не сошел — бросить такое почтенное дело, как писательство, и уехать счастья искать! Но так как я очень занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Не понимаю, почему я не получаю ответа от редакции относительно моей первой работы, которую я им отослал. Ни ответа, ни денег. Я уже написал им три письма. Надеюсь не сегодня-завтра получить ответ.
Тот же.

VIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупце

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что, как только ты получишь это письмо, ты обязательно должен тут же приехать домой, потому что отец мой опасно болен. Был уже консилиум докторов, и они нашли у него — горе мое! — воду в животе. Видеть, как он мучается, просто невозможно. Можешь себе представить, что маму и узнать нельзя! Она, можно сказать, жертвует собой ради него. Она говорит: «Соседа, с которым тридцать лет в одном доме проживешь, и то жаль...» А ты торчишь там, в твоём замечательном Егупце, и описываешь неудачников, пропади они пропадом за папину ермолку, как желает тебе здоровья и счастья

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Помни же, ради бога, немедленно выезжай и телеграфируй.

*Менахем-Мендл из Египца — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домо-чадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что твое письмо было для меня точно пуля в сердце. Были б у меня крылья, я бы орлом полетел к вам в Касриловку. Но мне не с чем с места тронуться. Хозяйке гостиницы я задолжал так, что волосы на голове и те не мои! Мало того, я еще у нее не раз занимал на бумагу и чернила, не говоря уже о том, что я ее объедаю. Все думал — вот-вот... Столько бумаги и чернил извел, столько интересных историй придумал, все пальцы себе исписал, а редакция хоть бы ответила! Очень нехорошо с ее стороны! Набрала полон рот воды и молчит. Одно из двух: не нравится вам мое писание, напишите мне, и я перестану писать. Чужой труд для них, видно, ничего не стоит. Будь на моем месте другой, он бы их выругал на все корки. Или, были бы у меня деньги, я дал бы им депешу: либо — либо! Я даже не в силах передать тебе досаду, боль и пришибленность, которые я сейчас чувствую. Даже рука не поднимается писать им. Чего больше? Просил присылать мне хотя бы газету бесплатно — не отвечают. Если бы я все это время дрова колод, я бы и то больше заработал! Не знаю, как с другими писателями, но со мной они обошлись хуже, чем с последним из последних!

Я вздымаю очи горе и взываю: «Откуда придет ко мне помощь?» Может быть, господь смилуется, ибо «дошла вода до горла самого», хуже некуда!.. И так как я очень пришиблен, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. И пусть господь пошлет тестю полное исцеление. Дай бог увидеться здоровым со всеми и с детками, по которым я очень стосковался, прямо вся душа изныла!

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Письмо лежит уже второй день, так как нет у меня на марку. Уж я все это время думал, за что бы приняться, что делать, с чего бы начать? Кажется, нет на свете профессии, которую я бы не испытал. Одного только не делал: сватовством не занимался. У нас тут в гостинице живет один сват. По его словам, он загребает деньгу. Дело это, быть может, и не такое почтенное, как писательство, но лучше маклерства безусловно. Главное, чтобы господь бог дал хоть немного удачи.

Тот же.

Х

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что писать мне тебе нечего. Я показала твое письмо матери, а она говорит, что я сама виновата. «Как постелешь, — говорит она, — так и поспишь... Дала бы ты мне переписываться с ним, с моим зяtkом богоданным, так я бы его давно оттуда вытащила. Я бы не поленилась, сама бы к нему съездила». На твоё счастье, отец лежит на смертном одре, а мы обе еле на ногах держимся. Деньги, которые я тебе посылаю, это мамины деньги — знай её доброту! Я молю бога, чтобы больше от тебя писем не получать. И как только ты выедешь из Егупца, пусть разверзнется земля и пусть этот город провалится, как Содом, со всеми его золотыми делами, с удачами, с маклерами, сватами, с гостиницами и хозяйками гостиниц, с редакциями, — как желает тебе здоровья и счастья сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Конец четвертой книги

НЕ ВЕЗЕТ!

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ — ШАДХЕН*

*Менахем-Мендл с дороги — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домо-чадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что не везет мне, не везет, хоть разорвись! Как только я получил присланные тобой несколько рублей, я прежде всего расплатился в заезжем доме и сразу стал собираться в дорогу.

Чего больше? Я уже в вагоне сидел, взял билет до Фастова, а из Фастова рассчитывал ехать прямо домой, то есть в Касриловку.

Но велик наш бог! Послушай, какую штуку сыграл он со мной... Я как-то писал тебе, что в заезжем доме вместе со мной находился человек, занимающийся сватовством, по имени Лейбе Лебельский. Он все хвастал, что держит у себя за пазухой весь мир и зарабатывает груды золота. Между тем понадобилось ему съездить куда-то на день-другой по крупному брачному делу. Он, говорит, получил «строчную депешу» — не медлить. И вот он оставил хозяйке узел до своего возвращения — вернется, тогда и расплатится с ней. Уехал и — только его и видели.

Когда я собрался в дорогу, хозяйка мне говорит:

— Ведь вы же едете по той линии. Возьмите с собой узел этого рохли Лебельского... Может быть, встретите где-нибудь, отдадите ему его «шпаргалы»...

— На что мне чужие узлы? — говорю я.

— Не бойтесь! — отвечает она. — Это не деньги, — бумажки какие-то, листки...

И действительно. Уже сидя в вагоне, я из любопытства развязал узел. Заглянул, — а там целый клад! Письма от сватов, списки родителей женихов и невест и всякие другие бумажки. Среди этих бумажек длинный список женихов и невест на древнееврейском языке. Передаю тебе его слово в слово:

ОВРУЧ. Хава, дочь богача реб Лейви Тонкиног... Знатное происхождение... Жена его, Мириам-Гитл... тоже из знатных... Высокого роста... Красавица... Четыре тысячи... Хочет «окончившего»...

БАЛЛА. Файтл, сын богача реб Иосифа Гитлмахера... Просвещенец...* Сионист... Окончил бухгалтерию... От призыва свободен... Молится ежедневно... Хочет денег...

ГЛУХОВ. Ефим Балясный... Аптекарь... бритый... Расположен к евреям... Дает деньги в рост... Хочет брюнетку...

ДУБНО. Лея, дочь богача реб Меера Коржик... Родовитость... Низенького роста... Рыжая... Говорит по-французски... Может дать деньги...

ГАЙСИН. Липе Браш... Шурина Ици Коймена... Советник на сахарном заводе реб Залмана Радомысльского... Единственный сын... Красавец... Хитрющие глаза... Хочет золотое дно...

ВИННИЦА. Хаим Гехт... Холостяк, играет на бирже... Разъезжает в фаэтоне... Крупно зарабатывает... Стоит десять тысяч...

ЖИТОМИР. Богач Шлойме-Залман Таратайка... Две девицы... Красавицы — прима... Младшая рябоватая... Рояль, немецкий, французский... Хотят образованного... Диплом не обязательно.

ХМЕЛЬНИК. Богачиха Бася Флекл... Вдова, ростовщица... Удивительная умница... Хочет талмудиста... Можно без денег...

ТАЛЬНОЕ. Раввин реб Авремеле Файнчик... Вдовец... Хасид...* Знаток Библии... Ищет вдову с делом...

ЯМПОЛЬ. Мойше-Нисл Кимбак... Богач-выскачка... Жена его, госпожа Бейле-Лея... До зарезу хотят просва-

тать... Сколько бы другая сторона ни дала, обязуется дать в два раза больше. Вознаграждение свату немедленно при помолвке... Подарок свату экстра от машины...

КАСРИЛОВКА. Реб Носон Корах... Богат, как Крез... Ужасная свинья... Сын ученого Йойсеф-Ицхока... Ученая голова... Тургенев и Дарвин... Тихий омут... Ищет бедную сиротку... Красавицу из красавиц... Не хвор выслать на расходы... Не подмажешь, не поедешь...

ЛИПОВЕЦ. Сын богача Лейбуша Капоте... Заядлый хасид... Сдает экзамены за восемь классов... Живет в Одессе... Играет на скрипке и знает древнееврейский... Красавец...

МЕЖБИЖ. Реб Шимшон-Шепсл Шимелиш... Вдовец... Имеет двух дочерей и три тысячи... Но должен прежде сам жениться... Хочет также девицу...

НЕМИРОВ. Смицик Бернард Мойсеевич... Из настоящих Смициков... Разведен... самостоятельный... Мастерски играет в преферанс... Вхож к начальству... Достоин девицы с пятью тысячами либо разводки с десятью тысячами...

СМЕЛА. Переле Дама... Разводка с десятью тысячами... Требуется просвещенный комиссионер...

ИГНАТОВКА. Домовладелец реб Менде Лопата... Старик за семьдесят... Но держится крепко... Похоронил трех жен... Хочет девицу...

ПРИЛУКИ. Гимназист Фрайтик... Сын богача Михеля Фрайтика... Носит дома шапку... Не пишет по субботам...* Хочет двадцать тысяч, ни копейки меньше... Сам даст половину этой суммы...

ЦАРИЦЫН. Опись богача вдовца Фишера... Живет в Астрахани... Обещал два выигрышных билета первого займа... Кроме вознаграждения свату... Нужно написать еще раз... Просил выслать двадцать пять рублей на расходы... По крайней мере — марки...

КРЕМЕНЧУГ. Просвещенный и заклятый сионист... Сотни комиссий... Умница... Шахматист... Талмуд* — наука... Знаток... Говорун... Остряк... Прекрасный почерк... Слышал, что он уже женился...

РАДОМЫСЛЬ. Внук реб Нафтоли Радомысльского... Приверженец Садагоры...* Сахарный завод... Золотое дно... Наполовину хасид, наполовину немец — короткие пейсы и длинный сюртук...* Знаток языков и Талмуда... Имеет дядю миллионера и зачетную квитанцию*. Ищет

красавицу из хорошей семьи, двести тысяч, рояль, порядочность, французский язык, парик, умение танцевать, набожность, баришню без кавалеров...

ШПОЛА. Богач и мудрец Эля Чернобыльский... Живет в Егупце... Маклер по сахару и имениям... Компаньон знаменитого богача Бабишке... Единственная дочь... Хочет звездочку с неба... Знатока большего, чем доктор... Свободного от призыва... Красивого, как Иосиф Прекрасный, умного, как Соломон Мудрый...* Певца и музыканта на всех инструментах... Семью без пятнышка... Денег без счету... Все качества... Чуть ли не Бродского... Телеграфировал в Радомысль...

ТОМАШПОЛЬ. Пять девиц... Три красавицы и две — образины... И каждой — либо доктора с кабинетом и обстановкой, либо адвоката с практикой в Егупце... Писал много раз...

И вот сижу я в вагоне с узлом этого Лебельского, читаю еще и еще раз список женихов и невест и думаю: «Господи боже мой! Сколько профессий создал всевышний для своих евреев! Вот, к примеру, сватовство это самое. Что, казалось бы, может быть солиднее, приличнее, лучше и легче этого? Работы почти никакой! Нужно иметь только клепку в голове, уметь прикидывать, кто кому под стать. Например: Овруч имеет девицу-красавицу с четырьмя тысячами, желающую окончившего, а в Балте живет сионист, ученый, который окончил бухгалтерию и ищет в браке деньги, — чем не пара? Или, скажем, в Тальном сидит вдовец, который ищет вдову с торговлей. Отчего бы ему не потрудиться съездить в Хмельник к вдове Басе Флекл, которая ищет вдовца, хотя бы без денег, но обязательно ученого?» Словом, дорогая моя, нужно только уметь строить комбинации. Если бы я родился шадхеном, я поставил бы это дело совсем по-другому. Я бы списался со всеми сватами на свете, собрал бы все их списки и засел бы сочетать — предварительно, конечно, на бумаге, — этого жениха с этой невестой, ту невесту с тем женихом... А в каждом городе у меня был бы компаньон, — сколько городов, столько и компаньонов. А заработки делил бы по справедливости: половина — мне, половина — тебе. Возможно, что имело бы смысл открыть контору в Егупце или в Одессе, содержать людей, которые сидели бы, писали письма и посы-

лали телеграммы, — а я сам ничего не делаю, сижу, составляю пары и строю комбинации.

Такого рода мысли и фантазии мелькают у меня в голове. Между тем приносит нелегкая в вагон какого-то пассажира, заросшего с головы до пят; тащит за собой мешок, сопит, как гусь, и обращается ко мне по-особому вежливо, совсем не так, как водится.

— Молодой человек! — говорит он. — Не будете ли вы так любезны потревожить свою особу и чуть потесниться, дабы такой человек, как я, к примеру, мог иметь честь примоститься на минутку рядышком с вами?

— Почему же нет? Пожалуйста! С удовольствием! — отвечаю я, освобождая для него место и спрашиваю больше приличия ради: — Из каких будете мест?

— Откуда явился то есть? Из Кореца, — отвечает он. — Имя мое Ошер, а зовут меня реб Ошер-шадхен. Я уже, — говорит, — потихоньку да полегоньку, с божьей помощью, почти сорок лет этим делом занимаюсь.

— Вот как? — говорю я. — Значит, вы тоже сват?

— Итак, — отвечает он, — я должен толковать ваши слова в том смысле, что уж вы-то наверное сват. Значит, свой брат. В таком случае вам по закону полагается приветствие.

Так заявляет этот самый сват, сует мне огромную, мягкую, волосатую руку и спрашивает, тоже, очевидно, из вежливости:

— Ваше имя?

— Менахем-Мендл...

— Знакомое имя, — говорит он, — слышал как-то, не помню где. Послушайте, — продолжает он, — реб Менахем-Мендл, что я вам скажу. Уж ежели стряслась такая беда, то есть я хочу сказать, — уж ежели господь бог по мудрости своей великой так судил, чтобы мы, два свата, столкнулись в одном месте, то, может быть, возможно, чтобы мы тут же, сидя с вами в вагоне, что-нибудь наладили?

— А именно? — спрашиваю я. — Что бы мы могли наладить?

— Может быть, — говорит он, — у вас найдется охотник на хорошее вино в скверной посудине?

— А именно? Что вы называете хорошим вином в скверной посудине?

— Разрешите, — отвечает он. — Сейчас объясню, и тогда вам все станет ясно. Но... Вы должны вникнуть

в это дело. У меня имеется в Ярмолинце товарец... Отборный, прямо-таки редкость... Зовут его реб Ицикл Ташрац. Что касается происхождения, то об этом и говорить не приходится. Дальше некуда! Мало того что он сам знатного рода, она, жена его, еще более родовита, чем он. Беда только в том, что за свою родовитость этот Ташрац хочет получить наличными. Сколько бы он ни дал, ему хочется, чтобы другая сторона дала в два раза больше...

— Позвольте, — говорю я, — мне кажется, есть как раз то, что вам требуется.

Хватаюсь за свой узел, достаю памятную книжку Лейбе Лебельского, отыскиваю Ямполь и показываю:

— Вот он, тот, кого вы ищете! Прочтите — увидите: «Мойше-Нисл Кимбак... Богач-выскачка... До зарезу хотят просватать... Сколько бы другая сторона ни дала, обязуется дать в два раза больше...» Как раз то, что вам нужно!

Услышав такие речи и узнав, что этот Мойше-Нисл Кимбак вдобавок обещает вознаграждение сватам сразу же при помолвке и, кроме того, еще специальный подарок от мамыши, мой реб Ошер вскочил с места, схватил меня за руку и говорит:

— Поздравляю вас, реб Менахем-Мендл! Мы сделали дело! Я заметил у вас в корзинке, если не ошибаюсь, яичные коржики, чай, сахар и прочую дребедень, может быть, не мешало бы нам пока что перекусить, а когда мы, с божьей помощью, доберемся благополучно до Фастова, вы потрудитесь сбегать за кипятком, — я видел, у вас есть чайник, — выпьем по стаканчику чаю, а на станции, надо полагать, и винца достанем, пятидесятисемиградусной, тогда выпьем заодно за здоровье моего ярмолинецкого аристократа и вашего ямпольского богача, которому так не терпится просватать, и пускай будет в добрый и счастливый час!

— Амины! — отвечаю. — Вашими устами да мед пить! — Но не так скоро дело делается, как сказка сказывается...

— Разрешите, — перебивает он меня, — вы не знаете, реб Менахем-Мендл, с кем дело имеете. Я не мальчик! Вы изволите разговаривать с мировым сватом по имени реб Ошер, у которого волос на голове меньше, чем устроенных им браков. Дай бог нам обоим столько сотен, сколько пар у меня уже развелись, снова поженились

и снова развелись... Стоит мне только заглянуть в список, я сразу нащупываю, пойдет дело или не пойдет. Ваш Мойше-Нисл, насколько я понимаю, не без изъяна. В самом деле, давайте разберем, отчего ему так приспичило? И по какому случаю так горячится мамаша и даже обещает подарок свату от себя? Видимо, где-то копошится червячок. То есть яблочко, очевидно, с червоточиной...

— Каков же, — говорю, — будет ваш совет?

— Совет, — отвечает он, — самый простой: мы оба должны немедленно разъехаться в разные стороны. Я в Ярмолинец — к моему знатному Ицику Ташрацу, а вы — в Ямполь, к вашему Мойше-Нислу Кимбаку. Но... работать нам придется изо всех сил. Вы, с вашей стороны, должны будете настаивать, чтобы ваше червячье яблочко дало как можно больше, а я, со своей стороны, конечно, постараюсь, чтобы мой Ташрац дал действительно половину, как обещал... Потому что мало ли что взбрет в голову человеку, торгующему своим происхождением?

Как видишь, дорогая моя, началось как будто с пустяков, с шутки, а кончилось настоящим делом. Пока то да се, мы приехали в Фастов. По приезде в Фастов мы прежде всего напились чаю, закусили честь честью и стали серьезно обсуждать наше дело. Сначала, по правде сказать, мне от всей этой истории было не по себе: какой я сват? И какое отношение я имею к чужим спискам? Ведь это же, если хочешь, — прямой грабеж! Человек, скажем, уронил кошелек с деньгами, а я поднял... Но, с другой стороны, что особенного случилось? Одно из двух: если выгорит, — поделимся! Ведь я же не разбойник с большой дороги, — мне чужого не надо. Словом, выходит, что никакой несправедливости во всем этом нет, и мы порешили двинуться в путь: он в Ярмолинец, я в Ямполь. Сговорились мы так: сразу же по приезде на место я прежде всего должен выведать, в чем тут дело, почему этому Мойше-Нислу Кимбаку так не терпится просватать. А когда я осмотрю дом и самый «предмет» мне понравится, я должен дать телеграмму реб Ошеру в Ярмолинец: «Так, мол, и так», а он мне ответит телеграммой: «Так, мол, и так», — и тогда мы съедемся, вероятно, в Жмеринке на смотрины, и, если пара подходящая, сватовство состоится. «Главное, — говорит он мне, — вы, реб Менахем-Мендл, должны не

жалеть расходов, давать депеши, потому что при сватовстве депеша — самое важное... Родителей жениха и невесты, — говорит он, — при виде депеши черт за душу хватает...»

Когда дело дошло до расставания и надо было покупать билеты, оказалось, что моему мировому свату реб Ошеру не хватает на дорогу. Он, говорит, израсходовался до последней копейки на депеши и телеграммы. «Дай вам бог, — говорит он, — зарабатывать ежемесячно столько, во сколько мне в неделю обходятся депеши и телеграммы!» Понимаешь? Вот она, какая профессия! Словом, поезд дожидаться не станет, пришлось мне выложить несколько рублей, — не расстраивать же дела из-за расходов! Мы обменялись адресами, очень тепло распрощались и разъехались — он в Ярмолинец, а я — в Ямполь.

Приехал в Ямполь и перво-наперво стал выведывать:

— Кто такой Мойше-Нисл Кимбак?

— Дай бог всем евреям жить не хуже! — отвечают мне.

— Много у него детей?

— Много детей бывает у нищих... А богач имеет одно только дитя.

— Какое дитя?

— Дочь, — говорят.

— Какова она из себя?

— Из нее можно сделать двух...

— А приданого он много дает?

— Сколько бы ни давал, — отвечают, — он не хворать в два раза больше.

Хочу нащупать: в чем дело? Но щупай тут, щупай там — ничего не нащупаешь. Тогда я надел субботний кафтан и отправился прямо к этому Кимбаку.

Ну, описать тебе дом я просто не в состоянии. Богатый дом, полная чаша, а люди — брильянты! Когда я сказал, кто я такой и зачем приехал, меня приняли по-царски, угостили сладким чаем с печеньем и лимонным вареньем, поставили на стол бутылку хорошей вишневки. Он, Мойше-Нисл то есть, мне ужасно понравился: приветливый такой, душевный человек, можно сказать, без желчи. Да и она, Бейля-Лея то есть, понравилась мне с первого взгляда. Дородная женщина, с двойным подбородком, тихая, скромная. Оба они стали выпытывать у меня, кто другая сторона, хорош ли у них сын и что он

умеет? Что мне было сказать, когда я и сам не знаю? Но человек с головой на плечах находит выход из положения.

— Давайте, — говорю я им, — покончим сначала с одной стороной, а потом будем толковать о другой. Во-первых, я хотел бы знать точно, сколько вы приданого даете? А во-вторых, я хотел бы повидать вашу дочь.

Услыхав такие речи, он, Мойше-Нисл то есть, обращается к жене, Бейле-Лее то есть:

— Где же это Сонечка? Позови-ка ее.

— Сонечка одевается, — отвечает ему жена, подымается с места и уходит в соседнюю комнату, а мы с ним, с Мойше-Нислом то есть, остаемся одни. Выпили по рюмочке вишневки, закусили лимонным вареньем и беседуем. О чем? Я и сам не знаю, — так, вообще о всякой всячине.

— Давно вы уже занимаетесь своим делом? — спрашивает он и наливает мне рюмку вишневки.

— С самой женитьбы, — отвечаю я. — Мой тесть — сват, и отец у меня был сватом, и все мои братья занимаются тем же, чуть ли не вся наша семья, — говорю, — состоит из сватов...

Лгу на чем свет стоит, даже не поморщившись, и чувствую только, что лицо у меня пылает. Сам не знаю, откуда что взялось! Но что же мне было делать? Как твоя мать говорит: «Влез в болото, полезай дальше...» Решил я про себя, как я уж говорил тебе, что если свышешний окажет мне милость и я обломаю это дело, — свою часть заработка, с божьей помощью, без всяких отговорок, поделить пополам с тем сватом, Лейбе Лебельским, который оставил в заезжем доме свой узелок с бумагами. Чем он виноват? Ведь, если судить по справедливости, то, может быть, все мое вознаграждение принадлежит ему, Лейбе Лебельскому то есть? Но с другой стороны, а я с чем же останусь? Ведь я же, собственно говоря, во всей этой истории главный зачинщик. А труды мои совсем ничего не стоят?! И врать без зазрения совести ради другого я тоже как будто не нанимался. Да и кто знает, может быть, бог так судил, чтобы тот потерял, а я чтобы нашел и чтобы благодаря мне три человека заработали деньги?

Размышляю я таким образом, а в это время отворяются двери и входит мамаша, Бейля-Лея то есть, а следом за ней Сонечка, невеста то есть. Красивая,

высокая, полная и солидная такая, вроде мамыши. «Ну, и рост и объем, не сглазить бы! — думаю я. — Не Сонечка, а целый «сонечник»!» Одетая она, невеста, как-то странно: в длинный капот, пестрый такой, и выглядит она скорее замужней женщиной, не потому, что она стара на вид, а потому, что уж очень широка! Надо было бы с ней кое о чем побеседовать, посмотреть, что за зверь такой, но он, отец то есть, слова сказать не дает. Говорит без остановки, так и сыплет. О чем, думаешь, говорит? О Ямполье. Что это за город! Город сплетников, завистников, клеветников, готовы человека в ложке утопить... Пустые разговоры.

Спасибо, мамыша, Бейля-Лея то есть, перебила и обратилась к мужу:

— Мойше-Нисл, может быть, хватит уже разговаривать? Пускай лучше Сонечка сыграет им на «фертипьяне»!

— Я ничего против не имею! — ответил ей Мойше-Нисл и подмигнул дочери.

Подходит она к «фертипьяну», усаживается, раскрывает большую книгу и начинает почем зря молотить пальцами. Тогда мамыша говорит ей:

— Сонечка, к чему тебе «тюдды»? * Сыграй им лучше «Ехал козак за Дунаем», что-нибудь из «Колдуньи»* или «Субботнюю песню»...

— Пожалуйста, не мешай! — отвечает Сонечка и продолжает барабанить так быстро, что даже глаза не успевают за пальцами, а мать смотрит на нее не отрываясь, будто хочет сказать: «Видали, какие пальцы?»

В самый разгар игры отец с матерью незаметно выскользнули из комнаты, и мы с невестой, с Сонечкой то есть, остались с глазу на глаз.

«Теперь, думаю, самое время потолковать с ней, узнать хотя бы, умеет ли она говорить». Но с чего начать? Хоть убей, не знаю! Поднимаюсь с места, подхожу, становлюсь у нее за спиной и говорю:

— Извините, Сонечка, что перебиваю вас посреди игры. Я хотел вас кое о чем спросить...

Она поворачивает ко мне лицо, смотрит сердито и спрашивает по-русски:

— Например?

— Например, — говорю, — я хотел спросить у вас, каковы ваши требования? То есть какого, к примеру, жениха вы хотели бы, чтобы вам дали?

— Видите, — отвечает она уже немного мягче и опустив глаза, — собственно, я хотела бы «окончившего», но я знаю, что это понапрасну. Поэтому я хотела бы, по крайней мере, чтобы он был образованный, потому что, хотя наш Ямполь считается фанатическим городом, мы все же получили русское образование. И хотя мы не посещаем учебных заведений, вы все же не найдете у нас ни одной барышни, которая не была бы знакома с Эмилем Золя, с Пушкиным и даже с Горьким...

Разговорилась моя красавица, Сонечка то есть, и пошла молоть наполовину по-еврейски, наполовину по-русски, то есть больше по-русски, чем по-еврейски. В это время входит мамаша и отзывает невесту, словно хочет сказать: «Все хорошо в меру!» Входит отец, и мы снова усаживаемся с ним вдвоем и начинаем обсуждать: сколько он дает приданого, где бы съехаться на смотрины, когда справлять свадьбу и тому подобные подробности дела. Потом подымаюсь и хочу идти на станцию — дать телеграмму, но Мойше-Нисл берет меня за руку и говорит:

— Вы не пойдете, реб Менахем-Мендл! Вы прежде пообедаете с нами, вы, наверное, голодны.

Пошли руки мыть, сели за стол, выпили по рюмочке вишневки, а у него, у отца то есть, все время рот не закрывается: Ямполь, Ямполь и Ямполь...

— Вы не знаете, — говорит он, — что это за город! Город бездельников и сплетников! Если бы вы меня послушали, вы держались бы от них в стороне, не говорили бы с ними ни слова. Ничего не рассказывайте им — кто вы, откуда, что вы тут делаете... А моего имени даже не упоминайте, как будто вы меня не знаете. Понимаете, реб Менахем-Мендл? Вы меня совсем не знаете!

Так он мне наказывает раз десять подряд. Я ухожу и даю телеграмму моему компаньону в Ярмолинец, как мы и сговорились. А пишу я очень ясно следующее:

«Товар осмотрел. Первый сорт. Шесть тысяч. Телеграфируйте, сколько напротив. Где съедемся...»

На другой день от моего компаньона прибывает какой-то странный ответ:

«Упирался десять. Напротив половина шесть. Работайте набавке. Согласен Жмеринке. Товар прима. Телеграфируйте».

Бегу к своему Мойше-Нислу, показываю ему депешу и прошу разъяснить мне ее, потому что я ни слова не понимаю. Он прочитал депешу и говорит:

— Чудак! Чего вы тут не понимаете? Ведь это же яснее ясного. Он, понимаете ли, хочет, чтобы я дал десять, тогда он мне даст половину шести, то есть три тысячи. Напишите же ему, что он чересчур умен. Короче говоря: сколько бы он ни дал, даю в два раза больше. И еще пишите, чтоб не медлил, потому что найдется другой.

Я послушал его и дал компаньону такую депешу: «Коротки слова. Сколько дает, кладу напротив два раза более. Не медливать. Подхватится другой».

В ответ получаю снова непонятную телеграмму:

«Согласен два раза менее выговором тысяча назад. Товар находка».

Снова бегу с депешей к моему Кимбаку. А он опять:

— Все ясно. Ваш компаньон говорит, что согласен дать ровно половину, но с условием, что получит тысячу обратно. Это значит: если я, к примеру, дам десять, то он должен был бы дать пять, но ему хочется оттянуть одну тысячу. Получится, значит, что я даю десять, а он только четыре. Неглуп, что и говорить! Он хочет меня обдурить с головы до пят. Но я, знаете ли, купец и в делах кое-что понимаю. Я лучше дам ему вдвое больше того, что дает он, да еще накину тысячу. Иначе говоря, если он даст три — дам семь, даст четыре — дам девять, даст пять — дам одиннадцать. Раскусили? Так вот, — говорит, — идите сейчас же и дайте ему «строчную», чтоб он не тянул и пусть тоже ответит вам «строчной» о встрече, и дело с концом!

Бегу, даю своему Ошеру «строчную» депешу:

«Даст три — кладет семь. Даст четыре — кладет девять, даст пять — кладет одиннадцать. Не тянуть длинную скамейку. Строчите выедем».

В ответ получаю «строчную» депешу — всего два слова:

«Выедем. Выезжайте».

Когда прибывает такая важная депеша? Конечно, ночью. И ты сама должна понять, что спать в эту ночь я уже больше не мог. Стал рассчитывать, сколько, примерно, наберется на мою долю, если, скажем, всевышний поможет и я сосватаю весь список, который Лейбе Лебельский потерял? Что тут, в сущности, невозмож-

ного, если бог захочет? Я твердо решил: как только, с божьей помощью, проведу это дело, заключить с Ошером постоянный союз. Человек он, судя по всему, предприимчивый, да и везет ему здорово. И разумеется, Лейбе Лебельский тоже не будет обойден. Что я могу иметь против него? Он тоже бедняк, обремененный семьей...

Еле дождался утра, помолился и пошел к моим Кимбакам — депешу показывать. Те сразу велели подать кофе со сдобными булочками, и было решено, что в тот же день мы вчетвером выезжаем в Жмеринку. Но для того чтобы Ямполью не показалось подозрительным, чего это мы едем вчетвером, мы устроили так: я выезжаю с поездом, который уходит раньше, а они — позже. А до их приезда я в Жмеринке присмотрю для них гостиницу получше и закажу приличный ужин.

Так оно и было. Приехал я в Жмеринку раньше всех, остановился в лучшей гостинице, собственно единственной в Жмеринке, под названием «Одесская гостиница». Познакомился первым делом с хозяйкой, очень славная женщина, гостеприимная такая. Спрашиваю:

— Что у вас можно покушать?

— А чего бы вы хотели?

— Рыба у вас есть?

— Можно купить.

— Ну, а бульон?

— Можно и бульон сварить.

— С чем? С лапшой или с рисом?

— Хотя бы с клецками.

— Ну, а скажем, к примеру, жареные утки?

— За деньги, — говорит, — можно и уток достать.

— Ну, а пить? — спрашиваю.

— А что вы пьете?

— Пиво есть?

— Почему нет?

— А вино?

— Были бы денежки!

— Так вот, — говорю я, — потрудитесь, дорогая моя, готовьте ужин не больше, не меньше, как на восемь персон.

— Откуда взялось восемь персон? — отвечает она. — Ведь вы только один?

— Странная женщина! — говорю я. — Какое вам дело? Вам говорят: восемь, значит, восемь.



Во время нашего разговора входит мой компаньон, реб Ошер то есть, бросается ко мне на шею и начинает целовать меня и обнимать, как родной отец:

— Чуяло мое сердце, — говорит он, — что найду вас здесь, в «Одесской гостинице»! Тут есть что перекусить?

— Только что, — отвечаю, — я заказал хозяйке ужин на восемь персон.

— При чем тут ужин? — говорит он. — Ужин — ужином, но пока обе стороны выберутся и приедут, мы все не обязаны поститься. Вы тут, я вижу, свой человек. Прикажите накрывать на стол, пусть нам подадут водочки и чего-нибудь мясного на закуску. Кушать хочется, — говорит, — до полусмерти!

И, не ожидая долго, реб Ошер направляется на кухню руки мыть, знакомится с хозяйкой, велит подавать, что можно, и мы садимся честь честью за стол, а реб Ошер, закусывая, рассказывает чудеса, как он стену пробивал, в лепешку расшибался, пока наконец ему удалось уломать своего аристократа дать эти три тысячи.

— Как это, — говорю я, — три тысячи? Ведь речь шла о четырех и не меньше?

— Разрешите, — отвечает он, — реб Менахем-Мендл! Я знаю, что делаю. Меня зовут реб Ошер! Надо вам знать, — говорит он, — что мой Ташрац вовсе ничего давать не хотел, потому что он знатного происхождения, а жена его еще больше родовита. Он, говорит, если бы хотел породниться с кем попало, то ему бы еще доплатили. Словом, я достаточно потрудился, горы ворочал, еле-еле с грехом пополам уговорил его дать, по крайней мере, две тысячи.

— Что значит, — говорю, — две тысячи? Ведь вы же только что говорили — три тысячи!

— Разрешите! — снова отвечает он. — Реб Менахем-Мендл, я сват более опытный, чем вы, и зовут меня реб Ошер! Пускай стороны съедутся, пускай жених с невестой свидятся, тогда все будет в порядке. Из-за какой-нибудь несчастной тысячи у меня сватовство не расстраивается! Меня, понимаете ли, зовут реб Ошер! Есть, правда, одна заковыка, которая меня тревожит...

— А именно? — спрашиваю. — Что вас тревожит?

— Меня тревожит призыв. Я уверил своего Ташраца, что хотя у вашего Мойше-Нисла совсем молодое дитя,

кровь с молоком, но призыва он не боится... Сказал даже, что он уже покончил с призывом...

— Что вы такое болтаете, реб Ошер? — спрашиваю я своего компаньона. — Какой такой призыв? Откуда?

А он опять:

— Разрешите, реб Менахем-Мендл! Меня зовут реб Ошер!..

— Вы можете, — отвечаю я, — восемнадцать раз называться реб Ошер, и все же я не понимаю, о чем вы говорите! Что это вы лопочете: «Призыв — шмизыв...» Откуда у моего Мойше-Нисла взялся призыв? Женщины, по-вашему, тоже отбывают воинскую повинность?

— Что значит женщины? — говорит мне Ошер. — А где же сын вашего Мойше-Нисла?

— Откуда, — отвечаю, — у Мойше-Нисла возьмется сын, когда всего-то навсего у него одна-единственная дочь? Од-на-един-ствен-ная!

— Значит, — говорит он, — выходит, что и у вас девица? Позвольте, но ведь вы же говорили о женихе!

— Конечно, о женихе! Но я иначе и не думал, что женихова сторона — это вы!

— Из чего следует, — говорит он, — что женихова сторона — это я?

— А из чего следует, — отвечаю я, — что женихова сторона — это я?

— Почему вы не предупредили меня, что у вас девица?

— Ну, а вы предупредили меня, что у вас девица?

Тут он рассердился и говорит:

— Знаете, что я вам скажу, Менахем-Мендл? Вы такой же шадхен, как я раввин!

— А из вас, — отвечаю, — такой же сват, как из меня раввина!

Слово за слово... Он мне: «Растяпа!» Я ему: «Лгун!» Он мне: «Рохла!» А я ему: «Обжора!» Он мне: «Менахем-Мендл!» Я ему: «Пьянчуга!» Это его, конечно, за дело, он мне — пощечину, а я его — за бороду... Скандал, упаси бог!

Понимаешь? Столько расходов, и времени, и трудов... А позор-то какой! Все местечко сбежалось полюбоваться на сватов-ловкачей, которые сосватали двух девиц! Но Ошер этот самый — черт бы его побрал! — сразу же исчез, меня оставил одного рассчитывать с хозяйкой за ужин, который я заказал на восемь персон. Счастье,

что мне удалось улизнуть вовремя, до того, как родители обеих невест приехали в Жмеринку. Что там творилось с ними, я не знаю. Но представляю себе. Так вот поди будь пророком, знай, что этот сват — провалился он сквозь землю! — такая пустельга, черт бы его побрал! Такая ветряная мельница! Говорит, разъезжает, носится, дает депеши, а в конце концов? Обе девицы! Раз навсегда, дорогая моя, не везет, хоть живым в воду! И потому что я очень пришиблен, я пишу на сей раз кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно деткам, по которым я сильно стосковался, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Господь поражает, господь и исцеляет. Едучи из Жмеринки, я думал, что небо уже свалилось на меня. Было бы у меня на дорогу, я бы уже кое-как добрался до дому, в Касриловку. Но как я ни считал, выходило, что я обязательно застряну где-нибудь в пути, хоть ложись поперек рельсов. Но на то и бог! В вагоне знакомлюсь с каким-то чудачком, который штрафует * людей от смерти. Он уговаривает меня, обещает золотые горы, лишь бы я стал агентом. Что такое агент и как штрафуют людей от смерти, — писать долго, а я уж и так хватил через край. Оставлю это до другого раза.

Тот же.

Конец пятой книги

ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТЬЕ

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ — АГЕНТ

*Менахем-Мендл с дороги — своей жене Шейне-Шейндл
в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

Во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя жена, что мне пришлось исчезнуть, то есть удрать. Я только что выпутался из большой беды! Надо бога благодарить! Чуть-чуть в кутузку не угодил, и, бог знает, чем бы все это кончилось. Об арестантских ротах и говорить не приходится, — пахло каторжной Сибирью, хотя виноват я столько же, сколько и ты. Как твоя мама говорит: «Придет беда — отворяй ворота!» Сейчас, когда господь бог помог и я вовремя вырвался, как из огня, я хочу написать тебе обо всем подробно. От начала до конца.

Из предыдущего моего письма ты, наверное, поняла, в каком я очутился положении, после того как сосватал двух девиц... Я тогда думал, что все кончено! Нет больше Менахем-Мендла! Но встретился я с одним типом, с агентом-инспектором из «Аквитебла»*, который штрафует людей от смерти и зарабатывает на этом крупные деньги. Он достал книжку и показал мне, скольких людей он уже заштрафовал от смерти и сколько человек

у него уже умерло. А это такое дело, что чем больше умирают, тем лучше, — и для покойников и для живых. Ты, пожалуй, спросишь: в чем тут смысл? А смысл простой! Например, взял «Аквитебл» и заштрафовал меня от смерти на десять тысяч рублей. Я должен платить за это всего каких-нибудь двести—триста рублей в год — до самой смерти. Так что одно из двух: если я умер, упаси бог, в первый же год, — твое счастье: десять тысяч на улице не валяются! А если я живу, то счастье «Аквитебла». Служит там бесконечное количество людей, все больше евреев, у которых тоже имеются жены и дети и которые тоже хотят жить. Но меня это не касается. Беда, однако, в том, что не каждый может быть агентом. Агент должен быть первым делом хорошо одет, но по-настоящему хорошо! Приличный костюм, воротник и манжеты — хотя бы бумажные, но обязательно белые, красивый галстук, ну, а о шляпе говорить не приходится. А главное — это разговор. Агент обязан уметь говорить. Это значит, он должен уметь разговаривать, уговаривать, переговаривать, заговаривать, говорить до тех пор, пока человек почувствует, что ему необходимо заштрафоваться от смерти. А больше ничего не нужно. Словом, мой агент-инспектор нашел, что из меня должен выйти хороший агент, замечательный «инквизитор»...*

Теперь, дорогая моя, я должен тебе объяснить разницу между агентом-инспектором и агентом-инквизитором. Агент-инквизитор — это просто агент, который штрафует людей от смерти, а агент-инспектор — это уже старший, который сам агентов делает. Затем имеется еще «кружной»* агент-инспектор, который делает агентов-инспекторов, а надо всеми этими инквизиторами, инспекторами и «кружными» существует начальник, которого называют «генерал-инспектором». Старше его нет никого на свете. Понятно, для того чтобы стать «генералом», нужно сначала быть «инквизитором», потом инспектором, затем «кружным» и так далее. А уж когда бог поможет и дослужишься до генерала, тогда ты обеспечен заработком на всю жизнь. Есть, говорят, генералы, которые не меньше тридцати тысяч в год проживают. Словом, он стал меня уговаривать сделаться агентом. И я подумал: а чем я рискую? Одно из двух: пойдет так пойдет, а нет так нет. «Масла, — говорит он, — я в это дело не кладу. Наоборот, я еще получаю, — говорит он, — «аванс», то есть мне дают задаток в счет

моей работы, чтобы я имел на расходы, на новый костюм и на покупку портфеля». В таком случае это и вовсе неплохая комбинация! И я дал себя уговорить и сделался, в добрый час, агентом.

Однако это не так скоро делается, как говорится. Чтобы стать агентом, надо прежде всего повидаться с генералом, потому что куда генерал не подпишет, — все это гроша ломаного не стоит. И вот он, инспектор то есть, взял и на свой счет привез меня в Одессу к генералу «Аквитебла», который распоряжается двадцатью с лишним губерниями и имеет в своем подчинении, говорят, восемнадцать сотен агентов.

Описать тебе величие этого генерала просто невозможно. То есть сам по себе он не так уж велик, но шум вокруг него велик. Глаза у него большие и острые, а личико светлое, щеки розовые и звать его Евзером. Контора генерала занимает целый дом: комнаты, комнаты, комнаты... Множество столов и стульев, книг и бумаг, агенты толкуются, шум, гам, денешки летят во все стороны — столпотворение! Пока добьешься к самому генералу, надо пройти через все семь кругов ада.

Я весь помертвел, когда меня ввели к этому Евзеру, хотя он пригласил меня сесть, угостил папиросой и спросил обо всем: кто я такой, и что я такое, и чем занимаюсь... Я рассказал ему все, от начала до конца: как я ехал в Кишинев и очутился в Одессе, как торговал «Лондоном», а потом попал в Егупец, вертелся там на бирже, покупал и продавал «Путивль», «лилипотов» и другие «бумажки», до миллионов добирался, а потом как я, не теперь будь сказано, сделался маклером по сахару и по деньгам, по домам и имениям, по лесам и заводам, и как я потом стал сватом и даже писателем, словом, ворочал делами, горел, пылал, трещал на весь мир, и как все это кончилось плохо, дальше некуда...

Выслушал меня генерал, Евзер то есть, поднялся, положил руку мне на плечо и сказал:

— Знаете, что я вам скажу, господин Менахем-Мендл? Вы мне нравитесь. Имя у вас славное, а говорить вы, слава богу, мастер! Предсказываю, что со временем вы будете крупным агентом, очень крупным! Пока получите аванс, выезжайте в свет: по еврейским городам и местечкам, — вас там все знают, — и дай бог счастья!..

И действительно. Получив у них деньги, я тут же облачился в царские одежды. Ты бы меня, наверное,

не узнала. Портфель я купил себе большой. Насовали мне в него книжек и бумаг — целый транспорт, и я пустился в свет!

Прежде всего отправился в Бессарабию — счастливый уголок! Там, говорят, можно дела делать — штрафовать и штрафовать! И должно же так случиться, что как раз на эти дни припала годовщина смерти отца. Я остановился от поезда до поезда в каком-то захолустном местечке, черт бы его взял! Я и не знал, что местечко это славится своими озорниками, нахалами, доносчиками и ябедниками. Сгореть бы ему до того, как я его узнал! Но уж если суждено несчастье, — так именно в этом местечке надо было мне остановиться и попасть в такое болото, — господи спаси и помилуй! Чужло мое сердце, что добром это не кончится. Но когда нужно прочесть поминальную молитву, так ведь от этого не откажешься!

Пошел я в синагогу и попал как раз к вечерней молитве. Когда помолились, подходит ко мне служка и спрашивает:

— Годовщина?

— Годовщина! — отвечаю.

— Откуда будете?

— С белого света, — говорю.

— Как ваше имя?

— Менахем-Мендл.

— Привет вам! — говорит он и здоровается со мной, а за ним и все молящиеся.

Окружили меня со всех сторон и начали выспрашивать: кто я такой, и откуда, и чем занимаюсь?

— Я — агент! — говорю.

— По каким делам? — спрашивают. — По машинам?

— Нет, — отвечаю. — Я агент-инквизитор от «Аквитебла».

— Это что еще за напасть? — спрашивают они.

— Я обеспечиваю людей после смерти.

И объясняю им, что это значит и как штрафуют людей от смерти. А те стоят с раскрытыми ртами, как если бы им рассказывали, что на небе ярмарка.

Среди них я заметил двоих людишек: один из них высокий, тощий, весь какой-то изогнутый, и нос у него тоже изогнутый и лоснящийся. И манера у этого человека во время разговора выдергивать по одному волосы из бородки. Второй — невысокого роста, коренастый,

черный, как цыган, с одним глазом — вороватым и все время глядящим куда-то в сторону. И как бы серьезно он ни говорил, все кажется, что он ухмыляется. Эти двое, видимо хорошо раскумекали, что значит штрафовать людей от смерти: они как-то странно все время переглядывались и пробормотали один другому: «Будет дело!»

Я сразу же сообразил, что этих двух нельзя равнять с остальными: они понимают дело и с ними можно столкнуться.

И действительно, как только я вышел из синагоги, они пошли следом и обратились ко мне:

— Куда вы так спешите, реб Менахем-Мендл? Погодите минуточку, мы хотим у вас кое-что спросить. Вы собираетесь у нас, в этой дыре, дело делать?

— А почему бы и нет? — спрашиваю.

— С нашими евреями? — говорит долговязый с изогнутым носом.

А тот, с глазком, подхватил:

— С евреями хорошо кугл кушать!

— Что же прикажете делать? — говорю я.

— Дело надо делать с помещиками!

— Дай им бог здоровья! — подхватил одноглазый.

Идем мы таким образом и разговариваем. А когда говорят, — можно и договориться. Оказывается, что у них сокровище: барин, молдаванин, богатый хозяин, который дает им подзаработать. Вот они и думают, что его можно было бы заштрафовать на кругленькую сумму...

— Ну что ж! С удовольствием! А ну-ка, возьмитесь за это дело, и давайте поработаем вместе... Я не жадный...

И решено было, что завтра утром в синагоге они передадут мне ответ их барина-молдаванина. Они только просили все сохранить в тайне, не проговориться в заезжем доме, что мы виделись и затеяли вместе дело.

Как только рассвело, я поторопился в синагогу. Помолился, а моих типов нет. Подождал, покуда помолилась новая партия прихожан, — нету моих людей. Почему я, дурень, не спросил, как их звать, где они живут? Подойти к служке и спросить боюсь: ведь я же дал слово все сохранить в тайне. И только когда все помолились, они пожаловали. Увидал я их, и сердце у меня екнуло от радости. Однако подойти к ним и спросить, как обстоит дело, воздержался. Это неудобно. Помолившись наспех, они пошли. Я за ними.

— Ну? — спрашиваю.

А они мне:

— Помалкивайте. Не говорите на улице. Вы не знаете нашего города, сгореть бы ему! Вы идите лучше следом за нами к нам домой. Там сделаем дело, а кстати, и закусим...

Так говорит долговязый, что с изогнутым носом, делает какой-то знак одноглазому, и тот исчезает. А мы вдвоем идем какими-то мрачными закоулками, — он впереди, а я за ним. Наконец господь помог, и мы благополучно прибыли.

Вошли мы в темную, закопченную избушку со множеством мух на стенах и на потолке, с размалеванным «востоком»*, с красной скатертью на столе, с лампой, обвешанной поблекшими бумажными цветами... Возле печи стояла маленькая женщина-замухрышка с бледным перепуганным лицом. Женщина испуганно поглядела на мужа, а тот, проходя мимо, бросил: «Кушать!» — и в одно мгновение на столе появилась другая скатерть, булка, водка и закуска. Прошло немного времени, и вошел одноглазый, а следом за ним вкатился человечеще пудов двенадцать весом, с большим синим носом, с огромными волосатыми ручищами и парой странных ног, сверху довольно толстых, а книзу все тоньше и тоньше. Нелегко им, должно быть, таскать такую тушу.

Это и был тот самый барин-молдаванин. Увидав на столе бутылку водки, он жирным голосом выдавил из жирного брюха:

— Оце добре діло!

Выпив по рюмочке (барин выпил две), оба типа заговорили с ним насчет пшеницы и ржи, а между делом одноглазый шепнул мне на ухо:

— Набит деньгами, как мешок! У него чуть ли не тысяча четвертей хлеба, не считая овса... Вы не смотрите, что он так одет: скряга!

А второй, долговязый, все время советует барину хлеб не продавать, потому что пшеница будет в цене. Лучше весь хлеб приберечь до зимы.

— Оце добре діло! — повторяет барин, раз за разом опрокидывает рюмку и, закусывая, будто с голодухи, отдувается губами и носом. После еды долговязый мне говорит:

— Теперь можете потолковать с барином о вашем деле...



Сели мы с ним в уголок, и я разговорился, — сам не знаю, откуда что взялось! Я объяснил ему, как важно каждому человеку штрафоваться, будь он хотя бы богат, как Крез. «Наоборот, чем богаче человек, тем, — говорю я, — нужнее, чтобы он заштрафовался, потому что богатому, когда он на старости лет теряет свои капиталы, в тысячу раз хуже, чем бедняку. Бедняк, — говорю я, — свыкся со своей нищетой, а богатый, если останется, упаси бог, без денег, хуже, чем покойник! Як написано у нас, — говорю я ему, — «они хошув кимес», — значит: бедный хуже, як мертвый. А потому, — говорю я, — ваше благородье, заштрафуйте соби от смерти, — через сто двадцать лет, — на десять тысяч!!!»

— Оце добре діло! — отвечает барин и отдувается, как кузнечный мех.

Чувствую, что желание говорить разгорелось во мне со страшной силой, хочу продолжать, но долговязый обращается ко мне:

— Довольно звонить! Доставайте бумагу, нарисуйте, что требуется.

Одноглазый подает мне чернила и перо, и я проделываю все, что полагается. А когда дошло до подписи, мой барин, бедняга, здорово попотел, пока изобразил свое имя. Потом мы пошли с ним к доктору, чтобы тот его осмотрел, я получил задаток, выдал квитанцию и — дело сделано.

Пришел под вечер в заезжий дом в хорошем настроении, заказал ужин. Хозяин спрашивает:

— Что у вас хорошего?

— Ничего особенного.

— Можно вас поздравить?

— А с чем? — спрашиваю я.

— С дельцем, которое вы тут обделали...

— С каким дельцем? — прикидываюсь я дурачком.

— С барином! — говорит он.

— С каким барином?

— С толстым барином...

— А откуда, — спрашиваю, — вы знаете, что я сделал дело с барином?

— Это такой же барин, — говорит он, — как я жена раввина...

— А кто же он такой?

— Свинья рогатая! — говорит хозяин и смеется мне прямо в лицо.

Тогда я подсел к нему и стал спрашивать, умолять, чтобы он мне сказал, что значит «свинья рогатая», и откуда он знает, где я был и что я делал?

Словом, он, по-видимому, понял, что я тут ни сном, ни духом не виноват. Пожалел он меня, заперся со мной в отдельной комнате и стал рассказывать о моих компаньонах такие вещи, что у меня волосы дыбом встали. Оказывается, эти двое — просто жулики, бандиты, каких свет не видал.

— Они, — говорит он, — за свою жизнь столько уголовных дел совершили, что если бы их поймали, то отправили бы невесть куда... Их счастье, что каждый раз они выставляют вместо себя кого-нибудь третьего, а сами остаются в стороне... Этот барин, которого они вам представили, как богатого молдаванина, всего-навсего простой «лапацон», пьянчуга, каких мало, а тот, кого вы заштрафовали, — либо готовится богу душу отдать, либо давно уже у господ бога в раю... Понимаете, чем это пахнет?

У меня душа в пятки ушла! Мне только того и не доставало, как попасть надолго в тюрьму! Я не стал откладывать, тут же побежал на станцию, чтобы удрать, куда глаза глядят. Я даже видется не пожелал больше с моими типами. Пусть они провалятся сквозь землю со своим барином, со всей Бессарабией и со всем этим штрафованием людей от смерти, которое может привести к несчастью... Дай бог лучших дел! Прибыть бы мне благополучно на место. Но так как я собираюсь в дальний путь, то пишу тебе кратко. Даст бог, из Гамбурга напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет милым деткам. Дай им бог здоровья и сил и дай бог свидеться при более веселых обстоятельствах! Привет тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл*.

Главное забыл! Я совсем забыл написать тебе, куда я еду. Дорогая моя жена, я еду в Америку. Не один, — целая компания едет. То есть едем мы, собственно, в Гамбург, а уж оттуда в Америку. Почему в Америку? Потому что в Америке, говорят, неплохо живется. Золото, говорят, там на улицах валяется. Деньги там считают на доллары, а люди там в большом почете: червонец — человек! А уж о евреях и говорить не приходится, — они там в ступе на самом верху. Все меня

обнадеживают, что в Америке я, с божьей помощью, буду процветать! Весь мир едет в Америку, потому что здесь делать нечего. Совсем нечего! Кончились все дела. А уж если все едут, почему же мне не ехать? Чем я рискую? Но только ты не огорчайся, дорогая моя, и не подумай обо мне дурного! Поверь моему слову, что я, упаси бог, не забуду ни тебя, ни наших деток, дай им бог здоровья! Я буду трудиться день и ночь, никакой работы не испугаюсь, и как только господь мне поможет и мне повезет, а мне обязательно повезет, я в этом уверен так же, как и в том, что сейчас день на белом свете, — я пришлю шифскарты * для тебя и для детей, заберу вас сюда, и будешь ты у меня жить в почете, как графиня, все самое лучшее доставлю тебе, пылинки не дам на тебя упасть. Да и пора уже, право, чтобы и ты пожила в свое удовольствие! Только не горевать и не принимать близко к сердцу, — ибо велик наш бог!..

Тот же

Конец шестой книги

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК



Зде
это
сказано,
что тебе
должен
работать
на них,
вставай
ни свет,
ни зря,
когда сам
еще спишь?
А ради
чего?

Ради
того
чтобы
оставить
или к утрен-
нему
свежее
масло
и сыр...

Зде
это
сказано,

что
тебе
обязан
мазать
ся
из-за
жирной

похледи
из-за крупного клеша,
а они, египетские богаты,
должны косточки свои
на дачах нежить,
палец о палец
не ударять и кушать обязательно
пирожки, блинчики и вертутки?

Г. Г. Г.

«АЗ НЕДОСТОЙНЫЙ»

Письмо Тевье-молочника к автору

Мосму любимому и дорогому другу, реб Шолом-Алейхему, — дай бог здоровья и достатка вам с женой и детьми! Да сопутствуют вам радость и утеха всюду и везде, куда бы вы ни обратили стопы свои, — вовеки амины!

«Аз недостойный!..», — должен сказать я, выражаясь словами праотца нашего Иакова, с которыми он обратился к господу богу, собираясь в поход против Исава...* Но может быть, это не так уж к месту, — не взыщите, пожалуйста: человек я простой, вы, конечно, знаете больше моего, — что и говорить! Живешь, прости господи, в деревне, грубеешь, некогда ни в книгу заглянуть, ни главу из Священного писания повторить... Счастье еще, что летом, когда в Бойберик на дачи съезжаются егупецкие богачи, можно кой-когда встретиться с просвещенным человеком, услышать мудрое слово. Поверьте, вспоминать о тех днях, когда вы жили неподалеку от меня в лесу и выслушивали мои глупые рассказы, мне дороже какого угодно заработка! Не знаю, чем я заслужил, что вы возитесь с таким маленьким человечком, как я, пишете мне письма да еще собираетесь выставить мое имя в книге, преподнести меня как лакомое блюдо, точно бы я был невесть кто! Не должен ли я воскликнуть: «Аз недостойный!..» Правда, я вам понстине преданный друг, дай мне бог хотя бы сотую долю того, что я желаю вам! Вы, я думаю, и сами могли видеть, как я старался ради вас еще в те добрые времена, когда вы снимали большую дачу, — помните? Не



купил ли я вам за полсотни корову, какую и по дешевке за пятьдесят пять рублей не купишь. А что она на третий день окодела, так я же не виноват! Ведь вот вторая корова, которую я для вас купил, тоже подохла!.. Вы сами отлично знаете, как это меня огорчило, я прямо таки голову тогда потерял! Я ли не старался доставлять вам все, что ни есть лучшего, да поможет так бог мне и вам в наступающем новом году, чтобы было у вас, как в молитве сказано: «Обнови дни наши, яко встарь...» А мне да поможет господь в моем деле! Чтобы и я, и лошаденка моя были здоровы, чтобы коровы давали много молока, дабы я и впредь мог служить вам верой и правдой и доставлять сыр и масло вам и егупецким богачам, пошли им бог удачи в делах и всего наилучшего. А что касается вашего труда и почета, который вы мне оказываете своей книгой, то я еще раз повторяю: «Аз недостойный!» Не много ли чести для меня, чтобы весь мир вдруг узнал, что по ту сторону Бойберика, недалеко от Анатовки, живет человек по имени Тевье-молочник? Однако вы, надо полагать, знаете, что делаете, учить вас уму-разуму мне не приходится; как писать, вам виднес, а во всем остальном целиком полагаюсь на ваш благородный характер: уж вы, я надеюсь, пострадаетесь там в Егупце, чтобы мне от этой книжки кое-что перепало. Сейчас это, знаете ли, было бы очень кстати: я собираюсь вскоре начать подумывать о свадьбе — дочь надо замуж выдать. А если господь, как вы говорите, дарует жизнь, то, пожалуй, и двух сразу... А пока будьте здоровы и всегда счастливы, как желает вам от всего сердца ваш лучший друг

Тевье.

Да! Главное забыл! Когда книжка будет готова и вы вздумаете выслать мне немного денег, будьте добры отправить их в Анатовку на имя тамошнего резника. У меня зимой два поминальных дня: один осенью, незадолго до покрова, а другой поближе к зиме, — так что эти дни я провожу в городе. А просто письма можете посылать прямо в Бойберик на мое имя. Пишите так: «Передать господину Тевлу, молочного еврей».

СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО!

Удивительная история о том, как Тевье-молочник, бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, достойному описания. Рассказана самим Тевье и передана слово в слово

«Из праха подьемлет он бедного,
из тлена — нищего...»

Псалтырь, 113, 7

Знаете, пане Шолом-Алейхем, уж коль суждено счастье, оно само в дом приходит! Как это говорится: «Если повезет, так на рысях!» И не надо при этом ни ума, ни умения. А ежели, упаси господи, наоборот, — так уж тут говори не говори, хоть разорвись, — поможет, как прошлогодний снег! Как в поговорке: «Сладу нет с худым конем — ни умом, ни кнутом!» Человек трудится, надрывается, хоть ложись — прости господи! — да помирай! И вдруг — не знаешь, отчего и почему, — удача прет со всех сторон... «Свобода и избавление да придут на иудеев!» Растолковывать вам эти слова нужды нет, но смысл их такой: покуда душа в теле, покуда хоть одна жилка еще бьется, нельзя терять надежды. Я знаю это по себе. И в самом деле, какими судьбами пришел я к теперешнему моему промыслу? Ни бабка моя, ни прабабка никогда молочным не торговали. Нет, право же, вам стоит выслушать эту историю от начала до конца. Я присяду на минутку вот здесь, возле вас, на травке, а лошадка тем временем пускай пожует. Как говорится: «Душа всего живущего» — тоже ведь божья тварь.

Словом, было это около пятидесятиницы *, то есть, чтобы не соврать, за неделю или за две до пятидесятиницы...

А впрочем, может быть, и неделю-другую после пятидесятиницы. Не забывайте, что делу этому уже как-никак не первый год, то есть ровно девять лет, если не все десять, а может быть, еще и с хвостиком.

Был я тогда совсем не тот, что сейчас, то есть, конечно, тот же Тевье, а все же не тот, как говорится: та же бабка, да повойник другой. Почему, спросите вы? Очень просто: был я тогда, не про вас будь сказано, гол как сокол, нищий... Хотя, с другой стороны, если говорить начистоту, я и сейчас еще не богат. Мы можем с вами вместе пожелать себе заработать нынешним летом столько, сколько мне не хватает до состояния Бродского... Но в сравнении с тем, что было, я сейчас, можно сказать, богат: у меня своя лошаденка с повозкой, у меня, не сглазить бы, пара дойных коровок и еще одна стельная, вот-вот должна отелиться. Грех жаловаться: каждый день у меня свежее молоко, масло, сыр, сметана — и все своим трудом добыто, потому что работаем мы всей семьей, никто без дела не сидит. Жена доит коров, дочери разносят крынки, сбивают масло, а сам я, как видите, что ни утро, езжу на базар, обхожу в Бойберике все дачи, встречаюсь с тем, с другим, с самыми богатыми людьми из Егупца... Поговоришь с человеком — начинаешь чувствовать, что и сам ты как-никак человек на белом свете, как говорится, не кляча колченогая... А уж в субботу — и говорить нечего! В субботу я король: заглядываю в книгу, просматриваю главу из Пятикнижия*, почитываю «Поучение отцов»*, псалом — то да се, пятое-десятое... Смотрите вы на меня, пане Шолом-Алейхем, а про себя небось думаете: «Э-ге, а ведь этот Тевье не так уж прост!..»

Словом, о чем же я начал рассказывать? Да... был я тогда, стало быть, с божьей помощью, горемычный бедняк, помирал с голоду вместе с женой и детьми трижды в день, не считая ужина. Трудился, как вол, возил бревна из лесу на вокзал, полный воз, бывало, везу — чего тут стесняться? — за два пятиалтынных, да и то не каждый день... И вот на такие заработки изволь прокормить полон дом едоков, не сглазить бы, да еще содержать лошадку, которой и вовсе дела нет до всякого рода толкований и изречений: корми ее каждый день без отговорок, и дело с концом!

Однако на то и бог! Ведь он, как говорится, «всех кормящий и насыщающий», разумно миром управляет...

Видит он, как я из-за куска хлеба бьюсь, и говорит: «Ты небось думаешь, Тевье, что все уже кончено, светопреставление, небо на землю валится? Ну и глуп же ты, Тевье, ой как глуп! Вот увидишь, счастье, если богу будет угодно, повернется этак налево кругом, — и сразу во всех уголках светло станет!» Выходит, как в новогодней молитве сказано: «Кто будет вознесен, а кто — низвергнут», — кто ездит, а кто пешком плетется. Главное — упование! Надо жить надеждой, только надеждой! А ежели до поры до времени приходится горе мыкать, так на то же мы и евреи на белом свете, как говорится, избранный народ... Недаром нам весь мир завидует... К чему я это говорю? Да к тому, что и меня господь бог не оставил своей милостью... Вы только послушайте, какие чудеса на свете бывают.

Однажды летом, в предвечернюю пору, еду я лесом, возвращаюсь порожняком. Голову повесил, на душе кошки скребут. Лошаденка едва ноги волочит, хоть ты ее режь...

— Ползи, — говорю я, — несчастная! Пропадай со мной заодно! Знай и ты, что значит пропоститься долгий летний день, раз ты у Тевье в лошадях состоишь!

Кругом тишина. Каждый щелчок бича гулом отдается в лесу. Солнце садится, день угасает. Тени от деревьев вытягиваются до бесконечности. Темнеет. Тоскливо становится. В голову лезут разные думы, образы давно умерших людей встают перед глазами. О доме вспомнишь, — горе горькое! Дома мрак, уныние, ребятишки, будь они здоровы, раздетые, разутые, ждут не дождутся отца-добытчика, не привезет ли каравай свежего хлеба, а то и булку! А она, старуха моя, — известное дело, женщина! — ворчит: «Детей ему нарожала, да еще семерых! Хоть возьми, прости господи, и утопи их живыми в речке!» Каково такие речи слушать!

А ведь мы всего только люди, плоть да кровь. Разговорами сыт не будешь... Поешь селедки — чаю захочется, а к чаю сахар требуется, а сахар, говорите вы, у Бродского...

— За кусок хлеба, что не доела, — говорит моя жена, — утроба не взыщет. Но без стакана чаю утром я не жилица на белом свете: ребенок за ночь все соки из меня высасывает!

Однако и о том, что ты еврей, забывать нельзя: солнце на закате... Молитва, хоть и не коза, никуда не

убежит, а помолиться все-таки пора... Правда, какая уж там молитва! Можете себе представить: как раз, когда положено стоять неподвижно, лошаденка, точно назло, срывается с места и несется как шальная... Вот и бежишь за тележкой, натягивая вожжи, и припеваешь: «Господь Авраама, господь Исаака, господь Иакова...» Хороша молитва, нечего сказать! А помолиться, как нарочно, хочется горячо, с огнем, — авось на душе полегчает...

Короче говоря, бегу это я за возом и читаю нараспев совсем, как в синагоге (не будь рядом помянута!): «Питающий все живущее от щедрот своих!» То есть кормящий всякое свое творение... «Выполняющий обет свой перед покоящимся во прахе...» То есть даже перед теми, кому и жизнь — сырая могила...

«Эх, думаю, жизнь наша — могила глубокая! Ну и маемся же мы на свете! Не то что егупецкие богачи, которые целое лето на дачах в Бойберике проводят, пьют, едят, как сыр в масле катаются! Эх, господи владыко небесный! И за какие грехи мне все это? Не такой я, что ли, как все другие? «Воззри на нашу бедность!» Посмотри, мол, на наши муки, погляди, как мы трудимся, и заступись за нас, бедняков, потому что больше за нас заступиться никому! «Исцели нас да будем исцелены». Пошли нам исцеление, а болячек нам не занимать стать. «Благослови нас...» Пошли нам добрый год, чтобы хлеба уродились — и рожь, и пшеница, и ячмень... Хотя, с другой стороны, какая мне, горемычному, от этого польза? Не все ли равно, скажем, моей лошаденке, дорог овес или дешев?»

Однако не нам судить о деяниях всевышнего. А еврей и подавно должен все принимать безропотно и повторять: «И то благо!» Так, видно, богу угодно! «А кощунствующие, — продолжаю я, — «ристократы», которые говорят, что нет на свете бога, будут посрамлены, когда явятся туда... Поплатятся с лихвой, ибо он, «сокрушающий врагов», воздаст им сторицею! С ним шутки плохи, с ним ладить надо, упрашивать, умолять: «Отец всемилостивый! Внемли гласу нашему!» — услышь наши вопли! «Обрати милосердие твое к нам!» — пожалей жену мою и деток, — они, бедные, голодны. Почти за благо, — смиловшись над возлюбленным народом твоим, как некогда в священном храме, когда первосвященник и левиты...»* И вдруг — стоп! Лошаденка остановилась. Я мигом отхватил оставшуюся часть молитвы, поднял

глаза и вижу: выходят мне навстречу из чащи два каких-то странных существа, одетые будто бы не по-людски... «Разбойники!» — мелькнуло у меня в голове. Однако я тут же спохватился: «Фу, Тевье, дурачина ты этакий! Столько лет подряд ездешь по лесу и днем и ночью — что это тебе разбойники вдруг померещились?»

— Ыо! — крикнул я лошаденке, набрался духу и хлестнул ее еще несколько раз, будто ничего не замечая.

— Уважаемый! Послушайте, дяденька! — обращается ко мне одно из этих существ женским голосом и машет мне платком. — А ну-ка, остановитесь на минутку, погодите удирать, ничего худого мы вам не сделаем!

«Ага! Нечистая сила! — подумал я, но тут же говорю себе: — Дурья голова! Откуда вдруг ни с того ни с сего духи и черти?» Остановил лошаденку. Присмотрелся получше — женщины. Одна пожилая, в шелковом платке на голове, другая помоложе — в парике. Обе покраснелись и вспотели.

— Добрый вечер! Вот так встреча! — говорю я громко и даже как будто бы с радостью. — Чего изволите? Если купить что-нибудь, то у меня ничего нет, разве что колики в животе да сердечные боли на неделю вперед, есть еще и хлопоты, и заботы, и всякая морока, и горести всухомятку, беды и напасти — оптом и в розницу!

— Тише! Погодите! — отвечают они. — Скажи пожалуйста, как его прорвало! Извозчика чуть словом задень, — жизни рад не будешь! Ничего, — говорят, — нам покупать не надо, мы только хотели вас спросить, не знаете ли вы, где здесь дорога на Бойберик!

— На Бойберик? — переспросил я с напускным смешком. — Для меня это все равно, как если бы вы спросили, к примеру, знаю ли я, что меня зовут Тевье.

— Вот как! — говорят они. — Вас зовут Тевье? Добрый вечер, реб Тевье! Нам не совсем понятно, что тут смешного? Мы не здешние, мы из Егупца и живем в Бойберике на даче. Вышли на минутку погулять и кружим в этом лесу чуть ли не с самого утра... Бродим, и плутаем, и никак не можем попасть на дорогу. А тут мы услышали, — кто-то поет в лесу. Поначалу подумали: а вдруг, упаси бог, разбойник! Но когда увидели вблизи, что вы еврей, стало легче на душе. Понимаете?

— Ха-ха! Хорош разбойник! — отвечаю я. — Слыхали вы когда-нибудь историю о еврейском разбойнике,



который напал на прохожего и потребовал от него поюшку табаку? Хотите — могу рассказать...

— Историю, — говорят они, — оставим до другого раза. Вы лучше укажите нам дорогу на Бойберик.

— На Бойберик? Позвольте! Но ведь это и есть самая настоящая дорога на Бойберик! Если вы даже не хотите, вы все равно по этой дороге обязательно придете прямо в Бойберик!

— Так чего же вы молчите?

— А чего, — говорю, — мне кричать?

— В таком случае, — говорят они, — вы, наверное, знаете, далеко ли до Бойберика?

— До Бойберика, — отвечаю, — недалеко, несколько верст. То есть верст пять-шесть или семь, а может, и все восемь.

— Восемь верст! — вскричали женщины в один голос и, заломив руки, чуть не расплакались. — Помилуйте! Что вы говорите? Понимаете ли вы, что говорите? Шутка ли — восемь верст!

— Что же, — отвечаю, — я могу поделаться? Если бы от меня зависело, я бы, пожалуй, подсократил это расстояние. Человек должен все на свете испытать. В пути и не то бывает... Случается иной раз тащиться по грязи в гору, да еще в канун субботы, дождь хлещет в лицо, руки коленеют, есть хочется до полусмерти, а тут вдруг — трах! — ось лопнула...

— Болтаете вы что-то непутевое! — говорят они. — Вы не в своем уме, право! Что вы нам рассказываете басни, сказки из «Тысячи и одной ночи»? Мы уже не в силах на ногах держаться. За весь день, кроме стакана кофе с плюшкой, у нас маковой росинки во рту не было, а вы нам всякие истории рассказываете!

— Ну, это другое дело! — отвечаю. — Плохи пляски да шутки, когда пусто в желудке. Что такое голод, я знаю хорошо, — можете мне не рассказывать. Возможно, что кофе с плюшками я в глаза не видал вот уже лет...

И представляется мне тут стакан горячего кофе с молоком и свежей булкой и другие вкусные вещи... «Скажите на милость! Чего захотел... — думаю я. — Какое деликатное воспитание: кофе с булочками... А ломоть хлеба с селедкой — хвор?» Но сатана, будь он неладен, как назло, не унимается: слышу запах кофе, чувствую вкус сдобной булки — свежей, хрустящей — объедение!..

— Знаете что, реб Тевье? — обращаются ко мне женщины. — Чем здесь стоять, не лучше ли нам забраться к вам в телегу, а вы бы потрудились отвезти нас домой, в Бойберик. Что вы на это скажете?

— Вот те и здравствуй! — говорю я. — Я из Бойберика еду, а вам надо в Бойберик! Как же это выйдет?

— Ну и что же? — отвечают они. — Не знаете, что делать? Человек, да еще ученый, находит выход: поворачивает оглобли и едет обратно. Не беспокойтесь, реб Тевье, будьте уверены: если вы нас благополучно доставите домой, то дай нам бог столько прохворать, сколько вы на этом деле потеряете...

«Говорят они со мной чего-то на тарабарском языке! — подумал я. — Все какими-то обиняками!» И приходят на ум мертвецы, ведьмы, шуты, нечистая сила. «Дурень набитый! — думаю. — Чего ты стоишь как пень? Полезай на облучок, пугни конягу кнутом и — пошел, куда глаза глядят!» Но, как на грех, у меня против воли срывается:

— Полезайте в телегу!

А те, как услышали, — не заставили себя долго упрашивать... Я следом за ними на облучок, повернул дышло и стал нахлестывать лошаденку: «Раз, два, три — пошел!» Да где там! Как бы не так! С места не трогается, хоть режь ее. «Ну, думаю, теперь ясно, что это за женщины такие! И дернула же меня нелегкая остановиться ни с того ни с сего посреди дороги и завести разговор с женщинами!..»

Понимаете? Кругом лес, тишина, ночь надвигается, а тут — два каких-то существа в образе женщин... Разыгралась у меня фантазия не на шутку! Вспомнилась история об извозчике, который однажды ехал один-одинешенек лесом и увидел на дороге мешок с овсом. Извозчик не поленился, слез, схватил мешок на плечи, — чуть не надорвался, кое-как взвалил его на телегу и марш вперед. Отъехал с версту, хватился мешка, а его и нет! Ни тебе овса, ни мешка! На возу лежит коза с бородкой. Извозчик хочет дотронуться до нее рукой, а она ему язык с аршин как высунет, как расхохочется — и нет ее!

— Почему же вы не едете? — спрашивают мои пассажиры.

— Почему не еду? Сами, — говорю, — видите, почему: конь танцевать отказывается, охоты нет.

— А вы его, — говорят они, — кнутом! Ведь у вас кнут есть.

— Спасибо, — отвечаю, — за совет! Хорошо, что напомнили. Беда только в том, что мой молодец таких вещей не боится. С кнутом он уже свыкся, как я с нищетой...

Шучу, понимаете, а самого лихоманка трясет.

Словом, что тут долго рассказывать, — выместил я на несчастной моей лошаденке все, что накопилось на душе. В конце концов господь помог, лошадка снялась с места, и мы отбыли: поехали лесом, своим путем-дорогою.

Еду, а в голове новая мысль проносится: «Эх, Тевье, и осел же ты!» «Если ты начал падать», а это значит, как был ты нищим, так нищим и останешься. Подумай, такая встреча, ведь это раз в сто лет случается, как же ты не сторговался с самого начала, чтобы знать, «что почем», сколько ты получишь? Ведь как ни суди, — по совести ли, по человечности ли, по закону или почему бы то ни было, — а заработать на таком деле, право же, не грех. Да и почему не пожить, раз так случилось? Останови лошадку, осел ты эдакий, и скажи им — так, мол, и так, без церемоний: «Дадите столько-то, — ладно, а не дадите, — тогда, прошу прощения, извольте слезть с телеги!» Но, с другой стороны, думаю, ты и в самом деле осел, Тевье! Не знаешь разве, что медвежью шкуру в лесу не продают? Как наши крестьяне говорят: «Ще не поймав, а вже скубе...»

— Почему бы вам не ехать побыстрее? — говорят мои пассажирки, тормоша меня сзади.

— А куда вам так торопиться? Тише едешь, дальше будешь, — отвечаю я и поглядываю на них искоса.

Как будто бы ничего... Женщины как женщины: одна в шелковом платке, другая в парике. Сидят, смотрят друг на дружку и перешептываются.

— Далеко еще? — спрашивают они.

— Да уж не ближе, чем от этого места! — отвечаю я. — Вот сейчас поедем с горы, а потом в гору; затем — снова спуск и снова подъем, и лишь потом будет большой подъем, а уж оттуда дорога пойдет прямо-прямо-хонько до самого Бойберика...

— Ну и извозчик! — обращается одна к другой.

— Бесконечное лихо! — говорит другая.

— Еще недоставало! — говорит первая.

— Вроде придурковатый!..

«Конечно, думаю, придурковатый, раз позволяю себя за нос водить!»

— А где, к примеру, — спрашиваю я, — где, милые женщины, прикажете вас скинуть?

— Что значит, — говорят, — «скинуть»? Что за скидывание такое?

— Это на извозничьем языке так говорится, — объясняю я. — На нашем наречии это означает: куда доставить вас, когда, бог даст, приедем в Бойберик и, по милости всевышнего, будем живы и здоровы! Как говорится: лучше дважды спросить, чем один раз напутать.

— Ах, вот оно что! Вы, — говорят они, — будьте добры довести нас до зеленой дачи, что у реки, по ту сторону леса. Знаете, где это?

— Почему же, — говорю, — мне не знать? В Бойберике я как у себя дома. Было бы у меня столько тысяч, сколько бревен я туда доставил. Вот только прошлым летом я привез на зеленую дачу две сажени дров сразу. Дачу снимал какой-то богач из Егупца, миллионщик, — у него, наверное, сто, а может быть, и все двести тысяч!

— Он и сейчас ее снимает, — отвечают обе женщины, а сами переглядываются и шепчут, чему-то усмехаясь.

— Позвольте, — говорю я, — уж ежели стряслась такая история, то, может статься, что вы к этому богачу имеете кое-какое касательство... А если так, то, может быть, вы будете добры замолвить за меня словечко, похлопотать? Не найдется ли, чего доброго, для меня дело какое-нибудь, должность, мало ли что? Вот я знаю одного молодого человека, неподалеку от нашего местечка, звать его Исроэл... Был никудышный парень. Однако пробился каким-то путем к богачу, а сейчас он важная шишка, зарабатывает чуть ли не двадцать рублей в неделю, а может быть, и сорок!.. Кто его знает? Везет людям!.. Или вот, скажем, чего не хватает зятю нашего резника? Что было бы с ним, если бы он не уехал в Егупец? Правда, вначале он немало горя хлебнул, несколько лет мучился, чуть с голоду не помер. Зато сейчас — дай бог мне не хуже — домой деньги присылает. Он даже хотел бы взять туда жену и детей, да беда в том, что им там жить не разрешается. Спрашивается, как же сам он там живет? Очень просто — мучается... Однако, — говорю, — погодите-ка! Всему конец приходит: вот вам река, а вот и большая дача...

И лихо подкатил — дышлом в самое крыльцо. Увидели нас — и пошло тут веселье, крики, возгласы: «Ой, бабушка! Мама! Тетя! Отыскалась пропажа! Поздравляем! Боже мой, где вы были? Мы здесь голову потеряли... Разослали на поиски по всем дорогам... Думали: мало ли что? Волки... Разбойники, упаси боже... Что случилось?»

— Случилась интересная история: заблудились в лесу, ушли бог весть куда, верст за десять... Вдруг — человек... Что за человек? Да так, какой-то горемыка с лошадкой... С трудом упростили его...

— Фу-ты господи, страсти какие! Одни, без провожатого! Скажите на милость! Бога благодарить надо...

В общем, вынесли на веранду лампы, накрыли на стол и начали таскать горячие самовары, чай на подносах, сахар, варенье, яичницы, сдобные булочки, свежие, пахучие, потом блюда всякие — бульоны жирные, жаркое, гусятину, наилучшие вина, настойки... Стою это я в сторонке и смотрю, как едят и пьют егупецкие богачи, сохрани их господи от дурного глаза! «Последнюю рубаху заложить, — подумал я, — только бы богачом быть!» Верите ли, мне кажется, того, что здесь со стола на пол падает, хватило бы моим детям на всю неделю, до субботы. Господи боже милосердый! Ведь ты же великий все-милостивый и справедливый! Какой же это порядок, что одному ты даешь все, а другому — ничего? Одному сдобные булочки, а другому — казни египетские! Однако, с другой стороны, думаю я, ты все-таки очень глуп, Тевье! Что это значит? Ты берешься указывать богу, как миром управлять? Уж если ему так угодно, значит, так и быть должно. Потому что если бы должно было быть иначе, то и было бы иначе. А на вопрос, почему бы и в самом деле не быть по-иному, есть один только ответ: «Рабами были мы» — ничего не напишешь! На то мы и евреи на белом свете. А еврей должен жить верой и надеждой: уповать на бога и надеяться на то, что со временем, если будет на то воля божья, все переменится к лучшему...

— Позвольте, а где же этот человек? — спросил кто-то. — Уже уехал, чудак эдакий?

— Упаси боже! — отозвался я. — Как же это я уеду, не попрощавшись? Здравствуйте, добрый вечер! Благослови господь сидящих за столом! Приятного вам аппетита! Кушайте на здоровье!

— Подите-ка сюда, — говорят они мне. — Чего вы там стоите в темноте? Давайте хоть посмотрим, какой вы из себя! Может быть, рюмочку водки выпьете?

— Рюмочку водки? С удовольствием! — отвечаю. — Кто же отказывается от рюмочки! Как в Писании сказано: «Кому за здравие, а кому за упокой». А толковать это следует так: вино — вином, а бог своим чередом... Лехаим!* — говорю и опрокидываю рюмку. — Дай вам бог всегда быть богатыми и счастливыми! И чтобы евреи оставались евреями. И пусть господь бог даст им здоровья и силы переносить все беды и горести!

— Как вас звать? — обращается ко мне сам хозяин, благообразный такой человек в ермолке. — Откуда будете? Где место вашего жительства? Чем изволите заниматься? Женаты? А дети у вас есть? Много ли?

— Дети? — отвечаю. — Грех жаловаться. Если каждое дитя, как уверяет жена моя Голда, миллиона стоит, то я богаче любого богача в Егупце. Беда только, что нищета — богатству не чета, а хромой прямому не сродни... Как в Писании сказано: «Отделяющий праздник от будних дней», — у кого денешки, тому и жить веселей. Да вот деньги-то у Бродского, а у меня — дочери. А дочери, знаете, большая утеха, — с ними не до смеха! Но — ничего! Все мы под богом ходим, то есть он сидит себе наверху, а мы мучаемся внизу. Трудимся, бревна таскаем, — что ж поделаешь? Как в наших священных книгах говорится: «На безрыбье и рак рыба...» Главная беда — это еда! Моя бабушка, царство ей небесное, говаривала: «Кабы утроба есть не просила, голова бы в золоте ходила...» Уж вы меня простите, если лишнее сболтнул... Нет ничего прямее кривой лестницы и ничего тупее острого словца, особенно когдахватишь рюмочку на пустой желудок...

— Дайте человеку покушать! — сказал богач.

И сразу же на столе появилось — чего хочешь, того просишь: рыба, мясо, жаркое, курятина, пупочки, печенка...

— Закусите чего-нибудь? — спрашивают меня. — Мойте руки.

— Больного, — отвечаю, — спрашивают, а здоровому дают. Однако благодарю вас! Рюмку водки — это еще куда ни шло, но усесться за стол и пировать в то время, как там, дома, жена и дети, дай им бог здоровья. Уж если будет на то ваша добрая воля...

Словом, очевидно, поняли, на что я намекаю, и стали таскать в мою телегу — кто булку, кто рыбу, кто жареное мясо, кто курятину, кто чай и сахар, кто горшок смальца, кто банку варенья...

— Это, — говорят они, — вы отвезете домой в подарок жене и детям. А сейчас разрешите узнать: сколько прикажете заплатить вам за труды?

— Помилуйте, — отвечаю, — что значит я прикажу? Уж это как ваша добрая воля... Поладим авось... Как это говорится, — червонцем меньше, червонцем больше... Нищий беднее не станет...

— Нет! — не соглашаются они. — Мы хотим от вас самих услышать, реб Тевье! Не бойтесь! Вам за это, упаси господи, головы не снимут.

«Как быть? — думаю. — Скверно: сказать целковый, обидно, а вдруг можно два получить. Сказать два, боязно: посмотрят, как на сумасшедшего, за что тут два рубля?»

— Трешницу!.. — сорвалось у меня с языка, и все так расхохотались, что я чуть сквозь землю не провалился.

— Не взывайте! — говорю я. — Быть может, я не то сказал. Конь о четырех ногах и тот спотыкается, а уж человек с одним языком и подавно...

А те еще пуще смеются. Прямо за животики хватаются.

— Довольно смеяться! — сказал хозяин и, достав из бокового кармана большой бумажник, вытащил оттуда — сколько бы вы подумали, к примеру? А ну, угадайте! Десятку! Красенькую, огненную, — чтоб я так здоров был вместе с вами! — и говорит: — Это вам от меня, а вы, дети, дайте из своих, сколько найдете нужным...

Словом, что тут говорить! Полетели на стол пятерки, и трешницы, и рублевки — у меня руки и ноги дрожали, думал, не выдержу, в обморок упаду.

— Ну, чего же вы стоите? — обращается ко мне богач. — Заберите ваши деньги и езжайте с богом к жене и детям.

— Воздай вам бог сторицею! — говорю. — Пусть у вас будет в десять, в сто раз больше! Всего вам хорошего и много-много радости!

И стал обеими руками сгребать деньги и, не считая, — где тут считать! — совать бумажки во все карманы.

— Спокойной вам ночи! — говорю. — Будьте здоровы, и дай бог счастья вам, и детям вашим, и детям детей ваших, и всему вашему роду!

Направляюсь к телеге. Но тут подходит ко мне жена богача, та, что в шелковом платке, и говорит:

— Погодите-ка, реб Тевье. От меня вы получите особый подарок. Приезжайте, с божьей помощью, завтра. Есть у меня бурая корова. В свое время была корова хоть куда, двадцать четыре кружки молока давала. Да вот сглазили ее, и она перестала доиться... То есть она доится — но молока не дает...

— Дай вам бог долготелья! — отвечаю. — Можете не беспокоиться! У меня ваша корова будет и доиться, и молоко давать. У меня старуха большая мастерица: из ничего лапшу крошит, из пяти пальцев затирку варит, чудом субботу справляет и колотушками ребят укладывает... Извините, — говорю, — если лишнее сболтнул. Спокойной вам ночи, всего хорошего и будьте мне всегда здоровы и счастливы!

Вышел во двор к своему возу, хватился лошаденки, нет лошаденки! Ах ты, горе мое горькое! Гляжу во все стороны, — вот ведь беда! — нету, и все тут!

«Ну, Тевье, думаю, попал ты в переплет!» И приходит мне на память история, которую я вычитал как-то в книжке, о том, как нечистая сила заманила набожного человека в какой-то дворец за городом, накормила, напоила его, а потом оставила его с глазу на глаз с какой-то женщиной. А женщина эта обернулась диким зверем, зверь — кошкой, а кошка — чудовищем... «Смотри-ка, Тевье! — говорю я себе. — А не водят ли тебя за нос?»

— Что это вы там копошитесь? Чего ворчите? — спрашивают меня.

— Копошусь... — говорю я. — Горе мне и всей моей жизни! Беда со мной приключилась: лошаденка моя...

— Лошадка ваша в конюшне, — отвечают мне. — Потрудитесь зайти в конюшню!

Захожу, смотрю: и правда, честное слово! Стоит, понимаете ли, моя молодница среди господских лошадей и с головой ушла в еду: жует овес на чем свет стоит, аж за ушами трещит!

— Слышь ты! — говорю я ей. — Умница моя, домой пора! Сразу набрасываться тоже нельзя! Лишний кус, говорят, впрок нейдет...

В общем, еле упросил ее, запряг, и поехали мы домой, довольные и веселые. Я даже молитву праздничную запел. А лошаденку и не узнать, будто в новой шкуре. Бежит, кнута не дожидаясь. Приехал я домой уже поздененько, разбудил жену.

— С праздником, — говорю, — поздравляю тебя, Голда!

— Что еще за поздравления? — рассердилась жена. — С какой такой радости? С чего это на тебя такое веселье нашло, кормилец мой хваленый? Со свадьбы, что ли, приехал или с рождения, добытчик мой золотой?

— Тут тебе все вместе — и свадьба и рождение! Погоди, жена, сейчас увидишь клад! — говорю я. — Но прежде всего разбуди детей, пусть и они, бедняги, отведают егупецких разносолов...

— То ли ты сдурел, то ли спятил, то ли рехнулся, то ли с ума сошел? Говоришь, как помешанный, прости господи! — отвечает мне жена и ругается, осыпает меня проклятьями, как полагается женщине.

— Баба, — говорю я, — бабой и останется! Недаром Соломон Мудрый говорил, что среди тысячи жен он ни одной путной не нашел. Хорошо еще, что нынче вышло из моды иметь много жен...

Вышел я, достал из телеги все, что мне надавали, и расставил на столе. Моя команда, как увидела булки, как почуяла мясо, налетели, горемычные, словно голодные волки. Хватают, руки дрожат, зубы работают... Как в Писании сказано: «И вкушали...» А значит это — набросились, как саранча! У меня даже слезы на глаза навернулись...

— Ну, рассказывай, — обращается ко мне жена, — у кого это была трапеза для нищих или пир какой?.. И чему ты так радуешься?

— Погоди, — говорю, — Голда, все узнаешь. Ты взбодри самоварчик, усядемся все за стол, выпьем по стаканчику чаю, как полагается. Человек живет на свете всего только один раз, не два. Тем более сейчас, когда у нас есть своя корова на двадцать четыре кружки в день, — завтра, бог даст, приведу ее. А ну-ка, Голда, — говорю я и достаю из всех карманов ассигнации. — А ну-ка, попробуй угадай, сколько у нас денег?

Посмотрел я на свою жену, — стоит бледная как смерть и слова вымолвить не может.

— Бог с тобой, Голда-сердце, — говорю я, — чего ты испугалась? Уж не думаешь ли ты, что я украл или нагребил эти деньги? Фи, постыдись! Ты столько времени жена мне. Неужели ты могла подумать обо мне такое? Глупенькая, это деньги, честно заработанные, добытые собственным моим умом и трудами. Я спас, — говорю, — двух человек от большой опасности. Если бы не я, бог знает что было бы с ними!

Словом, рассказал я всю историю от начала до конца, и принялись мы вдвоем считать и пересчитывать еще и еще раз наши деньги. Там оказалось ровным счетом дважды по восемнадцать * и один лишний, а в общем, вы имеете не больше и не меньше, как тридцать семь рублей!..

Жена даже расплакалась.

— А как же мне не плакать, — отвечает она, — когда плачется? Сердце переполнено, и глаза — через край. Вот тебе бог, — говорит, — предчувствовала я, что ты приедешь с доброй вестью. Уж я и не припомню того времени, когда бабушка Цейтл, мир праху ее, мне во сне являлась. Сплю это я, и вдруг снится мне подойник, полный до краев. Бабушка Цейтл, царство ей небесное, несет подойник, прикрывая его фартуком от дурного глаза, а ребята кричат: «Мама, мони!»

— Ты погоди, душа моя, торопиться, не забегай вперед! — говорю я. — Пусть твоя бабушка Цейтл блаженствует в раю, а будет ли нам от нее какая-нибудь польза, не знаю. Но если господь бог мог совершить такое чудо, чтобы мы имели корову, так уж, наверное, он постарается, чтобы корова эта была коровой. Ты лучше посоветуй мне, Голда-сердце, что делать с деньгами?

— Лучше скажи мне ты, Тевье, что ты собираешься делать с такими деньгами?

— Нет, — говорю я, — ты, ты скажи, как ты считаешь, что мы можем сделать с таким капиталом?

И стали мы думать, прикидывать и так и эдак, долго ломали себе голову, перебирали все промысла на свете. И чем только мы в эту ночь не промышляли! Покупали пару лошадей и тут же их перепродавали с большой прибылью; открывали бакалейную лавочку в Бойберике, наскоро распродавали весь товар и тут же открывали мануфактурную торговлю; покупали лесной участок, с тем чтобы получить за него отступные и уехать; пыта-

лись взять в откуп коробочный сбор * в Анатовке; собирались давать деньги в рост...

— С ума сошел! — рассердилась жена. — Хочешь растратить деньги и остаться при одном кнутовище?

— А ты думаешь, торговать хлебом и потом обанкротиться лучше? Мало ли народу, — говорю, — нынче разорилось на пшенице? Поди послушай, что творится в Одессе!

— Сдалась мне твоя Одесса! — отвечает она. — Мои деды и прадеды не бывали там, и дети мои тоже не будут, покуда я жива и на ногах держусь.

— Чего же ты хочешь? — спрашиваю я.

— Чего мне хотеть? — говорит она. — Я хочу, чтобы ты не был дураком и не говорил глупостей.

— Ну, конечно! — отвечаю я. — Теперь ты умная... У кого сто рублей, тот всех умней! Богатство еще только на примете, а уж умней его и нет на свете!.. Всегда так бывает!

Словом, мы несколько раз ссорились, тут же мирились и порешили, наконец, к обещанной мне бурой корове прикупить еще одну, дойную, которая дает молоко...

Вы, конечно, спросите: почему корову, почему не лошадь? На это я могу ответить: а почему лошадь? Почему не корову? Бойберик, понимаете, такое место, куда летом съезжаются все егупецкие богачи, а так как егупецкие богачи с детства приучены, чтобы им прямо ко рту подносили и мясо, и яйца, и кур, и лук, и перец, и всякую всячину, — почему же кому-нибудь не взяться доставлять им к столу сыр, сметану, масло и тому подобное? Покушать егупчане любят, а деньги для них — трын-трава, значит, можно и товар легко сбыть, и зарабатывать неплохо. Главное, чтоб товар был хорош. А такого товара, как у меня, вы и в Егупце не сыщете. Дай боже, мне вместе с вами столько счастья, сколько раз очень почтенные господа, даже христиане, упрашивали меня привозить им свежий товар.

«Мы, — говорят они, — слышали, что ты, Тевье, человек честный, хоть и нехристь...» Думаете, от своих дождешься такого комплимента? Как бы не так! Доброго слова от них не услышишь. Они только и знают совать нос, куда не следует. Увидали у Тевье корову, тележку новую и начали ломать себе голову: откуда такое? А не торгует ли этот самый Тевье фальшивыми ассигнаци-

ями? А не варит ли он втихомолку спирт? «Ха-ха-ха! Ломайте себе головы, думаю, на здоровье!» Поверите ли, вы чуть ли не первый человек, которому я рассказал подробно всю эту историю...

Однако мне кажется, я заболтался. Не взыщите! Надо о деле думать. Как в Писании сказано: «Каждая ворона к своему роду», то есть каждый берись за свое дело. Вы — за свои книжки, а я — за горшки и крынки... Об одном только хочу попросить вас, пане Шолом-Алей-хем, — чтобы вы про меня в книжках не писали. А если напишете, то хоть имени моего не называйте.

Будьте здоровы и всего вам хорошего!

ХИМЕРА

«Много замыслов в сердце человека» — так, кажется, сказано в Священном писании? Объяснить вам, реб Шолом-Алейхем, что это значит, как будто нет нужды. Но есть у нас поговорка: «И резвому коню кнут нужен, и мудрому человеку совет требуется». О ком я это говорю? О себе самом. Ведь будь я умнее да зайди к доброму приятелю, расскажи ему все как есть, так, мол, и так, — я бы, конечно, не влип так нелепо! Однако «и жизнь и смерть во власти языка», то есть, если бог захочет наказать человека, он его и разума лишит. Уж я сколько раз думал про себя: «Посуди сам, Тевье, осел эдакий! Ведь ты, говорят, человек не глупый, как же это ты дал себя вокруг пальца обвести? Да еще так подураски? Чего бы тебе не хватало, к примеру, сейчас, при нынешних твоих, хоть и небольших, заработках? Ведь твой молочный товар славится везде и всюду — и в Бойберике, и в Егупце, и где угодно... Как хорошо и радостно было бы, если бы твои денежки лежали себе тихонько в сундуке, на самом доньшке, и чтобы ни одна душа об этом не знала? Потому что кому, скажите на милость, какое дело, есть у Тевье деньги или нет их? В самом деле! Очень, что ли, интересовались этим самым Тевье, когда он в пыли и прахе валялся, горе мыкал, когда он с женой и детьми трижды в день с голоду помирал? Ведь это только потом, когда господь бог, обратив око свое к Тевье, вдруг осчастливил его и Тевье стал кое-как приходить в себя и приберегать целковый-другой про черный день, о нем везде и всюду заговорили, и он сделался уже «реб Тевье» — шутка ли! И друзей

тут объявилось — не счесть! Как в Писании сказано: «И все любимые, и все ясные». В общем: «Даст господь ложкой, так и люди — ушатом...» Каждый со своим советом лезет: один предлагает мануфактурную лавку, другой — бакалейную, один предлагает дом, второй — имение, третий — лес, хлеб, торги...»

— Братцы! — взмолился я. — Отстаньте вы от меня! Вы жестоко ошибаетесь! Вы, поди, подумали, что я — Бродский? Иметь бы всем нам столько, сколько мне не хватает до трехсот, и даже двухсот, и даже до полутораста рублей! На чужое добро, — говорю, — глаза разгораются. Каждому кажется, что у другого золото блестит, а подойдешь поближе — медная пуговица!

Короче говоря, сглазили-таки, чтоб им ни дна ни покрышки! Послал мне господь родственничка... Да и то сказать: родственник — нашему забору двоюродный плетень. Менахем-Мендл звать его, ветрогон, фантазер, путаник, — шут его знает! Взялся он за меня и заморочил голову химерами, несбылицами, мыльными пузырями. Вы, пожалуй, спросите: как же так? Как я, Тевье, попал к Менахем-Мендлу? На это я вам отвечаю: так, видно, суждено. Вот послушайте.

Приехал я как-то в начале зимы в Егупец, привез немного товара: фунтов двадцать с лишним свежего масла, — да какого масла! — пару изрядных мешочков творога, — золото, а не товар! Дай нам бог обоим такую жизнь! Ну, сами понимаете, товар у меня тут же расхватили, ни крошки не оставили. Я даже не успел побывать у всех моих летних покупателей, бойберикских дачников, ожидающих меня, как мессию... Да и что удивительного? Разве могут егупецкие торговцы — хоть лопни они! — давать такой товар, как Тевье дает? Вам-то мне нечего рассказывать. Как в «Притчах» * сказано: «Пусть хвалит тебя чужой», — хороший товар сам себя хвалит...

Словом, расторговался я вчистую, подбросил лошаденке сенца и пошел бродить по городу. «Человек из праха создан», — все мы люди, все мы человеки, хочется на мир божий поглазеть, воздухом подышать, полюбоваться на чудеса, что выставляет Егупец напоказ в окнах магазинов, будто говоря: смотреть — смотри, сколько душе угодно, а руками трогать — не моги! И вот стою это я у большого окна, за которым разложены полуимперIALы, серебряные целковики, банковые билеты и просто ассигнации, гляжу и думаю: «Господи

боже мой! Иметь бы мне хоть десятую долю того, что здесь лежит, чего бы мне еще тогда желать? И кто бы мог со мной сравняться? Перво-наперво, выдал бы я старшую дочь, дал бы за ней пятьсот рубликов приданого, не считая подарков, одежды и свадебных расходов; конягу с тележкой и коров продал бы, переехал бы в город, купил бы себе постоянное место в синагоге у восточной стены, жене — дай ей бог здоровья! — нитку-другую жемчуга, раздавал бы пожертвования, как самый зажиточный хозяин; синагогу покрыл бы железом, чтоб не стояла, как сейчас, без крыши — вот-вот провалится; устроил бы какую ни на есть школу для ребят, соорудил бы больницу для бедных, как во всех порядочных городах, чтобы бедняки не валялись в синагоге на голом полу; выставил бы наглеца Янкла из погребального братства, — хватит ему водку пить и пупками да печенками закусывать на общественный счет!..»

— Мир вам, реб Тевье! — слышу я вдруг позади себя. — Как живете?

Оборачиваюсь, смотрю, — готов поклясться, что знакомый!

— Здравствуйте, — отвечаю. — Откуда будете?

— Откуда? Из Касриловки. Родственник ваш, — говорит он. — Правда, не так, чтобы очень близкий: ваша жена Голда приходится мне кровной четверюродной сестрой.

— Позвольте-ка, — говорю я. — Так вы, может быть, зять Борух-Герша, мужа Леи-Двоси?

— Вроде угадали! — отвечает он. — Я зять Леи-Двосинога Борух-Герша, а жену мою зовут Шейне-Шейндл, дочь Леи-Двосинога Борух-Герша! Теперь вам ясно?

— Погодите-ка, — говорю я. — Бабушка вашей тещи, Соре-Ента, и тетка моей жены, Фруме-Злата, были как будто бы чуть ли не кровными двоюродными сестрами, а вы, если не ошибаюсь, женаты на средней дочери Борух-Герша, мужа Леи-Двоси. Но дело в том, что я забыл, как вас зовут, вылетело у меня из головы ваше имя. Как же вас зовут по-настоящему?

— Меня, — отвечает он, — зовут Менахем-Мендл, зять Леи-Двосинога Борух-Герша, — так зовут меня дома, в Касриловке.

— В таком случае, дорогой мой Менахем-Мендл, — говорю я ему, — тебе особая честь! Скажи же мне,

дорогой Менахем-Мендл, что ты здесь подделываешь, как поживают твои теща и тесть? Как твои дела, как здоровье?

— Эх! — отвечает он. — На здоровье, слава богу, не жалуемся, живем помаленьку. А вот дела нынче что-то невеселые.

— Авось бог милостив! — говорю я и поглядываю на его одежду: потрепана сильно, а сапоги, извините, каши просят... — Ну, ничего! Господь поможет. Поправятся, надо думать, дела. Знаешь, как сказано: «Все суета сует», деньги — они круглые, нынче там, а завтра здесь, был бы только человек жив! А главное — это надежда! Надо уповать. А что приходится горе мыкать, так ведь на то мы и евреи! Как говорится: «Ежели ты солдат — нюхай порох!» А в общем, — говорю, — вся жизнь наша — сон... Ты скажи мне лучше, Менахем-Мендл-сердце, каким образом ты вдруг очутился в Егупце?

— Что значит «очутился»? — отвечает он. — Уж я здесь полегоныку да потихоньку года полтора...

— Ах, вот как! — говорю я. — Стало быть, ты здешний, егупецкий житель?

— Ш-ш-ш! — зашипел он, оглядываясь по сторонам. — Не говорите так громко, реб Тевье! Здешний-то я здешний, но это — между нами!..

Стою я и смотрю на него, как на полоумного.

— Ты что? — спрашиваю. — Беглец? Скрываешься в Егупце посреди базара?

— Не спрашивайте, — говорит он, — реб Тевье! Все это правильно. Вы, наверное, не знаете егупецких законов и порядков... Пойдемте, — предлагает он, — и я вам расскажу, что значит быть здешним и в то же время нездешним...

И стал он мне рассказывать целую историю о том, как здесь люди мытарствуют...

— Послушай меня, Менахем-Мендл! — говорю я. — Съезди ко мне в деревню на денек. Отдохнешь, кости разомнешь. Гостем будешь, и желанным! Старуха моя так тебе обрадуется!

В общем, уговорил, едем. Приехали домой — радость! Гость! Да еще какой! Кровный четвероюродный брат! Шутка ли? Свое — не чужое! И пошли тары-бары: что слышно в Касриловке? Как поживает дядя Борух-Герш? Что подделывает тетя Лея-Двося? А дядя — Йосл-Менаше? А тетя Добриш? А дети их как поживают? Кто

умер? Кто женился? Кто развелся? У кого кто родился и у кого жена на сносях?

— Ну, что тебе, — говорю я, — жена моя, до чужих свадеб и рождений? Ты позабодься лучше, чтоб перекутить было чего. «Всяк алчущий да придет...» Какая там пляска, коли в брюхе тряска? Ежели есть борщ, — прекрасно, а нет борща, так и пироги сгодятся или вареники, галушки, а то и блинчики, лазанки, вертуты... Словом, пускай будет блюдом больше, лишь бы скорее!

Короче говоря, помыли руки и славно закусили, как положено.

— Кушай, Менахем-Мендл, — говорю я, — ибо «все суета сует», как сказал царь Давид *, нет на свете правды, одна фальшь. А здоровье, говорила моя бабушка Нехамма — царствие ей небесное, умная была женщина! — здоровье и удовольствие в тарелке нищи...

Гость мой, — у него, у бедняги, даже руки тряслись, — на все лады расхваливал мастерство моей жены и клялся, что он уж и времени того не помнит, когда ему доводилось есть такие чудесные молочные блюда, такие вкусные пироги и вертуты!

— Глупости! — говорю я. — Попробовал бы ты ее запеканку или лапшевник — вот тогда бы почувствовал, что такое рай на земле!

Ну вот, покушали, молитву прочитали и разговорились каждый о своем, как водится: я о своих делах, он о своих. Я — о том о сем, пятое, десятое, а он — об Одессе, о Егупце, о том, что он уже раз десять бывал «и на коне и под конем», нынче богач, завтра нищий, потом снова при деньгах и опять бедняк... Занимался такими делами, о которых я сроду и не слыхивал, дикими какими-то, несуразными: «гос» и «бес», «акцишмакции», «Потивилов», «Мальцев-Шмальцев» — бог его ведает! А счет ведется прямо-таки сумасшедший — десять тысяч, двадцать тысяч... Деньги что щепки!

— Скажу тебе по правде, Менахем-Мендл, — говорю я ему, — то, что ты рассказываешь о своих диковинных делах, — это, конечно, ловкости требует, уметь надо... Но одно мне не совсем понятно: насколько я знаю твою супружницу, меня очень удивляет, что она позволяет тебе эдак носиться и не приезжает к тебе верхом на метле...

— Эх, — отвечает он со вздохом. — Об этом, реб Тевье, лучше не напоминайте мне... Достается мне от нее и так... И в жар и в холод бросает... Послушали бы вы, что она мне пишет, — вы бы сами сказали, что я праведник! Но все это мелочь, на то она и жена, чтоб в гроб вгонять. Есть, — говорит, — кое-что похуже. Имеется у меня еще и теща. Рассказывать вам о ней мне не к чему, — вы сами ее знаете!

— В общем, — говорю я, — у тебя, как сказано: «И пятнистые, и пегие, и пестрые...» Болячка на болячке, а поверх болячки — волдырь!

— Совершенно верно, реб Тевье! Это вы очень правильно сказали. Болячка — болячкой, но волдырь, — отвечает он, — хуже всякой болячки!

Словом, проболтали мы таким манером до поздней ночи. У меня даже голова закружилась от всех этих историй и сумасшедших дел, от этих тысяч, которые то взлетают кверху, то свергаются вниз, от сказочных богатств Бродского... Всю ночь потом мерещились мне Егупец, полуимпериалы, Бродский, Менахем-Мендл со своей тещей... И только на следующее утро он наконец выложил все начистоту. В чем дело?

— Так как, — говорит он, — у нас в Егупце сейчас деньги, можно сказать, на вес золота, а товар полетел вниз, то вы, реб Тевье, могли бы в настоящее время отхватить порядочный куш, а меня вы бы очень поддержали, прямо-таки из мертвых воскресили бы!

— Рассуждаешь ты, как мальчик! — отвечаю я. — Думаешь, у меня егупецкие деньжищи, полуимпериалы? Глупенький! Дай бог нам с тобою в компании заработать до пасхи столько, на сколько я не дотянул до Бродского!

— Конечно, — говорит он, — я и сам понимаю... Но вы думаете, что для этого нужны большие деньги? Дайте мне, — говорит, — одну сотню, и в течение трех-четырёх дней я сделаю вам из нее двести, триста, шестьсот, семьсот, — а почему бы и не всю тысячу?..

— Очень, — отвечаю я, — может случиться так, как в Писании сказано: «Барыш под рукой, да карман за рекой...» Все это хорошо, когда есть чем рисковать. А как же быть, если и сотни нет? Вот и получается: «Пришедший в одиночку, в одиночку и изыде», — иначе говоря: хворобу вложил — лихоманку достал!..

— Бросьте! — говорит он. — Сотня у вас еще найдется, реб Тевье! При ваших заработках, при вашем добром имени, не сглазить бы...

— А что толку, — отвечаю я, — от моего имени? Имя, конечно, вещь хорошая, да беда в том, что я так при имени своем и остаюсь, а денежки-то все-таки у Бродского... Если хочешь знать в точности, то у меня всего-навсего едва ли сотня наберется. Да и ею надо тысячу дыр заткнуть: во-первых, дочь замуж выдать...

— Об этом и разговор! — перебил он меня. — Когда еще, реб Тевье, вам такой случай подвернется: вложить в дело одну только сотню, а получить, с божьей помощью, столько, чтобы хватило и на выданье дочерей, и еще кое на что?

И снова пошла канитель на битых три часа. Он стал объяснять мне, как из одного рубля делают три, а из трех — десять. Перво-наперво, говорит он, вносят сотню и велют купить десять штук, — уж я и забыл, как это называется, — потом выжидают несколько дней, пока это самое не поднимется в цене... Тогда дают куда-то такое телеграмму и велют продать это, а на вырученные деньги купить вдвое больше... Потом это снова повышается в цене, и снова посылают телеграмму, и так до тех пор, пока сотня не превратится в две, две — в четыре, четыре — в восемь, а восемь — в шестнадцать. Чудеса, да и только! Видел он, говорит, в Егупце таких, что совсем еще недавно без сапог ходили, были маклерами, лакеями на побегушках... А сейчас у них собственные дома, палаты каменные, жены у них с желудками возятся, за границу лечиться ездят... А сами они носятся по Егупцу на резиновых шинах — фу-ты, ну-ты! — и людей не узнают!

Словом, о чем тут долго говорить! Разобрало меня не на шутку! Чего, думаю, на свете не бывает! А вдруг, сама судьба послала его мне? Ведь вот, слышу я, люди в Егупце при помощи пяти пальцев богатеют! Чем я хуже их? Менахем-Мендл как будто бы не лгун, не из головы же он выдумывает такие чудеса! А вдруг, думаю, и в самом деле повернет, как говорят, направо, и Тевье на старости лет в люди выбьется? И правда, до каких пор маяться, из сил выбиваться? День и ночь только и знаешь: коняга да телега, сыр да масло... Пора, говорю, тебе, Тевье, отдохнуть, зажить по-человечески, не хуже других, в синагогу почаще заглядывать, за свя-



щенной книгой посидеть... Да, но что, если, не ровен час, все это обернется другой стороной, упадет, так сказать, маслом вниз? Но опять-таки, почему же мне не надеяться, что все будет хорошо?

— А? Что ты скажешь? — обращаюсь я к своей старухе. — Как тебе, Голда, нравится его план?

— Что я могу сказать? — отвечает она. — Я знаю, что Менахем-Мендл не первый встречный, обманывать он тебя не станет. Он, упаси бог, не из портных и не из сапожников! У него очень порядочный отец, а дед был и вовсе святой жизни человек: день и ночь, уже будучи слепым, корпел над торой. А бабушка Цейтл, — да будет ей земля пухом, — тоже была женщина не из простых...

— Пошла болтать ни к селу ни к городу, — говорю я. — Тут о деле разговор, а она — со своей бабушкой Цейтл, которая пряники пекла да со своим дедом, у которого за рюмкой душа ушла в рай... Баба бабой остается! Недаром царь Соломон весь свет изъездил и ни одной женщины с клепкой в голове не нашел...

Короче говоря, решено было составить компанию: я вношу деньги, Менахем-Мендл — сметку, а что бог даст, — пополам.

— Поверьте мне! — сказал Менахем-Мендл. — Я с вами, реб Тевье, рассчитаюсь, бог даст, честно, как самый добропорядочный человек, и вы, надеюсь, будете получать деньги, деньги и деньги!

— Аминь! — ответил я. — И вам того же. Из твоих бы уст да богу в уши! Однако непонятно мне одно: как коту Ваське речку переплыть? То есть, понимаешь... Я здесь, ты там... Деньги — ведь это, знаешь, материя деликатная... Уж ты не обижайся, я без задних мыслей. Помнишь, как у праотца Авраама * сказано: «Сеявшие со слезами пожнут с пением». То есть лучше наперед оговорить, нежели потом слезы проливать...

— Ах! — спохватился он. — Может быть, вы хотите расписку? Пожалуйста, с удовольствием!

— Погоди-ка, — сказал я. — Если подойти к этому делу с другой стороны, то ведь одно из двух: если ты захочешь меня зарезать, то чем уж тут расписка поможет? Как в Талмуде сказано: «Не мышь ворует, а нора...» Платит-то не вексель, а человек. Ну, что ж поделаешь? Повис на одной ноге, — буду висеть на обеих!

— Поверьте мне! — опять сказал он. — Честным своим именем клянусь вам, реб Тевье. Да поможет мне бог! Обманывать вас, реб Тевье, я не собираюсь, боже меня сохрани! У меня в мыслях лишь одно: честно, честно и благородно делиться с вами поровну, доля в долю, вам половина, мне половина, мне сто — вам сто, мне двести — вам двести, мне триста — вам триста, мне четыреста — вам четыреста, мне тысяча — вам тысяча...

В общем, достал я свои несколько рублей, трижды пересчитал, — руки у меня тряслись, — подозвал старуху свою в свидетели, еще раз объяснил Менахем-Мендлу, какие это кровные деньги, и отдал их ему, зашил в боковой карман, чтобы, упаси бог, в дороге не украли. Уговорились мы с ним, что не позднее будущей недели он напишет мне подробно обо всем, попрощались честь честью, расцеловались сердечно, как полагается родственникам.

Уехал он, а меня, едва я остался один, стали одолевать всякого рода мысли, ну прямо сны наяву, и все такие сладостные, что хотелось, чтобы они продолжались вечно, чтобы им конца не было. Представляется мне большой дом в центре города, железом крытый, с сараями, чуланами, клетями и кладовыми, полными всякого добра. А хозяйка с ключами за поясом заглядывает во все углы: это моя жена Голда, но ее и узнать нельзя, право — совсем другое лицо! Богачиха, с двойным подбородком, с жемчугами на шее. Важничает и слуг ругает почем зря. Дети одеты по-праздничному, околачиваются без дела, палец о палец не ударяют. Двор кишмя кишит курами, гусями и утками. В доме у меня все сверкает, в печи огонь — готовится ужин, а самовар шипит, как злодей! Во главе стола сам хозяин, то есть Тевье, в халате и в ермолке, а вокруг самые уважаемые люди, и все лебезят перед ним: «Извините, реб Тевье!», «Не взыщите, реб Тевье!..». «Эх, — думаю я, — денежки, черт бы вашего батьку с прабатькой взял!»

— Кого это ты ругаешь? — спрашивает меня Голда.

— Да никого! — отвечаю. — Так, размышлялся... Мысли всякие, глупости, прошлогодний снег... Скажи-ка мне, Голда-сердце, ты не знаешь, чем это он торгует, твой родственник, Менахем-Мендл то есть?

— Вот те и здравствуй! — говорит она. — Все, что снилось мне в прошлую и позапрошлую ночь и за весь год, пусть обрушится на головы моих врагов! Просидел

с человеком битые сутки, говорил, говорил... А потом спрашивает у меня, чем он торгует! Ведь вы же вместе какое-то дело затеяли!

— Да, — отвечаю я, — затеять-то затеяли, но что затеяли, убей меня, — не знаю! Не за что, понимаешь ли, ухватиться... Однако одно другого не касается, — беспокоиться тебе, жена моя, нечего: сердце мне предсказывает, что мы заработаем, и как следует заработаем! Говори «аминь» и готовь ужин!

Между тем проходит неделя, другая и третья, — нет письма от моего компаньона! Я вне себя, голову теряю, не знаю, что и подумать! Не может быть, чтобы он просто забыл написать: он слишком хорошо знает, как мы тут дожидаемся весточки. Но тут же мелькает мысль: а что я с ним поделаю, если он, например, снимет себе все сливки, а мне скажет, что заработка никакого нет? Поди разберись! «Да не может этого быть! — говорю я сам себе. — Как же это так? Я обошелся с человеком, как с самым близким и родным, дай мне бог того, что я ему желаю! Неужели же он сыграет со мной такую штуку?» Однако тут же мелькает и другая мысль: что уж там о барышах говорить? Бог с ними, с барышами! Не до жиру — быть бы живу! Помог бы господь при своем остаться! Меня даже холодом обдало. «Старый дурень! — говорю я себе. — Держи карман пошире, ослиная твоя голова! За эти сто рублей можно было купить парочку лошадок, каких свет не видывал, и тележку обменять на рессорную бричку!..»

— Тевье, почему ты ни о чем не думаешь? — говорит жена.

— То есть как это, — говорю, — я не думаю? У меня голова от дум раскалывается, а она спрашивает, почему я не думаю!..

— Не иначе, — говорит она, — стряслось с ним что-нибудь в дороге. Либо разбойники на него напали и отобрали до нитки, либо, упаси бог, заболел он, либо, не приведи господь, умер!..

— Еще чего придумаешь, душа моя? — отвечаю я. — Разбойники ни с того ни с сего!

А сам, между прочим, думаю: мало ли что с человеком в дороге случиться может!

— Уж ты, — говорю я, — жена моя, всегда не к добру истолкуешь...

— У него, — отвечает жена, — вся семья такая: мать его — да будет она заступницей за нас перед богом! — недавно умерла совсем еще молодой; были у него три сестры, — царство им небесное! — и вот одна из них умерла еще в девицах, вторая, наоборот, успела выйти замуж, да простудилась как-то в бане и тоже умерла, а третья сразу же после первых родов сошла с ума, помучилась, помучилась и тоже богу душу отдала.

— Ну и что же? — говорю я. — Все мы, Голда, помрем. Человек подобен столяру: столяр живет, живет и умирает, и человек — тоже...

Словом, порешили мы, что я съезжу в Егупец. Тем временем товару немного накопилось — сыр, масло, сметана. Товар — первый сорт! Запряг я лошадку и — «покинули Сукот», то есть — марш в Егупец! Еду я, а на душе у меня, можете себе представить, невесело, тоскливо: один в лесу, фантазия разыгралась, и полезли в голову всякие мысли.

Вот интересно-то будет, думаю я: приезжаю, начинаю расспрашивать о своем молодчике, а мне и говорят: «Менахем-Мендл? Те-те-те! Здорово оперился! К нему теперь не подступись! Собственный дом! В каретах разъезжает! Не узнать его!» И вот, представляю я себе, набрался я духу и прямо к нему домой. «Тпруу! — говорят мне и локтем в грудь. — Не суйтесь, дяденька, сюда соваться нечего!» — «Да я, говорю, свой, родственник! Он четвероюродный брат моей жены!» — «Поздравляем вас! — отвечают мне. — Очень приятно! Однако, говорят, можете и здесь у дверей подождать, ничего вам не делается...» Догадываюсь, что надо задобрить привратника: не подмажешь, не поедешь... И поднимаюсь к нему самому. «Здравствуйте, говорю, реб Менахем-Мендл!» Но куда там! Ни ответа, ни привета. Даже не узнает! «Вам чего?» — спрашивает. Я чуть в обморок не падаю. «То есть как же это? — говорю я. — Родственника не узнаёте? Меня звать Тевье». — «Как? — отвечает он. — Тевье? Припоминаю такое имя...» — «Серьезно? — говорю я. — Припоминаете? А не припомните ли, говорю, блинчики моей жены, ее пироги, галушки? Постарайтесь-ка припомнить...» Однако тут же представляется мне совсем другая картина: прихожу к Менахем-Мендлу, а он радушно и приветливо поднимается мне навстречу. «Гость! Какой гость! Присядьте, реб Тевье! Как живете? Как жена? Заждался я вас: рассчитаться пора!» — и на-

сыпает мне полную шапку полуимпериалов. «Это, — говорит он, — барыши, а основной капитал остается в деле. Сколько бы мы ни заработали, будем делить все поровну, доля в долю: мне сто — вам сто, мне двести — вам двести, мне триста — вам триста, мне четыреста — вам четыреста...»

Задремал я, размышляя, и не заметил, как мой молодец свернул с дороги, зацепил колесом за дерево... Меня как стукнет сзади, — искры из глаз посыпались. «И то благо! — говорю я. — Спасибо, хоть ось не сломалась!»

Приехал я в Егупец, прежде всего распродал свой товар, справился, как всегда, быстро, без задержек и пошел разыскивать своего компаньона. Брожу час, другой, третий, «а дитяти все нет» — что-то не видать его! Стал останавливать людей, спрашивать:

— Не слышали ли, не видали ли человека по имени Менахем-Мендл?

— Менахем-Мендл, — отвечают, — скушал крендель... Мало ли Менахем-Мендлов на белом свете?

— Вы, наверное, хотите знать его фамилию? Понятия не имею! Даже у него на родине, в Касриловке то есть, если вам угодно знать, его называют по имени тещи — Менахем-Мендл Леи-Двоси. Да чего уж больше, — тесть его, человек в летах, и тот зовется Борух-Герш Леи-Двоси. И даже сама она, Лея-Двося то есть, тоже зовется Лея-Двося, жена Борух-Герша Леи-Двосиного... Теперь вы понимаете?

— Понимать-то мы понимаем! — говорят они. — Но этого еще мало. Какая у него профессия, чем он занимается, ваш Менахем-Мендл?

— Чем занимается? — отвечаю. — Он здесь торгует полуимпериалами, какими-то «бес-мес». «Потивилов», посылает телеграммы куда-то в Петербург и в Варшаву...

— А-а! — покатываются они со смеху. — Так уж не тот ли это Менахем-Мендл, который торгует прошлогодним снегом? Потрудитесь в таком случае перейти на ту сторону, — там их, этих зайцев, много бегают, и ваш среди них...

«Чем дольше живешь, тем больше жуешь, — думаю я. — Зайцы какие-то, прошлогодний снег?»

Перешел на другой тротуар, а там народу — ступа непротолченная, как на ярмарке! Теснота — не протолк-

нутья! Носятся как сумасшедшие, кто туда, кто сюда, друг на дружку наускаивают... Сутолока, ералаш, все говорят, кричат, размахивают руками: «Потивило!» «Твердо, твердо!», «Ловлю вас на слове!», «Всучил задаток!», «Почешется!», «Мне куртаж причитается!», «Паршивец эдакий!», «Голову тебе размозжу!», «Плюнь ему в рожу!», «Смотри, пожалуйста, — зарезали!», «Тоже мне спекулянт!», «Банкрот!», «Лакей!», «Черта твоему батьке!».

Оплеухами пахнет! «И бежал Иаков», — сказал я себе. — Удирай, Тевье! Уноси ноги, не то и тебе влетит!.. Ну и ну, — думаю я. — Господь — отец, а Шмуел-Шмелькес — его стряпчий, Егупец — город, а Менахем-Мендл — добытчик... Это вот здесь и ловят счастье за хвост? Полуимпериалы? И вот это у них называется заниматься делом? Горе тебе, Тевье, с твоими затеями!»

Остановился я возле большого окна, за которым выставлено множество брюк, и вдруг увидел в стекле отражение моего дорогого родственничка. У меня даже в груди оборвалось, когда я его увидел, чуть душа не выскочила. Врагам бы моим и вашим выглядеть так, как выглядел Менахем-Мендл! Где уж там пиджак! Какие там сапоги! А лицо! Господи, краше в гроб кладут! «Ну, Тевье, — подумал я. — Яко благ, яко наг, яко нет ничего! Пропала моя головушка! Плакали твои денежки! Уже, как говорится, «ни медведей, ни леса» — ни товара, ни денег, — одни горести!»

Он, в свою очередь, тоже, видать, очень растерялся. Остановились мы оба как вкопанные, не в силах слово вымолвить, и только смотрим друг на друга, как петухи, будто желая сказать: «Оба мы с тобою обездолены! Остается нам обоим по суме надеть и по миру пойти!»

— Реб Тевье! — произнес он едва слышно, а слезы так и душат его. — Реб Тевье! Несчастливому, знаете, лучше и на свет не родиться! Нежели такая жизнь... Вешать, — говорит, — меня надо, четвертовать...

И больше ни слова вымолвить не может.

— Конечно, — сказал я, — тебя, Менахем-Мендл, за такое дело следовало бы разложить вот здесь, посреди Егупца, и всыпать тебе, не жалеючи, да так, чтобы ты свою бабушку Цейтл на том свете увидал! Подумай сам, что ты сделал? Взял да погубил целую семью, без ножа зарезал столько живых душ, несчастных, ни в чем не

повинных людей? С чем, скажи, я вернусь теперь домой, к своей жене и детям? Нет, скажи сам, душегуб эдакий, разбойник, злодей!

— Правда! — пробормотал он, прислонясь к стене. — Святая правда, реб Тевье! Честное слово...

— Ада, дурень эдакий, ада и того для тебя мало!

— Правда, реб Тевье! Все правда... Честное слово... Нежели такая жизнь, реб Тевье... Чем так жить... — повторил он и поник головой.

Стою я и гляжу на него, горемычного, смотрю, как он стоит, прислонившись к стене, понурился головой, шапка на сторону, и каждый его вздох и стон надрывают мне сердце.

— Хотя, — говорю, — если подойти к этому с другой стороны, то ведь совершенно ясно, что ты, может быть, во всем этом нисколько не виноват. Если рассудить как следует, то одно из двух: думать, что это сделал по злобе, — глупо, ты ведь был таким же компаньоном, как и я, заработок мы должны были поделить поровну. Я вложил деньги, ты — сметку. Горе мне! Ты, конечно, рассчитывал, как говорится, «на жизнь, а не на смерть». А если все это пошло прахом, — значит, не суждено. Как сказано: «Не хвались днем грядущим», — человек предполагает, а бог располагает. Ведь вот возьми для примера мой промысел. Уж на что, казалось бы, верное дело? А между тем, когда суждено было, то прошлой осенью — не про тебя будь сказано! — полегла у меня корова, которая по дешевке, на мясо, не меньше полусотни стоила, а следом за ней — красная телка, за которую я бы и двадцати рублей не взял... И ничего не попишешь, как ни мудри! Уж если не везет, так и трижды три — нос утри... Я даже спрашивать у тебя не стану, где мои деньги. Сам понимаю, где они торчат, кровные мои денежки, горе мое горькое! В бумажки вложены, в прошлогодний снег... А кто же виноват, как не я сам? Дал уговорить себя, легкого хлеба захотелось, шальных прибyleй... Деньги, братец ты мой, надо зарабатывать тяжким трудом, потом и кровью добывать! Бить тебя, Тевье, надо, бить, сколько влезет! Но что теперь толку от моего крика? Как в Писании сказано: «И возрыдала отроковица», — плачь, хоть надорвись! Разум и раскаяние — обе эти вещи всегда приходят слишком поздно. Не суждено Тевье богачом стать. Как в поговорке: «Не було у Микиты грошив и не буде!» Так, видать,

судил господь. «Бог дал, бог и взял», а толковать это надо так: пойдем, — говорю, — братец, хватим по рюмочке!..

Так, пане Шолом-Алейхем, окончились все мои мечты химерою! И думаете, меня очень огорчало то, что я деньги потерял? Право же, нет! Ведь мы с вами знаем, что в Писании сказано: «И серебро мое и злато мое», — деньги — чепуха! Главное — человек, то есть чтобы человек остался человеком! Досадовал я только на то, что золотой мой сон кончился. Хотелось, ох как хотелось побыть богачом хоть минутку! Но тут уж ничего не напишешь! Сказано: «Не по своей воле живешь», — не по своей воле сапоги рвешь! Твое дело, Тевье, — говорит бог, — сыр и масло, а не пустые фантазии! Ну, а надежды? Это само собой. Чем больше горестей, тем больше надежд, чем беднее, тем сильнее упование... Ибо...

Но мне кажется, я на сей раз немного заболтался. Пора ехать, делом заняться, как это говорится: «Всякий человек обманчив», то есть у каждого свои болячки.

Будьте здоровы и всегда счастливы!

НЫНЕШНИЕ ДЕТИ

Я это к тому, что вы говорите «нынешние дети»... «Растил я чад своих и пестовал...» Легко сказать — роди детей, мыкайся, жертвуй ради них собою, работай день и ночь... А ради чего? Все думаешь: авось так, авось эдак, — каждый по своему разумению и достатку. До Бродского мне, конечно, далеко, но и ставить себя ни во что я тоже не нанимался, потому что и сам я человек не из последних, и происходим мы, как жена, чтоб здорова была, говорит, — не от портных да не от сапожников... Вот я и рассчитывал, что дочери меня выручат. Почему? Во-первых, господь бог благословил меня красивыми дочерьми, а красивое лицо, как вы сами говорите, — половина приданого. А во-вторых, я и сам сейчас, с божьей помощью, не тот Тевье, что в былые времена, — могу добиться самого лучшего жениха, даже из Егупца, не так ли? Однако есть на свете бог, бог милосердия и сострадания, вот он и являет мне чудеса свои, бросает меня и в жар и в холод, швыряет вверх и вниз. «Тевье, — говорит он, — выкинь дурь из головы, и пускай все на свете идет, как повелось!..» Вот послушайте, чего только не бывает. А с кем приключаются всякие истории? С таким счастливчиком, как Тевье, конечно.

Но зачем размазывать? Вы, надо полагать, не забыли, что случилось со мной недавно, помните, конечно, историю с моим родственником Менахем-Мендлом, — чтоб ему ни дна ни покрывки! — и наши блестящие дела с ним в Егупце с полумпериалами и «потивиловскими» акциями? Всем моим врагам желаю таких дел! Как я тогда убивался! Думал: конец приходит Тевье, конец молочному хозяйству!

— Дурень ты эдакий! — говорит мне однажды моя старуха. — Довольно горевать, этим делу не поможешь! Только изведешь себя. А если бы, скажем, разбойники на тебя напали и обобрали... Сходи-ка, — говорит, — лучше в Анатовку, к мяснику Лейзер-Волфу, ты ему, говорит он, очень нужен...

— В чем дело? Зачем я ему так срочно понадобился? Если, — говорю, — насчет нашей бурой коровы, то пускай он колом вышибает себе эту дурь из головы.

— А что такое? — отвечает жена. — Подумаешь, сколько молока, сколько сыра и масла дает тебе эта корова!

— Да не в том дело, — говорю я. — Просто так. Во-первых, как можно такую корову на убой отдавать? Жалость берет. У нас в Священном писании сказано...

— Хватит тебе, Тевье! Весь мир, — говорит она, — знает, что ты большой знаток Священного писания. Послушай меня, жену свою, сходи к Лейзер-Волфу. Каждый раз, по четвергам, когда наша Цейтл приходит к нему в лавку за мясом, он ей покою не дает: скажи, говорит, отцу, чтобы пришел, он мне очень нужен...

Словом, надо же когда-нибудь и жену послушать, не так ли? Дал я себя уговорить и прихожу к Лейзер-Волфу в Анатовку, верстах в трех от нас. И конечно, не застаю его дома.

— Где он? — спрашиваю у какой-то курносой женщины, которая толчется в комнате.

— На бойне, — отвечает она. — С самого утра там быка режут. Скоро должен вернуться...

Брожу один по всему дому Лейзер-Волфа и начинаю разглядывать хозяйство. Дом, не сглазить бы, — полная чаша, дай бог всем моим друзьям не хуже: шкаф ломится от медной посуды — за полтора ста целковых не купишь; самовар, и еще один самовар, и поднос медный, и еще один — варшавский, пара серебряных подсвечников, и бокалы, и рюмочки золоченые, и семисвечник литой, и много еще вещей, и всякой дребедени без конца! «Владыко небесный! — думаю я. — Видеть бы мне столько добра у моих детей, дай им бог здоровья! Ну и везет же этому мяснику! Мало того что он так богат, у него к тому же всего-навсего двое дочерей, да и те уже замужем, а сам вдовцом остался...»

Наконец господь смилостивился, отворяется дверь, и входит Лейзер-Волф — сердитый, мечет громы и

молнии на резника. Резник его погубил, забраковал, черт его возьми, здоровенного быка, — гора — не бык! — из-за пустяка признал его трэфным *, отыскал какой-то изьян на легком, величиной с булавочную головку, чтоб ему сквозь землю провалиться!

— Здравствуйте, реб Тевье! — говорит он. — Что это вас никак не дозовешься! Как живете, что поделяете?

— Да как вам сказать? — отвечаю я. — И дело как будто делаем, а все на месте стоим... Как в Писании сказано: «Ни жала твоего, ни меда твоего», — ни тебе денег, ни здоровья, ни минуты спокойной.

— Грешите вы, реб Тевье, — говорит он. — В сравнении с тем, что было когда-то, вы сейчас, не сглазить бы, богач!

— Дай нам боже, — отвечаю, — обоим столько, сколько мне еще не хватает. Но я не ропщу, и на том спасибо! В Талмуде, — говорю я, — сказано: «Аскакурдо демасканто декурносе дефаршмахто...» * — А сам думаю: чтоб ты так с носом был, живодер, как что-нибудь похужее где-нибудь сказано! И слов-то таких на свете нет...

— Вы, — говорит он, — вечно со мной со своей ученостью. Хорошо вам, реб Тевье, что вы знаете толк в мелких буковках. Но к чему она, эта премудрость и ученость? Давайте потолкуем лучше о нашем деле. Присядьте, реб Тевье. — И приказывает: — Чаю!

Тут же, как из-под земли, вырастает курносая, вихрем подхватывает самовар и — айда на кухню.

— Теперь, — говорит Лейзер-Волф, — когда мы одни, с глазу на глаз, можно и о деле поговорить. А дело, видите ли, вот в чем: я уже давно собирался потолковать с вами, реб Тевье, я вашей дочери уже несколько раз наказывал, просил, чтобы вы потрудились ко мне... Видите ли, мне приглянулась...

— Знаю, — говорю я, — кто вам приглянулся, да только понапрасну, зря стараетесь, не выйдет это дело, реб Лейзер-Волф, не выйдет.

— Почему так? — спрашивает он и смотрит на меня как будто испуганно.

— Потому, — говорю. — Я могу и подождать, мне не к спеху, река, что ли, загорелась?

— Зачем же ждать, когда можно сейчас же?

— Это во-первых, — продолжаю я, — а во-вторых, попросту душа за нее болит, жаль живое создание...



Позвольте,
реб Лейзер-Волф,
как вы думаете,
о чем мы толкуем?

А ну, скажите вы,
реб Шевье,
о чем у нас
речь идет?

— Скажите пожалуйста! — говорит с усмешкой Лейзер-Волф. — Какие нежности при нашей бедности! Послушал бы кто со стороны, — мог бы подумать, что она у вас одна-единственная. Мне кажется, у вас, реб Тевье, их, не сглазить бы, — достаточно...

— Ну и пускай, — отвечаю, — живут на здоровье. А кто мне завидует, пусть сам не имеет...

— Завидует? — говорит он. — При чем тут зависть? Наоборот, именно потому, что все они у вас, не сглазить бы, такие удачные, я и хотел бы... Вы, конечно, меня понимаете? Не забывайте, реб Тевье, какая вам от этого будет выгода.

— Да, да, — отвечаю я, — от ваших благодеяний голова окаменеть может... Зимой снега пожалеете... Это нам известно с давних пор...

— Ах! — говорит он медовым голосом. — Что вы сравниваете, реб Тевье, те времена с нынешними? Тогда было одно, а теперь совсем другое дело: сейчас мы ведь как-никак породниться собираемся, не правда ли?

— Как это породниться?

— Обыкновенно, — говорит он, — породниться.

— Позвольте, реб Лейзер-Волф, как вы думаете, о чем мы толкуем?

— А ну, скажите вы, реб Тевье, о чем у нас речь идет?

— Что значит? — говорю. — О бурой корове, которую вы хотите у меня купить.

— Ха-ха-ха! — закатывается он. — Ничего себе корова, да еще бурая! Ха-ха-ха!..

— А о ком же разговор, реб Лейзер-Волф? Скажите, я тоже посмеюсь.

— О дочери вашей, — отвечает он. — О вашей Цейтл говорим мы все время! Ведь вы же знаете, реб Тевье, что я, не про вас будь сказано, остался вдовцом. Вот я и подумал: к чему искать счастья на стороне, связываться со всякими сватами и свахами, с чертом и дьяволом? Ведь мы же оба на месте, я знаю вас, вы знаете меня, сама она мне тоже нравится, я ее вижу по четвергам у себя в лавке, пробовал как-то заговаривать с ней — ничего, видать, тихая... А сам я, как вы знаете, человек зажиточный, не сглазить бы: свой дом, кладовок парочка, хозяйство, сами видите, — грех жаловаться; есть еще запасец шкур на чердаке и деньжата кой-какие в сундуке... К чему нам, реб Тевье, цыганские штуки, хитрить да лов-

читься? Давайте ударим по рукам — раз, два, три и — готово! Понятно вам или нет?

Когда он мне все это выложил, я онемел, как человек, ошеломленный неожиданной вестью. Сразу, правда, мелькнула у меня мысль: Лейзер-Волф... Цейтл... У него уже дети такие, как она... Однако я тут же сам себе возразил: помилуй, такое счастье! Такое счастье! Ведь ей хорошо будет! Правда, у него не очень-то щедрая рука. Но ведь это по нынешним временам, наоборот, большое достоинство! Как говорится: «Ближе всего человеку он сам», — кто добр к людям, тот недобр к себе. Нехорошо, правда, что уж чересчур он простоват... Но ничего не поделаешь! Не всем же грамотеями быть! Мало ли в Анатовке, и в Мазеповке, и даже в Егупце богатых и весьма уважаемых людей, для которых слово печатное — потемки? А все же, дай бог мне столько счастья, сколько почета им оказывают. Как в Писании сказано: «Нет хлеба, нет и учения», то есть ученость — она в сундуке, а мудрость — в кармане...

— Ну, реб Тевье, — говорит он, — чего же вы молчите?

— А чего мне кричать? — отвечаю я будто в нерешительности. — Это, реб Лейзер-Волф, понимаете ли, такое дело, которое нужно обмозговать как следует, со всех сторон. Это ведь не шуточки: первое дитя у меня.

— Вот именно, — говорит он, — именно потому, что первое дитя, не надо откладывать. Потом уж, с божьей помощью, вы сможете выдать вторую дочь, а там и третью. Понимаете?

— Амины! — отвечаю. — И вам того же! Замуж выдать — не велика штука, дал бы только всевышний каждой своего суженого...

— Нет, — говорит он, — я не об этом, реб Тевье, я совсем о другом. Приданого я не прошу, а справить все, что девице требуется, это я беру на себя, да и вам, надо думать, кое-что перепадет...

— Фи! — отвечаю я. — Разговариваете вы со мной совсем, извините, как в мясной лавке. Что значит «перепадет»? Фи! Моя Цейтл, упаси бог, не такая, чтобы ее нужно было за деньги продавать. Фи! Фи!

— Ну что же, — говорит он. — «Фи» так «фи». Я, наоборот, хотел как можно лучше... Но раз вы говорите «фи», пусть будет «фи». Вам любо, так и мне хорошо.

Главное, поскорее бы, не откладывая, хозяйку, так сказать, в дом! Понимаете?

— За мной, — отвечаю, — остановки нет. Но ведь еще и со старухой надо переговорить. В таких делах она указчица. Дело-то не шуточное, как в Писании сказано: «Рахиль оплакивает сыновей своих», что означает: мать — превыше всего! Наконец и ее самое, Цейтл то есть, тоже не худо бы спросить... Как это говорится: всю родню на свадьбу отправили, а жениха дома оставили...

— Вздор! — отвечает он. — Спрашивать? Только сказать, реб Тевье! Надо приехать домой, сказать: так, мол, и так, — и сразу под венец, раз, два, три и — магарыч!

— Не скажите, реб Лейзер-Волф, не скажите! Девуца — это не вдова...

— Ну, конечно, — отвечает он. — Девуца — это девушка, а не вдова... Но потому-то и надо заранее обо всем условиться. Тут, понимаете, и платья, и то да се, и всякая дребедень... А пока давайте, реб Тевье, пропустим по маленькой, или не надо?

— Почему же нет? — говорю я. — Одно другому не помеха. Как говорится: человек — человеком, а вино — вином. Есть у нас в Талмуде такое изречение...

И пошел сыпать изречениями якобы из Талмуда... Одно, другое, все, что на ум взбредет: стихи из «Песни Песней» *, из «Сказания на пасху»...

Словом, хлебнули мы горькой влаги, выпили честь честью, по завету божьему. Тем временем курносая притащила самовар, и мы приготовили себе по стаканчику пунша. Беседуем по-приятельски, обмениваемся пожеланиями, калякаем насчет свадьбы, толкуем о том о сем и опять-таки о свадьбе.

— Да знаете ли вы, реб Лейзер-Волф, — говорю я, — что это за брильянт?

— Знаю, — отвечает он, — поверьте мне, что знаю. Если бы не знал, и говорить не стал бы.

А говорим мы оба разом. Я кричу:

— Брильянт! Алмаз! Сумеете ли вы ее ценить? Мясника в себе попридержите...

А он:

— Не беспокойтесь, реб Тевье! То, что она у меня по будням кушать будет, она у вас и по праздникам не едала...

— Чепуха! — говорю я. — Подумаешь, какое дело — еда! И богачи червонцев не глотают, и бедняки камней

не грызут. Человек вы простоватый, сумеете ли вы ее ценить! Как она печет! Как рыбу готовит, реб Лейзер-Волф! Попробовать ее рыбу, — да ведь этого удостоиться надо...

А он:

— Вы, реб Тевье, извините, уже выдохлись. Людей не знаете, реб Тевье, меня не знаете...

А я свое:

— На одну чашку весов — золото, на другую — Цейтл. Уверяю вас, реб Лейзер-Волф, будь у вас хоть двести тысяч, все равно вы и подметки ее не стоите...

А он опять:

— Поверьте мне, реб Тевье, вы большой дурень, хоть вы и старше меня...

В общем, горланили мы таким манером, надо полагать, довольно долго, и оба были здорово навеселе, потому что, когда я заявился домой, было уже довольно поздно и ноги меня плохо слушались... Жена моя, дай ей бог здоровья, сразу же почуяла, что я «под мухой», и отчитала меня по заслугам.

— Тише, Голда, не сердись! — говорю я, ног не чуя под собой от радости. — Не кричи, душа моя, нас поздравить можно!

— Поздравить? С чем бы это? — отвечает она. — Проморгал бурую корову, продал ее Лейзер-Волфу?

— Хуже того, — говорю.

— Выменял на другую? Обманул Лейзер-Волфа? Некому его, беднягу, пожалеть...

— Еще хуже!

— Да говори же, — кричит она, — по-человечески! Смотри, пожалуйста, слова из него не вытянешь!

— Поздравляю тебя, Голда! — говорю я снова. — Поздравим друг друга! Наша Цейтл просватана!

— Коли так, — отвечает она, — значит, тебе не на шутку в голову ударило! Говоришь что-то непутевое. Выпил ты, видно, здорово!

— По рюмочке, — говорю, — мы действительно с Лейзер-Волфом пропустили да по стаканчику пунша выпили, но я еще в своем уме. Да будет тебе известно, Голда-братец, что наша Цейтл — в добрый час — просватана за него, за Лейзер-Волфа то есть.

И рассказал ей всю историю от начала до конца, как, и что, и почему, и о чем мы с ним говорили, не упустив ни одной мелочи.

— Знаешь, Тевье, — говорит жена, — а ведь, право же, чуюло мое сердце, — да поможет мне так господь бог! — чуюло оно, что Лейзер-Волф звал тебя неспроста! Но я боялась и думать об этом, а вдруг окажется, что все это мыльный пузырь. Благодарю тебя, господи, спасибо тебе, отец милосердый! Пусть же это и в самом деле будет в добрый час! Пусть она состарится с ним в богатстве и чести, потому что покойная жена Лейзер-Волфа, Фруме-Сора, — царство ей небесное! — как будто не так уж счастливо жила с ним. Она — не к ночи будь помянута! — была женщина въедливая, да простит она мне, не умела ладить ни с кем, совсем не то, что наша Цейтл. Благодарю, благодарю тебя, господи! Ну, Тевье! Что я тебе говорила, умник мой! Надо ли горевать человеку? Уж ежели что суждено, так оно само в дом приходит.

— Что и говорить! — отвечаю я. — Ведь есть такой стих...

— Что толку в твоих стихах? — говорит она. — Надо к свадьбе готовиться. Прежде всего надо составить для Лейзер-Волфа список, что нашей Цейтл требуется к свадьбе. Ведь у нее ни лоскута белья, ни чулок даже нет. Затем платья: одно шелковое к венцу, одно шерстяное на лето, другое — на зиму, и еще пару платьев бумажных, и нижних юбок, и шуб, — говорит, — хочу, чтоб у нее было две: кошачий бурнус для будней и другая шуба — лисья — для субботы; затем — сапожки на каблучках, корсет, перчатки, носовые платки, зонтик и всякие прочие вещи, которые нужны девушке по нынешним временам...

— Откуда, — говорю я, — Голда-сердце, ты знаешь обо всех этих финтифлюшках?

— Что ж, — говорит, — я среди людей не бывала? Или, думаешь, я у нас, в Касриловке, не видала, как люди одеваются? Ты дай мне, уж я с ним столкнусь. Лейзер-Волф, слава богу, человек богатый, он, надо думать, и сам не захочет людям на язык попасть. Ежели есть свинину, то пусть по бороде течет! *

Словом, проговорили мы эдак до самого рассвета.

— Собери-ка, — говорю, — жена, сыр и масло, надо, пока суд да дело, в Бойберик съездить. Все это, конечно, очень хорошо, но дело запускать тоже не следует. Как там сказано: «Душа божья, да спина-то барская», что означает: «И о деле помнить надо!»

И ранехонько, чуть свет, я запряг лошадку и отправился в Бойберик. Приехал на рынок — ага! Существуют разве секреты у нашего брата? Все уже известно, со всех сторон меня поздравляют:

— Дай бог счастья, реб Тевье! Когда, с божьей помощью, свадьба?

— Спасибо! — отвечаю. — И вам того же. Выходит по поговорке: «Отец родиться не успел, а сын уже на крыше вырос...»

— Глупости! — кричат они. — Ничего вам, реб Тевье, не поможет! Выпивку придется поставить. Не сглазить бы, такое счастье! Прямо золотое дно!

— Ну, — говорю я, — это еще бабушка надвое ворожила: золото может утечь, а дно останется... — Однако от компании отставать не приходится, — нельзя же свиной быть! Вот справлюсь только со своими егупецкими покупателями, тогда и выпивка будет и закуска... Живи — не горюй! Как сказано: «Радуйся и веселися!» — гуляй, голытьба!..

Словом, справился я со своей торговлей быстро, как всегда, выпил с братвой по рюмочке, пожелали мы друг другу всего хорошего, как полагается, затем я уселся в тележку и покатил домой — живо, весело, под хмельком.

Еду лесом, время летнее, солнышко хоть и припекает, но с обеих сторон тень от деревьев, сосной пахнет — благодать! Растянулся я барином на возу, вожжи отпустил, дал своему коняге волю: шагай, мол, будь ласков, сам небось дорогу знаешь... И распелся во весь голос, заливаюсь. На душе эдак празднично, и на память приходят напевы покаянных молитв. Гляжу ввысь, в небо, а мысли мои здесь, на земле.

«Небеса, — вспоминаю я слова молитвы, — небеса — чертог божий», «а землю» — а землю он отдал «детям Адама», то есть сынам человеческим, — пусть, мол, бьются головой о стену, дерутся, словно кошки, от «великой роскоши» из-за почестей и старшинства... «Не мертвым славить бога»: черта с два понимают они, как надо благодарить его за ниспосылаемые им милости... «А мы...» Но мы, бедняги, чуть выпадет на нашу долю хоть один сносный день, благодарим и славим господа и говорим: «Возлюбил», — люблю тебя, господи, за то, что во мне лешь голосу и молитве моей, за то, что обращаешь ко мне ухо твое, когда окружают меня со всех сторон нищета и горести, беды и напасти: то корова средь бела дня падет,

то принесет нелегкая родственничка-недотепу, вроде Менахем-Мендла из Егупца, который заберет у тебя последний грош, а ты, не дав себе времени подумать, решаешь, что все уже кончено, что весь мир рухнет, что «все люди лживы», что нет правды на земле... Но что же делает бог? Внушает Лейзер-Волфу мысль взять за себя мою Цейтл, как есть, без приданого... Дважды буду славить тебя, господи, за то, что ты обратил око свое к Теvье, пришел мне на помощь, судил мне радость от дитяти моего... Приеду к ней в гости, увижу ее хозяйской... шкафы ломаются от белья, кладовые полны банок с гусиным салом и вареньем, во дворе не пройти от кур, гусей и уток..

Вдруг пустился мой коняга куда-то под гору, и, прежде чем я успел поднять голову и сообразить, где нахожусь, я оказался на земле вместе со всеми порожними горшками и крынками, а воз на мне. Кое-как с трудом выкарабкался, встал разбитый, искалеченный и всю свою злость сорвал на коняге:

— Чтоб ты провалился! Кто тебя просил, растапа эдакий, показывать, что ты мастак под гору бегать? Ведь ты мне чуть бед не натворил, дьявол эдакий!

Задал я ему, сколько влезло. Мой молодец, видно, и сам понял, что сильно набедокурил, стоит, понурив голову, как корова над подойником.

— Прах тебя побери! — говорю я, подымаю воз, собираю посуду и — «пошел к праотцам» — поехали дальше. «Нехорошая примета, — говорю я про себя, — случилось ли какой-нибудь беды дома?»

Так и есть. Отъезжаю еще версты две, уже и дом недалеко, вижу, по дороге движется мне навстречу женская фигура. Подъезжаю ближе, вглядываюсь: Цейтл! Не знаю почему, но сердце у меня екнуло, когда я ее увидел. Спрыгнул с воза.

— Цейтл, это ты? Что ты тут делаешь?

А она с плачем бросается мне на шею.

— Бог с тобой, — говорю, — доченька, чего ты плачешь?

— Ах, — отвечает она. — Отец, отец!

И обливается слезами. В глазах у меня потемнело, сердце защемило.

— Что с тобой, дочь моя, скажи, что случилось? — говорю я и обнимаю ее, ласкаю, целую.

А она:

— Отец, дорогой, сердечный ты мой! Раз в три дня кусок хлеба есть буду... Пожалей меня, пожалей мою молодость! — И снова обливается слезами, слова вымолвить не может.

«Горе мне великое! — думаю я. — Уж я догадываюсь, в чем дело. Понесла меня нелегкая в Бойберик!»

— Зачем же плакать? — говорю я и глажу ее по голове. — Глупенькая, зачем же плакать? Ну что ж поделаешь, — нет так нет, никто тебя силой не заставляет. Мы хотели тебе же лучше сделать. А если тебе не по сердцу, — что ж поделаешь? Не суждено, видать...

— Спасибо тебе, отец! — отвечает она. — Дай тебе бог долгие годы! — И снова падает ко мне на грудь, снова целует меня и обливается слезами!

— Однако, — говорю, — хватит слез! «Все суета сует» — вареники и те приедаются. Полезай-ка в тележку, поедем домой. Мать небось невесть что передумала.

Короче говоря, уселись, и я стал ее успокаивать разговорами о том о сем.

— Видишь ли, в чем дело, — говорю я. — Мы, конечно, ничего плохого в виду не имели. Бог свидетель, — нам хотелось, так сказать, обеспечить свое дитя на всякий случай. А ежели ничего из этого не выходит, значит, бог так велит. Не суждено тебе, дочь моя, прийти на все готовое, сделаться хозяйкой такого богатства, а нам — дожждаться на старости лет утехи за все наши труды: и день и ночь словно к тачке прикованы, ни минуты хорошей, одна только нищета, нужда, одни неудачи, куда ни сунься!..

— Ах, отец! — отвечает она и снова плачет. — Я в прислуги пойду, глину месить буду, землю рыть!..

— Чего ты плачешь, глупая девчонка! — говорю я. — Разве я тебя упрекаю? Или требую чего-нибудь от тебя? Просто жизнь наша горькая, безрадостная, — вот я и изливаю свою душу, с ним толкую, с господом богом, о том, как он со мною обходится. Он, отец милосердый, жалеет меня, силой своей похвальноется, — да не накажет он меня за такие речи! — счесть со мной сводит, и делай что хочешь, хоть караул кричи! Но, видно, так уж быть должно. Он там наверху, а мы — внизу, глубоко-глубоко в земле... Вот и приходится нам говорить, что он всегда прав и суд его справедлив. Ибо, ежели посмотреть на это с другой стороны, то не дурень ли я?

В чем дело? Чего я горячусь? Как это так — я, червяк, ползающий по земле, жалкое создание, которое, если бог захочет, малейшим дуновением ветерка может быть в одно мгновение сметено с лица земли, — я со своим глупым разумом осмеливаюсь указывать ему, как надлежит править миром! Уж если он велит, чтоб было так, а не иначе, значит, так тому и быть, — жалобы не помогут! За сорок дней, — говорю — так у нас в священных книгах сказано, — за сорок дней до рождения ребенка в утробу матери прилетает ангел и возглашает: «Дочь такого-то — такому-то!» Пусть дочь Тевье возьмет какой-нибудь Гецл, сын Зораха, а мясник Лейзер-Волф пусть потрудится поискать свою суженую в другом месте. То, что ему положено, от него не уйдет, а тебе пусть господь бог пошлет твоего суженого, только бы порядочного человека, да поскорее. Аминь! Да будет воля его! Хоть бы мать не слишком кричала... Ох, и достанется же мне от нее!..

Словом, приехали домой, распрягли лошаденку, сели возле дома на травке и стали думать да гадать, как тут выйти из положения, какую бы сочинить для моей жены небылицу, сказку из «Тысячи и одной ночи», чтобы выпутаться из беды.

Дело к вечеру. Солнце садится. Теплынь. Вдалеке лягушки квакают, стреноженная лошадь щиплет траву, коровки, только что пригнанные из стада, стоят над подойниками и ждут, покуда их подоят; а трава кругом благоухает — рай земной, да и только! Сижу это я, смотрю на все это и думаю, как мудро всевышний устроил свой мир. Каждое существо — от человека, скажем, и до коровы — должно свой хлеб зарабатывать, даром ничего не дается! Ты, коровушка, есть хочешь, — давай молоко, корми хозяина, и жену его, и деток. Ты, лошадка, жевать хочешь, — вози каждый раз горшки в Бойберик и обратно. То же и человек: кусок хлеба хочешь, — изволь трудиться, доить корову, таскать кринки, сбивать масло, готовить сыр, а потом запрягай конягу и тащись чуть свет в Бойберик на дачи, кланяйся, спину гни перед егупецкими богачами, улыбайся, льсти, к каждому в душу влезай, смотри, чтобы они довольны были, чтобы как-нибудь, упаси боже, гонор их не задеть!.. Остается, правда, вопрос: «Чем отличается?» — почему такая разница? Где это сказано, что Тевье должен работать на них, вставать ни свет ни заря, когда

сам бог еще спит? А ради чего? Ради того, чтобы доставить им к утреннему кофе свежее масло и сыр... Где это сказано, что Тевье обязан маяться из-за жидкой похлебки, из-за крупного кулеша, а они, егупецкие богачи, должны косточки свои на дачах нежить, палец о палец не ударять и кушать обязательно пироги, блинчики и вертуты? Не такой же я человек, как и они? Разве не было бы справедливо, чтобы Тевье хоть одно лето на даче пожил? Но опять-таки спрашивается: откуда возьмутся тогда сыр и масло? Кто будет коров доить? Да хотя бы они же, егупецкие аристократы то есть... И сам расхохотался при этой сумасбродной мысли... Поговорка на этот счет есть: «Послушал бы господь дураков, — был бы свет не таков...»

— Добрый вечер, реб Тевье! — называет меня вдруг кто-то по имени.

Оборачиваюсь, гляжу — знакомый: Мотл Камзол, портновский подмастерье из Анатовки.

— И тебя с добрым вечером! — говорю я. — Вот так гость! Легок на помине... Садись, Мотл, на божью землю. Какими судьбами?

— Какими судьбами? Своими ногами! — отвечает он, присаживается на траву и поглядывает туда, где мои девицы возятся с горшками и крынками. — Давно уже, — говорит он, — собираюсь я к вам, реб Тевье, да все времени нет. Один заказ сдаю, за другой принимаюсь. Я теперь от себя работаю, дела, слава богу, хватает. Все портные завалены заказами: лето у нас нынче такое выдалось — все свадьбы да свадьбы. Берл Фонфач дочь замуж выдает, у Иосла Шейгеца свадьба, у Мендла Заики свадьба, у Янкла Пискача свадьба. Свадьбу справляют и Мойше Горгл, и Меер Крапива, и Хаим Лошак, даже у вдовы Трегубихи и у той свадьба.

— Весь мир, — говорю, — свадьбы справляет, одному только мне не везет. Не заслужил, видать, у бога...

— Нет, — отзывается Мотл, поглядывая на моих девиц, — вы ошибаетесь, реб Тевье. Если бы вы захотели, вы тоже могли бы сейчас готовиться к свадьбе... От вас зависит.

— А именно? — спрашиваю я. — Каким образом? Может быть, есть у тебя на примете жених для моей Цейтл?

— Как по мерке! — отвечает он.

— Что-нибудь стоящее? — спрашиваю и думаю: вот ловко-то будет, если он имеет в виду мясника Лейзер-Волфа!

— И ладно скроено и крепко сшито! — отвечает он на своем портновском языке и все поглядывает на моих дочерей.

— Откуда, — говорю, — жених? Из каких краев? Если пахнет от него мясной лавкой, то я и слышать об этом не желаю!

— Упаси бог! — отвечает он. — Никакой мясной лавкой он не пахнет. Да вы, реб Тевье, его хорошо знаете!

— Но это подходящее дело?

— Да еще как! — отвечает он. — Подходящее подходящему рознь! Это, как говорится, в облиточку — тютелька в тютельку!

— Кто же это такой, интересно знать?

— Кто такой? — переспрашивает он, все еще не спуская глаз с моих дочерей. — Жених, понимаете ли, реб Тевье, я сам и есть.

Только вымолвил он эти слова, я, как ошпаренный, вскочил с места, а он следом за мной. Так и застыли друг против друга, нахохлившись, как петухи.

— Рехнулся ты или просто с ума спятил? — говорю я. — Ты и шадхен, ты и кум, да ты же и жених? Свадьба, так сказать, с собственной музыкой? Нигде не слыхивал, чтобы парень сам себе невесту сватал.

— Что касается сумасшествия, — отвечает он, — то пускай враги наши с ума сходят. Я еще, можете мне поверить, в своем уме. Вовсе не нужно быть помешанным, чтобы хотеть жениться на вашей Цейтл. Недаром даже Лейзер-Волф, самый богатый человек у нас в местечке, и тот захотел взять ее, как есть... Думаете, это секрет? Все местечко уже знает. А насчет того, что вы говорите: «Сам, без шадхена», — я, право, удивляюсь вам, реб Тевье: ведь вы же все-таки человек, которому, как говорится, пальца в рот не клади — откусить можете... Но к чему длинные разговоры? Дело, видите ли, в том, что я и ваша дочь Цейтл давно уже, больше года тому назад, дали друг другу слово пожениться...

Лучше бы мне нож в сердце, нежели слышать такие слова. Во-первых, куда ему, портному Мотлу, быть зятем Тевье? А во-вторых, что это за разговор такой — «они дали друг другу слово пожениться»!

— Ну, а я? Где же я? — спрашиваю. — Я тоже как будто бы имею кое-какое право слово сказать своей дочери! Или меня уж и спрашивать нечего?

— Что вы, помилуйте! — отвечает он. — Ведь я же для того и пришел, чтобы переговорить с вами. Как только я услышал, что Лейзер-Волф сватается к вашей дочери, которую я уже больше года люблю...

— Скажите пожалуйста! — говорю я. — У Тевье есть дочь Цейтл, а тебя зовут Мотл Камзол, и занимаешься ты портновским ремеслом, — что же ты можешь иметь против нее, за что тебе не любить ее?

— Нет, — отвечает он, — не в этом дело, вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что люблю вашу дочь и что ваша дочь любит меня уже больше года, мы уже друг другу слово дали, что поженимся. Я уже несколько раз собирался потолковать с вами, да все откладывал, пока не сколочу немного денег на покупку швейной машины, а потом — пока не справлю себе одежды, как полагается. Ибо по нынешним временам любой, хоть самый ледащий парень должен иметь два костюма и несколько жилеток...

— Тьфу ты, пропасть! — говорю я. — Рассуждаете вы, как дети. А что вы будете делать после свадьбы? Зубы на чердак закинете или ты жену свою жилетками кормить будешь?

— Удивляюсь я вам, реб Тевье, от вас ли такое слышать? Я полагаю, что и вы, когда собирались жениться, собственного каменного дома не имели, и все же, как видите... Что ж, как люди, так и я... А ведь у меня как-никак и ремесло в руках..

В общем, что тут долго рассказывать, — уговорил он меня. Да и к чему себя обманывать, — а как все молодые люди у нас женятся? Если обращать внимание на такие вещи, то ведь людям нашего достатка и вовсе жениться нельзя было бы... Одно только было мне досадно, и понять я этого никак не мог: что значит — они сами дали друг другу слово? Что это за жизнь такая пошла? Парень встречает девушку и говорит ей: «Дадим друг другу слово, что поженимся...» Так просто, за здорово живешь? Однако, когда я посмотрел на моего Мотла, когда увидел, что стоит он, понурился, как грешник, что говорит он серьезно, без задних мыслей, я стал думать по-другому. Давайте, думаю, взглянем на это дело с другой стороны: чего это я ломаюсь и

прикидываюсь? Рода я, что ли, очень знатного? Или приданого за моей дочерью даю невесть сколько, или одежду, прости господи, роскошную? Мотл Камзол, конечно, всего лишь портной, но он очень славный парень, работяга, жену прокормить может и честный человек к тому же. Чего же еще мне от него надо? «Тевье, — сказал я самому себе, — перестань чваниться и говори, как в Писании сказано: «Прощаю по слову твоему!» — «Дай бог счастья!»

Да, но как быть с моей старухой? Ведь она же мне такое закатила, что жизни рад не будешь! Как же к ней подъехать, чтобы и она примирилась?

— Знаешь что, Мотл? — обращаюсь я к новоявленному жениху. — Ты ступай домой, а я здесь тем временем все улажу, поговорю с тем, с другим. Как в предании об Эсфири написано: «Питье шло чинно», — все это надо обмозговать, как следует. А завтра, бог даст, если ты к тому времени не передумаешь, мы, наверное, увидимся.

— Передумаю? — отвечает он. — Я передумаю? Да не сойти мне с этого места! Да превратиться мне в камень!

— К чему мне твои клятвы? — говорю я. — Я и без клятвы тебе верю. Будь здоров, спокойной тебе ночи, и пускай тебе снятся хорошие сны...

Сам я тоже лег спать, но сон меня не берет. Голова пухнет: то одно придумываю, то другое. Наконец придумал-таки. Вот послушайте, что Тевье может прийти в голову.

Около полуночи все в доме крепко спят, кто храпит, кто посвистывает, а я вдруг как закричу не своим голосом: «Гвалт! Гвалт! Гвалт!» И, конечно, переполошил весь дом. Первая вскочила Голда и стала меня тормошить:

— Бог с тобой, Тевье! Проснись! Что случилось? Чего ты кричишь?

Я раскрываю глаза, оглядываюсь по сторонам, точно ищу кого-то, и спрашиваю с дрожью в голосе:

— Где она?

— Кто? Кого ты ищешь?

— Фруме-Сору, — отвечаю, — Фруме-Сора, жена Лейзер-Волфа, только что стояла тут...

— Ты бредишь, Тевье! — говорит жена. — Бог с тобой! Фруме-Сора, жена Лейзер-Волфа, — не про нас будь сказано, — давно уже на том свете...

— Знаю, — отвечаю я, — что она умерла, и все же она только что была здесь, возле самой кровати, говорила со мной. Схватила за горло, задушить хотела...

— Опомнись, Тевье! — говорит жена. — Что ты болтаешь? Тебе, наверное, сон приснился. Сплюнь трижды и расскажи мне, что тебе померещилось, я тебе к добру истолкую...

— Дай тебе бог здоровья, Голда, — отвечаю я. — Ты привела меня в чувство. Если бы не ты, у меня бы от страха сердце разорвалось... Дай мне глоток воды, и я расскажу тебе, что мне приснилось. Только не пугайся, Голда, и не подумай невесть что. В наших священных книгах сказано, что только три доли сна могут иной раз сбыться, а все остальное — чепуха, глупости, сущая бессмыслица... Прежде всего, — начал я, — снилось мне, что у нас какое-то торжество — не то свадьба, не то помолвка, — много народу: женщины, мужчины, раввин, резник... А музыкантов!.. Вдруг отворяется дверь, и входит твоя бабушка Цейтл, царство ей небесное...

Услыхав про бабушку Цейтл, жена побледнела как полотно и спрашивает:

— Как она выглядела с лица? А во что была одета?

— С лица? — отвечаю я. — Всем бы нашим врагам такое лицо: желтое, как воск, а одета, конечно, в белое, в саван... «Поздравляю! — говорит мне бабушка Цейтл. — Я очень довольна, что вы для вашей дочери Цейтл, которая носит мое имя, выбрали такого хорошего, такого порядочного жениха. Его зовут Мотл Камзол, в память моего дяди Мордхе, и хоть он портной, но очень честный молодой человек...»

— Откуда, — говорит Голда, — к нам затесался портной? В нашей семье имеются меламеды, канторы, си-нагогальные служки, могильщики, просто нищие, но ни портных, упаси боже, ни сапожников...

— Не перебивай меня, Голда! — говорю я. — Наверное, твоей бабушке Цейтл лучше знать... Услыхав такое поздравление, я говорю ей: «Почему вы, бабушка, сказали, что жениха Цейтл зовут Мотл и что он портной? Его зовут вовсе Лейзер-Волф, и он мясник!» — «Нет, — отвечает бабушка Цейтл, — нет, Тевье, жениха твоей Цейтл зовут Мотл, он портной, с ним она и приходит до старости в довольстве и в почете». — «Ладно, говорю, бабушка, но как же быть с Лейзер-Волфом?»

Ведь я только вчера дал ему слово!» Не успел я вымолвить это, гляжу — нет бабушки Цейтл, исчезла! А на ее месте выросла Фруме-Сора, жена Лейзер-Волфа, и обращается ко мне с такими словами: «Реб Тевье, я всегда считала вас человеком порядочным, богобоязненным... Как же могло случиться, чтобы вы решились на такое дело: как вы могли пожелать, чтобы ваша дочь была моей наследницей, чтобы она жила в моем доме, владела моими ключами, надевала мое пальто, носила мои драгоценности, мой жемчуг?» — «Чем же, отвечаю, я виноват? Так хотел ваш Лейзер-Волф!» — «Лейзер-Волф? — говорит она. — Лейзер-Волф кончит плохо, а ваша Цейтл... жаль мне бедняжку! Больше трех недель она с ним не проживет. А когда пройдут три недели, я явлюсь к ней ночью, схвачу ее за горло, вот так!..» При этом, — говорю, — Фруме-Сора схватила меня за горло и стала душить изо всех сил... Если бы ты меня не разбудила, я был бы давно уже далеко-далеко...

— Тьфу, тьфу, тьфу! — трижды сплюнула жена. — Пускай все это в воде потонет, сквозь землю провалится, по чердакам мотается, в лесу покоится, а нам и детям нашим не вредит! Всякие беды и напасти на голову мясника, на его руки и ноги! Пропади он пропадом за один ноготок Мотла Камзола, хоть он и портной. Ибо раз он носит имя моего дяди Мордхе, то он, наверное, не прирожденный портной... И уж если бабушка, царство ей небесное, потрудилась и пришла с того света, чтобы поздравить, значит, мы должны сказать: так тому и быть, в добрый и счастливый час! Аминь!

Словом, что тут долго рассказывать? Я в ту ночь был крепче железа, если не лопнул со смеху, лежа под одеялом... Как сказано в молитве: «Благословен создавший меня не женщиной», — баба бабой остается. Понятно, что на следующий день была у нас помолвка, а вскоре и свадьба, — как говорится, одним махом! И молодая парочка живет, слава богу, припеваючи. Он портняжит, ходит в Бойберик, из одной дачи в другую, набирает работу, а она день и ночь в труде да заботе: варит и печет, стирает и моет, таскает воду. Едва-едва на кусок хлеба хватает. Если бы я не приносил иной раз кое-чего молочного, а в другой раз немножко денег, было бы совсем невесело. А спросите ее, — она

говорит, что живется ей, благодарение богу, как нельзя лучше, был бы только здоров ее Мотл... Вот и толкуй с нынешними детьми!

Так оно и выходит, как я вам вначале говорил: «Растил я чад своих и пестовал», — работай, как вол, ради детей, бейся как рыба об лед, — «а они возмутились против меня», а они говорят, что лучше нас понимают. Нет, как хотите, — чересчур умны наши дети!

Однако, кажется, я на сей раз морочил вам голову больше, чем когда-либо. Не взыщите, будьте здоровы, и всего вам наилучшего!

ГОДЛ

Вы удивляетесь, пане Шолом-Алейхем, что Тевье давно не видать? Осунулся, говорите, как-то сразу поседел? Эх-эх-эх! Если бы вы знали, с какими горестями, с какой болью носится Тевье! Как это там у нас сказано: «Прах еси и в прах обратишься», — человек слабее мухи и крепче железа. Прямо-таки книжку обо мне писать можно! Что ни беда, что ни несчастье, что ни напасть — меня стороной не обойдет! Отчего это так? Вы не знаете? Может быть, оттого, что по натуре я человек до глупости доверчивый, каждому на совесть верю. Тевье забывает, что мудрецы наши тысячу раз наказывали: «Прославляй его и подозревай», а по-еврейски это означает: «Не верь собаке!» Но что поделаешь, скажите на милость, если у меня такой характер? Я, как вам известно, живу надеждой и на предвечного не жалеюся — что бы он ни творил, все благо! Потому что, с другой стороны, попробуйте жаловаться, — вам что-нибудь поможет? Коль скоро мы говорим в молитве: «И душа принадлежит тебе и тело тебе», то что же может знать человек и какое он имеет значение? Я постоянно толкую с ней, с моей старухой то есть:

— Голда, ты грессишь? У нас в Писании сказано...

— Ну, что мне твое Писание! — отвечает она. — У нас дочь на выданье. А за этой дочерью следуют, не сглазить бы, еще две, а за этими двумя — еще три!

— Эх! — говорю я. — Чепуха все это, Голда! Наши мудрецы и тут свое слово сказали. Есть в книге толкований...

Но она и сказать не дает.

— Взрослые дочери, — перебивает она, — сами по себе хорошее толкование...

Вот и толкуй с женщиной!

Словом, как вам должно быть ясно, выбор у меня, не сглазить бы, достаточный и «товар» к тому же хорош, грех жаловаться! Одна другой краше! Не полагается, конечно, самому расхваливать своих детей. Но я слышу, что люди говорят: «Красавицы!» А всех лучше старшая, звать ее Годл, вторая после Цейтл, той, которая втюрилась, если помните, в портнягу. И хороша же она, вторая дочь моя, Годл то есть, ну, как вам сказать? Совсем как написано в сказании об Эсфири: «Ибо пригожа она лицом своим», — сияет, как золото. И как на грех, она к тому же девица с головой: пишет и читает по-еврейски и по-русски, а книжки — книжки глотает, как галушки. Вы, пожалуй, спросите: что общего у дочери Тевье с книжками, когда отец ее всего-навсего торгует сыром и маслом? Вот об этом-то я и спрашиваю у них, у наших молодых людей то есть, у которых, извините за выражение, штанов нет, а учиться — страсть какая охота. Как в сказании на пасху говорится: «Все мы мудрецы», — все хотят учиться, «все мы знатоки», — все хотят быть образованными... Спросите у них: чему учиться? Для чего учиться? Козы бы так знали по чужим огородам лазить! Ведь их даже никуда не допускают! Как там сказано: «Не простирай руки!» — брысь от масла! И все же посмотрели бы вы, как они учатся! И кто? Дети ремесленников, портных, сапожников, честное слово! Уезжают в Егупец или в Одессу, валяются по чердакам, едят хворобу с болячкой, а закусывают лихоманкой, месяцами куска мяса в глаза не видят. Вшестером в складчину булку с селедкой покупают, и — «да возрадуешься в день праздника твоего», — гуляй, голытьба!

Словом, один из этих молодчиков затесался и в наш уголок, невзрачный такой паренек, живший неподалеку от наших мест. Я знавал его отца, был он папиросник и бедняк, — да простит он меня, — каких свет не видал! Но не в этом дело. Чего уж там! Если нашему великому ученому, раби Иоханану Гасандлеру*, не стыдно было сапоги тачать, то ему, я думаю, и давно нечего стыдиться, что отец у него папиросник. Одного только я в толк не возьму: с чего бы это нищему хотеть учиться, быть образованным? Правда, черт его не взял, этого

парнишку, — голова у него на плечах неплохая, хорошая голова! Перчиком звать его, этого недолю, а мы его на еврейский лад переименовали — «Феферл»*. Он и выглядит, как перчик: неказистый такой, щупленький, черненький, кикимора, но башковит, а язык — огонь!

И вот однажды случилась такая история. Еду я домой из Бойберика, сбыл свой товар — целый транспорт сыра, масла, сметаны и прочей молочной снеди. Сижу и, по обыкновению своему, размышляю о всяких высоких материях: о том о сем, о егупецких богачах, которым, не сглазить бы, так везет и так хорошо живется, о неудачнике Тевье с его конягой, которые всю жизнь маются, и тому подобных вещах.

Время летнее. Солнце печет. Мухи кусаются. А кругом — благодать! Широко раскинулся мир, огромный, просторный, хоть подымись и лети, хоть растянись и плыви!..

Гляжу — шагает по песку паренек, с узелком под мышкой, потом обливается, едва дышит.

— Стоп, машина! — говорю я ему. — Присаживайся, слышь, подвезу малость, все равно порожняком еду. Как там у нас говорится: «Ослу друга твоего, если встретишь, в помощи не откажи», а уж человеку и подавно...

Улыбнулся, шельмец, но просить себя долго не заставил и полез в телегу.

— Откуда, — спрашиваю, — к примеру, шагает паренек?

— Из Егупца.

— А что, — спрашиваю, — такому пареньку, как ты, делать в Егупце?

— Паренек, вроде меня, — говорит он, — сдает экзамены!

— А на кого, — говорю, — такой паренек учится?

— Такой паренек, — отвечает он, — и сам еще не знает, на кого учится.

— А зачем, — спрашиваю, — в таком случае паренек зря морочит себе голову?

— А вы, — отвечает, — не беспокойтесь, реб Тевье! Такой паренек, как я, знает, что делает.

— Скажи-ка, пожалуйста, уж если я тебе знаком, кто же ты, к примеру, такой?

— Кто я такой? Я, — говорит, — человек!

— Вижу, — говорю, — что не лошадь. Чей ты?

— Чей? — отвечает. — Божий!

— Знаю, — говорю, — что божий! У нас так и сказано: «Всяк зверь и всякая скотина...» Я спрашиваю, откуда ты родом? Из каких краев? Из наших или, может быть, из Литвы?

— Родом, — говорит он, — я от Адама. А вообще-то я здешний. Вы, наверное, меня знаете.

— Кто же твой отец? А ну-ка, послушаем.

— Отца моего, — отвечает он, — звали Перчик.

— Тьфу ты, пропасть! Зачем же ты мне так долго голову морочил? Стало быть, ты — сын папиросника Перчика?

— Стало быть, я — сын папиросника Перчика.

— И учишься, — говорю я, — в «классах».

— И учусь, — отвечает, — в «классах».

— Ну, что же! «И Гапка — люди, и Юхим — человек!» А скажи-ка мне, сокровище мое, чем же ты, к примеру, живешь?

— А живу я, — говорит он, — оттого, что ем.

— Вот как! Здорово! Что же, — спрашиваю, — ты ешь?

— Все, что дают, — отвечает он.

— Понимаю, — говорю, — что ты не из привередливых. Было бы что. А если нет ничего, закусываешь губу и ложишься натошак. И все это ради того, чтобы учиться в «классах»? По егупецким богачам равняешься? Как в Писании сказано: «Все любимые, все избранные...»

Говорю я с ним эдаким манером, привожу изречения, примеры, притчи, как Тевье умеет. Но, думаете, он, Перчик то есть, в долгу остается?

— Не дождутся, — говорит он, — богачи, чтобы я равнялся по ним! Плевать я на них хотел!

— Ты, — отвечаю, — что-то больно взелся на богачей! Боюсь, не поделил ты с ними отцовского наследства...

— Да будет вам известно, — говорит он, — что и я, и вы, и все мы имеем, быть может, очень большую долю в их наследстве.

— Знаешь что? — отвечаю я. — Лучше бы ты помалкивал!.. Вижу, однако, что парень ты не промах, за язык тебя тянуть не приходится... Если будет у тебя время, можешь забежать ко мне сегодня вечером, потолкуем с тобой, а заодно, кстати, и поужинаешь с нами...

Разумеется, паренек мой не заставил повторять приглашение и пришел в гости, в самую точку угодил, когда

борщ уже на столе стоял, а пирожки на сковороде жарились.

— Хорошо, — говорю, — тому жить, кому бабушка ворожит. Можешь идти руки мыть. А не хочешь, можешь и так за стол садиться. Я у бога встряпчих не состою, и сечь меня на том свете за тебя не будут.

Говорим мы с ним эдаким вот манером, и чувствую я, что тянет меня к этому человечку. Почему, — сам не знаю, а только тянет. Люблю, понимаете, человека, с которым можно словом перекинуться — иной раз изречением, другой раз — притчей, рассуждением о разных высоких материях, то да се, пятое, десятое... Таков уж Тевье.

С этих пор мой паренек стал приходиться чуть ли не каждый день. Покончит с уроками и заглянет ко мне отдохнуть, побеседовать. Можете себе представить, что это были за уроки и что они ему давали, прости господи, если самый крупный богач у нас привык платить не больше трешницы в месяц, да и то требует, чтобы учитель вдобавок прочитывал его телеграммы, надписывал адреса или бегал иной раз по поручениям... Почему бы и нет? Ведь ясно сказано: «Всей душой и всем сердцем», — если ешь хлеб, должен знать за что...

Хорошо еще, что кормился он, собственно, у меня. За это он занимался понемногу с моими дочерьми. Как говорится: «Око за око...» Таким образом, сделался он у нас своим человеком. Дети подносили ему стакан молока, а старуха присматривала, чтобы у него рубаха на теле была и носки целые. Вот тогда-то мы и прозвали его «Феферл», переделали то есть его имя на еврейский лад. И можно сказать, что все мы его полюбили, как родного, потому что по натуре он, надо вам знать, и в самом деле славный паренек, без хитростей: мое — твое, твое — мое, душа нараспашку...

За одно только я его терпеть не мог: за то, что он вдруг, ни с того ни с сего, пропадал. Неожиданно подымется, уйдет, и нищи ветра в поле — нету Перчика! «Где ты был, дорогой мой птенчик?» Молчит как рыба... Не знаю, как вы, а я не люблю человека с секретами! Я люблю так, как сказано в Писании: «Что есть, то и выкладывай!» Зато, с другой стороны, было у него и большое достоинство: уж если разговорится, — «кто на воде, а кто в огне», — так и пышет жаром, так и режет. Язычок, будь он неладен! Говорит против бога и против

помазанника его, и больше всего — против помазанника... А планы у него всё какие-то дикие, нелепые, сумасшедшие, и все-то у него шиворот-навыворот, все вверх ногами. Богач, например, по глупому его разумению, вообще ничего не стоит, а бедняк, наоборот, цаца великая, а уж мастеровые, рабочие — те и вовсе соль земли, потому что труд, говорит он, — это главное, всему основа.

— А все же, — говорю я, — с деньгами этого не сравнишь!

Тут он вспыхивает и начинает меня убеждать, что деньги — зарез для всего мира. От денег, говорит он, всяческая подлость на земле, да и вообще все, что творится на белом свете, несправедливо. И приводит мне десять тысяч доказательств и примеров, и все они пристают ко мне, как горох к стене.

— Выходит, стало быть, по сумасшедшему твоему рассуждению, что доить корову или заставлять лошаденку в упряжи ходить — тоже несправедливо?

И много таких каверзных вопросов задаю я ему, припираю его, так сказать, к стенке на каждом шагу, как Тевье умеет! Однако и Феферл мой тоже это умеет, да еще как умеет! Лучше бы уж он не умел. А уж если есть у него что-нибудь на сердце, тут же выложит.

Сидим мы однажды под вечер у меня на завалинке и эдак вот рассуждаем, философствуем... Вдруг он и говорит мне, Феферл то есть:

— Знаете, реб Тевье? Дочери у вас очень удачные!

— Серьезно? — отвечаю. — Спасибо за добрую вест! Им было, — говорю, — в кого уродиться.

— Одна, — продолжает он, — старшая, и вовсе умница! Человек в полном смысле слова!

— И без тебя знаю! — говорю я. — Яблоко от яблони недалеко падает.

Говорю это я ему, а у самого сердце, конечно, тает от удовольствия. Какому отцу, скажите, не приятно, когда хвалят его детей? Пооди угадай, что от этих похвал разгорится такая пламенная любовь, не приведи господи! Вот послушайте.

Короче говоря, «и бысть вечер, и бысть утро», — было это в сумерки, в Бойберике. Еду я на своей тележке по дачам, вдруг меня кто-то останавливает. Гляжу — Эфраим-шадхен. Эфраим, надо вам сказать, такой же сват, как и все сваты, то есть занимается сватовством. Увидал меня в Бойберике и остановил:

— Извините, реб Тевье, мне нужно вам кое-что сказать.

— Ну что ж! Лишь бы что-нибудь хорошее, — отвечаю я и придерживаю конягу.

— У вас, — говорит, — реб Тевье, есть дочь.

— У меня их, — отвечаю, — семеро, дай им бог здоровья!

— Я знаю, — отвечает он, — что у вас семеро! У меня тоже семеро.

— Стало быть, — говорю, — у обоих у нас равным счетом четырнадцать.

— Словом, — отвечает он, — шутки в сторону. Дело вот в чем, реб Тевье: я, как вам известно, сват. И вот есть у меня для вас жених — всем женихам жених! Высший сорт!

— Например? Что у вас называется «всем женихам жених»? Если, — говорю, — портняжка, или сапожник, или меламед, пускай себе сидит на месте, а мне, как в Мидраше сказано: «Свобода и избавление придут из другого места»*. Найду себе равню в другом месте...

— Вы все со своими притчами! — говорит он. — С вами разговаривать — надо хорошенько подпоясаться! Начинаете сыпать словечками да изречениями. Вы лучше послушайте, какого жениха Эфраим-шадхен намерен предложить вам. Вы только слушайте и молчите.

Так говорит он мне, Эфраим то есть, и начинает выкладывать... Ну, что я вам скажу? В самом деле, что-то необыкновенное! Во-первых, из очень хорошей семьи, сын почтенных родителей, не безродный какой-нибудь, а для меня, надо вам сказать, это важнее всего, потому что и сам я не из последних. У меня в семье, как говорится, «и пятнистые, и пегие, и пестрые», — есть и простые люди, есть мастеровые, а есть и хозяева. Затем он, жених этот, большой грамотей, хорошо разбирается в мелких буквах, а это для меня и подавно великое дело — терпеть не могу невежд! Для меня невежда в тысячу раз хуже шалопая! Можете ходить без шапки, хоть головой вниз, ногами кверху, но если вы знаете толк в Раши*, то вы для меня — свой человек. Таков уж Тевье.

— Затем, — говорит Эфраим, — он богат, набит деньгами, разъезжает в карете на паре огневых лошадей, так что пыль столбом...

Ну что ж, думаю, это тоже не такой уж недостаток. Нежели бедник, пускай уж лучше богач. Как сказано: «Приличествует бедность Израилю», — сам бог бедняка не любит. Ибо если бы бог любил бедняка, так бы бедняк бедняком не был!

— Ну, послушаем дальше!

— А дальше, — говорит Эфраим, — он хочет с вами породниться, помирает человек, сохнет. То есть не по вас, а по вашей дочери сохнет. Он хочет красивую девушку.

— Вот как? — отвечаю. — Пусть сохнет! Кто же он такой, ваше сокровище? Холостяк? Вдовец? Разведенный? Черт, дьявол?

— Холостяк! — отвечает. — Холостяк. Правда, в летах, но холостяк.

— Как же его святое имя?

Не хочет сказать, хоть режь его.

— Привезите ее в Бойберик, тогда скажу!

— Что значит, — говорю, — я ее привозить буду? Приводят лошадь на ярмарку или корову на продажу...

Словом, шадхен, сами знаете, и стенку уломать может. И порешили мы, что, даст бог, на будущей неделе я ее привезу в Бойберик. И светлые, сладостные мечты приходят мне в голову: представляю себе мою Годл разъезжающей в карете на паре горячих коней. И весь мир завидует... Не столько роскошному выезду, сколько тому, что я благодаря дочери-богачке творю добрые дела, помогаю нуждающимся, даю займы — кому четвертной, кому полсотни, а кому и все сто... Ведь и у другого, говорите вы, душа — не мочалка...

Размышляю я эдак, возвращаясь под вечер домой, нахлестываю свою лошаденку и беседую с ней на лошадином языке. «Вьо! — говорю. — А ну-ка, пошевеливай ходулями, да поживее, — получишь порцию овса... Ибо сказано у нас: «Без хлеба нет и учения», — не подмажешь, не поедешь...»

Разговариваем мы так со своей конягой, и вижу я, из лесу идут двое: похоже, мужчина и женщина. Идут рядом, вплотную друг возле друга, горячо беседуют о чем-то. «Кто бы мог сюда забрести?! — думаю я и всматриваюсь сквозь огненные прутья солнца. Готов поклясться, что это Феферл! С кем же это он гуляет так поздно? Заслоняю рукою глаза от солнца и еще

пристальнее вглядываюсь: кто же эта женщина? Ой, кажется, Годл! Да, она, честное слово, она... Вот как? То-то они так усердно занимаются грамматиками, книжки читают! «Эх, Тевье! Ну и дурень же ты!» — думаю. Останавливаю лошаденку и обращаюсь к моей парочке.

— Добрый вечер! — говорю. — Что слышать насчет войны? Какими судьбами вы попали сюда? Кого поджидаете? Вчерашнего дня?

Услышав такое приветствие, моя парочка остановилась, как говорится, между небом и землей, — то есть ни туда, ни сюда, — растерялись и покраснели... Постояли эдак несколько минут молча, опустив глаза. Потом стали поглядывать на меня, я на них, они — друг на друга.

— Ну, — говорю. — Чего это вы меня разглядываете, точно давно не видали? Я как будто тот же Тевье, что и был, ничуть не изменился.

Говорю это я, не то досадуя, не то подтрунивая над ними. А дочь моя, Годл то есть, еще больше покраснела и говорит:

— Отец, нас нужно поздравить...

— Поздравляю! Дай бог счастья! А по какому случаю? Клад, — спрашиваю, — в лесу нашли? Или только что от большой беды спаслись?

— Нас, — говорит он, — следует поздравить, мы — жених и невеста!

— Что значит, — спрашиваю, — жених и невеста?

— Вы, — отвечает он, — не знаете, что значит жених и невеста? Жених и невеста значит, что я ее жених, а она моя невеста!

Так говорит Феферл и смотрит мне прямо в глаза. Но и я ему прямо в глаза смотрю и спрашиваю:

— Когда же у вас была помолвка? Почему меня не пригласили на торжество? Я как-никак ей будто бы сродни... Не так ли?

Шучу, понимаете, а самого черти грызут, тело мое точат. Но ничего! Тевье — не баба. Тевье любит выслушать до конца...

— Не понимаю, — говорю я. — Что же это за сватовство без свата, без помолвки?

— А на что нам сват? — отвечает Феферл. — Мы уже давно жених и невеста.

— Вот как? Чудеса, да и только! Чего же вы, — говорю, — до сих пор молчали?

— А чего нам кричать? — говорит он. — Мы бы и сегодня не рассказали, но так как нам скоро нужно будет разлучиться, мы и решили раньше повенчаться.

Тут уж я не вытерпел... «Подступила вода к горлу», как говорится, — за живое задело. То, что он говорит: «Жених и невеста», — это еще куда ни шло... Как это там сказано: «И возлюбил», — она ему нравится, он ей. Но венчаться! Что значит венчаться? Ума не приложу!.. Жених, видать, понял, что я от всей этой истории малость ошалел, и говорит:

— Понимаете ли, реб Тевье, дело вот в чем: я собираюсь уезжать отсюда.

— Когда ты едешь?

— Вскоре.

— Куда, к примеру?

— Этого, — отвечает он, — я вам не скажу, это тайна.

Понимаете? Тайна! Ну, как вам это нравится? Приходит вот такой Феферл, маленький, черненький, кикимора какая-то, объявляет себя женихом, хочет венчаться, собирается уезжать и даже не говорит куда. Лопнуть можно.

— Ну что ж! — говорю я. — Тайна — так тайна... У тебя все тайны... Однако растолкуй ты мне, братец, вот что: ведь ты за справедливость ратуешь, ты же насквозь пропитан любовью к людям, — как же это так могло случиться, чтобы ты вдруг, ни с того ни с сего, забрал у Тевье дочь и сделал ее вдовой при живом муже? Это, по-твоему, и есть справедливость? Любовь к людям? Хорошо еще, что ты меня не обокрал, не поджег...

— Отец! — говорит Годл. — Ты даже не знаешь, как мы счастливы, я и он, что рассказали тебе обо всем. У нас прямо-таки камень с души свалился! Поди сюда, давай расцелуемся!

И, не долго думая, они обхватывают меня оба, она с одной стороны, он с другой, и начинают обнимать и целовать... Они меня, я их, а под шумок, должно быть от большой спешки, они уже давай целовать друг друга! Комедия, да и только! Театр...

— Может быть, хватит, — говорю, — целоваться! Пора и о деле потолковать.

— О каком деле? — спрашивают они.

— О приданом, о платьях, о свадебных расходах, — то-се, пятое, десятое.

— Ничего этого, — отвечают они, — нам не нужно! Ничего! Ни пятого, ни десятого...

— А что же вам нужно?

— Нам, — отвечают, — только повенчаться нужно...

— Слышали разговор?

Словом, о чем тут долго рассказывать! Ничего не помогло. Пришлось их повенчать. Венчание, конечно, венчанию рознь! Что и говорить, не такое оно было, какое пристало Тевье. Тоже мне... Тихая, с позволения сказать, свадьба... А к тому еще жена, как говорится: сверх болячки — волдырь! Мучает меня, пристаёт, чтобы я объяснил ей: почему такая спешка? Изволь объяснить женщине, что тут пожар, горит!.. Пришлось, чтоб не поднимать шума, придумать какую-то дикую историю о наследстве, о богатой тетке из Егупца, врать почем зря, лишь бы она меня оставила в покое. И в тот же день, через несколько часов после этой хваленной свадьбы, я запрягаю лошаденку, усаживаемся втроем — я, дочь и он, зятек мой богоданный, — и марш к поезду, в Бойберик. Сижу я на возу, поглядываю со стороны на свою парочку и думаю: велик наш бог и как удивительно он своим мирком правит! Каких только нелепых созданий, каких чудаков нет у него! Вот вам чета, только что изпод венца: он уезжает, бог его ведаёт куда, а она остается здесь, — и хоть бы слезинку уронили, ну, из приличия, что ли! Но молчу. Тевье — не баба. Тевье может потерпеть. Молчу и смотрю, что дальше будет. Вижу, пара молодчиков, порядочных оборванцев, в стоптанных сапогах, пришли к поезду попрощаться с моим птенчиком. Один из них, одетый как крестьянский парень, с рубахой, извините, навывпуск, стал о чем-то шушукаться с моим зятем... «Смотри, Тевье, думаю, уж не попал ли ты в компанию конокрадов, карманников, взломщиков или фальшивомонетчиков?»

На обратном пути, едуци с Годл из Бойберика, я не вытерпел и откровенно сказал ей, о чем подумал. А она смеется и хочет меня уверить, что все они честнейшие люди, глубоко порядочные, замечательные люди, которые всей своей жизнью жертвуют ради других, а о себе даже не думают...

— А вот тот, что в рубашке, — говорит она, — из очень богатой семьи! Родителей бросил в Егупце, ломаного гроша у них брать не хочет.

— Скажи пожалуйста! Чудеса в решете! — говорю я. — Очень славный парень, право, ему бы к его рубашке навывпуск и длинным волосам еще гармошку в руки или собаку на привязи — то-то было бы загляденье!

Вымещаю эдаким манером всю свою злобу на ней, бедной, и на нем заодно... А она? Ничего! «Не открывает себя Эсфирь», — прикидывается непонимающей. Я ей — «Феферл», а она мне — «общее благо, рабочие», — прошлогодний снег...

— Что мне, — говорю, — от вашего общего блага и от ваших рабочих, когда все это у вас делается по секрету? Есть такая поговорка: «Где секрет, там не чисто...» Вот скажи мне прямо, зачем он поехал, Феферл, и куда?

— Все, — отвечает, — скажу, только не это! И не спрашивай лучше! Поверь, со временем все узнаешь. Бог даст, услышишь, может быть даже вскоре, много нового, много хорошего!

— Аминь! — говорю. — Дай бог! Твоими устами да мед пить! Но чтоб наши враги так здоровы были, как я знаю и понимаю, что тут у вас творится и что означает вся эта канитель!

— В том-то, — отвечает она, — и беда, что ты этого не поймешь!

— Что ж, это так замысловато? Я, кажется, с божьей помощью, и более заковыристые вещи понимаю...

— Этого, — говорит она, — одним умом не понять, это почувствовать надо, сердцем чувствовать...

Так говорит она мне, Годл то есть, а лицо в это время у нее пылает, глаза горят. Будь они неладны, дочери Тевье! Захватит их что-нибудь, так уж целиком — с головой и сердцем, с душой и телом!

Расскажу я вам вкратце: проходит неделя, и две, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь — ни ответа, ни привета. «Ни гласа, ни отзыва», — ни письма, ни весточки.

— Пропал, — говорю, — Феферл! — и поглядываю на свою Годл. Ни кровинки в лице. Выискивает, бедная, себе работу по дому, хочет, видать, горе свое заглушить... Но хоть бы вспомнила о нем! Тихо! Как будто никогда и не было на свете никакого Перчика!

Но вот однажды случилась такая история: приезжаю домой, вижу моя Годл ходит заплаканная, с набухшими веками. Начинаю расспрашивать и узнаю, что

был недавно какой-то длинноволосый и о чем-то шептался с ней, с Годл то есть. «Ага! — думаю. — Это, наверное, тот самый, который удрал от богатых родителей и носит рубаху навывпуск...» И, не долго думая, вызываю Годл и сразу же беру ее в оборот:

— Скажи-ка мне, дочка, ты получила от него весточку?

— Да!

— Где же он, твой суженый?

— Далеко! — говорит.

— Что он поддельвает?

— Сидит.

— Сидит?

— Сидит.

— Где сидит? За что?

Молчит. Смотрит мне прямо в глаза и молчит.

— Скажи-ка мне, дочь моя, — говорю я, — насколько я понимаю, он сидит не за воровство. Но в таком случае это у меня в уме не укладывается: коль скоро он не вор и не жулик, за что же он сидит, за какие такие грехи?

Молчит. «Не говоришь, — подумал я, — не надо! Твое сокровище, не мое! Ну и шут с ним!» Но в сердце я ношу боль. Ведь я все же отец! Недаром в молитве говорится: «Как отец детей своих жалеет» — отец отцом остается.

Короче говоря, было это в седьмой день праздника кущи *, вечером. Уж у меня так заведено, что в праздники я и сам отдыхаю, и лошаденке отдых даю, как сказано в Писании: «Ты, и вол твой, и осел твой, и сам отдыхай, и жена твоя, и лошадь твоя...» Да и то сказать, в Бойберике делать уже почти нечего: чуть только запахнет осенью, дачники разбегаются, словно крысы в голодную пору, и Бойберик превращается в пустыню. В такое время я люблю сидеть дома на завалинке. Это для меня самая лучшая пора. Каждый хороший день — дар божий. Солнце уже не пышет жаром, оно ласкает мягко, душу живит. Лес еще зелен, от сосен по-прежнему пахнет смолой, и кажется мне, что лес выглядит празднично, как божьи кущи. Вот здесь, думаю я, господь справляет праздник. Здесь, а не в городе, где шум и сутолока, где люди носятся как угорелые, душу себе выматывают в погоне за куском хлеба, где только и слышно что деньги, деньги и деньги! А уж вечером, да еще в



такой праздник, здесь и вовсе рай земной: небо синее, звезды сверкают, переливаются, мигают, совсем как человеческие глаза. Иной раз случается, — пролетит стрелой звезда и оставляет после себя на секунду зеленоватую черту — это закатилась чья-нибудь звездочка, чье-то счастье кануло. Ведь что ни звездочка, то чья-то доля... «Хоть бы не моя судьба бесталанная», — думаю я и вспоминаю о своей Годл. Уже несколько дней, как она чего-то приободрилась, ожила, совсем другая стала. Кто-то ей письмо привез, верно, от него, от Перчика. Хочется, страсть как хочется знать, что он пишет, но спрашивать не желаю. Молчит — и я молчу. Словно в рот воды набрал. Тевье — не баба, Тевье может и подождать.

Между тем выходит сама Годл, усаживается рядом со мной на завалинке, оглядывается по сторонам и говорит тихонько:

— Знаешь, папа? Я должна тебе кое-что сказать: сегодня мы с тобой прощаемся... Навсегда...

Говорит она тихо, чуть слышно, и смотрит на меня так странно, что вовек мне этого ее взгляда не забыть. «Топиться хочет», — мелькнуло у меня в голове. Откуда такая страшная мысль? Дело в том, что недавно по соседству с нами случилась такая история: еврейская девушка влюбилась в деревенского парня и ради него... понимаете, конечно? Мать от горя заболела и умерла, отец растратил все, что имел, стал нищим. А парень раздумал и женился на другой. Тогда девушка пошла к речке, бросилась в воду и утонула...

— Что значит — ты прощаешься со мной навсегда? — спрашиваю я и опускаю голову, чтобы она не видела, как помертвело мое лицо.

— Это значит, — отвечает она, — что я уезжаю завтра на рассвете... Мы уже никогда больше не увидимся... никогда.

Немного отлегло от сердца. «И за то слава богу! — думаю я. — И то благо — могло быть и хуже, а хорошему ведь конца-краю нет...»

— Куда же, к примеру, ты едешь, если, — говорю, — я достоин узнать об этом?

— Я еду к нему.

— К нему? А где же он сейчас?

— Пока что он еще сидит, — отвечает она, — но скоро его высылают.

— Значит, ты едешь попрощаться с ним? — прикидываюсь я дурачком.

— Нет, — отвечает, — я еду за ним туда.

— Туда? Куда же? Как это место называется?

— Еще, — говорит, — точно неизвестно, как называется место, но это очень далеко отсюда, страшная даль...

Говорит она, Годл, и кажется мне, что произносит она слова с гордостью, как будто он совершил нечто такое, за что следовало бы наградить его медалью в пуд весом!.. Что можно ответить на это? За такие речи отец должен был бы рассердиться, отхлестать по щекам или отчитать как следует! Но Тевье — не баба. Я считаю, что злиться — значит дьяволу угождать. И я, как обычно, привожу стих из Писания:

— Вижу я, дочь моя, что ты выполняешь завет божий: «А потому да покинет...» Оставляешь ради Перчика отца с матерью и отправляешься в неведомые края, в пустынные места, на застывшее море, туда, где странствовал на корабле Александр Македонский и попал на дальний остров к дикарям, как я читал когда-то в одной книжке...

Говорю я это полушутя, полусердито, а сердце у меня плачет. Но Тевье — не баба. Тевье сдерживается. Да и она, Годл то есть, тоже духом не падает. Отвечает мне обстоятельно, не торопясь, обдуманно. Дочери Тевье умеют говорить.

И хоть я и сижу понутив голову и с закрытыми глазами, мне кажется, что я ее вижу. Вижу ее лицо, усталое и бледное, как луна, и сдается мне, что голос у нее как будто приглушен и дрожит... Броситься ей на шею, просить, умолять, чтоб она не ехала? Но я знаю, что из этого ничего не выйдет. Провались они, мои дочери! Уж если втюрятся в кого-нибудь, так всем, всем сердцем, всей душой без остатка!

Словом, просидели мы на завалинке долго-долго, чуть ли не всю ночь. Больше молчали, нежели говорили, да и говорили-то мы полусловами... Она говорила, я говорил... Об одном только я спрашивал: где это слыхано, чтобы девушка вышла замуж только для того, чтобы потом следовать за мужем куда-то к черту на рога? А она мне:

— С ним — хоть к черту на рога!

Я, конечно, стараюсь ей доказать, как это глупо. А она по-своему объясняет, что мне этого не понять. Тогда я привожу ей пример: курица высидела утят. Утята только встали на ноги, побежали к речке — и в воду, а наседка, бедная, квохчет.

— Что ты, — говорю, — на это скажешь, доченька?

— Что же мне сказать? — говорит она. — Наседку, конечно, жалко. Но неужели же из-за того, что она квохчет, утятам не плавать?

Понимаете, какой разговор? Дочь Тевье не говорит впустую...

Между тем время идет. Уже светать начинает. Старуха моя ворчит. Она уже несколько раз посылала звать нас домой. Увидев, что не помогает, она высунула голову в окно и начала меня отчитывать, как водится:

— Тевье, что ты себе думаешь?

— Тише, — говорю, — Голда! Как в Писании сказано: «Зачем возмущаться, народы?» Ты забыла, наверное, что сегодня гейшанорабо, когда на небе решается наша судьба *. Эту ночь спать не полагается. Послушай меня, Голда, потрудись-ка раздуть самовар, напьемся чаю, а я тем временем запрягу лошаденку. Поедем с Голдл к поезду.

И уж, как водится, сочиняю новую из-под иглолочки небылицу, рассказываю, будто Голдл едет в Егупец, а оттуда еще дальше, все по тому же делу, насчет наследства то есть, и, может статься, что она там останется на всю зиму, а может быть, на зиму, и на лето, и еще на одну зиму. Так что, говорю, надо ей приготовить на дорогу все, что полагается: немного белья, подушки, наволочки, платья, то-се и прочее...

Командую я эдак и наказываю, чтобы никаких слез не было. Сегодня праздник на белом свете! «Сегодня, говорю, плакать нельзя! В законе прямо так и сказано!» Думаете, послушались, закона испугались? Куда там! Плачут. А как дошло до прощания, заголосили все, ревмя ревут и мать, и дети, да и сама она, Голдл то есть, плачет навзрыд. Особенно тяжело было попрощаться с моей старшей дочерью, с Цейтл (она к нам на праздники приходит вместе со своим мужем, с Мотлом Камзоллом). Сестры как бросились друг дружке на шею, так их еле разняли. И только я один взял себя в руки, держался твердо, как кремень. То есть, конечно, это только так говорится... Внутри кипит, как в самоваре,

но я, разумеется, и виду не подаю. Тевье — не баба. Всю дорогу до Бойберика мы молчали, и только, уже подъезжая к станции, я попросил ее в последний раз объяснить мне, что же все-таки сделал он такого, Феферл то есть? «Ведь все, говорю, должно иметь какой-нибудь смысл!» Она вспыхнула и стала клясться всеми клятвами на свете, что он чист, как стеклышко!

— Он, — говорит, — человек, который меньше всего думает о себе. Вся его забота о благе других, об общем благе, и, главное, — о рабочих, о трудовом народе!

— Стало быть, — говорю я, — он заботится обо всех на свете? А почему же свет о нем не заботится, если уж он хороший человек? Ну, поклонись ему от меня, твоему Александру Македонскому, скажи ему, что я полагаюсь на его порядочность, — он ведь насквозь справедливостью пропитан, я надеюсь, что он дочь мою не обманет и напишет когда-нибудь письмецо старику отцу.

Говорю я эдак, а она вдруг как бросится мне на шею и давай плакать!

— Попрощаемся, — говорит. — Будь здоров, отец! Бог знает когда мы увидимся!..

Конечно! Тут уж я больше не выдержал...

Вспомнилась мне, понимаете ли, эта самая Годл, когда она была еще крошкой... дитя малое... на руках носил ее... на руках... Уж вы извините меня, что я так... совсем по-бабьи... Но если бы вы знали, что это за Годл! Если бы вы знали! Читали бы вы ее письма! Вот она у меня где... глубоко-глубоко... Нет, не могу я всего этого выразить...

.....

Знаете что, пане Шолом-Алейхем? Давайте поговорим о более веселых вещах. Что слышно насчет холеры в Одессе?

ХАВА

«Славь господа, ибо благостен он», — как господь бог судит, так и ладно, то есть приходится говорить, что ладно, ибо подите будьте умником и сделайте лучше! Вот хотелось мне быть умным, толковал я изречения и так и эдак... А как увидел, что не помогает, махнул рукой и сказал самому себе: «Тевье, ты глуп! Мира тебе не переделать. Ниспослал нам всевышний «муки воспитания детей», что означает: дети доставляют огорчения, а принимать это надо за благо». Вот, к примеру, старшая моя дочь, Цейтл, влюбилась в портнягу, в Мотла Камзола. Ну, что я могу иметь против него? Правда, человек он простецкий, в грамоте не слишком силен. Да ведь что поделаешь? Не всем же, как вы говорите, учеными быть! Зато он человек порядочный, работяга, в поте лица свой хлеб добывает. У нее с ним, посмотрели бы вы, полон дом голопузых, — не сглазить бы! — и оба они мыкаются в «богатстве и в почете»... А поговорите с ней, она вам скажет, что живется ей хорошо, лучше некуда... С одним только делом не все ладно: на хлеб не хватает. Вот вам, так сказать, номер первый.

О второй дочери, о Годл, мне вам рассказывать нечего: сами знаете. Проиграл я ее, потерял навеки! Бог знает, увидят ли ее когда-нибудь мои глаза, разве что на том свете, через сто двадцать лет... Заговорю о ней, — и до сих пор в себя прийти не могу, — жизни моей конец! Забыть, говорите вы? Да как же можно живого человека забыть? Да еще такое дитя, как Годл? Читали бы вы, что она мне пишет, — умереть можно! Живется ей там, пишет она, очень хорошо. Он сидит, а она зара-

батывает. Стирает белье, читает книжки и видится с ним каждую неделю. И надеется, говорит, что у нас тут все перебродит, что солнце взойдет и настанет свет, тогда его со многими другими такими же вернут, — и вот тогда только они примутся за настоящую работу и перевернут мир вверх ногами. Ну, как вам нравится? Хорошо, не правда ли? Что же делает господь-вседержитель? Ведь он же, говорите вы, бог милосердный, бог всемилостивый... Вот он мне и говорит: «Погоди-ка, Тевье, вот я устрою так, что ты обо всех своих горестях забудешь!..» И действительно, стоит послушать. Другому не стал бы рассказывать, потому что боль велика, а позор и того больше! Но — как это там сказано: «Таю ли я что-нибудь от Авраама?» — от вас у меня секретов нет. Все как есть выкладываю. Об одном только прошу: пусть это останется между нами. Потому что, повторяю, боль велика, но позор, позор — и того больше!

Словом, как в «Поучении отцов» сказано: «Возжелал господь очистить душу», — захотел бог облагодетельствовать Тевье и благословил его семью дочерьми — одна другой лучше, умные, красивые, крепкие, — сосны! Эх, быть бы им лучше безобразными, уродинами, пожалуй, и для них было бы лучше и для меня. Ибо что мне, скажите на милость, толку от доброго коня, если он на конюшне стоит? Что толку от красивых дочерей, когда торчишь с ними в глухомани и живого человека не видишь, кроме Антона Поперилы — сельского старосты, или писаря Федьки Галагана — верзилы с копной волос на голове и в высоких сапогах, да еще попа, чтоб ему ни дна ни покрывки! Имени его слышать не могу — и не потому, что я еврей, а он поп. Наоборот, мы с ним много лет хорошо знакомы, то есть в гости друг к другу не ходим, но при встрече здороваемся, то-се, чего на свете слышать... Пускаться с ним в долгие рассуждения я не люблю, потому что, чуть что, начинается канитель: наш бог, ваш бог... Я, конечно, не сдаюсь, перебиваю его поговоркой, говорю, что есть, мол, у нас изречение... Но и он меня перебивает и говорит, что изречения он знает не хуже моего, а может быть, и лучше. И как начнет шпарить наизусть наше Пятикнижие, да еще подревнееврейски, только как-то по-своему... «Берешит бара элохим...» * Каждый раз одно и то же. Опять-таки перебиваю его и говорю, что есть у нас Мидраш... «Мидраш, — отвечает он, — это уже Талмуд». А Тал-

муда он не любит, потому что Талмуд, по его мнению, — это чистое жульничество... Тут уж я вспыхиваю не на шутку и начинаю выкладывать ему все, что на ум придет. Думаете, это его трогает? Ничуть. Смотрит на меня, посмеивается и бороду расчесывает. А ведь ничего на свете нет хуже, чем когда ругаешь человека, с грязью его смешиваешь, а тот молчит. У вас желчь разливается, а тот сидит и усмехается!

Тогда я не понимал, но теперь мне ясно, что означала эта усмешка...

Возвращаюсь однажды домой уже к вечеру и застаю писаря Федьку на улице с моей Хавой, с третьей дочерью, следующей за Годл. Увидав меня, парень повернулся, снял передо мною шапку и ушел. Спрашиваю у Хавы:

— Что тут делал Федька?

— Ничего! — говорит.

— Что значит «ничего»?

— Мы разговаривали! — отвечает она.

— А что общего у тебя с Федькой? — спрашиваю я.

— Мы, — говорит она, — знакомы уже давно.

— Поздравляю тебя с таким знакомством! — говорю я. — Хорошая компания для тебя — Федька!

— А ты разве его знаешь? — отвечает она. — Знаешь, кто он такой?

— Кто он такой, я не знаю, — говорю я, — родословной его не видал. Но понимать — понимаю, что он, должно быть, очень знатного рода: отец его, наверное, был либо пастух, либо сторож, либо просто пьяница...

Тогда она мне заявляет:

— Кем был его отец, я не знаю и знать не хочу, — для меня все люди равны. Но то, что сам он человек необыкновенный, это я знаю наверняка...

— А именно? — спрашиваю я. — Что же он за человек такой? А ну-ка, послушаем...

— Я бы сказала тебе, да ты не поймешь. Федька — это второй Горький.

— Второй Горький? А кто же такой был первый Горький?

— Горький, — отвечает она, — это ныне чуть ли не первый человек в мире!..

— Где же он обретается, — говорю я, — твой мудрец, чем он занимается и что он проповедует?

— Горький, — отвечает Хава, — это знаменитый писатель, сочинитель, то есть он книги пишет, и к тому же

редкий человек, чудесный, замечательный, честный, тоже из простонародья, нигде не учился, все самоучкой... Вот его портрет.

При этом Хава достает из кармана карточку и показывает мне.

— Вот это, — говорю, — и есть твой праведник, реб Горький? Готов поклясться, что я его где-то видал: не то мешки на станции грузил, не то бревна в лесу таскал...

— Что ж, это, по-твоему, недостаток, если человек своими руками хлеб добывает? А ты сам не трудишься? А мы не трудимся?

— Да, да, — отвечаю я. — Конечно, ты права! В Писании прямо так и сказано: «От трудов рук своих будешь вкушать», — не будешь трудиться — есть не будешь. Однако я все же не понимаю: чего здесь надо Федьке? По-моему, лучше бы ты была с ним знакома на расстоянии. Ты не должна забывать, — говорю, — «откуда пришел и куда идешь», — кто такая ты и кто он.

— Бог, — говорит Хава, — создал всех людей равными.

— Да, да! Бог создал Адама по образу и подобию своему. Нельзя, однако, забывать, что каждый должен искать себе ровню, как в Писании сказано: «Каждый по достатку своему».

— Удивительное дело! — перебивает она меня. — На все у тебя имеется изречение. А нет ли у тебя изречения насчет того, что люди сами поделили себя на евреев и неевреев, на господ и рабов, на богачей и нищих?

— Те-те-те! — отвечаю я. — Это ты, дочка, больно далеко хватила!

И объясняю ей, что так уж повелось на земле с первых дней сотворения мира.

— А почему так повелось?

— Потому что бог так создал мир!

— А почему бог так создал мир?

— Ну, знаешь, — отвечаю я. — Если мы начнем спрашивать, отчего да почему, так вопросам конца не будет!

— На то, — говорит она, — бог и дал нам разум, чтобы мы вопросы задавали...

Тогда я ей говорю:

— Есть у нас обычай: если курица петухом петть начинает, ее сейчас же к резнику волокут, как в молитве сказано: «Дарующий разум петуху...»

— А не хватит ли горланить? — вмешивается вдруг моя Голда, выходя из дому. — Уже час как борщ на столе, а он все заливается!

— Вот те и здравствуй! Недаром мудрецы говорят: «У бабы слов — девять коробов». Тут о серьезных вещах толкуют, а она со своим борщом!

— Молочный борщ, — отвечает Голда, — может быть, такая же серьезная вещь, как и все твои серьезные вещи...

— Поздравляю! — говорю я. — Новый философ выискался, прямо из-под печки! Мало того что дочери такими умными сделались, так и жена Тевье стала через трубу в небо летать!

— Уж раз заговорили про небо, так провались ты сквозь землю!

Как вам нравится такое приветствие, да еще натошак?

Словом, давайте, как пишется в книжках, оставим царевича и возьмемся за царевну, то есть за попа...

Однажды под вечер еду я домой с порожними крынками и у самой деревни встречаю его. Сидит на кованой бричке, сам правит лошаадьми, а расчесанная борода развеивается по ветру. «Ах ты, черт побери, думаю, хороша встреча!»

— Добрый вечер! — говорит он. — Не узнал меня, что ли?

— Скоро разбогатеете, батюшка! — отвечаю, снимаю шапку и хочу ехать дальше.

— Погоди немного, Тевль, — говорит он. — Куда ты так торопишься? Я хочу сказать тебе пару слов.

— Ну что ж! — отвечаю. — Если хорошее что-нибудь, пожалуйста! А если нет, — можно и до другого раза отложить.

— А что у тебя называется «до другого раза»?

— До другого раза, — говорю я, — это до пришествия мессии.

— Мессия, — отвечает он, — уже пришел...

— Ну, это мы уже слыхали не раз. Вы бы, батюшка, что-нибудь новое придумали...

— А я как раз и собираюсь! — отвечает он. — Хочу поговорить с тобой о тебе самом, то есть о твоей дочери...

Екнуло у меня сердце: какое ему дело до моей дочери?

— Мои дочери, — говорю я, — упаси бог, не такие, чтобы за них говорить надо было: они и сами за себя постоять могут.

— Но тут, — отвечает он, — такое дело, что она сама о нем говорить не может. Тут должен говорить другой, потому что речь идет о весьма существенном, собственно, о ее судьбе...

— А кого, — говорю, — касается судьба моего дитяти? Мне кажется, уж если зашел разговор о судьбе, то я своей дочери отец до ста двадцати лет, не правда ли?

— Конечно, — отвечает он, — ты своему дитяти отец. Но только ты слеп, не видишь, что дитя твое рвется в другой мир, а ты ее не понимаешь, либо понимать не хочешь...

— Не понимаю ли я ее или не хочу понимать, — об этом можно потолковать. Но вы-то тут при чем, батюшка?

— Меня, — говорит он, — это очень даже касается, потому что она сейчас в моем распоряжении...

— Что значит — в вашем распоряжении?

— А то и значит, что она под моей опекой... — отвечает поп, глядя мне прямо в глаза и расчесывая свою красивую, окладистую бороду.

— Кто? — подскочил я. — Мое дитя под вашей опекой? А по какому праву? — говорю и чувствую, что во мне все закипает.

— Ты только не горячись, Тевль! — отвечает он хладнокровно, с усмешкой. — Давай лучше спокойно обсудим это дело. Ты знаешь, я тебе, упаси бог, не враг, хоть ты и еврей. Ты, — говорит, — знаешь, что я евреев уважаю, и у меня душа болит за их упрямство, за то, что они так несговорчивы и понять не хотят, что им добра желают.

— О доброжелательстве, батюшка, — отвечаю я, — вы со мной лучше не говорите, потому что каждое слово ваше для меня сейчас капля смертельного яда, пуля в сердце. Если вы мне действительно друг, как вы говорите, то прошу вас только об одном: оставьте мою дочь в покое...

— Ты глупый человек! — говорит он. — С дочерью твоей, упаси бог, ничего плохого не случится. Ее ждет счастье, она выходит замуж за хорошего человека, мне бы такую жизнь...

— Аминь! — отвечаю я будто в шутку, а у самого ад в сердце. — Кто же он, к примеру, жених этот, если я достоин знать?

— Да ты его, наверное, знаешь. Это очень славный, честный человек, образованный, хоть и самоучка; он

влюблен в твою дочь и хочет на ней жениться, но не может, потому что он не еврей...

«Федька!» — подумал я, и, точно огнем, обожгла меня эта мысль, а затем холодным потом окатила, так что я еле усидел в тележке. Но показывать ему мое состояние — это уж извините, этого ему, положим, не дожидаться! Натянул я вожжи, хлестнул своего конягу и — айда восвояси, даже не попрощался...

Приезжаю домой, батюшки! Все вверх дном. Дети уткнулись в подушки и ревут. Голда чуть жива... Ищу Хаву... Где Хава? Нет Хавы! Спрашивать, где она, не хочу. Что уж тут спрашивать, горе мое! Чувствую адскую муку, горит во мне злоба, а против кого, и сам не знаю... Вот взял бы, кажется, и сам себя отхлестал. Набрасываюсь на детей, вымещаю свою горечь на жене. Места себе не нахожу. Иду в хлев корма подсыпать лошади, вижу, запуталась она, одной ногой по ту сторону колоды стоит. Вскипел я, схватил палку и стал ее отчитывать, колошматить почему зря: «Чтоб ты сгорела, дохлятина! Овся захотелось? Припасен для тебя овес, как же! Чтоб ты так жила! Горе мое, если хочешь, могу тебе дать напасти мои, несчастья, болячки!»

Ругаю ее, беднягу, однако спохватываюсь: а она-то в чем виновата? С чего я на нее накинулся? Подсыпаю ей немного сечки. «А в субботу, говорю, даст бог, сено тебе на картинке покажу...» Возвращаюсь в дом и ложусь, зарываюсь в подушку, сам с кровавой раной в груди, а голова — голова раскалывается от дум, от вопросов: «Что все это значит? В чем вина моя и прегрешение мое? Чем я, Тевье, провинился больше всех на свете? За что меня карают суровее кого-либо другого? Ах ты, господи, господи, владыко вселенной! Что мы и что наша жизнь? Кто я такой, что ты все время помнишь обо мне, не упускаешь меня из виду и ни одним горем и несчастьем, ни одной бедой и напастью не обходишь меня?»

Лежу эдак вот, как на горячих углях, размышляю и слышу, как жена моя, бедняжка, стонет, — прямо за сердце хватает.

— Голда, — говорю, — ты спишь?

— Нет, — отвечает, — а что?

— Ничего, — говорю, — скверно, Голда... Хоть сквозь землю провались! Может быть, посоветуешь, что делать?

— У меня, — отвечает, — советов спрашиваешь? Горе мое горькое! Встает утром дитя, здоровое, крепкое,

одевается и вдруг бросается ко мне на шею, целует, обнимает и ничего не говорит. Я думала, она, упаси бог, рехнулась! Спрашиваю: «Что с тобой, доченька?» Не отвечает. Выбегает на минутку к коровам и — нет ее. Жду час, два, три, — где Хава? Нет Хавы! Тогда я говорю детям: «А ну-ка, сбегайте на минутку к попу!..»

— А откуда ты, Голда, — говорю я, — знала, что она у попа?

— Откуда, — отвечает, — я знала? Горе мне! Что же, глаз у меня, что ли, нету? Или я не мать?

— А если у тебя есть глаза, — говорю я, — и если ты мать, почему же ты молчала и мне ничего не говорила?

— Тебе говорить? А когда ты дома бываешь? Да если я и говорю, ты разве слушаешь? Тебе скажешь, а ты сейчас же изречением отвечаешь. Забываешь голову изречениями, да тем и отделяешься.

Так говорит она мне, Голда то есть, и я слышу, как она плачет в темноте... Отчасти, думаю, она права, ибо что может понимать женщина? И болит у меня за нее сердце, слышать не могу, как она плачет и стонет.

— Вот видишь, Голда, — обращаюсь я к ней, — ты недовольна, что у меня про всякий случай изречение есть. Должен и на это ответить тебе изречением. Сказано у нас: «Как отец сжалится над детьми», — отец любит дитя свое. Почему, — я говорю, — не сказано: «Как мать сжалится над детьми своими»? Потому что мать — это не отец; отец умеет по-иному с детьми разговаривать. Вот увидишь, завтра, даст бог, повидаюсь с ней...

— Дай-то бог, — говорит она, — чтобы ты с ней мог повидаться и с ним тоже. Он — человек неплохой, хоть и поп. Он добр к людям. Попросишь его, в ноги поклонись, — может быть, он и сжалится.

— Кто? — говорю я. — Поп? Чтоб я ему в ноги кланялся? С ума ты сошла или рехнулась? «Не отвержай уст своих дьяволу на потеху!» Не дождутся этого враги мои!

— Ну, вот видишь, — отвечает она, — опять ты за свое...

— А ты, — говорю, — что ж думала? Стану я у женщины на поводу ходить? Твоим бабьим умом жить буду?

В таких-то разговорах и прошла вся ночь. Еле дождался я первых петухов, встал, помолился, взял кнут и пошел к попу во двор... Женщина — это, конечно, всего только женщина, но куда же мне было идти? В могилу?

Короче говоря, прихожу к попу во двор, и тут собаки устраивают мне встречу, хотят привести в порядок мой кафтан, попробовать мои икры — не придутся ли они по вкусу их зубам...

Счастье, что я захватил с собою кнут и растолковал им изречение: «Пусть пес зубов не точит», то есть: «Нехай собака даром не бреше...» На шум выбежали поп и попадья, с трудом разогнали веселую компанию и пригласили меня в дом. Приняли меня, как почетного гостя, даже самовар хотели поставить. Я сказал, что самовар ни к чему, что мне нужно побеседовать с ним, с попом то есть, с глазу на глаз. Он, конечно, догадался, зачем я пришел, и мигнул жене, чтобы та, мол, потрудилась закрыть дверь с другой стороны. А я приступил к делу прямо, без всяких предисловий: пусть прежде всего скажет, верует ли он в бога? Затем пусть ответит: понимает ли он, что значит оторвать от отца любимое дитя? И еще пусть скажет, что, по его мнению, есть богоугодное дело, а что — грех? И еще одно хотел бы я у него узнать: какого он мнения о человеке, который врывается в чужой дом и хочет там все перевернуть, переставить стулья, столы и кровати?..

Он, конечно, оторопел и говорит:

— Тевль, ты человек умный, как же ты задаешь мне столько вопросов сразу и хочешь, чтобы я тебе тут же ответил? погоди, я тебе отвечу на все по порядку.

— Нет, — говорю я. — Ты мне, батюшка дорогой, никогда на это не ответишь. Знаешь, почему? Потому что все твои мысли я знаю наперед. Ты лучше скажи мне вот что: могу ли я еще надеяться увидеть свое дитя или нет?

— Что значит «еще»? — всполошился он. — С твоей дочерью ничего плохого не случится! Наоборот...

— Знаю! — перебил я. — Знаю, вы хотите ее осчастливить? Но я не об этом говорю. Я хочу знать, где она и могу ли я ее видеть?

— Все, что угодно, — отвечает он, — только не это!

— Ну, вот так и говорите! Коротко и ясно! Будьте здоровы, и пусть господь воздаст вам сторицею!..

Пришел домой, застал свою Голду в кровати, лежит скрюченная, как черный клубок, и плакать уже не может.

— Встань, — говорю я ей, — жена моя, разуйся и сядем на пол — траур справлять по завету божьему. «Господь дал, господь и взял», — не мы первые, не мы

последние. Пусть нам кажется, что никогда у нас никакой Хавы и не было... Или возьмем, для примера, Годл, которая ушла от нас невесть куда, бог знает увидим ли мы ее когда-нибудь. Всевышний — бог милосердный, он ведает, что творит!

Изливаю я так свое горе и чувствую, что слезы душат меня, клубком к горлу подкатываются. Но Тевье — не баба. Тевье сдерживает себя. Положим, это только так говорится «сдерживает себя», потому что, во-первых, вы только подумайте, какой позор... А во-вторых, как же можно сдерживать себя, когда теряешь такое дитя, такой брильянт, такую дочь, которая чуть ли не больше всех детей дорога сердцу моему и сердцу матери? Почему, я и сам не знаю. Может быть, потому, что в детстве она часто и подолгу хворала, перетерпела, бедняжка, всяческие муки. Мы просиживали над нею ночи напролет, не раз прямо-таки вырывали ее из рук смерти, отхаживали, как отхаживают полурастоптанного цыпленочка, — ибо, если бог захочет, он из мертвых воскрешает, как в молитве сказано: «Не умру, но жить буду!» — если не суждено умереть, то не умирают. А может быть, потому, что она такая ласковая, преданная, всегда любила нас обоих всем сердцем, всей душой. Спрашивается: как же она могла причинить нам горе? Но такова уж, видать, наша доля. Не знаю, как вы, а я верю в судьбу. А во-вторых, это наваждение, порча, вроде колдовства! Можете смеяться надо мной, но уверяю вас, — я вовсе не такой отпетый дурак, чтобы верить в чертей, в домовых и прочую нечисть. А в колдовство, понимаете ли, верю, ибо что же это, если не колдовство? Вот послушайте, что дальше было, — и вы со мною согласитесь...

Словом, если сказано в наших священных книгах: «Не своею волею жив человек» — сам себя человек жизни не лишает, — то говорится это недаром: нет на свете раны, которая бы не залечилась, и нет горя, которое не было бы забыто. То есть забыть не забудешь, но что поделаешь? «Человек животному подобен», — человек должен трудиться, маяться, горе мыкать ради куска хлеба. Принялись мы, знаете ли, все за работу: жена и дети — за крынки, я — за тележку и конягу, и — «все в мире по заведенному порядку» — жизнь идет своим чередом. Наказал я в доме, чтобы имя Хавы никто не смел упоминать, — нет Хавы! Вычеркнута — и кончено!

Собрал я немного свежего товара и отправился в Бойберик к своим покупателям.

Приехал в Бойберик — все обрадовались:

— Как поживаете, реб Тевье? Что это вас не видать?

— Да как мне поживать? — отвечаю. — Сказано: «Обнови дни наши, яко встарь!» Тот же неудачник, что и прежде. Коровка у меня пала...

— И что это, — говорят они, — с вами всякие чудеса случаются?

И каждый в отдельности спрашивает меня, какая коровка пала, и сколько она стоила, и сколько коров у меня еще осталось... И посмеиваются при этом, развлекаются... Известно, богачи любят пошутить над бедняком-неудачником, особенно после обеда, когда на душе спокойно, а на дворе жарко, и зелено, и дремать хочется... Но Тевье не из тех, с кем можно шутки шутить. Дудки, мол, так вы и узнали, что у меня на душе творится! Покончив с покупателями, пустился я порожняком в обратный путь. Еду лесом, лошадке волю дал, пускай себе плетется да украдкой травку пощипывает... А сам углубился в свои думы, и всякие мысли приходят мне на ум: о жизни и о смерти, об этом и о том свете, и что такое мир божий, и для чего живет человек... Размышляю, стараюсь рассеяться, чтобы не думать о ней, о Хаве... Но, как назло, в голову лезет именно она, только она. То вижу ее высокую, красивую и стройную, как сосна, а то — наоборот, представляется мне, как я держу ее на руках, маленькую, болящую дохлятинку, и она, словно цыпленок, склонила головку ко мне на плечо: «Чего тебе, Хавеле? Дать хлебушка кусочек? Молочка?» И забываю на минуту все, что она натворила, и тянет меня к ней, и душа болит, тоскует... Но лишь вспомню, — кровь во мне закипает, огнем разгорается злоба и на нее, и на него, и на весь мир, и на себя самого: почему я не могу забыть о ней ни на минуту, почему не могу вычеркнуть, вырвать ее из сердца! Не заслужила она разве этого? Для того ли должен Тевье всю свою жизнь маяться, горе мыкать, носом землю рыть, детей растить, чтобы они потом вдруг отрывались и опадали, словно шишки с дерева, и чтобы заносило их ветром невесть куда? Вот, к примеру, думаю я, растет дерево в лесу, дуб... И приходит человек с топором, отрубает ветвь, вторую, третью... А что такое дерево без ветвей? Взял бы ты лучше, человек, подру-

бил бы дерево под корень — и дело с концом! Зачем оголенному дереву в лесу торчать?

Размышляю я таким образом и вдруг чувствую, что лошаденка моя остановилась — стоп! В чем дело? Поднимаю голову, гляжу — Хава! Та же Хава, что и прежде, ничуть не изменилась, даже платье на ней то же!.. Первое, что приходит на мысль, — соскочить с телеги, обнять ее, поцеловать... Но тут же спохватываюсь: «Тевье, ты что — баба?» Дергаю вожжу: «Но, растяпа!» — и сворачиваю вправо, смотрю, и она вправо и рукой машет, будто говоря: «Погоди минутку, мне сказать тебе кое-что нужно...» И что-то внутри у меня обрывается, руки и ноги не слушаются... Вот-вот с телеги спрыгну! Однако сдерживаю себя и сворачиваю влево. Она тоже влево, смотрит на меня дикими глазами, лицо у нее помертвело...

«Что делать? — думаю. — Стоять или дальше ехать?» Но не успеваю оглянуться, как она уже держит коня за уздечку и говорит:

— Отец! Пусть я умру, если ты с места сдвинешься! Прошу тебя, выслушай меня прежде, отец дорогой! Папа!

«Эге! — подумал я. — Силой взять меня хочешь? Нет, душа моя! Не знаешь ты, видать, отца своего...» И давай нахлестывать лошаденку на чем свет стоит! Лошаденка тронула с места, скачет, но то и дело голову назад поворачивает да ушами прядает.

— Но-но! — говорю я. — «Не прикладывайся к кувшину» — не смотри, умник мой, куда не следует!..

А самому, думаете, разве не хочется мне обернуться, хоть одним глазом посмотреть на то место, где она осталась? Но нет, Тевье — не женщина. Тевье знает, как обходиться с дьяволом-искусителем...

Словом, не буду растягивать: жаль вашего времени. Если суждены мне загробные муки, то я, конечно, их уже отбыл, а что такое ад, геенна огненная и прочие ужасы, которые в наших священных книгах описываются, об этом спросите меня, я вам расскажу. Всю дорогу мне казалось, что она бежит следом и кричит: «Выслушай меня, отец-родитель!» Мелькнула мысль: Тевье! Не слишком ли много ты берешь на себя? Что тебе делается, если ты остановишься на минутку и выслушаешь, чего она хочет? Может быть, она сказала бы такое, что тебе следовало бы знать? Может быть, она,

чего доброго, раскаивается и хочет вернуться? Может быть, ей с ним жизнь невтерпеж и она просит тебя помочь ей вырваться из ада?.. Быть может то, быть может другое, множество таких «бытьможетей» пронесется у меня в голове, и я снова вижу ее ребенком, и вспоминается изречение: «Как отец сжалится над детьми своими», — нету, мол, у отца плохого дитяти, и мучаюсь я и сам о себе говорю, что «жалости недостойн» — не стою я того, что земля меня носит! В чем дело? Чего ты горячишься, сумасшедший упрямец? Чего шумишь? Повороти, изверг, оглобли, помирись с ней, ведь она твое дитя, ничье больше!.. И приходят мне в голову какие-то необыкновенные, странные мысли: «А что такое еврей и нееврей? И зачем бог создал евреев и неевреев? А уж если он создал и тех и других, то почему они должны быть так разобщены, почему должны ненавидеть друг друга, как если бы одни были от бога, а другие не от бога?» И досадно мне, почему я не так сведущ, как иные, в книгах, почему не так учен, чтобы найти толковый ответ на все эти вопросы.

И чтобы рассеяться, я начинаю предвечернюю молитву: «Блаженны восседающие в чертогах твоих и славящие тебя вовеки!» Молюсь, как полагается, вслух, с напевом.

Но что толку от моей молитвы, от напевов, когда в глубине души звучит совсем другое: «Ха-ва! Ха-ва!» И чем громче я пою «блаженны», тем громче поет во мне «Ха-ва», и чем больше я хочу забыть о ней, тем больше и ярче встает она передо мною, и кажется мне, что я слышу ее голос, взывающий: «Выслушай меня, отец!» Затыкаю уши, чтобы не слышать, закрываю глаза, чтобы не видеть, читаю молитву и не слышу, что произносят мои уста, бью себя в грудь и не знаю за что... И вся моя жизнь расстроена, и сам я расстроен, и никому не говорю об этой встрече, никого не расспрашиваю о ней, о Хаве, хотя знаю, хорошо знаю, где она, и где он, и что они делают... Но никогда и никто от меня ничего не узнает! Не дождутся враги мои, чтобы я кому-нибудь пожаловался! Вот какой человек Тевье!

Хотелось бы мне знать, все ли мужчины таковы, или это я один такой сумасшедший? Вот, к примеру, иногда бывает... Не будете смеяться надо мной? Боюсь, будете... Иной раз, бывает, надену субботний кафтан и отправляюсь на станцию... Готов уже сесть в поезд и поехать

к ним, — я знаю, где они живут. Подхожу к кассиру и прошу дать мне билет. «Куда?» — спрашивает он. — «В Егупец», — отвечаю. А он: «Такого города нет у меня...» — «В таком случае я не виноват...» — говорю я и возвращаюсь домой. Снимаю субботний кафтан и снова за работу... Как там говорится: «Каждый за свое дело, всяк за свою работу», — портной — за ножницы, сапожник — за верстак... Смеетесь надо мной? Я так и говорил. Я даже знаю, что вы думаете. Вы думаете: «Не все дома у Тевье!..»

Поэтому я полагаю, что хватит на сей раз. Будьте здоровы и пишите письма. Но, ради бога, не забывайте, о чем я вас просил: ни слова об этом! То есть книжки из этого не делайте! А уж если придется писать, пишите о ком-нибудь другом, не обо мне. Обо мне забудьте. Как в Писании сказано: «И позабыл его», — нет больше Тевье-молочника!

ШПРИНЦА

Большой и сердечный привет вам, пане Шолом-Алей-хем! Мир вам, вам и детям вашим! Сто лет мы с вами не видались! Батюшки, сколько воды с тех пор утекло! Сколько горя оба мы, да и весь народ наш, пережили за эти несколько лет. Кишинев, «коснетуция», погромы*, беды да напасти, — ах ты, господи владыко небесный! Я даже удивляюсь вам, — извините, что прямо скажу, — ведь вы же и настолечко не изменились, — тьфу, тьфу, не сглазить бы! А на меня взгляните: шестидесяти еще нет, а как поседел Тевье! Шутка ли, «муки воспитания детей» — чего только от них не натерпишься! А кому еще на долю выпало столько горя из-за детей, сколько мне? У меня новая беда стряслась — с дочкой Шпринцей, да такая беда, что ее и сравнить нельзя с тем, что было раньше. И тем не менее, как видите, ничего, живем... Как это там сказано: «Не по своей воле жив человек», — хоть лопни, а напевай песенку:

Что мне жизнь и что мне целый свет,
Если нету счастья, если денег нет?

Словом, как в Писании сказано: «И возжелал всевышний удостоить своей милостью», — захотел господь бог облагодетельствовать своих евреев, и свалилось на нашу голову новое горе, новое несчастье — «коснетуция». Ну и коснетуция! Начался вдруг переполох среди наших богачей. Пустились наутек из Егупца за границу, теплые воды придумали, нервы, соляные ванны, вчерашний день, прошлогодний снег... Ну, а коль скоро из Егупца разъехались, так уж и Бойберик с его возду-

хом, лесом и дачами насмарку пошел... Но велик наш бог, чье око не дремлет и неусыпно следит, как бы бедняки не перестали мучиться на белом свете, — и выдалось у нас лето, ай-ай-ай! Понаехали к нам в Бойберик из Одессы, из Ростова, из Екатеринослава, из Могилева, из Кишинева тысячи богачей, толстосумов, миллионщиков! Видать, коснетущия эта самая там еще свирепее, чем у нас в Егупце, потому что бегут оттуда беспрестанно, бегут без оглядки. Вы, пожалуй, спросите: чего они бегут к нам? На это есть один ответ: наши чего бегут к ним? Так уж, слава богу, повелось: чуть только заговорят о погромах, евреи начинают метаться из одного города в другой, как в Писании сказано: «И отправились и остановились, остановились и снова отправились» — что означает: вы к нам, а мы к вам... Между тем Бойберик, можете себе представить, превратился в большой город, полно народу, женщин и детей. А дети любят покушать, им молоко да масло подавай... А где взять молочное, как не у Тевье? Короче говоря, Тевье вошел в моду. Со всех сторон: Тевье и Тевье! Реб Тевье, пожалуйста, сюда! Реб Тевье, зайдите ко мне! Шутка ли, когда бог захочет...

Однажды случилось такое дело. Было это накануне пятидесятницы. Приехал я со своим товаром к одной из моих покупательниц, к молодой богатой вдове из Екатеринослава. Поселилась она в Бойберике на лето с сыном Арончиком и, сами понимаете, первым делом познакомилась со мной.

— Мне, — говорит она, вдова то есть, — вас рекомендовали. У вас, говорят, самые лучшие молочные продукты.

— Еще бы! — отвечаю. — Недаром царь Соломон сказал, что доброе имя гремит по свету, аки трубный глас. А если хотите, — говорю, — могу вам рассказать, как толкует это место Мидраш...

Но она, вдова то есть, перебивает меня и говорит, что она вдова и в таких вещах мало сведуща. Не знает, мол, с чем это едят... Главное, чтобы масло было свежее и творог вкусный... Ну, поди поговори с женщиной!

Словом, я стал бывать у екатеринославской вдовы дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, точно по календарю. Доставляю товар, даже не спрашиваю, нужно или не нужно. Стал своим человеком и, по обыкновению, начал приглядываться к порядкам

в доме, сунул нос на кухню, сказал раз-другой то, что считал нужным сказать. Поначалу, как водится, прислуга меня осадила, чтоб не вмешивался, чтоб не заглядывал в чужие горшки. В другой раз, однако, прислушались к моим словам, а там и советоваться со мной стали: вдова разглядела, кто такой Тевье. Дальше — больше, и вот однажды открыла она мне свое сердце. С Арончиком у нее беда! Помилуйте, парню двадцать с лишним лет, а у него одни лошади да «лисапед» на уме да еще рыбная ловля, а больше, говорит, он знать ничего не желает. Слышать не хочет ни о делах, ни о деньгах. Отец оставил ему приличное наследство, почти что миллион, а он даже не интересуется! Только и знает тратить, руки у него, говорит, дырявые!

— Где он, — спрашиваю, — ваш сынок? Давайте-ка его сюда, я с ним немного потолкую, поучу его малость уму-разуму, приведу парочку изречений.

А она смеется:

— Что вы! Вы ему коня приведите, а не изречение!

Говорим мы, и вдруг посреди нашего разговора «появилось дитяtko» — пожаловал Арончик собственной персоной... Здоровенный такой детина, стройный, как сосна, кровь с молоком. Широкий пояс, прямо, извините, на штанах, часики в кармашке, рукава засучены повыше локтей.

— Где ты был? — спрашивает мать.

— Катался на лодке, — отвечает, — рыбу удил...

— Прекрасное занятие, — говорю я, — для такого паренька, как вы. Тут могут весь дом разнести, а вы там будете рыбку ловить!

Взглянул я на мою вдову, — покраснела, как маков цвет, даже в лице изменилась. Наверное, думала, что сынок схватит меня ручищей за шиворот, надает, сколько влезет, оплеух и вышвырнет, как битый горшок... Глуposti! Тевье таких штук не боится! У меня что на уме, то на языке!

И что же вы думаете? Услышав такие речи, парень отступил на шаг, заложил руки за спину, свистнул как-то по-особенному, окинул меня взглядом с головы до пят да вдруг как расхохочется! Мы даже испугались: уж не рехнулся ли, часом? И — знаете, что я вам скажу? — с этих самых пор мы с ним подружились, лучшими приятелями стали! Должен признаться: парень мне с каждым разом все больше нравился. Правда,

мот, шалопай, деньгам счета не знает и к тому же с придурью. Встретит, к примеру, нищего, сунет руку в карман и подаст, не считая. Ну, кто так делает? Или снимет с себя пальто, целехонькое, новенькое, и отдаст первому встречному... Ну, что говорить, когда у человека не все дома! Мать, бедную, от души было жаль! Плачется мне, бывало, — что делать? Просит меня, чтобы я с ним потолковал. Я, конечно, готов, жалко мне, что ли? Денег стоит? Принимался рассказывать ему истории, приводил примеры, изречения, притчи, как Тевье умеет. А он как раз любил меня послушать, расспрашивал о моем житье-бытье, какие у меня порядки в доме.

— Хотел бы я, — говорит он однажды, — как-нибудь побывать у вас, реб Тевье.

— За чем же дело стало? Хотите побывать у Тевье, прокатитесь разок ко мне на хутор. У вас достаточно лошадей и лисапедов. А в крайнем случае можно и пешком пройтись, — авось ноги не отвалятся! Это недалеко, только лес пересечь...

— А когда, — спрашивает он, — вы бываете дома?

— Меня, — говорю, — можно застать дома только в субботу или в праздник. Погодите-ка, знаете что? В будущую пятницу у нас пятидесятница. Если хотите, прогуляйтесь к нам на хутор, моя жена угостит вас молочными блинчиками, да такими... — и добавляю по-древнееврейски: — Каких наши предки и в Египте не едали...

— Что это значит? — спрашивает он. — Вы же знаете, что по части древнееврейского я не очень-то силен.

— Знаю, — говорю, — что вы не очень-то сильны. Если бы вы учились в хедере *, как я когда-то учился, вы бы тоже кое-что кумекали...

Рассмеялся он и говорит:

— Ладно! Буду вашим гостем: в первый день праздника приеду, реб Тевье, кое с кем из моих знакомых к вам на блинчики, только уж вы, — говорит, — смотрите, чтоб горяченькие были!

— С пылу, с жару! — отвечаю. — Со сковородки — прямо в рот!

Приезжаю домой и говорю своей старухе:

— Голда, у нас будут гости на праздник.

— Поздравляю! — отвечает. — Кто такие?

— Об этом после узнаешь, — говорю. — Ты приготовь побольше яиц; сыра и масла у нас достаточно.

Напечешь блинчиков на три персоны, но на такие персоны, которые не дураки покушать, а в Писании ничего не смыслят!

— Наверное, — говорит она, — напросился какой-нибудь растяпа из голодающей губернии?

— Глупая ты, Голда! Во-первых, — говорю, — не велика беда, если мы бедного человека накормим праздничными блинчиками. А во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя супруга, благочестивая и смиренная госхожа Голда, что одним из наших гостей будет сынок вдовы, тот самый Арончик, о котором я тебе рассказывал.

— Ну, — отвечает она, — это совсем другое дело!

Вот она, сила миллионов! Даже моя Голда, едва почитает деньги, совсем другим человеком становится. Таков мир, что и говорить! Как это в молитве сказано: «Серебро и злаго — дело рук человеческих», — деньги губят человека...

Короче, наступил радостный, зеленый праздник. О том, какая красота у меня на хуторе в эту пору, как там зелено, светло и тепло, вам рассказывать нечего. Самый крупный богач у вас в городе мог бы пожелать себе иметь такое голубое небо, такой зеленый лес, такие пахучие сосны, такую чудесную траву — корм для коровок, которые стоят, жуют и смотрят вам в глаза, будто желая сказать: «Вы нас всегда такой травкой кормите, а уж молока мы вам не пожалеем».

Нет, говорите, что хотите, предложите мне самое прибыльное дело, но если для этого понадобится переехать из деревни в город, я с вами не поменяюсь. Где у вас в городе такое небо? Как в молитве говорится: «Небеса — чертог господень», — только богу под стать такое небо! В городе, если голову задерешь, что увидишь? Дом, крышу, трубу. Но разве есть там такие деревья? А уж если и попадется деревцо, так вы на него хламиду натягиваете.

Одним словом, гости мои налюбоваться не могли, когда ко мне на хутор приехали. Прибыли они, четыре молодца, верхом. Лошадки одна другой лучше. А уж под Арончиком была лошадка... Жеребец! Настоящий мерин! За триста рублей такого не купишь.

— Милости просим, дорогие гости! — говорю я. — Это вы что же, ради праздника решили верхом прокатиться? * Да ладно! Тевье не такой уж праведник, а если

вас, даст бог, на том свете посекут за это, — не мне больно будет... Эй, Голда! Присмотри-ка там, чтобы блинчики были готовы, и пусть вынесут стол сюда, во двор, в доме мне перед гостями хвастать нечем... Эй, Шпринца, Тайбл, Бейлка! Куда вы там запронастились? Пошевеливайтесь!

Командую я эдак, и вот вынесли стол, стулья, ска-терть, тарелки, ложки, вилки, соль, и тут же Голда моя с блинчиками, горячими, пламенными, прямо со сковороды, вкусными, жирными — объедение! Гости мои нахвалиться не могут...

— Чего ты стоишь? — говорю я жене. — Повторить надо ради праздника! Сегодня у нас пятидесятница, а в этот день молитву «Хвалю тебя» произносят дважды!

Голда, не долго думая, снова наполняет миску, а Шпринца подает к столу. Вдруг посмотрел я на моего Арончика и вижу, что он загляделся на мою Шпринцу, — глаз с нее не сводит. Что он такое на ней увидел?

— Кушайте! — говорю я ему. — Почему вы не едите?

— А что же я, по-вашему, делаю? — спрашивает он.

— Вы, — говорю, — смотрите на мою Шпринцу...

Поднялся хохот, все смеются, смеется и Шпринца. И всем весело, радостно... Чудесный, славный праздник! Поди знай, что радость эта обернется бедой, несчастьем, горем, наказанием божьим на мою голову!.. Но что говорить! Человек глуп! Человек разумный не должен все принимать близко к сердцу, надо понимать, что как есть, так и следует быть. Ибо, если бы должно быть иначе, то и было бы не так, как есть. Разве не читаем мы в псалмах: «Уповай на бога», — ты, мол, только понадейся на него, а уж он постарается, чтоб тебя в три погибели согнуло... Да еще скажешь: «И то благо!» Послушайте, что может случиться на белом свете, но прошу вас, слушайте внимательно, так как только сейчас и начинается настоящая история.

«И бысть вечер, и бысть утро», — однажды вечером приезжаю домой, распаренный, измученный бегом по дачам в Бойберике, и застаю во дворе около дома привязанного к дверям знакомого коня. Готов поклясться, что это конь Арончика, тот самый мерин, которого я в триста целковых оценил. Подошел я к нему, шлепнул его по боку, пощекотал шею, гриву потрепал. «Приятель, говорю, друг сердечный, что ты тут делаешь?» А он повернул ко мне свою славную морду и смотрит умными

глазами, будто сказать хочет: «Что меня спрашиваешь? Хозяина спроси». Вхожу в дом и принимаюсь за жену:

— Скажи-ка мне, Голда-сердце, что тут делает Арончик?

— А я почем знаю? — отвечает она. — Ведь он из твоих дружков.

— Где же он?

— Ушел, — говорит, — с детьми в рощу на прогулку.

— Что за прогулки ни с того ни с сего? — говорю и велю подавать на стол.

Поужинал и думаю: «Чего ты, Тевье, так расстроен? Человек приходит к тебе в гости, что же тут волноваться? Наоборот...»

А в это время гляжу: идут мои девицы с этим молодчиком, в руках букеты, впереди обе младшие — Тайбл и Бейлка, а позади Шпринца с Арончиком.

— Добрый вечер!

— Здравствуйте!

Арончик подошел ко мне какой-то странный, поглаживает коня, жует травинку.

— Реб Тевье, — говорит он, — хочу с вами дело сделать. Давайте лошадками поменяемся.

— Не нашли, — говорю, — над кем смеяться?

— Нет! — отвечает. — Я это серьезно.

— Вот как? Серьезно? Сколько же примерно стоит ваша лошадка?

— А во сколько, — спрашивает, — вы ее цените?

— Я ценю ее, боюсь сказать, рублей в триста, может быть, и с гаком!

А он смеется и говорит, что конь стоит больше чем втрое. И опять:

— Ну как? Меняемся?

Не понравился мне этот разговор, ну, что значит: он хочет выменять своего коня на мою развалину? Предложил я ему отложить дело до другого раза и спрашиваю в шутку: неужто он специально ради этого приехал? «Если так, говорю, то зря потратились...» А он мне серьезно:

— Приехал я к вам, собственно, по другому делу. Если вам угодно, пойдемте немного прогуляемся.

«Что за прогулки такие?» — подумал я и направился с ним в рощу. Солнце уже давно село. В роще темно-ва-то, лягушки у плотины квакают, от травы аромат — бла-

годать! Арончик идет, и я иду, он молчит, и я молчу. Наконец он останавливается, откашливается и говорит:

— Что бы вы сказали, реб Тевье, если бы я, к примеру, сообщил вам, что люблю вашу дочь Шпринцу и хочу на ней жениться?

— Что бы я сказал? — говорю. — Я бы сказал, что одного из сумасшедших надо вычеркнуть, а вас вписать...

Посмотрел он на меня и спрашивает:

— Что это значит?

— А вот то и значит! — говорю.

— Не понимаю.

— Значит, — говорю, — сметки не хватает. Как в Писании сказано: «У мудрого глаза его в голове его...» Понимать это надо так: умному — мигнуть, а глупому — палкой стукнуть...

— Я говорю с вами прямо, — отвечает он обиженно, — а вы все шуточками да изречениями отделяетесь...

— Ну что же, — говорю я. — Каждый кантор по-своему поет, а каждый проповедник для себя проповедует... Если хотите знать, что вы проповедуете, переговорите прежде всего со своей мамашей, — уж она вам все обстоятельно разъяснит...

— Что же я, по-вашему, мальчишка, который должен у мамы спрашиваться?

— Конечно, — говорю, — вы должны спроситься у матери. А мать вам, наверное, скажет, что вы не в своем уме, и будет права.

— И будет права?

— Конечно, — говорю, — будет права. Посудите сами, какой же вы жених для моей Шпринцы? Разве она вам ровня? А главное, каково-то вашей матери породниться со мною?

— Ну, если так, — отвечает он, — то вы, реб Тевье, глубоко ошибаетесь. Я не восемнадцатилетний мальчик и вовсе не намерен подыскивать родственников для моей мамашы. Я знаю, кто вы такой и кто ваша дочь... Она мне нравится, я так хочу, и так оно и будет!

— Извините, — говорю, — что перебиваю. С одной стороны, насколько я вижу, вы уже поладили. А как обстоит дело с другой стороной?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я имею в виду, — говорю, — свою дочь, Шпринцу... С ней вы уже говорили? Что она вам сказала?

А он будто обиделся и говорит с улыбкой:

— Ну, что за вопрос! Конечно, говорил с ней и не один, а несколько раз. Ведь я сюда каждый день приезжаю.

Понимаете? Он ежедневно сюда приезжает, а я даже не знаю об этом? Эх, Тевье, Тевье! Голова садовая! Ведь тебя соломой кормить надо! Если ты так дашь себя за нос водить, тебя и купят и продадут ни за грош, осел ты эдакий!

Подумал я так и повернул с Арончиком к дому. Распрощался он с моей командой, вскочил на коня — и марш в Бойберик.

Теперь оставим, как вы в своих книжках пишете, царевица и примемся за царевну, за Шпринцу то есть...

— Скажи-ка мне, дочка, хочу я тебя спросить, — говорю я ей, — расскажи-ка мне, пожалуйста, о чем это с тобой договорился Арончик без моего ведома?

Но можно ли добиться ответа от дерева? Так и от нее! Покраснела, опустила глаза, как невеста, набрала полон рот воды — и молчок! Ладно, думаю, сейчас говорить не хочешь, после скажешь... Тевье — не баба: он и подождать может. Выждал я некоторое время, потом как-то улучил минутку, когда остались мы с нею с глазу на глаз, и говорю:

— Скажи мне, Шпринца, хочу тебя спросить: знаешь ли ты хотя бы этого Арончика?

— Конечно, знаю! — отвечает она.

— Знаешь ли ты, что он свищик?

— Что значит свищик?

— Пустой орех, — говорю, — что свистит.

— Ошибаешься! — отвечает она. — Арнольд — хороший человек.

— Уж он, — говорю, — у тебя Арнольдом называется, а не Арончик-шарлатан.

— Арнольд, — отвечает она, — не шарлатан, у него сердце доброе. Арнольд живет среди низких людей, которые только и знают что деньги да деньги!

— Вот как! — говорю. — И ты, Шпринца, уже стала философствовать? Ты тоже возненавидела деньги?

Словом, чувствую по разговору, что дело у них зашло довольно далеко и спохватился я поздно — назад не воротить. Я свою публику знаю! Уж я вам как-то говорил, что дочери Тевье, будь они неладны, ежели прилипнут к человеку, так всем сердцем, всей душой! И подумал я: «Глупец! Всех на свете умнее хочешь быть?»



Может быть, это от бога? Может быть, так суждено, чтобы именно через эту вот тихоню Шпринцу ты был вознагражден за все удары и муки, что тебе пришлось перенести? Может быть, суждено тебе на старости лет обрести покой и почувствовать, что значит жить на белом свете? Может быть, суждено тебе иметь дочь-миллионщицу? А что? Не пристало тебе? Где это сказано, что Тевье должен всю жизнь бедствовать, таскаться с лошаденкой, доставлять сыр и масло егупецким богачам, заботиться, чтоб им было чего жрать? Кто знает, может быть, мне предначертано свыше, чтобы я на старости лет сотворил что-нибудь хорошее, сделался благотворителем, гостеприимным хозяином, а может быть, и вовсе засел бы с учеными людьми и занялся священными книгами?» Такие вот чудесные, золотые мечты лезут в голову... Как в молитве сказано: «Много дум в сердце человеческого», — или как наши мужики говорят: «Дурень думкою богатеет...» Захожу в дом, отзываю в сторону свою старуху и завожу с ней разговор.

— Что было бы, — говорю, — если бы наша Шпринца, к примеру, стала миллионщицей?

— А что это значит «миллионщица»?

— Миллионщица значит жена миллионщика!

— А что такое миллионщик?

— Миллионщик, — говорю я, — это человек, у которого есть миллион...

— А сколько это миллион?

— Если ты дура, — говорю я, — и не знаешь, сколько это миллион, так о чем же с тобой разговаривать?

— А кто тебя просит разговаривать? — отвечает она.

И тоже права. Словом, проходит день, приезжаю домой.

— Был Арончик?

— Нет, не был.

Еще день проходит.

— Был парень?

— Нет, не был...

Зайти под каким-нибудь предлогом к вдове мне неудобно: подумает, что Тевье набивается в родственники... Кроме того, я чувствовал, что для нее все это, «аки роза среди терниев», нужно ей это, как пятое колесо телеге. Хотя я не понимаю почему? Потому что у меня нет миллиона? Так ведь у меня теперь свойственница миллион-

щица! А у нее свойственник кто? Нищий, бедняк, Тевье-молочник? Кому же зазнаваться — мне или ей? Скажу вам по чистой совести, я стал желать этого брака, и не столько ради самого брака, сколько ради того, чтобы почувствовать себя победителем. «Черта бы их батьке с матерью, егупецким богачам, пускай знают, кто такой Тевье! До сих пор только и слышать было что Бродский да Бродский, будто остальные и не люди!»

Размышляю я так однажды по пути из Бойберика домой. Приезжаю, а навстречу мне старуха с радостной вестью: посыльный только что был из Бойберика от вдовы, чтоб я обязательно сейчас же приехал туда, хотя бы среди ночи. «Все равно, запрягай и поезжай, ты там очень нужен!»

— Чего это им, — говорю, — так приспичило? Что это они так торопятся?

Взглянул я на Шпринцу. Молчит, но глаза ее говорят, — ох и говорят! Никто, как я, так не понимал ее сердца... Я все время боялся, — мало ли что, — а вдруг вся эта история кончится ничем! И наговаривал я на этого Арончика, как мог, — уж он, мол, такой и эдакий. Но я видел, что это как горохом об стенку, Шпринца тает, как свеча.

Запряг я снова лошаденку и пустился обратно уже к вечеру в Бойберик. А по пути все думаю: «Чего это они меня так спешно вызывают? Насчет зарученья? Или помолвки? Так ведь молодец, кажется, мог бы приехать ко мне? Ведь я все-таки отец невесты». Но тут же рассмеялся: где же это видано на белом свете, чтобы богач к бедняку первым шел? Конец света, что ли, настал? Времена мессии наступили? Как вот эти, нынешние молодчики, меня уговорить хотят, наступит, мол, скоро время, богач с бедняком сравняются, мое — твое, твое — мое? Все трын-трава! Мир как будто вовсе не так глуп, а вот не перевелись же еще такие дураки! Эх-хе-хе!»

С такими вот мыслями добрался я до Бойберика и прямо на дачу, к вдове. Привязал лошаденку — где вдова? Нет никакой вдовы! Где парень? Нет никакого парня! Кто же меня звал?

— Я вас звал! — отвечает мне круглый, плотный человечек с выщипанной бородкой и толстой золотой цепочкой на брюшке.

— Кто же вы такой будете? — спрашиваю я.

— Я, — говорит он, — брат вдовы, Арончику дядей прихожусь. Меня депшей вызвали из Екатеринослава, я только что приехал...

— В таком случае, — говорю, — с приездом вас!

Присаживаюсь, а он, увидев, что я сел, говорит:

— Садитесь!

— Спасибо, — говорю, — я уже сижу. Как же выживаете? Как там у вас насчет косметуции?

На это он мне ничего не ответил, развалился в качалке, руки в карманы, выпятил вперед свое брюшко с цепочкой и обращается ко мне:

— Вас, кажется, зовут Тевье?

— Да, — говорю, — когда меня вызывают к свиткам торы, то провозглашают: «Прийди, реб Тевье, сын Шнеера-Залмана...»

— Послушайте, — начал он, — реб Тевье, что я вам скажу: к чему нам долгие разговоры? Давайте прямо приступим к делу.

— Ну что ж, — отвечаю. — Еще Соломон Мудрый говорил: «Всею свое время». Если нужно говорить о деле, давайте — о деле. Я человек деловой...

— Это, — говорит он, — видать, что вы человек деловой... Вот я и хочу поговорить с вами по-купчески... Хочу, чтобы вы мне сказали, только откровенно, во что нам обойдется эта история? Но только откровенно!

— Если говорить откровенно, — отвечаю, — то я не знаю, о чем вы говорите?

— Реб Тевье, — обращается он ко мне снова, не вынимая рук из карманов. — Я спрашиваю, во что нам обойдется вся эта музыка?

— Это, — отвечаю я, — зависит от того, какую свадьбу вы затеваете. Если вы имеете в виду устроить шикарную свадьбу, как вам пристало, то я не в состоянии.

Уставился он на меня и говорит:

— Не то вы прикидываетесь простачком, не то вы и в самом деле... Хотя по вас не видать, чтобы вы были простачком. Сумели же вы заманить моего племянника в болото... Пригласили будто бы на праздничные блинчики, подставили там красивую девушку, — дочь она вам или не дочь, в такие тонкости я не вдаюсь... А она ему полюбилась, то есть понравилась... А о том, что он ей понравился, и толковать нечего, — это само собой... Я ничего не говорю, очень может быть, что она честная девушка и принимает, бедняжка, все это всерьез...

Я в такие тонкости не вдаюсь... Но вы не должны забывать, — говорит он, — кто вы такой и кто такие мы. Ведь вы же разумный человек, как же вы можете допустить, чтобы молочник Тевье, который доставляет нам сыр и масло, стал нашим родственником? А то, что они друг другу дали слово, — ну что ж, они его друг другу и вернут. Большой беды тут нет. Если нужно сколько-нибудь заплатить за то, что она его освободит от слова, — пожалуйста! Мы ничего против не имеем. Девица, — говорит он, — конечно, не парень, — дочь она вам или не дочь, в такие подробности я не вдаюсь...

«Господи боже ты мой! — думаю я. — Чего от меня хочет этот человек?»

А тот не перестает говорить, так и барабанит у меня над головой. Пусть я не думаю, говорит он, что мне удастся устроить скандал, растрезвонить повсюду, что его племянник сватался к дочери Тевье-молочника. Чтоб я себе выбил из головы, будто сестра его такой человек, из которого можно выкачивать деньги... Добром, говорит, получить у нее несколько рублей — это еще куда ни шло, вроде как пожертвование... Все мы, говорит, люди, надо иной раз оказать помощь человеку...

Вы хотите знать, что я ему ответил? Ничего я, — горе мне, — ему не ответил. Как это говорится: «Прильне язык мой к гортани моей», — отнялась у меня речь. Поднялся я, повернулся к дверям и — нет меня! Как от пожара удрал, как из тюрьмы!

У меня гудело в голове, мелькало в глазах, в ушах звенели слова: «Откровенно говоря...», «Дочь она вам или не дочь...», «Вдова для выкачивания...», «Вроде как пожертвование...».

Подошел я к своей лошаденке, ткнулся лицом в тележку и — не будете смеяться надо мной? — расплакался. И плакал и плакал... А когда вдоволь наплакался и, усевшись, выместил на своей несчастной кляче все, что накопилось на душе, обратился я, как Иов *, к господу богу с вопросом: «Что ты такого увидел, господи, в старом Тевье? За что ты его ни на минуту не оставляешь в покое? На мне, что ли, свет клином сошелся?»

Приезжаю домой, застаю всю свою команду веселой — не сглазить бы! Ужинают. Шпринцы нет.

— Где Шпринца? — спрашиваю.

А они мне:

— Что слышно? Зачем тебя звали?

— Где Шпринца? — спрашиваю я снова.

А они опять:

— Что слышно?

— Ничего, — говорю, — оссбенного не слышно. Тихо, слава богу. О погромах не слышать...

В эту минуту входит Шпринца. Заглянула мне в глаза и села за стол как ни в чем не бывало, будто не о ней речь. По лицу ее ничего не узнаешь, только притихла уж очень, сверх всякой меры. И не нравится мне ее задумчивость и какое-то слепое послушание. Скажешь ей: сиди — сидит; скажешь: ешь — ест; скажешь: пойди — пойдет. Okликнешь ее — бросается... Смотрю я на нее, и щемит у меня сердце, и гнев внутри разгорается — на кого, сам не знаю... Ах ты, господи боже ты наш! За что караешь меня, за чьи грехи?

Короче, вы хотите знать, чем это кончилось? Такого конца я и злейшему врагу не пожелаю, и нельзя этого никому пожелать, потому что горе детей — родителям худшее проклятье и кара божья.

Кто знает, быть может, меня кто-нибудь и проклял? Вы не верите в такие вещи? Ну, а что же это, по-вашему? Скажите — послушаем... Но о чем тут рассуждать? Расскажу вам конец.

Однажды к вечеру еду домой. Сами понимаете, какво у меня на душе: подумайте, какая обида, какой позор! А дитя свое как жаль! А вдова, спросите вы? А сын ее? Где там вдова! Какой там сын! Уехали и даже не попрощались. Стыдно признаться, даже за сыр и масло не рассчитались со мной... Но об этом что говорить! Забыли, наверное... Я говорю о том, что даже не попрощались, так и уехали. Что перенесла Шпринца, об этом ни одна душа не знала, кроме меня, потому что я отец, а отцовское сердце чувствует... Думаете, она хоть словом обмолвилась? Жаловалась? Плакала? Э, не знаете вы в таком случае дочерей Тевье! Тихо, вся ушла в себя, таяла, угасала, как свеча. Изредка лишь вздох прорвется, да такой, что клок сердца вырывает!

Словом, еду я так, углубился в печальные размышления, задаю вопросы господу богу и сам на них отвечаю. И уже не столько бог меня трогает — с ним я уже кое-как поладил, — сколько люди: почему люди такие злые? Разве не могут они добро творить? Зачем им нужно портить жизнь и другим и себе, когда они могли бы жить и хорошо и счастливо? Неужто бог создал человека для

того, чтобы он мучился на земле? Зачем это ему нужно было?

С такими думами приезжаю к себе на хутор и вижу издали, возле гребли, скопище людей — крестьяне, крестьянки, девушки, парни и малые ребята. Что могло случиться? Пожара нет. Наверное, утопленник. Кто-нибудь купался возле гребли и утонул. Никто не знает, где смерть подстережет, как мы говорим в молитве...

И вдруг вижу, бежит моя Голда, шаль по ветру развеивается, руки простерты... А впереди мои дети — Тайбл и Бейлка — голоса, рыдают, надрываются:

— Дочь! Сестра! Шпринца!

.....
О чем я хотел спросить вас? Да! Вы когда-нибудь видели утопленника? Никогда? Когда человек умирает, он почти всегда лежит с закрытыми глазами... У утопленников глаза открыты... Не знаете, почему это так?

Извините меня, я отнял у вас много времени. Да и сам я занят: надо идти к лошаденке, развезти свой товар. Жизнь требует своего! Нужно и о заработке подумать, а о том, что было, забыть. Потому что все, что земель прикрито, должно быть забыто, а покуда жив человек, душу не выплюнешь. Никакие увертки не помогут, хочешь не хочешь, а приходится возвращаться к старой истине: покуда душа в теле, поезжай дальше, Тевье!

Будьте здоровы, а ежели вспомните обо мне, не поминайте лихом.

ТЕВЬЕ ЕДЕТ В ПАЛЕСТИНУ

Рассказано самим Тевье в железнодорожном вагоне

Батюшки, кого я вижу! Как поживаете, реб Шолом-Алейхем? Вот так встреча! Даже не снилось! Ну, здравствуйте! Мир вам! А я, понимаете, все думал да гадал: что за притча такая? Что это его столько времени не видать ни в Бойберике, ни в Егупце? Мало ли что случается: а вдруг, думаю, приказал долго жить и перебрался туда, где редьки с салом не едят? Но, с другой стороны, думаю: неужто он такую глупость сделает? Ведь он как-никак человек умный! Ну, слава тебе господи, что привелось свидеться в добром здоровье, как это там сказано: «Гора с горой» — человек с человеком... Глядите вы на меня как-то так, будто не узнаете. Да ведь это же ваш старый приятель Тевье. «Не гляди на сосуд» *, — вы не смотрите, что человек в новом кафтане. Это все тот же злополучный Тевье, что и был, ничуть не изменился, разве что когда приоденешься по-субботному, то и выглядишь приличнее, вроде как богатый, потому что в дороге на людях нельзя иначе, тем более когда едешь в такую даль, в Палестину, — шутка ли. Небось удивляетесь, откуда у такого маленького человечка, как Тевье, который всю жизнь торговал маслом да сыром, эдакие замашки? Ведь это только какой-нибудь Бродский мог бы себе позволить на старости лет такое путешествие! «Сплошь загадка», пане Шолом-Алейхем, все ясно как на ладони, поверьте мне! Вы только, будьте добры, отодвиньте немножко ваш чемоданчик, я сяду рядом с вами и расскажу вам историю. Вот слушайте, что господь может устроить.

Должен вам прежде всего сообщить, что я, не про вас будь сказано, остался вдовцом. Умерла моя Голда, царство ей небесное. Женщина была она простая, без затей, но великая праведница. Пусть уж она там за детей своих заступницей будет, достаточно она из-за них натерпелась, а может быть, из-за них она и со свету ушла, перенести не могла, что разбрелись они в разные стороны — «кто в лес, кто по дрова». «Что это, прости господи, за жизнь, — говорила она, — когда ни дитяти, ни теляти? Корова и та скучает, когда от нее теленка отлучают...»

Так, бывало, говорит она, Голда то есть, и плачет горючими слезами. И вижу я, что женщина тает день ото дня как свеча, и сердце у меня от жалости сжимается, и говорю я ей, душу изливаю:

— Эх, Голда-сердце, сказано у нас: «Либо как детей, либо как рабов»*, — что с детьми, что без детей... Есть у нас великий бог, милосердный и всемогущий... А все же, — говорю, — столько бы мне счастья, сколько раз случается: выкинет господь-вседержитель такую штуку, врагам бы моим такую долю!..

Но ведь она, Голда, не тем будь помянута, всего только женщина... Вот она и отвечает мне:

— Грессишь ты, Тевье! Нельзя грешить...

— Вот тебе и раз! Разве я плохое что-нибудь сказал? Что же я, по-твоему, против бога, что ли, восстаю? Ведь если господь бог создал свой мир так расчудесно, что и дети — не дети, и родители — трын-трава, стало быть, он знает, что делает...

Но она не понимает, что я говорю, и отвечает ни к селу ни к городу:

— Умираю я, Тевье, кто тебе ужин готовить будет?

Говорит она мне это и смотрит на меня такими глазами, что камень и тот был бы тронут. Но Тевье — не женщина, отвечаю ей словом, изречением и еще изречением.

— Голда, — говорю я, — ты столько лет была мне верна, неужели ты на старости лет в дураках меня оставишь?

Глянул на нее — кончается человек!

— Что с тобой, — говорю, — Голда?

— Ничего! — отвечает она едва слышно.

Эге! Вижу, что шутки плохи, запряг я лошадку, поехал в город и привез доктора, самого лучшего доктора. Приезжаю домой, — где там! Лежит моя Голда на полу

со свечой в изголовье и выглядит, покрытая черным, как кучка земли. Стою я и думаю: «Вот он и весь человек! Эх ты, владыко небесный! Что ж это ты творишь с твоим Тевье? Что я теперь делать стану на старости лет, горе мое горькое!» И, как сноп, повалился наземь. Но — кричи, не кричи! Знаете, что я вам скажу? Когда видишь перед собой смерть, поневоле вольнодумцем становишься, начинаешь размышлять, «что мы и что наша жизнь», — что такое наш мир с его планетами, что вертятся, с поездами, которые бешено несутся, со всем этим шумом и треском и что такое даже сам Бродский с его миллионами? Суета сует, чепуха и ерунда!

Словом, нанял я человека — по Голде «кадиш» читать* — и уплатил ему за год вперед. Что же мне оставалось делать, когда господь бог наказал меня, не дал мне мужчин — одни женщины, дочери да дочери, будь они неладны! Не знаю, все ли так мытарятся со своими дочерьми, или я один такой злосчастный, что не везет мне с ними? То есть против них самих я ничего не имею, а счастье — ведь оно от бога. Того, что они мне желают, пошли мне, господи, хоть половину! Наоборот, они чересчур уже преданны, а все, что чересчур, — вредно. Вот возьмите мою младшую дочь, ее Бейлкой звать. Если бы вы знали, что это за человек! Вы меня не первый день знаете, — год, да год, да еще денек, — и знаете, что я не из тех отцов, которые любят расхваливать зазря своих детей. Но раз зашел разговор о Бейлке, то я вам должен сказать в двух словах: с тех пор как господь бог Бейлками промышляет, он такой еще не создавал. О красоте и говорить нечего! Дочери Тевье, сами знаете, по всему свету славятся как первые красавицы. Но она, Бейлка то есть, всех их за пояс заткнет: что и говорить, всем красавицам красавица! Вот о ней можно сказать словами притчи: «Обманчива красота», — не в красоте дело, а в характере. Золото, чистое золото, говорю я вам! Я для нее всегда был первым человеком в доме, но с тех пор, как моя Голда, да будет ей земля пухом, померла, отец для нее — зеница ока! Пылинке упасть на меня не дает. Уж я говорил про себя: господь бог, как сказано в молитве, «предпосылает гневу своему милосердие» — посылает исцеление еще до болячки. Трудно только угадать, что хуже — исцеление или болячка... Поди будь пророком и узнай, что Бейлка ради меня продаст себя за деньги и отошлет отца своего на старости



лет в Палестину! Положим, это только так говорится — отошлет. Поверьте, она повинна в этом так же, как и вы. Виноват кругом он, ее избранник, — проклинать его не хочу, пусть на него казарма свалится! А может быть, если хорошенько вдуматься да покопаться поглубже, то виноват в этом больше всех я сам, потому что ведь у нас в Талмуде так и сказано: «Человек повинен...» Но мне ли вам рассказывать, что в Талмуде говорится!

Короче, не буду вас долго задерживать. Прошел год и еще год, Бейлка моя выросла, стала, не сглазить бы, девицей на выданье. А Тевье знай свое: возит в тележке сыр и масло — летом в Бойберик, зимой в Егупец, чтоб их затопило, как Содом! Видеть не могу этот город и не столько город, сколько его жителей, и не всех жителей, а одного человека — Эфраима-шадхена, пропади он пропадом! Вот послушайте, что может натворить сват.

«И бысть день», — приезжаю я однажды в середине сентября в Егупец с товаром. Гляжу, — «и прииде Аман»*, — идет Эфраим-шадхен! Я вам о нем как-то рассказывал. Человечек он хоть и въедливый, но чуть его завидишь, поневоле остановишься, — такая уж сила у этого человека...

— Слышь ты, умница моя, — говорю я своей кляче, — а ну-ка стой тут малость, я тебе пожевать дам.

И останавливаю Эфраима, здороваюсь с ним и завожу разговор издадека:

— Что слышать насчет заработков?

— Скверно! — отвечает он со вздохом.

— А в чем дело?

— Делать, — говорит, — нечего!

— Совсем?

— Совсем!

— Что за причина? — спрашиваю.

— Причина, — говорит он, — в том, что браки нынче дома не заключаются.

— Где же, — спрашиваю, — они нынче заключаются?

— Где-то там, за границей...

— А как же быть, — говорю, — такому человеку, как я, у которого и дедушкина бабушка там не бывала?

— Для вас, — отвечает он и протягивает мне табакерку, — для вас, реб Тевье, у меня имеется товарец здесь, на месте...

— А именно?

— Вдова, — отвечает он, — без детей, полтора ста рублей приданого, служила кухаркой в лучших домах...

Гляжу я на него и спрашиваю:

— Реб Эфраим, вы кому это сватаете?

— Кому же, — говорит, — как не вам?

— Тьфу, пропасть! Сдурели вы, что ли? — отвечаю я, угощаю лошаденку кнутом и хочу ехать дальше.

Тогда Эфраим говорит:

— Извините меня, реб Тевье, если я вас обидел. Скажите, а кого же вы имели в виду?

— Кого же, — говорю, — иметь в виду, как не мою младшую?

Тут он даже подпрыгнул и хлопнул себя по лбу:

— Погодите-ка! Вот хорошо, что напомнили мне, реб Тевье, дай вам бог долгие годы!

— Аминь! — отвечаю. — Желаю и вам до пришествия мессии дожить. Но с чего это на вас такая радость напала?

— Хорошо! — восклицает он. — Замечательно! Лучше некуда!

— Да в чем же дело?

— У меня, — говорит, — для вашей младшенькой есть на примете нечто исключительное, счастье, главный выигрыш, богач, денежный мешок, миллионщик, Бродский. Сам он подрядчик и звать его Педоцур!

— Педоцур? — говорю я. — Знакомое имя, из Пятикнижия...

— Да что там Пятикнижие? При чем тут Пятикнижие? Он подрядчик, этот Педоцур, он дома строит, мосты, побывал во время войны в Японии, привез кучу денег, разъезжает на огненных конях, в каретах с лакеями у дверей, с собственной банькой у себя в доме, с мебелью из Парижа, с бриллиантовым перстнем на пальце, совсем еще не старый, холостой, настоящий холостяк, прима! И ищет он красивую девушку, кто бы она ни была, раздетую, разутую, лишь бы красавица!..

— Тпр-ру! — говорю я. — Если вы так скакать будете без передышки, то мы с вами, реб Эфраим, заедем невесть куда. Если не ошибаюсь, вы уже как-то сватали того же самого жениха моей старшей дочери Годл.

Услышав это, мой сват как схватился за бока да как захохочет! Я думал, с ним удар случится...

— Эге! — говорит. — Вспомнили тоже, как моя бабка впервые рожала... Тот до войны еще обанкротился и в Америку удрал!

— Царство ему небесное! — отвечаю. — Может быть, и этот туда же удерет?

Тут мой шадхен прямо из себя вышел:

— Да что вы говорите, реб Тевье! Тот был пустельга, шарлатан, мот, а этот — подрядчик со времени войны, ведет большие дела, имеет свою контору, служащих и... и... и...

Словом, так разгорячился мой Эфраим, что даже сташил меня с телеги, ухватил за лацканы да так меня стал трясти, что подошел городской и хотел нас обоих отправить в часть. К счастью, я вспомнил, что в Писании сказано: «Иноземцу отдавай в рост», — с полицией надо уметь ладить...

Короче, что тут долго рассказывать? Этот Педоцур стал-таки женихом моей младшей дочери Бейлки, и «недолго тянулись дни», то есть я хочу сказать, что прошло все-таки довольно много времени, пока мы их обвенчали. Почему прошло много времени? Потому что она, Бейлка то есть, не хотела за него выходить, как человек помирать не хочет. Чем больше этот Педоцур приставал к ней с подарками, с золотыми часиками да с брильянтовыми колечками, тем противнее он ей становился. Мне, знаете ли, пальца в рот не клади. Я отлично видел это по ее лицу, видел слезы, которые она тайком проливали. Подумал я однажды и говорю ей эдак между прочим:

— Слушай-ка, Бейлка, боюсь, что твой Педоцур мил и люб тебе так же, как и мне...

А она вся зарделась и отвечает:

— Кто тебе сказал?

— А чего ты плачешь ночи напролет?

— Разве я плачу?

— Нет, — говорю, — не плачешь, а всхлипываешь. Думаешь, если уткнулась головой в подушку, то спрятала от меня слезы? Думаешь, отец твой мальчик или мозги у него высохли и он не понимает, что ты это ради старика отца делаешь? Ты отцу покойную старость обеспечить хочешь, чтобы ему было где голову приклонить, чтобы ему, упаси бог, побираться не пришлось? Если ты так думаешь, то ты, — говорю, — очень глупа, голубушка! Есть у нас великий бог, а Тевье не приживальщик, чтобы жить на чужих хлебах из милости. А день-

ги — чепуха, как в Писании сказано. Возьми, к примеру, твою сестру Годл. Как она бедствует! А посмотри-ка, что она пишет бог весть из каких далеких краев и как она счастлива там, где-то на краю света, со своим беднягой Перчиком!..

А ну-ка, будьте умником, отгадайте, что ответила на это Бейлка?

— С Годл, — говорит она, — ты меня не равняй. Годл выросла в такое время, когда мир ходуном ходил, чуть было не перевернулся. Тогда думали обо всем мире, а о себе забывали. А сейчас, когда мир спокойно на месте стоит, каждый думает о себе, а о мире забыли...

Так отвечает мне Бейлка, и подите разгадайте, что она под этим разумеет.

Ну? Что вы скажете о дочерях Тевье?

Видели бы вы ее под венцом — принцесса! Я глядел на нее, любовался и думал: «Вот это Бейлка, дочь Тевье? Где она научилась так стоять, так ходить, так держать голову, так одеваться, чтобы все на ней было как вылитое?» Однако долго любоваться мне не дали, потому что в тот же день, после венца, часов около шести вечера молодожены поднялись и курьерским поездом умчались, — шут их знает куда, в какую-то «Наталию»¹ на воды, как принято у богачей, а вернулись уже зимой и тут же прислали за мной, чтобы я во что бы то ни стало немедленно приехал в Егупец. Я подумал: это неспроста. В чем дело? Если бы им просто хотелось, чтобы я приехал, они бы так не наказали: приезжай, мол, и дело с концом. К чему же еще «во что бы то ни стало» и «немедленно»? Значит, здесь что-то кроется! Спрашивается, что же это может быть? И полезли в голову всякие мысли и предположения — и хорошие и дурные. Может быть, молодожены уже успели рассориться, как две кошки, и дело идет к разводу? Но тут же я возражаю себе: «Ты глуп, Тевье! Почему ты должен все истолковывать к худшему? Откуда ты знаешь, для чего тебя зовут? Может быть, они соскучились и хотят тебя видеть? А может быть, Бейлке вообще захотелось, чтобы отец был возле нее? А вдруг этот Педоцур решил принять тебя на службу, взять к себе в дело и сделать своим управляющим? Так или иначе, — ехать надо». И вот

¹ Италия.

сажусь — «и направился в Харран» — и еду в Егупец. В дороге разыгралась у меня фантазия, и представляется мне, что я оставил деревню, продал корову, конягу с тележкой, со всем барахлом и переехал на жительство в город. Сделался у моего Педоцура сначала доверенным лицом, потом кассиром, а дальше стал управлять всеми его подрядами и, наконец, вошел в дело полноправным компаньоном, все у нас пополам, и я, как и он, разъезжаю на паре огненных коней — один буланый, другой гнедой, и сам себе удивляюсь: «Что сие и к чему сие?» — куда мне, такому маленькому человеку, вести такие крупные дела? На что мне весь этот тарарам, весь этот базар и вечная суета? К чему мне, как скажете вы, «восседать с вельможами», толкаться среди миллионщиков? Оставьте меня, мне хочется покойной старости, хочется иной раз в священную книгу заглянуть, главу из псалмов прочитывать, — ведь надо же и о душе когда-нибудь подумать, не так ли? Как царь Соломон говорит: человек — что скотина: забывает, что сколько бы он ни жил, а смерти не миновать...

С такими вот мыслями и думами приехал я, с божьей помощью, в Егупец прямо к Педоцуру. Хвастать перед вами, рассказывать «о величии его и богатствах его», — то есть о его квартире и обстановке, я просто не в состоянии. Я никогда в жизни не удостоивался чести быть в доме у Бродского, но, насколько я могу себе представить, лучше и краше, чем у Педоцура, быть не может! Судите, что это за палаты царские, хотя бы по тому, что сторож, который стоит у дверей, верзила с серебряными пуговицами, ни за что меня пускать не хотел, хоть ты ему кол на голове теши! В чем дело? Двери стеклянные, я вижу, как он стоит, этот верзила, пропади он пропадом, и чистит платье. Я ему киваю, руками размахиваю, знаками показываю, чтобы он пустил меня, потому что жена хозяина мне родной дочерью приходится... Но он, дурья голова, знаков не понимает и тоже руками показывает, чтобы я убрался ко всем чертям! Вот ведь горе какое! К родной дочери рука требуется! «Горе тебе и седой твоей голове, Тевье, до чего ты дожил!» — думаю я и гляжу сквозь стеклянную дверь. Вижу, вертится там какая-то девица. «Наверное, горничная», — думаю, потому что глаза у нее вороватые. У всех горничных такие глаза. Я, знаете, вхож в богатые дома и со всеми горничными знаком... Кивнул я ей: «Отвори, мол, кошечка!»

Та отворила двери и спрашивает, представьте себе, по-еврейски:

— Кого вам?

— Здесь, — говорю, — живет Педоцур?

— А вам кого? — спрашивает она громче.

А я ей еще громче:

— Тебя спрашивают, отвечай толком! Здесь живет Педоцур?

— Здесь.

— Ну, коли так, — говорю, — значит, мы с тобой свои люди. Поди же скажи мадам Педоцур, что к ней гость приехал, отец ее, Тевье, в гости к ней пожаловал и вот уже сколько времени на улице стоит, как нищий у дверей, потому что он, видишь ли, не удостоился чести снискать любовь и благоволение вон того идола с серебряными пуговицами, провалился он сквозь землю за один твой ноготок!

Услыхав такие речи, девушка — видать, хорошая шельма! — расхохоталась, захлопнула у меня перед самым носом двери, побежала наверх, потом сбежала вниз, впустила и привела меня в такой дворец, какой и отцам отцов моих не снился. Шелк и бархат, золото и хрусталь, идете и шагов своих не слышите, потому что ступаете грешными своими ногами по дорогим коврам, мягким, как снег. А часов, часов! На стенах часы, на столах часы, бесконечное количество часов. «Господи благодетель, много ли у тебя таких на свете? К чему человеку столько часов?» — думаю я и, заложив руки за спину, иду дальше. Смотрю: несколько Тевье сразу двигаются мне навстречу со всех сторон, один сюда, другой туда, один ко мне, другой от меня... Тьфу ты, пропасть! Со всех сторон зеркала!.. Только такой гусь, как этот подрядчик, может позволить себе столько часов и столько зеркал!.. И приходит мне на память Педоцур, толстенький, кругленький, с лысиной во всю голову, говорит громко и смеется мелко, дробненьким смешком... И вспоминаю, как приехал он ко мне в деревню в первый раз — на горячих конях — и расположился у меня, как у себя дома. Познакомился с моей Бейлкой и тут же отозвал меня в сторону и сообщил по секрету на ушко, да так, что слышно было по ту сторону Егупца, что дочь моя ему понравилась, что он желает — раз-два-три и — под венец! Ну, то, что дочь моя ему по нраву пришлась, понять нетрудно, но это «раз-два-три», — «аки

меч двуострый», — точно тупым ножом меня по сердцу полоснуло! Что значит «раз-два-три и — под венец»? А где же я? А Бейлка где? Ох, и хотелось мне закатить ему парочку изречений, чтоб он меня попомнил! Но, с другой стороны, подумал я: «К чему тебе, Тевье, вмешиваться? Многого ты добился у старших дочерей своих, когда пытался им советы давать? Наговорил с три короба, всю свою ученость выложил, а кто в дураках остался? Тевье!»

Короче говоря, оставим, как в ваших книжках пишут, царевича и примемся за царевну. Исполнил я, стало быть, их просьбу и приехал в Егупец. «Здравствуйте! Здравствуйте! Как поживаете? Как дела? Садитесь!» — «Спасибо, можно и постоять!» — ну, и все прочие церемонии, как водится.

Соваться вперед с вопросом: «Что отличает сей день от прочих?», — то есть что, мол, означает этот вызов, зачем понадобился, — неудобно. Тевье — не женщина, он и потерпеть может. Между тем входит какая-то личность в белых перчатках и объявляет, что обед подан. Поднимаемся втроем и входим в комнату из сплошного дуба: стол дубовый, стулья дубовые, стены из дуба, потолок из дуба, и все это точеное, разукрашенное, размалеванное... А на столе — царская роскошь! Чай, и кофе, и шоколад, и печенье, и коньяк, и соленья наилучшие, всякие блюда, фрукты и овощи, стыдно признаться, но боюсь, что моя Бейлка у своего отца ничего этого и в глаза не видала. Наливают мне рюмочку и еще рюмочку, а я пью, смотрю на нее, на Бейлку, и думаю: «Дождалась дочь Тевье, как сказано: «Подъемлющий нищего из праха», — коли поможет господь бедняку, так его и узнать нельзя. Казалось бы, Бейлка, а все же не Бейлка!» И вспоминаю я прежнюю Бейлку и сравниваю с той, что сейчас, и больно и обидно мне становится, как если бы я оплошал, дурака сваял, заключил бы невыгодную сделку, взял бы, к примеру, свою лошаденку-работягу и выменял бы на жеребенка, про которого и не знаешь, что из него выйдет — конь или дубина.

«Эх, Бейлка, Бейлка, думаю, что с тобой стало! Помнишь, как, бывало, по вечерам ты сидишь при копящей лампочке, шьешь и песню напеваешь, оглянуться не успею, ты двух коровок выдоишь, а то, засучив рукава, приготовишь мне простой молочный борщ,

или галушки с фасолью, или пампушки с сыром, или ушки с маком и скажешь: «Отец, поди руки мой!» Ведь это лучше всякой песни было!» А сейчас сидит она со своим Педоцуром за столом, как королева, два человека к столу подают, тарелки брякают... А Бейлка? Хоть бы слово вымолвила! Зато он, Педоцур то есть, за двоих уплетает, рта не закрывает! В жизни не видал человека, который бы так любил болтать и балабонить бог знает о чем, рассыпаясь при этом своим дробненьким смешком. У нас это называется: сам сострил, сам и смеется... Кроме нас троих, сидит за столом еще какой-то тип с румянцем во всю щеку. Не знаю, кто он такой, но едок он, видать, не из последних, потому что все время, пока Педоцур говорил и смеялся, тот уписывал за обе щеки, как в Писании сказано: «Трое, что ели...» — ел за троих... Тот ел, а Педоцур трещал и все такую ерунду, что слушать тошно: подряд, губернское правление, удельное ведомство, казначейство, Япония... Из всего этого меня интересовала одна только Япония, потому что с Японией у меня кое-какие счета были. Во время войны, — знаете, конечно, — лошади в большом почете были, их днем с огнем искали... Наскочили, стало быть, и на меня и взяли моего конягу в работу: смерили его аршином, прогнали его несколько раз взад-вперед и выдали ему белый билет. Вот и говорю им: «Я наперед знал, что напрасны ваши труды, как в Писании сказано: «Праведник печется и о жизни скота своего» — не Тевьиной кляче на войну ходить...» Однако извините меня, пане Шолом-Алейхем, я путаю одно с другим, так и с пути сбиться недолго. Давайте-ка лучше, как вы говорите, «вернемся к делу», обратимся к нашей истории.

Словом, выпили мы, значит, честь честью, закусили, как полагается, а когда встали из-за стола, взял он, Педоцур, меня под руку и привел к себе в свой кабинет, убранный по-царски — с ружьями и кинжалами на стенах, с пушками на столе... Усадил он меня на эдакий диван, мягкий, точно масло, достал из золотой коробки две длинные, толстые, пахучие сигары — одну себе, другую мне, закурил, уселся против меня, вытянул ноги и говорит:

— Знаете, для чего я за вами посылал?

«Ага! — думаю. — Хочет, видно, потолковать со мной насчет того самого». Однако прикидываюсь дурачком и говорю:

— «...Сторож я, что ли, брату своему?» Откуда же мне знать?

— Я, — отвечает он, — хотел поговорить с вами относительно вас самих.

«Служба!» — думаю и отвечаю:

— Ну что ж, если что-нибудь хорошее, пожалуйста! Послушаем.

Тогда он вынимает сигару изо рта и обращается ко мне с такой речью.

— Вы, — говорит, — человек не глупый и не обидитесь, если я буду с вами говорить откровенно. Надо вам знать, что я веду крупные дела. А когда ведешь такие крупные дела...

«Да! — думаю. — Меня имеет в виду!» Перебиваю его и говорю:

— У нас в Талмуде сказано: «Чем больше достояние, тем больше забот». Знаете, как это надо толковать?

А он отвечает мне довольно-таки откровенно:

— Скажу вам по чистой совести, что Талмуд я никогда не изучал и даже не знаю, как он выглядит!

И рассыпался мелким смешком. Ну, что вы на это скажете? Казалось бы, уж если господь тебя наказал и остался ты невеждой, неучем, так уж молчи! Нашел тоже, чем хвастать!

— А я иначе и не думал! — говорю. — Знаю, что к таким вещам вы отношения не имеете... Однако послушаем, что же дальше?

— А дальше, — отвечает он, — я хотел вам сказать, что по моим делам, по моему имени и положению мне неудобно, что вас называют «Тевье-молочником». Не забывайте, что я знаком лично с губернатором, что ко мне в дом может, чего доброго, нагрянуть эдакий... Бродский, Поляков*, а то, пожалуй, и сам Ротшильд!.. Чем черт не шутит?..

Говорит он мне это, Педоцур то есть, а я сижу, смотрю на его лоснящуюся лысину и думаю: «Очень может быть, что ты и с губернатором лично знаком и что Ротшильд может к тебе в дом прийти, но говоришь ты, как собака поганая!»

И обращаюсь к нему не без досады:

— Как же быть, если Ротшильд, чего доброго, и в самом деле нагрянет?

Думаете, он почувствовал мою шпильку? Куда там! «Ни леса, ни медведей!» Даже в голову ему не пришло!

— Я бы хотел, — говорит он, — чтоб вы бросили это самое молочное дело и занялись чем-нибудь другим.

— А именно? Чем?

— Чем хотите! — отвечает он. — Мало ли дел на свете? Я помогу вам деньгами, сколько потребуется, лишь бы вы не были больше Тевье-молочником. Или, погодите-ка, знаете что? А может быть, вы бы совсем — раз-два-три — взяли и уехали бы в Америку? А?

Говорит он это, засовывает сигару в зубы и смотрит мне прямо в глаза, а лысина блестит... Ну? Что можно ответить такому грубияну? Сперва я подумал: «Чего ты, Тевье, сидишь как истукан? Поднимись, хлопни дверью и уйди, ни слова не сказавши на прощание!» Так меня за живое задело! На что способен подрядчик! Наглость какая! «Что значит, — ты велишь мне бросить честный и почетный заработок и ехать в Америку? К нему, видите ли, может заглянуть Ротшильд, а по этому случаю Тевье-молочник должен бежать невесть куда?!»

Внутри меня, как в котле, кипит, немного взволнован я был еще и раньше, и зло меня берет на нее, на Бейлку: «Чего ты сидишь, как принцесса, среди сотен часов и тысяч зеркал, в то время как отца твоего сквозь строй гонят по горячим углям?!

Столько бы мне радостей, думаю, насколько лучше поступила твоя сестра Годл! Конечно, что правда, то правда, — нет у нее такого дома и таких финтифлюшек, как у тебя, но зато у нее муж Перчик... Ведь это человек, который о себе и не думает, обо всем мире заботится... И к тому же у него голова на плечах, а не макитра с лоснящейся лысиной... А язычок у этого Перчика — чистое золото! Ему изречение приведешь, а он тебе три сдачи! Погоди, подрядчик, вот я тебе такое изречение закачу, что у тебя в глазах потемнеет!»

Подумал я эдак и обратился к нему с такими словами:

— То, что Талмуд для вас книга за семью печатями, это еще куда ни шло: когда человек живет в Егупце, называется Педоцуром и занимается подрядами, то Талмуд может спокойно лежать на чердаке. Но простой стих, — ведь это же и мужик в лаптях поймет. Вы, наверное, знаете, что у нас в Писании сказано насчет Лавана Арамейского: «Из хвостито порсяти шапкато не сварганито...»

А он смотрит на меня как баран на новые ворота и спрашивает:

— Что же это значит?

— Это значит, — отвечаю я, — из поросячьего хвоста шапки не сварганишь!

— Это вы, собственно, к чему же? — снова спрашивает он.

— А к тому, — говорю, — что вы предлагаете мне ехать в Америку!

Рассмеялся он дробненько и говорит:

— В Америку не хотите? Тогда, может быть, в Палестину? Все старые евреи едут в Палестину...*

И только проговорил он это, как засело у меня гвоздем в голове: «Погоди-ка, может быть, это вовсе не так глупо, Тевье, как ты думаешь? И в самом деле... Нежели таковы отцовские радости, какие мне сулил бог, может быть, лучше Палестина? Глупец! Чем ты рискуешь и кто здесь остается у тебя? Твоя Голда, царство ей небесное, все равно уже в могиле, а сам ты, прости господи, мало, что ли, маешься? Да и до каких пор тебе топтаться на белом свете!»

А кроме того, надо вам знать, пане Шолом-Алейхем, что меня давно уже тянет побывать у «стены плача»*, у гробницы праотцев наших, на могиле прапави Рахили, увидеть своими глазами Иордан, Синай, Чермное море, Питом и Рамзес* и тому подобные святые места... И уносят меня мысли в обетованную землю Ханаанскую, в землю, как говорится, «текущую млеко и медом...».

Но Педоцур перебивает мои мысли:

— Ну? Чего тут долго раздумывать? Раз-два-три...

— У вас, — говорю я, — все «раз-два-три», как в Писании сказано: «Все едино: что хлеб, что мякина...» А для меня это, знаете ли, не так-то просто, потому что подняться и ехать в Палестину — на это деньги нужны...

Рассмеялся он своим дробненьким смешком, подошел к столу, открыл ящик, достал бумажник и вынул мне, можете себе представить, порядочную сумму, а я не заставил себя упрашивать, сгреб бумажки (вот она — сила денег!) и засунул в карман поглубже. Хочу ему привести хоть парочку изречений, подходящих к случаю, но он и слушать не желает.

— Этого, — говорит он, — вам хватит до места с лихвой, а когда приедете туда и вам нужны будут деньги,

напишите, и — раз-два-три — деньги будут сейчас же высланы. А напоминать вам лишний раз об отъезде, я думаю, не придется, — ведь вы же человек честный, совестливый...

Говорит он это мне, Педоур, и смеется своим дробеньким смешком, от которого с души воротит. Мелькнула у меня мысль: «А не швырнуть ли ему в рожу эти бумажки и не сказать ли ему, что Тевье за деньги не покупают и что с Тевье не говорят о совести и справедливости?»

Но не успел я и рта раскрыть, как он позвонил, позвал Бейлку и говорит ей:

— Знаешь, душенька? Ведь отец твой нас покидает, распродает все свое имущество и — раз-два-три — уезжает в Палестину.

«Снился мне сон, да не ведаю... — думаю я. — Вот уж действительно: и во сне не снилось и наяву не мерещилось...» Смотрю я на Бейлку, а она хоть бы поморщилась! Стоит, как деревянная, ни кровинки в лице, смотрит то на меня, то на него и — ни единого слова. Я, на нее глядя, тоже молчу, молчим, стало быть, оба, как в псалмах говорится: «Прильне язык мой» — онемели! Голова у меня кружится, в висках стучит, как от угара. «Отчего бы это? — думаю. — Вероятно, от сигары, которой он меня угостил». Но вот ведь он сам, Педоур, тоже курит! Курит и говорит, говорит, рта не закрывает, хотя глазки у него слипаются, видать, вздремнуть хочет.

— Ехать, — говорит он, — вам надо отсюда до Одессы курьерским, а из Одессы морем до Яффы. А ехать морем сейчас самое лучшее время, потому что позже начинаются ветры, снега, бури и... и...

Язык у него заплетается, как у человека, которого клонит ко сну, однако он не перестает трещать:

— А когда будете готовы к отъезду, дайте нам знать, и мы оба приедем на вокзал попрощаться с вами, потому что когда-то мы еще увидимся.

При этом он, извините, сладко зевнул и сказал Бейлке:

— Душенька, ты тут немного посидишь, а я пойду прилягу на минутку.

«Никогда, — подумал я, — ты ничего умнее не говорил, честное слово! Теперь-то я душу отведу!» И хотел было выложить ей, Бейлке то есть, все, что на сердце накипело за весь этот день, но тут она как бросится мне

на шею да как расплачется!.. У моих дочерей, будь они неладны, у всех такая уж натура: крепятся, хорохорятся, а когда прижмет, плачут, как ивы плакучие. Вот, к примеру, старшая моя дочь, Годл, мало ли она рыдала в последнюю минуту, перед отъездом в изгнание, к Перчику, в холодные края? Но что за сравнение! Куда ей до этой!

Скажу вам по чистой совести: я, как вы знаете, не из слезливых. По-настоящему я плакал только однажды, когда моя Годда, царство ей небесное, лежала на полу: еще раз всласть поплакал я, когда уехала Годл, а я остался на вокзале, как дурень, один со своей клячей; и еще как-то раз-другой я, как говорится, расхлюпался... А так вообще что-то не припомню, чтобы я был легок на слезы. Но когда расплакалась Бейлка, у меня так защемило сердце, что я не в силах был сдержаться, и духу у меня не хватило упрекнуть ее. Со мной много говорить не надо, — меня звать Тевье. Я сразу понял ее слезы. Она не просто плакала, она каялась в том, что отца не послушалась... И вместо того чтобы отчитать ее как следует и излить свой гнев на Педоцура, я стал утешать Бейлку и приводить ей один пример за другим, как Тевье умеет. Выслушала она меня и говорит:

— Нет, отец, не оттого я плачу. Я ни к кому претензий не имею. Но то, что ты уезжаешь из-за меня, а я ничем помочь не могу, — это меня огнем жжет!

— Брось! — отвечаю. — Рассуждаешь ты, как дитя! Забыла, что есть у нас великий бог и что отец твой еще в здравом уме. Большое, думаешь, дело для твоего отца съездить в Палестину и вернуться, как в Писании сказано: «И отправились и остановились», — туда и обратно...

Говорю это я, а про себя думаю: «Врешь, Тевье! Уж если уедешь, так поминай как звали! Нет больше Тевье!»

И она, точно угадав мои мысли, говорит:

— Нет, отец, так успокаивают маленького ребенка. Дают ему куклу, игрушку и рассказывают сказочку про белую козочку... Уж если рассказывать сказки, то не ты мне, а я тебе расскажу. Только сказочка эта, отец, скорее грустная, чем интересная.

Так говорит она, Бейлка то есть. Дочери Тевье зря не болтают. И рассказала она мне сказку из «Тысячи и одной ночи» о том, как этот ее Педоцур выбрался, что называется, из грязи в князи, сам, собственным умом добился высокого положения, а сейчас стремится к тому,



чтобы к нему в дом был вхож Бродский, и швыряет ради этого направо и налево тысячи, раздает крупные пожертвования. Но так как одних денег недостаточно, нужно к тому иметь и родословную, то Педоцур из кожи лезет вон, чтобы доказать, что он не кто-нибудь, а происходит из знатного рода Педоцуров, что отец его был крупным подрядчиком...

— Хоть он отлично знает, — говорит Бейлка, — что мне-то известно, кем был его отец: просто на свадьбах играл. Затем он всем рассказывает, будто отец его жены был миллионером...

— Это он кого же имеет в виду? — говорю я. — Меня? Если сулил мне господь иметь когда-нибудь миллионы, так пусть считается, что я уже отбыл это наказание.

— Да знаешь ли ты, отец, — говорит Бейлка, — как пылает у меня лицо, когда он представляет меня своим знакомым и начинает распространяться о знатности моего отца, моих дядей и всей моей родни! Рассказывает такие небылицы, какие никому и во сне не снились. А мне остается только слушать и молчать, потому что на этот счет он очень капризен...

— По-твоему, — отвечаю, — это каприз, а по-нашему, просто мерзость и безобразие!

— Нет, отец, — говорит она, — ты его не знаешь. Он вовсе не такой уж скверный, как ты думаешь. Но он человек минуты. У него отзывчивое сердце и щедрая рука. Стоит только попасть к нему в добрую минуту и скорчить жалостливую мину, — он душу отдаст, а уж ради меня и говорить нечего, — звездочку с неба достанет! Думаешь, я над ним никакой власти не имею? Вот я недавно добилась от него, чтобы он вызволил Годл и ее мужа из дальних губерний. Он поклялся, что не пожалеет ради этого многих тысяч, но с условием, чтобы они оттуда уехали в Японию.

— Почему, — спрашиваю, — в Японию? Почему не в Индию или, к примеру, в Падан-Арам * к царице Савской? *

— Потому что в Японии, — отвечает она, — у него есть дела. На всем свете у него дела. Того, что ему в день стоят одни телеграммы, нам хватило бы на полгода жизни. Но что мне от того, когда я — не я?..

— Выходит, — говорю, — как у нас в «Почуении отцов» сказано: «Если не я за себя, то кто за меня?» И я — не я, и ты — не ты...

Говорю, отделяюсь шутками, изречениями, а у самого сердце разрывается, глядя, как дитя мое мучается «в богатстве и чести».

— Твоя сестра Годл, — говорю я, — так бы не поступила.

— Я тебе уже говорила, — отвечает она, — чтобы ты меня с Годл не сравнивал. Годл жила в свое время, а Бейлка живет в свое... А от времени Годл до времени Бейлки так же далеко, как отсюда до Японии...

Понимаете, что означают эти странные слова?

Однако, я вижу, вы торопитесь. Еще две минуты, и конец всем историям. Насытившись до отказа горестями и муками моей счастливой дочери, я вышел оттуда разбитый и пришибленный. Швырнул наземь сигару, от которой я угорел, и обращаюсь к ней, к сигаре то есть:

— Пропади ты пропадом, черт бы тебя взял!

— Кого это вы так, реб Тевье? — слышу я позади себя.

Оглядываюсь, он, Эфраим-шадхен, чтоб ему провалиться!

— Добро пожаловать! — говорю я. — Что вы тут делаете?

— А что вы тут делаете?

— Был в гостях у своих детей.

— Как они поживают?

— А как, — говорю, — им поживать? Дай бог нам с вами не хуже.

— Насколько я понимаю, — отвечает он, — вы очень довольны моим товаром?

— Да еще как доволен! Пусть господь воздаст вам сторицей!

— Спасибо, — говорит он, — на добром слове. Может быть, вы вдобавок к доброму слову подарочек преподнесли бы мне?

— А разве, — спрашиваю, — вы не получили того, что вам за сватовство полагается?

— Иметь бы ему самому столько, вашему Педоцуру! — отвечает он.

— А в чем дело? Маловато?

— Не так, чтобы мало, как от доброго сердца пожаловано.

— А именно?

— А именно... Уже ни гроша не осталось.

— Куда же это подевалось?

— Дочь, — отвечает, — замуж выдал.

— Поздравляю, — говорю, — дай им бог счастья и радости!

— Хороша радость! — отвечает он. — Наскочил я на зятя шарлатана. Бил, истязал мою дочь, потом забрал денежки и удрал в Америку.

— А зачем, — говорю, — вы дали ему так далеко убежать?

— А что я мог поделаться?

— Соли, — говорю, — на хвост насыпать...

— У вас, — отвечает он, — реб Тевье, хорошо на душе...

— Дай боже вам того же, хотя бы наполовину...

— Вот как! — удивился он. — А я-то полагал, что вы богач... В таком случае нате вам понюшку табаку...

Взял я понюшку табаку и отделался от шадхена.

Вернулся домой, стал распродавать свое хозяйство, нажитое за столько лет. Положим, не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается. Каждый черепок, каждая безделица мне здоровья стоила. Одна вещь напоминала мне Голду, царство ей небесное, другая — детей... Но ничто так не растревожило душу, как моя лошаденка. Перед ней я чувствовал себя виноватым... Подумайте, проработали мы с нею столько лет, вместе бедствовали, вместе горе мыкали, и вдруг — взял да продал! Продав я ее водовозу, потому что от извозчиков ничего, кроме издевательств, не дождешься. Прихожу к ним лошадь продавать, а они:

— Господь с вами, реб Тевье, разве это лошадь?

— А что же это, по-вашему, — говорю, — подсвечник?

— Нет, — отвечают, — не подсвечник, а святой угодник...

— Почему угодник?

— А потому, что коно вашему под сорок, зубов ни следа, губа серая, боками трясет, как баба на морозе...

Нравится вам такой извозчий разговор? Готов поклясться, что лошадка моя понимала, бедняга, каждое слово, как в Писании сказано: «Вол знает владельца своего», — скотина чувствует, что ее продавать собираются... А в доказательство, когда мы с водовозом ударили по рукам и я сказал ему: «В добрый час!» — лошадь вдруг повернула ко мне свою симпатичную морду и глянула так, будто хотела сказать: «Вот она, награда за все мои

труды, — так-то поблагодарил ты меня за службу...» Посмотрел я в последний раз на свою конягу, когда возовоз взял ее под уздцы и стал учить уму-разуму, остался один и думаю: «Господи владыко небесный! Как мудро ты миром своим управляешь! Вот создал ты Теье и создал, к примеру, лошадь, и у обоих у них одна судьба на свете... Только что человеку язык дан, и он может душу излить, а лошадь — что она может? Бессловесное создание, немое существо!.. Как вы скажете: «И нет преимущества у человека перед скотом...» *

Вы удивляетесь, пане Шолом-Алейхем, что у меня слезы на глазах, и небось думаете: затосковал, видно, Теье по своей лошадке? Но почему по лошадке, чудак вы эдакий! По всему стосковался, всего жаль! Буду тосковать и по лошадке, и по деревне, и по старосте, и по уряднику, и по бойберикским дачникам, и по егупецким богачам, и даже по Эфраиму-шадхену, чума бы его побрала... Хотя, с другой стороны, если только рассудить, так ведь и он всего-навсего бедняк, который ищет заработка.

Даст бог, приеду благополучно на место, — не знаю еще, что я там делать буду, но ясно как божий день, что первым долгом отправлюсь на могилу прамати Рахили. Помолюсь я там за своих детей, которых, наверное, никогда больше не увижу, помолюсь и за Эфраима-шадхена, вспомню и о вас, и обо всех евреях. Обещаю вам это, вот вам моя рука! И будьте мне здоровы! Счастливого вам пути, и передайте от меня привет каждому в отдельности.

ИЗЫДИ*

Большой и горячий привет вам, пане Шолом-Алейхем! Мир вам и детям вашим! Уж я давненько встретиться с вами хочу, набралось у меня «товару» порядочно, есть что рассказать. Все время расспрашиваю: «Где обретаешься?» — почему это вас не видать? А мне говорят, что разъезжаете вы где-то по белу свету, по разным дальним странам, как в сказании об Эсфири говорится: «Сто и двадцать семь царств...» Да только вы как-то странно на меня смотрите... Небось сомнение берет: он или не он? Он, пане Шолом-Алейхем, он самый! Ваш старый приятель Тевье собственной персоной, Тевье-молочник, тот же Тевье, только уже больше не молочник, просто человек, такой, как все, старик, хотя по годам не так уж стар — как в сказании на пасху говорится: «Вот я, семидесятилетний», — до семидесяти еще далеко! А что волосы побелели? Поверьте, не от радости, дорогой друг... Своих горестей немало, — что греха таить? — да и всему нашему народу горя не занимать стать!.. Скверное время! Тяжкая година для нашего брата! Но я знаю, что у вас на уме. Вы о другом думаете: вспомнили, наверное, что мы с вами однажды распрощались перед тем, как я должен был уехать в Палестину, а теперь, вероятно, думаете, что видите меня на обратном пути, из Палестины то есть, и ждете, конечно, новостей оттуда, хотите получить свежий привет от гробницы праматери Рахили, от священной пещеры и тому подобных святынь. Должен вас успокоить. Если есть у вас время и если хотите послушать, какие чудеса бывают на свете, выслушайте меня внимательно, тогда

сами скажете, что человек — тварь неразумная, что велик наш бог и что его волей мир управляется.

Какой раздел Пятикнижия читают нынче? «И воззвал»? А у меня на очереди совсем другой раздел: «Изыди!» «Изыди!» — сказали мне. Убирайся, Тевье, «из страны своей, с места твоего рождения», — из деревни, в которой ты родился и прожил все свои годы, «на землю, которую я укажу тебе», — куда глаза глядят! И прочли мне эти строки как раз в то время, когда Тевье уже стар, и немощен, и одинок, как мы в молитве читаем: «Не покидай нас на старости лет...»

Однако я забежал вперед и чуть было не забыл, что не дошел еще до начала рассказа, я ведь еще не рассказывал вам о Палестине. Что там слышно, хотите вы знать, дорогой друг? Страна хорошая, что и говорить! «Земля, текущая млеком и медом», — говорится у нас в Священном писании. Беда только, что Палестина — в Палестине, а я, как видите, все еще здесь... Это про меня, видно, говорится в сказании об Эсфири: «Суждено мне пропадать — и пропадать», — как был я неудачником, так неудачником и помру. Был уже, казалось, одной ногой по ту сторону, на земле обетованной то есть, оставалось только взять билет, сесть на корабль — и пошел! Но человек полагает, а бог располагает. Вы только послушайте! Как раз в это время старший мой зять, Мотл Камзол, портной из Анатовки, вдруг вздумал помереть, не про вас будь сказано! Лег спать здоровый, крепкий и не встал! То есть, конечно, особенным богатырем он никогда не был. И откуда взяться здоровью: ремесленник, день и ночь, как сказано: «Либо премудрость постигал, либо господу молитвы возносил», с иголкой в руках, штаны, извините, сметывал. Шил, шил, пока сухотку не нажил, кашлять начал, кхекал, кхекал, да так все легкие и прокхекал. Не помогли ему уже ни доктор, ни знахарь, ни козье молоко, ни шоколад с медом. Славный был парень, хоть и простецкий, не ученый, зато честный, без задних мыслей, а дочь мою любил, как душу свою! И жертвовал собою ради детей, а за меня готов был в огонь и в воду!

Словом, как в Библии сказано: «И умер Моисей», — помер Мотл и оставил мне изрядный груз. Где уж там было думать о Палестине? Дома у меня такая Палестина, лучше некуда! Как же я мог, судите сами, оставить дочь-вдову с малышами-сиротами без куска хлеба?

Хотя, с другой стороны, чем я могу ей помочь? Дырявый мешок — как его наполнишь? Мужа я ей из мертвых не воскрешу, детям отца с того света не верну... Да и сам я, грешным делом, не более как человек: хочется на старости лет кости расправить, почувствовать себя разумным созданием, а не скотиной. Пошумел и хватит! Пожил на этом свете и довольно! Пора и о том свете подумать! Тем более что с хозяйством своим я уже покончил; и как вам известно, я давно спровадил коровок, распродал без остатка, осталась только пара бычков, из которых мог бы выйти толк, если их хорошо кормить, — и вдруг изволь на старости лет сделаться отцом сирот, кормильцем маленьких детей! Думаете, это все? Не торопитесь! Самое главное впереди, потому что у Тевье, если стряется беда, то, сами знаете, обязательно за ее хвостом другая тащится! Когда однажды, к примеру, случилось несчастье: пала у меня корова, то следом же пала вторая... Так уж господь бог создал свой мир, так тому и быть, — ничего не попишешь!

Короче говоря, историю моей младшей дочери, Бейлки, вы, конечно, помните? Помните, какое счастье ей привалило, какого леща она поймала, Педоцура, вертопраха, военного подрядчика, который привез в Егупец полные мешки и втюрился в мою дочь, захотел иметь жену-красавицу, подослал ко мне Эфраима-шадхена, — чтоб его черт... — землю носом рыл, лез из кожи вон, взял ее, как говорится, в чем мать родила, осыпал с головы до ног подарками, брильянтами да алмазами... Казалось бы, такое счастье, не правда ли? Ну, так вот: все это счастье хваленое в трубу вылетело! Да как еще вылетело! С треском, господи спаси и помилуй! Потому что, если бог захочет, чтобы колесо повернулось в обратную сторону, так все летит к черту, маслом вниз, знаете, как в молитве вот написано: «подъемлет нищего из праха», а не успеешь оглянуться, как следом за этим идет: «взирающий с высоты на небо и на землю», — то есть хлоп в яму с постромками!.. Бог любит поиграть с человеком, ох любит! Сколько раз он эдак играл с Тевье: «То восходит, то нисходит», — то вверх, то вниз! Так было и с моим подрядчиком, с Педоцуром. Помните, конечно, его дом в Егупце с целой оравой слуг, с зеркалами, с часами, с финтифлюшками? Фи-фу-фа! Помните, я, кажется, рассказывал вам, что я тогда уговаривал Бейлку, упрашивал ее постараться, чтобы он купил

этот дом и обязательно на ее имя? Меня, конечно, не послушались, куда там! Разве отец понимает что-нибудь? Отец ничего не понимает! Ну, и чем же, вы думаете, все это кончилось? Врагам бы моим такой конец! Мало того что Педоцур после этого шика и треска обанкротился и распродал все зеркала, и все часы, и женины брильянты и алмазы, он к тому же влип в скверную историю и должен был удрать, куда Макар телят не гонял, то есть в Америку. Туда ведь едут все разбитые сердца, вот и они туда поехали. На первых порах здорово помучились, небольшую сумму, какая у них была, проели, а когда жевать стало нечего, пришлось беднягам взяться за работу. Работали каторжно, как наши предки в Египте *, — оба, и он и она! Сейчас, пишет она, малость полегчало: они вяжут чулки на машине и «делают жизнь», — так это у них в Америке называется. А по-нашему это означает: перебиваются с хлеба на квас. Хорошо еще, что их всего двое, пишет она, ни дитяти, ни теляти, — и то благо!

Вот я и спрашиваю: не черта ли его дядькиной тетке? То есть я имею виду Эфраима... Сосватал-таки жениха моей дочке, втянул меня в болото, нечего сказать! Чем, скажите, было бы плохо, если бы она вышла за ремесленника, как Цейтл, или за учителя, как Годл? Правда, и тем не больно повезло... Одна осталась молодой вдовой, а вторая выслана куда-то к черту на кулички на поселение... Но ведь это от бога! Что может предвидеть человек? Знаете, что я вам скажу? Умница была моя Голда, царство ей небесное: вовремя спохватилась, распрощалась с этим глупым светом и ушла к праотцам. Потому что, скажите сами: не правда ли, нежели столько горя терпеть из-за детей, не в тысячу ли раз лучше спокойно лежать в могиле? Но как это там говорится: «Не по своей воле жив человек», — нам не дано взять свою судьбу в руки, а попробуй-ка взять, по рукам получишь!

Однако мы сбились с прямого пути, давайте вернемся к делу. Оставим на время, как это пишется в ваших книжках, царевича и вернемся к царевне. На чем же мы остановились? На разделе «Изыди!». Но прежде чем приступить к этому разделу, я попрошу вас потрудиться, остановимся на минутку на другом, на разделе «Болок» *. Его, правда, читают не после, а до того раздела, но мне эти разделы прочли в обратном порядке.

История интересная, можете ее послушать, — она вам, чего доброго, еще и пригодится.

Дело было давно, сразу после войны, в самый разгар «коснетиции», когда на головы евреев посыпались всякие «благоденствия», сначала в крупных городах, потом в местечках... Однако до меня дело не дошло и дойти не могло ни в коем случае! Почему? Очень просто! Живешь столько лет среди крестьян, со всеми соседями дружишь. «Друг сердечный, отец милосердный», «ба-тюшка Тевль» у всех в большом почете, первая личность на селе. Совет нужен: «як Тевль скажет»; лекарство от лихорадки: «до Тевля»; ссудить на время несколько рублей — опять-таки к Тевлю... Ну, мог ли я опасаться погрома? Глупости! И в голову не приходило! Сами крестьяне сколько раз говаривали, что мне совершенно нечего бояться, они не допустят! И действительно... Вот послушайте.

Приезжаю однажды из Бойберика домой. Я тогда еще в полной силе был, торговал молочным товаром: сыром, маслом и прочей снедью. Выпряг лошадку, подсыпал сена и овса, не успел даже руки помыть к обеду, гляжу, у меня полон двор крестьян, вся громада, самые почтенные хозяева, от старосты Ивана Поперило и до пастуха Трохима. И все они выглядят как-то странно, у всех праздничный вид... Поначалу у меня екнуло сердце: что за праздник ни с того ни с сего? А не пришли ли они... Однако тут же подумал: «Фи, Тевье! Стыдно, перед самим собой стыдно: столько лет живешь в селе — один-единственный еврей среди стольких крестьян и всегда со всеми в согласии и в ладу, никогда никто тебя пальцем не тронул!»

Вышел я к ним и поздоровался честь честью.

— Здравствуйте, — говорю, — дорогие хозяева! За-чем пожаловали? Что хорошего скажете? Что нового расскажете?

Выступает староста, Иван Поперило то есть, и говорит ясно, прямо, без всяких предисловий:

— Пришли мы к тебе, Тевль... Побить тебя хотим!

Как вам нравится такой разговор? По-нашему это называется намеки делать, обиняками говорить... Каково было у меня на душе, можете себе представить. Но показывать — дудки! Наоборот... Тевье — не мальчик...

— Поздравляю вас! — отвечаю я как ни в чем не бывало. — Но что же это вы, дети мои, так поздно спохва-



тились? В других местах об этом уже почти забыть успели!

Тогда Иван Поперило, староста то есть, говорит самым серьезным образом:

— Понимаешь, Тевль, мы все время думали и гадали: бить тебя или не бить? Повсюду, во всех других местах, ваших бьют, как же нам тебя обойти? Вот громада порешила, что надо тебя побить... Да только, видишь ли, сами еще не знаем, что с тобой делать, Тевль: только ли стекла у тебя вышибить, перины и подушки распороть и пух выпустить или поджечь твою хату, сарай и всю худобу?..

Тут уж у меня и вовсе стало кисло на душе. Смотрю я на своих гостей, стоят, опершись на длинные посохи, и о чем-то шепчутся. По всему видать, что дело нешуточное. «В таком случае, — думаю я про себя, — выходит, как в псалмах сказано: «Дошли воды до души моей», — взяли тебя, Тевье, здорово в работу! Ведь если — не приведи господь... Мало ли что? Кто их знает?.. Нет, брат, со смертью шутки плохи! Надо им сказать что-нибудь».

И что тут долго рассказывать, дорогой друг, суждено было, видать, совершиться чуду... Внушил мне господь не теряться, не падать духом! Набрался я смелости и обращаюсь к крестьянам:

— Выслушайте меня, дорогие мои хозяева. Раз громада порешила, так и рассуждать тут нечего. Вам лучше знать, заслужил ли у вас Тевье, чтобы вы разорили все его хозяйство... Да только, — говорю, — знаете ли вы, что есть на свете кое-кто повыше вашей громады? Знаете ли вы, что есть бог на свете? Я не говорю — мой бог или ваш бог, я говорю о том боге, об общем нашем боге, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь, внизу... Очень может быть, что он сам так решил, чтобы я ни за что ни про что был наказан вами, лучшими моими друзьями, а может быть, — говорю, — и наоборот, может быть, он ни в коем случае не желает, чтобы Тевье зло причинили... Кто же может знать, чего хочет бог? А ну-ка, может быть, среди вас сыщется кто-нибудь, кто бы взялся добиться тут толку?

Словом, увидели они, надо думать, что Тевье им не переспорить. Тогда староста, Иван Поперило то есть, говорит:

— Дело, видишь ли, вот какое. Мы, правду сказать, против тебя, Тевль, ничего не имеем. Ты хоть и жид, но человек неплохой. Да только одно другого не касается, бить тебя надо. Громада так порешила, стало быть, про-

пало! Мы тебе хоть стекла повышибаем. Уж это мы непременно должны сделать, а то, — говорит, — не ровен час, проедет кто-нибудь мимо, пусть видит, что тебя побили, не то нас и оштрафовать могут...

Точно так и сказал, как я вам говорю, чтоб мне так господь помог во всех моих делах!

Ну, вот я и спрашиваю вас, пане Шолом-Алейхем, ведь вы человек бывалый, не прав ли Тевье, когда говорит, что велик бог наш?..

Покончили мы, стало быть, с одной историей. Теперь вернемся к ветхозаветному разделу «Изыди!». Этот отдел со мной прошли совсем недавно и уж по-настоящему. На этот раз не помогли, понимаете ли, никакие речи, никакие проповеди! А дело было так. Надо это рассказать со всеми подробностями, как вы любите.

И «бысть во дни» Бейлиса *, было это как раз в то время, когда Мендель Бейлис — невинная наша жертва — муку принимал за чужие грехи, а весь мир ходуном ходил. Сижу это я однажды на завалинке возле дома, погруженный в свои думы. На дворе лето. Солнце припекает, а голова трещит от мыслей. Как же это так? Возможно ли? В нынешние времена? Такой, казалось бы, мудрый мир! Такие великие люди! Да и где же это бог? Старый еврейский бог? Почему он молчит? Как допускает он такое дело? Что же это значит, и опять-таки, — как же так? И, размышляя эдак о боге, поневоле углубляешься в высокие материи, начинаешь рассуждать, что такое жизнь и что такое загробный мир? И почему бы не прийти мессии?

«Эх, думаю, вот был бы он умницей, если бы вздумал сейчас на белой своей лошадке прискакать! Вот было бы здорово! Никогда, кажется, он так не был нужен нам, как сейчас! Не знаю, как там богачи, к примеру, Бродские в Егупце или Ротшильд в Париже? Им, может быть, мессия и ни к чему, они о нем и думать не желают. Но мы, бедняки, — из Касриловки, из Мазеповки, из Злодеевки и даже из Егупца и Одессы, — ох, как ждем его, ждем не дождемся! Прямо-таки глаза на лоб лезут! Вся наша надежда сейчас только на то, что бог свершит чудо и придет мессия!»

И вот, размышляя таким образом, вдруг вижу: белая лошадка, кто-то на ней верхом сидит и прямо к воротам моего дома! Тпр-ру! Остановился, слез, лошадку привязал и ко мне:

— Здравствуйте, Тевль!

— Здравствуйте, здравствуйте, ваше благородие! — отвечаю я радушно, а про себя думаю: «Вот легок на помине: ждешь мессию — приезжает урядник!»

Поднимаюсь, иду ему навстречу:

— Милости просим, гость дорогой! Что на свете слышать, что хорошего скажете, господин начальник?

А сердце прямо выскочить готово — хочу знать, в чем дело. Но он, урядник то есть, не торопится. Закуривает преспокойно папироску, выпускает дым, сплевывает и спрашивает:

— Сколько тебе, Тевль, потребуется времени, чтобы продать хату и все твои бебехи?

Гляжу я на него с недоумением.

— А зачем же, — говорю, — продавать ее, мою хату? Кому, к примеру, она мешает?

— Мешать, — отвечает он, — она никому не мешает. А только я приехал выселять тебя из деревни.

— Только и всего? — говорю я. — А за какие такие добрые дела? Чем я заслужил у вас такую честь?

— Не я, — отвечает он, — тебя выселяю — губерния выселяет.

— Губерния? Что же такого, — говорю, — она на мне увидела?

— Да не одного тебя, — отвечает он, — и не только отсюда, а из всех деревень кругом: из Злодеевки, из Грабиловки, из Костоломовки и даже из Анатовки, которая раньше считалась местечком... Сейчас и она деревней становится, и выгоняют оттуда всех, всех ваших...

— И мясника Лейзер-Волфа тоже? И Нафтоле-Герца? И резника? И раввина тамошнего?

— Всех, всех! — отвечает он и даже рукой махнул, точно ножом отрезал...

Полегчало как-то у меня на душе: как-никак горе многих — половина утешения. Однако досада меня разбирает, так и жжет меня, и говорю я ему, уряднику то есть:

— Скажи-ка мне, ваше благородие, а знаешь ли ты, что я живу тут гораздо дольше тебя? Знаешь ли ты, что в этом углу жил еще мой покойный отец, и дед мой, и бабка, царство им небесное?

Я не поленился и перебрал всю семью, всех назвал по именам, рассказал, где кто жил и где кто помер... Он выслушал, а когда я кончил, говорит:

— Чудак ты, право, Тевль, и разговору у тебя не оберешься! Да что мне, — говорит он, — толку от твоих

бабушек и дедушек? Царство им небесное! А ты, Тевль, собирай свои манатки и фур-фур на Бердичев!

Это меня уж совсем взорвало: мало того что такую добрую весть принес, ты еще издеваешься: «Фур-фур на Бердичев!» Дай-ка, думаю, хоть скажу ему, что на душе!

— Ваше, — говорю, — благородие! Вот уже сколько времени ты у нас начальником. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы кто-либо из соседей на меня жаловался, говорил бы, что Тевье его обокрал, или ограбил, или обманул, или попросту забрал что-нибудь? Расспроси-ка мужиков, не жил ли я с ними всегда душа в душу? А сколько раз я, бывало, ходил к тебе, господин начальник, за крестьян хлопотать, чтобы ты их не обижал?..

Это ему, видно, не понравилось! Встал, раздавил папироску пальцами, швырнул ее и говорит:

— Некогда мне с тобой лясы точить, пустыми разговорами заниматься. Прибыла мне бумага, а остальное меня не касается! Поди-ка вот распишись! А времени на выезд дают тебе три дня, чтобы ты мог все распродать и приготовиться в путь-дорогу!

Увидев, что дело плохо, я говорю:

— Три дня даете мне? Дай вам бог за это три года жить в богатстве и чести. Пусть господь воздаст вам сторицей за добрую весть, что принесли мне...

Словом, всыпал ему по первое число, как Тевье умеет! В самом деле, чего мне было церемониться? «Что мне терять!» — подумал я. Конечно, будь я моложе лет на двадцать хотя бы, будь жива моя Голда, будь я тот же Тевье, что прежде, я бы так скоро не сдался! Я боролся бы до крови! А теперь что уж? «Что мы и что наша жизнь?» — кто я и что я? Мертвец, битый горшок, черепок негодный! «Ах ты, думаю, владыко небесный! И чего это ты привязался к Тевье? Почему бы тебе не поиграть когда-нибудь, хотя бы шутки ради, с Бродским, к примеру, или с Ротшильдом? Почему им никто не читает главу «Изыди!»? Им бы это больше кста-ти было! Во-первых, они бы по-настоящему почувствовали, что значит быть евреем, а во-вторых, пусть бы и они увидали, что есть у нас всесильный бог...»

Однако все это пустые разговоры. С богом вступать в споры бесполезно, и советов у нас никто не спрашивает. Если он говорит: «Небо мое и земля моя», — стало быть, он хозяин, и надо слушаться. Как бог скажет, так тому и быть!..

Вошел я в дом и говорю своей дочери-вдове:

— Цейтл, мы переезжаем в город. Пожили в деревне, и хватит. Перемена места — перемена счастья. Принимайся, — говорю, — за дело, начинай загодя готовиться в путь: собирай постель, самовар и прочую рухлядь, а я пойду хату продавать. Прибыла бумага, чтобы мы очистили это место и чтобы через три дня нашего духу тут не было!

Услыхав такую весть, Цейтл как расплчется, а детишки, на мать глядя, тоже ни с того ни с сего разревелись, и в доме поднялся стон и плач, как на похоронах. Я, конечно, рассердился и стал вымещать на дочери, бедняжке, все, что накопело на душе: «Чего, говорю, вы от меня хотите? Что это вы расхныкались так с бухты-барахты, как старый кантор в дни покаяния? Один я, что ли, у господа бога? Единственный? Мало ли евреев сейчас из деревень выгоняют? Поди послушай, что урядник рассказывает! Даже твоя Анатовка, которая до сих пор была местечком, и та, с божьей помощью, деревней стала ради тамошних евреев, чтоб их всех можно было выгнать оттуда... А если так, то чем же я хуже других?»

Выкладываю я все это ей, моей дочери, но ведь она всего только женщина...

— Куда, — говорит она, — мы вдруг перебираться станем? Куда пойдём пристанища искать?

— Глупая! — отвечаю я. — Когда бог явился нашему праотцу Аврааму и сказал ему: «Пойди из земли твоей», Авраам не стал спрашивать куда. Бог сказал ему: «В страну, которую я укажу тебе...» А значит это — на все четыре стороны... Пойдем, куда глаза глядят, куда все идут. Что со всеми будет, то и со мной. А чем ты лучше твоей сестры, богачки Бейлки? Ей, видишь ли, пристало торчать сейчас со своим Педоцуром в Америке и «делать жизнь», а тебе почему не пристало? Слава богу, что у нас еще есть с чем с места трогаться. Кое-что осталось от прежнего, немножко от скотины, которую мы продали, за хату сколько-нибудь получим. А тут немножко, там немножко: глядишь — полна площадка. И то благо! Да если бы у нас даже ничего не было, все равно, — говорю, — нам лучше, чем Менделю Бейлису!

Словом, кое-как уговорил ее, чтоб не шибко упрямылась. Втолковал ей, что раз урядник пришел и бумагу принес, раз велют выезжать, то нельзя же поступать по-свински, — надо уходить... А сам отправился на деревню улаживать дело с хатой. Прихожу к Ивану

Поперило, к старосте то есть. Он хозяин крепкий, и хата моя давно ему приглянулась! Я не стал ему рассказывать, что, и как, и почему, а говорю прямо:

— Да будет тебе известно, Иван-сердце, что покидаю я вас...

— Что так? — спрашивает он.

— В город, — говорю, — переезжаю. Хочу быть среди своих. Человек я не молодой, а вдруг, упаси бог, помирать придется...

— Что ж ты, — отвечает он, — здесь помереть не можешь? Кто тебе не дает?

— Спасибо, — говорю, — тебе здесь сподручнее помирать. А я лучше к своим пойду... Покупай, Иване, мою хату с огородом. Другому не продал бы, а тебе продам.

— А сколько ты за хату хочешь?

— А сколько дашь?

Словом, пошел разговор: «Сколько хочешь?» — «Сколько дашь?» — стали торговаться, по рукам ударять, десяткой больше, десяткой меньше, покуда не столковались насчет цены. Взял я у него приличный задаток, чтобы без отказа было, и так вот за один день распродал за бесценок, разумеется, все свое имущество, все в золото превратил и пошел нанимать подводу, чтобы забрать оставшуюся рухлядь.

Однако послушайте, что с Тевье приключиться может! Вы только внимательно слушайте, я вас долго не задержу, в двух словах передам.

Прихожу я перед отъездом домой, а дома ничего уже нет — разор! Стены голые, и кажется, будто они слезами плачут. На полу узлы, узлы, узлы! На припечке кошка сидит, как сирота, печальная, бедняжка, меня даже за сердце взяло, слезы на глаза навернулись... Кабы не стыдился дочери, поплакал бы всласть... Что ни говорите, все-таки батьковщина!.. Вырос тут, маялся всю жизнь и вдруг, пожалуйста, изыди! Говорите, что хотите, но это очень больно! Однако Тевье — не женщина, сдерживаю себя и эдаким веселым тоном кричу дочери:

— Поди-ка сюда, Цейтл, где ты там запропастилась?

Выходит она, Цейтл то есть, из соседней комнаты с красными глазами, с распухшим носом. «Эге, думаю, дочка моя опять нарвелась, как баба в Судный день». С этими женщинами, доложу я вам, сущая беда, чуть что — плачут! Дешевые у них слезы...

— Глупая! — говорю я. — Чего ты опять плачешь?

Посуди сама, какая разница между нами и Менделем Бейлисом...

Но она и слушать не хочет.

— Отец, — говорит, — ты не знаешь, чего я плачу...

— Отлично, — говорю, — знаю! Почему бы мне не знать? Плачешь, потому что жаль с домом расставаться... Ведь ты здесь родилась, здесь выросла, ну, конечно, тебе больно! Поверь мне, не будь я Тевье, будь я другой человек, я бы и сам целовал эти голые стены и пустые полки... Я бы сам припал к этой земле... Мне, как и тебе, каждую пустяковину жаль. Глупенькая! Даже вот кошка и та сиротой на припечке сидит. Бессловесное существо, животное, а ведь жаль ее, без хозяина остается...

— Положим, — говорит Цейтл, — есть еще кого пожалеть...

— Например?

— Например? Вот мы уезжаем и оставляем здесь одного человека, одинокого, как камень...

Не понимаю, о ком она говорит, и обращаюсь к ней:

— Что ты там болтаешь? О ком речь? Что за человек? Какой камень?

— Отец, — отвечает она, — я не болтаю, я знаю, что говорю. Я говорю о нашей Хаве...

Сказала она это и, клянусь вам, будто кипятком ошпарила меня или поленом по голове трахнула!

Накинулся я на нее и стал отчитывать:

— Что это вдруг ни с того ни с сего о Хаве? Ведь я сколько раз говорил, чтобы имя Хавы не упоминалось!

Думаете, она оробела? Ничуть. Дочери Тевье с характером.

— Отец, — говорит она, — ты только не сердись. Вспомни лучше, не ты ли сам сколько раз говорил: в Писании, мол, сказано, что человек должен жалеть человека, как отец свое дитя...

Слыхали? Я, конечно, вскипел и отчитал ее по заслугам:

— О жалости ты мне говоришь? А где была ее жалость, когда я, как собака, валялся в ногах у попа, будь он проклят, умолял его, а она, быть может, была тут же рядом в комнате и, может быть, слыхала каждое слово? Или где была ее жалость, когда покойная мать, царство ей небесное, лежала вот здесь на полу, накрытая черным? Где она была тогда? А ночи, — говорю, — которые я провел без сна? А боль, которая по сей день сжимает мне

сердце, когда я вспоминаю, что она с нами сделала, на кого нас променяла! Где же, — говорю, — ее жалость ко мне?

И так у меня защемило сердце, что не могу больше ни слова вымолвить... Думаете, однако, что дочь Тевье не нашлась?

— Ведь ты, — сказала она, — сам говоришь, что человеку, который кается, даже сам бог прощает...

— Кается? — говорю я. — Слишком поздно! Веточка, что однажды оторвалась от дерева, должна засохнуть! Лист, что упал, должен сгнить. И больше не говори со мной об этом! Хватит!

Увидав, что словами ничего не поделаешь, что Тевье уговорами не возьмешь, она припала ко мне, стала руки целовать и говорить:

— Отец! Пусть я умру здесь на месте, если ты и на этот раз оттолкнешь ее, как тогда в лесу, когда она к тебе руки протягивала, а ты повернул лошадь и удрал!

— Да что ты, — говорю, — пристала ко мне? Что за напасть на мою голову?

Но она не отпускает, держит меня за руки и твердит свое:

— Умереть мне на месте, если ты не простишь ее. Ведь она дочь тебе, так же как и я!

— Чего ты от меня хочешь? — говорю. — Не дочь она мне больше! Она давно уже умерла!..

— Нет! — говорит Цейтл. — Она не умерла, она снова твоя дочь, как и была, потому что с первой же минуты, как только она узнала, что нас выселяют, она себе сказала, что выселяют всех нас, то есть и ее тоже. Где мы, — так мне сама Хава сказала, — там и она будет. Наше изгнание — ее изгнание... И вот даже ее узел здесь...

Говорит она все это, торопясь, одним духом, слова сказать не дает и показывает мне какой-то узел, в красный платок завязанный... И тут же открывает дверь во вторую комнату и зовет: «Хава!» Честное слово! И что мне сказать вам, дорогой друг? Совсем так, как у вас в книжках описывается: показывается в дверях Хава — здоровая, крепкая, красивая, как была, ничуть не изменилась, только лицо немного озабоченное и глаза чуть подернуты. А голову держит прямо, с гордостью. Останавливается на минутку, смотрит на меня, а я на нее. Потом простирает ко мне обе руки и только одно слово может выговорить, одно-единственное слово и едва слышно:

— Отец!..

Извините меня! Как вспомню, так и сейчас слезы глаза застилают. Не думайте, однако, что Тевье, упаси бог, расплакался, слезам волю дал, глупости! То есть, конечно, то, что я тогда пережил и перечувствовал, это само собой... Ведь и вы отец и знаете не меньше моего, что значит жалость к детям... Дитя, как бы оно не провинилось, если прямо в душу к вам влезает и говорит: «Отец!», — ну, скажите, можно его оттолкнуть? Попробуйте!.. Но, с другой стороны, голова идет кругом, и на память приходит все то зло, что она мне причинила... Федька Галаган... Поп... Мои слезы... Смерть Голды... Нет! Скажите сами, разве можно все это забыть? Как забыть? Но опять-таки родное дитя... «Как отец жалеет детей своих». Разве можно человеку быть таким жестоким, если сам бог говорит о себе, что он бог всепрощающий! А тем более, если она раскаивается, хочет вернуться к своему отцу и к своему богу? Что скажете вы, пане Шолом-Алейхем? Ведь вы человек, который сочиняет книжки и миру советы подает, скажите сами, как должен был поступить Тевье? Обнять ее, как родную, расцеловать и сказать, как в молитве сказано: «Простил по слову твоему», — иди ко мне, ты мое дитя? Или поворотить дышло, как я сделал когда-то, и сказать ей: «Иди подброду, откуда пришла»? Нет, серьезно, допустим, что вы на моем месте... Скажите мне откровенно, как доброму другу: как бы вы поступили? А если не можете сказать сейчас, даю вам срок, подумайте... А пока что надо идти: внуки ждут не дождутся деда. Надо вам сказать, что внуки еще в тысячу раз дороже, чем дети. «Чада и чада чад твоих!» Шутка ли!

Будьте здоровы и не взыщите, что заморочил вам голову. Зато будет у вас, о чем писать. А если даст бог, мы еще, наверное, встретимся. До свидания! Всего хорошего!

МОНОЛОГИ



ГОРШОК

Ребе*, у меня к вам дело. Вы, наверное, меня не знаете, а может, и знаете, я Ента, Ента Куролапа. Я, значит, торгую яйцами да курами, курами да гусями. У меня свои постоянные покупательницы, два-три дома, они меня и выручают, дай им бог здоровья. Ведь заставь меня платить проценты, я живо вылечу в трубу. А так я держусь, — где подстрелю трешку, где отдам, возьму, отдам — вот и верчусь. Но, что там ни говори, живи сейчас мой муженек, мир праху его, я бы горя не знала. Хотя опять-таки надо признать, что мне с ним жилось тоже не так уж сладко-сахарно, потому как насчет

заработков он был слабоват, не в обиду ему будь сказано, все, бывало, сидит-корпит над своими книгами, а тружусь-надрываюсь я. Правда, я к этому приучена с малолетства, меня к труду мама приохотила, ее звали Бася, мир праху ее, Бася-свечница: бывало, накупит у мясников трэфного сала и давай сальные свечи лить, ведь тогда знать не знали ни про керосин, ни про всякие лампы да стекла, которые то и дело лопаются, — у меня, к примеру, что ни неделя, то новое стекло...

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали, мол, рано умер. Еще бы не рано, ведь моему покойнику, моему Мойше-Бенциону, было всего двадцать шесть, когда он умер. Почему двадцать шесть? Судите сами! Девятнадцать ему сровнялось в год нашей свадьбы, да после его смерти пробежало как-никак восемь годочков. Вот и выходит, по моему расчету, двадцать три. Почему не двадцать шесть? Потому что семь лет его болезни я не считаю. Он, конечно, хворал гораздо дольше, он, может, всю жизнь был хворый, верней, всю-то жизнь он, конечно, был здоровый, вот разве только кашель, он всегда кашлял, — кашель его и убил... Он всегда, не про вас будь сказано, кашлял. Впрочем, вовсе не всегда, а только когда кашель нападает. Зато уж как примется кашлять, будет кашлять и кашлять, весь изойдет кашлем. Врачи говорили, что это, мол, у него спазмы такие, хочешь — кашляй, хочешь — не кашляй! Это сушая чепуха и ерунда, от них, от врачей, толку, как от козла молока. Взять, к примеру, сына Арона-резника, Иокл его звать. Как-то схватило у него зубы; чего только с ним не делали: и кололи и заговаривали, а толку чуть. Маялся Иокл, маялся, потом взял и засунул себе в ухо чесноку, говорят, чеснок здорово от зубов помогает. Ему и вовсе невтерпеж стало, от боли на стенки лезет, а о чесноке ни слова. Приходит врач и давай у Иокла пульс шупать. Дурак этакий, при чем тут пульс? Хорошо, что Иокла отвезли в Егупец, иначе он бы как пить дать отправился вслед за своей сестрой Перл, она, бедняжка, скончалась от сглазу во время родов, избави вас бог от этого...

Да, но о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите — вдова. Овдовела я совсем молоденькой, осталась одна с грудным младенцем на руках, в половине дома на Бедняцкой улице, рядом со столяром Лейзером, вы его тоже должны знать, он живет за баней. Вы спросите:

почему только полдома? Да потому, что другая половина не моя, а моего зятя, вы его тоже должны знать, его звать Азриел. Сам он веселокутский, из местечка, значит, Веселый Кут, и торгует рыбой, рыботорговец, значит. И зарабатывает, не сглазить бы, очень даже неплохо. Все зависит от реки. В тихую погоду рыба клюет — и цена на нее вниз ползет. В плохую погоду рыба не клюет — и цена на нее растет. И вот зятек Азриел считает, что лучше, когда рыба клюет и цена вниз ползет. Я ему: «Какой же тебе расчет?» А он: «Расчет прямой. В тихую погоду рыба клюет — цена вниз ползет. В плохую погоду рыба не клюет — цена растет. Так пускай уж лучше рыба клюет и цена вниз ползет». — «Какой же тебе расчет?» А он опять: «В тихую погоду рыба клюет — цена вниз ползет, в плохую погоду рыба не клюет — цена растет. Так пускай уж лучше клюет и цена вниз ползет». Тьфу, пропади ты пропадом, заладил одно, поди толкуй с этаким невеждой!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — своя квартира... Само собой, лучше свой уголок иметь и не мыкаться по чужим людям. Недаром сказано: чужое со своим не сравнишь. У меня, значит, своя половина, свое владение. Но куда мне, бедной вдове, с единственным сыном на руках, куда мне целых полдома? Есть где голову приклонить — и ладно! Зачем же мне полдома, да еще с худой крышей. Ведь который год крыша не чинена. А тут еще зятек мой, Азриел, значит, пристаёт: «Давай класть новую крышу, давай — и никаких!» — «Ладно, говорю, давай». — «Давай крыть», — говорит он. «Давай крыть», — отвечаю я. Туда-сюда, давай-давай, судили-рядили, крыша-солома, а проку не видать. Ясное дело, ведь тут надо уйму соломы, про тес я уж и не заикаюсь, тес — это зарез. Пришлось, значит, мне сдать две комнаты, пришлось сдать. В одной живет глухой Хаим-Хоне, он уже старый и вовсе, можно сказать, из ума выжил. Его дети платят мне за него пять пятиалтынных в неделю, а кормиться он ходит к ним, правда, через день: день ест, день постится, но и в сытый день он тоже живет впроголодь. Он мне сам это говорил. А может, он и приврал немного, ведь старый человек любит поворчать. Сколько ему ни дай, куда ни посади — плохо, куда ни положи — жестко.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — соседи... Избави бог от них! О глухом речи нет,

с него взятки гладки, он, как вы говорите, квартирант спокойный, тише воды, ниже травы. Но лукавый меня попутал другую комнату сдать мучной торговке Гнесе, она, значит, мукой торгует, Гнеся эта. Ну и язва! Спервоначалу-то она была шелковая, все напевала: «Душечка, кошечка, милочка, я для вас буду делать и то и се...» И ничего-то ей, мол, не надо, только вот столечко места в печке чугунок поставить, да краешек доски раз в неделю мясца сготовить, да уголок стола раз в полгода тесто раскатать... «А куда вы, говорю, ребят ваших денете? Ведь их у вас, говорю, Гнеся, слава богу, целый выводок?» — «О чем вы беспокоитесь, Енточка, душенька! Вы не знаете, значит, моих детей. Ведь это же брульянты, а не дети! Летом они день-деньской во дворе, а зимой как заберутся на печку, только их и видели. Плохо другое: уж очень они любят поесть, уж такие охотники до еды, не напасешься на них». Да что толковать, видно, мне на роду написано страдать и мучиться. Ребята у нее оказались такие горластые — ужас! День ли, ночь — все едино, вечно у них шум, гомон, орут, визжат, кричат, ругаются, дерутся — сущий ад. И то, пожалуй, в аду легче... Но это еще не все, это еще полбеды. Ребят как-никак можно успокоить, дашь им пинка, щелчка, шлепка, они и угомонятся, на то они и ребята... Но бог ей дал мужа, его зовут Ойзер. Вы его должны знать, он младший служка малой синагоги и, видать, набожный, неглупый человек. Но как она им помыкает, Гнеся эта! «Ойзер, туда! Ойзер, сюда! Ойзер, то! Ойзер, се!» Только и слышно: «Ойзер, Ойзер...» А ему хоть бы что! Либо отделается шуточкой (он еще ко всему большой шутник), либо картузик на затылок — и был таков. Счастье, что у него характер покладистый.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: плохие соседи... Плохое плохому рознь! Избави бог, я про Гнесю худого не скажу, она не злая и даже подаст нищему ломоть. Но когда ей вожжа под хвост попадет — пронеси ты, господи! Стыд и срам! Другому я бы ни словечка, но вам, вам можно по секрету, тсс, молчок... она своего мужа того, поколачивает... да-да... тайком от всех... «Ах, Гнеся, Гнеся, — говорю я ей, — побойтесь бога, как вам не совестно, бога побойтесь». А она в ответ: «Это не ваше дело». А я ей: «Да ну вас к шуту!» А она мне: «Пускай шут унесет того, кто сует свой нос в чужой горшок». А я ей: «Ослепни тот, кто лучшего не

видал». А она мне: «Оглохни тот, кто любит подслушивать...» Вот бессовестная!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вы сказали, что я люблю чистоту... Не откажусь, верно, люблю, когда кругом чисто, ни пылиночки. Чем же это плохо? А она, Гнеся, стало быгь, не терпит, что у меня все сверкает-играет, убрано-прибрано, чистота, красота... А к ней загляни! Пакость, мерзость, грязь до ушей, помойное ведро полнехонько — бррр!.. С самого утра, не успеют глаза продрать, у них уже начинается столпотворение. Разве это дети? Сущие черти, а не дети. Разве их можно сравнить с моим Давидкой, с моим сыночком! Мой Давидка, дай ему бог здоровья, весь день в хедере, а как придет вечером, тоже без дела не сидит: либо молится, либо занимается, либо книжку читает. А ее черти? То жрут, прости господи, то рвут, то дерутся, то без дела околачиваются. Скажите сами, при чем тут я, если бог ее наградил оравой сорванцов и озорников, а мне он послал чудного сыночка, настоящий брульянт, чистое золото, не сглазить бы, потому что я над ним немало слез пролила, ох немало. Вы не смотрите, что я женщина. На моем месте ни один мужчина не выдержал бы. Иной мужчина, не про вас будь сказано, конечно, в тыщу раз хуже женщины. Чуть жизнь немного припрет его к стене, он уже и не человек! Да что далеко ходить. Взять хотя бы Осю, сына Мойше-Аврома. Пока его жена Фруме-Неха была жива, все шло хорошо. Но как только она умерла, он сразу опустился, повесил голову, раскис... «Реб Иося, — говорю я ему, — Иося, бог с вами, возьмите себя в руки, ничего не попишешь. Смерть жены, говорю, ведь это божья воля. Как там сказано в наших святых книгах — бог дал, бог и взял. Да вы это лучше меня знаете».

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — единственный сын... Он, верно, у меня один-единственный, как солнышко в небе. Неужели вы его не знаете! Имя ему дали по моему свекру, по Довид-Гиршу, значит. Посмотреть на него — вылитый отец, дай бог ему долгой жизни, и лицо такое же желтое, как у отца, мир праху его, испитое, и весь он такой же тощий, слабенький, кожа да кости, еле-еле душа в теле... Доконали его, беднягу, и хедер и Талмуд... «Хватит тебе, сынок, говорю, хватит надрывать, отдохни малость, посмотри, на кого ты похож, поешь, выпей чего-нибудь, хоть чашечку

цикорня». А он в ответ: «Спасибо, мама, пей сама, тебе нужней, ведь ты работаешь, надрываешься. Хочешь, я тебе помогу корзину с базара принести!» А я ему: «И не выдумывай. Таскать корзины тебе не пристало. Мои враги (а их у меня хватает) этого не дождутся. Твое дело учиться, набираться ума-разума». А сама глаз с него не свожу, до чего на отца похож, как две капли, и кашляет точно так же. Боже ты мой, за что мне такое наказание?! Как начнет кашлять, у меня сердце кровью обливается. Разве можно передать, чего мне стоило его поднять, в люди вывести? Сколько муки я приняла, сколько страданий. Ведь никто, ребе, никто не верил, что мой сынок, мое чадо выживет, потому что не было на свете болезни, не было заразы, которая бы к нему не приставала. Чем он только не болел! И корью, и оспочкой, и скарлатиной, и железками, и дифтеритом... Сколько я над ним бессонных ночей просидела, одному господу богу известно. Но, видно, дошли до всевышнего мои вдовьи слезы, и я дождалась радостного денечка, когда моему чаду сровнялось тринадцать лет и он стал совершеннолетним. Но не думайте, что этим дело кончилось. Вот слушайте. Однажды зимним вечером шел мой сынок из хедера и вдруг видит: идет по улице призрак, весь в белом, и руками размахивает. Долго ли ребенку испугаться? Он так и обмер, потерял сознание и свалился в снег. Кто знает, сколько он там пролежал, покамест его нашли и принесли домой. А как его в чувство привели, он заболел по-настоящему и пролежал, на горе своей матери, в жару, в бреде целых шесть недель! Чудо из чудес, что я все это перенесла. Чего только я с ним не вытворяла: и обет давала за него в синагоге, и «продавала» его, и обратно «выкупала», и еще одно имя прибавила * (Хаим-Довид-Гирш), чтобы он долго жил и чтобы ангел смерти его не узнал, а главное — плакала, плакала над ним в три ручья. «Боже милостивый, — молила я, — ежели надо меня наказать, накажи, только сыночка моего не отбирай». И бог, видно, сжалился надо мной, и сынок мой стал поправляться, и вот однажды он мне говорит: «Мама, я могу тебе передать привет от папы, я его видел, он навестил меня». Как я это услышала, так внутри у меня что-то оборвалось, а сердце тук-тук-тук... «Пусть он там постарается. Это значит, что ты долго будешь жить, — говорю я, а сердце тук-тук-тук... Ну, а позже я дозналась, что это был за

призрак, который белыми ручищами размахивал. Может, вы угадаете, ребе, ведь вы у нас умница! Это был Липе, Липе-водовоз. Он купил тогда новый тулуп, и как на грех, белый, а мороз стоял лютый, вот он и решил согреться и давай махать руками, чтоб ему пусто было. Где же это видано, чтобы солидный человек напяливал на себя ни с того ни с сего белый тулуп!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: здоровье... Здоровье — это первейшее дело! Наш врач тоже так считает и велит ухаживать за ним, варить ему каждый день бульон, хотя бы, говорит, из четверти курицы, и если вы, говорит, в состоянии, кормите, говорит, его и молочком, и маслицем, и шоколадом, если только, мол, вы в состоянии. Что за пустые слова: «Если вы в состоянии»! Да разве есть на земле такое, чего бы я не сделала ради своего Давидки! Какое тут может быть «состояние»? Скажи мне, к примеру: «Ента, ступай рой землю», коли дрова, таскай воду, меси глину, ограбь церковь», — ради своего Давидки все сделаю, пускай в самую глухую ночь, пускай в самый страшный мороз. Этим летом, например, вздумалось ему прочитать какие-то книги не то учебники, их у меня и в помине нет, но ведь я вхожа в богатые дома, бываю там, значит, вот он меня и просит, достань мне, мол, мама, эти не то книги, не то учебники, и написал мне их на бумажке, значит. Вот пришла я, значит, с этой бумажкой в богатый дом и выпросила эти книги — выпросила разок, другой, третий. А потом меня там на смех подняли: «Зачем вам, Ента, эти книги? Вы что, ими своих гусей да кур кормите, что ли?» Ладно, думаю, смейтесь, смейтесь, зато у моего Давидки есть что читать. Ночи, ночи напролет просиживает он над этими не то книгами, не то учебниками, все читает да просит еще принести. Что ж, мне не жалко! Отнесу прочитанные, принесу новые. Тут как раз и явился этот умник, горе-врач этот, и спрашивает: могу ли я ему готовить каждый день бульончик хоть из четверти курицы? Чудак человек! А если понадобится из трех четвертей, разве я откажусь? Откуда берутся эти-кие врачи? На каких дрожжах их замешивают и в каких печах выпекают!

Да, но о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите: бульон... Я каждый божий день готовлю бульончик из четверти курицы и подаю ему вечером, когда он приходит после занятий; он ест, а я с какой-нибудь работой

в руках сижу рядышком, гляжу на него, рада-радешенька, и думаю только об одном: помоги мне, господи, завтра тоже сварить бульон. А он мне: «Мама, а почему тебе не поесть со мной?» — «Кушай на здоровье, говорю, кушай, я уже ела». — «А что ты ела?» — «Что бы я там ни ела, а только я уже наелась, говорю, а ты кушай на здоровье». Потом он берется за свои не то книги, не то учебники, а я достаю из печки печеной картошки или крошу себе лучку с хлебом и заморю червячка. И хотите верьте, хотите нет, клянусь его здоровьем и счастьем, что эта луковица мне слаще самого вкусного жаркого, самого наваристого супа, потому что я рада, что Давидка мой сегодня ел бульончик и что на завтра еще осталось четверть курицы. Одна беда: уж очень сильно он кашляет, только и слышно: кха-кха... Я прошу врача: «Дайте же ему что-нибудь против кашля!» А тот все допытывается: «Сколько вашему мужу было лет, когда он умер, мир праху его, и от чего он умер?» — «От смерти, говорю, умер, от смерти. Очень просто, года его вышли, вот он и умер. При чем тут отец, когда речь идет о сыне?» А тот свое: «Нет, мне надо знать, я вашего сына осмотрел, хороший сын у вас, славный парень!» — «Спасибочки вам, говорю, я это и сама знаю. Вы лучше дайте ему лекарство от кашля, чтобы он не кашлял, чтобы...» А тот опять: «Дело не в лекарстве, вы лучше следите, чтобы он поменьше сидел над книгами». — «А что же еще ему делать?» — «Пусть гуляет побольше и, главное, пусть не засиживается по ночам над книгами. Если ему суждено стать врачом, говорит, не беда, если он им станет на два-три годочка попозже». Эти слова мне пришлось не по нутру, нет! Неладное он толкует, сразу видно, что мозги у него не в порядке. С чего это он взял, что мой сыночек будет врачом. Он бы еще сказал — «губернатором»! Пришла я домой и все это выложила своему Давидке. А он весь покраснел и говорит: «Больше, мама, не ходи к нему и не толкуй с ним ни о чем». А я говорю: «Наплевать мне на него, я больше в его сторону и смотреть не хочу, ведь он не в своем уме. Зачем он лезет не в свое дело, зачем выпытывает, где больной работает, да как живет, да сколько зарабатывает? Какое ему дело! Тебе сунули в лапу полтинник — выпиши рецепт, и дело с концом!»

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: хватает, мол, забот!.. Еще бы не хватало. Забот

полон рот. Да и как им не быть, если на руках у тебя корзина с яйцами, да с гусями, да с курами, да с утками, да еще парочка богатых дам в придачу, которые так и норовят взять у тебя самое лучшее, самое свеженькое, боятся, что одна другую опередит! Вы сами видите, что мне не до бульонов, ведь я никогда дома не бываю. Но голь на выдумки хитра. Встану пораньше, затоплю печь и убегу на базар, потом заскочу на минутку, замочу четверть курицы, посолю ее и опять убегу. Потом снова заскочу, воду солью, поставлю горшок в печку, а сама попрошу соседку, Гнесю, значит, последить за горшком: как закипит, мол, прикрыть его крышкой и задвинуть подальше в самый жар, чтобы не остыло. Что ж тут хитрого? Сколько раз, бывало, я для нее готовила полный ужин! Ведь мы как-никак все же люди, а не звери, живем не в лесу, а среди народа, значит, живем!.. А вечером, как приду с работы, разведу огонь, нагреею, значит, и подаю ему свеженький, горяченький бульончик. Кажется, все вроде хорошо? Как бы не так! Вы забыли, что соседка у меня сущая... стыдно выговорить... не скажу кто... ну ее совсем... Сегодня утром ей вдруг приспичило угостить свою ораву молочным обедом — не то галушками, не то балабушками на молоке. Что за вкус в этих молочных балабушках! Да и при чем тут балабушки, когда сегодня не суббота, а самая обыкновенная среда, никак не пойму! Чудная она все-таки, эта торговка мукой, Гнеся эта! У нее всегда: разом густо, разом пусто. То она три дня к печке не подойдет, а то вдруг как примется стряпать, набúхает полный котел и готовит, значит, не поймешь что, то ли пшениный кулеш, то ли кашу, причем хоть очки нацепляй, все равно ни пшенинки не найдешь. А то вдруг начистит горшок картошки, вроде как с рыбой, а на самом-то деле там один лук, за версту разит, да вдобавок еще перцу положит столько, что вся орава потом сутками не отдышится, и все они ходят разинув рты, чтоб их ветром продуло.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — не везет. Надумала, значит, моя соседка сварганить балабушки из гречневой муки и, значит, поставила в печку кувшин с молоком, чтобы, значит, вскипятить его. А ребята ее, само собой, обрадовались — давай петь, давай орать, хоть уши затыкай! Никогда, что ли, они молока не пробовали?! Да сколько там молока было, смешно сказать, дай бог нашим врагам иметь не больше. От

силы две ложки — остальное все как есть вода. Но для бедняка и это радость. Вдруг нелегкая приносит самого служку. Видно, он еще в синагоге почувал, что дома пахнет богатым блюдом, вот он и пожаловал и по своей привычке шутливо говорит: «С праздником, мол, вас». А она ему в ответ: «Какой тебе, сатана, праздник, ты почему так рано приперся?..» — «Боялся, — говорит он, — опоздать к праздничному обеду. Что там у тебя в печке?» А она ему: «Специально для тебя шиш с маслом в маленьком горшочке». А он ей: «Уж лучше в большом, чтобы хватило нам обоим». Она вышла из себя да как крикнет: «Убирайся отсюда со своими шуточками», — да как возьмет ухват, да как подцепит свой кувшин. А кувшин хлоп на бочок, а молоко — бултых на всю печку. Тут поднялся крик, рев, шум! Гнеся принялась честить мужа последними словами. Его счастье, что он сразу ноги унес. А вся орава, значит, прыг-прыг с печки и начала реветь, плакать, причитать, словно у них отца с матерью убили... А я говорю: «Провалитесь вы с вашими балабушками, из-за них, говорю, может, бульон моего Давидки пострадал, и горшок, может, теперь, не дай бог, придется выкинуть!» * А она мне в ответ: «Черт бы побрал ваш горшок вместе с вашим бульоном, мне мои молочные балабушки дороже всех ваших горшков и всех ваших бульончиков, которыми вы пичкаете своего Давидку». А я говорю: «Один ноготок на мизинце моего Давидочки больше стоит, чем вся ваша орава». А она кричит: «Наплевать мне на вашего Давидку, он один, а у меня их вон сколько!» Такого сокровища, как эта Гнеся, еще свет не видывал. За такие слова ее бы надо как следует отхлестать мокрой тряпкой по лицу!..

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: мясному и молочному в одной печке не место... Так оно и вышло. Кувшин, значит, повалился набок, и молоко, значит, разлилось по всей печке. И если, не дай бог, хоть капля молока брызнула на мой мясной горшок, тогда мне погибель. Хотя, опять же, как могло молоко добраться до моего горшка: ведь он стоял вон там, в самой глубине, да еще был прикрыт золой. Но ручаться я не могу. А вдруг — судьба!.. Я вам все выложу начистоту, все. Бог с ним, с бульончиком, не в бульончике дело. Конечно, бульончик тоже жалко! Чем я вечером покормлю Давидку? В общем, что-нибудь соображу! Вчера я как раз принесла битых гусей, принесла, выпот-

рошила их, и у меня, конечно, остались потроха, значит, головки, желудочки, то-се. Что-нибудь состряпаю. Вопрос — в чем? Ведь если вы, ребе, не дай бог, решите, что мой мясной горшок стал из-за капли молока тrefным, я с ума сойду, потому что больше горшков у меня нет. Правда, раньше у меня было целых три мясных горшка, но Гнеся эта, чтоб ей пусто было, взяла у меня новенький, целехонький горшок, а вернула мне битый горшок. Я спрашиваю: «Чей это горшок?» Она говорит: «Как чей? Это ваш горшок!» А я ей: «Как мой? Ведь я вам дала целый горшок, а это битый горшок». А она мне: «Тише, не кричите, не запугаете! Во-первых, я вам вернула целый горшок, во-вторых, я брала у вас битый, а в-третьих, я у вас никаких горшков брать не брала. У меня хватает своих, и оставьте меня в покое!» Видали бесстыдницу!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите: горшки в хозяйстве всегда пригодятся... Осталось у меня, значит, всего-навсего два горшка целых и один битый, в общем, считай, что два горшка. Но разве бедному человеку положено иметь два горшка? Притащила я как-то с базара полную корзину кур, и вдруг, на ту беду, прибежала кошка и напугала, значит, моих курочек. Вы, конечно, спросите: откуда взялась кошка? Все эта самая орава. Как увидят где-нибудь котенка, обязательно подберут и начнут его мучить, пока не замучают. «Пожалейте, — просит, бывало, мой Давидка, — ведь кошке тоже больно!» Но им, этим бездельникам да озорникам, наплевать! Они кошке на хвост что-то там такое нацепили, она давай прыгать, давай рваться, куры мои перепугались, одна отвязалась, заметалась, взлетела на полку, и — трах, — оттуда горшок на пол! Ну, что ей стоило сбросить битый горшок! Так нет же! Известное дело. Битый горшок никогда не свалится, а свалится целый. Так уж оно на земле водится испокон веков!

Вот бы узнать, почему это так, вот бы... К примеру: идут двое. Один идет, и другой идет. Первый — любимый сын у своей мамашки, один-единственный, как солнышко в небе, а другой, скажем... Ребе! Помилуй бог, ребе, что с вами?! Ребе, где ваша жена! Где она там?! Живей сюда, сюда, нашему ребе плохо! Он теряет сознание! Воды! Воды!..



ГУСИ

Монолог женщины по имени Бася, которая режет гусей на хануку и вытапливает сало на пасху

В прошлую хануку у меня, не про вас будь сказано, не про меня будь сказано, ни про кого не будь сказано, случилась беда с удачей вместе. Можете послушать! Такая история случается раз в тысячу лет! Я вот уже двадцать с лишним лет торгую гусями и пасхальным салом, а такой истории, знаете ли, со мной не случилось.

Торгую гусями... Думаете, так это просто — берут и торгуют? Прежде всего начинается целая история: как только наступает осень, после праздников надо закупать

гусей, сажать их на зиму в клетку, кормить их, наблюдать за ними. А к хануке гусей начинают резать и превращать в деньги. Но вы небось думаете, что так это легко закупать гусей, сажать гусей, резать гусей и превращать их в деньги? Во-первых, покупка гусей. Надо иметь, на что покупать. Наготовленных денег, своих капиталов то есть, у меня ведь нет. Надо одалживать, обращаться к реб Алтеру. А реб Алтера вы ведь знаете, — это такой человек, который и воду выварить любит. То есть отказать он не откажет, но велит прийти завтра, а завтра скажет — послезавтра, душу вымотает. А потом только начинает соки выжимать: проценты тянуть, дни присчитывать... Что и говорить, хорош реб Алтер! Недаром у него такая рожа. А она, Алтериха то есть, ходит с такими щеками, хоть нож об них точи! А жемчуга у нее какие! Вот недавно она дочь просватала. Иметь бы мне вместе с вами хотя бы треть того, что стоила помолвка, мне бы не надо было гусями торговать... Хотя жениха она нашла, — накажи меня бог, если бы я за такого свою дочь отдала! Да ведь он лысый, — по-вашему, это плешь, а по-моему, парша... Но не моя это забота, ничего дурного я, упаси бог, не говорю, злословить не желаю... Путаю только одно с другим. Уж вы не обижайтесь, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Закупать гусей... Где закупать гусей? Думаете, наверное, на базаре? Конечно, как же! Если бы нам приходилось всех гусей покупать на базаре, мы бы в золоте ходили! Если хотите купить гусей для торговли, вам надо потрудиться встать до рассвета, когда сам бог еще спит, и выйти далеко за город, по ту сторону мельниц. Находится, однако, еще одна такая умница, как и вы, прибегает раньше вас и уже ждет по ту сторону мельниц. И еще, оказывается, есть одна, умнее той, и приходит еще раньше и еще раньше... короче говоря, собирается настоящая ярмарка, и все стоят, ждут и высматривают, авось господь сжалится, крестьянин вынесет пару гусей... Тогда нападают на него и на его гусей со всех сторон: «Що тобі, чоловіче, за гуску?» Если это торговец и человек, с которым можно говорить, то можно с ним и поторговаться! Но бывает и так, что налетите на малохольного, к которому и не подступиться, хоть ты его режь. «Геть-бо! — кричит он. — Убирайся вон! Нема у меня гуски!» И делай что хочешь! Вы ему толкуете:

— В чем дело? Що ж ты хочешь, — чтоб тебе на роже высыпало и нехай тоби боже дае хворобу в кости и добрую лихоманку!..

А он в один голос:

— Геть! Не продаю гуску!

А уж если бог сжалился и крестьянин выпустил из рук гуся, надо этого гуся хорошенько осмотреть. А осмотреть гуся надо умеючи! Возможно, знаете ли, что в гусях надо быть знатоком таким же, как, скажем, в брильянтах. По-вашему, например, выходит, что все гуси одинаковы. А знаете ли вы, что есть гусыни, а есть и гусаки? Гусыня — это не гусак. Гусь — это гусь, а гусак — это гусак. Гусь набирает жир, а гусак — хворобу! Как же отличить гуся от гусака? Да уж отличают! Во-первых, по чубику, у гусака на голове чубик и длинная шея. Затем гусака узнают по голосу, у него голос грубый, как у мужчины. А идет он всегда впереди гусей, тоже как мужчина, как человек. У нас мужчина, хоть будь он самая что ни на есть шляпа, шагает впереди, будто желая сказать: «Вот он — я!» К чему вам больше? Взять, к примеру, моего мужа, Нахмен-Бера. Уж на что, казалось бы, растяпа. Дальше как будто некуда? Человек, с тех пор как я за ним замужем, и двух ломаных грошей не заработал! Все счастье в том, что он знаток Талмуда и что он дальний родственник нашего богача Иоськи, как говорится: нашему забору двоюродный плетень... Спросите, что я имею от этого моего родственника — богача? Иметь бы то моим врагам на обед! Досаду я имею и горести, да еще и позор, когда меня попрекают тем, что моя родственница, то есть невестка моего родственника, парика не носит, щеголяет в собственных волосах... И это не напраслина! Хороша штучка!.. Но я о ней ничего плохого не говорю, злословить не желаю. Пугаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Закупать гусей... Когда гуси куплены, надо их, стало быть, на зиму в клеть засаживать. Но вы думаете, что засадить гусей — дело очень легкое? Ошибаетесь! Хорошо засаживать гусей, когда есть у тебя свой дом, своя кладовая, когда ты, как говорится, одна на базаре. Но как быть, если я жила, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, на квартире у Енты и отдельной кладовой не имела? А хозяйка

моя, то есть Ента, и сама приторговывала гусями и пасхальным жиром, — попробуйте-ка, прошу вас, держать гусей в одной кладовке с Ентою и не драться с ней трижды в день! Это — одно. А затем будьте умником и отличите, какие гуси ваши, а какие не ваши. Однажды, когда я, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила у нее на квартире, у нее, у Енты то есть, сломалась клетка в кладовой, все гуси вышли и налетели прямо на мое корыто с овсом... Кто оказался в убытке? Кому пришлось кричать? Мне или ей? А она как налетит на меня! Если бы, говорит, она знала, что я торгую гусями, она бы не сдала мне квартиру ни за сто миллионов червонцев!

— А чем же, — говорю я, — думали вы, я торгую? Брильянтами?

А она мне:

— Сами вы хороший брильянт, и муж у вас брильянт, и дети брильянты!

Что же мне — молчать?.. Странная женщина эта Ента! Так вообще она готова вам душу отдать. Если вы, упаси бог, заболели, она собою пожертвует ради вас. Но только вспылчива, — спасения нет! Вот мы однажды — было это накануне хануки... Рассказать вам, — вы бы волосы на себе рвали!.. Но я в чужие горшки заглядывать не люблю, худого ничего не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов.

Теперь начинается история: засаживать гусей... Если хотите, чтобы гуси у вас были удачные, сажайте их в клетку во второй половине месяца. Упаси бог притрагиваться к гусям в начале месяца, сразу после новолуния — это беда! Гуси не будут удачными: будут толсты в кости, а кожа будет тонкая. А уж на жир от таких гусей и рассчитывать нечего. Об этом забудьте! И днем, когда люди толкутся, гусей не засаживайте. Лучше в сумерки, при свече или даже в темноте, но только в это время ущипните себя и произнесите тихонько три раза: «Как я в теле, так и ты будь в теле...» Мой муж, правда, смеется над этим и говорит, что это и понюшки табаку не стоит. Но я была бы хороша, если бы прислушивалась ко всему, что он говорит! Вот он говорит, например, мой муж, — он ведь страсть какой ученый, дни и ночи над священными книгами просиживает, — что

капорес * — глупый обычай! Как это вам нравится? Можете себе представить, как ему от меня влетело за такие слова!

— Это ты сам, — говорю, — собственным умом дошел?

— Так в священных книгах сказано! — отвечает он.

— Выходит, стало быть, что моя мама, и тетя Двойра, и Нехама-Брайна, и Сося, и Двося, и Цивья, и Ципора, и все — дуры?

Молчит мой умник, и это его счастье, потому что я могу, знаете, устроить ему такое веселое утро, чтоб он помнил три дня подряд! Думаете, я, упаси бог, такая ведьма, злюка? Поверьте, я хорошо знаю, что такое ученый, что такое человек, сидящий над Священным писанием, хоть он и палец о палец не ударяет. Думаете, он ленится? Он бы делал все, что угодно, было бы что... Вот он и сидит над книгами. Пускай сидит. На что мне его труд, я и сама могу обойтись и с расходами по дому кое-как справлюсь, ни к кому не прибегая. Я сама, всюду сама. И на базаре, и дома, и у печи встану, поставлю варить картошку и детей одену и отправлю в хедер, — это у меня главное! Хлеба, правда, иной раз может не хватить, халы на субботу, случается, нет, но плата за учение ребят — у меня, кроме девочек, четверо мальчиков, дай им бог здоровья, — обязательно должна быть, хоть бы камни с неба валились! Я не равняюсь по нынешним, которые суют детей своих в классы, как, к примеру, сын нашего кантора Берл — форменный безбожник! Но черт с ним, я у бога в стряпчих не состою, худого ничего не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, повадка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Засадив гусей, надо позаботиться, чтобы у них было достаточно корма; кормить их и поить вовремя. И больше ничего. Потому что гуси — это не утки и не куры. Утки боятся оспы, а куры — хорька. А гусям нужна только еда. А едят они все: гуси едят овес, гуси едят просо, гуси едят кашу, гуси едят, извините, и кое-что похуже... Гусь не привередлив. Гусь глотает все. Гусь постоянно голоден, как ребенок у бедняка, не будь рядом помянут. У бедняка дети едят, не сглазить бы, с аппетитом все, что дадут, и никогда не бывают сыты. Я знаю это по себе. Мои дети, были б они здоровы, когда приходят из хедера, не сглазить бы, не повредил бы им дур-

ной глаз, — не успеешь оглянуться, а буханки хлеба как не бывало, от чугуна картошки и запеха не остается! А наступает суббота, надо каждому дать свою порцию булки, как пряника, а остальное — под замок, иначе от нее назавтра и воспоминания не останется! Дети, знаете, дело хорошее, славное. Мне бы не надоело и в тягость не было бы содержать десять ребят, пятнадцать, семьдесят пять, кабы не утроба! Богачи должны были бы себя чувствовать невесть какими счастливыми, зная, что их дети ложатся спать сытыми, что не снятся им побирушки, что не проснутся они среди ночи с плачем: «Мама, ку-у-шать!..» Поверите ли, сердце болит, выскочить готово, а тут на них еще и прикрикнуть надо: «Спать, байстрюки! Что еще за еда среди ночи! Спать! Спать...»

И все же видели бы вы этих богачей, как черт их за душу хватает, когда родится у них, упаси бог, лишнее дитя! Ай-яй-яй! Вот у нас недавно померла одна богачиха, женщина кровь с молоком, добрая душа, праведница. Бейльця звали ее, красивая, здоровая, крепкая... А из-за чего, думаете? Не стоит об этом говорить, она уже на том свете, царствие ей небесное... Но я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим... Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Ну и заработок — эти гуси!.. То есть, вообще говоря, заработок неплохой, а если бог благословит, то на гусях можно и порядочно заработать. Но, видите ли, это случается раз в десять лет. Гораздо чаще бывает, что на гусях не только не заработаешь, но еще и потеряешь! А труда они требуют столько, что, право же, ни к чему весь этот тарарам. Спрашивается в таком случае: коль скоро заработка гуси не дают, зачем же ими торговать? Но позвольте, а что же прикажете делать, если я уже столько лет торгую гусями?! Подумайте: связать тридцать с лишним пар гусей; отнести к резнику тридцать с лишним пар гусей; принести обратно тридцать с лишним пар гусей; ощипать тридцать с лишним пар гусей; разделать, посолить, вымочить, ополоснуть тридцать с лишним пар гусей, — кожа отдельно, жир отдельно, потроха отдельно, обдирки отдельно, — из всего этого надо сделать деньги, не дать пропасть ни крошки, — и все это одна я! Прежде всего выжарить кожу и вытопить жир. Я каждый год вытапливаю пасхальный жир, потому что мой пасхальный жир славится во всем городе, как

наилучший, как самый кошерный *. Я, когда вытапливаю пасхальный жир в первые дни хануки, навожу в доме пасхальный порядок. Печь разжигаю, мужа отсылаю в синагогу — пускай там сидит над книгами. Детей выгоняю — пускай идут куда-нибудь играть в юлу. А сама принимаюсь за работу. Жир не любит лишнего глаза, а тем более пасхальный жир. Я однажды обожглась... когда я, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила на квартире у Енты. Были там и еще соседи. И вот вздумалось одной соседке, Гнеся ее звали, печь оладьи из гречневой муки и как раз в тот день, когда я режу гусей. Я прошу ее: «Гнесенька, душенька, любонька! Попридержите ваше желание на один денек. Вы завтра, бог даст, будете печь оладьи!» А она мне: «Я-то, пожалуй, согласна. Но дети узнают. У меня, — говорит она, — дети такие обжоры, любят поесть, если узнают, что оладий не будет, они меня живьем съедят!..» И действительно, дети, лежа на печке, услышали, что оладьи собираются отложить на завтра, тогда один из них, Зелик, мальчик с косыми глазенками, как раскричится: «Мама! Если не будешь печь оладьи, я сейчас упаду с печи...» Посмотрели, — горе мне, — Зелик висит головой вниз, вот еще минута, и он слетит и разобьется вдребезги! Увидав такое, я стала кричать: «Гнесенька, душенька, любонька! Пеките оладьи, пеките!» Говорят, знаете ли, что у нищего утроба без дна. Святая истина! Посмотрели бы вы, какие у Гнеси деточки, — не накажи меня, господи! Но я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Гусиный жир... На один жир от гусей рассчитывать нельзя. Жир, когда все проходит благополучно, может вернуть то, что затрачено на гусей. А заработок должно принести все прочее. Прежде всего тушки. Когда случится, что тушки хороши, а мясо в городе дорого, их расхватывают! Но как же быть, если мясники у нас ссорятся, а мясо продается по дешевке, и город, богачу назло, пригласил нового резника, а старый резник подал на нового восемнадцать доносов, а кроме того, распустил слух, что он, то есть новый резник, молодчик из нынешних, из «ценистов» *, которые возьмется с хедерами и собирают деньги на Палестину? Но богач этих «ценистов» не признает, он их видеть не может, они, говорит он,

шарлатаны! А коли так, то и резник, значит, режет не по закону, не всякий станет покупать готовые обдирки. Я толкую своим покупательницам: «У меня вы можете спокойно покупать обдирки, моих гусей режет старый резник».

— Да, — отвечают они. — Вы, конечно, совершенно правы, но дело в том, что у обдирок на мякоти не написано, кто их резал — старый резник или новый.

— Что значит, — говорю я, — не написано? Если я говорю: старый резник, значит, старый! Или вы и мне перестали верить? Тогда уж свету конец!

А они:

— Странная вы женщина! Мы вам, конечно, во всем доверяем. Но если мы и сами можем послать к резнику гусей зарезать, зачем же нам обдирки, о которых мы не можем знать, кто их резал!..

— Тьфу! Опять двадцать пять! Я клянусь вам жизнью мужа и детей! Вы знаете, что у меня клятва верная!..

— К чему вам клясться, — говорят они, — когда мы и так вам верим!

— Тогда возьмите у меня обдирки, освободите мне корзину!

— Не можем мы, — отвечают они, — взять у вас обдирки, не знаем, кто резал...

Ну, вот и теши кол у них на голове! Нет того, чтобы войти в положение! Пожалели бы: женщина мучается с гусями, все думает, чем черт не шутит, а вдруг зарабатывает сколько-нибудь... Такая зима стоит, дров нет, солома дорога, воз соломы — червонец, а дети, бедные, босиком бегают в хедер, приходят домой посиневшие, заберутся на печку, скрючатся, как кролики, и ждут не дождутся горячей картошки, а картошка — на вес золота, много не родилось, а много и на поле осталось... Город хорош! Хоть бы оглянулся кто: бедняки от холода мучаются, нищие умирают, пухнут с голоду, дети падают, как солома, как мухи... Хорошо еще, что только бедняки помирают... Не накажи меня бог, я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Только путаю одно с другим... Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Гусиные обдирки... Если бы рассчитывать на одни обдирки, так хорошо бы мы выглядели с нашими гусями! Но, кроме обдирок, есть у гусей всякая мелочь: потроха, шкварки, печеночки, пупочки, головы да лапки,

гортани, крылышки, язычки, сердечки и почки. А шейки?! Есть у меня покупательница, зовут ее Печерициха, она забирает у меня все шейки, сколько бы ни было, — будь хоть полсотни шеек, она меня не выпустит. Муж ее, говорит она, то есть Печерица, большой любитель грудинки и шеек. Грудинку он любит холодную, приперченную, а шейки — начиненные мукой, или кашей, или фарфелем*, или печенкой со шкварками, жаренные или варенные с морковью. И что же вы думаете? Как покойники едят, так они и выглядят. Он выглядит, не сглазить бы, в сравнении с моим мужем, как человек лет тридцати с лишним, хотя он старше моего мужа лет на десять. Мой муж тоже никакой работы не делает, но он, по крайней мере, изучает священные книги, и, придя домой, он не скажет, как иные мужья: «Слышь ты, дай-ка покушать!» Он, когда приходит из синагоги, первым делом берется за книгу, глядит в нее и вздыхает, вздыхает потихоньку, — это значит, что он голоден. Сказать: «Давай кушать!» — этого нет. Но что же? Стонет, хватается за сердце и произносит: «Ох-ох-ох!» Это значит, что ему сильно есть хочется. «Может быть, закусишь?» — спрашивает его. А он отвечает: «Пожалуй...» Сколько раз я ему говорила: «Ведь у тебя язык есть, почему не скажешь, что ты голоден? Зачем тебе сидеть и стонать?» Молчит, не отвечает... Хотела бы я посмотреть, что было бы, если бы ему три дня кряду не давать кушать? Думаете, он такой дурак? Но как может человек ученый, светлая голова, быть дураком? Если бы он при своей учености был чуть побольше пролазой, не мог бы он разве быть у нас раввином? А что бы мы стали делать со старым раввином? Но что мы станем делать со старым кантором? Очень нужно было нанимать нового кантора в синагогу, чтобы старый помирал с голоду? Или был он недостаточно беден? Только потому, что богачу захотелось пения? Хочешь пения? Иди в триатр¹, не будь рядом помянут, и будут там тебе петь песни, хоть тресни!.. Будь я женщиной, я бы с богачами рассчиталась! Думаете, я имею что-нибудь против них? Ничего я против них не имею, но только я их терпеть не могу! Не выношу богачей! Богачей и пауков, не накажи меня бог! Я ничего плохого не говорю, злословить не люблю... Только путаю одно с другим... Уж вы не взыщите, при-

¹ Театр (искаж.).

вычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Зарабатываешь на гусях!.. Не думайте, что продать все сало, все обдирки и все потроха — это великое счастье. Не будь у гусей пуха и пера, не стоило бы вообще со всем этим делом возиться. Прежде всего, когда я только еще собираюсь засадить гусей в клеть, я их уже подщипываю под мышками и собираю немного пуха. А потом, когда их уже порезали, и говорить нечего: пух отдельно, перо отдельно, и я przygotowляю себе работу на всю зиму. Вечера длинные, нащиплешься всласть. Вот я и щиплю. Сейчас у меня кое-какая помощь есть: девочки. Девочки — это не мальчики. Мальчики в хедер ходят, а девочки — что? Девочки что гуси: сидят, кормятся и растут. Вот я и сажаю их рядом с собою над решетом: «Помогайте, дети, перо щипать, дам вам за это завтра шкварок, намажу ломтик хлеба жиром, а то и вовсе сварю суп с потрохами!» А что поделаешь? Мяса всю неделю, до субботы, в глаза не видишь. Если бы я не торговала гусями, не знаю, что бы я стала делать с детьми всю неделю! А так все же переппадают им кожица, голова, лапка, потроха, немного жира — одного запаха и то довольно. Когда я, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила на квартире у Енты, я сама слыхала, как Гнеся говорила: «Как только наступает пора хануки и вы начинаете возиться с гусями и с пасхальным жиром, моя орава словно оживает: от одного запаха у них голова кружится и кажется им, что они едят гусятину...» Думаете, приятно, бывало, смотреть на Гнесину ораву, не сглазить бы, как они, сидя на печи, глядят, видят перед собою такой чугуна жира и столько шкварок и не смеют даже ручонку протянуть, а вынуждены, бедняжки, только смотреть, как волчата, блестящими глазенками и облизываться, — жалость за душу берет! Сунешь им шкварку, помажешь по губам каплей сала. А что же еще, скажите на милость? Как я могу накормить столько ртов, когда и сама я осыпана, не сглазить бы, ребятишками, а муж и ломаного гроша не зарабатывает, да и должна я за гусей — иметь бы нам с вами хотя бы треть того, а проценты растут, черт бы их взял, и платить нужно, не могу же я вдруг обанкротиться, упаси бог, как это сделала Ента, которая не уплатила шурина за вторую половину дома из-за сынка, который учится, говорят, в классах и пишет

по субботам... * Так люди говорят, я при том не была. Не люблю я говорить о том, чего не знаю, и возводить напраслину на людей не стану. Я спрашиваю только одно: для чего Ентиному сыну быть ученым? Тот совсем больной, прости господи, чахоточный. Все они, не тут будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, чахоточники. Пускай он живет до ста двадцати лет и принесет ей счастье, что я могу иметь против нее? Хотя, если подойти с другой стороны, она со мной не так уж хорошо поступила! Не выкуривают квартирантов перед самой пасхой! А из-за чего? Из-за того, что Менаше-водовоз может платить рубль в неделю, а я нет! Пускай похвастанет, когда он ей уплатит! Говорят, что этот Менаше должен всем, — волосы и те ему не принадлежат. Забрал у всех хозяев за воду вперед за всю зиму, да и бедняк он порядочный, а жена у него, ее Песей звать, тоже хороша штучка! Не накажи меня бог, я ничего плохого не говорю и злословить не люблю... Но погодите-ка, я, кажется, хотела рассказать вам что-то интересное? Но что? Понятия не имею, сама забыла!.. Женщины, доложу я вам, — народ, с ними не шути! Вот смешала я все вместе, кашу с борщом, с печенками да со вчерашним днем — а для чего? У бабы, скажу я вам, и в самом деле слов — девять коробов!.. Придется отложить мой рассказ до следующего раза.



НЕМЕЦ

Происходить происхожу я из Деражни, из маленького местечка Подольской губернии, из совсем крохотного местечка. Нынче, правда, Деражня целый город, с железной дорогой и вокзалом. И когда Деражня делалась станцией, все завидовали нам: шутка сказать — железная дорога!

Мы думали: вместе с железной дорогой на землю спустится счастье, появится работа, золото будет валяться на улице. Люди стали сползаться из всех местечек. Жители перестраивали дома, открывали новые лавки. На мясо повысили налог, и стали поговаривать о новом резнике, о второй синагоге, о расширении кладбища — шум

был большой. Шутка ли — железная дорога, станция, вокзал! Извозчики вздумали бунтовать, но до них никому дела не было. Проложили у нас рельсы, привезли вагоны, построили станцию, повесили колокол, прибили дощечку «Станция Деражня», и пошла писать губерния.

Как только открылась железная дорога, жена моя спрашивает меня:

— Что ты намерен теперь делать, Иойна? (Иойна — так зовут меня.)

— А что мне делать? — отвечаю я. — То, что делают все люди, то и я буду делать. Все деражненцы вертятся около поезда, стало быть, и я буду вертеться...

Взял я свою палку, пошел на вокзал и сделался, с божьей помощью, «правителем». Что такое «правитель»? Кто-нибудь продал, скажем, вагон зерна, вагон этот надо погрузить и отправить, тут-то и требуется «правитель». Но так как все деражненские евреи стали «правителями», то получилось нехорошо, мы не «правим», а мучаемся, болтаемся без дела. Покупаешь мешок пшеницы и перепродаешь — иногда на пользу, иногда в убыток, или вдруг набегит комиссия со стороны. Хватаешься за то, хватаешься за это, — что делать, когда нечего делать?

Раньше, правда, тоже нечего было делать, но мы не имели железной дороги, и досады поэтому было меньше. Зачем же нам понадобилась станция с вокзалом, с колоколом и всей кутерьмой?

И вот случилось происшествие: стою я однажды на вокзале и, убитый своими болячками, провожаю почтовый поезд. Третий звонок отзвонил, локомотив отсвистал, осматриваю я платформу и замечаю одного барина, высокого и сухого, в четырехугольных очках, в большой шляпе, а в руках у него куча чемоданов. Стоит, вытянув шею, и осматривается кругом, как человек, только что совершивший преступление.

«Барин чего-нибудь да хочет», — соображаю я про себя и чувствую, как что-то толкает меня в спину: «Подойди к нему, человек, и спроси, чего он хочет». И только я тронулся с места, как он начинает двигаться ко мне, приподнимает шляпу и говорит мне не иначе как по-немецки:

— Добрый вечер, господин...

— Дай вам бог здоровья, — отвечаю я тоже по-немецки, то есть наполовину по-еврейски, а остальное русскими. И спрашиваю: откуда он едет?

— Нет ли в Деражне подходящей квартиры? — осведомляется он.

— Конечно, есть, — говорю я, — отчего не быть.

И соображаю про себя: «Обидно, что у меня нет гостиницы. Будь у меня гостиница, привел бы я его к себе. Это порядочный немец, на нем можно густо заработать...» И в голове моей зажигается мысль: глупец и сын глупца, разве на лбу у тебя написано, что ты не имеешь гостиницы? Пусть немцу кажется, что у тебя есть гостиница. Я и говорю ему, наполовину по-немецки, наполовину по-еврейски, а остальное руками:

— Если господин имеет желание, так пусть он возьмет извозчика, и мы поедем в еврейскую гостиницу.

Услышав эти слова, немец загорается, как куча соломы, и показывает на свои губы:

— Можно ли там покушать? Есть ли там пища?

— Первейшая пища, — отвечаю я ему. — С божьей помощью, вы получите большое удовольствие, господин немец. Моя благозерная, жена моя, значит, — первейшая хозяйка. Ее обеды прославились во всей окрестности. Персидский царь Артаксеркс не откажется от ее рыбы.

— Яволь! — веселится мой пассажир, глаза его блестят, лицо сияет, как солнце.

«Какой чудной немец», — думаю я, но канителиться тут некогда, нанимаю я подводу и еду с ним прямо к себе домой.

Не успели мы приехать, как сейчас же я рассказываю жене, что вот послал мне бог гостя, немца, редкий товар. Но что понимает женщина? Она начинает меня пилить за то, что я приехал в неудачный час, когда убирают квартиру.

— Что это за новости с гостями? Что это за постояльцы ни с того ни с сего?

— Женщина, — обращаюсь я к ней, — не говори по-еврейски. Этот господин все понимает, потому что он немец.

Но тут она поднимает вой и трясет веник над моей головой. Она воеет, а мы с немцем стоим у двери, ни туда ни сюда. Еле-еле убедил ее, что это не бесплатный гость, что это пахнет деньгами, что на немце может быть заработок.

Вы думаете — убедил? После долгих препирательств она сообщает мне:

— Куда же я положу его, в могилу, что ли?

— Тише, — говорю я, — безумная женщина! Сказано тебе — не выражаться по-еврейски, потому что этот господин понимает по-немецки.

Только тогда она поняла, в чем дело; мы уступили гостю нашу спальню, жена пошла раздувать самовар и готовить ужин. Осмотрев спальню, немец немножко повел носом — «могло бы быть лучше...». Но что может понимать немец? Как только внесли самовар и заварили чай, он вытащил добрую бутылку рома, превосходно глотнул (дал и мне глотнуть), и всем нам сделалось хорошо. Немец расположился со своими чемоданами, как у родного отца, и стали мы друзьями.

После чая завожу я с ним беседу, туда-сюда, что он здесь делает, чем торгует? Не нужно ли ему что-нибудь купить или продать? Нет, ему ничего не нужно. Какие-то машины, говорит он, должны прибыть. Вижу я, что делом здесь не пахнет, — прошлогодний снег какой-то. А он поминутно заглядывает в печь и тревожится — не готов ли ужин?

— Вы, — говорю я, — господин немец, видать, не дурак покушать?

Отвечает он мне пустяками, — что может понимать немец? Пустяками этими занимались мы, пока не принесли ужин — свежий бульон с гренками, курицу с манной кашей, с морковью, с петрушкой, о!.. (Жена моя может, если захочет!)

— Благословение восседающим! — произнес я по-древнееврейски.

Но он ни полслова в ответ — присосался к курице, как после поста.

— Кушайте на здоровье! — говорю я ему еще раз, а он знай глотает, хоть бы слово сказал, хоть бы поблагодарил, — какое там!

«Грубый человек, — думаю я, — и большой нахал!»

Одним словом, поужинал он, раскурил длинную трубку и сидит, посмеивается. Вижу я, что немец озирается по сторонам, ищет местечка, куда бы ему приткнуться голую, глаза его слипаются. Я сейчас же кивнул жене.

— Куда его положить? — спрашивает она.

— Как это куда? Положи его в мою постель.

Она не заставляет себя просить, подходит к кровати и начинает взбивать постель, как полагается по закону. Жена моя, если захочет... А немец, замечаю я, чем-то

недоволен, не нравится ему, видно, что перья летят. Он вертит носом, кашляет.

— Дай бог здоровьечка, господин немец, — приговариваю я.

И хоть бы ответил спасибо! Какое там! «Грубый человек, — думаю я, — и дикарь!..» Старушка моя взбила постель до потолка, королевскую постель, — жена моя, если захочет... Настоящий трон. Мы попрощались с ним, пожелали спокойной ночи и разошлись.

Сначала, как только мы легли спать, я все прислушивался — спит мой немец, чтобы не сглазить, великолепно, храпит на все голоса, сопит, как локомотив, свистит и мычит, как зарезанный бык. Но внезапно он вскакивает с постели, начинает вздыхать, фыркать, икать, чесаться, плевать, ворчать, потом переворачивается на другой бок, засыпает, и снова храпит, и сопит, и свистит, и опять спохватывается, и опять начинаются вздохи, фыркание, чesанье, плевки и ворчанье. Так повторял он несколько раз, пока совсем не соскочил с кровати, и слышу я вдруг, что все его постельные принадлежности летят на пол, одна подушка за другой. Он бросает их в бешенстве и рычит какие-то дикие слова:

— К дьяволу, сакрррраменто, гррром и молния...

Я вскакиваю, подбегаю к двери, заглядываю в щелку. Немец мой стоит на полу в костюме Адама, сдирает с кровати все перины, плюется и проклинает божий свет на своем языке, упаси и помилуй нас бог.

— В чем дело, — спрашиваю я, — в чем дело, господин немец? — и открываю дверь.

Тогда он наливаются гневом, нападает на меня со сжатыми кулаками, хочет стереть меня с лица земли. Он хватает мои руки, тащит к окну и показывает, что у него растерзано все тело. Потом он выгоняет меня и закрывает за мной дверь.

— Сумасшедший немец, — говорю я жене. — И большой чудак! Ему показалось, что кто-то его кусает... Скажите, какое горе!..

— Удивляюсь, — отвечает жена, — всего только на пасху я чистила кровать керосином...

Думал я, что немец мой рассердится и убежит утром, куда Макар телят не гонял. Но наступило утро, и ничего подобного — опять «здравствуйте», опять улыбки, опять сосет он свою трубку; приказал обед состряпать, а до обеда сварить ему яйца на завтрак, и желательнее ему,

чтобы яйца были в мешочке. Сколько яиц, полагаете вы? Десяток — ни больше, ни меньше! За завтраком глотнул он порядочно рому, и мне дал глотнуть — ах, хорошо! Но наступила ночь — и снова та же история! Сперва храп, свист, сопенье, мычанье, потом вздохи, стоны, фыркание, чесанье, плевки и ворчанье. Он снова вскакивает с постели, снова сдирает все подушки и ругается, проклиная на своем языке:

— К дьяволу! Сакраменто!! Грром и молния!!!

А наутро — «здравствуйте», и сосет трубку, и просит кушать, и делает за завтраком порядочный глоток, и так несколько дней подряд, пока не прибыли его машины и не приспело ему время уезжать.

Наступил день отъезда, стал мой немец собираться в дорогу и просит у меня счет.

— Считать тут нечего, — говорю я. — Счет наш, — говорю я, — простой, с вас следует четвертная...

Выпучил он на меня глазами, как будто говорит: «А? что такое? не понимаю...»

Тогда я объяснил ему по-немецки:

— Господин немец будет настолько любезен и уплатит мне четвертную, или двадцать пять карбованцев, рублей, значит...

И я показываю на пальцах — десять, десять и пять.

Он, думаете, испугался? Ничуть не бывало. Потягивает, как прежде, свою трубку, улыбается и говорит, что очень бы хотелось ему знать, за что причитается с него двадцать пять рублей. Вытаскивает он карандаш, берет клочок бумаги и требует, чтобы я перечислил каждую вещь отдельно.

«Хоть ты и умный немец, — думаю я про себя, — но умный еврей умнее умного немца, в одной моей пятке больше мудрости, чем во всех твоих мозгах».

— Так пишите, — говорю я, — пишите, господин немец...

За гостиницу — шесть дней, полтора рубля помножить на шесть — девять рублей; двенадцать самоваров по семь с половиной копеек составляют девяносто копеек. Теперь помножьте шесть раз по десять яиц утром и десять вечером, выходит сто двадцать, или две корзины яиц, по рублю за корзину — будет два рубля. Шесть бульонов, шесть куриц по семьдесят пять копеек за каждую курицу, не считая крупы, сельдерея, петрушки, того, этого — шесть рублей. Теперь возьмите шесть ночей и

шесть ламп — шестьдесят копеек. За распитие ваших напитков — по два рубля. За пользование вашим чаем и сахаром один рубль, получается три рубля, а с вином, которое вы могли бы у нас потребовать, — получается четыре рубля. Пиво мы могли подать за семьдесят копеек. Итого имеем не более, не менее, как двадцать четыре рубля с полтиной, но для ровного счета поставим двадцать пять рублей.

Объяснил я ему это очень достойно. Вы думаете, счет ему не понравился? Упаси бог! Он сосет, не переставая, из трубки, очень красиво улыбается, вынимает четвертную и швыряет ее мне, как швыряют трешницу. Очень красиво попрощался с нами и уехал на станцию.

— Ну, а теперь что ты скажешь, жена моя, о нашем немце?

— Дай бог, — говорит она, — чтобы мы получали таких немцев каждый день, было бы неплохо...

И уехал наш немец. Не прошло после этого и трех дней, как заявляется ко мне почтальон и протягивает письмо, но сначала он просит потрудиться и заплатить четырнадцать копеек. За что четырнадцать копеек? Отправитель забыл, говорит он, наклеить марку.

Уплатил я четырнадцать копеек, распечатал письмо — написано по-немецки, ни слова не понимаю. Бегаю я с моим письмом то к одному, то к другому, никто не читает по-немецки, беда! Обошел все местечко, насилу нашел провизора в аптеке, тот читает по-немецки. Прочел он письмецо и объяснил, что пишет это мне какой-то немец, благодарит за спокойный ночлег, который он имел у нас, благодарит за гостеприимство, за любезность, которых никогда не забудет...

«Ох, пожалуйста, — думаю я, — очень хорошо. Если ты доволен, так и я доволен!» И говорю я жене:

— Что ты скажешь о таком немце? Он, видно, дурак не из простых.

— Дай бог, — говорит она, — чтобы получали каждую неделю таких умников, было бы совсем неплохо...

Проходит еще одна неделя. Возвращаюсь я как-то с вокзала домой. Навстречу идет мне жена, несет письмо и говорит, что почтальон велел доплатить двадцать восемь копеек.

— За что двадцать восемь копеек?

— Иначе, — говорит жена, — почтальон не хотел...

Распечатываю письмо — опять по-немецки. Бегу к провизору, прошу его прочитать. И рассказывает мне провизор, что этот самый немец только что миновал границу, и так как он возвращается домой на свою родину, то он еще раз благодарит меня за тихий ночлег, который он имел у меня, за наше гостеприимство, за нашу любезность, которых он никогда не забудет.

«Пропади ты, — думаю я, — со своей благодарностью...»

А дома жена спрашивает меня:

— Что это за письмо?

— Опять от немца, — говорю я. — Он не может, — говорю я, — забыть нашу любезность, сумасшедший немец!

— Дай бог, — говорит она, — чтобы мы каждую неделю получали таких сумасшедших, было бы совсем неплохо...

Проходит еще две недели. Приносят мне с почты большой пакет, почтальон требует за него пятьдесят шесть копеек. Я отказываюсь. Тогда почтальон говорит:

— Как хотите, — и берет пакет назад.

Тогда я начинаю раскаиваться, ужасно хочется знать, откуда этот пакет, может быть, необходимая вещь?

Заплатил я пятьдесят шесть копеек, вскрываю пакет, смотрю — опять по-немецки. Отправляюсь я, конечно, прямо к провизору, умоляю его простить мою назойливость, — что делать, если бог меня наказал и я не умею читать по-немецки?.. И провизор читает мне новое посланье от немца. Дело в том, что он прибыл уже домой и увиделся со своим дорогим семейством, с женой, с детьми и рассказал им, как он приехал в Деражню, как встретил меня на вокзале и как я его хорошо принял, предоставил ему хороший, спокойный ночлег, и вот в эту радостную для него минуту он не может не поблагодарить меня от всей души за гостеприимство, за нашу любезность, которых он не забудет никогда, до гробовой доски.

— Будь ты проклят, — говорю я и обрушиваю на этого немца всю горечь моей души, но жене ничего не рассказываю, притворяюсь, что ничего не было.

Проходит еще три недели. Получаю я с почты посылку на один рубль и двенадцать копеек.

— Что бы это значило, один рубль и двенадцать копеек? — спрашивает жена.

— Не знаю, — отвечаю я, — пусть я не знаюсь с лихом, — и отправляюсь на почту, спрашиваю, откуда мне прислали один рубль двенадцать копеек. Но почта отвечает, что это не я получаю один рубль двенадцать копеек, а, наоборот, надо заплатить один рубль двенадцать копеек.

— За что?

— За письмо.

— За какое письмо? Может быть, от немца?

На это мне не отвечают ни слова. О чем с ними толковать? Заплатил я один рубль двенадцать копеек и взял это письмо, то есть не письмо, а целый ящик. Распечатываю — снова от него. От немца! Прибегаю к провизору.

— Не сердитесь — говорю я, — пане, у меня несчастье, опять письмо от немца.

Провизор мой не ленится, он бросает работу и читает мне целую эпопею, все от этого самого немца, да сотрется имя его из списка живущих. Что же он пишет? Он пишет: так как у него сегодня именины, то есть праздник, и сидят у него гости, собралась вся семья, то он рассказал им для праздника случай о том, как приехал он в маленький городишко Деражня, как он очутился на станции, одинокий на чужой стороне, языка нашего он не понимает, и тут встретил он меня, и я привел его к себе, предоставил ему чудный, спокойный ночлег, отвели мы ему лучшую комнату, кормили и поили его, и как честно мы с ним обошлись. Принимая все это во внимание, он не может отказать себе в удовольствии поблагодарить нас еще раз за гостеприимство и любезность, которых он не забудет вечно, вечно...

«Какой пакостник этот немец, — думаю я, — не стану больше получать от него писем, пусть хоть золотом их обсыплет...»

Проходит еще один месяц, два месяца — нет больше писем, конец! Стал я уже забывать об этом немце, как вдруг приходит повестка со станции на посылку в двадцать пять рублей.

— Что это может быть за посылка в двадцать пять рублей? — раскладываю я мозгами так и этак, жена моя тоже раскидывает, и головы у нас трещат; потом я догадываюсь. Так как у меня есть друзья в Америке, то, может быть, это подарок от них — шифскарта или

лотерейный билет. Ленился я не стал, побежал на станцию, хочу получить эту посылку, но мне говорят: будьте любезны, заплатите сначала два рубля двадцать четыре копейки, а потом сможете взять посылку.

Толковать тут нечего, надо одолжить где-нибудь два рубля двадцать четыре копейки, надо заплатить и взять посылку. Выкупил я эту посылку, очень красивый ящик и чудно упакован. Прибежал домой, вскрыл ящик, оттуда сейчас же выпал портрет. Посмотрели мы на этот портрет, — о, лихо мое, о, горе мое, о, погибшая жизнь моя, — он! Это он на портрете — проклятый немец с длинной шеей и высокими плечами, с трубкой в зубах. К карточке прикреплено письмо, по-немецки, конечно, и та же история. Он благодарит за ночлег, за гостеприимство и за любезность, которых он, конечно, не забудет. Какой ядовитый немец, будь он проклят! Дай бог, чтобы на его голову пала хоть половина, хоть малая часть наших проклятий, о, боже всевышний!

Прошло еще несколько месяцев — конец. Умер немец! Избавились, слава богу, от заразы! Я почувствовал себя счастливым... И вы думаете, что это все? Погодите, конец впереди. Совсем недавно получаю я ночью телеграмму о том, чтобы обязательно мне выехать в Одессу и поскорее к одному торговому человеку, по фамилии Горгельштейн. Остановился Горгельштейн в гостинице «Виктория» и срочно хочет меня видеть по делу.

— Одесса? Горгельштейн? Отель «Виктория»? Дело? Что за сон такой! — говорю я жене.

Но жена гонит меня, она хочет, она требует, чтобы я ехал, мало ли что бывает: может быть, нас ждет хорошее дело, может быть куртажные или партия зерна?

Легко сказать — езжай в Одессу! Поездка в Одессу должна влететь в копейку. Но дело не стоит, надо ехать. Короче говоря, достал я займы несколько рублей, сел в поезд и помчался в Одессу. Прибыл в Одессу, стал я спрашивать, где стоит отель «Виктория». Наконец нашел его.

— Не у вас ли, — говорю я, — живет некто Горгельштейн?

— У нас, — говорят, — но только его сейчас нет дома. Он просил навеститься в десять часов вечера.

Наведываюсь в десять часов вечера — нет Горгельштейна. И меня просят прийти в десять часов утра, тогда я его застану. Прихожу в десять часов утра. Где Гор-

гельштейн? Нет Горгельштейна. Он только что ушел и очень просил передать еврею из Деражни, чтобы тот пришел в три часа пополудни или в десять часов вечера.

Прихожу в три часа пополудни, прихожу в десять вечера — нет Горгельштейна! Зачем долго толковать, провалялся я в Одессе шесть дней и шесть ночей, питался болячками, укрывался бедой. С великим трудом, с невозможными мучениями поймал я этого Горгельштейна. Он оказался порядочным человеком с красивой черной бородой, принял меня очень мило, попросил присесть.

— Это вы, — говорит он мне наполовину по-еврейски, наполовину по-немецки, — тот самый еврей из Деражни?

— Это я тот самый еврей из Деражни. В чем дело?

— У вас, — говорит он, — прошлой зимой останавливался один немец?

— У меня, — говорю, — а в чем дело?

— Дела никакого нет, — говорит он, — но этот немец мой компаньон. Я получил от него письмо из Лондона. Он просит, если я увижу вас в Одессе, передать вам дружеский привет. Он благодарит вас за хороший спокойный ночлег, и за ваше гостеприимство, и за любезность вашу, и за то, что вы с ним так честно обошлись. Никогда, пишет он, ему не забыть этого, никогда...

О, великая беда стряслась надо мной! Сейчас же после праздника я решил выехать из Деражни в другое местечко. Бежать, бежать куда глаза глядят, бежать к черту на рога, лишь бы избавиться от этого пакостника, от этого немца, да сотрется имя его и память о нем!..



БЕЛАЯ ПТИЦА

Монолог дамы

Не знаю, как вы, а у меня, хоть потоп, белая курица в канун Судного дня непременно должна быть! Скажу вам по чистой совести, я даже не понимаю, как я могла исполнить обряд «капорес», не будь у меня белой курицы! Мне кажется, я бы весь год потом боялась смерти. Так уж я привыкла с малых лет. Все на свете — привычка. Моя мама, надо вам знать, тоже не такая уж великая праведница, но этих вещей она как раз придерживается. Например: на пасху — пасхальный борщ, на швуэс — любисток, «капора» — белая, в хануку — бли-

ны, в пурим — гостинцы, и тому подобные богоугодные дела я соблюдаю, как настоящая раввинша. «Поминание душ» — для нее что зеница ока, а не слушать звуков рога * для нее гораздо большее несчастье, чем для меня не слушать — не будь рядом помянут! — Шалашина... И тем не менее, если бы вы ее знали, вы бы, наверно, подумали, что имеете дело с великосветской образованной дамой. Гете и Шиллер не сходят у нее с языка, с Цшоке * она ложится спать еще по сей день. А наступит месяц элул *, и она, вы бы видели, накрывает голову белым платком и начинает водиться с «мещанками». Боюсь, не советуется ли она с ними насчет свечей для синагоги... А потом — прошли покаянные дни — платок с головы долой, и снова Гете, опять Шиллер, сызнова Цшоке. Вот она какая женщина, моя мама, и в таком же еврейском духе она воспитывала нас, своих дочерей. Нас у нее было пятеро, и все мы вышли замуж по любви, то есть все мы были красивыми девушками, образованными и подавно, и приданого было за нами в банке по пятнадцати тысяч на каждую, — как же нас было не любить? Мы славились по всему свету, надо вам знать, не столько красотой и образованием, сколько добропорядочным воспитанием. А воспитание, знаете ли, — это великое, великое дело! Например, в некоторых отношениях мы были воспитаны нашей матерью очень свободно: мы могли говорить, с кем нам захочется, могли ходить, куда нам угодно, и делать могли все, что вздумается. Но в том, что касается еврейства, соблюдалась величайшая строгость! Например, снимите мне голову, но я не сниму левый башмак раньше правого! Володя смеется надо мной и издевается, но если бы я обращала внимание на все, над чем смеется Володя, у меня бы на пасху были одни куличи да крашеные яйца и ни кусочка мацы. Мой Володя в отношении еврейства немного того... То есть вообще — наоборот! К евреям он относится с величайшим уважением. Услышит, что на евреев свалилось какое-нибудь новое несчастье, погром, и ходит сам не свой. Помилуйте, еврей! Еврейская кровь!.. Но терпеть он не может еврейских ужимок, еврейских выходов... Однако пусть кто-нибудь чужой позволит себе сказать о евреях худое слово, он готов глаза вырвать. Станный он человек, Володя! Сколько раз слыхала я, как он хвастал перед господами, которые приходят к нам иногда поиграть в преферанс, что у нас есть свей,

еврейский, дипломат Герцль, который чувствует себя своим человеком у турецкого султана. А когда сионисты пришли к нему как-то за деньгами, он с ними долго спорил и доказывал, что они носятся с химерами и втемяшили себе в башку бог знает что... Ну а деньги? Думаете, не дал? Дал! Вот какой он человек — мой Володя. Сколько мне приходится спорить с ним из-за детей! Дети у меня, не сглазить бы, удачные, красивые, здоровые, свежие, ясные. Чего еще надо? Но ему, Володе то есть, хочется, чтобы они все знали. Знать? Пожалуй. Я тоже хочу, чтобы они все знали. Кто же не хочет, чтобы дети все знали? Но их здоровье для меня дороже. Я мать, быть может, не такая уж горячая, но все же мать, я знаю, что значит здоровье. Мои Сашка и Сонька, прежде чем они выросли, — э-ге-ге! А он их еще мучает, хочет, чтобы они все умели, все знали, даже еврейский, говорит он, они должны знать. Мало того что у них и гимназия, и музыка, и танцы, и всякая напасть, — не хватает им, видите ли, еще одного несчастья: учить еврейский! Если бы учили, по крайней мере, еврейский, как учат, например, немецкий, французский или английский. Или если бы еврейский учитель был таким же, как и все учителя. Но он, — не накажи меня бог за такие речи, — сама не знаю что. Володя тоже не выносит запаха этого еврейского учителя. Каждый раз после его ухода он раскрывает окно.

— На что он тебе нужен? — спрашиваю я.

— Нынче, — отвечает он, — еврейский язык в моде. Вот и надо, чтобы они учили еврейский.

Понимаете? Мода! На все мода! Карты тоже в моде. Мой Володя когда-то не знал преферанс, шестьдесят шесть... А сейчас он может засесть на целую ночь и играть до следующего вечера. Он уже почти не может обходиться без карт. Но куда он играл дома, меня это не трогало. Я и сама не прочь поиграть в преферанс, и очко мне не претит. У моей мамы мы все частенько играли в очко. Меня волнует, что он играет в клубе! Ох уж мне этот клуб! Сгореть бы всем клубам на свете! Во-первых, жалко денег. Играет он для того, чтобы выиграть, но проигрывает много денег! Я знаю, когда он выигрывает и когда проигрывает. Если пришел нервный, то есть прямо-таки помешанный, и вымещает на мне все, что на сердце, придирается на каждом шагу, — значит, проиграл. А времени сколько уходит?! Ночи! Ночи!

На первых порах, пока я узнала, куда он исчезает каждую ночь, я места себе не находила, чуть с ума не сошла! Каждый раз он придумывал новую отговорку. То третий суд на три ночи кряду, то заседание, а то просто приятель затащил к себе на преферанс. Но ведь я же Володю знаю. Знаю, когда он врет, а когда правду говорит. Если клянется и в то же время сердится — значит, врет. Я, конечно, стала вынюхивать, прощупывать и узнала, что он ходит в клуб. Камень с души свалился! Слава богу, что не еще куда-нибудь...

— Володя, — говорю я, — играть в карты ты разве не можешь дома?

— В клубе, — отвечает он, — видишься с одним, с другим, узнаешь, что на свете творится...

Чепуха! Это, как говорится, разговоры в пользу бедных.

— Володя, — продолжаю я, — подумай, ты оставляешь меня одну на целые ночи, детей в глаза не видишь... Бога не боишься, разбойник этакый!

А он отвечает, что терпеть не может сцен и не может слышать, когда я разговариваю с богом.

Я начинаю плакать. Тогда он хлопает дверью, уходит и является утром следующего дня страшно сердитый. Понимаете? Выходит, что я еще у него в долгу! Смотрю я тогда на своего Володю и вспоминаю то время, когда он за мной увивался, сватался, умолял, шаги мои считал, оберегал мою тень. Нелегко ему далось. Прежде всего он старался поправиться моей маме, выслушивал целые страницы из Гете, из Шиллера и Цшоке. Затем он читал ей книги, и обязательно романы, и обязательно такие, от которых и камню впору слезами изойти... Держал на руках ее нитки, летом помогал варить варенье, зимой играл с ней в карты, измотался вконец, и все ради меня. По мне он помирал, готов был целовать следы моих ног. Немалую муку вытерпел, пока дождался от меня доброго слова, потому что у меня тогда было три таких жениха, не менее привлекательных, чем он. Один из них — сейчас он доктор — был в меня влюблен прямо-таки до смерти. То есть все они подыхали по мне. А сейчас? Вздумай я вскружить кому-нибудь голову, — очень это мне трудно? Вот, к примеру, аптекарь Бренгольц, — который пляшет вокруг меня — он мне сказки рассказывает, хочет убедить, что я моложе на десять лет, — и который приходит как раз тогда, когда

Володи нет дома. Правда, я сама даю ему повод: хочу, чтобы Володя знал об этом и чтобы ему было досадно. Я сама потом ему рассказываю:

— Знаешь, кто здесь был?

— Бренгольц? — спрашивает он и хоть бы поморщился.

— Завтра, — говорю я, — мы с ним идем вдвоем на Шаляпина...

— С кем? С Бренгольцем?

Я смотрю на него в это время и думаю: «Погоди, я тебя дойму!» И спрашиваю:

— Как ты думаешь, Володя, ничего было бы снять вместе с Бренгольцем одну дачу?

— А что же тут такого? — отвечает он.

— Бренгольц, — говорю я, — предлагает мне поехать с ним в нынешнем году в Мариенбад.

— Пожалуйста! Счастливого пути!

Вот как? «Пожалуйста»? Ну, нет! Именно потому, что тебе хочется, я не желаю! Скажите на милость, что это стало с моим Володей? Товарищи втянули его в свою компанию... О, они умеют! От клуба ничего хорошего ждать не приходится. Из клуба каждую ночь ходят в «Парнас», в «Олимп», в «Аркадию» и тому подобные веселые места и довольно весело проводят время... Сгорел бы этот клуб! Сгореть бы картам! Сгореть бы этой компании. Когда-то мы с Володей просиживали целые ночи, и разговаривали, и разговаривали, и всегда нам хватало разных тем... Зато теперь у нас с аптекарем Бренгольцем достаточно разговоров на разные темы. Разговоры, вообще говоря, пустые: остроты, песенки, анекдоты. Ох и анекдоты у него, у Бренгольца, черт бы его побрал! И как раз анекдоты еврейские, хи-хи, разные. Я люблю хороший анекдот, слушать анекдоты мне никогда не надоедает. Вот и сидит он, Бренгольц то есть, ночи напролет и рассказывает мне анекдоты... Я знаю, что весь город обо мне говорит. Знаю отлично, что говорят обо мне, но меня это несколько не трогает! Меня волнует только то, что это Володю не волнует!.. Бог ты мой! Если бы в прежние годы, например, пришли к Володе и рассказали, что у меня просиживает по ночам какой-то аптекарь и рассказывает мне анекдоты... Ого-го! А нынче — ничего! Володя приходит иной раз поздно ночью и застаёт его у меня на балконе и — ничего.

— Что нового, господин Бренгольц?

И господин Бренгольц рассказывает ему новости. Володя курит, притворяется, будто внимательно слушает, а на самом деле думает в это время бог знает о чем, потому что голова его там... Хотите знать, где это «там»? Э, если бы я знала, было бы хорошо! Давно уже мне хочется это знать, уж я как будто и на кое-какой след напала. Недавно я у него из брючного кармана вытряхнула письмецо на розовой бумаге, пропитанное духами, за подписью «Маша»... Маша? Маша? Кто такая Маша? Вот уже две недели, как я ломаю себе голову и никак додуматься не могу... О, пусть я только узнаю наверное, уж он тогда не обрадуется! Будет ему Маша! У него в глазах «замашит».

Однако куда ж это я заехала? С чего я начала? Да, с белой курицы. Не знаю, как вы, а у меня, хоть потоп, белая курица в канун Судного дня непременно должна быть! «Как бела курица, так и я от грехов бела!» Так учила меня мама. Я следую ее примеру. Поэтому и курица мне нужна обязательно белая. И не только за меня, но и за Володю, за детей и даже за мою маленькую Лелечку, я тоже покупаю маленького белого цыпленка, маленькую белую курицу. Я за них всех приношу жертвы. Горе горькое, когда ты единственная еврейка в доме, единственная, соблюдающая еврейские законы и придерживающаяся еврейства... Я беру молитвенник, произношу молитву и верчу над головой свою жертву, повторяя: «Это да будет моей заменой, моим искуплением», — и чувствую, как крепнут мои силы, потому что это белая, белая «капора», как завещано богом!



ПРАЗДНИЧНЫЙ ЦИМЕС *

Монолог виленской женщины

Они говорят, бесстыдники эти, из нынешних, лихо им, будто тогда только люди будут счастливы, когда создадут ералаш: мое — твое, твое — мое... А вот я вам говорю, что если когда-нибудь такое случится, то это будет столпотворение, конец миру, земля кувырком. Вы только послушайте, что приключилось со мной в прошлом году, как раз в это время, в первый день кущей. Живу я, как вы, наверно, знаете, в переулке Гитки-Тойбы, в доме Гутки Нехиной. Хотя и то сказать, дом этот так же принадлежит Гутке Нехиной, как вы приходи-

тесь мне дядей. Хозяев в этом доме предостаточно: пять братьев, с божьей помощью, имеют в нем долю и две сестры. Братья-то все умерли, и сестры тоже умерли, но и те и другие оставили детей, и порядочно, можно сказать, детей. И дети никак не могут прийти к согласию насчет дома: то ли продать его, то ли разделить. Можно бы, правда, его сжечь, но жаль соседей, огонь полгорода унесет. Вот и не расстанутся наследники с этим домом, точно я — с моими горестями. Ни тебе крыши, ни лестницы, ни печи — курятник, черт его побери. А снимешь там койку, так изволь платить два с полтиной в месяц, да еще с копейками. А за что? За то, что с отоплением, видите ли. Такой бы жизни нашим врагам, какое там отопление, — разве лишь накануне субботы или под праздник какой слегка протопят. Хозяева говорят, что от такой пропасти жильцов само собой жарко... И в самом деле, жарко. Даже слишком. Подумайте, сколько жильцов, не сглазить бы, в одной квартире; вот подсчитайте: стекольщик Шмерл — это раз; мясник Пине-Меер — два; сморгонский меламед Нафтоле-Бер — три; вдовец Мойшке — вот вам уже четыре. Был бы он и вправду вдовцом — это бы еще с полбеды. Но он такой же вдовец, как вы губернатор. Когда-то он и в самом деле был вдовцом, да не повторится с ним такая беда, так это звание за ним и осталось. Теперь он уже, слава тебе господи, не вдовец. Наградил его бог ведьмой, хоть бы она подольше продержалась у него...

Да, чуть не забыла, а писец реб Йоше со снохой? Вы спросите, почему я говорю «со снохой», а не с сыном? Это потому, что сын пошел на войну, и реб Йоше уступил свой угол одной счастливой чете, которую у нас прозвали «Бунимовичи» *. А прозвали их так за то, что он калека, а она слепая, и оба загребают золото. У них-то деньжонки водятся; наверно, немалый капитал уже скопили, ведь всего два человека и оба — добытчики! Корректора реб Лейбе можно не считать, ведь, кроме субботы, его всю неделю и не видно; он человек занятой, у него не меньше десяти профессий, не считая работы в типографии: он и маклер священных книг, и посылный, и умеет трубить в рог, и псалмы читает, а в случае беды, если кто-нибудь тяжело заболит, реб Лейбе и амулет сочинит. Да разве перечислишь все его

занятия?.. Жена его тоже не сидит сложа руки, не беспокойтесь, она льет восковые свечи и торгует бобами, и — черт их знает — все равно бедняки!

Да, так на чем же мы остановились? Людей у нас полно дом. Но и это бы ничего, если бы все ходили молиться в одну синагогу. Так нет же, у каждого свой норв.

Если стекольщик, скажем, молится в синагоге стекольщиков, мясник — в синагоге мясников, а меламед — в Любавичской синагоге *, — это еще куда ни шло: каждого тянет к себе подобным, в свой цех. Но какое отношение имеет, спрашиваю я вас, вдовец к старой синагоге? Что он, такой уж знаток пения, без кантора Сироты * никак не может? Вы бы послушали этого вдовца, как он заливается по субботам. У самого-то голос недорезанного петуха, а еще хорохорится, лихо ему! Он так забивает всем головы своим «Благословен накормивший нас», что весь воскресный день у меня в ушах звенит. Не знаете ли вы, чем его там накормила его ведьма, разве лишь проклятиями и ругательствами! А потолкуйте с ней, то правда, выходит, на ее стороне: муж, говорит она, подобен чужбине — терпишь, пока не привыкнешь. Как вам это нравится?

Казалось бы, у меня больше оснований жаловаться на всевышнего: ведь мой-то и в самом деле овца овцой, палец о палец не ударит, день и ночь сидит в синагоге над священными книгами, а я, как вы знаете, не живу, а мучаюсь. Во имя чего, спрашивается? А мне, видите ли, кресло в раю уготовано. Вот и работай во все тяжкие, как ишак, да смотри, чтобы по субботам и праздникам у тебя все было по-царски. Почему только по субботам и праздникам? Потому что во все остальные дни муж кормится за счет Двойры-Эстер *. Чем его там кормят и как — в это я не хочу вдаваться. Знаю только, что, когда приходит суббота или другой какой праздник, у меня для него и хала есть, и рыба, и добрый кусок мяса, и тому подобное. В праздник у меня непременно и цимес должен быть: на пасху цимес из слив, на куши — из моркови.

И вот послушайте историю: в прошлом году накануне кушей морковь страсть как вздоржала. Привозить ее, что ли, перестали, кто их знает, только каждая

морковочка на вес золота. Но ничего не поделаешь, цимес моему мужу милее всего. Он и от рыбы готов отказаться, и от мяса, и от всего такого прочего, был бы только цимес. Хотя я-то знаю, что так только говорится, будто прочее ему нипочем, цимес ведь подается напоследок, — значит, нетрудно быть уступчивым.

Принесла я, значит, с базара морковь, почистила ее, нарезала и поставила к огню. Что мне вам сказать: райская еда! Недаром богачи едят цимес в будни, на это у них ума хватает. Богачи любят есть в будни то, что мы едим в субботу... Сварила я цимес и задвинула его в мой уголок — у нас у каждой жилички свой уголок в печи — и пошла на минуточку проведать сестру. У меня есть сестра Бейлка, так у нее вот уже десять лет как отнялись ноги, не про вас будь сказано, и все же она сама зарабатывает себе на пропитание: ощипывает птицу.

Зимой, значит, она щиплет перья, а летом вяжет детские чулочки и гарусные шапочки. Живет моя сестра вместе с еще несколькими семьями во дворе Лейбе Лейзера, на Еврейской улице. Ну, что плохого в том, спрашиваю я вас, что по случаю праздника я сходила на полчаса к сестре? Кстати, я ей и халу понесла, и кусок рыбы, пусть тоже почувствует праздник. Не чужое я ей понесла, упаси бог, все моим трудом добыто, даже перед мужем я не должна ответ держать — так кому какое дело?

Видимся мы с сестрой только по праздничным дням, вот мы и заговорились немного, и за мной пришли. Оказывается, муж успел уже вернуться из синагоги. Горе мне, наверно, сердится, небось проголодался, бедняга. Прибежала я домой ни жива ни мертва, а в шалаше * ужинает уже шестая по счету семья: у нас на всех жильцов один шалаш, и все разом не могут в нем поместиться. Слава богу, он мне ни слова не сказал, мой муж. Он не из тех мужей, которые что-нибудь скажут. Тихий человек. Но по тому, как смотрит, вижу, что он обижен: смотрит в книгу, значит, обижен. Правда, это редко бывает, чтобы мой муж не смотрел в книгу, но все зависит от того, как смотреть: можно смотреть по-одному, а можно и по-другому. На один глаз мой муж чуть

подслеповат, вот и получается совсем невесело... Я, конечно, оправдываюсь: то да се, целую неделю с сестрой не виделись. Куда там! Мой недоволен, смотрит в книгу. Поднесла я ему кружку воды руки помыть, потом подала рыбу: пахнет — объедение! За рыбой кусок мяса, бульон с клецками, все кругом хорошо. Дошло до цимеса, я и говорю ему, — ведь как-никак муж, который вечно сидит за священными книгами: «У меня сегодня цимес, скажу я тебе, сам царь не побрезговал бы, честное слово! Настоящий праздничный цимес, из моркови!» Услышав о цимесе, мой отложил книгу и ожил. А я тем временем направляюсь к печке. Смотрю — гром меня порази, горшок чист, хоть бы крошка осталась, цимеса как не бывало. Где же цимес? Нет цимеса! Я к тому, я к другому: «Не видели ли вы моего цимеса?» Пустое! Никто и слыхом не слыхал ни о каком цимесе. К счастью, нашлась соседка, которая сжалилась надо мной и сказала, что знает, куда девался мой цимес. Цимес, сказала она, приказал долго жить. Его давно уже съели, но кто съел, она боится сказать, потому что кому же охота связываться с кривой, с одноглазой, значит... Смотрю на своего — так и кипит! Уткнулся носом в книгу — и ни слова!..

Побежала я к этой счастливой чете, к Бунимовичам. «Как же так, говорю, погибель на вас, чем провинился перед вами мой цимес?» А она, кривая эта, отвечает: «Какой цимес?» — «Праздничный, говорю, из моркови». — «Дай вам бог здоровья, — говорит она, — на что мне сдался ваш цимес, если у меня был собственный цимес, пожирнее вашего». Это меня задело за живое: какова нахалка! Я же точно знаю, что у нее ни одной морковки не было, хотя бы на пробу, а она говорит, что у нее был цимес пожирнее, то есть получше, чем у меня. «Значит, говорю, у вас жирнее?» — «Да, говорит, жирнее!» Тогда я еще раз спрашиваю: «Жирнее?» И она еще раз: «Жирнее!» Тогда и я еще раз: «Жирнее, значит?» И она еще раз: «Жирнее!» Это было уж слишком. Пусть бы она отрицала, что разделалась с моим цимесом, это я, может быть, еще бы стерпела, я бы подумала: кто его знает, вдруг это и в самом деле не она, а кто-нибудь другой? Но утверждать, что у нее цимес был жирнее!..

Стоит ли рассказывать, что было дальше? Нехорошо получилось, очень плохо. Кто же виноват, что взяли людей и, словно кур, загнали их всех вместе в один курятник, и живи как знаешь! А вот подите же поговорите с ними, с нынешними, значит, с этими бесстыдниками, которые хотят завести новые порядки, все перемешать, устроить кавардак, и они вам докажут, что раз умные люди так говорят, значит, оно так и должно быть... А я вам еще раз скажу: это будет столпотворение, конец миру, земля кувырком и... С праздником вас!



ЗА СОВЕТОМ

— Вот уже третий день заходит к тебе какой-то молодой человек. Говорит, что ему очень нужно с тобой повидаться. По несколько раз в день навещает.

Эту, с позволения сказать, радостную весть мне сообщили, когда я однажды вернулся домой из поездки.

Я подумал: «Вероятно, сочинитель со своим произведением».

Звонок раздался, как только я сел к столу и принялся за работу.

Вот уже открыли дверь. Кто-то там возится в передней. Снимает калоши. Кашляет. Сморгается. Да, все

признаки «сочинителя». Что ж, я бы хотел скорей увидеть этого субъекта.

И вот он, с божьей помощью, входит в мой кабинет.

Он весьма любезно меня приветствовал. Точнее сказать: сделал какой-то замысловатый реверанс и, потирая руки, представился. Назвал свое имя — из тех имен, какие тотчас испаряются из вашего сознания.

— Присаживайтесь! Чем могу быть вам полезен?

— Я пришел к вам по наиважнейшему делу. Иными словами: дело, которое привело меня к вам, — чрезвычайно важное. Скажу более: дело это является вопросом моей жизни. Я думаю, что только вы поймете, в чем тут суть. Все-таки вы писатель, много пишете и, стало быть, знаете, что к чему. Иными словами: умеете взвесить и оценить все то, что происходит на свете. Да, именно так я думаю, то есть даже не думаю, а уверен, что это так...

Я поглядываю на посетителя. Это тип местечкового просвещенца, сочинителя. Молодой человек с бледным лицом и с жалобными черными глазами, которые как бы тоскливо говорят: «Пожалейте одинокую заблудшую душу!»

Нет, не люблю таких глаз. Я побаиваюсь их. В таких глазах никогда не бывает искры смеха или улыбки. Они всегда обращены вглубь. Мне решительно не нравятся такие глаза.

Я откладываю в сторону перо и говорю:

— А ну, покажите, что у вас там?

Ожидаю, что сейчас мой посетитель засунет руку за пазуху и выгребет оттуда изрядную рукопись. Быть может, это будет роман в трех частях — длинный, как еврейское изгнание. Однако не исключена возможность, что это будет драма в четырех актах, причем действующие лица будут носить имена: Мердерзон, Эрлихман, Фрумхарц, Битерцвайг¹ и тому подобные — имена, которые сами говорят, с кем вы имеете дело...

А впрочем, возможно, что это всего лишь стихи о Сионе:

Туда, в горы, его тянет,
Туда, где орлы парят,
И там пальмы зацветают,
Там пророки отдыхают,
Мудрость бога прославляют.

¹ Мердерзон — сын убийцы (еврейск.). Эрлихман — честный человек (еврейск.). Фрумхарц — благочестивая душа (еврейск.). Битерцвайг — горькая ветвь (еврейск.).

Мне хорошо знакомы такого рода вирши. Мне знакомы эти рифмы, от которых в ушах звенит и в глазах мелькают круги и точки. И пусто, как в самой дикой пустыне, сказал бы я, делается у вас на душе после чтения таких стихов.

Однако, представьте себе, на сей раз я ошибся. Молодой человек не засунул руку за пазуху и не выгреб оттуда рукопись. У него и в помине не было ни романа, ни драмы, ни стихов.

Поправив воротничок рубашки, обстоятельно откашлявшись, мой посетитель сказал:

— Видите ли, я пришел к вам, для того чтобы излить перед вами горечь своего сердца, чтобы посоветоваться с вами. Я думаю, что такой человек, как вы, можете меня понять. Вы так много пишете, что должны все знать, и, стало быть, можете дать мне хороший совет. Заранее скажу, я сделаю так, как вы посоветуете. Я даже могу дать честное слово... Однако простите, быть может, я отнимаю у вас время?

— Время не имеет значения. Рассказывайте, что с вами, — сказал я ему, почувствовав, как у меня с души свалилась огромная тяжесть.

Молодой человек придвинулся к столу и стал потихоньку изливать мне всю горечь своего сердца. Сначала он делал это спокойно, но потом увлекся и заговорил с жаром.

— Видите ли, я проживаю в одном маленьком местечке. Вообще-то говоря, местечко наше совсем не маленькое. Скажу более: это большое местечко. Это, пожалуй, город. Но этот наш город против вашего города — опять-таки маленькое местечко... Конечно, вы хорошо знаете наше местечко. Однако его название я вам не открою. Мало ли: вы можете его описать. А это меня не устраивает по многим причинам... Вероятно, вы хотели бы знать, чем я занимаюсь? Гм... Я занимаюсь... Вообще-то говоря, я ничем не занимаюсь. Иными словами: я пока ничего не делаю. Скажу проще: я нахожусь на харчах у своего тестя. Не на харчах, конечно, а на всем готовом. Еще бы: она единственная их дочь, и мы у них получаем все, что нам нужно. Не убедит у них от этого, даже если они будут нас содержать еще десять лет, потому что они состоятельные люди! Скажу прямо: они бо-

гачи. А для нашего маленького местечка так даже большие богачи. Короче говоря: у нас нет людей богаче, чем они.

О моем тесте вы, конечно, кое-что слышали. Но его имени я все-таки вам не открою. Это как-то не подобает при его положении. Хотя, между нами говоря, он любит, чтобы вокруг его имени был некоторый шум. Например, для бобруйских погорельцев он дал самое крупное пожертвование. И для города Кишинева он опять-таки дал больше всех. Что касается нашего города, то своим землякам он почти ничего не дает. Он не дурак: он хорошо знает, что в своем городе его и без того уважают. Зачем же ему и тут еще давать и неизвестно перед кем выхвально? Вот по этой причине он дает своим только фигу с маслом. А щедро жертвует только чужим, которые еще не знают, что он такой добрый. Но, впрочем, он и перед чужими бледнеет как покойник, когда к нему приходят с просьбой или за подаванием. Таким людям он кричит: «Ага! Вы пришли обирать меня? Нате мои ключи! Идите сами, ройтесь в моих шкафах. Берите у меня все!..» Вы, наверное, думаете, что он и в самом деле отдает им ключи? Нет, простите, вы ошибаетесь. Ключи от шкафа у него заперты в столе. А ключик от стола тоже неплохо где-то запрятан... Вот каков человек мой тесть. А каков человек — такова и его слава. В нашем местечке, между нами говоря, его называют свиньей. Но, конечно, за глаза. А вообще-то в глаза ему льстят. И так льстят, что с души воротит. А он доволен и все принимает за чистую монету. Поглаживает свой животик и живет припеваючи. Да, конечно, это и есть жизнь! Спрашивается: человек ничего не делает, живет в полном довольстве, сладко кушает, крепко спит. Ну, что ему еще нужно? Выспавшись, велит запрячь фаэтон и катается по грязи. А вечером у него собираются гости. А это почти все хозяева города. Они сплетничают. Болтают всякую чепуху. Смеются над нашими жителями и над всем миром. Засим подают им большой самовар. И тут мой тесть непременно усаживается играть в домино с резником Шмуел-Абе. Шмуел-Абе, должен вам сказать, носит пейсы, и все же он из нынешних. В белом воротничке, с начищенными сапогами, он не прочь поболтать с молодухами, хорошо поет, читает газету, отлично играет в шахматы и в домино. А в домино? А в домино он с моим тестем может играть целую ночь.

А ты сиди и смотри, как они играют. Можно сказать, уже рот разрывается от зевоты. Охота встать из-за стола, уйти в свою комнату и там взяться за книгу. Так нет! Уйти, оказывается, неприлично. Мой тесть на это крепко обижается. Он тогда надувается, как индюк, и перестает с тобой разговаривать. А глядя на него и теща перестает тебя за человека считать. А уж коли родители не в ладах с зятем, то их чадо единственное тоже, как говорится, свой нос в сторону воротит. А это чадо о себе высокого мнения. Еще бы: она у родителей «зеница ока», а если ей чуть нездоровится, то немедленно появляется доктор, и все ходуном ходит. Мудрено ли, если такое создание полагает, что весь мир сотворен только для нее. А между нами говоря: она если и не дура, то и не особенно умна. Нет, когда она говорит, то незаметно, что она глупа. Напротив того, она кажется как будто бы даже не глупой, а умной. Иной раз даже может показаться, что она исключительно умна. Но что значит для нее ум, если она избалована и распушена, как дикая коза? Целые дни она либо хохочет, либо плачет, а уж если плачет, то плачет, как малое дитя. Иной раз спрашиваешь ее: «Что ты плачешь? Чего тебе не хватает?» Стена скорей ответит, чем она. Но это еще полбеды. Жена если начнет плакать, то плачет до тех пор, пока не кончит. Вся беда в теще. Она тут же является на этот плач. Является в своей турецкой шали на плечах. Ломает руки. Воскликает что-то молитвенным тоном. А у самой голос грубый, как у мужчины. Спрашивает свое дитяtko: «Что с тобой? Ах, это опять твой разбойник, бандит и убийца?! Горе мне! Что ему до «зеницы ока». Что он, ее кровь пролил?» Тут разные слова сыплются у нее, как из мешка. И мне кажется, что язык у нее никогда не остановится. И мне делается дурно, у меня сердце щемит и душа тоскует от ее слов. Причем иной раз у меня появляется дикое желание схватить ее турецкую шаль, измять ее руками, растоптать ногами, а то и порвать на мелкие куски. Хотя, конечно, если здраво рассудить, то шаль тут ни при чем. Шаль как шаль, какие обычно привозят из Брод. Вероятно, вам знакомы эти турецкие шали? Они с крапинками, в клеточку и оторочены бахромой...

Тут я перебиваю моего молодого посетителя и строго ему говорю:

— Извините, но ведь вы хотели со мной посоветоваться о деле.

Посетитель тяжело переводит дыхание.

— Ах, простите, — говорит он, — я, кажется, отнимаю у вас время? Но все это чрезвычайно важно — то, о чем я рассказываю. Вы должны немного познакомиться с домом и с людьми. Только тогда вы до конца поймете мое положение и мое дело... Да, так вот является теща в своей турецкой шали. И тут ей кажется, что ее дитяtko, упаси боже, чувствует себя нехорошо, что оно не совсем здорово. Тогда в дело вмешивается тесть. Он велит запрячь фаэтон и посылает за доктором. Посылает за «новым доктором» — именно так называют у нас одного врача, черт бы его драл. Но имени его я вам не открою по некоторым причинам... Так вот, посылают за этим доктором. И тут-то и начинается вся эта история, которую я вам хотел рассказать для того, чтобы выслушать ваш совет...

Мой посетитель на минуту прерывает свою речь. Он вытирает платком вспотевшее лицо и придвигается ко мне поближе со своим стулом. И при этом он берет со стола какой-то предмет. Есть люди, которые непременно должны держать в руках какую-нибудь вещицу. Иначе они не могут рассказывать. А на моем письменном столе много всяких безделушек, и среди них имеется машинка для сигар в виде крошечного велосипеда. Так вот мой посетитель облюбовал себе именно эту вещицу. Сначала, рассказывая, он только смотрел на этот велосипедик, но потом взял его в руки и принялся вертеть колесики. В общем, эта машинка была в его руках почти все время, пока он рассказывал.

— Так вот, — снова заговорил он, — посылают за новым доктором. А в нашем местечке, да будет вам известно, докторов что собак нерезаных. Есть у нас доктора — русские, евреи, а также и врачи-сионисты, то есть такие, которые занимаются сионизмом. Но тот доктор, о котором я вам рассказываю, — совсем молодой доктор, местный портновский сын. Иными словами, его папаша был когда-то портным. Но сейчас он уже, конечно, не портной. Зачем ему быть портным, если его сын доктор? Вернее сказать: зачем сыну-доктору иметь папашу-портного? Скажу о папаше два слова, чтобы вам иметь представление и о нем... Это человек совсем низенького роста, косоглазый и с искривленным пальцем на правой руке.

Ходит он всегда в длиннополом ватном кафтане. А голос его напоминает трещотку. Целые дни он трещит и трещит о своем сыне: «Мой доктор вчера имел практику. Ну и практику! Мой доктор все умеет. Мой доктор!» Этот портной всем и каждому забивает голову своим доктором. К тому же, на беду всему городу, его сын — доктор по женским болезням. Иными словами: он акушер. И уж если у кого-нибудь в этом вопросе есть тайна, то эту тайну портной раззвонит по всему городу. Короче говоря: горе той женщине или девушке, которая попадает в руки к этому доктору и на язык к его папаше—портному. Была у нас одна девушка, которая...

Я снова перебиваю моего рассказчика:

— Простите, молодой человек, но вы же хотели рассказать мне о вашем деле?

— Ах, извините, — говорит он, — я чувствую, что отнимаю у вас время! Но как же быть? Ведь должен же я рассказать вам о докторе, который является моим злым гением! Ведь если бы не этот доктор, то все в моей жизни шло бы самым лучшим образом. Сообразите сами: чего мне не хватает? Детей мы пока не имеем. Жена у меня красавица, умница, единственная дочь у своих родителей. Когда они умрут, через сто двадцать лет, все их богатство перейдет к ней, то есть ко мне. Да и сейчас, тьфу-тьфу, не сглазить бы, я уже пользуюсь некоторым уважением. В гостях за столом меня всегда сажают на почетное место, как зятя богача. Во время богослужения в праздники я всегда иду первым за моим тестем. Не совсем, конечно, первым, но я иду вслед за кантором и раввином. А уж потом — все остальные. И даже, простите за выражение, в бане я встречаю такое же отношение. Едва начинаю раздеваться, как уж банщик кричит: «Расступитесь, люди! От дверей отойдите! Сейчас пойдет мыться зять нашего богача!» Нет, эти слова банщика мне неприятны, я такого внимания не люблю. Однако что значит — не люблю? Лесть всякий любит, и от почета никто не отказывается. Но только я-то знаю, что сам я еще этого не заслужил. Да, у меня тесть — богач. Вот пусть люди и лижут его. Дикари, скажу я вам, и только. А я-то тут при чем? Тем более — кто такой мой тесть? Вот он сейчас не слышит меня, и поэтому я могу вам сказать: он невежда! С ним и говорить-то не о чем. А она единственная их дочь. Чуть что, она бросается на постель и рыдает. И тогда, как я вам

сказал, теще посылает фаэтон за новым доктором, чтоб ему ни дна ни покрышки! Ах, поверьте мне, жизнь моя становится невыносимой, когда я вспоминаю об этом докторе. Именно тогда мне хочется схватить нож и зарезаться либо побежать к реке и утопиться!

Молодой человек загрустил, задумался.

Тут я спросил моего посетителя, стараясь подобрать самые деликатные слова:

— Значит, вы, так сказать, подозреваете, что ваша жена...

Мой посетитель вскакивает со стула, как ошпаренный.

— Упаси бог! — восклицает он. — Таких подозрений у меня нет! Что вы! Ведь это еврейская дочь! Это благочестивое дитя!.. Я говорю о докторе, об этом замечательном враче, сгореть бы ему! И главное, чтобы огонь сожрал его папашу, этого косоглазого портняжку, который всюду шляется в своем ватном кафтане! Шляется, грешит и барабанит по всему городу. Вы, вероятно, думаете, что он что-нибудь путное мелет? Нет, он мелет всякий вздор, чепуху! Язык у него длинный, вот он и мелет. Меня это трогает, как прошлогодний снег. Но беда в том, что у человека имеются уши. Уши же любят послушать, а хорошенько прислушиваясь, услышишь такое, чего слышать не хочется. К тому же надо знать наше местечко. Оно славится на весь мир обилием сплетников и клеветников с длинными языками. Скажу больше: если человек попадает к ним на язычок, он может попрощаться с жизнью!.. В глаза они мне ничего не говорят, но зато за глаза говорят такое, что я стал приглядываться и прислушиваться. Я стал ловить каждое его слово, когда он о чем-нибудь с ней беседовал. Нет, я ничего такого не усмотрел и ничего особенного не уловил из их разговоров. И только единственно, что я заметил: она становится совсем другим человеком, когда он приходит. У нее делается другое лицо и другие глаза, то есть человеком она остается таким же, каким и была. Но в глазах у нее вдруг вспыхивает какой-то блеск. И на лице у нее появляется какое-то иное выражение, чем при мне. Я спросил ее однажды: «Скажи, душенька моя, почему ты вдруг становишься совсем другим человеком, когда он приходит с визитом?» Нет, вы никогда не догадаетесь, что она мне на это ответила. Она ничего не ответила. Она только рассмеялась таким уничтожающим смехом, что я уж

думал — сквозь землю провалюсь. После этого бросилась она на кровать с рыданиями и потеряла сознание. Тут, конечно, прибежала теща в своей турецкой шали. Стала приводить ее в чувство. А тесть велел запрячь фаэтон и послал за новым доктором меня самого. И когда я привез доктора, то ей вдруг стало легче. Глаза у нее снова засверкали, как брильянты на солнце. И на щеках выступили розочки... Да, но вы представьте мое положение! Я же к нему должен был на дом ехать и везти его в фаэтоне к себе. А мне, может быть, легче в ад было войти, чем в его квартиру. Видели бы вы эту рожу! Красная, как бурак, вся покрыта прыщами, и притом вечно улыбается. Меня доктор встречает с особой улыбочкой. Со мной он сладок, как сахар, и мягок, как пластырь, приложенный к болячке. Его доброта ко мне, я бы сказал, беспредельна. Когда я как-то заболел модной болезнью — инфлюэнцей, он так старался меня вылечить, что мне даже стало это как-то не по нутру. И удивительное дело — чем он внимательнее ко мне, тем больше я его ненавижу. И пусть простит меня бог — не могу я его видеть. Особенно не могу в тот момент, когда он сидит у нас и с ней переглядывается. Вот тогда мне кажется, что я способен схватить его за шиворот и вышвырнуть вон. Это вернуло бы мне мое утраченное здоровье. Но я без этого, сударь, дал себе слово положить конец всему. Довольно мне терпеть его улыбочки и его взгляды, когда он приходит к нам и сидит возле нее. Сколько, я вас спрашиваю, можно выносить такой позор? Ведь клеветники и сплетники нашего города уже давно мною занимаются. Нет, я принял твердое решение: развестись с ней! Иного выхода у меня нет. Однако при этом решении у меня возникает мысль: а какая мне прибыль от того, что я с ней разведусь? Ведь, с другой стороны: тесть — богач, она — единственная дочь, все их — будет мое. Но тут же я думаю: «Черт с ними, все-таки разведусь, — иного выхода нет!» А как вы думаете?

Мой собеседник перевел дыхание, вытер лицо и кротко посмотрел на меня, ожидая, что я отвечу. Я сказал:

— Да, мне тоже кажется, что другого выхода у вас нет. К тому же и вашу любовь никак нельзя назвать пламенной. Да и детей у вас нет. И все эти сплетни в городе. На что вам все это?

Слушая это, мой собеседник смотрел на меня своими жалостливыми черными глазами и усердно вертел колесики велосипеда. Затем он придвинулся ко мне еще ближе и, тяжело вздохнув, снова заговорил:

— Вот вы говорите — любовь. О чем тут толковать? Нет, я не могу сказать, что я ее не люблю. Да и за что же, помилуйте, ее не любить? Ясно, что я ее люблю. И даже очень ее люблю... А что город сплетничает — так и пусть его сплетничает, если уж ему это так нравится! Нет, сударь, не это воспламеняет огонь в моей душе. Единственное, чего я не могу перенести, это лишь тот факт, что она радуется, когда видит доктора. Я задаю себе вопрос: а почему она не делается розовой и веселой, когда видит меня? Чем я, собственно говоря, хуже его? Может быть, тем, что он доктор, а я нет? Да, но если бы меня в свое время учили, то и я, быть может, стал бы врачом. И лечил бы людей не хуже, чем он. Уж поверьте мне на слово — я не только в этом заткнул бы его за пояс! Вот эти мысли несколько колеблют мое решение. А что, собственно говоря, произошло? Почему я должен дать ей развод? А, новый доктор? Ну, а как быть, если уже не этот доктор, а еще другой какой-нибудь черт появится? Где это написано, что молодой женщине нельзя быть знакомой с врачом? Это во-первых. А во-вторых, я спрашиваю вас, какой мне будет толк, если я все-таки с ней разведусь? Ведь я сам по себе сирота, без родных, без друзей. Вам-то легко сказать — разведись. Ну, разведусь, и что я тогда? Снова — бедный парень, которому опять надо начинать свою жизнь с начала и опять надо на ком-нибудь жениться. А откуда я знаю, что найду жену лучше, чем она? А вдруг я попаду в еще худший ад, чем было до сих пор? Уж тут-то я, так сказать, притерпелся и знаю, в чем состоит мое горе. Тем более что горе это все-таки до некоторой степени — горе наследного принца, которому через энное количество лет достанется все. А в противном случае — что? В противном случае я снова должен пускаться на всякие комбинации и, так сказать, спекулировать моей жизнью. А ведь жизнь — это игра, лотерея. А? Не так ли? Или, по-вашему, не лотерея?

Я ответил моему посетителю:

— Да, отчасти игра, лотерея. И если так думать, то, пожалуй, вам и в самом деле лучше не разводиться, а закончить дело миром.

Мне самому понравился мой совет, который так отчетливо повернул все дело на путь мирных решений. Мне даже на минуту показалось, что беседа с моим посетителем подошла к концу. Но не тут-то было! Мой посетитель яростно схватил со стола велосипедик и, завертев колесики, сказал мне прямо в лицо:

— Вы говорите — помириться с ней? А доктор, доктор с прыщевой мордой, черт бы его в клочья дра! А папаша доктора — этот косоглазый портной? Ведь этот портняжка и без того ходит по городу и барабанит, что дочь моего тестя собирается со мной разводиться! Нет, вы понимаете ли всю низость этого портняжки, который звонит об этом? Ясно: теперь весь город знает, как обстоят мои семейные дела. Но, с другой стороны, я сам себе задаю вопрос: уж если теперь весь город знает, то что же я в таком случае теряю? Да я ровным счетом ничего не теряю, если тот же папаша-портняжка об этом трезвонит. Извините за афоризм: дрянь дрянью и останется. Но, с другой стороны: если уже весь город говорит о моем разводе, то прилично ли мне придерживаться иных решений? Нет, сударь, увы, у меня нет другого выхода, кроме развода. А? Не так ли? Как вы думаете?

Я отвечаю моему посетителю:

— Пожалуй, что вы правы. Уж если весь город обсуждает ваш развод, то при всяком другом вашем решении вы окажетесь в несколько деликатном положении.

Надвинувшись на меня со своим стулом, посетитель почти кричит:

— Ага! Стало быть, по-вашему, я непременно должен дать ей развод? Нет, сударь, вы хорошенько обдумайте все это дело, прежде чем так опрометчиво говорить! Вот, к примеру, вы раввин, и я прихожу к вам с женой разводиться. Естественно, вы меня спрашиваете: «Скажи мне, молодой человек, по какой причине ты хочешь развестись со своей супругой?» Какой же, к примеру, ответ я должен дать раввину? Или, по-вашему, я должен ему ответить: «Она смотрит на доктора, а он на нее». Да разве в таком ответе заключается какой-нибудь смысл? Но ведь другого-то я ничего не смогу ему ответить. Да как же я после этого буду выглядеть перед всем миром, если я с ней из-за этого разведусь? Ведь это каждый скажет, что он взбесился: развелся с женой-красавицей в тот момент, когда все их богатство через сто двадцать лет

будет принадлежать ему. Да и вы тоже мне скажете: да вы взбесились, с ума сошли. А? Не так ли?

— Да, я тоже говорю: взбесились, с ума сошли.

Тут мой собеседник приблизился ко мне так, что наши ноги почти сплелись вместе. Откинув в сторону велосипедик, который сломался, посетитель взялся за мою чернильницу. Шумно вздохнув, он торопливо забубнил:

— Да, вам легко сказать, что я взбесился! Хотелось бы мне знать, как бы вы сами поступили, если бы такая история случилась с *вами*?! Нет, вы подумайте на минутку: *ваш* тесть — невежда, теща ходит в турецкой шали, ворчит мужским голосом, жена все время лечится у врача, а весь город тычет на *вас* пальцем и за глаза говорит: «Муж козы». Да вы, сударь, посреди ночи вскочили бы с постели и удрали бы за тридевять земель! А? Что? Разве не так?

Я говорю моему посетителю:

— Да, это так. Пожалуй, я и в самом деле вскочил бы среди ночи, развелся бы с ней и удрал бы за тридевять земель!

Мой посетитель кричит на меня:

— Вам-то легко сказать: вскочил, развелся и удрал за тридевять земель! Удрал! Кто удрал? Куда удрал? В могилу, что ли? Да вы сообразите сами: ведь она единственная дочь. Все ее через сто двадцать лет будет моим! Это что? Это тоже, по-вашему, ничего? А к этому добавьте или, вернее, спросите самого себя: что я имею против нее? Нет, попробуйте ответьте мне, *что я имею против нее*?

— А в самом деле, — спрашиваю я моего посетителя, — что вы имеете против нее?

— То есть как что? — отвечает он. — А доктор? О докторе-то вы и забыли? До тех пор, пока он посещает наш дом, видеть ее не могу.

— Ну, в таком случае вы должны с ней развестись.

— А какая мне от этого будет прибыль? — кричит посетитель. — Ну, допустим, я разведусь, и что я тогда буду делать в нынешние тяжелые времена?! Нет, вы не увливайтесь, а будьте умницей и дайте на это ответ!

— Пожалуй, — говорю, — вам не надо разводиться.

— Не давать развода, а как же доктор... Пока...

Я хочу положить конец нашей беседе и поэтому решительным тоном говорю:

— Вам надо с ней развестись.

- Развестись? А какой прок мне от этого?
- Ну, тогда не разводитеесь.
- А доктор?!

Я не сумею объяснить вам, что именно со мной случилось. Видимо, кровь ударила мне в голову. В глазах потемнело. Во всяком случае, я схватил моего собеседника за горло, прижал его к стене и не своим голосом закричал:

— Развод! Дай ей развод, выродок этакий! Разводись, разводись! Разводись!!!

.

На наши крики сбежалась вся моя семья. Что такое? Что тут случилось?

Да нет, как будто бы ничего не случилось.

Однако я и сам себя не узнал, когда взглянул в зеркало на свое помертвевшее лицо.

Я долго жал моему посетителю руку, просил у него прощения и умолял позабыть то, что произошло между нами. Я сказал ему:

— Иной раз бывает, что человек по неизвестной причине выходит, так сказать, из себя...

Мой посетитель был чрезвычайно растерян, смущен и во всем соглашался со мной. Он соглашался с тем, что человек сам себе не хозяин и действительно иной раз выходит из себя.

Засим посетитель мой почтительно и вежливо поклонился и, потирая руки, ушел, причем, уходя, деликатно произнес:

— Не обижайтесь, если я отнял у вас время. Большое спасибо за совет. Будьте здоровы!

— Счастливого пути! Но благодарить не за что.



У ДОКТОРА

Хочу вас попросить, господин доктор, об одном: чтоб вы меня выслушали. То есть не болезнь мою выслушали, — о болезни мы поговорим потом. Уж я сам растолкую вам, в чем состоит моя болезнь. Я хочу, чтобы вы выслушали меня самого, потому что не всякий доктор любит выслушать больного. Не всякий доктор дает поговорить. У докторов манера: они не дают говорить. Они знают только щупать пульс, смотреть на часы, прописывать рецепт и брать за визит. О вас я слышал, что вы не из таких докторов. Вы, говорят, еще молодой доктор, еще не так жадничаете, не тянетесь за рублем, как

другие. Поэтому, стало быть, я и пришел к вам посоветоваться относительно моего желудка. Я, видите ли, человек с желудком. Правда, по вашей докторской науке выходит, что каждый человек обязательно должен иметь желудок. Но в каком случае это говорится? В том случае, когда желудок — это желудок. Но если желудок — это не желудок, а черт знает что, то к чему вся жизнь? Вы, пожалуй, ответите мне изречением: «Не по своей воле живешь»? Но это я знаю без вас. За это самое «не по своей воле» меня еще в хедере секли. Я говорю о том, что человеку, покуда он жив, умирать не хочется. Хотя, если правду говорить, я сам смерти вообще не боюсь. Потому что, во-первых, мне уже перевалило за шестьдесят, а во-вторых, я такой человек, для которого что жить, что умереть — одна и та же радость. То есть жить, конечно, имеет больше смысла, чем умереть, потому что кому же это хочется умирать? А тем более еврею? А тем более отцу одиннадцати детей, дай им бог здоровья, и с женой, хоть и третьей, а все же женой.

Короче говоря, сам я каменецкий, то есть не из самого Каменца, а из местечка неподалеку от Каменца. Кроме того, я — горе мне! — мельник, держу мельницу, то есть мельница держит меня, потому что, как вы скажете: «Залез, так лежи!» А что поделаешь? Жизнь — колесо, понимаете ли, вот оно и вертится! Посудите сами: за пшеницу надо платить наличными, а муку раздаешь в кредит, вексель туда, вексель сюда, и дело приходится иметь с грубыми существами, да еще с женщинами. Вы любите иметь дело с женщинами? Поди отчитывайся перед ними: почему то да почему это? Почему у них не удались булки? А я чем виноват? Может быть, говорю, у вас мало жару? Или дрожжи были плохие? Может быть, у вас были сырые дрова? А они еще на вас нападают, смешивают с грязью и обещают, что в следующий раз булки полетят вам в голову... Вы любите, когда булка летит вам в голову? Таковы те, что покупают в розницу. Но вы думаете, что оптовики лучше? Тоже не лучше! Поначалу, когда покупатель приходит на мельницу и хочет получить кредит, он мягок, словно масло, льстит вам, рассыпается в комплиментах, хоть прикладывай его к болячке. Но потом, когда дойдет до платежа, он предъявляет вам целый список претензий: транспорт прибыл к нему с опозданием, мешки оказались рваными, мука горчила, была тухлая, то есть ле-

жалая. Беды и напасти, восемнадцать недостатков и семьдесят семь отговорок!

— А деньги?

— Деньги? — говорит он. — Пришлите счет!

Дело как будто наполовину улажено. Пошлешь получить по счету, отвечает: «Завтра». Придешь завтра — говорит: «Послезавтра!» Прошлогодний снег! Начи-наешь страшать его протестом и подаешь на него в суд. Ну, а если подал, так что же? Получаете «лист». А придешь с «листом» описывать, и оказывается, что все значит на имя жены, — и изволь, ругай его, сколько тебе угодно!

Вот я и спрашиваю: как при таких делах не заболеть желудком? Недаром мне говорит моя, хоть она у меня не первая, третья она у меня, а третья жена, вы скажете, что солнце в декабре... Однако и от нее не отмах-нешься, — все-таки жена... Вот она и говорит:

— Брось, Нойах, брось мучное дело. Пускай оно сгорит вместе с мельницей, тогда я буду знать, что ты живешь на свете!

— Э-ге-ге! — отвечаю я. — Кабы мельница захотела гореть! Она неплохо застрахована...

— Не о том, Нойах, я думаю! — говорит она. — Я думаю о том, что ты все время носишься: ни тебе субботы, ни тебе праздника, ни жены, ни детей. А чего? Чего ты крутишься?..

А я знаю? Я и сам не знаю, чего я кручусь. Что же мне делать, раз у меня натура такая, ко всем чертям! Люблю крутиться! Может быть, вы думаете, что я имею что-нибудь от этого кручения? Горести я имею! Какое бы дело мне ни предложили, я принимаю. Нет ничего такого, что бы мне не подошло. Мешки? Можно и мешки. Дрова? Дрова! Торги? Торги! Вы небось думаете, что у меня, кроме мельницы, никаких дел нет? Ошибаетесь! Я, видите ли, с компаньоном торгую лесом, который мы рубим, и поставляю провиант для тюрьмы, и имею долю в откупе коробочного сбора, и теряю на этом деле столько, что вы могли бы себе пожелать зарабатывать такую сумму ежемесячно (я вам не враг!). Вы спросите, на что мне это нужно? Общине назло! Я, знаете ли, человек горячий: пускай хоть весь город провалится и я вместе с ним, лишь бы поставить на своем! Вообще-то я по натуре человек неплохой, но ужасно

капризный, вспыльчивый то есть! Честь мою задеть — спаси и помилуй бог! Да и упрям я к тому же: когда-то, в добрые времена, я за честь в синагоге готов был до крови драться! Синагогу осудили, а я своего добился! Ну, что поделаешь? Такая уж у меня кровь! Это нервы, говорят они, доктора то есть, и имеет отношение к желудку. Хотя, если здраво рассудить, то это как будто бы ерунда. Какое касательство имеют нервы к желудку? Сказали тоже! Где нервы, а где желудок? Ведь нервы, по вашей докторской науке, главным образом, кажется, там, где мозги? А желудок — бог знает где, на каком расстоянии!.. Погодите, я сейчас кончаю, куда вы так торопитесь? Посидите еще минутку. Ведь я хочу рассказать вам подробно, чтобы вы меня выслушали и сказали, откуда у меня взялось такое несчастье, то есть желудок я имею в виду. Может быть, это оттого, что я постоянно скитаюсь, что никогда меня дома нет, и даже когда я дома, меня тоже дома нет. Клянусь вам честью, это смешно слушать и позор говорить — ведь я даже не знаю, сколько у меня детей и как их зовут. Нехорошо, знаете ли, без хозяина и без отца! Посмотрели бы вы у меня дом, не сглазить бы, и обзаведение! Корабль без руля! Днем и ночью тарарам, гармидер, спаси, господи, и помилуй! Шутка ли сказать, одиннадцать детей, не сглазить бы, от трех жен! Один пьет чай, а другой в это время обедает. Я молюсь, а другому спать хочется. Один щиплет булку, а другому хочется селедки, одному подавай молочное, а другие кричат в один голос: «Мяса!» А когда садишься за стол, нет ножа, нечем хлеба кусок отрезать, а среди малышей вечный шум, ад, драки, хоть беги куда глаза глядят! А из-за чего все это? Все из-за того, что мне вечно некогда, а она, моя то есть, не сглазить бы, очень добрая, то есть не то чтобы добрая, а мягкая, не умеет обращаться с детьми. С детьми надо уметь обращаться. Вот они и лезут к ней на голову... Она, правда, их проклинает, щиплет, куски мяса вырывает, но что толку? Все-таки это мать. А мать — не отец. Отец разложит и выплет ребенку. Я знаю, что меня отец сек. И вас, может быть, отец сек? Что же вы думаете? Благо вам! Не знаю, было бы для вас лучше, если бы вас не секли? Куда вы торопитесь? Я скоро кончаю. Я не зря вам рассказываю: это для того, чтобы вы поняли мой образ жизни. Может быть, вы думаете, что я знаю, какое у меня состояние? Воз-

можно, что я человек богатый и даже очень богатый, а возможно, — это, конечно, между нами, — что я банкрот... Я знаю? День и ночь только то и делаешь, что заплаты ставишь: отсюда стекло вынул, туда вставил, — а что делать? Можно ли, нельзя ли, а приданое дать своему ребенку надо? Тем более что господь наделил дочерьми, да еще взрослыми к тому же! А ну, попробуйте иметь трех взрослых дочерей, не сглазить бы, — всех троих в пору в один день под венец, — посмотрим, сможете ли вы хотя бы один день дома усидеть! Теперь вы понимаете, почему приходится крутиться и метаться? А когда мечешься, можно и простуду в вагоне схватить, можно и поужинать в заезжем доме так, что потом еле жив останешься. А запахи, которых нанюхаешься, а замечательный воздух... Диво ли, что у тебя желудок? Счастье, что я по натуре человек не болезненный, смолу крепкого здоровья. Вы не смотрите на меня, что я такой тощий и высохший, — это дела меня высушили, а кроме того, у нас рост такой, порода — высокие и тощие. У меня было несколько братьев, и все они, царство им небесное, такие же были, как я. И все же я всегда был здоровым человеком, не знал никакого желудка, ни доктора, ни черта-дьявола, дай бог и дальше не хуже. Но с некоторого времени меня начали пичкать лекарствами, пилюлями, порошками и кореньями, и каждый придумывает что-нибудь свое: один велит, чтобы я придерживался диеты, то есть быть «недоедой», чтобы я ел поменьше. Другой говорит, чтобы я вообще не ел, то есть чтобы я постился. Думаете, это все? Является новый умник доктор и наказывает, чтобы я обязательно ел, и побольше! Сам, видно, не дурак покушать! У всех докторов такая манера: все, от чего они сами не отказываются, они и больным советуют. Удивляюсь только, что они не велят глотать рубли... С ума от них можно сойти! Один доктор наказывал мне много ходить, просто так ходить, шагать... Пришел второй и велел лежать, — поди угадай, кто из них глупее... Чего вам больше: один кормил меня ляписом, чуть ли не круглый год один ляпис! Прихожу к другому, а он говорит: «Ляпис? Упаси бог! Ляпис для вас — отравла!» И прописывает мне порошок, желтый такой порошок. Вы, наверное, знаете, какой это порошок? Прихожу с этим порошком к третьему доктору, а он как схватит этот желтый порошок, да как разорвет рецепт, и прописывает мне коренья. Но какие, думаете,

коренья? Покуда я привык к этим кореньям, можете мне поверить, мне всю желчь наружу вывернуло! Сбылось бы на этом докторе хотя бы половина того, что я ему, бывало, желаю, когда мне надо было принимать это зелье перед едой. Смерти в глаза каждый раз глядел! Но чего только не пьет человек ради того, чтобы быть здоровым? А в конце концов, когда я снова пришел к первому доктору, который меня кормил ляписом, и рассказал ему историю с горькими кореньями, которые омрачают мне жизнь, он вскипел от злости и стал кричать на меня, как если бы я его зарезал:

— Ведь я же вам прописал ляпис! Зачем же вы бегаєте как сумасшедший от одного доктора к другому?

— Тише! — говорю я. — Ведь вы же не один на рынке! Контракта я с вами не подписывал, а жить хочет каждый: у того доктора тоже есть жена и дети!..

Он загорелся, вы бы видели, как будто я ему бог знает что сказал! Словом, он меня попросил обратиться к тому доктору.

— В советах, — сказал я, — я не нуждаюсь. Если захочу, я и сам могу пойти.

И кладу ему рубль. Может быть, вы думаете, что он мне его швырнул в лицо? И не подумал! Рубли они любят. Ох, знаете, как они любят рубли! Гораздо больше, чем мы, простые людишки. А нет того, чтобы сесть, например, и выслушать больного как следует быть! Лишнего слова сказать не дают. Вот был я недавно у одного доктора, вашего же знакомого, — не хочу его называть по имени. Только я вошел, не успел двух слов сказать, — ага! Он уже велит мне, извините, раздеться и лечь на кушетку. В чем дело? Он, видите ли, желает меня выслушать. Хочешь меня выслушать? Прекрасно! Выслушай! Почему же ты мне говорить не даешь? Что мне от этого шупания и от выстукивания? Нет, у него нет времени! Его, говорит он, ждут за дверьми люди, у каждого своя очередь. Пошла у вас нынче мода — «очередь», как, скажем, на вокзале или на почте, где продают марки... Что? Вам тоже некогда? У вас уже тоже, может быть, «очередь»? Но ведь вы же еще молодой доктор! Откуда у вас «очередь»? Знаете, если вы будете так себя вести, у вас будут огорчения, а не практика!.. И сердиться вам нечего. Я не имел в виду бес-

платно, упаси бог. Не такой я человек, чтобы хотеть бесплатно. И хоть вы и не захотели выслушать меня до конца, все же одно другого не касается, за визит надо вам уплатить... Что? Не хотите брать?.. Ну что ж, принуждать вас я не стану... Наверное, у вас есть средства к существованию... Купоны небось стрижете... Растут они у вас... Ну что ж, помогай вам бог, пусть они у вас растут и растут... Адье! Извините, может быть, я отнял у вас время... Но на то вы и доктор..



«ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ»

Если угодно, я расскажу вам про одну беду, которая приключилась со мной; сам я эту беду наделал и чуть от нее не погиб. И почему все это? Потому, что я был неопытный, наивный молодой человек. Собственно, я и сейчас не умник; был бы я умником, так у меня, как вы говорите, водились бы денежки, а с деньгами человек умен, и красив, и талантлив...

Был я, значит, молодоженом и жил на полном содержании у тещи и тестя, сидел и изучал тору *, заглядывал иногда в светские книжки, но тайком, чтобы не увидели тесть с тещей. Теща моя, надо вам знать, не

женщина, а мужчина, то есть она женщина, но в сюртуке, всеми делами сама ворочает, сама детей просватала, сама выбирала женихов для дочерей. Меня она тоже сама нашла, сама проэкзаменовала и привезла в Звогель из Радомысли. Родом я радомысльский, вы, наверное, слышали о нашем Радомысле, про него писали недавно в газетах...

Итак, сидел я в Звогеле на полном содержании, протирал штаны над «Море Небухим»* и носа не казал на улицу, до тех пор пока не пришло мне время приписаться к призывному участку. Понадобилось мне, стало быть, прогуляться домой, в Радомысль, справить бумаги, выхлопотать, как водится, льготу и получить паспорт. Это был мой первый выезд в свет. И вот пошел я на базар нанимать подводу, пошел один, чтобы доказать, что я сам себе хозяин. Бог послал мне находку: я наткнулся на радомысльского мужичка, — дело было зимой, — мужичка с санями, крашеными, широкоспинными, размалеванными по бокам всякими птицами. О лошади, о том, что она белая и что белая лошадь, как утверждает моя теща, сулит несчастье, я и не подумал.

— Дай бог соврать, — сказала она, — но боюсь, что поездка эта будет ох какая неудачная...

— Тилун тебе на язык, — сказал ей тесть и сейчас же спохватился, но получил он, конечно, по заслугам, хотя и успел шепнуть мне: — Волос долог...

Начал я готовиться к путешествию. Упаковал свои филактерии* и талес, пирожки, несколько карбованцев на расходы и три подушки: одну для сиденья, другую для спины и третью для ног. И давай прощаться! Подошла последняя минута, а слов у меня нет. Такая уж у меня привычка: как надо прощаться, так у меня отнимается язык. Мне и на ум не приходит, что полагается говорить в таком случае. Грубо это как-то получается, когда человек поворачивается ко всем задом и оставляет их с носом. Не знаю, как у вас, но для меня прощанье тяжелая церемония. Однако погодите! Я, кажется, залез бог знает куда...

Распрощался я, значит, и поехал в Радомысль. Было это в начале зимы, снега залегли рано, санный путь был хорош. Лошадка, хоть она и белая, летит, как песня. Мужичок попался мне молчаливый, из той породы мужичков, которые на все вопросы отвечают «эге» (да)

или «ни» (нет) и дальше ни тпру ни ну, хоть режь его!.. Поехал я из дому после обеда в наилучшем расположении духа, одна подушка подо мной, другая за спиной, а третья в ногах; лошадка несется, извозчик погоняет, сани хрустят, ветер дует, и падает мелкий снежок; он ложится, как пух, на широкий тракт, я чувствую себя превосходно, очень превосходно, душа моя светится. В первый раз в жизни выехал в свет, сам себе господин, что хочу, то и делаю! Прислонился я к спинке, разлегся, как пан... Но зимой, как тепло бы ни были вы одеты, мороз продирает вас, и хочется вам остановиться где-нибудь, согреться, отдохнуть и тогда уже ехать дальше. Мне представилась, в воображении, конечно, теплая корчма, кипящий самовар, горячий бульон, заливной соус... Сердце сжимается от этих мыслей, ох как хочется перекусить. Завел я с моим извозчиком разговор насчет корчмы, пытаюсь узнать, далеко ли она..

— Ни, — отвечает он.

— Близко? — спрашиваю.

— Эге!

Как близко — выпытать невозможно, хоть ноги протяни. Я вообразил себе, что было бы, если б на месте моего мужичка сидел еврей-балагула. Тот рассказал бы не только, где корчма стоит, но и кто ее арендует, и как зовут арендатора, и сколько у него детей, и сколько он платит за аренду, и кто был арендатором до него, наговорил бы три короба... Станный это народ, наши евреи, пусть они будут здоровы!.. Совсем другая кровь, право!.. Мечтал я, стало быть, о теплой корчме, фантазировал о горячем самоваре и тому подобных хороших вещах до тех пор, пока бог не смилостивился: извозчик дернул вожжу, повернул сани в сторону, показалась небольшая серая изба, засыпанная снегом до самой макушки; степная корчма, которая в белоснежной этой пустыне выглядела заброшенной, забытой могильной плитой...

Лихо подъехав к корчме, мой мужичок поставил сани и лошадь в сарай. Я вошел в избу, открыл дверь и... ни туда, ни сюда. В чем дело? Хорошенькая история, хоть и короткая. Лежит посреди корчмы на полу мертвец, покрытый черным, в головах у него стоят два медных подсвечника с крохотными свечками, вокруг мертвеца сидят малые дети, оборванные и заморенные. Они бьют себя по голове кулачками и кричат, ревут, уби-

ваются: «Ма-ма! Ма-ма!» — и кто-то высокий, длинноногий, в драной летней накидке, одетый совсем не по сезону, шагает из угла в угол, то и дело заламывая руки, и разговаривает сам с собой:

— Что делать? Что делать и с чего начать?

Я понял, конечно, куда я попал. Первой моей мыслью было: «Беги, Нойах!» Я отскочил и хотел ретироваться, но дверь закрылась, земля притянула меня к себе, как магнит, ноги мои приросли к порогу, и я не мог двинуться с места. Заметив свежего человека, высокий корчмарь ринулся ко мне и простер руки, как утопающий.

— Беда приключилась со мной, — сказал он и показал на воющих ребятишек, — они потеряли свою маму. Что делать? Что делать и с чего начать?

— Благословен судья праведный! — произнес я и попытался, как водится, утешить его цитатами из Библии, но корчмарь перебил меня и обратился ко мне с ниже следующей речью:

— Выслушайте меня и поймите. Она была мертва, жена моя, еще год назад. У нее была эта болезнь, самая эта чахотка, и она просила себе смерти, но в чем же остановка? Остановка в том, что мы сидим здесь в степи. Что делать? Что делать и с чего начать? Я пошел бы в деревню, достал бы подводу и отвез бы ее в город, но как оставить детей одних в глухой степи? А ночь близка, караул, что делать? Что делать и с чего начать?..

И корчмарь странно как-то заплакал, без слез, словно он смеялся, и издал при этом удивительный какой-то звук, будто закашлялся: «Ту-гу-гу!» Он ранил мое сердце, этот человек! Что там голод и холод? Я забыл обо всем на свете и сказал ему:

— Я еду из Звогеля, еду в Радомысль, сани у меня хорошие... Если до города недалеко, я могу вам услужить и дать вам сани. Сам же я подожду здесь...

— Дай вам бог вечную жизнь за ваше доброе сердце! Царствие небесное заработаете вы себе этим, честное слово! — так говорит корчмарь и осыпает меня поцелуями. — Городок отсюда недалеко, четыре-пять верст, это займет не больше часа, я сейчас же отошлю вам сани. Царствие небесное заработаете вы себе этим, честное слово! Дети! Встаньте и благодарите этого молодого человека, целуйте ему руки и ноги, он дает нам

свою полводу, я отвезу маму на кладбище!.. Царствие небесное, честное слово, царствие небесное!

Я сказал бы слово «радость», но оно будет здесь некстати, потому что дети, услышав, что сейчас отвезут их мать, припали к ней и начали рыдать и выть с еще большей силой. Новость все-таки ошеломила их, что вот нашелся наконец человек, который оказывает им такую услугу. Сам господь послал его им! Они смотрели на меня, как на спасителя, на Илию-пророка, и я должен открыть вам чистую правду: я сам тоже считал себя в эту минуту необыкновенным человеком. В эту минуту я готов был сдвинуть гору, перевернуть весь мир, не было такой вещи, которую я не согласился бы совершить, и у меня вырвались следующие слова:

— Знаете что, я с моим мужичком, мы сами отвезем ее. Зачем затруднять вас, зачем отрывать вас от детей?

Чем больше я говорил, тем больше рыдала эта семейка. Рыдала и взидала на меня, как на посланника неба, я выросал в своих глазах все выше и выше, почти до самых небес, и в ослеплении своем я забыл даже о моем страхе перед мертвецами. Я помог вынести покойницу и уложил ее в сани. Извозчику я пообещал лишний полтинник и лишнюю рюмку водки. Мой мужичок почесал у себя за ухом, пробурчал что-то, но после третьей посуды смягчился, и мы отправились в путь втроем; я, мой извозчик и покойница корчмарка Хаве-Нехама, так звали ее. Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла, я помню это, словно это случилось вчера, потому что всю дорогу я зубрил имя, сообщенное мне ее мужем. Он несколько раз повторил его, потому что для похорон надо ведь знать точное имя. Всю дорогу зубрил я наизусть: «Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла!» И покуда я зубрил ее имя, имя ее мужа вылетело у меня из головы, хоть вскрый себе череп. Корчмарь особенно просил меня запомнить, как его зовут, он уверял меня, что стоит мне только назвать в городке его имя, как у меня тотчас же выхватят покойницу, и я смогу поехать дальше. Он, корчмарь этот, у них в городке праздничный гость, каждый год он едет туда на праздники, ему это стоит денег: и на синагогу он дает, и на баню, и на многое другое!.. Корчмарь много наговорил мне всякой всячины, наговорил с три короба, куда

поехать, и что сказать, и как сказать, но все это пулей вылетело у меня из головы, даже следов не осталось. Мысли мои судорожно вертелись вокруг одного: я везу мертвеца. Одного этого было достаточно, чтоб все у меня спуталось в голове и чтобы я забыл даже собственное имя, ибо с малых лет я смертельно боюсь покойников. И сейчас я ни за что не останусь с глазу на глаз с мертвецом, хоть бы вы осыпали меня золотом. Мне представляется, что полузакрытые эти и закатившиеся глаза смотрят на меня и видят меня, что сомкнутые эти и безжизненные губы сейчас откроются и раздастся чудовищный крик, словно из-под земли. Одни такие размышления могут свести с ума. Недаром рассказывают у нас насчет мертвецов всякие истории, как люди падали в обморок от испуга, теряли рассудок или, пригвожденные к своему месту, не могли пошевелинуться...

Ехали мы, значит, втроем с мертвецом. Я уступил ему одну из своих подушек и уложил его у моих ног. Чтобы не думать о страшных вещах, я смотрел вверх, на небо, и тихо зубрил: «Хаве-Нехама, дочь Рефосл-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла». Зубрил до тех пор, пока у меня не получилось: Хаве-Рефоел, дочь Нехама-Михла, Рефоел-Михл, дочь Хаве-Нехама. И не заметил я, как становилось все темней и темней, ветер свистал все сильней и сильней, и снег не переставал падать. Он завалил дорогу так, что сани пошли куда глаза глядят, извозчик мой начал ворчать, сперва тихо, под нос, потом громче и громче, и я мог бы поклясться, что он благословляет меня трехэтажным благословением...

— Ну, что с тобой? — спросил я его.

Ответил он плевком и показал искаженное злобой лицо, упаси и помилуй боже, потом он открыл рот, и посыпались слова: я погубил его, кричит он, погубил его вместе с конягой. Из-за мертвеца лошадь сошла с пути, и мы блуждаем. Бог знает, как долго мы будем еще блуждать, вот наступит ночь, и мы пропали...

Услышав эту приятную новость, я готов был вернуться назад в корчму, отказаться от царствия небесного — и конец! Но мужичок мой сказал, что теперь уже все равно, все пропало, выхода нет: мы путаемся где-то посреди степи, черт знает где!.. Дорога засыпана, небо смутно, вокруг ночь, лошадь замучена до смерти, чтобы черт унес, говорит он, корчмаря и всех корчмарей на всем свете.

— Нехай, — говорил он, — лучше бы я ногу сломал, прежде чем остановиться возле этой корчмы. Нехай, — говорил он, — водка застряла бы у меня в глотке, прежде чем я дал себя уговорить и взял такую беду к себе в сани. Погибай за нее, за проклятый полтинник, в степи, черт знает где, с конягой вместе. Нехай, — говорил он, — погиб бы я сам, может, судил бог околеть в поле, но бедная коняга? Что вы имели против этой бедняги? Невинная скотина, бедное животное, оно-то ведь ни о чем не подозревает...

Готов поклясться, что в его голосе слышались слезы... Я пытаюсь утешить его, обещаю еще один полтинник и стопку водки, но извозчик впадает в ярость и говорит откровенно, что если я не замолчу, то он выбросит моего покойника из саней! И я думаю себе, что я в самом деле стану делать, если он выбросит моего покойника из саней со мной вместе? Шутка ли, взбесившийся извозчик?.. И я молчу, лежу, зарывшись в подушки, и изо всех сил слежу за тем, чтобы не уснуть. Но, во-первых, как можно спать, когда мертвец подпрыгивает у твоих ног, и, во-вторых, я слышал, что зимой, на морозе спать нельзя, потому что можно заснуть навсегда. Но, как назло, глаза слипаются, вздремнуть хочется до смерти, полжизни отдал бы за то, чтобы соснуть. Я продираю глаза, но они не подчиняются мне, они сжимаются, открываются и снова смыкаются, а сани скрипят, сани несутся по белому, глубокому, мягкому снегу, и сладостная теплота окутывает все мои члены, хочется, чтоб сладость эта продолжалась долго, продолжалась вечно... Но чужая чья-то сила все время стоит надо мной и тормозит: «Нойах, не спи, не спи!» — и я опять продираю глаза и вместо теплоты чувствую палящий холод во всем теле и страх, черный страх, упаси нас бог и помилуй! Мне мерещится, что покойник мой шевелится, сбрасывает саван и смотрит на меня полураскрытыми глазами, словно говорит: «Что ты пристал ко мне, молодой человек? Взял ты мертвую женщину, мать многих детей, и лишил святого погребения...»

А ветер гудит, свистит человеческим свистом, шепчет какой-то секрет, страшный секрет; черные думы лезут в голову, и мне кажется, что мы все погребены в снегу, все — и я, и мужичок, и коняга его, и покойница... Мы мертвы все, и только покойник, только жена корчмаря жива...

Неожиданно услышал я, как развеселившийся мой извозчик начинает погонять лошадку, славословит во все горло, крестится в темноте и сопит. Я возликовал, словно и я заново на свет родился... И вот вижу: вдалеке светится огонек, он мигает, пропадает и вышлывает опять. «Чудеса, — думаю я, — благодарение создателю», и обращаюсь к моему извозчику.

— Видно, — говорю, — мы попали на дорогу? Похоже, — говорю, — что городок недалеко?

— Эге, — отвечает он коротко и спокойно, нисколько не злобствуя.

Я трепещу от желания обнять его, вплесть ему поцелуй в спину за эту приятную новость, за славное «эге», которое мне теперь дороже самой умной беседы.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я его, и мне удивительно, что я до сих пор не знаю его имени.

— Микита, — отвечает он коротко.

— Микита? — повторяю я. И имя «Микита» кажется мне прекрасным.

— Эге, — бурчит он односложно, а мне хотелось бы услышать от него хоть два-три слова.

Он дорог мне, этот Микита, и лошадь его мне дорога, отличная лошадь. И я завожу с ним разговор о коняге:

— Хорошая у тебя коняга, Микита, очень хорошая!

— Эге.

— И сани у тебя, Микита, хорошие!

— Эге.

И ни слова больше, хоть убей.

— Ты, видно, не любишь разговаривать, сердце мое, Микита?

— Эге, — отвечает он, и я начинаю смеяться. Мне весело, словно я взял с бою Очаков*, или нашел клад, или открыл такое, чего никто еще не открывал...

Приехали мы, с божьей помощью, в городок еще до рассвета. Городок спал, до утра далеко, огня не видно нигде, еле нашли избу с большими воротами и веником на них — признак, что это заезжий двор. Остановились мы, слезли и начали вдвоем с Микитой стучать кулаками в ворота. Стучали, стучали, покуда не зажегся свет в окошке. Потом мы услышали шлепанье чьих-то ног, и из-за ворот раздался голос:

— Кто там?

— Откройте, дядя, и вы заработаете себе царствие небесное.

— Царствие небесное? Кто вы? — говорит человек за воротами и начинает отпирать замок.

— Откройте, — говорю, — я привез сюда мертвеца.

— Кого?

— Мертвеца.

— Что это значит — мертвеца?

— Это значит — покойника. Я привез сюда умершую женщину из деревни, из корчмы.

За воротами стало тихо. Я услышал, как заскрипел замок и ноги зашлепали вглубь. Огонек потух, и что тут делать? Это обидело меня. Я попросил моего мужичка помочь мне постучать в окошко. Стучали мы отлично, огонек снова показался, и снова раздался голос:

— Чего вы хотите от меня? Что вы пристали ко мне?

— Ради бога, — умоляю я этого злодея, — пожалейте меня. Я здесь с покойником.

— С каким покойником?

— Жена корчмаря.

— Какого корчмаря?

— Я забыл, как его зовут. Но ее имя будет Хаве-Михл, дочь Ханы-Рефоел, то есть Хане-Рефоел, дочь Хавы-Михл, то есть Хана-Хава-Хана...

— Уходите отсюда, бездельник этакий, не то я оболую вас сейчас кипятком!

Вот с такими словами обращается ко мне хозяин этого заезжего двора, уходит в глубь дома и тушит огонь. Пожалуйста, выкуси! Только через час, когда начало светать, ворота приоткрылись, и он высунул черную голову в белом пуху.

— Это вы барабанили в окна?

— Я.

— Что вам нужно?

— Я привез мертвеца.

— Мертвеца? Везите его к службе из погребального братства.

— Где он живет, ваш служка? Как его зовут?

— Ехиелем зовут его, служку. Живет он внизу, под горой, возле бани.

— А где у вас баня?

— Вы не знаете, где баня? Похоже, что вы не здешний. Откуда едете, молодой человек?

— Откуда? Из Радомысля, но теперь я еду из Звогеля, а покойника взял я в корчме, недалеко отсюда. Это жена корчмаря. Она умерла от чахотки.

— Не к ночи будет помянута! Кем она вам приходится?

— Мне? Никем. Я проезжал мимо, и он попросил меня, корчмарь. Живет ведь он в степи с малыми детками, похоронить ее негде. И я решил заработать себе царствие небесное, почему бы нет? Человек, видите ли, просит...

— Подозрительная ваша история, — говорит мне вдруг трактирщик, — вам нужно сперва поговорить с членом погребального братства.

— А кто у вас в погребальном братстве? Где они живут?

— Вы не знаете нашего погребального братства? Реб Шепсл, габай*, он живет за базарной площадью, реб Лейзер-Мойше, габай, живет на самой площади, и реб Йося, габай, рядом со старой молельней. Раньше всего надо вам поговорить с реб Шепслем, он у нас воротила, твердый человек, скажу я вам...

— Спасибо, — говорю, — дай бог слышать от вас новости получше! Когда я могу их видеть?

— Что это значит — когда? Утром, после молитвы...

— Поздравляю вас! А сейчас что я буду делать? Впустите меня хотя бы погреться...

Услышав эти слова, хозяин плотно запер ворота — и снова тишина, как на кладбище. Что делать? Сани наши стоят посредине улицы. Микита ворчит, чешет затылок, плюет и сыплет трехэтажные благословения. Чтоб черт унес, говорит он, корчмаря и всех корчмарей на свете. О себе он уже не думает, черт с ним, с Микитой, но лошадка!.. Что люди имеют против скотины, почему они морят ее голодом и холодом?.. Невинная скотина, бедное животное, ничего она не знала, ничего она не ведала...

Стыд горит во мне... Что-то он подумает, мужичок этот, о наших евреях? Какой вид имеем мы, евреи, милосердные из милосердных*, в глазах Микиты, если один еврей не впускает к себе другого, не позволяет ему погреться. Стало быть, мы заслужили все наши несчастья?

И я недалек уже от того, чтобы оправдывать все, что выпало на нашу долю... Никто на свете не говорит о нас столько худого, сколько мы сами. Сто раз на день вы

можете услышать от нашего же брата такие слова: «Еврей — тертая штука!», «С евреем каши не сварить», «На это способен только еврей», «На то она еврейка», «Ой, еврей, еврей!» и тому подобные аттестации. Я хотел бы знать, как у других в этом отношении обстоит дело.

Если один из «них» не поладил с другим из «них», то они тоже говорят, что весь народ никуда не годится, даром небо коптит? Однако хватит! Опять я, кажется, залез бог знает куда...

Стоим мы посредине базара и ждем, когда наступит утро и город покажет миру, что он живет. Так и было: где-то заскрипела дверь, застучало ведро, из труб показался дымок, петухи закукарекали бойчее. Открылись двери, и вынырнули божьи существа в образе коров, телят, коз и, простите, евреев, женщин и девушек, закутанных в теплые шали, скрюченных в три погибели, замороженных, как замороженные яблоки, — одним словом, ожил мой городок не хуже, чем оживает человек. Встали, умылись, набросили на себя одежду и взялись за работу. Мужчины за божье дело — молиться, распевать молитвы, читать псалмы, женщины — к печам, детям, телятам и козам. Я стал разузнавать насчет габаев, где живут здесь реб Шепсл, реб Лейзер-Мойше, реб Йося? Тогда меня начали пытаться:

— Какой Шепсл, какой Лейзер-Мойше и какой Йося? Есть у нас в городишке несколько Шепслов, несколько Лейзер-Мойшей и несколько Йосей.

Я сказал им, что мне нужны габаи из погребального братства. Они испугались и начали выведывать у меня, что нужно молодому человеку в погребальном братстве в такой ранний час. Я не позволил себя долго морочить и открыл им наболевшую мою душу. Рассказал секрет моей поклажи. Надо было видеть, что с ними случилось! Вы думаете, они поспешили мне на помощь? Упаси бог! Они выбежали на улицу — посмотреть на сани: в самом деле там лежит покойник или это сказки? Вокруг нас образовалась толпа. Холод прогонял одних, тогда на смену им приходили другие, они заглядывали в сани, качали головой, пожимали плечами, спрашивали, кто это помер, откуда он, и кто я такой, и как он попал ко мне, и не ударяли палец о палец, чтобы помочь мне. Я с трудом добился у них адреса реб Шепсла. Его я нашел в талесе и филактериях. Он молился так крепко и сладко и с таким азартом, что стены, право слово, пели.

Он щелкал пальцами, мычал и качался, делал такие гримасы, что я возликовал. Во-первых, я люблю послушать такую молитву, во-вторых, наконец-то я мог согреть ооченевшее мое тело. Когда реб Шепсл повернул наконец ко мне лицо, на глазах его еще дрожали слезы, он показался мне святым человеком, душа которого так далека от земли, как тело от неба. Так как он не кончил еще своих молитв и не хотел осквернить себя будничным разговором, то изъяснялся со мной на древнееврейском языке, то есть на таком языке, который состоит из мельканья рук, поворота глаз, пожиманья плеч, качанья головой, верченья носа и пары древнееврейских слов. Если угодно, я передам вам этот разговор слово в слово. Вы догадаетесь сами, что относится ко мне, что к нему.

— Шолом-алейхем, реб Шепсл.

— Алейхем-шолом. И, о... скамейка...

— Благодарю. Я сидел достаточно.

— Ну, о? Что? Что?

— У меня к вам просьба, реб Шепсл. Вы можете за-работать царство небесное!

— Царство небесное? Хорошо... Что именно? Что?..

— Я привез к вам покойника...

— Покойника? Кто покойник?

— Недалеко отсюда находится корчма, и живет там еврей-бедняк. Скончалась у него, не к ночи будь помянута, жена. От чахотки. Оставила малых деток, несчастные сироты. Если бы я не пожалел их, то один бог знает, что делал бы корчмарь один в степи с покойником.

— Благословен судья праведный! Ну... Деньги? Погребальный взнос?

— Какие деньги? Какой взнос? Бедняга гол, как птица, нищий среди нищих, отец многих детей. Вы зарабатываете себе царствие небесное, реб Шепсл...

— Царствие небесное? Хорошо, очень хорошо. Что именно? Что? Где? Взносы? Евреи! Ну? Все нищие! И-о! Ну-фе!

Так как я не понял, что он хочет сказать, он сердито отвернулся и начал снова молиться, уже не с таким жаром, как раньше, быстро-быстро, на курьерских. Он сбросил с себя талес и филактерии и набросился на меня с такой яростью, как если бы я был его заклятым врагом или плюнул ему в кашу.

— Как? — вскричал он. — В нашем нищем городе хватит своих бедняков, которым надо собирать на саван, так тут приходят еще из чужих мест? Со всего света сюда?! Все сюда?!

Я начал оправдываться: я ни в чем не виновен, я сделал только доброе дело. Представьте себе, что вы нашли мертвеца на улице и нужно его предать погребению.

— Вы, — говорю, — порядочный, набожный еврей. Вы можете себе этим заработать царствие небесное!

Тогда он еще яростней набросился на меня, стал доносить, загонять, пилить, сокращать мою жизнь...

— Вот как? Вы еврей с царствием небесным? Пройдитесь тогда по нашему городу, сделайте так, чтобы не умирали с голоду и не замерзали, и вы заработаете себе царствие небесное! Молодой человек, который торгует царствием небесным! Идите себе с вашим товаром к бездельникам, может, они купят у вас! У нас есть собственные добрые дела, и если мы захотим достать кусочек царствия небесного, то сделаем это и без вас...

Так вскричал габай реб Шепсл и сердито выпроводил меня, хлопнув дверью. Я готов поклясться, я ведь вижу вас в первый раз и, может быть, в последний, что с того утра я возненавидел слишком набожных евреев, тех, кто молится слишком громко, тех, кто качается, и мычит, и делает гримасы, возненавидел всех евреев, которые имеют дело с богом, служат ему и ничего без него не делают.

Стало быть, старший габай реб Шепсл, извините за выражение, выгнал меня... Что делать? Надо двигаться дальше, к остальным габаям. Случилось, однако, так, что я не пошел к ним, а они пришли ко мне. Мы встретились нос к носу у двери. Они сказали мне:

— Это вы, молодой человек, с козой?

— С какой козой?

— Молодой человек, который привез сюда мертвеца, это вы?

— Да, это я. В чем дело?

— Пойдем назад к реб Шепслу, и мы посоветуемся.

— Советоваться? — сказал я. — При чем тут советы? Возьмите у меня покойника, отпустите меня, и вы заработаете себе царствие небесное...

— Никто вас не держит, — ответили они, — поезжайте себе с покойником куда хотите, даже в Радомысль. Мы вам спасибо скажем...

— Спасибо, — говорю, — за совет.

— Не за что, — ответили они, и мы вошли к реб Шепслу.

Все три габая начали спорить между собой, ссориться, ругать друг друга. Те двое говорят, что реб Шепсл — упрямец, жестокий человек, которого трудно переубедить. Реб Шепсл мечется, кричит, забрасывает их стихами из Писания. Своя рубашка к телу ближе, своих мертвецов хоть отбавляй. Тогда те двое нападают на него:

— Что же из этого следует? Вы хотите, значит, чтоб молодой человек поехал с мертвцом назад?

— Ничего подобного, — говорю я, — как это можно, чтобы я поехал с мертвцом назад? Я сле живой приехал сюда, чуть не погиб в степи. Мужичок мой, дай ему бог здоровья, хотел выбросить меня в поле. Умоляю вас, пожалейте меня, освободите меня от этого покойника. Вы заработаете себе царствие небесное...

— Царствие небесное, конечно, лакомый кусок, — отвечает один из тех двоих, высокий и худой еврей с тонкими пальцами, тот, кого зовут Лейзер-Мойше, — покойника мы у вас возьмем и воздадим ему должное, но это будет стоить вам несколько рублей...

— Как так? — говорю я. — Мало того что я сделал доброе дело, чуть не погиб в степи... И вы еще говорите — деньги!

— Зато вы имеете царствие небесное, — обращается ко мне реб Шепсл с гнусной усмешкой.

— Сделайте одолжение, — говорит один из тех двоих, тот, кого зовут реб Йося, маленький еврей с бородкой, выщипанной наполовину, — вы не должны забывать, молодой человек, что везете с собой поклажу. Где ваши бумаги?

— Какие бумаги?

— А откуда же мы знаем, кто ваш покойник? Может быть, это совсем не тот, за кого вы его выдаете? — говорит высокий, с тонкими пальцами, Лейзер-Мойше.

Я оглядывал всех по очереди, а тот высокий, с тонкими пальцами, кого зовут Лейзер-Мойше, качает головой, тычет в меня тонкими пальцами и говорит:

— Да, да, да. Может быть, вы зарезали где-нибудь женщину, а может, и собственную жену, и привезли ее сюда и рассказываете сказки: степная корчма, жена корчмаря, чахотка, малые детки, царствие небесное...

Вероятно, я хорошо выглядел после этих слов, потому что тот маленький, кого зовут реб Йося, стал утешать меня. Они, собственно, ничего против меня не имеют и не возражали бы. Они мне не враги и отлично понимают, что я не злодей и не разбойник, но все же я чужой, а покойник, как говорится, не картофельный мешок, речь идет о мертвом человеке, о мертвецце...

— У нас, — говорит он, — есть для этого раввин и урядник. Нужно составить протокол...

— Да, да, да! Протокол, протокол! — вмешался длинный, тот, кого зовут Лейзер-Мойше, тычет в меня пальцем и оглядывает меня, словно я в самом деле совершил уголовное дело.

Я потерял язык, пот густо выступил у меня на лбу, со мной чуть обморок не приключился. О чем с ними говорить? Я вытащил свой кошелек и обратился ко всем членам погребального братства.

— Выслушайте меня, евреи! Я вижу, что попал в беду. Черт занес меня в эту корчму как раз тогда, когда жене корчмаря угодно было умереть, и черт дернул меня столкнуться с этим бедняком, отцом многих детей, и прельститься царствием небесным! Значит, я должен заплатить за это? Вот вам мой кошелек, все мое состояние, семьдесят с лишком рублей. Возьмите и делайте, что хотите. Оставьте мне на расходы до Радомысля, заберите у меня покойника и отпустите меня.

Вероятно, слова были сказаны с чувством, потому что все три габая переглянулись, не прикоснулись даже к кошельку с деньгами и сказали, что у них не Содом и Гоморра *. Правда, городок бедный и нищих больше, чем богачей, но напасть на человека и сказать ему: «Жид, давай гроши», это — тьфу! Пожалуйста, сколько вы дадите, с божьей помощью, будет хорошо! Без ничего тоже не годится, это бедный город! Кто заплатит служкам, носильщикам? А саван, водка, а милостыня? Если сыпать без толку, то скоро дно покажется.

— Хорошо!

Что тут толковать?.. Если б корчмарь имел пять тысяч рублей, и то жена его не добилась бы таких похорон... Весь город сбежался, чтобы посмотреть на моло-

дого человека, который привез покойника. На меня указывали пальцами, а нищие? Нищих — словно песок морской. Нигде я не видел такой оравы нищих. Меня таскали за полы, рвали в клочья. Шутка ли, молодой человек, который швыряет деньгами! Счастье, что габаи взяли мою сторону, а тот длинный, с тонкими пальцами, Лейзер-Мойше, не отходил от меня ни на минуту и, тыча пальцами, не переставал внушать мне:

— Молодой человек! Швыряние не имеет конца! Швырять можно без конца!

Но чем больше убеждал он меня не швырять, тем теснее нищие окружали меня, тем яростней грызли они меня.

— Ничего, — кричали они, — когда хоронят такую богатую тещу, то можно и поинстратиться. Теща оставила ему немало денег, дай бог каждому!

— Молодой человек! — голосил один, дергая меня. — Молодой человек, дайте нам на двоих полтинник! Двугривенный дайте! Мы оба рожденные калеки, пятнадцать копеек на двух калек! Двое калек заслужили у вас пятнадцать копеек!

— Что вы его слушаете и при чем тут калеки? — воскликнул другой нищий, толкнув собрата ногой. — Это, по-вашему, калеки? Вот жена моя, та именно калека: ни рук, ни ног, ни кусочка тела, и малые детки, тоже больные. Дайте мне, молодой человек, еще один пятак, и я буду молиться о вашей теще, да будет ей земля пухом...

Теперь мне смешно, но тогда я не склонен был смеяться, потому что команда эта всходила, как опара, за полчаса они запрудили весь базар. Служки начали разгонять палками народ, получилось побоище, которое привлекло всеобщее внимание. Стали собираться хохлы и хохлушки, юноши и девушки, пока дело не докатилось до высшей инстанции и не примчался господин урядник верхом, с нагайкой в руках. Одним взглядом и несколькими взмахами нагайки он разогнал всех, как козьявок. Сам же он соскочил с седла и подошел к процессии посмотреть, что там делается, кто умер, и от чего умер, и почему так запружена площадь? Для начала захотелось ему спросить меня, кто я, куда и откуда еду? Я потерял язык, и душа моя убралась в пятки. Не знаю, что это значит: только увижу урядника, у меня опускаются руки, хоть я, как говорят, мухи никогда не обидел и

хорошо знаю, что урядник такой же человек, как и все прочие. Наоборот, я знаю евреев, которые с урядниками живут в большой дружбе, ходят друг к другу в гости, на праздниках урядник ест у евреев рыбу и, в свою очередь, угощает их яйцами... Однако хватит! Опять, какется, забрался бог знает куда.

Итак, стал меня урядник допрашивать. Изволь рассказать ему, что живу я в Звогеле у тестя на хлебах, а сейчас еду в Радомысль за паспортом. Счастье мое, что габаи помогли мне и вытащили из болота. Маленький, с выщипанной бородкой, отозвал в сторону урядника и начал шептаться с ним, а долговязый, с тонкими пальцами, поспешно учил меня словами и пальцами, что надо сказать.

— Скажите ему, что вы здешний и живете за городом. И это ваша родственница, ваша теща, померла, и вы приехали похоронить ее. И в то время, когда вы будете ему давать ответы, придумайте какое-нибудь имя из апокалипсиса, а извозчика вашего мы затащим в дом и угостим хорошей стопкой, чтоб не болтался под ногами, и все будет хорошо.

Я пошел за урядником в дом, и там он начал составлять протокол.

— Как тебя зовут?

— Мовша.

— Отца?

— Ицко.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Женат?

— Женат.

— Дети есть?

— Есть.

— Чем занимаешься?

— Торгую.

— Кто у тебя умер?

— Теща.

— Как звали ее?

— Ента.

— Отца ее?

— Гершон.

— Сколько ей было лет?

— Сорок.

— Отчего она умерла?

- От испуга.
- От испуга?
- От испуга.

— Как это так, от испуга? — сказал он, положил ручку, закурил папиросу и осмотрел меня с головы до ног таким взглядом, что язык у меня прилип к гортани. Но раз начав, надо окончить. И я рассказал ему целую историю, как теща моя сидела за работой, она взяла чулок и забыла, что в комнате с ней сидит еще мальчишка Эфраим, паренек тринадцати лет, но дурашливый, лодырь, играет с собственной тенью. Он сложил за ее спиной руки, сделал козочку на стене, и закричал: «Мэээ!» Тогда она скатилась со стула и умерла.

Я плету свою небылицу, а урядник не спускает с меня глаз. Выслушав до конца, он плюнул, вытер свои рыжие усы, вышел со мной на улицу к носилкам, раскрыл мертвеца, осмотрел умершую и покачал головой, словно говоря: «Нечисто здесь». Я смотрю на него, он на меня.

— Ну-с, покойницу можете похоронить, — говорит урядник габаям, — а этого человека я должен задерживать, пока я не проверю, в самом ли деле это его теща и умерла ли она от испуга.

Вы можете себе представить, какой мрак окутал меня, когда я услышал эти слова? Я отвернулся и зарыдал.

— Молодой человек! Почему вы плачете? — обратился ко мне маленький реб Йося и стал утешать меня.

— Не ешь чеснока, и запаху не будет, — прибавил реб Шепсл с усмешкой.

— Не пугайтесь, бог с вами! Этот начальник не такой уж плохой. Суньте ему что-нибудь... и скажите ему, чтобы он покончил с протоколом. Это умный начальник. Он хорошо знает, что все, что вы наговорили, не стоит ни гроша.

Так говорит мне с помощью своих пальцев реб Лейзер-Мойше. Если бы я мог, я растерзал бы его надвое, как разрывают селедку. Это он надоумил меня покаяться по скользкой дорожке, да сотрется имя его и память о нем!

Я не могу больше рассказывать. Не могу припомнить даже, что было. Вы понимаете, конечно, что мелочь мою у меня забрали, и в кутузку посадили, и суд был, но все это меркнет перед тем, что было потом, когда тещь с

тещей узнали, что зятек их сидит из-за мертвеца, которого он откуда-то привез... Они мигом приехали и представились моими тестем и тещей. Вот тут-то заварилась настоящая каша. С одной стороны, полиция: «Если теща твоя, Ента Гершонова, жива, то кто же покойница?» С другой стороны, теща пристала ко мне: «Что я сделала тебе такого, что ты взял и заживо похоронил меня?» На суде выяснилась моя невиновность, но это влетело в копейку. Привезли корчмаря с детьми и из кутузки меня выпустили. Но того, что я натерпелся от моей тещи, не пожелаю и самому заклятому моему врагу!

С той поры я избегаю царствия небесного...



ИОСИФ

Рассказ «джентльмена»

Можете смеяться надо мной, можете посвятить мне фельетон и даже написать книгу, если хотите. Говорю вам заранее, я вас не боюсь, потому что я, видите ли, не из пугливых. Меня не очень-то испугает писатель, я не сробею перед доктором, не растеряюсь перед адвокатом и не растаю от восторга, когда мне сообщат, что такой-то учится на инженера. Я и сам, если хотите знать, учился когда-то в гимназии. Правда, окончить гимназию мне не удалось: вышла история с девушкой.

Влюбилась в меня девушка (я, видите ли, всегда был недурен собой) и заявила, что, если я ее не возьму замуж, она примет яд. А мне так же хотелось жениться на ней, как вам. Она, понимаете ли, была у меня не единственной. Однако зашло у нас с ней слишком далеко, и тогда вмешался ее брат, провизор. Он пригрозил мне, что, если его сестра отравится, он меня обольет — уж он знает чем... И я вынужден был жениться на ней и года три промаяться. Она требовала от меня только двух вещей — чтобы я сидел дома и чтобы не заглядывался на других женщин... Как вам это нравится? Ну, что я могу поделывать, если бог одарил меня такой внешностью, что все женщины и все девушки помирают по мне? Думаете, почему? Так просто. Любят — и только. Куда бы я ни пришел, куда бы ни приехал, на меня сразу набрасываются, точно пчелы. Шадхены прямо голову мне отгрызли. Почему, думаете? Я, видите ли, молодой человек из современных, недурен собой, здоров, пользуюсь хорошей репутацией, порядочно зарабатываю, деньги для меня — тьфу! — и тому подобное. Вот почему они и сулят мне золотые горы. Я, конечно, отмахиваюсь. «Отвяжись, говорю, я уже один раз ошпарился». А они свое: «Да что с вами станется, если поглядите еще одну невесту?» Ну, кто же откажется от такой штуки! Вот я и смотрю невест, а невесты — меня. Ссорятся из-за меня, прямо на шею вешаются, честное слово. Всем я желанен, ну, буквально всем. Но что мне с того, что они меня желают, если я их не желаю? А ту, о которой я мечтаю, никто не знает, кроме меня. И это мое больное место, и об этом я как раз хочу вам рассказать. Но, прошу вас, пусть это останется между нами. Я не о себе забочусь, — я ведь сказал, что писаний ваших не боюсь, — но вообще к чему это?.. Вот вам, значит, мое вступление, а теперь и самую историю изложу.

Вы сами, конечно, понимаете, что я не стану рассказывать вам, *кто она, что она собой представляет и откуда она*. Женщина она, девушка, и весьма красивая девушка, бедна, правда, горемычная сирота. Живет с матерью, молодой вдовой; эта тоже весьма недурна. Содержит еврейскую ресторацию — кошерная пища. А я, должны вы знать, хотя и из современных, порядочно зарабатываю, деньги для меня — тьфу! — и тому подобное, — кушаю все же кошерное. Не потому, что я уж такой праведник и боюсь хрюкающего *, но просто обере-

гаю свой желудок — это во-первых, а во-вторых, еврейские блюда просто вкуснее...

Итак, значит, она содержит ресторацию, вдова эта; сама варит, сама жарит. А дочь ее подает к столу. Но как там готовят! Как подают! Все блестит, говорю я вам, все поет, все играет. Кушать там — истинное наслаждение. Собственно, не так уж еда, как мамаша и ее дочка, — одна прелестней другой. Посмотрели бы вы эту вдовушку! Стоит у печки, варит, жарит, и так свежа, так чиста! Лицо белее снега! Ручки — золото! Глаза — огонь! Уверю вас, в нее еще тоже можно влюбиться. Теперь представьте себе ее дочку. Не знаю, разбираетесь ли вы в таких вопросах, — я говорю о женской красоте. Личико — кровь с молоком, щеки — пышечки, глаза — вишенки, волосы — шелк, зубки — жемчуг, шейка — алебастр, ручки — каждый пальчик расцеловал бы, верхняя губка слегка вздернута, как у ребенка. Видали вы что-нибудь подобное? Одним словом, все, все в ней изящное, точеное, ну, прямо модель для выставки. Будто говорит вам: «Любуйтесь! Сходите с ума!» А улыбка, смех, ямочки на щеках! Только за одно это отдал бы все! Когда она смеется, смеется все вокруг: смеетесь вы, столы, стулья, стены смеются. Весь мир смеется! Вот какой у нее смех! Попробуйте поглядите на нее и не влюбитесь!

Одним словом, чего тут долго тянуть? Почти с первого обеда я почувствовал, что спекся. Спекся — и кончено! Хотя вы сами уж должны понять, что девица для меня — не бог весть какое событие. А в «любовь», «романы» и всякие такие штуки я вообще никогда не верил. Так просто приударить — почему нет? Но стреляться из-за этого — фи! Это — для гимназиста шестого класса, не для мужчины. Не так ли?

Почувствовав, что влип, я отозвал мамашу в сторонку, ну, конечно, не для того, чтобы, как это говорят, «просить руки». Нет, я не из торопливых! Но так просто. Пощупать, что на возу, никогда не мешает. Стал вкручивать ей: «Как да что?.. То да се». Наконец спрашиваю: «Как у вас обстоит с дочерью?» — «Как, говорит, может обстоять с дочерью?» — «Я о цели в жизни толкую». — «Конечно, говорит, об этом надо заботиться. Но о ней уже позаботились». У меня даже сердце упало. «Что значит, говорю, о ней позаботились?» — «Да вы ведь сами видите, — говорит весело, — какая она у меня

озабоченная». И как раз в этот момент входит дочь, и тут сразу во всех уголках засияло.

— Мама, Иосиф еще не приходил? — спрашивает она.

И как мелодично прозвучало в ее устах это имя! Только невеста может так певуче произносить имя своего жениха. Так мне представляется, то есть я уверен, что это так. И не только в тот раз, о котором я рассказываю, но всякий раз, когда она произносила это имя, «Иосиф» звучало в ее устах как песня. «Иосиф!» Вы понимаете? Это не просто Иосиф, а Иосиф!..

И так везде и всюду, постоянно и всегда я слышал здесь — Иосиф, Иосиф. Бывало, садятся за стол, и первый вопрос: «А где Иосиф?..», «Будет сегодня Иосиф?..», «Иосиф сказал...», «Иосиф пишет...», «Пришел Иосиф?..», «Это Иосиф взял...», «Это Иосиф дал...». Иосиф-Иосиф, Иосиф-Иосиф! Хотел бы я уже видеть этого Иосифа, какой он из себя.

Само собой разумеется, что я возненавидел этого Иосифа, как какого-нибудь паука. Хотя, в сущности, что он мне сделал? Не знаю. Наверно, мальчишка мальчишкой, из тех молодчиков, или «яшек», как она их с улыбкой называет. «Яшки»! Имя это точно специально для них придумано. Это действительно всего лишь только «яшки», какие-то мелкие людишки, большей частью из того сорта, которые носят длинные волосы и черные косоворотки — как раз то, чего я не люблю...

Простите, у вас, кажется, тоже большая шевелюра и черная косоворотка. Если вы думаете, что это очень красиво, то жестоко ошибаетесь. Честное слово, смокинг с белым жилетом куда красивей! Когда я вижу черную косоворотку, мне представляются, извините за выражение, протертые штаны. Вы думаете, я им этого не сказал? Сказал. Я человек прямой, подлизываться и кривить душой не могу. Имеете что-либо против, говорите прямо в глаза. Не люблю только, когда меня обзывают «буржуйем». За слово «буржуй» я и в морду заехать могу. Какой я буржуй? Я такой же человек, как все, — все понимаю, все знаю, потому что всякие книжки и новые газеты читаю наравне со всеми. Какой же я после этого буржуй? Только потому, что ночью смокинг и белый жилет, а вы — черную косоворотку? Я говорю не о вас, я имею в виду этих самых «яшек», Иосифа, о котором здесь речь идет...

Несколько раз у нас за столом возникали такие разговоры, из которых мне стало ясно, что они меня любят точно так, как я их. Как говорится, сердце сердцу весть подает. Однако раскрывать душу, показывать, что у меня там внутри, я вовсе не обязан. К тому же я немножко подделался к ним, хотел втереться в компанию, не столько для них, сколько ради Иосифа, и не столько ради Иосифа, сколько ради нее. Досадно было, понимаете, что его имя у нее с уст не сходит. И я дал себе слово: так или иначе, пусть небо поливает меня камнями, пусть земля вверх тормашками летит, — я должен познакомиться с этой личностью. И я добился своего. Если я чего-нибудь захочу, меня уж ничто не остановит. О деньгах нечего и разговаривать. Ведь я, как уже говорил вам, коммерсант, у меня приличные доходы, деньги для меня — тьфу! — и тому подобное.

Вполне понятно, что втереться в доверие к этим молодчикам было не так-то просто. Я приближался к этому осторожно, взвешивая каждый шаг. Время от времени я стал закидывать словцо, так, со стороны, о страданиях народных; охал, вздыхал, давал понять, что на такое дело я и денег не пожалею: всегда готов бросить рубль-другой.

Вы понимаете, что значит «бросить» рубль-другой? Один вынет рубль, а другой бросит его. Тут большая разница. «Бросить» — это значит выхватить кошелек, вынуть несколько кредиток — извольте! — и, не считая, понимаете... Вот как я люблю! Не всегда, конечно, но в тех случаях, когда это требуется. Когда нужно выбросить четвертной, полсотни или даже сотню, рука не должна дрогнуть. Вот, например, сидите вы с компанией в ресторане, обедаете или ужинаете. И вот подадут счет — платите вы. Вы должны лишь взглянуть на итог внизу, разговаривая при этом о чем угодно. А когда принесут сдачу, вы не пересчитываете ее, как какая-нибудь баба при покупке лука, но берете в пригоршню и суετε в карман — и все тут. Жизнь, скажу я вам, хорошая школа, и ее нужно пройти. Жить надо умеючи. Могу сказать про себя, что я жить умею, потому что знаю, что к чему, что можно, чего нельзя. Будьте уверены, я уж никогда не пересолю, и по мне вы не узнаете, ел я только что молоко или мясо.

Поглядели б вы на меня, когда я был среди «яшек», и сказали бы, верно, что я и сам такой же «яшка». То

есть длинных волос я не отпустил и косоворотки не надел, — в том же смокинге и белом жилете, что сейчас. Но что же? Очень просто, я интересовался всем тем, чем они интересуются; я говорил так, как они говорят. «Пролетариат», «Бebelь»*, «Маркс», «реагировать» и тому подобные словечки, бывало, сыплются у меня, как из рукава. Но странное дело, чем больше я к ним подделывался, тем больше они меня сторонились. Начну, бывало, повторять вот эти слова: «пролетариат»... «Бebelь»... «Маркс»... «реагировать»... — гляжу, мои «яшки» притихли, странно переглядываются, ковыряют в зубах. И еще более странно: деньги они у меня всегда брали. Чуть ли не каждый понедельник и четверг, понимаете, устраивали концерты, и каждый раз я у них был первой жертвой. «Джентльмен», вероятно, и сегодня возьмет билет первого ряда за три рубля?»

И «джентльмен» — другого имени я у них не имел — вынужден был каждый понедельник и четверг брать билет за трояк. Что же оставалось делать? Зато если этот «джентльмен» появлялся среди «яшек» даже в самый разгар спора, становилось сразу тихо, точно здесь никто никогда не говорил. Немые — и только! Можете себе представить, как это бесило «джентльмена»! Но что ему оставалось делать? Я вам, однако, сказал, что если я захочу, то своего добьюсь. И вот я все-таки втерся к ним, по крайней мере настолько, что мне было однажды разрешено присутствовать у них на «дискуссии». Там, сказали мне, будет выступать Иосиф. Вы, верно, понимаете мою радость: дожил, буду наконец иметь честь лицезреть этого Иосифа и даже слушать его.

Где будет эта «дискуссия» и когда, этого вы у них не узнаете, дудки! Я даже не пытался спрашивать: я знал, в свое время придут и скажут. У этих «яшек», понимаете ли, все секреты. На их языке это называется «конспирация». Я хорошо запомнил это слово. Оно записано у меня в книжке. Когда я слышу красивое слово, я его сразу записываю в книжку. Пригодится, не пригодится — не знаю, — во всяком случае, не повредит.

И вот в один прекрасный летний день, в субботу это было, заявились ко мне двое «яшек», в черных рубашках, понятно, и зовут меня: «Идемте!» — «Куда?» — «Не все ли равно? Пойдемте с нами...» Что ж, надо пойти. И мы двинулись, далеко куда-то за город, затем в лес. По дороге все время встречались «яшки» —

сидят под деревом, смотрят как будто бы в другую сторону, а сами буркнут: «Вправо!», «Влево!..». Сказать, чтобы я боялся, — нет, конечно, глупости: чего мне бояться евреев? Просто не по мне вся эта история, оскорбляло все это: коммерсант, с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! — и тому подобное, дает себя вести каким-то мальчишкам, «яшкам» каким-то. Вы понимаете?

Ну ладно, что там говорить! Мы шли-шли, шли-шли, лесом да по лесу, по лесу да лесом, добрались, наконец, до высокой горы. И вот когда мы взобрались на нее, а потом спустились, я вдруг увидел перед собой море голов — черным-черно. Это все «яшки» примостились здесь, — пареньки в черных рубашках, девушки в блузках и просто так молодые люди. Но сколько их было! Боюсь соврать, — верно, тысячи три их, если не больше. А тишина-то какая: муха пролетит — услышишь! Тихонько, на цыпочках подошли мы к толпе и уселись на землю, и я стал разыскивать глазами, где же здесь «Иосиф». И я увидел... Угадайте, кто это был? Я увидел знакомое лицо, одного из тех «яшек», которые вместе со мной обедали у вдовы. Вот тебе раз!

«И только-то! — подумал я. — Вот это — тот самый Иосиф?» А я-то думал, что он бог весть какой. Скажу вам по правде, я был почти доволен, нет, я был очень доволен, что он оказался именно таким. Я мысленно сравнил его с собой, не потому, что я считаю себя каким-то красавцем, которому нет равного. Я вовсе не обманываюсь, знаю, что есть и получше меня. Но по сравнению с ним... Вы понимаете? Вот я вам обрисую его таким, каким я его увидел тогда. Прислонившись к дереву, стоял маленький, бледный, сухопарый человек, узкогрудый, с впалыми горящими щеками, густыми бровями и короткими светлыми волосами. Но лоб у него действительно большой, высокий, белый; серые, как у кошки, глаза горят огнем. А речь его! Как он говорит! Накажи меня бог, до сих пор не понимаю, откуда у этого существа такая сила! Как это ему удается говорить так громко, так быстро, так много, так долго и с таким воодушевлением, с таким задором, с таким огнем! Должен сказать, это была не обыкновенная речь. Так люди не говорят. Это был дьявол, заведенная машина или кто-то свыше сыпал словами, поливал огнем. А может, это вовсе дерево говорило? Мне все казалось,

вот-вот это маленькое существо с болезненным румянцем на щеках и откровенными серыми глазами воспарит вслед за своим словом куда-то ввысь. Нет! Говорите что хотите, — я слышал на своем веку знаменитых адвокатов, но такой речи я еще никогда не слышал и, наверно, никогда не услышу.

Как долго он говорил, я не знаю — забыл про часы. Я глядел только на него и на эти головы, на рассевавшихся на земле людей, которые глотали каждое его слово, точно изголодавшиеся или истомленные жаждой...

Но кто в это время не видел «ее», тот ничего прекрасного не видел. В море голов я заметил — она сидит, поджав под себя ноги, скрестив руки на груди. Лицо сияет, щеки горят, верхняя губка вздернута, а прелестные глаза-вишенки улыбаются ему, только ему. Нечего скрывать, в эту минуту я завидовал Иосифу. Не столько его красноречию, восторженному шуму и аплодисментам, которыми его наградили потом, — нет, совсем не этому. Я завидовал тому взгляду, которым она одарила его. За один такой ее взгляд я бы отдал неведомо что. Этот взгляд был красноречивее слов. Мне казалось, я слышу звук ее голоса, ее напевное: «Ио-сиф!»

Я вам уже говорил, что для меня девушка — не бог весть что. Я девушек повидал немало, потому что я, можно сказать, человек из современных, недурен собой, прилично зарабатываю, и деньги для меня — тьфу! — и тому подобное. Но так на меня не глядела даже жена в блаженные дни, когда изнывала по мне. Я не поленился подойти поближе, усестись почти рядом, я вертелся у нее перед глазами, как муха, звенел, как комар над ухом. Куда там! Никакого внимания! Ее глаза, как пиявки, впились в его глаза, а его глаза тянулись к ней. И мне казалось, эти двое ничего не видят вокруг, — только друг друга: он ее, она его, а дальше им ни до кого дела нет. Муки ада, говорю вам, ничто в сравнении с тем, что я переживал. Бешенство пылало в моей груди, и я не знал, против кого это — против нее, против него, против их обоих или даже против самого себя...

В тот вечер я пришел домой со страшной головной болью. В постель лег с твердым решением: пока жив, ноги моей не будет там, у вдовы. На черта они мне все сдались! Какая у меня нужда в них? Что, разве не верно? А утром я с трепетом ждал мгновенья, когда пробьет наконец два и наступит время обеда. Потом я

безо всяких отправился туда и застал за столом, как обычно, всю компанию «яшек». Был здесь и «он».

Не знаю, как вы, но я, когда вижу артиста, министра или вообще знаменитого человека, то, хотя и знаю прекрасно, что этот человек, как все мы: кушает, пьет, как все, — все же каждый раз, когда мне укажут на такого, то есть на артиста, министра или вообще большого человека, он мне представляется каким-то особенным, будто в нем есть нечто, чего не различишь сразу. И так вот было со мной, когда я увидел Иосифа после его речи; как будто тот же «яшка», и все же что-то в нем есть такое... И в лице у него что-то такое... А что именно — я и сам не знаю. Но за это «что-то» я бы все отдал. Не потому, что это мне нужно. Зачем оно мне случилось? На кой черт оно мне! Это мне нужно только ради нее. Ведь она не отходила от него ни на шаг. Даже когда она обращалась ко мне, разговаривала со мной, я видел, что в голове у нее только он. Будьте уверены, я уж кое-что смыслю в этих делах, можно сказать, тут я все науки превзошел. Мне это не дешево досталось.

И новый ад разверзся предо мной. Раньше, когда я не знал, кто такой Иосиф, и он мне представлялся высоким, интересным, здоровым, настоящим мужчиной, я спокойно не мог вспомнить о нем, я завидовал ему и ненавидел его одновременно, как только можно ненавидеть. Но теперь, когда я увидел этого «мужчину», когда я убедился, что это такой же «яшка», как и все, меня зло взяло. Не знаю, на кого я злился: на нее ли за то, что она боготворит его (что боготворит — это и слепому видно), на него ли за то, что бог наградил его даром речи, или на себя за то, что я не обладаю такой способностью... Не потому, что это мне очень нужно. На что оно мне случилось? И не потому, что я какой-нибудь безъязыкий. Не думайте! Если захочу, я тоже могу говорить. Я уже один раз говорил на заседании, да еще где — в Купеческом клубе. Люди передавали потом, что я говорил неплохо, очень даже неплохо...

Нет, мое состояние, боль мою словами не выразить! Это надо понять, нет, это надо почувствовать, надо побыть на моем месте — приходите каждый день в столовую, видеть эту чудную головку, слышать ее пленительно-сладкий голос, ловить ее смех, который растекается по всем жилкам, и в то же время видеть тут его и понимать, что все это для него, только для него и ни для

кого другого. Нет, его нужно убрать с дороги! Нужно избавиться от него! Но как? Ведь не пойду же я его травить, не стану и стрелять: не злодей же я какой-нибудь, и опять же еврей. Вызвать на дуэль? Фу! Только в романах вызывают на дуэль, да и то не верю, что это правда. Это просто так пишут для красоты. Так я думаю. И тут мне пришла замечательная мысль: дай-ка я с ним самим потолкую! Отдам-ка ключи самому вору!.. Славно, не правда ли? И, не долго думая — не люблю долго думать, — я обращаюсь к нему однажды после обеда:

— Знаете, у меня к вам важное дело. Мне нужно с вами поговорить.

А он? Хоть бы шелохнулся! Ни-ни. Только уставился в меня своими простодушными серыми глазами, точно спрашивал: «Ну, слушаю».

— Нет, — говорю ему, — не здесь. Я хотел бы с глазу на глаз.

— Пойдемте, — говорит он мне, выходит со мною на улицу, становится против меня и ждет, как бы спрашивая меня: «Что же вы молчите?»

— Не здесь, — отвечаю я. — Когда вас можно дома застать?

— Я мог бы к вам зайти... — начал было он, но сразу осекся. — Если хотите... будьте у меня завтра (он вынимает часы) между половиной десятого и половиной одиннадцатого утра. Вот мой адрес.

Потом он долго пожимал мне руку, глядел мне в глаза, точно напоминал о конспирации.

— Конспирация, не беспокойтесь! — отвечаю я, и мы расходимся в разные стороны.

Конечно, я в ту ночь не спал: понимаете, лежал и мучился — все думал: что я ему скажу? С чего начну? И хорош я буду, если он вдруг скажет мне: «Господин «джентльмен», что это вы суетесь не в свои дела? С каких это пор, господин «джентльмен», вы записались в родню к девушке, которую один из «яшек» уже с давних пор называет своей невестой?»

Что ему ответишь на это? Или что я сделаю, если он, скажем, схватит меня за шиворот, да трах — со всех ступенек? То есть бояться мне нечего. Чего мне, в самом деле, его бояться! Ведь я пришел к нему по делу. Да — да, нет — нет! А швыряться тут нечего.

Так в мучительных думах прошла ночь. А назавтра в половине десятого я уже взбирался к нему на чердак, куда-то к черту на кулички; пересчитал, может, две с половиной сотни ступенек. Я застал его дома. У него были еще двое «яшек», которые при виде меня с недоумением переглянулись, точно спрашивали друг друга: «Что здесь нужно этому «джентльмену»?» Но мой молодчик мигнул им, чтобы они исчезли, и те сразу поняли, что от них требуется, — схватили шапки и испарились.

Оставшись с Иосифом наедине, как говорится с глазу на глаз, я закатил такую речь: «Так, мол, и так. Я вот человек коммерческий, с хорошей репутацией, прилично зарабатываю, а деньги для меня — тьфу! — и тому подобное. Это не мешает мне знать, что на свете делается. Потому что я, надо вам сказать, из современных, читаю все новые газеты, журналы...» Тут я как сыпану этими модными словечками: «Пролетариат... Бебель... Маркс... реагировать... конспирация» — и тому подобное.

Выслушав меня, Иосиф совсем просто и мягко спросил: «Чем же я вам могу служить?» — «Да совсем пустяком, отвечаю, советом...» — «Я?.. Вам?.. Советом?..»

И он уставился на меня своими простодушными серыми глазами, точно хотел сказать: как это можно мне, молокососу, давать советы такому «джентльмену»? Вы понимаете, ему самому все это казалось несуразным. А мне и подавно. Но что поделаешь! Начал — значит, надо доводить до конца. Взял я да и выложил все, что меня гнетет. Открыл я перед ним всю душу, рассказал все — от первой минуты, когда я ее увидел, до сегодняшнего дня. Мне, мол, теперь жизнь не мила. Сгубила она меня. Я вовсе не привык, говорю, из-за девушки, будь она даже царской крови, так «реагировать», потому что хоть я и человек из современных, все же коммерсант с хорошей репутацией, прилично зарабатываю, и деньги для меня — тьфу! — и тому подобное.

Выслушал он меня и снова говорит мягко и просто: «Мой совет таков — поговорите с ней самой». — «Ну, а вы?» — спрашиваю. «Я не хочу... — говорит. И осекся. — Я не могу... Мне некогда заниматься такими делами». — «Нет, — говорю. — Я об этом и не думал. Я вовсе не требую, чтобы вы с ней говорили. Как могу я это требовать? Я только хочу знать, что вы скажете...» — «Что же я могу сказать, если ее чувства таковы же, как и ваши...» — говорит он мне просто и дели-

катно. Потом вынул часы, точно хотел напомнить, что разговор, собственно, окончен... Смысл поглядывания на часы мне совершенно ясен. Когда я хочу от кого-нибудь избавиться, я тоже так поступаю. Вся беда в том, что не каждый догадывается, чего от него хотят. Но я сразу поднялся, тут же попросил, чтобы все осталось между нами, — «конспирация», так сказать, и помчался домой.

Что вам сказать! Радость — это не то слово. Восторг? Вот это то. Я был на семьдесят седьмом небе от счастья! Каждого встречного я был готов обнять и расцеловать. Все казались мне теперь прекрасными. Об Иосифе и говорить нечего: в тот день я полюбил его, как родного брата. Не стыдись я, вернулся бы и расцеловал его, а если б не боялся обидеть, преподнес бы ему хороший подарок: золотые часы с хорошей цепочкой и массивным брелоком.

С большой радости я отправился в клуб. Понимаете, я иногда захаживаю в клуб, как говорят, между ночью и днем. Вовсе не потому, что я люблю карты. Я сам не играю. Люблю лишь смотреть, как играют, да иногда, и то очень редко, «мазать»... Тут одно из двух: либо ты забираешь, либо тебя забирает. На этот раз мне везло — карта шла, как никогда до сих пор. Я сорвал порядочный куш, кликнул «босую братию» (так называют в нашем клубе проигравшихся дотла) и закатил ужин с шампанским «редерер».

А когда я добрался домой, было уже совсем светло. Тут я нашел у себя на столе телеграмму. Меня вызывали срочно по важному делу. Вы, вероятно, знаете, что наш брат, когда он получает деловую телеграмму, бросает все. Тут уж пропадай корова вместе с веревкой! К черту все! Сел и поехал.

Уезжал я, собственно, на два дня, а задержался, как водится, три недели. Вернувшись, конечно, немедленно помчался в столовую. Там был полный переворот. От моих «яшек» и следа не осталось. А те, которые появлялись, были совсем непохожи на прежних — что-то очень уж они были обеспокоены, возбуждены, озабочены. Наскоро проглотив обед, как говорится, стоя на одной ноге, они сразу же расползались с опущенными головами, точные собаки после дождя — один туда, другой сюда.

Но больше всего меня удивляло — где Иосиф, почему его не видно? Присматриваюсь ближе к моим «яшкам» — что-то они слишком уж сдержаны, все таят-

ся — шу-шу да шу-шу! Не просто конспирация, а конспирация на конспирации. Приглядываюсь к «ней», и она молчит, задумчива и очень уж «конспиративна». Прекрасные щечки уже не пылают, глазки-вишенки не улыбаются. Куда девались ямочки на щеках, которые сами звали: поцелуй меня! Не слышно веселого смеха, который заставлял смеяться все кругом: и стол, и стулья, и стены, и все живое.

Вы, конечно, понимаете, что особенно сильно я по Иосифу не скучал. Я ломал лишь голову: куда он мог деться? Надолго ли это он? Навсегда ли? Пишет ли он ей письма? Спросить у этих «яшек»? Но разве они ответят? Они глядят вам в глаза, ковыряют в зубах и молчат, точно хотят сказать: молодой человек, будете все знать, скоро состаритесь...

В одно прекрасное утро захожу в столовую и застаю ораву «яшек» за столом. Один читает газету, остальные слушают. Это, должно быть, об Иосифе, — не иначе. Откуда я знаю? По ней вижу. «Она», в белом передничке, сложив руки на груди, стоит тут же в сторонке, а лицо ее сияет, щечки горят, верхняя губка вздернута, — все точно как тогда в лесу. Разница лишь в том, что тогда эти красивые вишенки-глаза смотрели на него, а теперь они блуждали где-то в пространстве, верно, искали все его, все Иосифа.

Что тут говорить? Я еле дождался, когда они положат газету; заглянув в нее, я сразу получил ответ на все мои недоуменные вопросы: *моего Иосифа взяли как следует в оборот*. Знал я, однако, что он плохо кончит, что не сегодня-завтра обязательно попадется. Что там такое, собственно, с ним — было не ясно, но совершенно очевидно, что по щечке его там не потреплют, медом он не полакомится и благовониями тоже наслаждаться не будет...

Что творилось на душе у меня — передать я не в состоянии. Сказать, чтобы все это очень волновало меня, не могу — ведь он у меня все-таки стоял поперек горла. И опять-таки если скажу, что меня это радовало, будет тоже неверно. Такого ведь и злейшему врагу не пожелаешь. Наоборот, я от всей души желал, право, можете мне поверить, чтобы бог явил чудо, и его бы... Совсем, так сказать, оправдали?.. Нет, этого ведь не может быть... Пусть бы его наказали не так сильно... Вы понимаете?

Несколько дней, говорю вам, я ходил как в чаду, места себе не находил. А когда я узнал, что вся эта

канитель, слава тебе господи, кончена и завтра уже выносят приговор, клянусь жизнью, — а я все-таки дорожу ею, — я ночь не спал, так-таки и не смыкал глаз: ворочался с боку на бок и в конце концов вскочил и пошел в клуб, — не для игры, конечно, я надеялся здесь хоть на минуту забыться. Слишком уж тяжело было на душе. Я чувствовал, почти знал, что дела Иосифа плохи.

Так оно и случилось. Шагаю в обычное время в столовую, вижу — выскакивают оттуда двое «яшек», вскоченные, расстроенные, не дай господи! За обедом я застал несколько посторонних человек. К столу подает уже не «она», а мать; сама мать тоже, как говорится, не в своей тарелке, я бы поклялся, что она плакала.

Не долго думая, отозвал я ее в сторону:

— Где ваша дочь?

— У себя, — отвечает мать и показывает глазами на маленькую клетушку с дверкой.

Должен вам признаться, мы вели с матерью своеобразную игру. Напрямик я с ней никогда не говорил, но понимал, что мое сватовство было бы ей по душе. В самом деле, молодой человек из современных, коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! — и тому подобное... почему бы ей не хотеть! Я не раз намекал, что ее дочь меня очень интересует. Доказательство: не нравится мне, что девушка сама подает к столу... Угадайте, что мне ответила мать: «Не нравится, что она подает? Подавайте сами!»

Ну, что тут поделаешь?

Да, на чем же мы остановились? На маленькой комнатке. Каким манером вошел я в эту комнатку, каковы были мои первые слова — режьте меня, ничего не помню. Помню лишь, она сидела у окна, все в том же белом передничке, сложив руки на груди. Бледная, ни кровинки в лице, верхняя губка вздернута, а глазки-вишенки, подернутые легкой дымкой, глядели задумчиво куда-то вдаль. И ни единой слезинки, ни намека на слезы! Только немая печаль лежала на чуть-чуть наморщенном белом лобике.

Клянусь жизнью, — а жизнью своей я дорожу, — в эту минуту она была так хороша, так божественно хороша, что я готов был упасть к ее ногам, целовать следы ее ног.

Увидев меня, она не всполошилась, не вскочила с места, не спросила, что мне нужно. Я сам взял стул, уселся против нее и стал говорить, говорить — без конца, без

краю. Фонтан красноречия забил из моих уст, и я говорил, говорил, говорил... Что я там говорил, я ведь вам сказал, — не знаю. По-видимому, смысл был все тот же: я хотел открыть перед ней душу, утешить ее; намекал, что ей ни к чему так сильно «реагировать». На нашем языке это означает: пусть не принимает слишком близко к сердцу, для этого она еще слишком молода, слишком свежа, слишком хороша. Я ей внушал, что еще неизвестно, где ее счастье обретается. Вот, например, я — молодой человек из современных, коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! — и тому подобное... Да пусть только слово скажет, пусть скажет, что она готова забыть прошлое: не было никакого Иосифа, никаких «яшек» и никакой «конспирации».

Понимаете, я и сам не знаю, откуда у меня взялся дар слова. А она, думаете, что-нибудь ответила? Ничего. Она сидела молча и глядела, глядела, глядела... Что мог означать этот взгляд? Он мог означать: «Вы это на самом деле? Не верится что-то». Или: «Я подумаю». Или: «Оставьте меня в покое». А может быть, вовсе: «Иосиф!» Понимаете, не просто Иосиф, а Ио-сиф!

Какими глазами смотрел я потом на самого себя! Врагам пожелаю это испытать. Несколько дней подряд мне стыдно было на людях показаться. На душе у меня было мрачно, я чувствовал себя так, точно я сам в какой-то мере виноват в несчастье, свалившемся на них. Сколько я ни старался выбить из головы, забыть его, вот этого Иосифа, — никак не мог.

Надо вам сказать, что снам я не придаю значения, покойников не боюсь, в колдовство не верю. Но, клянусь вам честью, не проходило ночи, чтобы Иосиф не явился мне во сне: он будил меня и показывал рукой вокруг шеи, — не про меня будь сказано, — там у него осталась синяя полоса. Как вы думаете, можно придавать какое-нибудь значение снам? Вот я знаю факт... Приключилось это давно с моим дядей... Но ведь это глупости! Какое мне дело до снов! Просто я немного расстроился, потерял аппетит, лишился сна. От страха, думаете? Нет! Но вы понимаете: знакомый человек, сколько раз за одним столом сидели... Тут я решился. Была не была. Собрался с духом и отправился снова туда, в столовую.

Прихожу. Где там столовая, какая столовая? Как и не бывало — даже место высохло. «Куда девалась сто-

ловая?» — «Уже несколько дней как выехала». — «Что значит выехала?» — «Очень просто: выехала — значит выехала». Бегу во двор, звоню домовладельцу: «Куда девалась столовая? Куда переехала?» Ищи ветра в поле. Никто не знает, никто не может ответить, куда она девалась. Начинаю шуметь, вламываюсь в амбицию. А я если вламываюсь в амбицию, тут упаси господи. Клянись вам, я бегал как сумасшедший, кидался из конца в конец. А «яшки»? Как назло, никого! Хоть бы на развод одного оставили.

Тогда я отправился в полицию «расследовать», то есть навести справку.

Явился. И тут меня взяли в оборот: «Что надо?» Говорю: «Так, мол, и так, куда девалась столовая?» — «Какая столовая?» Отвечаю: «Такая-то и такая». — «Зачем она вам понадобилась?»

Вы понимаете, поди расскажи им, зачем она мне понадобилась. Я молчу. Тогда они спрашивают снова и снова.

Что и говорить, доставил же я себе удовольствие!.. Уж меня там погоняли! Черт меня понес туда! Хотя, с другой стороны, чего мне, собственно, бояться? Молодой человек — коммерсант с хорошей репутацией,личный доход, деньги — тьфу! — и тому подобное. В подобные дела я не впутываюсь. Как говорят, не евши чесноку... чего же тут бояться? Но я просто не люблю таких дел, понимаете, не люблю, — и все тут. Я проклял самого себя... Вот так столовая! Вот так девушка! Вот так Иосиф!

Я и сам бы рад забыть «ее», да не тут-то было. Из головы нейдет. До сих пор стоит предо мной в сверкающем беленьком передничке; горят глазки-вишенки, губка вздернута, ямочки на щеках зовут: поцелуй меня! А в ушах все еще звенит ее смех. Частенько во сне я слышу ее голосок. Она зовет: «Ио-сиф! Ио-сиф!» Я просыпаюсь в холодном поту. Потому что чуть вспомню о ней, как на ум приходит он...

Видите, я не жду, чтобы вы достали часы. Я сам знаю, что все на свете должно кончаться. Извините, что я отнял у вас слишком много времени. Дайте, прошу вас, руку и пообещайте, что все рассказанное здесь останется между нами, как говорится, — «конспирация»,

Адье!



ХАБНО

Случилось это в Одессе, в компании литераторов. Были среди нас и писатели, которые пишут, и читатели, которые читают, и несколько студентов, — среди них одна девушка, приехавшая на курсы, весьма зрелая девица, здоровая, краснощекая, — и еще какие-то молодые люди, и совсем посторонняя публика, не имевшая к нам никакого отношения. Просто увидели — люди о чем-то толкуют, стали прислушиваться, придвигаться все ближе, пока не образовалась одна компания и перепутались стаканы на столе и ноги под столом, — словом, все свои. Был будний день, отнюдь не суббота, и разговор у нас

шел не о субботе, а совсем о другом. Если память мне не изменяет, мы спорили о сионизме, территориализме* ахадгаамизме, клойзнеризме*, но, уж во всяком случае, не о субботе, не о днягах каких-то и не о местечке, которое носит название «Хабно». Всего этого ни у кого из нас и в мыслях не было. Вдруг, — и не припомню, как это вышло, — какой-то молодой человек из посторонних, рыжий с белыми ресницами, поднимается с места, взмахивает рукой и говорит:

— Это что!.. Вот я вам расскажу более интересную историю, которая приключилась со мной в Хабно. Хабно — это местечко, есть такое местечко, которое называется Хабно. В Хабно вы найдете все, чему полагается быть в местечке: почту, казенного раввина* и духовного, реку, телеграф, кладбище, пристава, талмудтору*, хасидов, две синагоги, очень много бедняков и очень мало богачей, как это бывает во всех наших маленьких местечках. И вот нечистый занес меня однажды накануне субботы в это местечко. Вы только послушайте, история весьма любопытная, она может вам пригодиться. Вы и сами прекрасно знаете, что стоит вам попасть накануне субботы в маленькое местечко, и вы поневоле станете вдруг жителем этого местечка, ничто вам тут не поможет. Продолжать свой путь и не мечтайте. Хабно — это вам не Одесса. С тех пор, как существует Хабно, ни один еврей еще не нарушил там субботы. И если уж вам суждено на одну субботу стать жителем Хабно, то вы прежде всего должны отправиться в баню. Что же вам еще остается? Не священные книги же писать. И не вздумайте только не пойти в синагогу, — об этом не может быть и речи. Хотел бы я видеть, как бы вы, остановившись на субботу в Хабно, не пошли бы в синагогу. Вы думаете, с вами бог знает что сделают? Ничего с вами не сделают; на вас будут только *смотреть*. Все Хабно соберется посмотреть на еврея, который остался на субботу в Хабно и не хочет идти в синагогу. А какими глазами посмотрит на вас хозяин? И что за вкус будет иметь еда, которую вам подадут отдельно от всех? Да еще подадут ли? Что вы, помещик какой-нибудь, который может позволить себе есть отдельно, не за одним столом с хозяином, и не произнести во весь голос предобеденной молитвы, не петь вместе со всеми субботние песнопения? Вот если бы вы были, не в обиду вам будь сказано, помещиком — тогда другое дело. Вам бы все подали в вашу

комнату: и еду, и питье, и папиросы, и даже самовар в субботу. Хотите знать, отчего это так? Не стоит спрашивать. Если вы начнете задавать вопросы, почему так да почему этак, истории конца не будет. Короче говоря, раз вы приехали в Хабно, вы должны на время стать жителем Хабно.

Так вот со мной случилась история: я ехал к помещику одному недалеко от Хабно и вез с собой деньги, добрых несколько тысяч, — карманы распирало. Мне казалось, что любому, пусть он и не знает ничего, видно, что я везу с собой деньги, потому что человека, у которого деньги, можно узнать на расстоянии: он и стоит по-особому, и ходит по-особому, и говорит не так, как все. Уж такова сила денег, понимаете ли, деньги — это деньги!..

Я и подумал: как мне быть с деньгами? Суббота на носу, а Хабно — это вам не Одесса, не буду же я носить с собой в субботу деньги. А потом, скажу вам истинную правду: мне было страшновато оставаться в заезжем доме с такой крупной суммой. Не то чтобы я не доверял хозяину, упаси бог! Хозяин был с виду весьма почтенным человеком, благочестивым евреем в очень приличном кафтане, подпоясанным кушаком. Не опасался я также и грабителей: никто не скажет, что Хабно — город бандитов и разбойников. Миру неизвестны убийства или зверства какие-нибудь, совершившиеся в Хабно. А то, что там случился как-то небольшой погром, так это ведь только во время погрома, а где в наше время не бывает погромов?.. Можете среди ночи ходить по Хабно один-одинешенек, и, клянусь, ничего плохого с вами не произойдет. Чего же мне в таком случае было бояться? Я, понимаете ли, одного только боялся: такая сумма, а деньги-то ведь чужие, не мои... Мало ли что бывает, упаси бог! И так и этак прикидываю — дело плохо. Как же быть? И я подступаю к хозяину с вопросом: кого у них, в Хабно, считают богачом, кто здесь самый уважаемый человек? А хозяин, как водится, мне в ответ: «А зачем это вам знать? Дело есть?» Поди расскажи ему, что мне покоя не дает. Он, правда, видать, почтенный человек, и кафтан на нем весьма приличный, кушаком подпоясанный, к тому же и про Хабно никто не скажет, что это город разбойников и грабителей, но все же деньги, такая сумма, чужие деньги, не свои... Итак, я спрашиваю об одном, он спрашивает о другом. Я ему — «богач», он мне — «дела», но, так или иначе, то, что мне

нужно было, я из него вытянул: в Хабно, видите ли, все сплошь бедняки, конечно, есть и богачи, но их очень мало. Всего-то навсего только один и найдется, которого в самом деле можно назвать богачом, но это уж настоящий богач, одним словом — богатей, толстосум. И то правда, денег его никто не считал, но есть у него деньги, и, надо думать, немало. У него и дома собственные, и магазины по всему базару, и роща у него, настоящий лес, даже два леса, можно сказать. И человек он неплохой, добрый по натуре, очень даже добрый, с отзывчивым сердцем и щедрой рукой. Он, понимаете ли, не прочь отличиться благим делом: и пожертвует при случае, и займы даст, никому не откажет, кто бы к нему ни обратился. Все это, конечно, ради славы, он гонится за славой, известное дело — богач любит славу. Хотя с виду он как будто прост, совсем даже скромник, о почестях и знать не хочет. Вообще-то он, можно сказать, вполне порядочный человек, ну, не то что праведник какой, но того, что нельзя делать, он не сделает открыто, так, чтобы все видели; может быть, как-нибудь так, втихомолку, когда никто не видит, бог его знает, за другого трудно поручиться. Но что касается честности, то, само собой, не благодарить же его за это; если уж такому человеку не быть честным, так с кого и спрашивать?..

Короче говоря, я понял со слов хозяина, что могу доверить богачу мой капитал. И я отправился к нему заблаговременно, в канун субботы, еще до бани, и застал его дома склонившимся над фолиантом. Весьма почтенный человек, и живет он великолепно, на широкую ногу, можно сказать, и видать, спокойно, как и подобает богачу в маленьком местечке. Вхожу, приветствую его и выкладываю всю свою историю: так, мол, и так, еду я к такому-то и такому-то помещику, везу с собой деньги, и поскольку я вынужден остановиться здесь на субботу, то я боюсь, мало ли что бывает, хотя, конечно, никто не скажет про Хабно, что это город разбойников и грабителей, а мой хозяин почтенный человек, и кафтан на нем приличный, кушаком подпоясанный... Так в чем же дело? Деньги, такая сумма, не слгзлить бы, чужие деньги, не свои... «Чего же вы хотите, молодой человек?» — с улыбкой спрашивает меня богач.

Я ему и говорю, что у меня к нему просьба, не согласится ли он взять у меня деньги и спрятать их на субботу у себя в шкафу, в железном шкафу, — вот я и буду

спокоен. Я не то что не доверяю кому-либо, упаси бог, о Хабно никто не скажет, что это город разбойников и грабителей, но такие большие деньги, чужие, не свои... Богач слушает меня с улыбкой и говорит: «Молодой человек, вы меня знать не знаете и ведать не ведаете, как же вы доверяете мне такую сумму?» А я ему: «Добрая слава далеко бежит, и потом, вы ведь, наверно, дадите мне расписку — такие большие деньги, чужие, не свои...» А он все улыбается и говорит, что никогда в жизни никому не давал расписок. «Пусть тогда без расписки», — говорю. Но богач не хочет брать у меня денег, наотрез отказывается. «Как же быть?» — говорю. А он в ответ: «Как знаете». Тогда я спрашиваю: «А если при свидетелях?» — «Пожалуйста», — говорит он. «Кого же мне к вам привести?» — «Кого хотите». — «Не назовете ли вы несколько приличных людей?» — «У нас тут все приличные люди», — говорит. «Тогда я сбегаю и приведу к вам несколько хозяев». — «Бегите и приводите кого угодно», — отвечает богач. Вижу, что он немного обижен, и начинаю оправдываться: воздай мне бог сторицей, сколько я бы ему доверил; будь эти деньги мои, я бы ни за что не стал звать свидетелей, но деньги эти ведь прежде всего божьи, а потом уж людские, — во всяком случае, не мои, поэтому осторожность не помешает. Что вы на это скажете, должен я соблюдать осторожность или нет? Богач выслушивает меня с улыбкой и молчит. Я, конечно, понимаю, что он немного задет, но раз я сказал, что сбегаю за свидетелями, значит, надо сбежать и привести нескольких свидетелей. Отправляюсь обратно в заезжий дом и снова принимаюсь за хозяина, начинаю у него выпытывать, кто здесь в Хабно числится среди самых достойных людей. Но из него и слова не вытянешь. Его интересуется, для чего мне это нужно знать. Если речь идет о сватовстве — это одно, а если мне понадобились деньги под залог, то это совсем другое дело, если же, говорит, ни то и ни другое, то ему все равно не мешает знать, что мне нужно.

Я и так, я и этак, пока наконец не добился от хозяина ответа, что в Хабно все хозяева, собственно, достойные люди, хотя если подумать, то в отношении порядочности они оставляют желать много лучшего. И что такое, в сущности, порядочность? Всякого можно назвать порядочным, а если хотите знать, то порядочности вообще на свете нет. Все зависит от того, какие достоинства

ближнего вас интересуют: богатство ли, хорошее ли происхождение, образованность, вежливое обхождение или все, вместе взятое? Но так как, говорит он, всех достоинств ни у кого не найдешь, то можно считать, что в Хабно все люди достойные. Но если, говорит он, я интересуюсь достойными из достойных, то в Хабно можно найти лишь двух достойных людей — это реб Лейзер и реб Иося. Вот это действительно достойные люди! «А кто они такие, к примеру, эти реб Лейзер и реб Иося?» А хозяин мне говорит: «Какая вам разница? Если я вам и скажу, вы все равно не будете знать». А я ему: «Но все-таки ведь у каждого свой нрав». А хозяин в ответ: «Странный вы человек, все вам расскажи. Реб Лейзер — это человек, которого зовут Лейзер, а реб Иося — это человек, которого зовут Иося. Ну и что же, легче вам от этого стало, что ли?..»

Итак, я пошел к реб Лейзеру, которого зовут Лейзером, и к реб Иосе, которого зовут Иосей. Познакомился я с ними; как будто вполне почтенные люди, и бороды у них почтенные, потолковал с ними о том о сем просто так, толковали, толковали, пока подошли к тому, что мне нужно было, и я им прямо выложил все как есть: так, мол, и так, еду я к помещику, везу с собой деньги, вот я и боюсь: кто его знает, хотя Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, но ведь большие деньги, чужие деньги, не свои... Поэтому я прошу их, пусть не откажутся сходить со мной к богачу и присутствовать при том, как я дам ему на хранение свои деньги. Этим они заслужат царство небесное. Реб Лейзер, которого зовут Лейзером, и реб Иося, которого зовут Иосей, внимательно выслушали меня, поглаживая бороды, все снова допытываясь, что да как. А я не заставлял долго упрашивать себя, все им выложил, и мы наконец отправились втроем к хабненскому богачу, попросили у него, как водится, прощения: Хабно, мол, не город разбойников и грабителей... Я распорол карманы, достал деньги, пересчитал, тщательно завернул в бумагу и с рук на руки передал их хабненскому богачу, чтобы он спрятал их на субботу у себя в железном шкафу, и еще раз попросил у него прощения за беспокойство, Хабно, конечно, не славится своими разбойниками и грабителями, упаси бог, но деньги ведь, такие большие деньги, чужие, не свои... И хабненский богач весьма торжественно принял у меня узелок, словно младенца на торжестве обрезания, а два

моих свидетеля смотрели, поглаживая бороды и облизываясь, как кот на сметану. Я еще раз попросил прощения за беспокойство, Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, упаси бог, и попрощался, и счастливой вам субботы, и дело с концом.

Только опорожнил я карманы, как у меня будто гора с плеч свалилась. Со спокойной душой отправился я в синагогу, послушал там весьма замечательного кантора, который, правда, уж слишком изощрялся, выделял всяческие диковинные штучки, пускал рулады, заливался соловьем. «Споем песнь в честь субботы» он заключил со всем как актер в театре, не будь рядом помянут, а «Кехавно» у него получилось слаще сладкого, поистине по-еврейски, и такая «мораль» звучала в нем, что хотелось послушать еще и еще раз. Давно уж мне не доводилось слушать такого кантора, как в Хабно, давно уже мне не доводилось слушать такой «Кидеш» * и такие «Змирес» *, как в Хабно, давно уж я не ел такой наперченной рыбы, такой вкусной лапши и такого мяса с цимесом, как в Хабно, давно уж я не спал так сладко, как в ту субботнюю ночь, и чуть не весь субботний день я проспал, словно король какой. Отлежав себе бока, я вышел немного погулять, чтобы ознакомиться с местечком и с его жителями, полюбоваться на хабненских юношей и девушек, выраженных по последней моде; потом я славно отужинал вместе с хозяевами, славно спел «Змирес» и прошел в синагогу на вечернюю молитву. Вернувшись в заезжий дом, я произнес «Габдалу» *, честь честью рассчитался с хозяйкой, выторговал у нее несколько двугривенных, как водится, и отправился за своими деньгами.

Хабненского богача я застал в приличном шелковом халате с шелковыми кистями. Он расхаживал по залу, наматывая кисти халата на пальцы и напевая весьма приятным голосом:

Илья-пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!
Скоро, скоро, скоро в наши дни!

«Ну что ж, — подумал я, — человек поет, пусть поет; кончит петь, я у него попрошу...» Мой богач, однако, и не собирался кончать, он все мычал и пел, наматывая кисти халата на пальцы. Я же тем временем сидел, как на горячих углях, то и дело поднимался, готовый

подойти к нему и заговорить о своем деле, но никак не мог начать: он все наматывал кисти халата на пальцы, мычал, пел, и голос его все креп:

Пророк Илья!
Пророк из Тишби!
Пророк из Гилода!
Ай-яй-яй-яй!
Ай-яй-яй-яй!
Скоро, скоро, скоро в наши дни!
Илья-пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!

«Будь что будет!» — подумал я и, набравшись смелости, подошел к богачу и сказал, что собираюсь сегодня же, не медля, пуститься в дальнейший путь, и поэтому хотел бы его попросить... гм... Богач поднял палец с намотанной на него шелковой кистью халата и запел громко, во весь голос, прямо мне в лицо:

Илья-пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!
Ай-яй-яй-яй!
Ай-яй-яй-яй!

«Наваждение какое-то, дурной сон, — подумал я. — И влюбился же человек в Илью-пророка — водой не разольешь!» В общем, он пел и мычал до тех пор, пока наконец не перестал и петь и мычать. «Доброй недели вам, — приветствовал меня богач, — здравствуйте, садитесь!» Он весьма любезно усадил меня за стол, угостил весьма приличной папиросой, велел подать два стакана чаю — ему стакан и мне стакан, и тогда только спросил: «Что скажете хорошего, молодой человек?» — «Что мне сказать? — говорю. — Уезжать собираюсь, вот прямо сейчас, и поэтому я бы хотел попросить у вас свои деньги». — «Какие деньги?» — «Да моих несколько карбованцев», — говорю. «Какие карбованцы?» — «Деньги, говорю, мои деньги». — «Что за деньги?» — «Как, говорю, что за деньги? Разве вы не знаете, зачем я пришел? Я пришел за деньгами, которые оставил у вас на субботний день». — «Вы оставили у меня деньги?» — говорит он и делает при этом такую мину, как если бы я, к примеру, сказал, что нос на его лице — это не его нос, а мой.

Можете себе представить, каково у меня стало на душе: Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, но кто его знает... «А может, богач шутит», — подумал я и рассмеялся: «Ха-ха, ну и шутник же вы, говорю, в этом деле вы мастак!» А он серьезно: «В каком деле?» — «Я же вижу, что вы шутник», — говорю. Тогда он отвечает мне уж слишком серьезно: «Молодой человек, я вам не ровня и шутки шутить с вами не намерен! Скажите, что вам от меня нужно?»

Тут я почувствовал, что лицо у меня дергается, глаза странно мигают, а ноги подкашиваются, вот-вот упаду. Но я креплюсь и пытаюсь превратить все в шутку: «Ну, хватит вам меня разыгрывать, честное слово, дайте мне мои деньги — и дело с концом». Хабненский богач сидит рядом, смотрит мне прямо в лицо, и хоть бы он глазом моргнул, хоть бы бровью повел, ничего, будто я не в себе, будто перед ним помешанный. «Молодой человек, — говорит он спокойно, — вы ошиблись, вы не туда попали». Тут уж я не стерпел: «Если вы не шутите, то я не понимаю, что это за игра такая. Я вам дал, говорю, деньги на хранение, крупную сумму, деньги эти не мои, чужие деньги...» Язык у меня заплетается, в горле стоит ком, в левом ухе звенит, еще минута — и я потеряю сознание. А богач свое: «Не понимаю, о чем вы говорите». — «Значит, говорю, вы у меня денег не брали?» — «Я у вас? Покажите, говорит, наверно, у вас моя расписка?» Тут мне стало совсем плохо, я понял, почему он мне накануне сказал, что никогда никому не дает расписок... «Как, говорю, а свидетели? Есть же свидетели!» А он в ответ: «Свидетели? Какие свидетели?» — «А реб Лейзер и реб Иося разве не видели, как я вам давал деньги?» — «Не знаю никакого Лейзера и никакого Иоси». — «Бог с вами, говорю, вот я сейчас сбегаю и приведу их сюда». — «Бегите, — говорит он, — куда хотите, только меня оставьте в покое, вы не в своем уме, молодой человек!..»

Побежал я за свидетелями, а сам не могу отделаться от мысли: может быть, я в самом деле не в своем уме; может быть, все это наваждение, сон; может быть, я во все не в Хабно? Я бегу, и мысли мои бегут, так что голова трещит. Черт понес меня на субботу в Хабно! Горе мне, этакое несчастье со мной стряслось, что я теперь буду делать?

Бегу к реб Лейзеру, бегу к реб Иосе, рассказываю им о своей беде: идемте со мной, говорю, люди добрые,

идемте скорее, сжальтесь надо мной, ведь такие большие деньги, не свои, чужие, — спасите, говорю. Запыхавшись, являемся мы все трое к хабненскому богачу, а он встречает нас со странной улыбкой и обращается к моим почтенным свидетелям с такими словами: «Слышали вы, какую чушь порет этот молодой человек, прямо напасть какая-то. Я будто взял у него на хранение крупную сумму денег, и вы будто тоже были при этом. Ну, что скажете?» Мои свидетели, два почтенных хозяина с почтенными бородами, стоят и смотрят то на богача, то на меня, то друг на друга. «Что же вы молчите? — говорит им богач. — Слышали вы когда-либо подобную клевету?» — «Господи, спаси и помилуй», — в один голос отвечают мои свидетели, почтенные люди с почтенными бородами, переглядываясь друг с другом. «Он говорит, — продолжает тем временем богач, — будто сумма была бог весть какая, несметные тысячи и будто вы оба собственными глазами видели, как он давал их мне на хранение. Как это вам понравится? Боюсь, что этот молодой человек, упаси бог, не в своем уме!» — «Не иначе как... не в своем уме!» — отзываются оба моих свидетеля, поглаживая свои почтенные бороды и поглядывая то на богача, то друг на друга. Хочу возразить им, хочу крикнуть, но я не в силах. Язык у меня прилип к гортани, в горле пересохло, в глазах потемнело. Тем временем мои почтенные свидетели, реб Лейзер и реб Иося, неслышно выскользнули из комнаты, странно поглядывая то на богача, то друг на друга. Лица их, хотя и были бледны, как луна, все же сияли, а глаза у них блестели, как у людей, которым всевышний послал в самом начале недели неплохое дельце...

Поверите ли, один бог знает, что бы тут со мной было, но богач вдруг подошел ко мне, положил руку мне на плечо, открыл шкаф и сказал: «Не принимайте этого так близко к сердцу, молодой человек! Вот вам ваши деньги. Я только хотел показать вам, что такое Хабно и кто такие хабненские почтенные хозяева!..»

Рыжий молодой человек с белыми ресницами замолчал, отодвинулся вместе со своим стулом и стал заглядывать каждому из нас в глаза, чтобы проверить, какое впечатление произвел его рассказ. Мы все будто застыли. Разговор не возобновлялся. Только один из нас,

не помню, кто именно, может быть, даже я сам, решился спросить молодого человека с белыми ресницами:

— По какому, собственно, поводу вы рассказали нам эту историю?

— По какому поводу? — переспросил он, как бы удивленный нашим недоумением. — Что значит — по какому поводу? Ни по какому. Просто так, к слову пришлось. Как раз вспомнилась мне эта история, вот я вам ее и рассказал.



ТРИ ВДОВЫ

*Повествование холостяка, закоренелого,
к тому же вспльчивого*

ВДОВА НОМЕР ОДИН

Ошибаетесь, уважаемый, — не все старые девы несчастны, не все старые холостяки эгоисты. Вы сидите в кабинете с сигарой в зубах, с книжкой в руках, и вам кажется, что вы проникли в самые тайники души, всё уже знаете, что нет для вас больше неразрешенных вопросов. И особенно когда вы, с божьей помощью, отыскали такое словечко, как «психология»... Шутка ли —

пси-хо-ло-гия!.. А знаете ли вы, что такое психология? Есть растение такое — петрушка... На вид неплоха и пахнет приятно, приправишь ею кушанье — вкусно. Вот и психология — та же петрушка. Но попробуйте жевать одну петрушку!.. Не хотите? Так что же вы мне навязываете «психологию»? Ежели хотите знать по-настоящему, что такое психология, то садитесь, пожалуйста, и слушайте внимательно, что я вам расскажу. Потом будете высказывать свое мнение насчет того, откуда берутся всякие несчастья, где кроются причины эгоизма и так далее.

Вот я — старый холостяк и старым холостяком умру. Почему? Тут особые обстоятельства... Коль скоро вы спрашиваете — почему, и готовы выслушать меня, то вот это и есть по-настоящему психология! Главное, не перебивайте меня вопросами — как, да что, да почему... Не люблю, когда меня перебивают. Я, как вы знаете, не без капризов, а в последнее время и нервы пошаливают... С ума я не сошел, не пугайтесь! Терять рассудок — это больше подходит вам, вы человек женатый. А мне нельзя, мне полагается быть в здравом уме и твердой памяти. Я обязан быть здоровым. Это вы и сами подтвердите. Короче говоря, вопросов прошу не задавать. Когда я расскажу всю историю и что-нибудь вам покажется непонятным, тогда можете предъявлять ко мне претензии. Ну? Все? Так вот, садитесь сюда, на мое место, а я, с вашего позволения, сяду в качалку. Я тоже, знаете, люблю помягче и поудобней... Да и вам здесь лучше будет, — не уснете...

Итак, приступаю к самому рассказу. Терпеть не могу предисловий, лишней болтовни.

Звали ее Пая, а прозвали — «молодой вдовой». Почему? Начинается история: почему да от чего? Что ж тут непонятного? Раз называли «молодой вдовой», значит, она была молодая и была вдовой. Я был моложе ее. На сколько? Не все ли равно? Говорю — моложе, значит — моложе. Словом, нашлись люди, у которых язык не на привязи, и стали поговаривать о том, что я, мол, холостяк, а она — молодая вдова... Поняли? Иные меня даже поздравляли, желали счастья. Поверьте мне, а не верите — тоже беда не велика. Хвастать мне перед вами ни к чему. Я был с ней близок так же, как вы близки со мной... Просто мы были хорошие друзья, любили друг друга. Да и что тут удивительного? Я был знаком еще с

ее мужем. И не только знаком, но и дружил. Я не говорю, что мы были друзьями. Я говорю, что мы были друзьями. Это разные вещи: можно дружить, но не быть друзьями и, наоборот, быть очень близкими друзьями, но не дружить. Таково мое мнение. Вашего мнения я не спрашиваю! Итак, у нас с ее мужем велась дружба, мы играли в преферанс, иной раз в шахматы. Говорят, я первоклассный шахматист. Не хвастаю перед вами! Возможно, что есть игроки получше меня. Передаю только то, что говорят... Муж ее был человек молодой, способный и развитой, к тому же знающий, очень даже знающий. Самоучка, в гимназии и университетах не учился, дипломов никаких не получал. Ломаного гроша не стоят все ваши дипломы! Что? Вы не согласны? Не надо! Не стану спорить! Он был богат, очень богат. Хотя я не знаю, что, по-вашему, называется быть богатым. У нас человека, у которого свой дом, свой выезд да еще прибыльное дело к тому же, принято считать богатым. Мы не шумим, не гремим, до небес не возносимся, двигаемся потихонечку и полегонечку. Так вот. Были у него дела, и жилось ему хорошо. Приходить к ним доставляло большое удовольствие: когда бы ни пожаловали, вы всегда желанный гость. Не то что у других: в первый раз придете, не знают, где и посадить вас; в следующий раз вас принимают уже не так радушно, а в третий раз встретят так холодно, что простудиться можно... Нечего улыбаться: речь идет не о знакомых... Туда, бывало, попадешь, тебя накурмят, напоят, примут как родного. Чего больше? Вот, к примеру, — прошу извинить меня, — пуговица на жилетке оборвется, ее тут же пришьют! Смеетесь? По-вашему, это смешно. Пуговица! Что такое пуговица? Пуговица, друг мой, для нашего брата холостяка — великое дело! Целый мир! Из-за пуговицы однажды скверная история приключилась: молодой человек пришел на смотрины, а ему кто-то с усмешкой показал, что у него пуговицы не хватает... А тот вернулся домой и повесился... Однако не задерживаюсь на этом: не люблю припутывать посторонние вещи... А жили они — муж и жена — как голубки. Уважали друг друга гораздо больше, чем многие из нынешних, даже из самых что ни на есть «высокопоставленных». Я никого задевать не собираюсь. А если вы другого мнения, меня это ничуть не трогает. Итак, продолжаю свой рассказ.

Однажды Пиня, муж Паи, приехал домой. Слег в постель, прохворал дней пять, а на шестой день нет Пини! Что? Как? Почему? Не спрашивайте! У него чирий на шее вскочил, надо было вскрыть, а его не вскрыли. Почему? Потому! На то и врачи на белом свете! Привел я к нему двух врачей, и стали они спорить. Один настаивает вскрывать, другой возражает — не надо. А больной тем временем скончался. Что тут скажешь! Подумаешь иной раз, сколько людей они на тот свет отправили, волосы дыбом встанут. Родную сестру мою отравили! Думаете, дали ей яду? Я ведь не сумасшедший, чтобы говорить такие глупости! Отравили — значит, не дали того, что нужно. Дали бы ей вовремя хинину, она, может, и осталась бы в живых... Не беспокойтесь, я знаю, на чем остановился. Итак, потеряли мы нашего друга Пиню. Как выразить свое горе? Брата, отца родного не так было бы жалко! Шутка ли — Пиня! Точно годы, многие годы жизни отняли у меня. Боль какая! Несчастье какое! А вдова! Осталась с крошечным ребенком на руках, — Розочка, ангел... Единственное наше утешение. Если бы не ребенок, я не знаю, как бы мы все это пережили, — и она и я! Я не женщина и не мать, чтобы ни за что ни про что расхваливать ребенка. Но если уж я говорю, что ребенок был на редкость удачный, — можете поверить мне на слово. Глядишь на него — не наглядишься. Ну, словом, — плод любви двух замечательно красивых людей. Не знаю, кто из них был лучше — он или она? Пиня был красив, Пая была прелестна. Глаза у ребенка были отцовские — голубые. Любили мы этого ребенка оба, но я и сам не знаю, кто больше — она или я? Скажете, как это возможно? Она — мать, а я — чужой? Ничего не значит. Надо смотреть глубже: моя привязанность к дому, жалость к вдове, сочувствие к бедной сиротке, очаровательному ребенку, и то, что я одинок, как пень, — все это, вместе взятое, и есть то, что вы называете психологией. Не петрушка, а настоящая психология в чистом виде. А может быть, скажете вы, все это потому, что я любил мать? Не отрицаю, очень любил. Знаете, как любил? Мучился, изнывал от любви, но намекнуть ей об этом — ни за что! Ночи напролет, бывало, не спишь, лежишь и думаешь о том, как бы это сказать ей. Встанешь утром, готов, кажется, пойти к ней и прямо заявить: «Да будет вам известно, Пая, так, мол, и так... А дальше — решайте

сами...» Но придешь, а слов-то и нет! Скажете, я трус? Пожалуйста, говорите. Но попытайтесь глубже вникнуть: Пиня был моим другом, я любил его сильнее, чем брата. «А Пая? — спросите вы. — Ведь вы, мол, только что сказали, что изнывали по ней?» Вот именно, отвечу я вам, именно потому, что изнывал, именно потому, что мучился, — не мог, не решался! Боюсь, однако, что вы меня не поймете. Конечно, сошлись я на вашу пресловутую «психологию», вы бы, конечно, поняли, а когда рассказываешь просто, без выкрутасов, от чистого сердца, это начинает казаться диким. Впрочем, думайте, как вам угодно! Я продолжаю. Ребенок рос. Это, конечно, только так говорится «рос». Ребенок растет, и дерево растет, и редька тоже растет. Разница все-таки. Дождаться, покуда ребенок начнет сидеть, стоять, ходить, бегать, говорить! Но вот наконец он уже сидит, и стоит, и ходит, и бегаёт, и разговаривает. А дальше? Не хватало еще, чтобы я, как баба, стал вам перечислять: оспа, корь, зубки и тому подобное! Я не баба, и глупостями занимать вас не стану, и о детских проделках рассказывать не буду. Девочка росла, и выросла, и расцвела — «как нежная роза», сказал бы я, если б захотел изъясняться на языке ваших романистов, которые столько же смеялись в цветении розы, сколько свиньи в апельсинах... Они, знаете ли, большие мастера сидеть у себя в кабинете, греть ноги у печки и описывать природу, зеленый лес, бушующее море, песчаные горы, прошлогодний снег, вчерашний день... Противны мне такие писания. С души воротит!.. И не читаю их! А как возьму книжку и вижу, что солнце сияло, что луна прогуливалась по небу, что воздух был напоен ароматом, что птички щебетали, — швыряю книгу на пол. Смеетесь? По-вашему, я психопат? Ну и ладно!

Итак, выросла она, Роза, и воспитание получила надлежащее, как полагается в интеллигентном доме. Мать за этим присматривала, и я малость следил за ее образованием, да что там — не малость, а по-настоящему; можно сказать, почти все свое время отдавал ребенку, заботился, чтобы ее учили, воспитывали лучшие учителя, чтобы она не опаздывала в гимназию, чтобы играла на рояле, чтоб училась танцевать, — за всем этим следил я, я один. Кто ж еще? И делами вдовы к тому же занимался, не то все ее состояние растащили бы! Ее и так здорово обобрали...

После смерти Пини к вдове ринулись всяческие людишки, благодетели, советчики и стали ее обирать, как полагается... Хорошо, что я вовремя спохватился: «Стоп, машина», — и прибрал к рукам все дела. Она, правда, хотела, чтобы я стал компаньоном, но я решительно отказался. Домов своих не продам и голову себе морочить не стану. Она возражала: не обязательно продавать дома, я и так, мол, могу быть компаньоном. Что же, вы думаете, я на это ответил? Я попросил больше мне таких предложений не делать, потому что в противном случае я рассержусь. «Он, говорю, царство ему небесное, не заслужил того, чтобы я заставил вас платить мне за труды, — а за время, уделяемое вашим делам, говорю, я денег не беру. У меня, говорю, достаточно времени, хоть бейся головой об стенку...» Говорю это я ей, вдове, а она — ни слова. Опустила глаза — и молчок. Если вы что-нибудь соображаете, то вам должно быть понятно, что именно я хотел сказать!.. Почему же прямо не сказал? Не спрашивайте — почему! Стало быть, не пришлось. Могу вас только уверить, что это было так же просто, как вот эту папиросу закурить. Одно лишь слово — и мы сосватаны... Но я подумал: «А Пиня? Ведь мы такими друзьями были!..» Я знаю, что вы хотите сказать: между нами, по-видимому, не столь горячая была любовь... Ошибаетесь. О том, что я по ней изнывал, я уже говорил вам, а о том, что и она — по мне, не хочу рассказывать: подумаете, чего доброго... А впрочем, не все ли мне равно, что вы подумаете. Прикажете-ка лучше подать чаю, а то у меня в горле пересохло.

Итак, уважаемый, на чем мы остановились, не помните? На делах. Ну и дела! На всю жизнь запомню. Мало сказать — эксплуатировали, — вокруг пальца обводили! Погодите радоваться! Не меня — ee! Меня вокруг пальца не обведешь. Знаете — почему? Потому что я не дамся. Однако давайся не давайся, ничего не попишешь, когда сталкиваешься с аферистами, жуликами, бандитами, которые кого хочешь обманут. Они из кожи вон лезли, чтобы отобрать у нас последнее. Но вы можете себе представить, не так-то просто забрать у меня деньги. Они, будьте покойны, достаточно намаялись. Они у меня, черт бы их побрал, кровью харкали, пока удалось им выманить и выкачать, знаете — сколько? Сколько смогли! Счастье, что я вовремя спохватился и сказал вдове: «Довольно! Хватит!» И, насколько это

было в моих силах, я как ножом отрезал. Тем не менее она здорово погорела. Спросите, как же это я допустил? Хотел бы я посмотреть, как бы вы извернулись при таких обстоятельствах. Возможно, у вас лучше получилось бы. Не спорю. Обо мне, может, скажут: не ахти какой коммерсант! Подумаешь, несчастье какое! Лишь бы не бандит! Думаете, мне это не влетело в копеечку? Но я не собираюсь перед вами хвастать. Я хочу только рассказать, как все складывалось, как все вело к тому, чтобы вдова не осталась вдовой, а я — старым холостяком. Скажи я ей одно слово, одно лишь слово... но этого слова я и не произнес! Почему? В том-то и заковыка. Тут-то и начинается настоящая психология. Новая глава под названием «Роза»!.. Вы только слушайте внимательно, ни слова не упустите, потому что это не выдуманный роман, понимаете ли, — это сама жизнь, подлинная, горячая, трепетная...

Не знаю, какая-то особенная сила таится в душе каждой матери... Чуть девочка из коротких платьиц вырастает, как матери уже не терпится: скорей бы увидеть свою дочь помолвленной. А приметит мать, что вокруг ее дочери увиваются молодые люди, — она волнуется, от радости себя не помнит. В каждом молодом человеке она видит жениха. И что жених этот, может, пустелыга, шарлатан, картежник, черт его знает что, — это ее не интересует! Конечно, можете себе представить, пустобрехи и шарлатаны к нам не ходили, потому что, во-первых, Роза была не из тех, что знают с каждым плясуном, умеющим извиваться, крутиться по паркету, сгибать руку калачиком, шаркать ножкой и отвешивать поклоны. А во-вторых, я на что? Допущу ли я, чтобы какой-нибудь повеса на три шага приблизился к Розе? Да я бы ему, кажется, все кости переломал! Был я с нею однажды на балу в клубе, среди отменных аристократов, тех, кого вы называете буржуазией... И вот подходит к нам какой-то франт, ручка кренделем, головка набок, на личике медовая улыбочка, шаркает ножкой, этаким визгливым девичьим голоском говорит... Черт его знает, что он наговорил. Пригласил танцевать. Ну и показал же я ему танец! Запомнит он меня! Посмеялись мы потом над злополучным кавалером! С тех пор все кавалеры знали: прежде чем познакомиться с Розой, надо обратиться ко мне, выдержать, если можно так выразиться, экзамен и лишь потом убраться подбру-

поздорову. Они меня прозвали цербером, то есть сторожевым псом у входа в рай. Беда какая! А знаете, кто по этому поводу сердился? Мать! «Вы, — говорит она, — отпугиваете людей, не подпускаете близко». — «Каких людей? — спрашиваю я. — Это собаки, говорю, а не люди!» Так случилось раз, и два, и три. Однажды чуть было не кончилось катастрофой. Думаете, мы поссорились? Вы, правда, человек умный, но на сей раз не угадали! Вот послушайте, что было.

Прихожу я однажды к вдове и застаю гостя, молодого человека лет двадцати или тридцати. Есть такие молодые люди, возраст которых никак не определишь. Молодой человек, не отрицаю, оказался очень славным. Бывают такие симпатичные люди — хорошее лицо, хорошие глаза, ни к чему не придерешься. Понравился он мне с первого взгляда. Знаете — почему? Потому, что я терпеть не могу людишек с сахарными личиками, с медовыми улыбочками. Ненавижу эти противные существа, которые умильно заглядывают вам в глаза и поддакивают каждому вашему слову: скажите им, что в июле снег выпал или рыба на вербе росла, они и против этого не возражат... Когда я вижу такое создание, мне так и подмывает, на радость пчелам, вымазать его медом... Хотите знать, как звали этого молодого человека? Что вам до этого? Допустим, его фамилия Шапиро. Удовлетворены? И был он бухгалтером винокуренного завода, и не только бухгалтером, но и полновластным хозяином; можно сказать, что на заводе он пользовался бóльшим авторитетом, чем даже сам хозяин. А хозяин, который не доверяет своим подчиненным, не достоин быть хозяином... Можете быть другого мнения на этот счет, — это не так уж важно.

Словом, представили мне молодого человека по фамилии Шапиро, бухгалтера, управляющего, порядочного человека, к тому же замечательного шахматиста. В шахматы он играет не хуже, а, пожалуй, даже лучше меня. Ведь я же вам говорил, что не считаю себя крупным шахматистом. И вот, поди будь пророком и угадай, что здесь завязывается роман! Отчаянный! И надо же мне быть таким ослом и не заметить этого с самого начала! Представьте себе, ведь я же собственными руками подливал масла в огонь, всячески расхваливал этого человека, превозносил его до небес! Чтоб они сгорели, эти шахматы, а заодно с ними и все шахматисты на свете! Играл я с ним, а он тем временем замышлял совсем

другое. Я у него брал «королеву», а он у меня Розу отнял! Я давал ему «мат» в десять ходов, а он мне — в три хода, потому что на четвертом ходу, то есть когда он явился в четвертый раз, вдова отозвала меня в сторону и с особенным огоньком в глазах сообщила мне, что Розочка стала невестой этого самого Шапиро и что она на седьмом небе от счастья. Словом, поздравьте меня, и себя, и нас обоих.

Что со мной сделалось, когда я услышал эту добрую весть, рассказывать не стану. Скажете еще, что я злодей, сумасброд, помешанный? Она, вдова то есть, сказала то же самое. Вначале смеялась, потом раскричалась на меня, а кончилась эта история слезами, истерикой и прочими такими вещами, — словом, конфликт! Лопнул, понимаете ли, волдырь... Мы объяснились и за полчаса наговорили друг другу столько беспощадной правды, сколько не было высказано за все двадцать лет нашего знакомства! Я откровенно заявил ей, что она мой злой гений, что она погубила меня, отняла единственное утешение мое, Розу, и отдала ее другому. На это она мне ответила, что если кто-нибудь из нас и покушался на душу другого, то это я покушался, понемножку, на протяжении восемнадцати с лишним лет!.. Что это значит, мне вам объяснять незачем, это и дурак поймет. А что я ей на это ответил, я вам рассказывать не стану. Скажу только, что обошелся я с ней не по-джентльменски, можно сказать грубо, очень грубо! Я схватил шапку в охапку и, хлопнув дверью, выбежал как сумасшедший... И дал себе слово не переступать ее порога до конца жизни!.. Ну что скажете? Ведь вы же человек мыслящий? Что по этому поводу говорит ваша психология? Что я должен был сделать — утопиться? Или купить револьвер? Или повеситься на первой осине? Что я не утопился, не застрелился и не повесился, вы, слава богу, сами видите. А что было дальше? Об этом в следующий раз. Ничего с вами не станется, если немного подождете. Я должен идти к моим вдовам. Они ждут меня к обеду.

Вот и все о вдове номер один.

ВДОВА НОМЕР ДВА

Почему я заставил вас так долго ждать? Да уж так мне хотелось. Если что-нибудь рассказывать, то, конечно, тогда, когда самому хочется... А что вы не прочь послу-

шать, это видно: до историй, да еще интересных, — каждый охотник. И правда, чем плохо: я, к примеру, сижу себе после обеда в своей комнате, в своем кресле, с сигарой в зубах, а вы надрыгаетесь, рассказывая... А что рассказчику, может быть, это крови стоит, так вам до этого что? Только бы интересную историю послушать! Я не вас имею в виду, не пугайтесь! Вы только слушайте внимательно. И хотя то, что я расскажу вам сейчас, не имеет никакого отношения к предыдущей истории, мне все же хочется, чтобы вы помнили то, о чем я рассказывал вам в прошлый раз, ибо кое-какая связь между всем этим все-таки есть, и даже не кое-какая, а большая! А если вы что-нибудь забыли, я вам напомню. В двух словах повторю вам прежнюю историю.

Был у меня товарищ Пиня. Были у него жена Пая и дочка Роза. Товарищ мой помер, а Пая осталась молодой вдовой, я же был ее близким другом, секретарем, братом. Я томился, изнывал по ней. Но сказать ей об этом у меня не хватало духу. Так проходили лучшие годы. Дочь выросла, Роза расцвела, и я потерял покой, окончательно растерялся. Принесла нелегкая молодого человека, бухгалтера Шапиро, неплохо играющего в шахматы, и Роза в него влюбилась. Все, что накопело на сердце, я выместил на матери, поссорился, хлопнул дверь и поклялся, что ноги моей там не будет до конца моей жизни. Ну, довольны?

Теперь, догадываюсь я, вам очень хочется знать: сдержал я слово или нет? Но ведь вы, кажется, «психолог». Скажите, должен был я сдержать свое слово или нет? Молчите? А почему? Потому что сами не знаете... Вот как это произошло.

Всю ночь я шагал по городу как ошалелый, раза три измерил все улицы вдоль и поперек, вернулся домой на рассвете, пересмотрел все свои бумаги, многие порвал — терпеть не могу старые бумаги, — упаковал свои вещи, написал несколько писем знакомым, — друзей и родственников у меня, слава тебе господи, нет, один как пень... Оставил распоряжения относительно моих домов и магазинов и, проделав все это, сел на кровать, склонил голову и думал, думал, думал, пока не наступило утро. Тогда я честь честью умылся, оделся и пошел к моей вдове. Позвонил, вошел, велел подать кофе, стал ожидать, когда вдова проснется. Вдова вскоре встала. Увидев меня, она остановилась на минуту. Глаза у нее

припухли, лицо побледнело. Неужели и она всю ночь не спала?

— Как Роза? — спросил я.

В эту минуту в комнату вошла Роза. Свежа, как божий день, хороша, ласкова, приветлива, как ясное солнышко. Увидав меня, она слегка покраснела, потом подошла, погладила меня ручкой по голове, как гладят ребенка, и, заглянув мне в глаза, рассмеялась. Да как, думаете, рассмеялась? Не так, чтобы вас, упаси господи, обидеть, а так, чтобы вам самому захотелось смеяться, чтобы все, все вокруг, и даже стены, улыбалось. Да, господин мой любезный, этакой силой Роза обладает и по сей день! Я и сейчас за ее смех готов отдать все, что имею. Беда только, что сейчас она уже больше не смеется. Не до смеха ей! Но я не намерен забегать вперед. Люблю, начав что-нибудь, продолжать по порядку.

Итак, по порядку.

Знаете ли вы, что значит выдавать дочь замуж? Нет? Не знаете? Ну, и не приведи господи узнать! Я это на себе испытал. Хоть и чужую дочь выдавал, но испытал. Надолго запомню это. Да и что, скажите на милость, оставалось мне делать, когда моя вдова, Пая то есть, привыкла, чтобы ей все готовенькое домой приносили? А кто в этом виноват, как не я сам? Я приучил их — и мать и дочь, — чуть что в доме потребуется, всегда обращаться ко мне. Хоть свет перевернись вверх дном, все должно быть доставлено, и не позднее чем через два часа! Нужны деньги — ко мне. Доктор — ко мне. Кухарка — ко мне. Учитель танцев — ко мне. Платье, ботинки, портной, мясник, перо, крючок — ко мне, ко мне и ко мне! Думаете, я не укорял их: «Что с вами будет? Ведь вы же тряпкой станете!» Говорю, а они смеются. Им все хи-хи-хи да ха-ха-ха! всю жизнь так. Есть такие люди на свете. Немного, но есть. И кому должны были попасться такие? Мне! Кому нянчиться с чужими детьми? Мне. Кому терзаться из-за чужих несчастий? Мне. Кому плясать на чужих свадьбах? Мне. Кому плакать на чужих похоронах? Мне. Вы спросите, кто меня принуждает? На это я вам отвечу: а кто велит вам бросаться в огонь — спасти чужое дитя? Кто велит вам морщиться, когда другому больно? Скажете, что вы ни того, ни другого не делаете? Стало быть, вы зверь! А я не зверь, я человек. Я не корчу из себя идеалиста, я простой, обыкновенный человек и старый холостяк к тому же. Хотя ваша

«психология» утверждает, что старые холостяки — эгоисты. Впрочем, может, все это и есть своего рода эгоизм? Что? Не любите копать, философствовать? Я тоже этого не люблю.

Итак, нужно было выдавать замуж дочь моей вдовы, Розу, и корчить из себя свата. Что еще мне оставалось делать? А так как вы меня уже немного знаете, то вам нетрудно понять, как это мне было по душе! От одного слова «сват» меня тошнит! Зовите меня «человеком», зовите «лакеем», зовите «шутком гороховым», «приказчиком», лишь бы не «сватом»! А вот она, вдова то есть, ужасно рада новому званию: «сватья». Скажешь ей «сватья» — она прямо-таки тает. «Скоро тещей будете!» — говорю ей. А она улыбается: «Дожить бы уж!» Хороша теща! Посмотрели бы вы на нее в день венчания дочери! Заглядень! Красавица! Не скажешь, что это мать и дочь! Сестры! Залюбовался я на нее, когда дети стояли под венцом. Я думал про себя: «Эх, глупец ты! Пень одинокий! Сейчас для тебя самый подходящий момент... Стоит тебе одно слово сказать, один взгляд бросить — и конец твоему одиночеству... Строишь дом свой... Возделываешь виноградник... Вступаешь в собственный рай... Живешь спокойной жизнью, среди своих близких и любимых... Забудь, забудь о Розе!.. Роза не для тебя... Она тебе в дочери годится... Не обманывай себя... На мать гляди! Скажи ей одно лишь слово, дикарь этакий!.. К ней обратись, ни к кому больше! Чего ты за душу тянешь? Не замечаешь, какими глазами смотрит она на тебя?..»

Размышляя так, я встречаюсь с ее взглядом: я чувствую, что сердце у меня разрывается от жалости к ней... Слышите? От жалости!.. Уже ничего больше, кроме жалости... Раньше, помню, мной владело совсем иное чувство... А теперь — только жалость... А раз жалость, то, может быть, и меня жалко? И может быть, больше, чем ее? Кто же виноват? Почему она до сих пор молчала? Почему молчит сейчас? Почему же мне надо сказать ей это слово, а не ей — мне?.. Стыдно, скажете вы? Так уж на свете заведено? Начхать мне на ваш свет! Не вижу разницы: «он» ли раньше скажет, «она» ли... Люди — это люди! Раз она молчит, то и я молчу! Вы это назовете упрямством? Амбицией? Дурью? Называйте как угодно! Я вам уже говорил, что мне это безразлично... Я только изливаю перед вами душу и хочу вместе с вами

проанализировать, разобраться, в чем тут загвоздка. Может быть, в том, что мы с Паей никогда и двух минут наедине не оставались? Возле нас всегда было существо, поглощавшее все наше время, все наши мысли и чувства: наши горести и радости все принадлежали кому-то другому, не нам. Для нас самих ни одной свободной минуты! Черт побери! Оба мы как бы созданы для того, чтобы заботиться о других! Раньше был Пиня. Потом господь помог — родилась Розочка, теперь бог послал новую радость: зятек на иждивении! Зятек, однако, был на редкость удачный. Такого зятя мог бы себе пожелать каждый. Вы отлично знаете, я не из тех, что сразу приходят в восторг, и не имею привычки превозносить кого бы то ни было. Пустых слов, дифирамбов, притворных комплиментов я не расточаю. Скажу вам только, что слово «ангел» в данном случае прозвучало бы оскорблением. Понятно? Если существует небо, и если ангелы витают в нем, и если те ангелы не хуже вот этого Шапиро, тогда, уверяю вас, стоит умереть и быть лучше с ними, чем с двуногими животными, снующими под божьими небесами и оскверняющими землю. Вы скажете — я мизантроп, человеконенавистник. Если бы люди причинили вам то, что они причинили нам, если бы они поступили с вами так же, как с нами, вы стали бы не только мизантропом, но и злодеем. С ножом в руках кидались бы на людей, резали бы их, как овец! Кстати: что это у вас за манера заставлять человека говорить часами, даже не спросив, не хочет ли он стакан воды? Велите подать чаю!

Итак, на чем же мы остановились? На нашей радости, на нашем зяте Шапиро.

Кажется, я вам уже говорил, что он был главным управляющим на винокуренном заводе, и не только управляющим, но и полным хозяином всего предприятия. Все было в его руках. Владельцы питали к нему безграничное доверие, и любили они его, как родного сына. На свадьбе хозяева — два компаньона (воры, каких мало, — да простят они мне, — оба они уже по ту сторону, в Америке) — держали себя как близкие родственники. Они преподнесли жениху ящик с разными серебряными вещичками и вообще были щедры и любезны, как истые филантропы. А я, знаете, не люблю филантропов, да еще хозяев-филантропов, когда они заявляются на торжество и демонстрируют свою филантропию, чтобы все видели и

знали, что вот они — хозяева-филантропы, умеющие ценить «человека»!.. А что, если благодаря именно этому человеку они разбогатели? А что, если, не будь этого человека, они, быть может, не стали бы ни хозяевами, ни филантропами?.. Зря улыбаетесь! Я, уважаемый, социалистом не прикидываюсь. Но хозяина-филантропа ненавижу. Что мне за это полагается? А впрочем, сейчас услышите, на что способен хозяин-филантроп. Казалось бы, владеешь, с божьей помощью, предприятием, которое приносит добрых несколько тысяч годового дохода, и в твоём распоряжении человек, на которого можно положиться, ну и спи себе спокойно дома или поезжай за границу и живи в своё удовольствие. Но им этого мало! Они любят делать дела, греметь, трещать — чтобы все видели! Чтобы все слышали!.. Короче говоря, преуспевающие хозяева не довольствовались тем, что владели таким доходным предприятием, которым успешно руководил Шапиро. Затевая новые дела, они чем дальше, тем больше влезали в «торги», в «откупа», в куплю и продажу пшеницы, отрубей и, наконец, домов... В общем, дела вихрем закружились, завертелись... Почва из-под ног ускользнула и... все пошло прахом. Втянув в свои аферы нашего Шапиро, они опутали его векселями, а сами успели захватить всю наличность и укатали в Америку. Похоже, что у них там, как американцы говорят, все «ол райт», а его, Шапиро то есть, оставили по уши в долгах, связали по рукам и ногам обязательствами и расписками. Словом, разразился большой скандал, дошло до того, что никто и смотреть не захотел, «человек» он или хозяин, — пусть, мол, платит по векселям, а так как платить ему нечем, то он банкрот! Но он не может доказать, что банкротство вызвано несчастным случаем. А такой человек считается у нас, как вам известно, а может быть, и неизвестно, «злостным банкротом», то есть он негодяй, а банкрота-негодяя сажают в тюрьму, таких у нас не любят. Можете десять раз обанкротиться, десять раз повторить то же самое, но если все это сделано ловко и гладко, как полагается, то вы всему свету покажете, извините за выражение, кукиш да еще купите себе дом со всеми онерами. Вы снова порядочный человек: выгодно выдаете замуж или жените своих детей, с вашим мнением считаются в городе, вы командуете, распоряжаетесь, метите в великие мира сего, в воротилы, которые всех за нос водят... Вам начинает казаться, что вы и в самом деле бог весть кто,

пыжитесь, как индюк, людей не узнаете и убеждаете себя в том, что вам сам черт не брат! Извините, вы понимаете, что я не вас имею в виду... Словом, к чему все эти разговоры? Шапиро не смог вытерпеть позора, да и душа у него болела за обездоленных вдов и сирот (его хозяева никого не щадили, брали, где только можно было), и он отравился!..

Думаю, что вам неинтересно, как и чем он отравился. И какое письмо он оставил мне. И что он мне говорил. И как прощался с Розой. И с матерью и со мной. Все это сантименты, которыми пользуются романисты, чтобы выжать из глупого читателя слезу. Скажу вам в нескольких словах: не себя этот человек отравил, — он отравил всех нас! Горе наше было беспредельно, боль так глубока, что у всех у нас даже слезы высохли. Мы застыли, окаменели, замерли, мы были бы счастливейшими из счастливых, если бы явился кто-нибудь и отрубил всем нам головы!.. Можете говорить что угодно, но я ненавижу всех тех, которые выражают соболезнование. Их притворно печальные физиономии, на каждой из которых написано: «Слава богу, что не я...», их бездушные слова, лишённые всякого смысла, фальшивые восхваления, невнятное бормотанье себе под нос вместо обычного прощания при уходе... Чего уж больше? Даже Книга Иова*, в которую, как это принято в таких случаях, каждый невежда заглядывает, хоть ни черта в ней не смыслит, — и та мне противна! Кошунство, скажете? Это, по-вашему, кошунство? Ну, а подставить ножку ни в чем не повинному человеку, принуждать его подписывать векселя, а самому с деньгами удрать в Америку, оставить «доверенного» человека в безвыходном положении и тем самым толкнуть его на самоубийство, бросить на произвол судьбы три невинные души, загубить их, — это вы как назовете? Какое вы этому имя придумаете? Это ли не кошунство? И сам господь бог, скажете вы, здесь тоже ни при чем? Ибо как можно роптать на бога? А вы посмотрите, что по этому поводу говорит тот самый святой Иов, в книгу которого люди заглядывают, но ни слова не понимают. Молчите? Я тоже молчу, потому что разговаривать можно до хрипоты, — все равно никто не ответит! Будете жевать и пережевывать все те же привешенные слова: «Господь дал, господь и взял», да при том и останетесь... Что вы говорите? Философствовать — значит жевать солому? Я то же самое говорю.

Итак, возвращаюсь к вдове... Впрочем, что я говорю — к вдове? К двум моим вдовам! Роза тоже вдова! Ха-ха-ха! Это очень грустно, это оскорбительно, это противоречит всем законам природы... Что же остается, как не смеяться горьким смехом! Роза — вдова! Посмотрели бы вы на нее: Роза — вдова! Но вдова — это еще не все! Роза — мать! У Розы — ребенок! Через три месяца после смерти Шапиро послышался голосок новорожденной девочки. Им заполнился весь дом. Назвали ее Фейгеле — и властительницей всего дома стала одна только Фейгеле, все делалось ради одной только Фейгеле, и где бы вы ни стояли, и где бы вы ни сидели, и что бы вы ни делали, всюду вы слышали только Фейгеле, Фейгеле, Фейгеле. Будь я верующим, верь я в провидение, как вы это называете, я бы сказал, что господь бог вознаграждал нас за все наши страдания и ниспослал нам утешение. Но вы знаете, что я не шибко верующий, да и на ваш счет крепко сомневаюсь... Что? Хотите убедить меня, что вы веруете? На здоровье! Никаких претензий к вам не имею, лишь бы вы сами были убеждены в том, что вы не ханжа и не лицемер. Терпеть не могу ханжей и лицемеров, как правверный еврей — свинину! Будьте набожны, как десять тысяч чертей, но только по-честному! Но если вы лицемер, ханжа, прикидывающийся фанатиком, то вы мне нужны, как пятое колесо телеге! Такой уж я человек!

Итак, кто же у нас на очереди? Фейгеле! С первой минуты, как только Фейгеле появилась на свет, все словно ожило, все и вся улыбалось и радовалось. Лица засияли, глаза засветились и заблестели. Мы все как бы заново родились вместе с этим ребенком. Роза, на лице у которой столько времени не появлялось улыбки, и та снова начала смеяться своим прежним заразительным смехом, заставляющим вас смеяться даже тогда, когда плакать хочется.

Вот что с нами сделала крошечная Фейгеле, когда она раскрыла свои, как нам показалось, понимающие глазки и стала разглядывать нас троих. А уж когда на губках Фейгеле впервые показалась улыбка, обе вдовы чуть не ошалели от восторга.

Они встретили меня так шумно, что я даже испугался.

— Господи! Где вы были одной минутой раньше? — налетели на меня обе вдовы.

— А что такое? Что случилось? — встревожился я и услышал в ответ:

— Помилуйте! Только что, полторы минуты тому назад, Фейгеле улыбнулась в первый раз!

— И это все? — говорю я довольно холодно, а сердце мое радуется не столько, конечно, тому, что Фейгеле улыбнулась, сколько тому, что обе мои вдовы так счастливы. Теперь можете себе представить, что творилось, когда прорезался первый зубок! Это обнаружила, естественно, младшая вдова — мать! Она подозвала старшую вдову, Паю то есть, и обе стали проверять зубик у девочки, осторожно приложив к нему стакан. А когда слышали, что зубок звякает о стекло, они подняли такой шум, что я прибежал из соседней комнаты ни жив ни мертв.

— Что такое?

— Зубок!

— Вам показалось! — сказал я нарочно, чтобы их немного подразнить. Тогда обе вдовы взяли мой палец и заставили меня нащупать в горячем ротике Фейгеле какой-то острый кончик, нечто вроде зуба.

— Ну? — спрашивают обе и ждут моего подтверждения.

Но я притворяюсь непонятливым. Люблю их подразнить. Переспрашиваю:

— Что «ну»?

— Зубок? Не правда ли?

— Зубок. Чему же еще быть?

И вы, конечно, понимаете, что раз зубок, то, значит, Фейгеле умница, равной которой во всем свете не сыщешь! А раз Фейгеле такая умница, то надо ее целовать до тех пор, пока ребенок не расплатится. Тогда я вырываю ее у них из рук и успокаиваю, потому что ни у кого ребенок так быстро не успокаивается, как у меня, им можно сказать, что ничьих волос Фейгеле не любит так, как мои, и ничего носа она с таким удовольствием не теребит своими крошечными пальчиками, как мой нос. А ощущать на своем лице эти крошечные пальчики — просто наслаждение! Хочется тысячу раз целовать каждый суставчик этих маленьких бархатных пальчиков! Вы смотрите на меня и думаете: «Бабыя душа у этого человека! Иначе он не любил бы так детей...» Угадал, не правда ли? Видите ли, я не знаю, какая у меня душа, но что я люблю маленьких детей — это факт! А кого же

и любить, если не маленьких? Взрослых, что ли? Эти гадкие морды, упитанные, с брюшками, вся жизнь которых — вкусный обед, хорошая сигара и преферанс? Или тех прикажете любить, которые кормятся за счет общества, а сами кричат, шумят, трезвонят на весь мир, что единственная их цель — общественное благо?.. Или вы хотели бы, чтобы я любил молодых цуциков, которые хотят переделать мир, называют меня «буржуем» и хотят меня заставить продать дома и поделиться с ними во имя какой-то экспроприации? Или, может, прикажете любить откормленных дам, единственный идеал которых жрать, наряжаться в шелка и брильянты, таскаться по театрам и нравиться чужим мужчинам? Или — стриженных старых дев, которых когда-то называли «нигилистками» *, а сейчас зовут «эсеровками» *, «кадетками» * и тому подобными замечательными именами? Вы говорите, что я старый холостяк, брюзга и мизантроп и что именно поэтому мне никто не нравится? Ну хотя бы и так, кому от этого легче? Итак, на чем же я остановился? На ребенке, на Фейгеле, на том, как мы ее любили. Всю свою жизнь мы отдавали ребенку, — все трое, — потому что ребенок этот скрашивал наше существование, давал нам силы и энергию переносить тяготы глупой и грубой жизни. А для меня лично ребенок этот был источником тайных надежд. Вы легко поймете — каких, если вспомните, чем была для меня Роза. Ребенок рос, и с каждым днем в моем сердце расцветала надежда, что кончится наконец мое одиночество и мне когда-нибудь придется вкусить сладость жизни... И не один я носился с этой мечтой — ту же надежду питала в сердце своем и Пая. И хотя мы никогда об этом не говорили, всем было ясно, как божий день, что так обязательно будет... Вы, пожалуй, спросите: как могут люди понимать друг друга без слов? Но это значит, что вы знаете психологию, но не знаете людей... Вот я для примера нарисую вам картину, и вы увидите, как люди понимают друг друга с полуслова.

Летняя ночь. Небо исчерчено молочно-белыми полосами. Хотел было сказать: звезды горят, сверкают, мерцают... Но вспомнил, что так в какой-то книжке написано, а я не желаю пережевывать чужие слова. Я говорил вам, что терпеть не могу описаний природы, которые так не похожи на природу, как я на турецкого пашу. Словом, была летняя ночь, одна из тех удивитель-

ных, теплых, прекрасных ночей, когда сердце даже самого черствого в мире человека преисполняется поэзией, и его тянет куда-то в неведомую даль. Он погружается в священный покой, глядит в опрокинутую синюю чашу, именуемую небом, и чувствует, что небо и земля о чем-то шепчутся, ведут тихую беседу о вечности, о бесконечности, о том, что люди называют божеством...

Ну? Как вам нравится мое описание природы? Не нравится? Ну и не надо! Погодите, это еще не все. Я забыл вам рассказать о жуках — странных, тяжелых, коричневых жуках, которые носятся в темноте, жужжат, гудят, то шлепаясь о стены, об окна, то падая на землю с полураспластанными крыльями. Не огорчайтесь, пожалуйста, они немного поползают по земле, затем поднимаются, расправят крылья и снова начнут кружить на свету, гудеть, жужжать, снова шлепаться об окна и снова падать на землю... Мы сидим на крыльечке, выходящем в сад, все четверо: я, Пая, Роза и Фейгеле. Фейгеле уже большая, осенью ей исполнится четыре года, а разговаривает она как взрослая. И все время задает вопросы. Тысячи вопросов! Почему небо — небо, а земля — земля? Когда бывает день и когда ночь? Почему ночью — ночь, а днем — день? Почему мама называет бабушку «мамой», а бабуся маму называет не «мама», а Роза? Почему я ей дядя, а не папа? Почему дядя смотрит на бабуся, а бабуся на маму и почему мама так покраснела?.. Это, конечно, вызывает общий смех. Фейгеле спрашивает, почему мы смеемся, а мы еще громче заливаемся, и кончается все это тем, что мы трое переглядываемся, отлично понимая, что означает наш взгляд. Слов не надо. Слова ни к чему. Слова созданы только для болтунов, для женщин и адвокатов. Или, как выразился однажды Бисмарк, слова нам даны для того, чтобы скрывать наши мысли. Ведь вот звери, птицы и прочие создания обходятся без слов! Растет дерево, распускаются почки, пробивается травка, — какой у них язык? Глаза, господин мой любезный, глаза человеческие — великое дело! То, что глаза скажут вам иной раз в одно мгновение, языку и за день не передать. Взгляды, которыми мы с обеими вдовами обменялись в ту ночь, выражали многое, многое. Незабываемые взгляды — поэма нашей жизни, если хотите, песнь, печальная песнь о трех потерянных жизнях, о трех искале-

ченных душах, которым будничная жизнь, сутолока помешала пить из источника, именуемого счастьем, вкушать от родника, называемого любовью... Слово «любовь» вырвалось у меня нечаянно. Поверьте, меня так и воротит от него. Почему? Потому, что ваши писатели чересчур часто пользуются этим священным словом, оно становится у них слишком будничным. Слово «любовь» в устах ваших писателей — кощунство. Слово «любовь» должно звучать как молитва всевышнему или как мелодия без слов, песнь чистой поэзии, хотя и без таких рифм, как «бежать — покупать», «хапать — лапать», «гнаться — драться» и тому подобных, при чтении которых мне кажется, что я глотаю горох и закусываю бумагой... Примеры мои, может быть, вам и не нравятся, но потерпите немножко. Сейчас я закончу историю о вдове номер два, потому что терпеть не могу, когда зевают... Скажите, не случалось ли с вами такого: нестерпимо болит зуб, его во что бы то ни стало надо удалить, а вы откладываете со дня на день визит к врачу? Наконец вы набрались духу и отправились. Приходите и читаете на дверях табличку: «Зубной врач такой-то принимает от 8 до 1 и от 1 до 8»... Смотрите на часы и думаете про себя: «От восьми до часу и от часу до восьми? Куда же мне торопиться?»

Возвращаетесь домой и опять мечетесь от боли... То же самое было со мной и с Розой. Каждый день я утром выходил из дому с твердым намерением — сегодня же объясниться без всяких отговорок! Сначала переговорю с вдовой номер один, с матерью то есть, так, мол, и так... Она чуть покраснеет, опустит глаза и скажет: «Я не возражаю, переговорите с Розой...» Тогда я пойду от вдовы номер один к вдове номер два и скажу ей: «Послушай, Роза, так, мол, и так...» И вот прихожу к моим вдовам, а навстречу мне выбегает Фейгеле, бросается ко мне на руки, обнимает за шею, целует в очки и просит, чтобы сегодня, непременно сегодня, я сказал мамочке и бабушке, — меня они слушаются, — чтобы ей разрешили не учиться, не играть, не танцевать, а пойти с дядей в зоологический парк! Привезли туда, говорит она, таких обезьян, таких обезьян, что можно со смеху лопнуть!.. Ну вот, попробуйте откажитесь пойти с ребенком в зоологический парк смотреть смешных обезьян.

«Что станется с этим ребенком?» — ворчит вдова номер один. «Окончательно испортит ребенка», — подтверждает вдова номер два.

А дядя не обращает внимания на упреки и недовольство обеих вдов: он отправляется с ребенком в парк знакомиться с уморительными обезьянами... И так вот каждый раз какая-нибудь другая причина. День проходит за днем, неделя за неделей, год за годом, ребенок растет, начинает понимать такие вещи, о которых говорить не полагается, и мы втроем приходим к молчаливому соглашению, что надо выждать, ребенок вырастет, а там видно будет. Когда Фейгеле станет взрослой, найдет себе жениха, тогда, мол, у нас развяжутся руки, и мы перестроим нашу жизнь, заново возведем наш дом. И каждый про себя строит планы, как мы будем жить все вместе: молодая чета — Фейгеле со своим суженым, старая чета — я и Роза, а вдова-бабушка (Пая) будет властвовать над всеми нами. То-то будет жизнь! Одна беда: как бы дожить до того времени, как дожидаться, покуда Фейгеле вырастет, станет взрослой и найдет себе жениха? Но кто живет, тот доживает! Так, кажется, гласит поговорка? Не люблю я шаблонных поговорок! А вы разве любите? Ну и прекрасно. На здоровье! Итак: кто живет, тот доживает! Фейгеле выросла. Стала взрослой и нашла себе жениха, — но вот тут-то и вся загвоздка! Тут-то и начинается «психология», как вы это называете.

Зря вы на часы поглядываете. Я все равно сегодня больше рассказывать не буду. Мне пора: мои вдовы невесть что подумают. А захотите послушать историю вдовы номер три, — ничего с вами не случится, если вы пожалуете ко мне. За полы я вас тащить не стану! Сами придете... До свиданья!

Вот и все о вдове номер два.

ВДОВА НОМЕР ТРИ

Хорошо, что вы пришли как раз в такое время, когда я дома. То есть дома-то я всегда, но для себя, а не для других. У каждого человека свои привычки. Я, например, привык, чтобы против меня, когда я ем, сидела кошка. Без кошки я и есть не стану. Кис-кис-кис! Как вам нравится моя кошка? Умница! Сама ничего не возьмет, хоть золото кладите! А шерстка! Как вам нравится

ее шерстка? Как вам нравится ее шерстка? Что? Вы не любите кошек? Это вам еще в хедере внушили... Знаем мы эти истории! Не оправдывайтесь. Чай пьете с молоком? Или так? Я пью с молоком... Брысь... Ко всем чертям! Ничего так не любит, как молоко! Масло не тронет, а молоко непременно лизнет.

Вы знаете, я не люблю предисловий, но на сей раз без него не обойдется... Терпеть не могу, когда улыбаются. Смейтесь сколько угодно, только, прошу вас, не улыбайтесь. Вы помните все, что я вам рассказывал? Может, забыли, скажите, не стесняйтесь. Люди покрупнее нас с вами и то, случается, забывают. Боюсь, что придется вкратце повторить все сначала.

У меня был товарищ Пиня, у него была жена Пая, была у них дочь Роза. Товарищ мой умер. Пая осталась вдовой. А я был ей близким другом. Она была мне по сердцу, да и я ей. Но мы об этом не говорили. Так прошли лучшие годы. Тем временем Роза, дочь ее, выросла, и я полюбил ее. Подвернулся молодой человек — Шапиро, хороший бухгалтер и прекрасный шахматист, и Роза в него влюбилась. Тогда я поссорился с ее матерью и ушел с намерением больше туда не являться до конца жизни. Слова своего я не сдержал и тут же, на следующий день, явился снова и по-прежнему оставался близким человеком; справили свадьбу Розы с этим Шапиро, который был полновластным хозяином в делах своих принципалов и даже подписывал за них векселя. Но они разорились и удрали в Америку, а его оставили в долгах. Шапиро покончил с собой, и Роза осталась вдовой. Итак, вот вам две вдовы. И точно так же, как ее мать Пая — вдова номер один, дочь Роза — вдова номер два — осталась с маленьким ребенком Фейгеле, которая родилась через три месяца после смерти Шапиро. И все мы крепко любили эту девочку, целиком посвятили себя ей, и нам было некогда думать о себе и о моем романе с вдовой номер два, с Розой, о романе, который тянулся долго-долго; пусть, мол, Фейгеле подрастет, станет взрослой, а там видно будет. А когда Фейгеле подросла и стала взрослой... Очень прошу вас, когда я что-нибудь рассказываю, не заглядывать в книгу — противная манера! Прошу вас, внимательно слушайте, что вам рассказывают, потому что тут начинается новая история.

Думайте обо мне что угодно, но ни фанатиком, ни упрямым я никогда не был. Я всегда шел в ногу с эпохой. Никогда не отставал, не тянул назад, как те, что селятся на молодое поколение с его новыми стремлениями.

Терпеть не могу этих старых умников с их вечными претензиями: как же это яйца курицу учат? Кто старше — яйцо или курица?.. Глупцы! Именно потому, что яйцо моложе, оно и ценнее! Оно способнее! Умнее! И конечно же, мы старое поколение, должны хорошенько прислушиваться к тому, что говорят нам молодые, потому что они молоды, свежи, они учатся, исследуют, ищут, находят, открывают. А как же? Так, как вы, что ли, плесенью и мохом поросшие мудрецы, которые сидят над своими древними фолиантами и с места двинуться не желают? Сержусь я, правда, на молодых, на нынешних за то, что они нас уже и вовсе не признают, ни во что не ставят, говорят не только, что мы ослы, — мы даже не ослы, а попросту ничто. Мы не существуем! Нас нет! Нету — и дело с концом!.. Представьте себе, приходят к нам, то есть к моим вдовам или, вернее, к нашей Фейгеле, трое молодых цуциков. Студенты они или не студенты — черт их знает! Носят черные рубашки, волос не стригут, кто они такие — не говорят, языки у них острые, а Карл Маркс — у них бог, не Моисей-пророк, а сам бог! Ну что же, — бог так бог! Рук я на себя из-за этого не наложу. Тем более что и сам я не чужд социалистических идеалов, я и сам знаю, что такое капитал, что такое пролетариат, экономическая борьба и тому подобные вещи... А если хотите, то и сам я... Не радуйтесь, не бундовец *, упаси бог, но и не хромоногий сапожник!

Итак, приходят они к нам каждый день, эти три парня, о которых я рассказываю. Одного зовут Финкель, второго — Бомштейн, а третьего — Грузевич. А ходят они к нам, как к себе домой, потому что обе мои вдовы, и мать и дочь, когда к ним кто-нибудь приходит, не знают, куда усадить гостя, готовы душу ему отдать! А тем более такие три сокровища, из которых один несомненно кандидат в женихи для Фейгеле. То есть кандидаты они все трое, но не может же Фейгеле иметь трех женихов, должен же быть кто-нибудь один. Вот и угадай, кто же этот единственный, когда о нем даже заикнуться нельзя, упаси бог! Спрашивать они тоже никого не спрашивают. Да и кого спрашивать? Мать? Но что им мать? Молодая женщина с красивым лицом, да и только.

Бабушка? А что для них бабушка? Бабушка для них — это хозяйка, ее обязанность следить за тем, чтобы гостям было что поесть и попить, и не только поесть и попить, но и наесться и напиться... Ну, а обо мне и говорить не приходится. Что я для них? Лишний стул за столом, и больше ничего. Хоть бы словом со мной когда-нибудь перекинулись! Разве что за столом солонку, сахарницу или спички попросят — и то без слов, без «пожалуйста»; махнут рукой, как глухонемому, или надуют губы, когда вы папиросу закурите, — и все! Иной раз застанут меня одного. Тогда они усаживаются втроем и начинают беседовать. Хоть бы слово мне сказали из вежливости, что ли! Ничего! Как будто нет меня! Ну, а я, вы сами понимаете, и подавно первый не начну с ними разговора, я к ним подлаживаться не стану и угождать им, как иные, льстивыми словечками да сладкими улыбочками не буду. Не родился еще на свет божий человек, перед которым я бы унижался, и не потому, что я гордец... А если, скажем, и гордец... Называйте, как хотите, — меня ваше мнение не интересует. Однако я не люблю, когда говорят о себе. Я рассказываю вам об этих троих шелкоперах, что это за звери такие. Однажды я как-то спросил, кто из них играет в шахматы, — надо было вам видеть их лица! Послушали бы вы, как они расхохотались! Казалось бы, что тут такого? Можно быть социалистом и играть в шахматы. Карл Маркс, я думаю, не обиделся бы! А вот поговорите с ними... Впрочем, дело не в них... Меня возмущает она, наша Фейгеле: она смеется с ними заодно! Почему все, что они говорят, для нее «святая святых», будто сам господь изрек это на горе Синайской? * И что это за кумиров нынешняя молодежь себе создала, что за фанатизм такой? Карл Маркс — учитель, а мы — его верные последователи. А кроме Маркса, никого больше на свете нет? А где же Кант? * Где Спиноза? * Куда девался Шопенгауэр? * Где Шекспир, Гейне, Шиллер, Спенсер * и еще сотни великих людей, которые тоже, быть может, ненароком умным словом обмолвились? Пусть не столь мудрым, как Карл Маркс, но ведь и глупостей особенных они не болтали. Я, надо вам сказать, не из тех, что позволяют наступать себе на мозоли, я не люблю, когда задирают нос, и поэтому мне иногда нравится делать наперекор. Ты так, а я этак! Ты говоришь одно, а я — другое, и делай со мной что хочешь! Услыхал я однажды их разговор о том, что граф Толстой — ничто-

жество. Я не принадлежу к горячим приверженцам Толстого, я не поклонник его философии и нового учения о Христе. Но как художник Толстой для меня не ниже Шекспира. Если вы со мной не согласны — пожалуйста! Вы ведь меня знаете... Вот я нарочно приношу книгу Толстого и даю ее Фейгеле почитать. Посмотрели бы вы, с какой гримасой она оттолкнула книгу! В чем дело? Ни Финкель, ни Бомштейн, ни Грузевич Толстого не признают.

Тут уж я не стерпел (я, когда надо, могу и созорничать) и ополчился... на всех троих!..

Ну-ну! Как они вспыхнули! Задень самого святого из святых, его приверженцы спокойней отнеслись бы к этому!

Вмешались в спор обе вдовы, — иначе дошло бы до крупного скандала! Потом, однако, я понял, что сгруппировал, потому что в конечном счете мне же пришлось перед ними извиняться. А знаете — почему? Потому что этого хотела Фейгеле! А когда Фейгеле захочет чего-либо, то ее желание во что бы то ни стало будет исполнено. Вот скажет она сегодня, к примеру, чтобы я этот дом на другое место перенес, значит, никаких разговоров быть не может!

Эта девушка меня не только зачаровала — она меня поработила, подавила мою волю, превратила в раба, в автомат. И не только меня, но всех нас она ошеломила своим замужеством... Избранником ее оказался Грузевич, химик третьего курса, паренек неплохой, то есть звезд с неба не хватал, но ничего! Бывает и хуже! Во-первых, он был из порядочной семьи. Это весьма существенно. Говорите что хотите, но это само по себе не лишено смысла. Успокойтесь, я не о знатности говорю. Я указываю только на то, что происхождение тоже кое-что да значит. Если вы происхождения сомнительного, скажем — из невежественной семьи, то будь вы образованны, как сам творец мироздания, все равно останетесь грубияном. Об остальных достоинствах Грузевича я не говорю. А вообще эти ребята, надо правду сказать, пока держатся своего — и честны по-настоящему, и порядочны, и благородны. Но как только выбьются в люди и становятся «бывшими», их не узнаешь, они, эти самые «бывшие», в тысячу раз хуже простого смертного! Потому что простой смертный если вас одурачит, постарается скрыться, а «бывший», если обжулит вас, то приведет тысячу доказательств, что жулик вы, а не он...

Однако не будем терять времени на пустую философию! Наша Фейгеле стала госпожой Грузевич в семнадцать лет, и я не стану забивать вам голову подробностями о том, какая это была свадьба, кто эту свадьбу справлял, кому это стоило денег и какая была радость в нашем доме. Мать, Роза, дождалась — повела к венцу свою единственную дочь, бабушка Пая была счастлива — внучку замуж выдала! А я, дурак... Я-то чему так радовался? Младшенькую замуж выдал?.. Впрочем, радость продолжалась всего-то от субботы до воскресенья. На третий день после венчанья нашего Грузевича кое-куда пригласили по пустяковому делу: где-то был обнаружен склад бомб и динамита, а так как парень был химиком, да еще выдающимся к тому же, то подозрение пало на него. Кстати, нашли несколько его писем... Словом, забрали и увели...

Вот тут-то и началась для меня работа — беготня, хлопоты, взятки... И все напрасно! Уж раз попался, да еще по такому делу, прости-прощай! А видеть горе семнадцатилетней Фейгеле! А страдания матери Розы! А бабушки Паи! Гнев божий обрушился на этот дом! К тому же, надо вам знать, и дела пошли неважно, в кармане начало таять, я стал комбинировать, дома свои заложил. Но деньги ушли, пришлось магазины продать... Я вам не о ловкости своей говорю и не хвастаю перед вами. Я только хочу дать вам характеристику моих вдов: хоть бы поинтересовались, на какие средства живут, откуда деньги берутся, как будут жить дальше? Ничуть — это их не касается! Я должен заботиться обо всем! Я должен обо всем думать. Напрягать все свои силы! Кто мне велит? А я знаю? Наконец, что бы вы стали делать на моем месте с людьми, о которых не знаешь, кто из них лучше? Ни обижаться, ни сердиться, ни досадовать на них невозможно. А если и закрадется в сердце недоброе чувство и вы уйдете домой насупившись, то стоит вам прийти снова и встретиться с ними взглядом, услышать от них первое слово, как все это испарится, и вы мгновенно забудете, что еще совсем недавно были настроены против них. И опять вы готовы ринуться ради них в огонь и воду. Вот такие это создания! Ну, что поделаешь? А уж о Фейгеле и говорить не приходится. Она точно магнитом притягивает. Достаточно ей взглянуть на вас своими прекрасными, глубокими близорукими глазами, чтобы черт побрал вашу душу!.. Вы меня

простите, я говорю не вам, а самому себе, потому что она меня окончательно с ума свела своей свадьбой с этим Грузевичем. Мишей звали его. И весь дом заполнил он собой. Только о нем и слышишь, только о нем и говорят, только о нем и заботятся. Никто не должен есть, никто не должен спать, никто не должен жить. Что такое? Миша! Забрали Мишу! Посадили Мишу! Будут судить Мишу! Надо спасти Мишу! Но не тут-то было. Как его спасти? К нему никого не допускают. Ни меня, ни ее — никого! Я понял, что дело пахнет «матерью сырой землей», что в лучшем случае ему грозит вечная каторга, если не повешение!.. Вам, вижу, тут не сидится, пересядьте вот сюда, к окну. А может быть, я вам немного наскучил? Невелика беда. Я больше вашего терплю. Вам-то что? Вы — выслушаете мою историю (я сейчас кончаю) и пойдете домой, а для меня — это тяжкое бремя на всю жизнь.

На чем бишь мы остановились? На приговоре: приговорили к повешению. Вы, наверно, не раз читали в газетах, что вот сегодня там-то и там-то повесили двоих, а вчера там-то и там-то — троих. Нынче что вешать людей, что резать кур — одно и то же. А вы в это время что делаете? Покачиваетесь в кресле и курите ароматную га-ванскую сигару либо пьете в это время чашку вкусного кофе со свежими булочками с маслом. А то, что там висит человек, то, что в последних судорогах, в предсмертной агонии дергается знакомый, близкий вам, родной человек, который еще совсем недавно был полон жизни, полон сил, как вы сейчас? А то, что там лежит еще не остывшее тело человека, которого палачи лишили жизни? А то, что там мучается человек, который хотел бы поскорее умереть, а смерть нейдет, потому что палач плохо затанул веревку или она, не выдержав тяжести тела, оборвалась, и человек упал ни жив ни мертв и взглядом угасающих глаз молит поскорее покончить с ним?.. Что? Не любите, когда об этом говорят? Вы избалованы. Я так же избалован, как и вы. И представьте себе, что я побывал, где только можно было, точно знал минуту и секунду его казни, читал потом в газетах о том, как один из троих (повесили всех троих) долго боролся со смертью, потому что он был грузный (это Бомштейн), и его пришлось вешать дважды... Так писали потом в газетах, а мы это читали, то есть не все, —

читали от этом только я и Роза: от бабушки и внучки мы эти газеты прятали...

В доме нашем прибавилась еще одна молодая вдова: вдова номер три!.. И на дом опустилась тоска, тихая, мертвая, такая тоска, для выражения которой нет ни красок, ни слов. Такая тоска, которую описать нельзя, потому что описывать — значит осквернять ее. Тоска, которая в изображении кого-либо из ваших писателей прозвучала бы кощунством. Тоска, о которой невозможно, нельзя говорить. Все в прошлом, в воспоминаниях. Три вдовы — три жизни. Не полноценные жизни, а полужизни, и даже не полужизни, а клочья, обрывки. Каждая из них начиналась так хорошо, так поэтично, сверкнула на мгновение и — погасла!.. О себе я не говорю. Меня нет. То есть я хожу туда каждый день, просиживаю с ними ночи напролет, мы говорим о промелькнувших счастливых днях, вспоминаем разные разности: о моем дорогом друге Пине, о честном и таком благородном Шапиро, о герое Мише Грузевиче, о котором газеты потом писали, что в своей области, в химии, он был гений... Я ухожу от них каждый раз с наболевшим сердцем и сам себя спрашиваю с досадой: почему я так глупо проиграл свою жизнь? Где и когда совершил я первую свою ошибку и когда наконец свершится последняя? Люблю я их всех троих, и дороги они мне все трое, и каждая из них могла быть моей. Может еще и сейчас... И каждой из троих я и мил — и ненужен, и необходим — и навязан. Стоит мне один день не прийти, как разразится скандал, а засижусь лишних полчаса, меня бесцеремонно выпроваживают, попросту предлагают убираться. Ничего не делают, не спросив меня, но если я в чем-нибудь упрекну, скажут, что я во все вмешиваюсь... Я вспыхиваю, убегаю домой, запираюсь у себя со своей кошкой, прислуге наказываю, если будут ко мне звонить, отвечать, что я уехал. Опять принимаюсь за свой дневник, который веду тридцать шесть лет подряд. Интересный дневник, будьте уверены. Веду я его для себя, не для других. Подождет еще ваша литература, куда удостоится такой книги! Вам я, может быть, когда-нибудь и покажу этот дневник, другим — ни за какие блага...

Однако не проходит и получаса, как ко мне стучатся.

«Кто там?» — «Девушка от вдов пришла звать вас к обеду. Что сказать?» — «Скажите, что сейчас приду».

Ну, что вы теперь скажете, господин мой любезный? Как насчет вашей «психологини»?.. Торопитесь уходить? Идемте, я с вами. Мне надо к моим трем вдовам. Одну минуту, скажу только, чтобы кошке дали поесть, а то я там, чего доброго, засижусь до утра. Мы играем в «ералаш», иногда в преферанс. Играем на деньги. И каждому хочется выиграть! А сделает кто-либо неудачный ход — пощады нет ни мне от них, ни им от меня. Всякий неправильный ход, когда в карты играем, меня в ярость приводит: я готов уничтожить того, кто промахнулся.

Ну, что означает ваша улыбка? Поверьте, знаю, о чем вы сейчас думаете. Я ведь вас насквозь вижу. Но мне наплевать. Вы сейчас думаете обо мне: «Старый, старый холостяк, брюзга...»

Вот и вся история о трех вдовах.



С РИВЬЕРЫ

Вы спрашиваете меня, что такое Ривьера? Лучше бы вам ее не знать, как я раньше не знал. Но вы все же хотите знать, что такое Ривьера? Я вам объясню это в двух словах: гони монету! Ривьера — это такое местечко в Италии, которое врачи выдумали специально для того, чтобы выкачивать деньги из народа. Небо, видите ли, там всегда ясное. Небо, собственно, такое же, как у нас, только что море докучает — беда! Волнуется, шумит, — голова кругом идет, а вы знай платите деньги! За что, спрашивается? Ни за что, ну прямо-таки ни за что. Разве лишь за то, что ты осел и дал уговорить себя

поехать на Ривьеру, — вот и плати за это деньги! И вы платите. Попробуйте-ка ухитритесь и не платите! Вы думаете, с вас там насильно сдерут, ругать вас будут, шельмовать? Упаси бог! Там по-хорошему из вас душу вытянут, с поцелуями. Одно достоинство у этой Ривьеры — это у нее не отнимешь — тепло. А когда тепло, говорят, кашель легче. А тепло там постоянно, круглый год. И зимой и летом. Вы спросите, почему так? Очень просто, солнце греет, вот и тепло. Ну и что из того? У нас, если хорошенько протопить печь, тоже не холодно. Они, правда, говорят еще — воздух. Воздух там и в самом деле хороший. Недурно пахнет. Будто духи там такие. Собственно, не воздух там пахнет, пахнут апельсины. Там апельсины растут. Но стоит ли из-за этого забираться так далеко? Воздух, по-моему, всюду есть, а апельсины и у нас продаются. Доктора, однако, говорят, что воздух воздуху рознь. Воздух, который пахнет духами, лечит. Так говорят они, доктора, значит. Но мало ли что говорят доктора! Они и о море говорят, которое там, на Ривьере, будто оно все болезни вытягивает. Может быть, оно у кого-то и вытягивает болезни, это самое море, но что касается меня, то оно вытянуло у меня все, что я имел, до последнего гроша. Не столько море, сколько доктора.

Бог наградил меня на Ривьере доктором, как вам сказать, ну-ну! То есть вообще-то он очень милый человек, еврей, и настоящий еврей! По-еврейски говорит, как мы с вами, да еще похлеще: сладко, ладно, кругло — одно удовольствие слушать его. Но и деньги выкачивать он мастер, ох и мастер же! Из меня-то, положим, много не выкачаешь, не на того напали. Я, видите ли, решил до последней минуты не вдаваться в подробности. Я сразу смекнул, с кем имею дело, но притворился, что ничего не понимаю. Хочешь качать — качай! Пришел я к нему в первый раз, и он стал меня расспрашивать да ощупывать, выстукивать молоточками и стукалками, выслушивать трубками длинными и круглыми, а потом велел на следующий день снова прийти. «Простите, господин доктор, — говорю я ему, — я не знаю местных обычаев, сколько вам следует за визит?» — «Об этом после», — и смотрит на меня сквозь очки, а руки держит в карманах. Я и подумал: «Что ж, хочешь после, пусть будет после». Прихожу на следующий день — то же самое: выпрашивает, выслушивает, выстукивает, ощупывает и опять велит

прийти на следующий день — он мне что-то впрыснет. «Простите, господин доктор, сколько вам следует?» А он отвечает: «Потом». Потом так потом. Прихожу на следующий день, он что-то в меня впрыскивает и велит прийти завтра — он мне сделает массаж. Прихожу на следующий день, чтобы он мне сделал массаж, и он мне делает массаж, то есть втирает в меня то, что вчера впрыснул, — как это иначе можно понять? — и велит прийти завтра, он мне снова впрыснет. Я его спрашиваю: «Сколько вам следует?» А он отвечает: «Потом». Потом так потом. И так все время: один день впрыскивание, второй день — втирание впрыскивания. Мне эти штучки с самого начала не понравились. Хочешь дважды меня выпороть, что ж, пори, но зачем же так растягивать? Где это сказано, что для впрыскивания требуется особый день, а для втирания впрыскивания — опять-таки день? Казалось бы, вернее сделать то и другое разом. Ведь это яснее ясного: впрыснул и тут же втер впрыскивание. Так в чем же дело, зачем такие церемонии? Значит, деньги хочешь выкачивать? Так это надо понимать? Ну что ж, качай! А что, если не качается? Может быть, из меня и выкачивать нечего? Ты же меня не знаешь и не ведаешь! Ты у меня в кармане был, что ли, деньги мои считал?

Так оно и случилось. Прошел месяц, и доктор прислал мне по почте счет, от которого у меня потемнело в глазах. За каждое впрыскивание, видите ли, он велит заплатить ему десять франков — на Ривьере деньги выкачивают франками. А за каждое втирание того же впрыскивания — еще пять франков. Вот это счет! Если так лечиться, можно и без штанов остаться! Я и подумал: как быть? Торговаться с ним? Это я еще успею. Раз он денег пока не требует, этот умник, то и мне не к спеху. И я продолжаю ходить к нему по-прежнему: я хожу, а он впрыскивает, я хожу, а он меня трет. Не успел я оглянуться — и зима прошла. Пурим* уже на носу, пора собираться домой. Тем более что чувствую я себя, слава богу, ничего, совсем даже неплохо, можно сказать, правды не скроешь, дай бог и впредь не хуже, а хорошему и предела нет. Пора, видно, распрощаться с моим доктором-умником и поехать домой. Прихожу я к доктору и говорю ему: «Так, мол, и так, господин доктор, собираюсь домой». — «Что ж, счастливого пути!» — «Ну, а как со счетом? Ведь надо наконец с вами

рассчитаться или нет?» А доктор смотрит на меня сквозь очки, не вынимая рук из карманов, и говорит: «Ну?» За чем, значит, дело стало? А я говорю: «Простите, господин доктор, если у вас есть время, я бы хотел прежде, чем рассчитаться, рассказать вам одну историю...» — «Времени у меня нет, — отвечает доктор, — но если история не очень длинная, рассказывайте». Я сел и рассказал ему такую историю:

«Я, как видите, человек, слава богу, не хуже других. И дети у меня тоже есть, пятеро детей, — дай им бог здоровья, и все — сыновья. Четверо из них славные ребята, удачные, только один, не про вас будь сказано, уж и не знаю какой. Не захотел учиться — и все тут, неудачное, говорю, дитя. Наказывал я его, колотил, хотел выбить из него дурь, но ничего мне не помогло. Неудачное дитя. Как же быть? А моя старуха и говорит: «Сделай из него мастерового!» — «Мастерового? Да ты с ума сошла!» — «А если ты его убьешь, лучше будет?» — отвечает она. Как ни верти, а старуха, вижу я, дело говорит. И я отправляюсь к ремесленнику, к самому лучшему портному в нашем городе и уславливаюсь с ним на три года за три сотни: «Нате вам это сокровище и сделайте мне из него мастерового...» И мы обменялись с портным расписками, где черным по белому было сказано, что портной обязуется в течение трех лет обучать моего сына портняжному делу, а я обязуюсь уплатить ему за это триста рублей. Прошел год, и портной явился. Получил первую сотню и честь честью расписался. Прошел второй год — мой портной снова пришел, получил вторую сотню, расписался, — все, как полагается. Прошел третий год — нет портного. Жду неделю, жду две — нет как нет. Что такое? Отправляюсь я к портному и говорю: «Господин портной, почему вы не пришли за третьей сотней?» А он отвечает: «Потому что мне не причитается». — «Как так?» — «Очень просто. Наше портняжное мастерство состоит из трех составных частей: *во-первых*, портной должен знать свое дело; *во-вторых*, он должен уметь при случае отхватить лишний кусок материи для себя. Называйте это как угодно, можете назвать это воровством, если хотите. А *в-третьих*, — говорит он, — портной должен уметь выпить, то есть опрокинуть стаканчик по большим праздникам. Так вот, по двум пунктам, — говорит он, — ваш сын законченный мастер, то есть он не плохой вор, а по части выпивки

он может потягаться с самым отъявленным пьяницей. Мастером, однако, он никогда в жизни не будет. За что ж мне следует третья сотня?..»

Выслушал меня доктор и спрашивает: «К чему, собственно, вы мне это рассказали?» — «К тому, — говорю я, — что ваше дело, докторское, значит, как и всякое дело, тоже состоит из трех частей: *во-первых*, надо быть хорошим доктором; *во-вторых*, надо иметь совесть; *в-третьих*, доктор должен уметь делать деньги. Который из первых *двух* пунктов у вас перевешивает, я, говорю, не знаю, но по *составлению счетов* вы мастер, такое бы мне счастье. А теперь, говорю, давайте торговаться: ваш товар, мои деньги...»

Разумеется, ему пришлось уступить не меньше, чем две трети, и врагу не пожелаю столько болезней, сколько денег я у него выторговал. Но он и того не стоит, поверьте. Если бы я просто так сидел дома сложа руки и если бы мне было суждено, я бы все равно выздоровел. На что мне сдалась Ривьера?



ГИТЛ ПУРИШКЕВИЧ

История о том, как вдова по имени Гитл, торгующая чаем Высоцкого, после трехлетних хлопот в Третьей Государственной думе в конце концов спасла своего единственного сына от военной службы, отдала целое воинское присутствие под суд и за это в своем городе получила прозвище «Пуришкевич»*. Рассказано единым духом ею самой*

Смотри, пожалуйста, сколько народу собралось, — чего не видали?! А ну-ка, разойдитесь, растворитесь, словно соль в воде. Комедий здесь показывать не будут и бабьих сказок про базар на небесах рассказывать не станут. Говорили мне, что есть здесь какой-то Шолом-Алейхем, который пишет. Это вы и есть тот самый Шо-

лом-Алейхем, который пишет? Пишите, пишите, пусть рученька ваша не устанет писать! Весь город опишите сверху донизу. Ничего, они это честно заслужили. А главным образом богачи наши, божьи родственники, что втемяшили себе в голову, будто весь свет только для них и создан. Мы должны трудиться и погибать, а они будут откупаться деньгами от всех горестей и напастей, да еще издеваться над вдовой, которая кормится чаем Высоцкого. Я продаю чай Высоцкого всем порядочным домам на выплату и этим добываю кусок хлеба для себя и моего ребенка, единственного сына, которого у меня хотели отнять за чужие грехи. Вот послушайте, что может случиться на белом свете. Мне кажется, с тех пор, как создан мир, не случилось, чтобы забрали единственного сына, кормильца на старости лет, у матери-вдовы, которая только милостью бога, а затем Высоцкого жива на земле. Конечно, все называется жить! Не умирать — тоже значит жить. Что можно иметь от чая, прости господи, при нынешней конкуренции, когда все бедняки стали разносить по домам чай на продажу? Надо, стало быть, конкурировать. Тот скинет десять — я скидываю пятнадцать, тот скинет пятнадцать, а я — двадцать. Но сколько же можно скидывать? Ведь я же не Высоцкий! Не сладко, что и говорить! Вся моя надежда — мой кормилец на старости лет, мой Мойше. Есть у меня единственный сын, наследство от мужа, прости господи! Парень, правда, очень славный, жаловаться на него не могу. Здоровый, красивый, гладкий, со всеми достоинствами, только учиться не хотел. Но что значит — нехотел? Хоть ты его топором руби, хоть режь его! «Что же будет, — говорю я Мойше, — ни читать, ни писать, ни молиться ты не хочешь, остается тебе только собак гонять!» Молчит, как стена. Тогда я пошла и отдала его учиться ремеслу, к портному, и договорилась с портным, чтобы он научил его портняжному делу. Но так же, как вы видите иголку с ниткой, так и он у этого портного видел иголку с ниткой. День и ночь таскал на руках ребенка, либо помогал жене портного чистить картошку, либо выносил помойное ведро. Разжечь утюг и то было великим делом. Тогда я пошла, отняла его от портного и отдала к сапожнику. Но налетела на такого злодея, на такого разбойника, который, чуть что не по нем, может швырнуть вам в голову молоток и разmozжить череп. Отняла я его от сапожника и отдала к переплетчику, неудачнику,

который сидит без дела и работы в глаза не видит. Отняла от переплетчика и отдала к еще большему неудачнику — часовому мастеру, который не чинит, а портит часы. Так говорят все в городе. К чему же мне, чтобы он сделал моего сына калекой? Отняла от часового мастера и отдала к галунному мастеру, чтобы он научил его своему мастерству, то есть золотошвейному делу, и расписались мы с ним, с галунным мастером, на два года, то есть два года мой сын должен крутить золототканую ленту у него бесплатно, а на третий, когда он обучится делу, сын будет уже кое-что зарабатывать. И бог мне помог, я попала к настоящему мастеру, который хоть и не чурается рюмочки, но выучил моего сына ремеслу гораздо раньше. Работа ему понравилась, и мой Мойше за полгода сделался настоящим галунщиком. Но что толку, когда он должен целых два года работать бесплатно? Расписалось — пропало! Однако господь помог, два года миновали. Правда, это только так говорится: миновали! Если я пережила это время, — я вообще железная. А если пережила, — думаете, это все? Теперь только еще надо найти должность или искать работу галунщика. Но где она, такая работа? Пьяный, что ли, потерял, а трезвый нашел? К тому же я человек одинокий, ношусь по домам со своим фунтом чаю, а конкуренция страшная, и один из моих клиентов вдобавок обанкротился: набрал у меня три с половиной фунта чаю, а в одну прекрасную ночь сорвался, удрал, говорят, в Америку, — я бы охотнее дождалась, чтобы его холера забрала! Мне тогда казалось, что весь мир на меня свалился. Шутка ли, три с половиной фунта чаю по два двадцать? И надо помалкивать, потому что, если узнает Высоцкий о том, что я потерпела убыток, это может лишить меня кредита. Что же делает бог? Он говорит: «Гитл, ты плачешь? Погоди, ты еще и не так наплачешься... Вот на тебя надвигается призыв...» Какой призыв? Откуда призыв? Единственный сын у матери-вдовы, которая жива только милостью — сперва господя бога, а потом Высоцкого... Где же это слыхано на белом свете? А где же бог? Где совесть? Но поди кричи! Когда суждено несчастье, так и мой Мойше должен призываться как раз в один год с тремя внуками нашего богача, от трех дочерей, — три нарыва сели бы у каждой в отдельности на таком месте, чтобы они не могли ни стоять, ни ходить, ни лежать, ни сидеть. Мне, однако, говорили:

«Смотрите, Гитл, как бы ваш Мойше не оказался жертвой вместо внуков нашего богача!» Ха-ха, что значит? У меня единственный сын, единственный кормилец бедной вдовы, которая жива милостью — сперва господа бога, а потом Высоцкого, а тот — богач, набит деньгами, миллионщик, — разве что бога, упаси бог, нет на свете! Но — вот она, сила денег: начали вводить поодиночке внуков богача... одного ввели — «не годим»! Ввели второго — «не годим»! Можете себе представить, каково мне стало? Потому что если и третий окажется «не годим», то горе горькое моему Мойше! И как назло, к моим горестям вдобавок, мой Мойше, не сглазить бы, парень здоровенный, без всякого изъяна, можно сказать — богатырь! Правда, и внуки богача тоже не хворы бы идти служить, но их доктор бракует. Увидит молодца из дома богача — «не годим»! И делай с ним что хочешь! Что же, я буду молчать? Я, не дожидаясь, пошла к «принцедателю» и говорю ему: «Господин барин, две штуки товара нашего богача уже забракованы. Если и дальше будут браковать, дело может дойти до моего Мойше, а мой Мойше у меня единственный кормилец на старости лет...»

А он как обозлится, как вскипит и велит, чтобы меня выбросили из присутствия. И разумеется, не успели ввести третью штуку товара богача, как доктор уже заявил «не годим!», и уже ввели моего Мойше, и уже его забрили, и он уже дал присягу, и сказали ему уже «налево-направо», гром меня разразил, в Харьковскую губернию и — поминай как звали! Что ж, молчать буду? Побежала к «принцедателю» и устроила ему веселое утро: богатых детей, мол, будешь браковать, а единственного сына матери-вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий... Где же совесть? Где же бог?.. Он, конечно, велит выбросить эту жидовку. Но жидовка не поленилась и поехала в губернию, прямо к губернатору и — бултых ему в ноги: «Господин барин, так, мол, и так: троих внуков богача забраковали, а моего Мойше, единственного сына у бедной вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий, кормильца на старости лет... Где же бог? Где же совесть?»

Выслушал меня губернатор и сказал, чтобы я подала бумагу. А я ему говорю: «Господин барин! На что тебе бумаги? Вот слышишь, я говорю тебе ясно... Пошли проверить, увидишь, — все, что я говорю, — святая правда!»

А он опять: на бумаге, на бумаге!

Тогда я ему говорю: «Дорогой барин! Не бумажная

я женщина, доносами не занимаюсь. Рассказываю тебе только то, что у меня наболело! Богачей бракуют, а бедняков — единственных сыновей забирают! Где же бог? Где совесть?» — «Бог ты мой! — говорит он. — Чего от меня хочет эта женщина?» — «Она хочет, — отвечаю я, — добиться правды, вернуть кормильца! А больше она ничего не хочет. Небо и земля поклялись, чтобы правда всплыла, как масло на воде».

Тут уж губернатор рассердился и велел выбросить эту жидовку. А жидовка не поленилась, продала все, что имела, и поехала искать правду прямо в Петербург. В Петербурге есть министр военных дел, и министр внутренних дел, и синод. А если к царю понадобится, — что ж, я дороги не найду? С правдой можно и до бога пойти. И действительно. Приехала в Петербург, началась канитель с правожительством, стали меня выгонять. Я им говорю, что этого не боюсь, боюсь только бога и царя, а больше никого, потому что иду за правду. Но кушать, пока суд да дело, надо? Душа-то живая! Что же делать? Милостыню просить я не привыкла. Нашла выход. Петербург, решила я, тоже не деревня, везде, слава богу, имеются евреи, а чай Высоцкого знают и в Петербурге, да еще, может быть, больше, чем в другом месте. Все чиновники пьют чай Высоцкого, а так как я имею дело с присутствиями и с чиновниками, то и начала я приносить им чай Высоцкого прямо на дом, давать на выплату и — прежде бог, потом Высоцкий — зарабатывала не только на свое горькое пропитание, но могла даже и моему Мойше в полк посылать иной раз рубль, иной раз — два. Единственное, с чем было плохо, — это правожительство! Будь у меня правожительство в Петербурге, я была бы прямо царицей! Но так как имела я горести, а не правожительство, то и было мне горько, прямо-таки до смерти. Дело обстояло так, что меня собирались выслать из Петербурга, и по этапу, как бог велел. Но тут всевышний послал мне некую мадам, которая пишет в газетах, дай ей бог долгие годы! Это ангел, а не человек! Кроме того, что она меня выручала из всех бед, она еще познакомила меня с Пергаментом *. Вы, наверное, слышали о нем? Он был в Думе из тех, что говорят, человек прямо-таки без желчи и красавец, царство ему небесное! Как он старался за меня! Дал мне письмо и еще письмо — все к таким людям, к которым простому человеку и доступа нет. Они меня выслушивали, один отсылал

к другому, другой к третьему, каждый раз все выше и выше — и так до самой Думы. И я начала ходить в Думу каждый день, а иной раз и дважды в день и слушала все, что говорили в Думе. А говорят там все, но лучше всех — этот самый Пергамент. Он как начнет говорить, так и стену проймет, камень и тот не устоит... Шутка ли, Пергамент! Зато и врагов у него в Думе было — что вам сказать! И зложелателей! И крикунов! Как собаки, они нападали на него и устраивали такие скандалы, что я едва могла усидеть наверху (мое место в Думе всегда было наверху). Как вспомню об этом Пергаменте, у меня слезы на глаза набегают. Вы даже представить не можете, какой алмаз, какой брильянт это был! Сказано — ангел, о чем же тут говорить! Все дела свои, всех гостей, бывало, бросит, а меня выслушает, расспросит, что пишет мне мой Мойше! Что ему писать мне? Пишет мне Мойше, что служба идет, слава богу, неплохо, начальство им очень довольны, но понимает его «пидфебель». Пристает с просьбами одолжить ему деньги. Мойше клянется, что у него нет. А тот не верит. Говорит, что у всех евреев есть деньги, были бы у него лихоманка и все казни египетские! Новое несчастье — пидфебель! А он, Пергамент то есть, смеется. Он любит смеяться и шутить. Прихожу однажды к нему, он просит сесть и спрашивает, по своему обыкновению, как мне живется в Петербурге. Я ему отвечаю: «Всем бы выкрестам так жить!»

Он как расхохочется, чуть со стула не упал: «Вы, говорит, наверное, еще не знаете, что я и сам выкрест?» — «Таких выкрестов, как вы, — сказала я, — могло бы быть побольше. А те выкресты, что живут на белом свете, могли бы все передохнуть за один ваш ноготок!»

Он еще сильнее рассмеялся. И вот поди угадай, что такой человек возьмет да и помрет! И так неожиданно! Что вам сказать, дорогой мой друг? Нельзя этого говорить, но мне кажется, что, когда мой муж, мир праху его, лежал на земле, я столько слез не пролила, как в тот день, когда мне сказали, что Пергамент умер. Отца родного так не жалеют. Могу вам сказать, что с тех пор, как умер Пергамент, мне опротивел Петербург, и Дума, и весь свет! Был бы жив Пергамент, все было бы по-другому. Ниселович и Фридман* — тоже очень славные люди, — разве можно отрицать? Но Ниселович и Фридман — это не Пергамент! Прихожу к Ниселовичу или к Фридману и плачу, а они мне говорят, что ничем

помочь мне не могут, не могут они идти против закона. Я им говорю: где же есть такой закон, чтобы троих байстрюков богача, миллионщика забраковали, а чтобы за них шел служить единственный сын, кормилец бедной вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий? А ну-ка, говорю, покажите мне такой закон! В Думе, говорю, столько, не сглазить бы, людей, и все говорят, и все кричат, и все ругаются, — почему же не найдется ни одного человека, который заступился бы за бедную вдову, у которой раньше бог, а потом Высоцкий? Молчите? Вам, говорю, нужен Пуришкевич, свой, еврейский Пуришкевич, он бы вам показал, почем фунт лиха! Вот уже скоро три года, как я в Петербурге, верчусь вокруг Думы, а попытался хоть кто-нибудь слово сказать о таком злодействе, о том, что забрали у бедной матери, у которой раньше бог, а потом Высоцкий, единственную опору, кормильца на старости лет? Один раз за все время случилось так, что какой-то бессарабский помещик выступил с речью насчет воинской повинности. Услыхав «воинская повинность», я было обрадовалась. Вот, подумала я, слава тебе господи! Наконец-то до правды добрались. Давно пора! И что же? Говорят такие глупости, — слушать тошно! Это, думаю, наверное, оттого, что я так шумела, добивалась к министрам — к министру военных дел и к министру внутренних дел! А в конце концов что же оказалось? Чепуха! Послушайте, что он придумал. «Надо, — говорит он, — ввести для евреев особую воинскую повинность, денежную». Понимаете? «Чтобы евреи, — говорит он, — могли откупиться за деньги. Не хочешь служить, давай деньги!..» В таком случае выходит, что это благодеяние опять-таки для богатых, холера бы их забрала! А служить опять-таки будут бедняки и единственные сыновья к тому же? А где бог? Где совесть? И действительно! Бог совершил чудо, в Думе начался такой шум, крик, — можно было думать, что люди с ума посходили. Больше других, конечно, орудовал Пуришкевич. Этот злодей, — да будет вычеркнуто из памяти имя его, — хотел доказать на словах и свидетельствами, что евреи не служат. Совсем не служат. Нет, говорит он, ни одного еврея на военной службе. Этого я уж не могла выдержать, мне обожгло сердце, и я вскочила: как же так, мой единственный сын, кормилец, служит уже больше трех лет, даже награду имеет, а тут какой-то петух Пуришкевич заявляет перед всем миром, перед всеми министр-

рами такие вещи! Могла ли я умолчать? И я как крикну сверху, с галереи то есть, во весь голос, на всю Думу:

— А Мойше?!

.
Хотите знать, что было? Ничего. Меня выгнали честь честью из Думы, отвели в часть и хотели выслать по этапу, как бог велел. Но я им сказала, что высылки я не боюсь, боюсь только бога и царя, а больше ничего. Потому что я за правду стою. Я тоже имею отношение к Думе, как и вы. Вы о воинской повинности только языком болтаете, а мой сын, говорю, служит царю, хоть он и единственный сын. Словом, они во мне не обманулись! Их счастье, что я не осталась в Петербурге на пасху, когда в Думе началась горячка насчет крови, что нам якобы требуется кровь на пасху. Я бы им показала, кто проливает кровь, мы или они. Но им чертовски повезло: я на пасху поехала домой, потому что из министерства военных дел дали знать, что моего Мойше вернули из полка домой. И похоже, что «принцедатель», и доктор, и все присутствие кончат плохо. Всех их отдали под суд. Потому что была ревизия, и оказалось, что у них была фабрика белых билетов. И евреи и русские — кто в бога веровал и рубль имел в кармане, — все были «не годим», бедняки, единственные сыновья, должны были идти служить. Но теперь конечно, нету больше счастливицков! Нет больше поблажек и произвола. Все теперь будут равны.

Вот я и спрашиваю у вас, — ведь вы же человек пишущий, — скажите сами, заслужила я, чтобы надо мной смеялись, издевались и поминали через каждые два слова? Конечно, хотите смеяться — смейтесь, хоть лопните. Но за что мне приклеили прозвище «Пуришкевич», пропади он пропадом! «Гитл Пуришкевич» прозвали они меня! Хоть бы говорили: «Не будь рядом помянут!» Город пересмешников, пустоголовых дурней, бездельников! Не заслужили они разве, чтобы их описали от мала до велика и с головы до ног? Опишите их, пане Шолом-Алейхем, опишите так, чтобы весь свет знал о них, чтобы ни один не остался неописанным!



МИСТЕР ГРИН НАХОДИТ ЗАНЯТИЕ

Рассказано им самим и передано его языком

Хау ду ю ду¹, мистер Шолом-Алейхем! Не знаю, узнаете ли вы меня? Мы с вами некоторым образом в троюродном родстве состоим... То есть не с вами, а с вашим Тевье-молочником и его родственником Менахем-Мендлом из Егупца... Ага! Не правда ли, это вам интересно? Вы даже остановились... Пойдите же со мной минуточку вот здесь, на тротуаре, поговорим немножко насчет Америки, что это за страна золотая...

¹ Здравствуйте (англ.).

И не столько об Америке, сколько о ее бизнесе, о том, как здесь сохнут идохнут в богатстве и чести, покуда бог пошлет настоящий «джаб»¹, а когда господь помог и вы уже добились настоящего занятия, тогда есть надежда со временем заработать еще, подняться выше, дорости до этакого Джейкоба Шифа, Нейтана Штрауса или, на худой конец, до Гери Фишла*, — одним словом, стать ол райт... Я пока не могу сказать о себе, что я — ол райт, но джаб, слава богу, я уже имею, и самое приятное в этом занятии то, что я дошел до него сам, собственным своим умом... Однако я вижу, что вам не терпится, вы хотите знать, кто с вами говорит? А если я вам скажу, что говорит мистер Грин, вы будете думать: зеленый? желтый? синий?* Это все равно что ничего... Здесь я называюсь Грин, там назывался Гринберг. Откуда я? Из Одессы? Из Одессы... Из Егупца? Из Егупца... Из Касриловки, из Теплика, Шполы, Умани, Бердичева — словом, из тех мест... И торговал я, как все евреи. Крутил, маклерствовал, пока не настало то самое веселое время, пока не выгнали и пока мы не дотащились сюда, в страну Колумба. А тут ели, ели до тех пор, пока последнюю рубашку не проели, и тогда только начали мытарствовать по-настоящему. Никакой работой не брезговали, но ничего не удавалось. Наступил месяц эзул. Пришло время осенних праздников, и я увидел, как в газетах рекламируются канторы, синагоги, молельники. В витринах магазинов появились молитвенники — обыкновенные и праздничные, бараньи рога, талесы, а публика, вижу, начала улыбаться богу, лстить ему ради бизнеса... Тогда я подумал и говорю самому себе: «Мистер Грин! До каких пор ты будешь «зеленым»? * Надо и тебе пожитья от месяца эзула, от десяти покаянных дней!» * Но хорошо сказать «пожитья», когда можно пожитья... За что я могу приняться? Сделаться кантором? Но я никогда сапожником не был... Резником? Но мой отец никогда извозчиком не был... Раввином я и подавно не стану, потому что знаю грамоту и понимаю значение слов... Разве что мясником по строго кошерному мясу? Но я и дома никогда не торговал крадеными лошадьми... Углубившись, как ваш Тевье говорит, в такие мысли и рассуждения, я зашел в синагогу... Начало месяца эзула, народ

¹ Занятие (англ.)

молится, читает псалмы... Помолились, тогда один из прихожан говорит: «А кто же нам протрубит в рог?»* — «Протрубить? — отзываюсь я. — Разрешите мне...» Вы, пожалуй, спросите, откуда я умею трубить в рог. А дело вот в чем: трубачом я дома действительно не был. И отец мой — тоже. И дед не был. Но, мальчишки-озорники, мы в праздники, бывало, раздобудем где-нибудь рог и спорта ради трубим в него до тех пор, пока служба не выгонит из синагоги. Короче говоря, я это дело знаю, и, как вы говорите, — раз сказано, что он может, так о чем толковать...

И вот взял я в руки рог, да как протрубил, — сначала с трелями, а потом закончил на одной ноте, протяжным звуком, ну, прямо-таки отсюда до Бруклинского моста! Услыхав такую музыку, прихожане и говорят: «Откуда будете, молодой человек?» — «А не все ли вам равно?» — отвечаю я. «Может быть, останетесь у нас трубить на праздники?» — спрашивают они. — «Наш трубач умер». — «Если бы это могло меня прокормить, — говорю я, — пожалуй». — «Делать жизнь, — отвечают они, — одним этим трудновато. Разве что вы бы еще что-нибудь делали к тому же...» — «А именно? — спрашиваю. — Что мне еще делать? Быть к тому же кучером? Подметальщиком или дворником?» А они мне: «Коль скоро вы трубач, то есть умеете трубить в рог, мы не можем предложить вам такие грубые работы. Единственное, что мы могли бы вам дать, это «ченс»¹, чтобы вы могли трубить еще в одной синагоге...»

Это заставило меня подумать: коль скоро я буду иметь шанс трубить еще в одной синагоге, то почему же я не могу трубить еще в двух синагогах? А почему не в трех? И я пошел по Дауптаун* из одной синагоги в другую, из одной молельни в другую. Всюду делал пробы, показывал свое искусство, всюду имел величайший успех, потому что, когда я трублю в рог, сбегаются из всех молелен. Меня слушали судьи, конгрессмены, ассамблеимены, и все говорили: «Поразительно!» Можете себе представить, в первый год я имел одну синагогу и две молельни. На следующий — три синагоги и пять молелен. В нынешнем году, если богу будет угодно, у меня намечается чуть ли не дюжина молелен, и я смогу заработать добрых несколько долларов. Вы, по-

¹ Возможность (англ.).

жалуй, спросите, как же может один человек справиться с таким количеством бизнесов? Этого вы не спрашивайте! На то она и Америка! В этой стране кое-как приспособляются. В одном месте я выступаю раньше, в другом — немного позже, в третьем — еще позже. Я делаю все возможное, чтобы публикум был «сатисфайт»¹, потому что, если я пропущу время, я теряю свой джаб и свою «репутейшн».

Вы удивляетесь, мистер Шолом-Алейхем, что я употребляю больше английских слов, чем еврейских? Это из-за детей. Они у меня уже настоящие американцы и не желают ни слова говорить по-еврейски! Посмотрели бы вы на моих «боев»², никогда бы не сказали, что это еврейские дети. И меня самого, когда увидите после праздников, тоже не узнаете. Незадолго до наступления месяца элул я сбрасываю свой сюртук, запускаю бороду, обретаю домашний вид... Но как только праздники пройдут, бороду долой, надеваю свою шляпу и снова становлюсь джентльменом... Чего в Америке не делают ради бизнеса?.. Я вижу, мистер, что у вас есть желание описать меня в газете, вы даже книжечку свою достали, — пожалуйста, на здоровье! Я вам даже спасибо скажу. Это будет для меня рекламой... Мало того, я попрошу вас и адрес мой указать: «Мистер Грин, Черри-стрит, Нью-Йорк-сити...» Плиз...³ Надеюсь, мы еще встретимся на Аптаун... * Пока будьте мне «гуд бай»!⁴

¹ Довольна (англ.).

² Мальчиков (англ.).

³ Пожалуйста... (англ.)

⁴ До свидания (англ.).



ИСТОРИЯ С «ЗЕЛЕНЫМ»

Рассказ о том, как бизнес-брокер¹ мистер Барабан проучил «зеленого», женившегося ради денег. Рассказано самим мистером Барабаном, его же слогом

Америка, говорите вы, страна бизнеса, что ж, это в порядке вещей. Однако продать себя, жениться ради бизнеса, — это уже, экскюз ми², свинство. Я вовсе не собираюсь проповедовать мораль, но, поверьте, девяносто девять процентов «зеленых» женятся у нас ради биз-

¹ Маклер (англ.).

² Извините (англ.).

неса, это фект¹, и меня на них досада берет. Поэтому, попадись мне такой «зеленый», он у меня попрыгает, ливит ту ми!² Вот послушайте любопытную историю!

Сию я однажды в своем офисе³ и занимаюсь отправкой почты. Вдруг входит ко мне один «зеленый», совсем еще бой, а с ним бабеночка, как вам сказать, кровь с молоком. Хороша, как ясный день, и свежа, как яблочко только что с дерева. Вошел он и говорит: «Хау ду ю ду! Это вы бизнес-брокер мистер Барабан?» — «Сидан!⁴ Что скажете?» И «зеленый» раскрывает передо мной душу, рассказывает целую историю, со энд со⁵. Сам он нипентс-мейкер при трейде⁶ и в стране всего лишь десять лет, и в него влюбилась вот эта самая бабеночка, была она работницей и скопила тысячу долларов наличными, так вот они поженились и ищут хороший бизнес, чтобы им больше не работать в шопе⁷, он, видите ли, страдает ревматизмом, дай ему бог не расставаться с ним подольше! «Какой бизнес вы предпочитаете?» — спрашиваю я его, а сам не спускаю глаз с бабеночки. А он отвечает, что охотно открыл бы стейшционер⁸, потому что в стейшционер, поясняет он мне, и жена была бы при деле. Как вам нравится этот «зеленый»? Мало того, что ему попалось такое сокровище, на которое впору молиться, мало того, что жена принесла ему тысячу долларов наличными, так он еще не прочь, чтобы она на него работала, сам же он будет в это время прохладиться со своими дружками, в пинакл⁹ будет играть, и так и далее — знаю я этих молодчиков! И я подумал: так ты у меня и будешь иметь стейшционер, жди! По мне, ты можешь валяться, как собака, в каком-нибудь лондри¹⁰. Ты у меня станешь лондрименом, как миленький! Почему пришел мне в голову именно лондри? Дело в том, что в это время мне как раз нужно было сбыть лондри. «Зачем тебе, — говорю я моему «зеленому», — морочить себе голову, по восемнадцать часов в сутки

¹ Факт (англ.).

² Можете на меня положиться! (англ.)

³ Конторе (англ.).

⁴ Садитесь! (англ.)

⁵ Так и так (англ.).

⁶ Брючник при магазине (англ.).

⁷ Мастерской (англ.).

⁸ Писчебумажный магазин (англ.).

⁹ Карточная игра (англ.).

¹⁰ Прачечной (англ.).

сидеть в стейшюнеристор и ждать, не пробежит ли случайно какой-нибудь скул-бой¹ и купит за пенни кенди², и так далее? Лив ит ту ми, я дам тебе лучший бизнес, лондри в Бронксе, и ты будешь работать только в определенные часы и жить по-царски!» Беру в руки пенсл³ и доказываю ему черным по белому, что за вычетом всех экспенсов⁴ — платы за помещение, платы шойртайренерам, фемилренерам, деливери-бою⁵, включая лондрибил⁶, и так и далее, у него останется триста с лишним долларов в неделю чистой прибыли — чего же лучше? «А сколько это будет стоить?» — «Тысяча долларов за такое дело — просто баргейн⁷, но лив ит ту ми, я вам сделаю это за восемьсот. Можете, говорю, с завязанными глазами уплатить свои несколько долларов, и вам останется только получить ключи, и вы будете ол райт. А пока, говорю, прощайте, потому что я очень занят, а через три дня можете ко мне прийти. Гуд бай!»

Сам я, не долго думая, отправился к лондримену и поздравляю его: бог послал мне жирную шуку, одного «зелененького», и он, лондримен, имеет теперь ченс избавиться от своего лондри, и за хорошие деньги, пусть он только будет человеком и не теряется, и так далее... Этот мошенник сразу меня понял. «Дайте его мне, говорит, этого «зеленого», и будет ол райт...» Прошло три дня — мой «зеленый» тут как тут. Принес депозит⁸ и, как водится, протраевал⁹ вместе со своей жешушкой неделю, а мой лондримен, как водится, постарался, чтобы неделя эта прошла ол райт, и не просто ол райт, а ол райт с хвостиком, и бизнес состоялся. «Зеленый» отсчитал свои несколько долларов, лондримен вручил ему ключи и книги, я получил плату с обоих, — бизнес-брокеру мистеру Барабану палец в рот не клади! — и финни-та ла комедия¹⁰, скажете вы, не правда ли? Так скажете вы, для меня же комедия только начиналась. Когда

¹ Школьник (англ.).

² Конфеты (англ.).

³ Карандаш (англ.).

⁴ Расходов (англ.).

⁵ Гладильщикам рубах, гладильщикам постельного белья, посылному (англ.).

⁶ Расходы по стирке (англ.).

⁷ Дешевка (англ.).

⁸ Здесь: задаток (англ.).

⁹ Торговал на пробу (англ.).

¹⁰ Кончена комедия (итал.).

дельце было обделано, во мне еще больше разгорелась злоба на «зеленого»: за какие такие заслуги этому рохле очищенное яичко, и прямо в рот, без всякой головной боли — ему и женушку, прямо конфетку, и тысячу долларов наличными, и выгодный бизнес... Дай-ка выторгую у него за полцены лондри и продам его прежнему владельцу. Каким образом, спросите? Пусть мое имя не будет мистер Барабан, бизнес-брокер, если найдется дело, которое я не смог бы повернуть. Отправился я на корнер другого стрита¹, как раз напротив лондри «зеленого», снял рум² у одного эйджента³, сунул ему в зубы задаток в десять долларов и выставил сайн в винде:⁴

ЗДЕСЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛОНДРИ

Не проходит и дня, мой «зеленый» тут как тут. В голове, вижу, у него помутилось. Как быть? Его зарезали. «А что случилось?» И он рассказывает мне о своем несчастье: какой-то дьявол снял как раз напротив него стор и тоже открыл лондри! «Чего же ты хочешь, «зеленый»?» Он хочет, видите ли, чтобы я нашел ему покупателя для его лондри, и он отблагодарит меня наилучшим образом, будет век за меня бога молить, и так далее. Я стараюсь его утешить: покупателя, мол, не так-то легко найти, но пусть положится на меня, и я попытаюсь. А пока пусть идет домой и явится ко мне не раньше, чем через три дня, потому что бизнеса у меня по горло, и так далее, и гуд бай!

Тем временем я посылаю за старым лондрименом и рассказываю ему со энд со: «Теперь ты имеешь все шансы за полцены откупить обратно у «зеленого» свой лондри». — «Как же вы это сделаете?» — спрашивает он. А я ему: «Не твоя забота. Не будь я мистером Барабаном, бизнес-брокером...» Тогда он говорит: «Ол райт!» А я ему: «Получу я за это комишен?»⁵ И он говорит: «Ол райт!» — и так и далее. Прошло три дня, и мой «зеленый» снова тут как тут, с женушкой, конечно. Женушка, хотя и осунулась немного, все же хороша, как сол-

¹ Угол другой улицы (англ.).

² Помещение (англ.).

³ Агента (англ.).

⁴ Объявление в окне (англ.).

⁵ Вознаграждение (англ.).

нышко. «Что слышно?» — «Ничего, говорю, не слышно. Благодарите бога, я вам нашел покупателя, правда, с большим трудом. Но что же? Кое-что придется, конечно, на этом деле потерять». — «Сколько?» — «Вы не спрашивайте, говорю, что потеряли, вы спросите лучше, что нашли. Потому что, говорю, сколько бы вам ни дали, это все равно находка! Что вы, шутите с американскими конкурентами? Они могут вогнать вас в такие экспенсесы, что вам останется только вскочить среди ночи в одной сорочке и бежать куда глаза глядят!» Можете не сомневаться, я нагнал на них такого страха, что они рады были получить хотя бы половину того, что вложили, да еще мне заплатили, я ведь не обязан даром хлопотать, — и конец лондри. Но погодите, это еще не все. Если вы помните, я дал эйдгенту задаток за стор и вывесил сайн, что открывается лондри. Спрашивается, с какой стати мне пускать десять долларов по ветру — ни тебе, ни мне? Разве у бизнес-брокера мистера Барабана краденые деньги? Это одно. Потом во мне еще не остыл гнев на «зеленого», я никак не мог успокоиться: ведь у этого рохли осталось еще добрых несколько сот долларов в кармане, да жена под боком — золото! Чем он это заслужил? У мистера Барабана, самого крупного бизнес-брокера в Ист-сайде, жена, экскьюз ми, уродина, да к тому ж еще и ведьма, а этому «зеленому», чтоб ему провалиться, бог дал, ю ноу¹, такую игрушку, пальчики оближешь... И вот я не поленился и отправил ему посткард², чтобы он пришел ко мне на апойнтмент³ в такой-то и такой-то час, у меня, мол, для него бизнес. Он не заставляет себя долго ждать, приходит точно в указанное время, и все с ней, со своей бабеночкой. Усаживаю я их, своих дорогих гостей, и рассказываю историю, со энд со: не знаете вы американских блеферов. «Вы даже представить себе не можете, что выкинул этот мошенник, этот старый лондримен, волосы дыбом становятся!» — «А что именно он выкинул?» — «А то именно, говорю, что это он снял стор⁴ напротив вас и повесил сайн для того, чтобы вас напугать и за полцены получить обратно свой лондри». Услышав это, парочка перегляну-

¹ Знаете ли (англ.).

² Почтовую открытку (англ.).

³ Свидание (англ.).

⁴ Лавчонку (англ.).

лась, и оба вспыхнули, в особенности она, бабеночка. Глаза у нее разгорелись, как угли. «Было бы справедливо, говорю, если бы вы с ним рассчитались, с этим мошенником, да так, чтобы он вас надолго запомнил!» — «А как мы можем с ним рассчитаться?» — «Лив ит туми, не беспокойтесь, уж я разделаюсь с этой птицей, будет он у меня лежать глубоко в земле на радость вам, а ваш бизнес тогда пойдет лучше прежнего!» Смотрят они на меня, как два голубка, и, вижу, без слов говорят: вашими устами да мед пий, дай вам бог долгие годы, и так и далее. Тогда я предлагаю им свой план: зачем, говорю, им покупать чужие бизнесы, платить кому-то втридорога за фирму? Не лучше ли мне сходить к тому же лендлорду¹ и снять у него тот же самый стор, который собирался снять у него тот мошенник? Таким образом, за каких-нибудь триста — четыреста долларов я им устрою, моим голубчикам, лондри как раз напротив старого лондри и начну конкурировать, — сколько бы он ни брал, я буду брать дешевле, и пусть мое имя не будет Барабан, если я не заставлю его через две недели муфить!² Будьте покойны, я так раззадорил их, что «зеленый» чуть не бросился ко мне в объятия, а хорошенькая жена его раскраснелась и еще больше похорошела. В тот же день я снял для них стор, и тут же был у меня готов новый лондри с сайном, со столами и со всем прочим, и мои голубчики взялись за дело, и пошла между ними и старым лондрименом ожесточенная конкуренция: побивали друг друга ценами до последней возможности. Если старый лондримен брал за дозн плет³ двадцать четыре цента, «зеленый» со своей бабеночкой брали восемнадцать со спредом⁴ в придачу; если тот спускал рубашки по восемь центов, то эти сбавляли по полтора пенни с колера⁵. Тогда и тому приходилось спускать пенни, и так и далее. Короче говоря, они так долго побивали друг друга ценами, пока «зеленый» не избавился наконец от своих последних нескольких долларов и остался без единого пенни. Даже на оплату помещения не хватило. И пришлось ему закрыть свой лондри, и вышел он из дела чистеньким, гол как сокол. А теперь он

¹ Здесь: домовладельцу (англ.).

² Здесь: убраться (англ.).

³ Пару белья (англ.).

⁴ Простыней (англ.).

⁵ Воротничка (англ.).

у меня отдыхает в Лудлов-стрит-джейл¹. Это я выискал для его бабеночки лоера², который требует для нее от «зеленого» всего три вещи: 1) ее деньги, тысячу долларов приданого, 2) развод и 3) чтоб до того, как она получит развод, он ее супортовал³, согласно законам страны, и черт его побери, этого «зеленого»!..

¹ Лудлов-стрит-джейл — тюрьма в Нью-Йорке.

² Адвоката (англ.).

³ Содержал (англ.).

МАЛЬЧИК-МОТЛ

(Повесть)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Сегодня праздник — плакать нельзя!

1

Я готов поспорить с вами на что угодно, что никто во всем мире не был так рад теплоте, яркому предпасхальному дню, как мы, — я, Мотл, сын кантора Пейси, и соседский теленок по имени Мени (это я, Мотл, дал ему такое имя — Мени).

Оба вместе почувствовали мы первые лучи весеннего солнца в первый теплый предпасхальный день, оба вместе ощутили мы запах первой зеленой травки, пробивающейся из обнаженной земли, и оба вместе мы выбрались из мрачной тесноты навстречу первому, сладостному, светлому, теплоте весеннему утру.

Я, Мотл, сын кантора Пейси, вылез из ямы, из холодного, сырого подвала, пропахшего кислым тестом и аптекой. А Мени, соседского теленка, выпустили из еще более зловонного места: из маленького, темного, грязного, загаженного хлева с искривленными полуразрушенными стенами, сквозь которые зимой врывается ветер и снег, а летом хлещет дождь.

Вырвавшись на вольный божий свет, мы оба — я и Мени, — преисполненные благодарности к природе, стали выражать свою радость. Я, сын кантора Пейси, поднял обе руки, раскрыл рот и втянул в себя столько свежего воздуха, сколько мог, и показалось мне, что я

расту и расту, что меня тянет все вверх и вверх, в синеву глубокого-глубокого небосвода, туда, где скользят редкие перистые облака, туда, где ныряют белые птицы, то показываясь, то исчезая, с чириканьем и писком. И из моей переполненной груди, помимо воли, вырвалась песня — более прекрасная, чем та, что мы с отцом певали по праздникам у амвона, песня без слов, без нот, без мелодии, как напев падающей воды, набегающих волн, Песнь Песней, божественная радость: «Отец небесный! Боже милосердый!»

Так выразил свою радость в первый день весны мальчик Мотл, сын кантора Пейси. Совсем по-иному проявил ее Мени, соседский теленок.

Мени, соседский теленок, прежде всего уткнулся черной влажной мордой в мусор, раза три поскреб передней ножкой землю, задрал хвост, затем подпрыгнул всеми четырьмя ногами и издал глуховатое «ме-е-е-е». Это «ме-е» показалось мне таким забавным, что я не мог не расхохотаться и не издать такого же «ме-е», в точности подражая Мени. Теленку, видно, это понравилось: он, не долго думая, повторил мычание, сопровождая его таким же прыжком. Само собой разумеется, что и я не замедлил со всей возможной точностью проделать то же самое и голосом и ногами. И так несколько раз: я — прыг, теленок — прыг, теленок — «ме-е-е», и я — «ме-е-е».

Кто знает, сколько длилась бы эта игра, если бы мой старший брат Эля не огрел меня всей пятерней по затылку.

— Провались ты сквозь землю! Парню уже почти девять лет, а он пускается в пляс с теленком! Домой пошел, паршивец ты этакий! Погоди, отец тебе задаст!

2

Вздор! Ничего мне отец не задаст! Отец болен. Он не молится у амвона уже с самого праздника симхестойре *. Ночи напролет кашляет. К нам ходит доктор, черный, толстый, с черными усами и смеющимися глазами — веселый доктор. Меня он называет «пузырь» и щелкает по животу.

Он всякий раз наказывает матери, чтобы меня не перекармливали картошкой, а больному велит давать лишь бульон и молоко, молоко и бульон. Мать внима-

тельно выслушивает его, а когда доктор уходит, она прячет лицо в передник, и плечи ее вздрагивают. Затем она вытирает глаза, отзывает в сторону моего брата Элю и о чем-то с ним шепчется. О чем они говорят, я не знаю. Но мне кажется, они ссорятся. Мать его куда-то посылает, а он не хочет идти.

— Чем у них просить, — говорит он, — лучше в могилу! Лучше помереть мне, не сходя с места!

— Откуси себе язык, нечестивец этакий! Что ты говоришь?

Так отвечает ему мать вполголоса, стиснув зубы, и машет на него руками; она, кажется, готова его растерзать. Однако скоро она смягчается и говорит:

— Что же мне делать, сын мой? Жалко отца... Надо же его спасти...

— Продай что-нибудь! — отвечает мой брат Эля, поглядывая на застекленный шкаф.

Мать тоже смотрит на шкаф, вытирает глаза и тихо говорит:

— Что продать? Душу? Нечего уже продавать. Разве что пустой шкаф?

— А почему нет? — отвечает мой брат Эля.

— Разбойник! — шепчет мать, глядя на него покрасневшими глазами. — Откуда только у меня дети такие разбойники?!

Мама возмущается, кипит, но, заплакав, вытирает глаза и идет на уступки. Так же было и с книгами, и с серебряной каймой от отцовского талеса, и с двумя позолоченными бокалами, и с ее шелковым платьем, и со всеми прочими вещами, распроданными поодиночке и каждый раз кому-нибудь другому.

Книги купил книгоноша Михл, человек с редкой бородашкой, которую он постоянно почесывает. Мой брат Эля ходил к нему, бедняга, трижды, покуда удалось привести его к нам домой. Мать



очень обрадовалась, когда увидела книгоношу, и, приложив палец к губам, просила говорить тихо, чтобы не услышал отец. Михл понял, задрал голову к полке, почесал бородку и произнес:

— Ну-ка, покажите, что у вас там такое?

Мать кивнула мне, чтобы я влез на стол и достал книги. Вторично просить меня не пришлось. Одним прыжком я очутился на столе, но от восторга тут же растянулся во всю длину, да еще в придачу получил нахлобучку от моего брата Эли, чтобы я не прыгал как сумасшедший. Брат Эля взобрался на стол и передал книгоноше книги.

Михл одной рукой листал книги, другой почесывал бородку и во всех книгах обнаруживал недостатки. У каждой книги свой изъян: тут переплет нехорош, у той корешок сильно изъеден, а эта книга вообще не книга... Когда же Михл пересмотрел все книги, все переплеты и все корешки, он почесал бородачку и сказал:

— Будь это «Мишнаэс» *, полное собрание, я бы, пожалуй, купил...

Мать побелела как полотно, а брат Эля, наоборот, покраснел как рак. Он набросился на книгоношу:

— Что же вы не могли сразу сказать, что покупаете только «Мишнаэс»! Чего же вы пришли голову морочить и время отнимать?

— Пожалуйста, тише! — упрощивает его мать.

А из соседней комнаты, где лежит отец, уже слышен хриплый голос:

— Кто там?

— Никого нет! — отвечает мать и отсылает брата Элю к больному, а сама тем временем торгуется с книгоношей, продает ему книги, видно, очень дешево, потому что, когда Эля возвращается из отцовской комнаты и спрашивает: «Сколько?» — она его отстрапает и говорит: «Не твое дело!»

А Михл хватает книги, наскоро сует их в мешок и поспешно исчезает.

3

Из всех вещей, распроданных нами, ни одна мне не доставила столько удовольствия, сколько застекленный шкаф.

Правда, когда пришлось отпарывать серебряную кай-

му от отцовского талеса, мне тоже не было скучно. Прежде всего — торг с ювелиром Йоселем, изможденным человеком с красным пятном на лице! Три раза он уходил и, конечно, поставил на своем. Затем он, заложив ногу за ногу, уселся к окошку, взял отцовский талес, достал маленький ножик с желтым черенком из оленьей кости, согнул средний палец и стал отпарывать кайму так искусно, что, умею я так отпарывать каймы, я, кажется, был бы самым счастливым человеком на свете. И все же, посмотрели бы вы, как моя мать тогда расплакалась! Даже мой брат Эля, уже взрослый парень, жених, и тот вдруг отвернулся лицом к двери, сделал вид, что сморкается, скривил лицо и, издав горлом какой-то странный звук, вытер полою глаза.

— Что там? — спрашивает отец из своей комнаты.

— Ничего! — отвечает мать, вытирая красные глаза, а нижняя губа и вся половина лица у нее так трясутся, что, право же, нужно быть крепче железа, чтобы не рассмеяться.

Но куда веселее было, когда дело дошло до шкафа.

Во-первых, как его заберут? Мне всегда казалось, что наш шкаф прирос к стене, — как же его возьмут? Во-вторых, куда мать будет запирать хлеб, халу, тарелки, оловянные ложки и вилки (у нас были две серебряные ложки и одна серебряная вилка, но мать их уже давно продала) и где мы будем держать мацу на пасху?

Все эти мысли приходили мне на ум, когда столяр Нахмен стоял у шкафа и измерял его огромным красным ногтем большого пальца измазанной руки. Он все время уверял, что шкаф не пройдет в дверь. Смотрите сами: вот вам ширина шкафа, а вот вам дверь — никак не вынести!

— Как же он попал в дом? — спрашивает мой брат Эля.

— А ты его спроси! — сердито отвечает Нахмен. — Почем я знаю, как он попал в дом? Внесли его, он и попал.

Была минута, когда я очень боялся за наш шкаф. То есть я думал, что он останется у нас. Однако вскоре столяр Нахмен пришел с двумя сыновьями — тоже столярами, и подхватили наш шкаф, как черт меламеда.

Впереди шел Нахмен, за ним оба сына, а позади — я. Отец командовал: «Копл, в сторону! Мендл, вправо! Копл, не торопись! Мендл, держи!..» Я помогал. Мать и

брат Эля не хотели помогать. Они стояли, смотрели на пустую стену, покрытую паутиной, и плакали... Удивительные люди: только и делают, что плачут!.. Вдруг — тррах! У самой двери в шкафу треснуло стекло. Столяр и его сыновья стали ругаться, сваливать один на другого вину.

— Повернулся! Оловянная птичка!

— Косолапый медведь!

— Черт его поберет!

— Провались ты ко всем чертям!..

— Что там? — слышится хриплый голос из комнаты больного.

— Ничего! — отвечает мать и вытирает глаза.

4

Самая большая радость была у меня, когда дело дошло до кушетки брата Эли и до моей кровати. Кушетка брата раньше была диваном, на котором сидели. Но с тех пор как брат Эля стал женихом и начал спать на диване, а я на его кровати, диван превратился в кушетку.

Раньше, в добрые времена, когда отец был здоров и вместе с четырьмя певчими распевал молитвы в синагоге, в диване были пружины. Теперь пружины мои. Я проделывал с ними всякие фокусы: покалечил руки, чуть не выколол себе глаза, а однажды надел на шею и едва не задохся. Кончилось это тем, что брат Эля отдубасил меня, забросил пружины на чердак и убрал лестницу.

Кушетку и кровать купила Хана. До того как она купила эти вещи, мать не позволяла чересчур тщательно разглядывать их.

— Вот, что видите, можете купить, а смотреть там нечего!

Но когда Хана уже сторговалась и дала задаток, она подошла к кушетке и к кровати, приподняла постель, осторожно заглянула во все потайные места и стала неистово отплевываться... Мать рассердилась и даже хотела вернуть задаток, но вмешался брат Эля:

— Купили — пропало!

Постелили себе на полу, мы оба — я и мой брат Эля — растянулись как графы, накрылись одним одеялом (его одеяло продали), и мне было очень приятно услышать

от моего старшего брата, что спать на полу вовсе не так плохо.

Я дождался, пока он прочел молитву на сон грядущий и заснул. Тогда я стал кататься по всему полу. Места теперь, слава богу, вдоволь. Раздолье! Простор! Рай земной!

5

— Как дальше-то быть? — говорит однажды утром мать, обращаясь к моему брату Эле, и, наморщив лоб, оглядывает голые стены.

Я и брат Эля помогаем ей осматривать все четыре стены. Брат смотрит на меня озабоченно и с жалостью.

— Ступай во двор! — говорит он мне строго. — Нам нужно кое о чем посоветоваться...

На одной ноге я выскакиваю на улицу и, конечно, сразу же — к соседскому теленку.

За последнее время Мени подрос, похорошел, черная мордочка стала миловидной, круглые глаза — умней, совсем как у человека, как у разумного существа: глядит, не дадут ли ему чего-нибудь, и очень любит, когда ему двумя пальцами почесывают шею.

— Уже? Опять с теленком возишься? Никак расстаться не можешь со своим дорогим другом?

Это говорит мой брат Эля, но на этот раз не ругается. Он берет меня за руку и рассказывает, что мы пойдем к кантору Герш-Беру. У кантора Герш-Бера, говорит он, мне будет хорошо. Во-первых, меня там будут кормить. А дома сейчас скверно: отец болен, надо его спасать.

— Мы, — говорит Эля, — спасаем его, как можем...

При этом он расстегивает свой кафтан и показывает на жилет.

— Вот... Были у меня часы... подарок от будущего тестя... пришлось продать. Если бы он узнал, творилось бы бог знает что! Светопреставление!

Я благодарю бога за то, что будущий тесть Эли ничего не знает о часах, что светопреставления не будет. Подумать только, — если бы дело дошло до светопреставления! Что бы тогда было с Мени, с соседским теленком? Бессловесное существо!..

— Вот мы и пришли! — говорит брат Эля, который с каждой минутой становится все добрее и ласковее ко мне.

Герш-Бер слывет знаменитым кантором. Собственно, сам он не поет — у него, бедняги, голоса нет. Так говорит отец. Но он знает толк в пении. Певчих у него десятка полтора, а сам он страсть какой сердитый!

Он прослушал меня. Я с выкрутасами спел одну из субботних молитв. Кантор провел рукой по моим волосам и заявил брату, что у меня сопрано.

Брат Эля добавил:

— Не просто сопрано, а всем сопрано сопрано!..

Брат Эля поторговался с ним, получил задаток и сказал, что я уж остаюсь здесь, у кантора Герш-Бера. Мне надо его во всем слушаться и не скучать...

Легко ему говорить — не скучать! Лето, — а мне не скучать? Солнце печет, небо как хрусталь, грязь уже давно просохла. На улице возле нашего дома свалены бревна. Это не наши, это бревна богача Иоси. Он собирается строить дом, приготовил бревна, но некуда было их сложить, — он и бросил их возле нас.

Большое спасибо ему, богачу Иосе! Ведь я из бревен могу строить для себя «крепость», а между бревен растет репейник и хлопущка. Колючками репейника можно швыряться и колоть, а хлопущки надувают и хлопают ими себе по лбу — они лопаются. Мне хорошо! И Мени, соседскому теленку, тоже хорошо. Я и Мени здесь единственные хозяева. Так как же мне не скучать по соседскому теленку Мени?!

6

Вот уже скоро три недели, как я живу у кантора Герш-Бера, но петь мне почти не приходится. У меня другая забота. Я по целым дням таскаю на руках его дочку Добцю. Она горбатая. Ей еще и двух лет не исполнилось, но она тяжеленькая, — пожалуй, тяжелее меня. Я надрываюсь, таская ее на руках. Добця меня любит. Она обнимает меня тощими ручонками и цепляется тоненькими пальчиками. Зовет она меня «Кико». Почему Кико, — не знаю. Добця меня любит. Не дает мне спать ночи напролет: «Кико, ки!» Это значит: укачивай ее. Добця меня любит. Когда я ем, она вырывает у меня кусок изо рта: «Кико, пи!» Это значит: отдай мне!..

Меня тянет домой... Кормят здесь тоже не ахти как. Нынче праздник. Канун швуэс. Хочется выйти из дому, посмотреть, как небо раскалывается. Но Добця не пу-

скает. Добця меня любит: «Кико, ки!» — качай ее. Я качаю, качаю ее и засыпаю. И приходит ко мне гость, Мени — соседский теленок, смотрит на меня понимающими глазами и говорит: «Идем!» Мы спускаемся с горы к реке. Не долго думая, я засучиваю штанишки: «Гоп!» — и я уже в воде. Плыву, а Мени за мной. На том берегу хорошо. Нет ни кантора, ни Добци, ни больного отца... Просыпаюсь — это лишь сон...

Бежать! Бежать! Бежать! Но как бежать? Куда? Домой, конечно... Но кантор Герш-Бер уже встал раньше меня. У него большой камертон, он пробует его зубами, подносит к уху. Он велит мне наскоро одеться и следовать за ним в синагогу. Сегодня во время предобеденной службы будут петь «исключительную вещь».

В синагоге я встречаю своего брата Элю. Как он сюда попал? Ведь он всегда молится в той синагоге, где отец служит кантором! Что это значит? Брат Эля говорит о чем-то с Герш-Бером. Мой хозяин недоволен. Он говорит:

— Так помни же, ради бога, сейчас же после обеда!..

— Пойдем! С отцом повидаться! — говорит мне брат Эля, и мы вместе идем домой.

Он идет, а я прыгаю, бегу, лечу.

— погоди! Куда ты летишь? — говорит брат и сдерживает меня.

Ему, видно, хочется со мной поговорить.

— Знаешь? Отец болен, очень, очень болен... Бог знает что с ним будет... Надо его спасти, а спасти нечем. Никто не хочет помочь... А в больницу мать ни за что не отдает... Она лучше умрет, говорит, чем отдаст его в больницу... Тише, вот мама идет!..



С распростертыми руками идет нам навстречу мать, бросается ко мне на шею, и я чувствую на своих щеках ее слезы. Брат Эля уходит к больному отцу, а я с матерью остаюсь на улице. Нас окружили со всех сторон: тут и жена нашего соседа, Песя-толстая, ее дочь Миндл, ее невестка Перл и еще две женщины.

— У вас гость к празднику? С гостем вас!..

Мать опускает опухшие глаза.

— Да, гость, гость. Ребенок! Пришел проведать больного отца... Как-никак дитя родное, — отвечает она собравшимся женщинам и добавляет тихо, обращаясь к одной соседке Песе, сочувственно кивающей головой: — Ну и город! Хоть бы кто-нибудь обратил внимание... Двадцать три года отбарабанил у амвона... Здоровье загубил... Я бы, может быть, и спасла его, да нечем... Все, с божьей помощью, продала... До последней подушки... Сына в певчие к кантору отдала... Все ради него... Все ради больного.

Так жалуется мама соседке Песе. Я оглядываюсь во все стороны.

— Кого ты ищешь? — спрашивает мать.

— Кого ему, шалуну, искать? Теленка, верно... — отвечает наша соседка Песя и обращается ко мне как-то особенно дружески: — Эх, мальчик! Нет уже теленка! Пришлось продать мяснику. Ничего не поделаешь. Одну скотину едва прокормишь, — где уж там о двух думать!..

Вот как — и теленок, значит, у нее уже «скотина»?

Чудная эта Песя. Всюду сует свой нос. Ей обязательно нужно знать, есть ли у нас к празднику молочная трапеза.

— Это вы к чему? — спрашивает мать.

— Просто так! — отвечает Песя и, достав из-под шали горшок со сметаной, сует его матери.

Мать обеими руками отталкивает от себя горшок.

— Господь с вами, Песя! Что вы делаете? Что вы? Разве мы бог весть кто? Вы меня разве не знаете?

— Вот именно, — оправдывается Песя, — потому что я вас знаю... Коровка — не сглазить бы — за последнее время поправилась... Есть, слава богу, и сыр и масло. Я вам даю взаймы. Вы мне, даст бог, вернете...

И соседка Песя еще долго о чем-то говорит с матерью, а меня тянет к бревнам, к теленку, к теленку! Если бы не стыдно было, я бы расплакался.

— Если отец будет тебя о чем-нибудь спрашивать, говори: «Слава богу!» — наказывает мне мать, а брат Эля объясняет подробнее:

— Ты не вздумай жаловаться, басни рассказывать, выдумки разные!.. Отвечай только: слава богу. Слышишь, что тебе говорят?

И брат Эля вводит меня в комнату отца. Стол уставлен склянками, коробочками, баночками. Пахнет аптекой. Окно закрыто. Ради праздника комната убрана зеленью, на стенке у изголовья висит «могиндовид»*, сплетенный из любистка. Это, верно, Эля смастерил. Пол устлан пахучей травой.

Увидев меня, отец делает мне знак длинным тонким пальцем. Брат Эля подталкивает меня. Подхожу поближе. Я едва узнал отца. Лицо землистое. Серые волосы блестят, торчат поодиночке, будто нарочно воткнутые чужие волосы. Черные глаза сидят глубоко, как вставные, чужие глаза. Зубы тоже выглядят, как вставные, чужие зубы. Шея до того исхудала, что голова на ней еле держится. Хорошо еще, что он сидеть может... Губы издают какой-то странный звук, как при плавании: мпфу!.. Отец кладет мне на лицо горячую руку с костлявыми пальцами и криво улыбается, как мертвец.

В комнату входит мать, а следом за нею доктор, веселый доктор с черными усами. Он встречает меня как старого приятеля, угощает щелчком по животу и весело говорит отцу:

— У вас гость к празднику? С гостем вас!



— Спасибо! — отвечает мать и кивает доктору, чтобы тот осмотрел больного и прописал ему что-нибудь.

Доктор с шумом распахивает окно и сердится на брата Элю за то, что окно постоянно закрыто.

— Я вам уже тысячу раз говорил: окно любит, чтобы его держали открытым!

Брат Эля кивает в сторону матери: это она виновата, не дает открывать окно, все боится, как бы отец, упаси бог, не простудился. Мать знаком просит доктора, чтобы он скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь. Доктор достает часы, большие золотые часы. Брат Эля вливается в них глазами. Доктор замечает это.

— Вы хотите знать, который час? Без четырех минут половина одиннадцатого. А на ваших?

— Мои остановились, — отвечает брат Эля и как-то странно краснеет при этом от кончика носа до ушей.

Матери не терпится. Ей бы хотелось, чтобы доктор скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь... Но доктор не торопится. Он спрашивает о посторонних вещах: когда свадьба моего брата? Что говорит кантор Герш-Бер по поводу моего голоса? У меня, вероятно, говорит он, хороший голос. Голос, говорит он, передается по наследству. Матери невтерпеж! Доктор вместе со стулом поворачивается к больному и берет его сухую, горячую руку.

— Ну, кантор, как справляем нынешние праздники? Как молимся?

— Благодарение богу! — отвечает отец с мертвой улыбкой на губах.

— А именно? Меньше кашляли? Хорошо спали? — спрашивает доктор, наклонившись к нему совсем близко.

— Нет! — отвечает отец, едва переводя дыхание. — Наоборот... Кашлять — кашляем... А спать — как раз не спится... Но, слава богу... праздник... такой день.. Да и гость... на праздник...

Глаза всех устремлены на «гостя», а «гость» стоит потупившись, и мысли его витают где-то далеко отсюда, — возле сваленных бревен, где растут колючий репей и щелкающие хлопущки, возле соседского теленка, такого понятливого и превратившегося уже в «скотину», возле речки, шумно сбегаящей вниз, или еще дальше — в необъятной шири лазурного свода, который называют небом...

Сметана, которую наша соседка Песя-толстая дала нам «взаймы», пришлась очень кстати. Я и брат Эля справили молочную трапезу: оба макали свежую булку в холодную сметану. Это было совсем не плохо.

— Плохо только, что так мало, — заметил мой брат Эля, который в этот день был так настроен, что позволил мне даже не торопиться к кантору Герш-Беру и поиграть немного дома.

— Ведь ты у нас гость на праздники! — сказал он и позволил мне играть на бревнах, правда, с условием, чтобы я не слишком шалил и не порвал, чего доброго, единственную пару штанишек.

Ха-ха-ха! Не порвать единственную пару штанишек! Смеяться некому, честное слово! Вы бы видели эту пару штанишек, — ну и ну! Давайте лучше о штанишках не говорить! Поговорим лучше о бревнах богача Иоси. Ах, бревна, бревна! Богач Иося думает, что бревна принадлежат ему. Вздор! Бревна — мои! Я из них сделал дворец и виноградник. Я — принц. Принц разгуливает у себя в винограднике, срывает хлопушку и — щелк по лбу, еще хлопушку — и снова щелк по лбу... И все мне завидуют. Даже сынишка богача Иоси, Генех-кривой. Он проходит мимо в новом люстриновом костюмчике, показывает на мои штаны, хохочет, щурит свой кривой глаз и говорит:

— Смотри, как бы ты чего не потерял...

— Уходи лучше подобра-поздорову, — отвечаю я, — не то брата позову!

К моему брату Эле мальчишки питают уважение, и Генех-кривой убирается восвояси, а я снова остаюсь один, я снова — принц у себя в винограднике... Жаль только, что Мени нет! Наш соседский теленок уже больше не теленок, он уже «скотина». Так говорит наша соседка Песя. Что это значит — «скотина»? И зачем его продали мяснику? Неужели на убой? Для того ли он родился, чтобы его потом зарезали? Для чего рождается теленок, для чего рождается человек?

Вдруг я слышу из дома страшные крики и плач... Узнаю мамин голос... Подымаю глаза, — возле нашего дома толпа. Мужчины... Женщины... Входят, выходят... Я лежу на бревне ничком, мне хорошо! Погодите! Вон идет богач Иося! Он староста синагоги, в которой мой

отец двадцать три года служит кантором. Иося когда-то был мясником. Теперь он торгует скотом и кожами и богат, очень богат. Иося машет руками, сердится на мать и толкует:

— Сто знацит? Сто знацит? Поцему мне не сказали, сто кантор Пейся так серьезно болен? (Он не выговаривает «ш» и «ч».) Поцему вы молцали?

— А зачем мне кричать? — оправдывается мать, обливаясь слезами. — Весь город видел, как я мучаюсь, хочу его спасти... Он сам все время так просил, чтобы его спасли...

Мать не может больше говорить, она заламывает руки, запрокидывает голову. Брат Эля подхватывает ее.

— Мама! Зачем ты оправдываешься? Мама! Не забывай, мама, сегодня праздник, сегодня плакать нельзя! Мама!

А богач Иося горячится:

— Сто вы мне рассказываете — весь город! Кто это — город? Мне надо было сказать! Обязательно — мне! Все на мой счет! Погребение, саван — все, все на мой счет! А если нужно сто-нибудь для сирот, обращайтесь ко мне без стеснения!

Но слова богача мало успокаивают мать. Она все время плачет и виснет на руках у брата без чувств. А мой брат Эля, не переставая плакать, все напоминает ей:

— Сегодня праздник, мама! Сегодня праздник! Мама, нельзя плакать, мама!

Вдруг мне все становится ясным. Сердце сжимается, хочется плакать, сам не знаю по ком... Мне жаль матери, смотреть не могу, как она плачет, как убивается, как она трепещет у брата на руках. Я покидаю свой дворец, свой виноградник, подхожу к ней сзади и со слезами на глазах говорю ей то же, что и брат Эля:

— Мама! Сегодня праздник! Мама, сегодня швуэс! Мама! Нельзя плакать, мама!..

II. Мне хорошо — я сирота!

1

С тех пор как я себя помню, я никогда не был в таком почете, как сейчас. За что мне, собственно, такой почет? Отец мой, кантор Пейся, как вы уже знаете,

умер в первый день праздника швуэс, и я остался сиротой.

С первого же дня после праздника я и мой брат Эля стали читать «Қадиш». Эля и научил меня этой молитве.

Мой брат Эля — преданный и любящий брат, но учитель он плохой. Он вспыльчив, дерется! Он раскрыл молитвенник, уселся со мной и стал учить: «Да возвеличится, да святится великое имя его...» *

Он хочет, чтобы я сразу все запомнил. Повторяет раз и второй от начала и до конца, а потом велит мне говорить одному. Я пытаюсь, но дело не идет.

До второй строфы еще кое-как, а дальше — стоп... Тогда Эля толкает меня локтем и говорит, что голова у меня, видно, где-то на улице (угадал ведь!) или занята теленком (точно в голове у меня побывал!)... Он не ленится и повторяет со мной молитву еще раз. Кое-как добрались до середины, а дальше ни с места! Эля хватает меня за ухо и говорит:

— Если бы отец воскрес и увидел, какой у него сын!..

— Мне бы тогда не нужно было читать «Қадиш»! — отвечаю я и получаю здоровенную оплеуху левой рукой по правой щеке.

Мать, заслышав, обрушивается на брата, кричит, чтобы он не смел меня бить, потому что я сирота.

— Господь с тобой! Что ты делаешь? Кого бьешь? Ты забыл, видно, что он сирота?

Сплю я теперь вместе с мамой в отцовской кровати — это единственное, что осталось в доме из мебели. Почти все одеяло она отдает мне.

— Укройся, — говорит она, — спи, сиротинушка мой дорогой! Кушать-то нечего...

Я укрываюсь, но заснуть не могу. Все повторяю наизусть слова молитвы. В хедер я не хожу, не учусь, не молюсь, не пою. Свободен от всего.

Мне хорошо — я сирота!

2

Можете меня поздравить! Я уже знаю все наизусть. В синагоге я становлюсь на скамью и отбарабаниваю свою молитву на славу. Голос у меня тоже неплохой, — наследство от отца: настоящее сопрано.

Мальчишки выстраиваются возле меня и завидуют. Женщины плачут. Состоятельные хозяева дарят мне копейку. Сынишка Иоси-богача, Генех-кривой (он ужасный завистник!), показывает мне язык, изо всех сил старается меня рассмешить. Но ему назло я смеяться не стану. Однажды это заметил синагогальный служка Арон, — он ухватил Генеха за ухо и потащил к дверям. Поделом!

Так как читать поминальную молитву приходится и утром и вечером, то я уже к кантору Герш-Беру больше не хожу и не таскаю на руках Добцю. Я свободен. Целые дни я провожу на реке — ловлю рыбу или купаюсь. Ловить рыбу я научился сам. Если хотите, могу и вас научить. Снимают рубаху, завязывают узлом рукава и медленно бродят по горло в воде. Идти нужно долго-долго. Когда почувствуете, что рубаха стала тяжелой, — значит, она полна. Тогда вы выходите из воды и как можно скорее вытряхиваете из рубахи всю грязь и водоросли и хорошенько присматриваетесь. В водорослях часто попадаются лягушата, бросьте их обратно в воду — жалко их. А в густой грязи можно иной раз найти пиявку.

Пиявки — это деньги. За десяток пиявок вы можете получить три гроша — полторы копейки. На улице такие деньги не валяются!.. А рыбы не ищите. Когда-то водилась рыба, а нынче нет. Да я за ней и не гонюсь. Я рад, когда попадаются хотя бы пиявки. Их тоже не всегда найдешь. Нынешним летом не было ни одной!

Каким образом мой брат Эля узнал, что я занимаюсь рыбной ловлей, ума не приложу! Он однажды чуть мне ухо не оторвал за эту рыбу. На счастье, это заметила наша соседка Песя-толстая. Родная мать не заступилась бы так за своего ребенка.

— Разве можно так обижать сироту!

Брату Эле стало стыдно, и он отпустил мое ухо. Все за меня заступаются. Мне хорошо — я сирота!

3

Наша соседка Песя-толстая влюбилась в меня. Пристала к моей матери, как клещ, чтобы я покуда жил у нее, у Песи то есть.

— Что вам сделается? — толковала она. — У меня

за стол садится двенадцать человек. А уж где двенадцать, там и тринадцатый.

Мать почти согласна. Но тут вмешивается мой брат Эля:

— А кто будет смотреть, чтобы он вовремя ходил читать молитву?

— Я буду смотреть. Чего вам еще надо?

Песя совсем не богата. Муж ее — переплетчик, звать его Мойше. Он славится как лучший мастер. Но этого мало. Нужно к тому же и счастье. Так говорит Песя моей матери. Мать соглашается и добавляет, что даже в несчастье тоже нужно счастье. И приводит в пример меня. Вот я сирота, а все хотят взять меня к себе. Есть даже охотники, готовые взять меня навсегда. Но не дожидаться ее врагам, чтобы она согласилась отдать меня навсегда!

Так говорит мама и плачет. Она советуется с моим братом Элей:

— Как ты думаешь? Остаться ему покуда у Песи?

Мой брат Эля уже большой. Иначе с ним не стали бы советоваться. Он поглаживает рукой еще чистое, незаросшее лицо, как если бы у него уже была борода, и говорит, как взрослый:

— Пожалуй... Лишь бы не озорничал...

На том и решили: я поживу пока у нашей соседки Песи, но при условии, что не буду озорничать. Все у них называется озорством! Нацепить кошке бумагу на хвост, чтоб кошка вертелась, — озорство! Постучать палкой по частоколу поповского двора, чтобы все собаки сбежались, — озорство! Вытащить у Лейбки-водовоза



затычку из бочки, чтобы больше половины воды вытекло, — озорство!

— Счастье твое, что ты сирота! — говорит Лейбка-водовоз. — Не то я бы тебе руки и ноги перебил! Можешь мне поверить на слово!

Я верю ему на слово. Я знаю, что сейчас он меня не тронет, потому что я сирота.

Мне хорошо — я сирота!

4

Наша соседка Песя — да простит она меня! — здорово соврала. Она говорила, что за стол у нее садится двенадцать человек. По-моему, я четырнадцатый. Она, видно, забыла о слепом дяде Борухе. А может быть, она его не считала в числе едоков потому, что он уже очень старый, беззубый и не может жевать? Не стану спорить, жевать он действительно не может, но глотает он, как гусь, и все норовит схватить лишний кусок. Да и все они за столом хватают совсем не как люди. Я тоже хватаю. За это меня бьют. Бьют ногами под столом. Больше всех колотит меня «Вашти»*. У всех здесь клички и прозвища: «Колодка», «Кот», «Буйвол», «Пете-ле-ле», «Черногус», «Давай Еще», «Смажь Маслом»...

Будьте покойны, прозвища даны не зря. Пиню называют «Колодкой» за то, что он толстый и круглый, как колодка. Велвл — черный, и потому его зовут «Котом». Хаим — увалень, и его прозвали «Буйволом». У Мендла — острый нос, поэтому он «Черногус». Файтла назвали «Пете-ле-ле» за то, что он говорить не умеет. Берл — ужасный лакомка: дадут ему кусок хлеба с гусиным жиром, а он просит: «Давай еще!» Зороха наградили позорной кличкой «Смажь Маслом»: у него неприятная история, в которой он не виноват. Виновата, может быть, его мать, которая в детстве плохо следила за ним и слишком редко мыла ему голову. А может быть, и она не виновата? Спорить из-за этого не стану. А драться — подавно!

Словом, в этом доме у всех прозвища. Чего уж больше, даже кошка, бессловесное, невинное существо, и та у них имеет прозвище: «Фейге-Лея-старостиха». А знаете,

за что? За то, что она такая же толстая, как Фейге-Лея, жена старосты Нахмена. Сколько, по-вашему, все они получили затрещин и оплеух за то, что кошку называют человеческим именем! Ничего не помогает! Как горохом об стенку! Раз дали кому-нибудь прозвище, — пропало!

5

Меня тоже прозвали — угадайте как? «Мотл-губастый». Видно, не понравились им мои губы. Когда я ем, говорят они, я шевелю губами. Хотел бы я видеть человека, который при еде не шевелит губами. Я не такой уж гордец и недотрога. Но — не знаю почему — прозвище это мне страшно не нравится! А раз оно мне не нравится, — они меня назло только так и зовут. Ужасные приставалы — вы таких в своей жизни не видали! Сначала меня называли «Мотл-губастый», затем просто «Губастый», а потом «Губа».

— Губа! Где ты был?

— Губа! Вытри нос!

Мне досадно, обидно, и я плачу. Однажды их отец, муж Песи, Мойше-переплетчик, увидел меня в слезах и спрашивает, отчего я плачу.

Я говорю:

— Как же мне не плакать, если меня зовут Мотл, а они меня называют «Губа»!

— Кто?

— Вашти.

Мойше хочет побить Вашти, а тот говорит:

— Это не я, это — Колодка.

Отец — к Колодке, а тот говорит:

— Это не я, а Кот!

Один сваливает на другого, другой на третьего — конца не видно!

Тогда Мойше-переплетчик, не долго думая, разложил всех по очереди и отшлепал переплетом от большого молитвенника, приговаривая:

— Байстроки! Я вам покажу, как насмеяться над сиротой! Черт бы вашего батьку драл!

Так-то! Никто меня в обиду не дает. Все, все за меня заступаются.

Мне хорошо — я сирота!

III. Что из меня выйдет?

1

Ну-ка, отгадайте, где находится рай? Вам не отгадать. А знаете, почему? Потому что для каждого он в другом месте. Например, мама уверяет, что рай — там, где находится мой отец, кантор Пейся. Там, говорит она, пребывают все праведные души, страдавшие на земле. За то, что у них не было радости на земле, им полагается райское блаженство. Это же ясно как день. Лучшим доказательством может служить мой отец. Ибо где же ему быть, как не в раю? Мало он настрадался при жизни...

Так говорит мать, вытирая при этом глаза, как всегда, когда она вспоминает об отце.

Но спросите моих товарищей, — они вам наговорят с три короба: рай находится где-то на горе из чистого хрустала, высокой, до самого неба. Мальчишки там свободны как ветер, ничего не делают, не учатся, купаются по целым дням в молоке и едят мед пригоршнями... Думаете — это все? А вот переплетчик заявляет, что настоящий рай — в бане в пятницу. Я сам слышал это от мужа нашей соседки, переплетчика Мойше. Честное слово! Вот и добейся тут толку!

Если бы меня спросили, я бы сказал, что рай — это сад лекаря Менаше. Никогда в жизни вы такого сада не видали! Это единственный сад не только на нашей улице, не только у нас в городе, — пожалуй, на всем свете нет другого такого сада. И не было и не будет! Все вам скажут!

Но что описать вам раньше? Самого лекаря Менаше и жену его Менашиху? Или расписать вам раньше самый рай, то есть их сад? Полагаю, что прежде всего нужно рассказать вам о Менаше и его жене. Они хозяева, им и честь.

2

Лекарь Менаше и зимой и летом ходит в пелерине. Он подражает черному доктору. Один глаз у него меньше другого, а рот у него — не про меня будь сказано — слегка съехал набок. То есть не слегка, а здорово,

здорово съехал. Его как-то ветерком продувало. Так говорит сам Менаше. Я никак не пойму: как может ветерок своротить рот на сторону? Сколько ветров — и слабых и сильных — продувало меня за мою жизнь! Всю голову должно было бы мне своротить задом наперед... Я думаю, что это просто привычка — привык человек, и все. Вот, к примеру, есть у меня товарищ Берл, — он моргает глазами. Или, скажем, другой товарищ, Велвл, — тот, когда говорит, будто суп с лапшой хлебает. Все на свете — только привычка. Однако, хоть рот у него на боку, Менаше обделывает свои дела почище всех докторов. Во-первых, он из себя не корчит такого барина, как другие доктора. Как только его позовут, он тут же прибегает, запыхавшись. А во-вторых, он не прописывает рецептов. Лекарство он изготавливает сам. У меня как-то вдруг появились озноб и лихорадка, начало колоть в боку (наверное, от слишком долгого купания), — мать сразу же помчалась и привела лекаря Менаше. Он осмотрел меня и сказал своим кривым ртом, обращаясь к маме:

— Нечего пугаться. Пустяки. Сорванец простудил легкие.

При этом он достал из кармана синий пузырек и насыпал в шесть бумажек чего-то белого. «Порошки» называется это. Один порошок он велел мне принять сейчас же. Я, конечно, стал ломаться и вертеться во все стороны. Чуюло мое сердце, что это горько как смерть. Так оно и было. Я угадал! Но горечь горечи рознь. Вы пробовали когда-нибудь свежую кору с молодых кустов? Вот такой вкус имели его порошки. Вообще, имейте в виду: уж ежели порошки, значит, горькие. Однако не помог мне никакой господь бог. Я принял порошок и света белого невзвидел... Остальные пять, наказал он маме, я должен принимать через каждые два часа. Нашел охотника желчь глотать! Только мать отвернулась на минутку, — пошла рассказать моему брату Эле, что я заболел, — я все пять порошков высыпал в помойное ведро, а в бумажки насыпал муки.

Ну и работа же досталась матери: каждые два часа бегать к соседке Песе смотреть на часы. После каждого принятого мною порошка, замечала она, мне становится лучше. А после шестого порошка я встал совершенно здоровым.

— Вот это доктор! — сказала мать.

Она не пустила меня в хедер, держала целый день дома и кормила сладким чаем с белой булкой.

— Менаше — всем докторам доктор! Дай ему бог здоровья и долголетия! У него есть порошки, которые воскрешают мертвых, возвращают жизнь...

Так потом хвасталась мать перед всеми, вытирая, по своему обыкновению, глаза.

3

Жену Менаше называют по мужу Менашихой-лекархой. Она вредная женщина. Это все говорят! Знаете — почему? Потому что она очень злая. Лицо у нее, как нарочно, мужское, голос мужской, сапоги носит мужские, а когда говорит, всегда кажется, что она сердится. Вообще слава о ней идет неважная. Ни разу в жизни она нищему куска хлеба не подала. А дом у нее полон добра. Вы можете найти у нее варенье и прошлогоднее, и трехлетнее, и даже десятилетнее. К чему ей, скажете, столько варенья? Спросите у нее, — она и сама не знает. Такой уж у нее характер. Пропашее дело — ее не переделаешь! Она знает одно: чуть наступило лето, только и делает, что варенье варит! Думаете, она варит на углях? Как бы не так! На колючках, на шишках, на опавших листьях. Такого дыму напустит на всю улицу, что задохнуться можно. Если вам случится как-нибудь попасть к нам летом и вы почувствуете, что горелым пахнет, не пугайтесь — это не пожар. Это Менашиха-лекариха варит варенье — собственноручно, из собственных фруктов, в собственном своем саду.

Итак, мы добрались до сада, о котором я обещал рассказать.

4

Чего-чего только нет в этом саду! Яблоки, и груши, и черешни, и сливы, и вишни, и крыжовник, и смородина, и персики, и шпанка, и абрикосы, и малина, и шелковица... Чего уж больше — даже виноград к Новому году можно получить у лекарихи Менашихи. Правда, когда попробуешь этот виноград, глаза на лоб лезут — до того он кислый. И все же она за него получает хорошие деньги! Из всего она умеет делать деньги. Даже

из подсолнуха. Упаси вас бог попросить у нее подсолнух! Не даст. Она скорее даст вырвать себе зуб изо рта, нежели подсолнух из огорода. А уж яблоко, грушу, вишню или сливу — и говорить нечего! Не дай бог! Я знаю этот сад, как богомольный еврей слова молитвы. Знаю даже, где какой кустик находится, и что на нем растет, и уродится ли на нем что-нибудь в этом году. Откуда я все это знаю? Не пугайтесь, я там еще никогда не бывал. Да и как я мог бы там быть, когда сад огорожен высоким забором с ужасными колючками наверху? Вы думаете, это все? В самом саду есть еще собака. Не собака — волк лютый. На длинной веревке он привязан, этот треклятый пес, и пусть кто-нибудь отважится пройти мимо или пусть этому дьяволу только померещится, что кто-то идет мимо, — он начинает рваться с привязи, прыгать и лаять так свирепо, как будто сам черт его за душу хватает!

Спрашивается: как же я мог попасть в сад?

А вот послушайте — я вам расскажу.

5

Мендла, сына нашего резника, вы не знаете? Стало быть, где он живет, вы и подавно не знаете. А дом его — рядом с домом лекаря Менаше и окнами глядит прямо в сад. Если сидеть у Мендла на крыше — видно все, что делается в саду у лекаря. Весь фокус в том, чтобы взобраться к Мендлу на крышу. Мне это нипочем. Знаете — почему? Потому что дом Мендла — рядом с нашим и гораздо ниже нашего. Стоит только вскарабкаться к нам на чердак (я это проделываю без лестницы; при случае я, быть может, расскажу вам, каким образом) и просунуть ноги в слуховое окошечко, — и вы уже на крыше у резника. Там вы можете улечься, как вам угодно: лицом кверху или лицом книзу. Во всяком случае, лежать вам придется обязательно, иначе вас могут, не дай бог, увидеть: а что вы там делаете у Мендла на крыше?.. Я обыкновенно выбирал для этого сумерки, когда надо было идти в синагогу читать поминальную. И день еще не кончился, и вечер не наступил — самое лучшее время. Если смотреть с этой крыши, то, клянусь вам, сад не сад, а рай земной!..

В начале лета, когда деревья начинают цвести, покрываться белыми пушинками, знаете — не сегодня-завтра на низеньких колючих кустах покажется зеленый крыжовник. Это первый плод, который вам хочется попробовать. Есть люди, которые дожидаются, пока крыжовник станет красным. Глупцы! Уверяю вас, когда крыжовник еще зелен, он гораздо вкуснее и приятнее. Скажете — кислятина? Оскомину набивает? Ну и что же? Кислое так приятно, а против оскомины есть средство — соль. Насыпать на зубы соли, держать с полчаса рот открытым, — и можете снова есть тот же крыжовник...

После крыжовника поспевают красная смородина. Пунцовые, с черными точечками, с желтыми зернышками ягоды десятками висят на каждой веточке. Проведите одной только веточкой между губ, и у вас полон рот ягод, кисленьких, душистых — объедение! Когда они поспевают, мать покупает мне на грош кружечку смородины, и я ем ее с хлебом.

У лекарихи в саду два ряда маленьких приземистых кустов, усыпанных смородиной. Она так и рдеет на солнце, сверкает, и так хочется хоть веточку, хоть смородинку ухватить двумя пальцами, сорвать и — прямо в рот! Поверите ли, даже когда говорю о зеленом крыжовнике и красной смородине, я уже чувствую оскомину на зубах.

Поговорим лучше о черешне. Черешня недолго остается зеленой. Она быстро поспевает. Могу поклясться чем угодно — я сам видал, лежа у Мендла на крыше: несколько черешен утром были зеленые, как трава. Я их хорошо приметил. Днем у них на солнце зарумянились щечки. А к вечеру они уже были ярко-красные, как огонь!

И черешню мне мать иногда приносила. Но сколько? Пять штук на нитке. Что делать с пятью штуками? Играешь с ними, играешь, а там и сам не заметишь, куда они девались...

6

Черешни у Менаше-лекаря в саду что звезд на небе. Вы понимаете, конечно, что я не прочь был подсчитать, сколько ягод на одной ветке. Напрасный труд. Считал, считал и никак не мог сосчитать. Черешня крепко держится на прутиках. Редко-редко какая черешня упадет

с дерева — разве что перезреет, станет черной, как слива. Вот персики, видите ли, — те падают, как только хорошенько пожелтеют. Ах, персики! Персики! Люблю их больше всего. За всю жизнь я съел только один персик, но вкус его до сих пор чувствую во рту. Это было несколько лет тому назад, мне тогда и пяти еще не исполнилось. Отец был жив, и в доме у нас тогда еще было все — и стеклянный шкаф, и кушетка, и книги, и постель. И вот однажды приходит отец из синагоги и, сунув руку в задний карман сюртука, где лежит носовой платок, обращается ко мне и к моему брату Эле:

— Дети! Персики будете кушать? Я принес вам персики. Два персика.

Он вынимает руку из заднего кармана, где лежит носовой платок, и подносит мне и брату Эле два больших, желтых, круглых, пахучих плода. Брату Эле не терпится. Он вслух произносит молитву «Благословен созидающий плоды» и сразу засовывает весь персик в рот. Я предпочитаю раньше всласть наиграться, нанюхаться, налюбоваться и только потом принимаюсь есть. И то не весь сразу, а по кусочкам и — с хлебом. Персики хороши с хлебом.

С тех пор я больше персиков не пробовал, но вкуса того персика я никак забыть не могу. Сейчас передо мною целое дерево, унизанное персиками, а я лежу у Мендла на крыше, гляжу и гляжу, как они один за другим отрываются и падают. Один из них желтый, даже чуть красноватый, треснул, раскрылся, видна пузатая косточка. Что она будет делать, лекариха, с такой уймой персиков? Снимет, наверное, и наварит варенья. Варенье запрячет глубоко в печь, а зимой поставит в погреб, и будет оно там стоять, пока не засахарится и не покроется плесенью.

За персиками поспевают сливы. Не все сразу. У меня есть два сорта слив в саду Менаше-лекаря. На одном дереве у меня чернослив. Это круглая, сладкая, жесткая черная слива. На другом дереве растет слива попроще. Этот сорт называют «ведерной сливой»: ее продают на ведро. У нее тонкая кожица, она скользкая, липкая и водянистая на вкус. И все же она вовсе не так плоха, как вы думаете. Давали бы ее только! Но Менашиха не больно щедра... Она лучше сварит из слив повидло на зиму. И когда только она съест такую уйму повидла?

Когда кончаются черешня, персики и слива, приходит пора яблок. Яблоки, — надо вам знать, — это не груши. Груши, даже самые лучшие на свете («бергамоты»), если они только не созрели как следует, никуда не годятся. Точно дерево грызешь. А яблоки, даже зеленые, даже с белыми зернышками, — и то уже яблоки. Вы запускаете зубы в зеленое яблоко, и во рту становится кисло-кисло. Знаете, что я вам скажу? Я не променяю половины зеленого яблока на два спелых. Спелых надо дожидаться невесть сколько, а зелеными можно поживиться, лишь только яблоня отцвела. Дело только в величине. Яблоко, чем дольше оно зреет, тем оно становится больше, как, скажем, человек. Но это вовсе не значит, что большое яблоко всегда хорошее. Бывает, что маленькое яблочко куда вкуснее самого крупного. Взять, к примеру, райские яблочки. Они кисленькие, но вкусные. Или, например, кислицы, винные яблоки — чем плохи? Нынешним летом на них такой урожай! Будет столько, что придется возами возить. Это я слышал от самой Менашихи-лекарихи. Так она сказала яблочнику Рувину, когда яблони были еще в цвету.

Рувин осматривал сад. Он уже сейчас хотел купить у нее все яблоки и груши. Рувин — большой знаток в этих делах: стоит ему только одним глазом взглянуть на дерево, и он сразу скажет, сколько прибыли ждать от него. Он никогда не ошибается ни на столечко. Разве что будут сильные ветры и яблоки опадут до времени, или червяк, гусеница сядет на дерево. Но это все такие вещи, которые человек знать наперед не может. Ветер ведь от бога, и гусеница — тоже. Хотя я, право, не знаю, зачем богу черви и гусеницы? Разве для того, чтобы лишить яблочника Рувина куска хлеба?.. Рувин говорит, что он от дерева ничего больше не требует, кроме куска хлеба. У него, говорит он, жена и дети, и ему нужен для них кусок хлеба. Менашиха сулит ему не только хлеб, но хлеб с мясом.

— Такого бы мне счастья, — говорит она, — какие деревья я вам сдаю! Разве это деревья? Золото, а не деревья! Вы знаете, ведь я вам, упаси бог, не враг, — говорит Менашиха, обращаясь к Рувину, — мне бы такого счастья, какого я вам желаю.

— Аминь! — отвечает Рувин с улыбкой на добром, красном, шелушащемся от солнца лице. — Дай мне расписку, что не будет ветров, червей и гусениц, — я уплачу больше, чем вы просите.

Менашиха смотрит на него как-то странно, снизу вверх, и говорит мужским своим голосом:

— Дайте-ка мне расписку, что на обратном пути вы не поскользнетесь на ровном месте и не сломаете себе ногу.

— Уж это как кому на роду написано! — отвечает Рувин и смотрит на нее добрыми улыбающимися глазами. — Это может случиться с богачом еще скорее, чем с бедняком, потому что богачу есть на что хворать.

— Вы очень умный человек! — отвечает, свирепея, Менашиха. — Но у человека, который желает другому сломать себе ногу, может отсохнуть язык, да так, чтобы он даже не знал, откуда что взялось.

— Ну что ж! — отвечает Рувин все с той же усмешкой. — И язык не худо, лишь бы, упаси бог, не у бедняка...

8

Жаль, что сад не перешел к яблочнику Рувину! Мне бы это было гораздо больше по душе. Вы еще такой ведьмы, как лекариха, не видывали! Упадет какое-нибудь червивое яблоко, высохшее, как лицо у старенькой бабушки, она не поленится, нагнется, подымет его, положит в подол и унесет. Куда она их таскает? Наверное, на чердак, а может быть, в погреб. Скорее — в погреб. Я слышал, что в прошлом году у нее сгнил полный погреб яблок. Ну, разве не сам бог велел рвать у нее в саду яблоки? Да, но как их рвать? Забраться в сад ночью, когда все спят, и набить полные карманы было бы, конечно, самым разумным делом. Но что скажет пес? А яблоки нынешним летом, как назло, одно к одному. Так и просят, умоляют, чтобы их сорвали! Что делать? Знать бы такое слово, заклинание, чтобы яблоки сами ко мне шли! Я долго-долго думал и придумал. Не слово, не заклинание, а нечто совсем иное. Палку, длинный шест с гвоздем на конце. С этой палкой, лишь бы попасть гвоздем в яблоко у самого хвостика и потянуть к себе, — яблоко ваше. Держите только палку так, чтобы яблоко, не дай бог, не упало наземь. Но если и упа-

дет, невелика беда. Она подумает, что ветер сорвал. Разумеется, яблоко гвоздем не задевайте, а то она догадается... Клянусь вам честным словом, что я ни одного яблока не попортил. И не падало у меня ничего! У меня яблоки не падают! Я знаю, как держать шест, когда рвешь яблоки. Главное — не торопиться. Куда вам спешить? Заполучили яблочко, — съешьте его потихоньку, отдохните немного и продолжайте свое дело. Уверю вас, никто на свете знать не будет!

Но поди угадай, что эта ведьма знает, сколько у нее яблок на дереве. Видно, она их сосчитала днем, а наутро заметила, что нескольких штук не хватает. Спряталась у себя на чердаке и стала подглядывать, авось удастся поймать вора. Так я предполагаю. Как же иначе она могла догадаться, что я лежу у Мендла на крыше и орудую шестом? Добро бы она меня поймала одна, без свидетелей, я бы ее как-нибудь умилостивил. Как никак я сирота, — может, она бы и сжалилась надо мной? Так нет же! Она пошла за моей мамой, за соседкой Песей, за резничихой, взяла их всех с собой, вскарабкалась вместе с ними к нам на чердак (этакая ведьма!). А с чердака им уже нетрудно было увидеть через окошко, как я управляюсь со своим инструментом.

— Ну, что вы скажете? Хорошо сокровище? Теперь верите?

Слова эти принадлежали лекарихе. Я узнал ее мужской голос. Повернув голову к чердаку, я увидел всех четырех женщин. Я не бросил шеста с яблоком. Он сам выпал из рук. Счастье, что я сам удержался на ногах. Я не мог никому в глаза смотреть. Если бы не пес в саду, я бы прыгнул и убился со стыда. Хуже всего для меня были мамины слезы. Она, не переставая, плакала, рыдала и причитала надо мной:

— Горе мне! Горе мне! До чего я дожила! Я думала, мой сиротинушка ходит в синагогу, а он, оказывается, лежит на чердаке и рвет чужие яблоки.

А ведьма стоит с ней рядом и гремит своим басом:

— Пороть его надо, озорника такого! Полосовать до крови! Чтоб мальчишке неповадно было, чтоб он знал, как во...

Мать перебивает, не дает договорить слово «воровать».

— Он сирота! Несчастный! — твердит мать и целует у лекарихи руки, умоляет ее, чтоб она простила меня. —

Больше этого никогда не будет! — Она клянется всеми клятвами на свете, что это — в последний раз! Не то умереть ей самой либо меня, сохрани бог, похоронить!..

— Пусть поклянется, что он никогда больше даже не взглянет на мой сад! — требует лекариха своим мужским голосом, без капли жалости к сироте.

— Чтоб у меня руки отсохли! Чтоб у меня глаза вылезли! — говорю я и иду с мамой домой.

По дороге я выслушиваю ее правоучения и, глядя на ее слезы, плачу и сам горько-горько.

— Скажи мне только, что из тебя выйдет? — говорит мать со слезами на глазах и жалуется на меня моему брату Эле.

Брат выслушивает всю историю с яблоками и бледнеет. Вероятно, от гнева. Видя это, мать пугается, как бы он меня не побил. И шепотом просит его не трогать меня, потому что я сирота.

— Кто его трогает? — говорит мой брат Эля. — Я только хотел бы знать, что из него выйдет? Что из него выйдет?!

Так говорит мой брат Эля и скрежещет зубами. Скажи ему, что из меня выйдет? А я знаю? Может, вы знаете, что из меня выйдет?

IV. Мой брат Эля женится

1

Поздравляю вас! Знаете? Мой брат Эля женится!

Батюшки, что творится! Весь город котлом кипит! Весь мир ходуном ходит! Так говорит наша соседка Песя-толстая. Она уверяет, что свадьба будет на славу! Такой свадьбы, по ее словам, давно уже не было у нас в городе!

Из-за чего такой шум! Из-за того, что все нас жалеют: мать — вдова, жених — сирота. А отчасти — из уважения к памяти отца. Отец, царство ему небесное, оставил по себе доброе имя! При жизни, правда, что-то не слышать было, чтобы о нем говорили много. Но сейчас, после смерти, кантор Пейся возвеличен и увенчан славой. Спасения нет! Послушай только, что говорят моей маме люди! Они говорят, что отец невесты не хворять на себя все расходы, да еще и приплатить кое-что.

Он не должен забывать, говорят они, что мужем его дочери будет сын кантора Пейси!

Мой брат Эля слышит такие разговоры и смущается. Он стыдливо поглаживает свою бородку, как большой, как мужчина. Он и в самом деле уже мужчина. Совсем недавно у него стала пробиваться бородка. Это у него, наверное, от курения. С тех пор как отец умер, он начал курить. В первое время он мучился, захлебывался от кашля. Но сейчас он уже затягивается и умеет пускать дым через нос. Подумаешь, какой фокус! Я тоже умею, и это и еще черт знает что. На беду, узнал об этом мой брат Эля. Ну и задал же он мне! Ему, видите ли, можно, а мне нельзя! Потому что мне еще неполных девять лет. Ну и что же? Чем я виноват? Я дал ему слово, поклялся на Пятикнижии, что — конечно, больше я не курю.

Как вы думаете, долго я держал слово свое? Скажите на милость, кто в наше время не курит?

2

Сейчас будет светопреставление. Так заявляет наша соседка Песя. Она вернулась от будущего тестя моего брата Эли ужасно взволнованная. Скверная история. Невестин отец узнал, что у жениха (моего брата Эли) нет часов. Это были хорошие, настоящие серебряные часы. Сват купил их ему в подарок. Куда же они делись? В карты он их, упаси бог, не проиграл. Он продал их, а деньги израсходовал на докторов и лекарства. Хотел спасти своего отца — что ему за это полагается? Так толковала Песя.

Но тот — человек простецкий. Он спрашивает, какое отношение имеет чужой отец к его часам? Он, говорит, не обязан своими часами содержать чужих отцов... Из одних часов уже стало много, а отец превратился в «отцов»... На это ему Песя отвечает, что из поросячьего хвоста раввинской шапки не сошьешь... Это она намекает на нашего будущего родственника. Невежда! Он пекарь, и зовут его Иойна-бараночник. Он печет баранки. «Печь бы вам баранки на том свете!» — говорит ему Песя, видно, в шутку. А может, и всерьез? Я не понимаю, зачем на том свете печь баранки: кто их там покупать будет?

Он состоятельный человек, этот Иойна! Песя считает, что он богач. Она ему в глаза говорит, что, если бы

у нее была хотя бы половина его состояния, она бы с ним не породнилась. Она свиней не любит. Ему приходится отмалчиваться: чем попасть к ней на язык, лучше помолчать. Он уже готов простить жениху историю с часами, лишь бы положить конец этому делу. Но Песя заявляет, что она ему не прощает. Она хочет, чтобы он купил жениху другие часы. Неприлично, говорит она, чтобы жених шел к венцу без часов. Тогда Иойна начинает допытываться, какое отношение имеет она к его жениху.

— Очень даже большое! — отвечает Песя. — Потому что жених — сын кантора Пейси, а он, Иойна-бараночник, — и то и другое: и богач и свинья.

Его это, конечно, задевает, он хлопает дверью и говорит:

— Провались все это сквозь землю!

— Провалиться сквозь землю, — отвечает Песя, — ваша первая очередь, — на то вы и пекарь...

Мать очень боится, как бы он не вернул «тноим» *. Но Песя уверяет, что мать может спать спокойно: сироте «тноим» не возвращают. И как вы думаете, кто поставил на своем? Мы! Сват купил жениху (моему брату Эле) новые часы, тоже серебряные. Еще лучше тех. Он их сам принес. Ах, если бы у меня были такие часы! Как вы думаете, что было бы? Прежде всего я вытащил бы из них все внутренности и добрался бы до секрета, отчего они идут. А потом я знаю, что было бы...

Мать желает Иойне дожить до покупки будущему зятю золотых часов. И Иойна отвечает моей маме пожеланием дожить до свадьбы младшего сына, то есть моей. Я был бы рад хоть сегодня жениться, лишь бы получить часы. Мать гладит меня и говорит, что много еще воды утечет до того времени, и глаза у нее при этом становятся влажными. Я не понимаю, почему должно утечь так много воды, пока я женюсь, и почему при этом надо плакать. Но плакать — это для нее обычное дело, плачет она каждый день. Для нее это все равно, как для вас, например, молиться или кушать. Портной принес жениху костюм, который заказал невестин отец, — она плачет. Песя испекла к свадьбе пирог, — как тут не поплакать? Завтра в это время состоится венчание — опять слезы! Не понимаю: откуда у человека берется столько слез?

Выдастся же иной раз денек — рай земной! Уже половина элула, и в воздухе чувствуешь осень. Солнце не печет до пота, так чтобы хотелось купаться. Оно греет, ласкает и целует, как мать. Небо по-субботнему умыто. Сама природа радуется тому, что мой брат женится. С утра в местечке открылась ярмарка. А уж раз ярмарка, я там обязательно должен быть! Люблю ярмарку — страсть! Все носятся, как травленные мыши, обливаются потом, галдят, ссорятся, таскают покупателей за полы, до полусмерти хотят выручить сколько-нибудь, — театр, да и только!

А покупатели не торопятся. Они ходят степенно, шапки на затылке, поглядывают, пощупывают, почесываются, торгуются, хотят купить подешевле. Крестьянки ходят в диковинных головных повязках, с широко раскрытыми пазухами, так что груди видны. За пазуху, когда никто не глядит, кое-кто пытается сунуть кусок материи. Торговцы знают об этом и глядят в оба. Если увидят — вытряхивают, и тогда начинается представление! Случается, что крестьянка купит в церкви свечку и воткнет ее в складку головной повязки. Парням делать нечего, хочется им устроить развлечение, — они и зажигают потихоньку свечку. Все смотрят на крестьянку и смеются. Та не знает, почему смеются, и сыплет страшными проклятьями. А люди еще сильнее смеются. Бывает, что такие шутки кончаются дракой... Говорю вам — не надо никакого театра!

Но лучше всего — конный базар. Там покупают и продают лошадей. Тут и лошади, и цыгане, и кнутовища, и барышники, и крестьяне, и помещики. Шум здесь несусветный — оглохнуть можно. Цыгане божатся, барышники хлопают по рукам, помещики щелкают бичами, а лошадки носятся стрелой туда и обратно. Люблю смотреть, как лошадки бегают, а уж о жеребятках и говорить нечего. Обожаю жеребят! И не только жеребят — я все маленькое люблю: щенят, котят. Знаете? Даже огурчики маленькие, картошечку маленькую, луковички, чесночок — все, что мало, — мило! Кроме поросят: свиной не люблю даже маленьких...

Однако возвращаюсь к лошадам. Они бегут, жеребятка за ними, а я за жеребятками. Все вместе бежим. Бегать я мастер. Ноги у меня легкие, хожу к тому же

босиком и очень легко одет: рубашонка, штанишки и ситцевый арбеканфес* поверх рубашки. Когда я бегу под гору, а встречный ветерок раздувает мой арбеканфес, мне представляется, что за плечами выросли крылья и я лечу.

— Мотл! Бог с тобой! Остановись на минутку!

Это кричит муж Песи, Мойше-переплетчик. Он бежит с ярмарки домой со свертком оберточной бумаги. Я боюсь, как бы он не рассказал маме, как бы мне не влетело от моего брата Эли. Подхожу медленно, опустив глаза. Мойше кладет свой сверток, вытирает полый пот и начинает меня отчитывать:

— Как это не стыдится мальчик, сирота, болтаться среди цыган и бегать как угорелый за всеми лошадьми? Да еще в такой день! Ведь скоро уже венчание твоего брата — знаешь об этом? Идем домой!

4

— Где ты был? Гром меня разрази!

Так встречает меня мать, всплескивая руками и осматривая мои порванные штаны, исцарапанные в кровь ноги и пылающее потное лицо. Дай бог долготы Мойше-переплетчику! Он ни словом не обмолвился. Мама умывает меня, одевает мне новые штанишки и картуз, купленные специально к свадьбе брата. Штаны сделаны — я и сам не знаю из какого материала: поставишь их — они стоят, а ходишь — они шумят. Удивительные штаны!

— Если ты и эти штанишки порвешь, тогда уж свету конец... — так говорит мама. Я и сам так думаю: штаны не порвешь, разве что поломаешь их. картуз у меня замечательный, с черным блестящим козырьком. Когда он тускнеет, на него можно поплевать, и козырек снова блестит.

Мать смотрит на меня и радуется, а слезы так и кажутся по ее морщинистым щекам. Ей очень хочется, чтобы я на свадьбе всем понравился. Она говорит жениху:

— Эля! Как ты думаешь? Мне как будто не придется краснеть за него? Мальчик одет, не сглазить бы, как принц!

Мой брат Эля внимательно разглядывает меня, поглаживает бородку и смотрит на ноги. Я знаю, что

означает его взгляд: «принц» ходит босиком... Мать тоже понимает, в чем дело, но притворяется, будто ничего не замечает. Сама она одета в какое-то странное желтое платье, которого я на ней никогда не видел. Платье невероятно широко. Готов побожиться, что видел его однажды на нашей соседке Песе... Зато у мамы на голове



платок — шелковый, совершенно новый, еще со всеми складками. Цвет этого платка очень трудно описать. Можно сказать, что он белый, можно сказать, что он желтый, а то и розовый. Это зависит от времени: днем он светло-розовый, в сумерки он выглядит желтоватым, а ночью — белым. Рано утром он кажется зеленоватым, а иной раз, если хорошенько присмотреться, платок и вовсе отликает цветом «антик-маре», то есть светло-красновато-сине-темно-зелено-пепельным. Ничего плохого о таком платке не скажешь, потому что платок замечательный! Беда только в том, что на маме он выглядит чужим, совсем чужим, как-то не вяжется этот платок с

ее лицом. Платок сам по себе, а лицо само по себе. А ведь женский головной платок — это то же, что, к примеру, мужская шапка. Шапка должна сливаться с лицом. Вот, например, мой брат Эля носит картуз, — он точно вырос у него на голове. Пейсы ему начисто отрезали, даже не отрезали, а сбрили. Он надел белую манишку с крахмальным воротником, с отложными уголками. Галстук он купил себе белый с красными, зелеными и синими горошинами. Богатый галстук! Сапоги — с глянцем, со скрипом и на очень высоких каблуках. Это — чтобы казаться немного выше. Поможет ему это, однако, как мертвому банки: он очень маленького роста. Собственно, дело даже не в том, что он мал, а в том, что она очень уж велика, очень высока и смахивает на мужчину. Лицо у нее красное, рябоватое, а голос мужской. Я говорю о невесте, о дочери Иойны-бараночника. Ее зовут Броха.

Удовольствие было смотреть на эту парочку, когда они стояли под венцом. Но мне некогда разглядывать жениха и невесту. Я должен разглядеть музыкантов. И не столько музыкантов, сколько их инструменты. Главным образом — контрабас и барабан. Замечательные инструменты! Скверно только, что к ним невозможно близко подойти и потрогать. Музыканты почему-то тут же шлепают по рукам или хватают за ухо. Подумаешь, черт их возьмет, если вы пальцем дотронетесь! Откусите вы их инструменты, что ли? Ах, если бы моя мама была хорошей мамой, она сделала бы меня музыкантом! Но я знаю, что она этого не захочет, и вовсе не оттого, что она нехорошая, а оттого, что весь свет не допустит, чтобы сын кантора Пейси был музыкантом. Ни музыкантом, ни ремесленником! Уж не раз говорили, какой из меня будет толк — мама, мой брат Эля, наша соседка Песя и ее муж, переплетчик Мойше. Он бы не прочь взять меня к себе на работу. Но Песя не позволяет. Она говорит, что кантор Пейся, царство ему небесное, не заслужил, чтобы сын его был каким-то ремесленником...

Однако я заболтался и забыл о свадьбе. Венчание уже кончилось. Накрывают на стол. Женщины и девушки танцуют кадрили. Я со своими деревянными штанами втерся в самую середину. Те, кто глазел на танцы, стали швырять меня от одного к другому, как мячик.

— Это еще что за напасть? — говорит один.



— Какой-то растяпа! — говорит другой.

— Тебя еще не хватало тут! — говорит третий.

Наша соседка увидела и раскричалась (она уже хрипит от крика):

— С ума вы сошли, или спятили, или рехнулись, или не все у вас дома? Ведь это женихов братик!

Ага! Взяло за живое! Меня, конечно, тут же усадили за стол с невестинной родней. И знаете, с кем еще меня посадили? Будь вы о восемнадцати головах, все равно не отгадаете! С невестинной сестренкой, младшей дочкой Июны-бараночника. Ее зовут Алта. Она старше меня всего на один год, и у нее две косички, перевязанные сзади ленточкой и похожие на витые бублики. Я и Алта едим из одной тарелки, неподалеку от молодых. Жених, мой брат Эля, поглядывает на меня, следит, чтобы я прилично сидел, ел с вилки, не хватал и чтобы нос у меня был в порядке.

Знаете, что я вам скажу? Никакого удовольствия мне этот ужин не доставил. Не люблю, когда на меня смотрят. А тут еще принесла нелегкая нашу соседку Песю.

— Дай вам бог здоровья! — кричит она изо всех сил, обращаясь к маме. — Посмотрите-ка сюда! Чем не пара?.. Прямо-таки чета, самым богом предназначенная!

На ее хриплый крик подходит Иойна, одетый по-субботнему, и начинается разговор о том, что я и Алта — жених и невеста. Иойна-бараночник как-то кисло улыбается: верхняя губа смеется, а нижняя — плачет. Все разглядывают нас. А мы оба, я и Алта, опускаем глаза и чувствуем, что нас душит смех. Чтобы не прыснуть, я зажимаю нос и надуваюсь, как пузырь. Еще секунда, пузырь лопнет и будет скандал. К счастью, музыка заиграла грустную свадебную песню. Гости умолкли. Я поднимаю глаза и вижу маму в чужом желтом платье и в шелковом платке. Она занята обычным своим делом — плачет. Вы не знаете, перестанет она когда-нибудь плакать?

У меня выгодная должность

1

Мама сообщила мне новость: у меня есть должность. Не у ремесленника какого-нибудь, — ее враги, говорит она, не дождутся, чтобы сын кантора Пейси был ремесленником. У меня, говорит она, должность богатая и легкая. Днем я буду ходить в хедер, то есть в талмудтору, а спать буду у старика Лурье. Старик Лурье очень богат, говорит мама. Но он болен. То есть вообще он здоров, ест и пьет, но не спит по ночам. Ночью он спать не может. Глаз не смыкает. Вот его дети и боятся оставлять старика на ночь одного. Нужно, чтобы с ним был кто-нибудь. Хотя бы ребенок, лишь бы человек. Посадить к нему пожилого человека — неудобно. А ребенка — ничего, все равно что кошку.

— Они обещали пять рублей в неделю и ужин каждый вечер, как только ты будешь приходить из талмудторы, — говорит мама. — Хороший ужин, барский. Нам всем хватило бы того, что они оставляют на тарелках. Иди, дитя мое, в хедер, а вечером, когда придешь, я

отведу тебя к ним. Работы у тебя не будет никакой. Барский ужин и постель хорошая. И пять рублей в неделю. Я сошью тебе кое-что из одежды, сапожки куплю...

Казалось бы, неплохо, правда? Почему же нужно плакать? Но она, моя мама, иначе не может. Обязательно должна поплакать.

2

В талмудтору я пока что хожу зря. Я еще не учусь. Нету для меня подходящего класса. Поэтому я помогаю жене учителя по хозяйству и играю с кошкой. Работа у учителя легкая: подмести в комнате, помочь натаскать дров, сбегать куда-нибудь — чепуха, не работа. Учиться хуже. Зато кошка — это гораздо приятнее. Говорят, что кошка — нечисть. А я говорю: неправда! Кошка — опрятное животное, ласковое. Собака подлизывается, хвостом виляет. Кошка ласкается, а когда ее гладят по головке, она прикрывает глазки и урчит. Я люблю кошек — что в этом плохого? Но потолкуйте с моими товарищами, — они вам чего только не наговорят! После кошки надо руки мыть. Оттого что возишься с кошкой, ослабевают память. Сами не знают, что придумать. У них манера: как только подойдет кошка, трахнуть ее ногой в бок. Я видеть не могу, как бьют кошку. А они смеются надо мной. Нет у них жалости к животным.

Я говорю о мальчишках, которые вместе со мной учатся в талмудторе. Это — головорезы. Надо мной они смеются, прозвали меня «деревянные штаны», а мою маму — «плаксой», потому что она всегда плачет.

— Вон идет твоя мама-плакса! — говорят они мне.

Это она пришла забрать меня из хедера и отвести на мою прибыльную должность.

3

По дороге мать жалуется, что ей больно и горько (одной боли ей недостаточно). Бог, говорит она, дал ей двоих детей, а она должна жить в одиночестве. Мой брат Эля, говорит она, женился, не сглазить бы, очень удачно, попал, можно сказать, прямо в денежный ящик. Беда только, что тесть — человек грубый. Пекарь — что с него возьмешь?

Так толкует со мной мама, и мы приходим в дом старика Лурье, на мою выгодную должность. Старик Лурье, по словам мамы, живет в царском дворце. Я, конечно, не прочь побывать в царском дворце! Пока что мы находимся в кухне. Я и мама. Здесь тоже неплохо. Сверкает белая печь, сверкает посуда, и вообще все сверкает. Нас просят присесть. Входит женщина, одетая как барыня. Она говорит с мамой и показывает на меня. Мать кивает головой, вытирает поминутно губы и не хочет садиться. А я сижу. Мать собирается уходить и наказывает мне, чтобы я вел себя как следует. При этом она, конечно, проливает слезы. Завтра она придет за мной и отведет меня в хедер. Мне дают кушать. Бульон с булкой (в будни — булка!) и мясо — уйма мяса! После еды велют мне идти наверх. Я не знаю, что значит «наверх». Тогда кухарка меня отводит. Ее зовут Хана. У нее черные волосы и длинный нос. Меня ведут по лестнице. Ступеньки устланы чем-то мягким. Очень приятно ступать босыми ногами. Еще не поздний вечер, а у них уже лампы горят. Бесконечное множество ламп! Стены оклеены рисунками и человечками. Стулья обиты кожей. Потолок разрисован, как в синагоге. Меня вводят в большую комнату. Она так велика, что будь я в ней один, я бы бегал от стены к стене или повалился бы и катался по бархатному одеялу, разостланному по всему полу. Кататься по такому одеялу, должно быть, неплохо. Да и спать на нем, я думаю, недурно.

4

Красивый, высокий, с седой бородой, с широким лбом — таков старик Лурье. На нем шелковый халат, ермолка из настоящего бархата, домашние туфли, расшитые гарусом. Он сидит над большой толстой книгой. Ничего не говорит, только жует кончик бороды, заглядывает в книгу, покачивает ногой и что-то тихо бормочет про себя. Станный человек этот Лурье! Я смотрю на него и думаю: видит он меня или не видит? Похоже, что не видит. Он в мою сторону не глядит, а ему ничего не сказали. Меня только ввели сюда и заперли снаружи.

Вдруг старик Лурье произносит, все еще не глядя на меня:

— Подите-ка сюда, я прочту вам несколько строк из Рамбама*.

К кому это он обращается? Ко мне? Это он мне говорит «вы»? Я оглядываюсь по сторонам. Никого, кроме меня, здесь нет. Старик Лурье снова говорит хриплым голосом:

— Подите сюда, посмотрите, что говорит Рамбам.

Я решаюсь подойти поближе.

— Вы меня зовете?

— Вас, вас, кого же еще?

Так говорит старик Лурье, смотрит в свою большую книгу и, взяв меня за руку, тычет пальцем в страницу и втолковывает мне слова Рамбама. Чем дальше, тем громче и с большим жаром. Он до того разгорячился, что даже покраснел, вертит большим пальцем, а локтем ежеминутно толкает меня в бок и спрашивает:

— Ну, что вы скажете? Хорошо, не правда ли?

Чтобы очень хорошо было, — не могу сказать. И потому молчу. Я молчу, а он горячится. Он горячится, а я молчу. Со звоном повертывается ключ в дверях с той стороны. В комнату входит та самая, что одета как барыня. Она подходит к старику Лурье и говорит, наклоняясь к самому его уху. Он, видно, глухой — иначе зачем кричать? Она говорит, чтобы он меня отпустил, потому что мне уже пора спать. Высвободив из рук старика, она укладывает меня на мягком диване с пружинами. Постель бела как снег. Одеяло шелковое, мягкое — наслаждение! Женщина, одетая как барыня, укрывает меня, уходит и запирает дверь с той стороны. Старик Лурье расхаживает по комнате, заложив руки за спину, смотрит на свои красные туфли, напевает, бормочет и как-то странно поводит бровями. У меня глаза слипаются, хочется спать.

Вдруг он подходит ко мне и говорит:

— Знаешь? Я тебя съем.

Смотрю на него и не понимаю.

— Вставай, я тебя съем.

— Кого? Меня?

— Тебя! Тебя! Я должен съесть! Иначе быть не может!

Так говорит старик Лурье. Он шагает по комнате, опустив голову, заложив руки за спину и морща лоб. Но говорит он все тише и тише, обращаясь к самому себе. Я прислушиваюсь к каждому слову. Еле дух перевозжу. Он о чем-то спрашивает и сам себе отвечает. Вот что он говорит:



— Рамбам утверждает, что мир не мог быть сотворен из ничего. Чем это доказывается? Тем, что не может быть явления без того, кто это явление вызывает. Как я могу это доказать? Своей волей. Каким образом? Вот я хочу его съесть, и я его съедаю. А жалость? Одно другого не касается... Я творю свою волю. Воля — это не конечная цель. Я его съедаю. Я хочу его съесть. Я должен его съесть!..

5

Веселую весть сообщил мне этот старый Лурье — он должен меня съесть! А мама что скажет? Меня охватывает ужас... Дрожь пробегает по телу. Диван, на

котором я лежу, отодвинут от стены. Я понемногу двигаюсь к краю и соскальзываю на пол, между диваном и стеной. У меня зуб на зуб не попадает. Прислушиваюсь и жду, когда он начнет меня есть. И как? Тихонько призываю маму и чувствую, что соленые капли текут у меня по щекам прямо в рот. Я никогда еще так не тосковал по маме, как сейчас. По брату Эле я тоже скучаю, но не так. Вспоминаю отца, по которому я читаю поминальную молитву. А кто будет читать ее по мне, когда старик Лурье меня съест?

Видно, я крепко спал. Просыпаюсь и никак не могу понять, где я нахожусь. Ощупываю стену. Ощупываю диван. Высовываю голову — просторная, светлая комната. Бархатные одеяла на полу. Стены оклеены фигурками. Потолок как в синагоге. Старик Лурье все еще сидит над той же большой книгой, которую он называет «Рамбам». Мне нравится это название — «Рамбам»! У меня получается вроде «бим-бам».

Вдруг вспоминаю, что только вчера старик Лурье хотел меня съесть. Я боюсь, что он меня увидит и опять захочет есть. Прячусь обратно в промежуток между стеной и диваном и молчу. Со звоном отпирают дверь с той стороны. Входит все та же барыней одетая женщина. Следом за ней входит кухарка, которую зовут Хана, с большим подносом. На подносе кувшинчики с кофе и горячим молоком и свежие сдобные булочки.

— А где же паренек? — спрашивает Хана, оглядываясь по сторонам, и замечает меня между стеной и диваном. — Ты, вижу я, порядочный сорванец! Что ты тут делаешь? Идем со мной на кухню. Там тебя мама дожидается.

Я выпрыгиваю из своего убежища, бегу по мягко устланной лестнице и подпеваю в такт: «Рамбам! Бим-бам! Бим-бам! Рамбам!» — вплоть до самой кухни.

— Не торопитесь! — говорит кухарка моей маме. — Пускай он выпьет хотя бы стакан кофе с булочкой! Да и вы тоже можете выпить стаканчик кофе. Черт их не возьмет! Им хватит.

Мать благодарит и садится, а Хана подает нам горячий пахучий кофе со свежими сдобными булочками.

Вы когда-нибудь ели яичные коржики с сахаром? Таковы на вкус сдобные булки у богачей. А может быть, даже лучше! Вкус кофе просто не могу вам описать. Райский вкус! Мама прихлебывает из стакана, наслаждается и отдает мне большую часть своей булки. Но Хана, заметив это, подымает скандал, будто ее режут:

— Что вы делаете? Кушайте, кушайте! Хватит! Есть еще!..

И кухарка Хана дает мне еще одну булочку. Так что у меня уже две с половиной. Прислушиваюсь к их беседе. Знакомый разговор. Мать жалуется на свою долю. Вдова, двое детей, один, правда, в «денежном ящике», а второй, бедняжка, — так... Хотел бы я знать, как это мой брат Эля живет в «денежном ящике»? Хана выслушивает маму, кивает головой, потом сама начинает говорить, жалуется на свою судьбу, на то, что ей приходится жить у чужих. Отец у нее был состоятельный человек, потом он погорел. Потом стал хворать. Потом умер. Если бы ее отец, говорит она, встал из гроба и посмотрел на свою дочь и увидел бы, что она стоит возле чужой печи!.. Хотя жаловаться не приходится: и на том слава богу! У нее хорошая должность. Беда только, что старый хозяин немного того...

Чего «того», я не знаю. Хана шевелит пальцами у лба. Мать выслушивает Хану, кивает головой, затем снова начинает говорить. Хана слушает и тоже кивает головой...

На дорогу она дает мне еще одну булочку, и я показываю ее мальчишкам в талмудторе. Они окружают меня и во все глаза смотрят, как я ем. Им это, наверное, в диковинку? Я всем даю по маленькому кусочку. Мальчишки облизывают пальцы.

— Где ты взял такую вкусную штуку?

Запихнув куски булочки за обе щеки, я стою, заложив руки в глубокие карманы моих деревянных штанов, жую, глотаю и приплясываю босыми ногами, не отвечая, но будто говоря:

— Эх вы! Гольтепа несчастная! Подумаешь, экая невидаль, сдобные булки! Ха-ха-ха! Вы бы попробовали их с кофе, вот тогда бы вы только узнали, что такое рай на земле!..

VI. Золотое дно

1

Единственное утешение, поддерживающее мою мать, это удача моего брата Эли. «Напал человек на золотую жилу», — говорит мама и от избытка счастья вытирает, по своему обыкновению, глаза. Его, говорит мама, она



уже обеспечила на всю жизнь. Невестка, правда, не ахти какая (я тоже так думаю), но зато бог послал ему богатого тестя. Он — пекарь, Иойна-пекарь. То есть сам он не печет. Пекут другие. Он же только покупает муку и продает хлеб. К пасхе он печет мацу на весь город. Он по своей части человек горячий и к тому же страшный злюка! Я же могу сказать, что он прямо-таки разбойник!

Однажды он меня поймал, когда я, будучи в гостях у

моего брата Эли, решил полакомиться яичным бубликом. Бублик был свежий, тепленький, только что из печи. Но нелегкая принесла пекаря Иойну. Видели бы вы, какое у него было злодейское лицо и разбойничьи глаза! С тех пор я туда больше не хожу, ноги моей там больше не будет, даже если бы я знал, что в пекарне золото валяется! Манера у человека — хватать за шиворот и выбрасывать за дверь, да еще подзатыльниками на дороге угощать!

Я рассказал об этом маме, она тут же помчалась туда, хотела устроить ему основательный скандал, но

брат Эля не позволил. Он считает, что тесть прав. Ему, говорит он, постоянно приходится краснеть за меня: каждый раз, когда бы я ни пришел, я ем бублики. Он, говорит, лучше будет давать мне копейку, чтобы я купил себе бублик где-нибудь в другом месте. На это мама отвечает, что ему меня не жалко, его не трогает, что ребенок — сирота. Но брат говорит, что можно быть сиротой, а хватать бублики из чужой печи — нельзя. Мама просит его говорить потише. А Эля отвечает, что он нарочно будет говорить громко, — пускай все знают, что я вор. Слова «вор» мама не может слышать. Она то краснеет, то бледнеет и говорит моему брату Эле, чтобы он не забывал, что есть бог на свете. С богом не шутят! Бог не смолчит! Он покровитель сирот. Он заступится за сироту. Бог велик. Он все может. Если бог захочет, то у пекаря Иойны не останется и того, что бублик стоит!..

Так отчитала мама брата Элю и, взяв меня за руку, хлопнула дверью.

Мы пошли домой.

2

Знаете, что я вам скажу? С богом, как видно, и в самом деле шутки плохи. Если бы вы знали, как кончил пекарь Иойна! Ведь я же вам говорил, что сам он не печет. Пекут другие: двое каких-то черных мужчин и три женщины, оборванные, грязные, в красных теплых платках на голове (хотя на дворе стоит невыносимая жара!).

И вот случилась однажды история. Даже не одна, а несколько сразу. Покупатели жаловались, что в бубликах попадаются нитки, тесемки, тараканы, куски стекла. Один русский покупатель принес пекарю целый клочок черных волос. Русского пекарь Иойна испугался. Тем более что тот пригрозил полицией. Принялись за пекарей, чтобы узнать, чьи волосы. Мужчины сваливали на женщин, женщины — на мужчин. Женщины твердили, что у всех у них рыжие волосы. А пекари спрашивали: «Где это вы видели такие длинные волосы у мужчин?» Так и нельзя было добиться толку, пока женщины не перессорились. Тогда только раскрылись интересные вещи: одна уронила в тесто подвязку, другая нечаянно замесила бинт с больного пальца, третья клала себе на ночь в изголовье тесто, приготовленное для халы. Она клялась всеми клятвами на свете, что это вранье и ложь.



Случилось это всего один или, самое большое, два раза. Подушки не было...

Весь город ходуном ходил! Пришлось-таки пекарю Иойне побегать. Не помогал никакой господь бог. Никто его изделий в руки брать не хотел. Хоть собакам выбрасывай!

Поделом, так ему и надо!

3

Но пекарь Иойна тоже не лыком шит! Он разогнал своих пекарей, мужчин и женщин, и набрал других. В субботу он велел огласить во всех молельнях, что он нанял новых пекарей, что отныне он сам будет наблюдать, чтобы все было чисто и аккуратно. Он отвечает штрафом в десять рублей, если в его булках найдут хотя бы один волос. С этих пор он стал выручать уйму денег. Люди начали искать волосы в булках, но больше не находили.



Впрочем, если даже находили и приносили к нему, Иойна попросту выгонял. Он говорил, что это положили нарочно, чтобы получить десять рублей. Знаем, мол, такие фокусы!

Хорош гусь этот пекарь Иойна! Но господь бог захотел посчитаться с ним и навлек на него новое несчастье. Однажды, в одно прекрасное утро, все его пекари встали, собрали свои пожитки и ушли. Не будут они больше работать у него ни за какие деньги! Разве что он прибавит им по рублю в неделю, будет отпускать на ночь домой и перестанет тыкать кулаками прямо в зубы. А у Иойны-пекаря такая манера: чуть что — прямо в зубы! Иойна вскипел. Он хозяин уже не первый год, но такого еще не случалось, чтоб рабочий указывал ему, как нужно драться! О повышении платы и говорить нечего. Он найдет десятерых других на их место. Подумаешь, невидаль какая — рабочие! Мало ли людей с голоду помирает?

Пошел искать пекарей. А пекарей-то и нет! Никто не хочет идти. В чем дело? Все пекари устроили стачку. Не пойдут они к нему до тех пор, пока он не примет обратно прежних пекарей и не выполнит все три условия: 1) рубль в неделю, 2) на ночь отпускать домой, 3) не тыкать кулаками в зубы... Ох, и потеха была смотреть, как Иойна кипятился, брызгал слюной, колотил руками по столу и ругался. Ну и рад же я был! Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось потом.

4

Знойный летний день. Только что поспели дыни и арбузы. Это — лучшее время года. Немного позднее начинаются уже слезливые дни. Да не накажет меня бог за такие речи, но не люблю я слезливых дней! Я больше люблю, когда весело. А что может быть веселее, чем базар, ломающийся от дынь и арбузов? Всюду, куда ни глянь, либо арбузы, либо дыни. Дыни желтые и пахнут, как лимоны. Арбузы внутри огненно-красные, зернышки в них черные, а сами они сладкие, как мед. Моя мама арбуз ни во что не ставит. Она говорит, что дыня выгоднее. Когда она покупает дыню, ее хватает для нас обоих на завтрак, на обед и на ужин. А арбуз, по ее словам, — лакомство: от него полон живот воды. По-моему, она ошибается... Будь я царем, я бы круглый год ел арбуз с хлебом. Это ничего, что в нем много зерен. Хороший арбуз достаточно как следует встряхнуть, и все зерна выпадут, а там ешь, сколько душе угодно!

Однако я так разговорился об арбузах, что забыл, с чего начал. Так вот, насчет тестя моего брата Эли, бараночника Иойны. Пришла-таки на него погибель! Такого конца никто не ожидал. Представьте себе, — сидим мы однажды с мамой за столом и обедаем: едим дыню с хлебом. Вдруг отворяется дверь и входит мой брат Эля с Пятикнижием в руках, с отцовским Пятикнижием. За ним плетется его жена Броха. В одной руке она держит меховой воротник с хвостиками, а в другой — шумовку. Вы не знаете, что такое шумовка? Это такая ложка с дырками, которой отцеживают лапшу.

Брат Эля бледен как смерть. А золовка Броха пылет, как огонь.

— Свекровь, мы пришли к вам, — заявляет золовка Броха.

— Мама, мы еле живы остались! — говорит мой брат Эля.

И оба начинают плакать, а мама им помогает. Что случилось? Погорели? Выгнали? Ничего подобного! Тесть моего брата Эли «приостановил платежи». По-нашему это значит обанкротился. Тогда пришли кредиторы и описали его с головы до ног. Забрали все до нитки. Все, что было в доме, да еще самый дом, да еще с каким позором! Попросили очистить помещение. Иначе говоря, выгнали в три шеи!

— Горе мне! — восклицает мать, заламывая руки. — Куда же девались его деньги? Ведь он был так богат!

На это отвечает мой брат Эля, что, во-первых, он вовсе не был таким богачом. А во-вторых... Но тут вмешивается моя золовка Броха: отец ее и в самом деле был богат. Иметь бы ей хотя половину! Но в чем же дело? Ее свадьба стоила отцу целого состояния!..

Она любит поговорить о своей свадьбе. Когда бы она ни пришла, вы только и слышите что о ее свадьбе. Такой свадьбы, как у нее, говорит она, на всем свете никогда не было! Такого печения, такого жаркого, таких тортов и пряников, таких штруделей и царских хлебцев, таких варений, как на ее свадьбе, нигде не было!

Но так или иначе, — сейчас она осталась в чем есть, с меховым воротником и шумовкой. Нечего и говорить, что приданое, обещанное ее отцом, пропало. Брат тоже вышел из этого дела не без «прибыли»: его субботнюю одежду, талес и постель описали. Часы — тоже. Остался гол как сокол.

Мать ужасно убивалась. Подумать только — такое несчастье! Кто мог ожидать? Ведь ей все завидовали. Видать, люди сглазили, либо сама она тогда накликала на него беду. Как бы там ни было, удар по ней пришелся, говорит она, сильнее, чем по кому бы то ни было. Денежного ящика ей захотелось? Деньги уплыли, а ящик остался!

— Оставайся у меня, дитя мое, пока господь смилостивится...

Так говорит мама и уступает невестке кровать — единственное, что осталось у нас в доме из мебели.

VII. Напиток моего брата Эля

1

«За один рубль — сто рублей! Сто рублей в месяц и больше может заработать всякий, кто ознакомится с содержанием нашей книги, стоящей всего один рубль с пересылкой. Налетайте! Покупайте! Ловите! Спешите! Не то — опоздаете!»

Такое объявление вычитал мой брат Эля где-то в газете вскоре после того, как перестал жить на содержании у своего тестя. А перестал он не потому, что срок кончился. Обещано ему было, собственно говоря, целых три года, а кормили его три четверти года, да и то неполных. С его богатым тестем случилось несчастье. Пекарь Иойна обанкротился и превратился из богача в нищего. Каким образом все это произошло, я уже вам рассказывал. Дважды одно и то же я никогда не рассказываю, — разве что попросят.

Но на этот раз и просьбы не помогут, потому что я очень занят. Я зарабатываю деньги. Я разношу напиток, который мой брат Эля приготавливает собственными руками. Научился он этому по книжке, которая стоит всего один рубль, а может принести заработка сто рублей в месяц и даже больше.

Как только мой брат Эля прочел о том, что есть на свете такая книга, он сейчас же послал по почте рубль (последний рубль) и сообщил маме, что больше ей горевать нечего.

— Мама! Славу богу, мы спасены! Заработком мы уже обеспечены вот так (он провел рукой по шее)!

— А что такое? — спрашивает мать. — Ты получил должность?

— Это лучше должности! — отвечает брат, и глаза у него светятся. Видно, от большой радости. Он просит ее подождать еще несколько дней, пока придет книга.

— Какая книга? — спрашивает мать.

— Уж это книга так книга! — отвечает Эля и спрашивает, хватит ли ей ста рублей в месяц.

Мать смеется и говорит, что она рада была бы ста рублям в год, лишь бы верным. На это брат отвечает, что у нее слишком скромные требования, и отправляется на почту. Каждый день он ходит на почту — справляется

о книге. Уже больше недели, как он отослал рубль, а книги все еще нет! А пока что надо жить.

— Душу не выплюнешь! — говорит мама.

Не понимаю, как это можно выплюнуть душу?

2

Но вот и книга! Не успели мы распаковать ее, как мой брат Эля принялся читать. Батюшки, и чего только он там не вычитал! Сколько средств делать деньги по различным рецептам! Можно зарабатывать сто рублей в месяц изготовлением лучших чернил. Можно зарабатывать сто рублей в месяц изготовлением хорошей черной ваксы. Можно зарабатывать сто рублей в месяц уничтожением мышей, тараканов и прочей нечисти. Сто рублей и больше можно зарабатывать изготовлением ликеров, сладкой водки, лимонада, содовой воды, кваса и других еще более дешевых напитков.

Мой брат Эля остановился на последнем рецепте. Во-первых, потому, что он сулит заработок свыше ста рублей в месяц. Ведь буквально так и написано в книге. Во-вторых, не нужно пачкаться с чернилами, ваксой, иметь дело с мышами, тараканами и прочей гадостью. Вопрос только в том, за какой напиток приняться? Для ликеров и сладких водок требуется состояние Ротшильда. Для приготовления лимонада и содовой воды нужна машина, какой-то камень, который бог весть сколько стоит. Остается, значит, одно — квас. Квас — это такой напиток, который и стоит дешево, и расходуется хорошо. Особенно в такое жаркое лето, как нынче. От кваса, надо вам знать, у нас Борух-квасник разбогател. Он изготавливает бутылочный квас, который славится по всему свету. Квас этот стреляет из бутылки, как из пушки. В чем тут фокус, никто не знает. Это — секрет Боруха. Говорят, что он кладет туда что-то такое, что стреляет. Кто говорит — изюминку, кто говорит — хмель. Как только наступает лето, Боруху рук не хватает. Так бойко идет торговля!

Наш квас, который мой брат Эля изготавливает по рецепту, не бутылочный и не стреляет. Наш квас — это совсем особенный напиток. Каким образом его готовят, я не могу вам сказать. Мой брат Эля к себе никого не допускает, когда работает. То, что он льет воду, это

все видят. Но когда идет самое приготовление, он запирается в маминной комнате. Ни я, ни мама, ни моя золовка Броха — никто не удостоивается присутствовать при этом. Но если вы пообещаете мне хранить тайну, то я могу вам сказать, из чего состоит напиток. Я ведь знаю, что мой брат изготавливает. Туда входят лимонные корки, жидкий мед, какая-то штука, которая называется «кри-метартерум» — кислее уксуса, а остальное — это вода. Воды там больше всего. Чем больше воды, тем больше квасу. Все это хорошенько размешивается обыкновенной палкой, — так сказано в книге, — и напиток готов. Затем его вливают в большой кувшин и кладут кусок льда. Лед — это главное! Без льда весь напиток ни к черту не годится. Это я вам говорю уже не по книге, — однажды я попробовал немного квасу без льда и подумал, что жизни моей конец!

3

Когда приготовили первую бочку квасу, было решено, что продавать его на улице буду я. Кто же, как не я? Моему брату Эле такое дело не пристало. Ведь он уже женатый. Маме — и подавно. Да мы и не допустим, чтобы мама расхаживала с кувшином по базару и выкрикивала: «Квас! Квас! Кому квас!» Все решили, что это работа для меня. Я и сам так думал. Я прямо-таки был счастлив, когда услышал такую новость. Мой брат Эля начал меня поучать: кувшин я должен держать в одной руке на веревочке, стакан — в другой, а для того, чтобы народ останавливался, мне нужно кричать громко и нараспев вот так:

Еврей, напиток!
Копейка — стакан!
Холодно и сладко,
Освежительно!

Голос у меня, как я вам давно говорил, хороший, сопрано, по наследству от отца, царство ему небесное. Я и запел во весь голос, нарочно перепутав слова:

Сладкого квасу стакан!
Копейка — еврей!
Глоток — холодок!
Пей — захлебывайся!..

Не знаю: то ли пенie мое так понравилось, то ли напиток был и в самом деле хорош, а может быть, оттого, что день выдался такой знойный, — первый кувшин я распродал за полчаса и вернулся домой, наторговав чуть ли не семьдесят пять копеек! Мой брат Эля отдал матери деньги и сейчас же наполнил еще кувшин. Он сказал, что если я смогу обернуться таким образом пять-шесть раз в течение дня, то мы заработаем как раз сто рублей в месяц.

Теперь вычитите, будьте любезны, четыре субботы, которые приходится на месяц, рассчитайте, сколько этот напиток нам стоит, и тогда вы сами поймете, какой процент мы на нем зарабатываем. Напиток обходится нам очень дешево. Можно сказать, почти задаром. Все деньги уходят на лед. Поэтому надо стараться как можно скорее распродать кувшин с напитком, чтобы куска льда хватило на второй кувшин, на третий и так далее. Вот и приходится с кувшином двигаться быстрее, вернее, бегать. За мной следом носятя целой ватагой мальчишки. Они передразнивают мое пенie. Но я не обращаю на них никакого внимания. Стараюсь как можно быстрее опорожнить кувшин и бежать домой за следующим. Сколько я наторговал в первый день, я и сам не знаю. Знаю только, что мой брат Эля, золовка Броха и мама меня очень хвалили. На ужин мне дали кусок дыни, кусок арбуза и две венгерские сливы. О квасе и говорить нечего. Квас мы все пьем, как воду.

Перед сном мама постелила мне на полу и спрашивает, не болят ли у меня, упаси бог, ноги. Брат Эля смеется и говорит, что я такой мальчик, у которого никогда ничего не болит.

— Конечно! — говорю я. — Хотите, я сейчас, среди ночи, пойду с кувшином?

Все смеются над моей прытью. Но на глазах у мамы я замечаю слезу. Ну, это старая история — мама должна обязательно плакать. Я хотел бы знать: все мамы так, не переставая, плачут, как моя?

4

Везет нам здорово — не сглазить бы! Дни стоят один другого жарче. Печет. Люди изнывают от зноя. Если бы не стаканчик квасу, сгореть можно! Я оборачиваюсь со

своим кувшином, не преувеличивая, раз десять на дно! Мой брат Эля заглядывает одним глазом в бочку и говорит, что мы уже добираемся до дна. Тогда ему приходит в голову блестящая мысль, и он доликает в бочку еще пару ведер воды.

Премудрость эту я постиг еще раньше него. Должен вам признаться, что этот фокус я уже несколько раз проделывал. Почти каждый день я забегаю к нашей соседке Песе и даю ей отведать нашего собственного напитка. Ее мужу, переплетчику Мойше, я даю два стакана — он хороший человек. Детям тоже даю по стаканчику квасу. Пускай и они знают, какой напиток мы умеем делать. Слепому я тоже подношу стаканчик. Жалко его, он ведь калека. Всех моих знакомых я угощаю квасом. Даром, без копейки денег. А для того чтобы не было убытка, я в кувшин доливаю воды. На каждый стакан квасу, который раздаю даром, два стакана воды.

То же самое делают и у нас дома. Например, когда мой брат Эля выпьет стакан квасу, он сейчас же подливает воды. Он прав: жаль копейку! Золовка выпьет пару стаканов (она страсть как любит квас моего брата!), сейчас же доликает водой. Иной раз и мама попробует стаканчик (ее надо упрашивать, сама она не возьмет) — и опять-таки сразу же доливают. Одним словом, ни одна капля зря не пропадет, и мы, слава богу, совсем неплохо зарабатываем. Мама уже уплатила много долгов, выкупила самое необходимое, постель. В доме появилось кое-что из мебели — стол, стулья. На субботу у нас бывает рыба, мясо и белая булка. Мне обещали на праздник новые сапоги! Никому, кажется, не живется так хорошо, как мне!

5

Поди, однако, будь пророком и угадай, что стрясется такая беда и наш напиток вдруг делается противен людям, хоть выливай его на помойку! Счастье еще, что меня самого не забрали в полицию. Послушайте, как дело было.

Однажды я со своим кувшином забрел к нашей соседке Песе. Вся публика выпила по стаканчику квасу, да и я с ними за компанию. Подсчитав, что мне не хватает стаканов двенадцать — тринадцать, я выскочил в сени, где у них обыкновенно стоит вода. Но вместо бочки

с водой я, видно, попал в бадью, в которой стирают белье, плеснул в кувшин стаканов пятнадцать — двадцать и побежал на улицу, распевая новый куплет, который я сам придумал:

Люди добрые! Напитком
Райским вас напоим!
Мне б такую жизнь
И вам — и нам обоим!

Останавливает меня один прохожий, дает копейку и велит налить себе стакан квасу. Выпил его залпом и сморщился:

— Мальчик! Что это у тебя за напиток?

Но я не обращаю на него внимания. Тут же стоят еще двое и дожидаются, чтобы я им налил. Один отпил полстакана, другой — треть. Уплатили, сплюнули и ушли. Еще один поднес стакан ко рту и, не попробовав, сказал, что пахнет мылом и как будто солоно. Следующий только взглянул на стакан, вернул мне его и спросил:

— Что это у тебя?

— Напиток такой, — отвечаю, — водичка!

— Водичка? — переспросил он. — Воничка, а не водичка!

Еще один подошел, попробовал и выплеснул весь стакан прямо мне в лицо. Минуту спустя меня окружили со всех сторон мужчины, женщины, дети. Все говорят, размахивают руками, горячатся.

Увидел городской, что собираются в кучку, подошел и спрашивает, в чем дело. Рассказали ему. Он подошел, заглянул в кувшин и велел дать ему на пробу. Я налил стакан квасу. Городской отхлебнул, сплюнул и рассвирепел:

— Где ты взял такие помои?

— Это по книге, — отвечаю я, — работа моего брата. Мой брат его сам делает.

— Кто твой брат?

— Мой брат Эля...

— Какой такой Эля?

— Не болтай, дурья голова, про брата! — заговорило несколько человек сразу, примешивая древнееврейские слова, чтобы городской не понял.

Поднялся шум, крики, скандал. Все время прибывают новые люди. Городской держит меня за руку и хочет нас (меня и напиток) отвести прямо в полицию.



Шум усиливается. «Сирота! Несчастный сирота!» — слышу я со всех сторон. Чует мое сердце, что дела мои плохи. Я оглядываюсь по сторонам: «Люди, пожалейте!» Пытаются сунуть городовому в руку монету. Но он не берет. Тогда один старик с вороватыми глазами говорит мне по-древнееврейски:

— Мотл! Вырви руку, ноги на плечи и — драла!
Я вырываюсь, смазываю пятки и — бегом! Ни жив ни мертв вваливаюсь в дом.
— Где кувшин? — спрашивает мой брат Эля.
— В полиции! — отвечаю я и с плачем припадаю к маме.

VIII. Мы наводняем мир чернилами

1

Ах, каким же я был дураком! За то, что я продавал немножко нехороший квас, я думал — мне голову снимут! Оказалось — ерунда. Зря перепугался. А Ента может продавать свечное сало вместо гусяного? А мясник Гедалья не кормил круглый год весь город трэфным мясом? Так убеждала мою маму наша соседка Песя. Беда с моей мамой! Она все так близко принимает к сердцу.

Зато я люблю своего брата Элю. Мой брат Эля не унывает от того, что мы обожглись на квасе. Была бы у него книга — все будет хорошо! Он купил книгу за рубль. Книга называется: «За один рубль — сто рублей!» Брат сидит и заучивает ее наизусть. В ней бесконечное количество рецептов добывания денег. Он уже знает почти все рецепты. Знает, как готовить чернила, ваксу, как выводить мышей, тараканов и прочую пакость.

Прежде всего он намерен заняться чернилами. Чернила, говорит он, ходкий товар. Все учатся писать. Эля нарочно справлялся у писца Юделя, сколько он расходует на чернила. Тот ответил: «Состояние!» Писец обучает письму чуть ли не шестьдесят девочек. Мальчики у него не учатся. Его боятся. Он дерется. Колотит линейкой по рукам. А девочек бить нельзя, а тем более пороть.

Мне очень досадно, что я не родился девочкой. Впервые, мне не нужно было бы молиться ежедневно. Наеело: изо дня в день одно и то же. Затем я был бы свободен от талмудторы. Я провожу там полдня, учусь на грош, а оплеух получаю сверх всякой меры! Думаете, от учителя? Нет, от учительши. Ее, видите ли, трогает, что я кормлю кошку! Вы бы видели, какая у нее кошка, — смотреть жалко! Вечно голодная. Мяукает потихоньку, со слезой в голосе, совсем как человек. Сердце

надрывает! Но у них к ней ни капли жалости. И чего им от нее нужно? Только подойдет она к кому-либо, понюхает — на нее уже кричат: «Брысь!» Кошка удирает куда глаза глядят. Голову поднять не дают. Недавно она где-то пропадала несколько дней подряд. Я уже думал, что кошка, упаси господи, издохла. В конце концов оказалось, что она окотилась... Однако возвращаюсь к чернилам моего брата Эли.

2

Мой брат Эля говорит, что времена теперь совсем не те, что прежде. Когда-то, говорит он, для приготовления чернил нужно было покупать чернильные орешки, крошить их, затем варить на огне черт знает сколько времени, потом добавлять медного купороса. А для того чтобы чернила блестили, нужно было класть в них кусок сахара — канитель! Нынче, говорит брат, удовольствие! Купишь в аптеке такой порошок и пузырек глицерина, смешаешь все это с водой, вскипятишь — и чернила готовы! Так уверяет мой брат Эля. Он пошел в аптеку, купил уйму порошков и целую бутылку глицерина. Затем он заперся у мамы в комнате и что-то там делал. Что именно, — я не знаю. Это — секрет. У него сплошь секреты. Если ему, например, нужно попросить у мамы пестик, он отзывает ее в сторону и шепчет: «Мама, пестик!»

Порошки и глицерин он смешал в большущем горшке (купил новый горшок). Горшок со смесью он задвинул в печь и шепотом попросил маму запереть двери на крючок. Мы все думали, произойдет невесть что! Мама ежеминутно заглядывала в печь. Должно быть, боялась, как бы печь не разлетелась на куски. Затем в дом вкатили бочку из-под кваса. Вылили в нее смесь из горшка. Потом стали лить воду. Когда бочка наполнилась больше чем наполовину, мой брат Эля сказал: «Довольно!» — и кинулся к своей книге «За рубль — сто».

Посмотрел и тихонько приказал принести новое перо и лист белой бумаги. «Для прошений», — добавил он шепотом маме на ухо. Обмакнув перо в бочку, он написал что-то на белом листе, сделал закорючку и росчерк. Написанное он показал сначала маме, потом моей зовковке Брохе. Они посмотрели и сказали:

— Пишет!

Тогда снова принялись за прежнюю работу: влили еще пару ведер воды, брат поднял руку: «Довольно!», снова обмакнул перо в бочку, снова написал что-то на белом листе и опять показал написанное сначала маме, затем моей золовке Брохе.

Они еще раз посмотрели и сказали:

— Пишет!

Так несколько раз, пока бочка не заполнилась до краев. Больше некуда было лить воду. Тогда мой брат Эля поднял руку: «Довольно!» И мы вчетвером сели за стол.

3

После еды мы начали разливать чернила в бутылки. Бутылок мой брат натаскал со всего света. Всякого рода бутылки и пузырьки, большие и маленькие — из-под пива, из-под вина, кваса, водки. Наконец просто бутылки. Пробок он накопил старых, чтобы дешевле стоило. Кроме того, он купил новую воронку и жестяную кружку для того, чтобы разливать чернила из бочки в бутылки. Затем он шепотом попросил маму запереть двери на крючок, и мы вчетвером принялись за работу.

Работа была распределена хорошо. Моя золовка Броха полоскала бутылки и передавала их маме. Мама заглядывала в каждую бутылку и передавала их мне в руки. Я должен был только вставлять воронку в горлышко и держать ее одной рукой, а другой — бутылку. А мой брат Эля черпал кружкой из бочки и наливал чернила.

Работа эта очень славная, веселая. Нехорошо только, что имеешь дело с чернилами: пачкаются руки, лицо, нос... Мы с братом перемазались как черти. Впервые я увидел свою маму смеющейся. О моей золовке Брохе и говорить нечего: та чуть не лопнула со смеху. Мой брат Эля не любит, когда над ним смеются. Он сердится на свою жену и допытывается, чего она смеется. А она смеется пуще прежнего. Он все сильнее сердится, а та еще больше смеется. Каждую минуту с ней судороги. Того и гляди, лопнет! Наконец мать стала упрашивать, чтобы перестали смеяться, а нам с братом велела умыться.

Но брату некогда. Ему не до умывания. Он с головой ушел в бутылки. Все бутылки уже заняты, больше нет!

Где взять еще? Он отзывает в сторону мою золовку, дает ей денег и шепотом велит пойти за бутылками. Она выслушивает, потом взглядывает на него и снова прыскает. Брат злится и обращается с тем же секретом к маме. Мама уходит за бутылками, а мы начинаем доливать воду в бочку. Конечно, не сразу, а понемногу.

После каждого ведра брат поднимает руку и говорит, ни к кому не обращаясь: «Хватит!» — затем обмакивает перо и чиркает по бумаге:

— Пишет.

Это он проделывает несколько раз, пока не приходит мать с новым запасом бутылок. Снова разливаем чернила — до тех пор, пока все бутылки не наполнены.

— До каких пор это будет продолжаться? — спрашивает моя золовка Бреха.

— Не сглазить бы! — говорит мать, а брат сердито поглядывает на жену, будто говоря: «Хоть ты мне и жена, но и дура же ты, господи помилуй!...»

4

Сколько у нас чернил, я и сказать не могу. Чуть ли не тысяча бутылок! Но что толку, когда их девать некуда?

Мой брат Эля уже везде побывал. Продавать в розницу, бутылками, не имеет смысла. Так говорит мой брат Эля мужу нашей соседки, переплетчику Мойше. Когда он зашел к нам и увидел столько бутылок, он даже перепугался и шарахнулся назад. Мой брат Эля заметил это, и между ними завязался странный разговор. Передаю его слово в слово.

Эля. Чего это вы так испугались?

Переплетчик. Что у тебя в бутылках?

Эля. Чему там быть? Вино!

Переплетчик. Какое вино? Ведь это чернила!

Эля. Зачем же вы спрашиваете?

Переплетчик. Что ты будешь делать с такой массой чернил?

Эля. Пить буду!

Переплетчик. Нет, кроме шуток! Будешь и в розницу продавать?

Эля. Что я — с ума сошел? Уж если продавать, то десять бутылок, двадцать, пятьдесят... Это называется «оптом». Вы знаете, что значит «оптом»?

Переплетчик. Я знаю, что значит «оптом». Но кому ты будешь продавать?

Эля. Кому? Раввину!

И мой брат Эля пошел по лавочникам. Пришел к одному крупному оптовику. Тот попросил принести ему бутылку. Он хочет посмотреть. Брат принес ему бутылку чернил, но тот и в руки ее брать не желает, потому что нет этикетки. На бутылке, говорит он, должна быть красивая этикетка с рисуночком. «Я рисуночков не делаю, — отвечает ему мой брат Эля, — я делаю чернила». — «Ну, и делай на здоровье!» — сказал лавочник.

Тогда брат сунулся к писцу Юделю. Но Юдель сказал ему что-то очень неприятное. Он уже, говорит, закупил чернил на все лето.

— Сколько же бутылок вы закупили? — спрашивает Эля.

— Бутылок? — переспросил Юдель. — Купил бутылку чернил... Хватит, пока не выйдут, а там еще бутылку куплю...

Вот тебе раз! На что способен писаришка! То говорил, что у него уходит целое состояние на покупку чернил, а то оказывается, что ему одной бутылки на все лето хватит!.. Мой брат Эля, бедняга, вне себя! Он не знает, что делать с такой уймой чернил! Раньше он говорил, что в розницу торговать не намерен, только оптом. Сейчас он смирился. Начнет, говорит, продавать в розницу. Я бы очень хотел знать: что это значит — «в розницу»?

А «в розницу» значит вот что. Послушайте.

5

Мой брат Эля принес большой лист бумаги, сел и написал крупными, как в молитвеннике, буквами:

ЗДЕСЬ ПРОДАЮТ ЧЕРНИЛА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. ХОРОШО И ДЕШЕВО.

Оба слова «в розницу» и «дешево» были такие громадные, что занимали чуть ли не весь лист. Когда написанное просохло, он повесил лист на дверях, с наружной

стороны. Прохожие останавливались и читали. Я видел это в окно. Мой брат Эля тоже смотрит в окно и ломает пальцы. Это значит, что он расстроен. Он говорит мне:

— Знаешь что? Выйди-ка, постой у двери и послушай, что говорят.

Меня спрашивать не надо. Я встал у дверей, смотрю, кто останавливается, слушаю, что говорят. Простоял почти полчаса и захожу в дом. Брат Эля подходит ко мне и тихо спрашивает:

— Ну?

— Что «ну»?

— Что они говорили?

— Кто?

— Люди, которые шли мимо.

— Говорили, что красиво написано.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Мой брат Эля вздыхает. Чего он вздыхает? Мама тоже спрашивает:

— Чего ты вздыхаешь, глупенький? Подожди немного. В один день ты хочешь распродать весь товар?

— Хоть бы почин был... — говорит брат со слезами в голосе.

— Ты большой дурень, уверяю тебя. Погоди, дитя мое, будет еще, с божьей помощью, и почин.

Так говорит мама и накрывает на стол. Мы умываем руки и садимся кушать. Нам четверым приходится сидеть рядышком: из-за бутылок в доме стало так тесно — деваться некуда. Только принялись за еду, прибегают паренек. Занятный такой. Он уже жених. Я его знаю. Его зовут Копл. У него отец портной. Дамский портной.

— Здесь продают чернила в розницу?

— Да. А что такое?

— Я хочу немного чернил.

— Сколько тебе нужно?

— Дайте мне на копейку.

Мой брат Эля вне себя. Если бы не стыд перед матерью, он бы этого жениха Копла раньше отшлепал, а потом вышвырнул бы из дому. Однако он сдерживает себя и наливает парнишке чернил на копейку.

Не проходит и четверти часа, прибегают девочка. Ее

я не знаю. Она ковыряет в носу и обращается к моей маме:

— Здесь делают чернила?

— Да. А что такое?

— Сестра просила, не можете ли вы ей одолжить немного чернил? Ей нужно написать письмо жениху в Америку.

— Кто твоя сестра?

— Бася, швейка.

— А! Смотри пожалуйста, как она выросла! Не сглазить бы! Я тебя совсем не узнала. Чернильница есть у тебя?

— Откуда у нас чернильница? Моя сестра просила... Может быть, у вас и перо есть... Она только напишет письмо в Америку и вернет вам перо и чернила.

Моего брата Эли нет за столом. Он в маминой комнате. Медленно шагает из угла в угол, опустив голову, и грызет ногти.

6

— Зачем ты наделал столько чернил? Ты хотел, видно, обеспечить весь мир чернилами, — вдруг наступит чернильный голод? — говорит моему брату Эле муж нашей соседки, Мойше-переплетчик.

Странный человек этот переплетчик! Манера у него — сыпать соль на чужие раны. Вообще он как будто неплохой человек, только нудный и страшно въедливый. Но мой брат Эля его здорово отчитал! Он посоветовал переплетчику лучше следить за самим собой, не делать каши из книг, не переплетать вместе «Агоде» и «Слихес»... *

Мойше-переплетчик знает, на что намекает брат. Однажды он взял у одного извозчика заказ — переплести «Агоду». И вот случилось несчастье: по ошибке Мойше переплел вместе с «Агодой» несколько листов из чужой «Слихес». Извозчик, может быть, и не заметил бы, но сосед услышал, как он вдруг вместо радостной паскальной песни читает жалобную покаянную молитву... Поднялся хохот. А на следующий день извозчик прибежал к нашему соседу и хотел растерзать его в клочья.

— Разбойник! Что я тебе сделал? Зачем ты в мою

пасхальную «Агоду» всучил черт знает что? Вот я тебе все кишки вымотаю!

Да, веселая была у нас тогда пасха!

Однако не взыщите, что я отвлекся посторонним рассказом. Возвращаюсь к нашим блестящим делам.

IX. Последствия чернильного наводнения

1

Мой брат Эля ходит сам не свой. Что делать с чернилами?

— Опять чернила? — укоряет его мама.

— Я не о чернилах! — отвечает брат. — Черт с ними, с чернилами! Я говорю о бутылках. В бутылки вложен капитал. Нужно опорожнить их и получить деньги...

Он все превращает в деньги! И мы решаем, что чернила нужно вылить, ко всем чертям! Плохо только, что мы не знаем, куда девать столько чернил. Ведь это же просто позор!..

— Ничего не поможет! — говорит мой брат Эля. — Придется ждать ночи. Ночью темно, никто не увидит.

Еле дождалась ночи. Как назло, луна сияет фонарем. Когда нужно, чтобы было светло, она прячется. А вот теперь она тут как тут, будто посылали за ней!.. Так говорит мой брат Эля, и мы выносим бутылку за бутылкой и выливаем прямо на улицу. Оттого, что лили в одном и том же месте, получилась целая река. Не нужно лить в одном и том же месте, говорит брат Эля, и я следую его совету. Я выискиваю каждый раз новое место. Вот соседкина стена — плюх! Соседский забор — плюх! Лежат две козы и жуют жвачку при лунном свете — на них!

— На сегодня хватит! — говорит брат Эля, и мы отправляемся спать.

Тихо и темно. Заводит свою песенку сверчок. Из-под печи слышится урчание кошки. Вот соня! И днем и ночью только и делает, что греется и дремлет. В сенях, за дверью, слышны чьи-то шаги. Может быть, домовый?.. Мама еще не спит. Я всегда слышу, как она ломает пальцы, вздыхает, кричит и говорит, обращаясь к себе самой. Такая уж у нее манера. Каждую ночь она отво-



дит душу. Рассказывает о своих горестях. С кем она разговаривает? С богом? Каждую минуту она повторяет со вздохом:

— Ах, боже, боже!..

2

Я еще не встал со своей постели на полу, как уже сквозь сон слышу шум и гам. Доносятся знакомые голоса. Постепенно открываю глаза — поздний час. Сол-

нечный свет ворвался в окна, манит из дому, зовет на улицу. Пытаюсь вспомнить, что было вчера... Ага! Чернила!.. Вскрываю и наскоро одеваюсь. У мамы заплаканы глаза (когда, впрочем, они у нее не заплаканы?). Моя золовка Броха ходит сердитая (а когда она не сердитая?). Мой брат Эля стоит посреди комнаты понурив голову, как дойная корова. В чем дело? Оказывается, не одно, а несколько дел! Соседи наши проснулись утром: и пошла кутерьма — прямо зарезали их! У одного всю стену забрызгали чернилами. У другого облили забор, новенький забор! У третьего была пара белых коз, а ему их покрасили в черный цвет, — не узнать их. Но все было бы терпимо, если бы не резниковы чулки. Новенькую пару чулок, белых чулок, резничиха повесила на заборе у нашей соседки, а их испортили вконец. Просили ее вешать чулки на чужой забор! Мама обещала купить ей пару новых чулок, лишь бы все было тихо. Но что делать со стеной? С забором? Решено было, что мама и моя золовка Броха возьмут щетки и затрут пятна белой глиной.

— Ваше счастье, что вы напали на порядочных соседей. Вот напоролась бы с вашими чернилами на Менаше-лекаря, тогда бы вы почувствовали, как велик наш бог! — говорит маме соседка Песя.

— Что же вы думаете? И в беде нужна удача! — говорит мама и смотрит на меня.

Что она этим хочет сказать?..

3

— Теперь уж я буду умнее! — говорит мне брат Эля. — Как только наступит ночь, отнесем бутылки на речку.

Он прав, честное слово! Ничего умнее придумать нельзя! Все равно в речку льют всякую пакость. Там и белье стирают, там и лошадей купают, там и свиньи полощутся. Мы с рекой — близкие друзья. Я вам как-то рассказывал о моей рыбной ловле. Так что вы без труда поймете, с каким нетерпением я ждал минуты, когда мы отправимся на речку.

Как только стемнело, мы уложили бутылки в корзины и стали таскать их к речке. Вьлем чернила, порожние бутылки домой отнесем и беремся за следующую партию. Всю ночь работали таким образом.

Давно уже не было у меня такой славной, веселой ночи. Представьте себе: город погрузился в сон, небо усыпано звездами. Луна светит и отражается в речке. Тишина. Хорошо. А речонка у нас бойкая. После пасхи, как только растает лед, она начинает озорничать. Надувается, разбухает, выходит из берегов. А чем дальше, тем она становится меньше, уже и мельче. К концу лета и совсем замолкает. Впадает в дрему. И только на самом дне, в иле, слышится: «буль-буль». С противоположной стороны отзываются лягушки: «ква-ква». Срам, а не река! Можете себе представить, если я могу перейти ее вброд от берега к берегу, даже не засучив штанишек!

От наших чернил речка немного раздалась вширь. Шутка ли, чуть ли не тысяча бутылок чернил! Зато и наработались же мы, как волю. Уснули как убитые. Разбудила нас мама:

— Горе мне! Разнесчастная моя жизнь! Что вы там натворили на реке?

Оказалось, что мы обезводили город: прачкам негде белье стирать. Извозчикам негде лошадей поить. Водовозы... Вот они соберутся все вместе и придут рассчитаться с нами.

Все это сообщила мама. Но у нас нет никакого желания дожидаться их. Нам вовсе не интересно, как водовозы будут рассчитываться с нами. Я и мой брат Эля наспех собираемся и отправляемся к его товарищу Пине.

— Пускай они нас поищут, если им нужно! — Так говорит мне брат Эля, берет меня за руку, и мы быстро спускаемся под гору к его товарищу Пине. Если мы с вами еще увидимся, я вас как-нибудь познакомлю с товарищем моего брата. С ним стоит познакомиться: ему тоже приходят в голову удачные мысли.

Х. Улица чихает

1

Знаете, что у нас теперь на очереди? Мыши!

Целую неделю мой брат Эля изучал свою книгу, при помощи которой делают деньги, «За рубль — сто». Он

уже научился, говорит, выводить мышей, тараканов и прочую нечисть. Крыс тоже. Пусть только его куда-нибудь пустят с его порошком, — ни одной мыши не останется. Они удирают. Многиедохнут. Нет больше мышей! Как он это делает, я не знаю. Это секрет. Секрет этот знают только он да книга, больше никто. Книгу он носит в боковом кармане. Порошок — в бумаге. Порошок какой-то красноватый, тонко растертый, как нюхательный табак. Называется он «шемерица».

— Что это значит — «шемерица»?

— Турецкий перец.

— А что значит «турецкий перец»?

— Я тебе сейчас такое «что значит» задам, что ты у меня головой двери откроешь!

Так говорит мне брат Эля. Он не любит, когда ему надоедают с расспросами во время работы. Я смотрю и молчу. Вижу, что, кроме красноватого, у него есть еще какой-то порошок.

— Также от мышей. Но с этим нужно быть осторожным!

— Смертельный яд! — чуть ли не сто раз подряд повторяет Эля маме, Брохе и мне. Особенно — мне, чтоб я не смел и притрагиваться к этому. Яд!

Первый опыт мы произвели на мышах нашей соседки Песи. Мышей там чертова пропасть. Вы ведь знаете, что муж ее — переплетчик. У него вечно дом полон книг. А мыши любят книги. Не столько самые книги, сколько клейстер, которым книги склеивают. А с клейстером заодно они уже и сами книги едят, причиняют огромные убытки. Недавно они продырявили молитвенник, и как раз в том месте, где большими буквами напечатано «Царь-вседержитель». Как дорвались до этого места, так оставили только кончик одной буквы.

— Пустите меня к вам на одну ночь! — упрасивает переплетчика мой брат Эля.

Но переплетчик не соглашается.

— Я боюсь, — говорит он, — что ты все книги перепортишь.

— Чем я испорчу ваши книги?

— Я и сам не знаю чем. Но боюсь. Чужие книги...

Толкуй с переплетчиком! Еле уломали его, чтобы он пустил нас на одну ночь.

В первую ночь нам не повезло. Не поймали ни одной мыши. Впрочем, мой брат Эля говорит, что это хороший признак. Мыши, по его мнению, почуяли порошок и разбежались. Переплетчик качает головой и криво усмехается: видно, не верит. Тем не менее по городу распространился слух о том, что мы выводим мышей. Слух этот пустила наша соседка Песя. Рано утром она отправилась на рынок и разбарабанила по всему городу, что никто так не выводит мышей, как мы. Она нас прославила. Раньше она всем и всякому твердила о нашем квасе. Затем она на всех углах рассказывала, что мы изготавливаем такие чернила, каких свет не видал. Но что толку от ее рассказов, когда в чернилах никто не нуждается? Мыши — это не то что чернила. Мыши имеются всюду, почти в каждом доме. Конечно, каждый хозяин держит кошку. Но где одной кошке справиться со столькими мышами? А особенно с крысами! Крысам наплевать на кошку. Говорят даже, что крыс сама кошка побаивается.

Так уверяет сапожник Бере. Он такие истории рассказывает о крысах, что мороз по коже дерет! Правда, считают, что он малость преувеличивает. Но если даже половина того, что он рассказывает, правда, то и этого вполне достаточно. Он говорит, что крысы съели у него пару новых сапог. Бере клянется при этом такими клятвами, что не только ему — выкресту поверить можно. Он, говорит, сам видел, как две большие крысы выползли из своих нор и у него на глазах съели пару сапог. Это было ночью. Подойти близко он боялся: крысы огромные, как телята! Издали он их гнал, свистел, топал ногами, кричал: «Киш-киш-киш!» Ничего не помогло. Швырнул в них сапожной колодкой, но крысы только взглянули на него и продолжали свое дело. Тогда он бросил прямо на них кошку. Но они и на нее налетели и слопали! Никто не хотел ему верить. Но когда человек так клянется!..

— Пустите-ка меня к вам на одну ночь, — говорит мой брат Эля, — я вам выведу всех крыс.

— С большим удовольствием! — отвечает сапожник Бере. — Я вам еще спасибо скажу!..

Ночь напролет просидели мы у сапожника Бере. И он сидел с нами. Каких только удивительных историй мы от него не наслушались! Он рассказывал о турецкой войне *. (Бере был когда-то солдатом.) Ему пришлось быть в таком месте, которое называется «Плевна». Там стреляли из пушек. Вы знаете, какой величины бывает пушка? Представьте себе, что одно только ядро больше, чем целый дом, а пушка каждую минуту выбрасывает чуть ли не тысячу таких ядер! Довольно с вас? Но ядро, когда вылетает из пушки, так ревет, что оглохнуть можно. Однажды, рассказывает Бере, он стоял на посту. Вдруг он слышит грохот, его подняло в воздух и понесло чуть ли не выше облаков... А там ядро разорвалось на тысячу кусков. Его счастье, говорит Бере, что он упал на мягкое место, не то бы расшиб себе голову.

Мой брат Эля слушает, а брови у него улыбаются. То есть сам он не смеется, смеются только брови. Станный какой-то смех. Но сапожник ничего не замечает. Он не переставая рассказывает свои удивительные истории. Одна другой страшнее. Так мы просидели до утра. А крысы? Хоть бы одна!

— Вы прямо-таки волшебник! — говорит сапожник моему брату Эле.

После этого он отправляется в город и рассказывает чудеса о том, как мы при помощи заговора вывели у него в доме крыс в течение одной ночи. Он клянется, что сам видел, как мой брат Эля что-то прошептал, — тогда крысы вылезли из своих нор и пустились под гору, к речке, переплыли ее и ушли куда-то далеко... Куда — он не знает...

4

— Здесь выводят мышей?

С таким вопросом к нам каждый раз приходят и просят, чтобы мы потрудились и пожаловали выводить мышей при помощи нашего заговора...

Но мой брат Эля — человек справедливый. Он не терпит лжи. Он говорит, что изгоняет мышей не загово-

ром, а порошком. Есть у него такой порошок, от которого мыши разбегаются.

— Пускай будет порошок, пускай будет черт-дьявол, лишь бы избавиться от мышей!.. Сколько это будет стоить?

Мой брат Эля не любит торговаться. Он говорит, что за порошок ему причитается столько-то, а за труд — столько-то и столько-то. С каждым разом он, конечно, просит дороже. Он каждый день повышает цену. То есть не он, а моя золовка повышает.

— Если уж на то пошло, — говорит она, — если уж жрать свинину, так пускай по бороде течет. Уж если ты крысомором заделался, так загребай хоть денежки.

— Ну, а справедливость где же? А бог где? — вмешивается в разговор моя мама.

Но золовка Броха отвечает:

— Справедливость? Вот она где — справедливость! — и указывает на печку. — А бог? Вот где бог! — и хлопает себя по карману.

— Броха! — восклицает мать, заламывая руки. — Что ты сказала? Опомнись, господь с тобой!!

— Ну что ты разговариваешь с коровой?! — говорит мой брат Эля, расхаживая по комнате и теребя свою бороду.

У него уже изрядная бородка. Растет она, как на дрожжах. Он теребит ее, вот она и растет. Странно как-то растет. Вся борода почему-то на шее. Лицо чистое, а шея вся в волосах. Видали вы когда-нибудь такую бороду?

В другое время моя золовка Броха задала бы брату за «корову» такую взбучку, что у него бы в глазах потемнело. Но на этот раз она промолчала, потому что он сейчас зарабатывает деньги. Каждый раз, когда мой брат зарабатывает деньги, она начинает его уважать. Да и я становлюсь ей дороже, потому что помогаю брату зарабатывать деньги. Обычно она называет меня «голодранец», или «растяпа», или «гольтепа». Сейчас она обращается со мной ласково. Сейчас я у нее уже «Мотеле».

— Мотеле! Подай мне ботинки.

— Мотеле! Набери мне кружку воды.

— Мотеле! Вынеси мусор.

Совсем другое дело, когда зарабатываешь деньги!

У моего брата Эли есть один недостаток — он любит всего помногу: квасу — целая бочка, чернил — тысяча бутылок, порошка от мышей — полный мешок! Муж соседки, переплетчик Мойше, уже говорил ему: «К чему так много?» Но брат здорово отчитал его за такие слова.

Хоть бы запирали этот мешок куда-нибудь в шкаф. Так нет же! Все уходят и оставляют меня дома одного с мешком. Что же такого, что я на минуту сел на него верхом, как на лошадку? Мог ли я думать, что мешок лопнет и оттуда посыплется что-то желтое? Это и есть тот самый порошок, которым мой брат Эля выводит мышей. Он издает такой острый запах, что можно в обморок упасть. Я нагибаюсь, хочу собрать то, что просыпалось, но меня вдруг одолевает чихание. Мне кажется, если бы я втянул в нос полную табакерку нюхательного табаку, я и то не стал бы так чихать. Выбегаю на улицу — может быть, на воздухе перестану чихать? Куда там! Приходит мама и видит, что я чихаю. Спрашивает, что случилось. Но я не могу сказать ни слова в ответ, только «чихи!», и еще раз «чихи!», и снова «чихи!».

— Горе мне! Где это ты схватил такой насморк? — говорит мама, ломая руки.

Не переставая чихать, я указываю ей на дверь в дом. Она входит и тут же выбегает обратно, чихая еще сильнее, чем я. В это время приходит мой брат Эля и видит, как мы оба чихаем. Спрашивает, в чем дело. Мать указывает ему на дверь. Брат бежит в дом и сразу же выскакивает с криком:

— Кто это рас... Чхи! Чхи! Чхи!..

Я давно уже не видел моего брата Элю в таком бешенстве, как сейчас. Он бежит прямо на меня. Счастье, что он чихает... Не то он бы меня искалечил. Приходит моя золовка Броха и застаёт нас троих держащимися за бока и чихающими.

— Что с вами? Чего это вы вдруг расчихались?

Но что мы можем сказать? Мы не в состоянии слова выговорить. Указываем на дом, на дверь. Она бежит в дом и тут же вылетает обратно, красная, как огонь, и нападает на брата;

— Что я тебе го... Чхи! Чхи! Чхи!..

Приходит наша соседка Песя-толстая. Она обращается к нам, но никто не может ответить ни слова.



Указываем ей руками на двери. Она входит в дом и сейчас же выбегает:

— Что это вы такое сде... Чхи! Чхи! Чхи!..

Соседка размахивает руками. Приходит ее муж, переплетчик. Он смотрит на нас и смеется.

— Что это на вас вдруг напало такое чихание?

— Потрудитесь ту... Чхи! Чхи! Чхи! — говорим мы, указывая на двери.

Переpletчик входит к нам в дом и выскакивает обратно со смехом.

— Я уже знаю, что это такое! Я понюхал! Это — чеме... чеме... Чхи! Чхи!..

Он тоже хватается обеими руками за бока и чихает всласть. После каждого чихания он подпрыгивает, стоит минуточку на кончиках пальцев, снова чихает, подпрыгивает, снова чихает и так далее. Не проходит и получаса, как все наши соседи и соседки, все их дяди и тетки, все троюродные братья и сестры и их знакомые, — вся улица от края до края беспрерывно чихает.

Чего это мой брат Эля так испугался? Он, наверное, боится, как бы все чихающие не выместили на нем свою злобу. Он берет меня за руку, и мы оба, чихая, бежим под гору, к его товарищу Пине.

Прошло не менее полутора часов, пока мы пришли в себя и смогли говорить по-человечески. Мой брат Эля рассказал всю историю своему товарищу. Пиня выслушал внимательно, как доктор выслушивает больного. Когда брат кончил, Пиня говорит ему:

— А ну-ка, давай сюда свою книгу!

Брат достает из бокового кармана книгу и передает Пине. Пиня читает на обложке: «За один рубль — сто. Способ из ничего, при помощи пяти пальцев, зарабатывать сто рублей в месяц и больше...»

Он берет книгу и швыряет ее в печь, прямо в огонь. Мой брат Эля вскакивает с места и тянется руками к огню. Но Пиня его останавливает:

— Спокойно! Не торопиться!

Минута-другая — и от книги моего брата Эли, помогающей зарабатывать «сто рублей в месяц и больше», остается лишь горсточка пепла. Только с одной стороны белеет клочок не успевшей сгореть бумаги. На этом клочке едва можно прочесть: «Че-ме-ри-ца...»

XI. Наш друг Пиня

1

Помните, я как-то обещал познакомить вас с товарищем моего брата Эли, с Пиней? Обещал потому, что ему приходят в голову удачные мысли. Но прежде, чем

говорить о Пине, я должен рассказать вам о его де-душке, затем об отце и дяде и только потом о нем самом.

Не пугайтесь, я расскажу вкратце. Начинаю с деда.

Слышали ли вы когда-нибудь о реб Гесе-стекольщике? Это и есть дед Пини. Он и стекольщик, он и зеркальщик, он и табак умеет делать. Сейчас он забросил все свои дела и занимается только тем, что растирает табак и продает его. Покуда, говорит он, человек жив, он должен работать и не прибегать ни к чьей помощи. Человек он высокий, тощий, с красными глазами и с огромным носом, внизу широким, вверху узким, изогнутым, как рог. Боюсь, что это у него от нюхательного табака. Он очень стар, ему, наверное, лет сто, но он еще в здравом уме. Он и сейчас еще, пожалуй, умнее двух своих сыновей — Герш-Лейба-механика и Шнеера-часовщика.

Механик Герш-Лейб так же худощав и высок, как и реб Геся. У него тоже большущий нос, но табака он не нюхает. Может быть, еще будет нюхать, но пока — нет. Он печной механик. Кладет печи. Все говорят, что он человек с головой. У него и в самом деле большой лоб. Если бы его, говорит он, обучали ремеслу, он был бы единственным в мире. Нет такой вещи на свете, до которой он не дошел бы собственным умом. Так он сам о себе говорит. Он все улавливает с первого взгляда. Печи складывать он тоже научился сам. Видел несколько раз, как работает Иван-печник, и хохотал до упаду. Он уверяет, что печник Иван даже не представляет себе, что такое печь.

Однажды он пришел домой, развалил печь и из тех же кирпичей сложил новую. В первое время печь дымила так, что можно было задохнуться. Тогда он снова разобрал ее и опять сложил. И так несколько раз до тех пор, пока не стал знаменитым механиком. Он собственным умом додумался до такой печи, которую достаточно топить один раз в восемь дней. Беда только в том, что у него нет таких кирпичей, какие для этого требуются. Если бы, говорит он, ему дали «кафельные» кирпичи, он сложил бы печь, какую свет не видал.

Он уверяет, что сложить печь — дело более мудрое, чем собрать часы. Это уж он говорит в пику своему брату Шнееру.

Шнеер моложе его, выше ростом, тоже длинноносый, он часовых дел мастер. Вообще-то ему следовало быть раввином, резником или меламедом. Такие у него были способности к наукам. Но он захотел быть часовщиком. Каким образом он дошел до часового мастерства? А вот послушайте.

Когда он был еще мальчишкой и учился в хедере, рассказывает о себе Шнеер, у него голову распирало от больших мыслей. Ему, например, хотелось разгадать секрет замка. Почему, если повернешь ключ направо, замок открывается, а если повернешь налево, — запирается? Или — каким образом идут часы? Почему они бьют как раз тогда, когда большая стрелка стоит на двенадцати? Когда он впервые увидел часы с кукушкой, он чуть с ума не сошел. Часы эти старый реб Геся получил в подарок от отставного полковника, который давал ему работу. Каждый раз, когда часы должны были бить, отворялась дверца, выскакивала птичка и куковала! Птичка была до того похожа на живую, что даже кошка ошибалась. Как только появлялась птичка, кошка настораживалась и норовила ее поймать.

Шнеер дал себе слово, что он обязательно разгадает секрет этой птички. Однажды, когда никого дома не было, он снял часы со стены, развинтил все винтики, вытащил механизм. Подоспевший к тому времени отец избил его так, что никто даже не надеялся видеть Шнеера живым. До сих пор, говорит Шнеер, у него остались следы на теле. Но он своего добился — он часовых дел мастер. Не знаю, из лучших ли он, но берет он недорого и держит работу недолго.

Мой брат Эля уже много раз чинил у него свои часы. Чуть ли не каждые две недели он чинит их. Они у него какие-то странные: то спешат как сумасшедшие, то отстают часа на четыре, то остановятся — и делай что хочешь. Мой брат Эля, может быть, и обратился бы к другому мастеру, но ему неловко перед своим товарищем Пиней. А Пиня говорит, что дело тут, наверное, в самих часах, а не в его дяде Шнеере, потому что одно из двух: если часы действительно часы, то их каждый часовой мастер может починить. Если же часы не часы, так чем же тут поможет часовой мастер?

Скажите, что он не прав!

Пиня, товарищ моего брата Эли, тоже человек с головой, как и отец его — Герш-Лейб-механик и дядя Шнеер-часовщик. Нос у него тоже длинный, как и у них. Все они носатые, вся семья. Есть у них тетя Крейна, а у нее есть дочь Малка. Так вот у этой дочери такой нос, что на него можно специально ходить смотреть. И не столько на нос, сколько на все лицо. Совсем какое-то нечеловеческое лицо. Выглядит не то как птица, не то как диковинный зверь. Она стесняется на улицу выходить. Прямо-таки жалко человека! Пиня немного похож на нее, но он мужчина, а для мужчины это не так важно. Правда, выглядит он как-то странно. Когда посмотришь на него, нельзя не рассмеяться. Мало того что он высокий и худой, — у него еще и уши длинные, шея как у гусака, и к тому же он близорук. Куда бы он ни пошел, он обязательно с кем-нибудь столкнется. Если остановится, то непременно кому-нибудь на ногу наступит. Одна штанина у него всегда задрана. Один чулок спущен. Рубаха обязательно расстегнута. Галстук вечно на боку. Он картавит и любит всякие лакомства. Когда бы вы его ни встретили, он что-нибудь держит во рту и причмокивает. Зато он очень способный человек. Нет ничего на свете, чего бы он не знал. Своей ученостью он, говорят, затмил даже раввина. Своим почерком он за пояс заткнет всех знатоков. Помимо того что у него замечательный почерк, он еще большой мастер писать рифмой. Он уже описал весь город: раввина, резника, всех габе*, мясные лавки, свою семью — всех описал и всех рифмой. Его стихи одно время ходили по рукам, люди хохотали до упаду, кое-кто выучил их наизусть. Я тоже помню несколько строчек:

У нашего габе
Реб Шмуел-Абе
Большой и пухлый живот,

Он сидит у стола
И тащит из котла —
Прямо-таки дым идет!

Жена его Нехама —
Благочестивая дама;
Говорить о ней много не стоит...

Она умна,
Как раввина нашего коза, —
Черт побери их обоих!..

Весь город ходуном ходил от этих стихов. Кто-то еще приладил к ним мотив застольной молитвы. И все распевали эту песенку. Дошла она и до самого габе и его жены. Послали за отцом, Герш-Лейбом-механиком, и со слезами на глазах допытывались, что против них имеет его сын Пиня. Придя домой, Герш-Лейб-механик позвал Пиню, запер двери и ворота и основательно всыпал ему. Он порол его до тех пор, пока Пиня не дал честного слова, что, покуда жив будет, никогда не сочинит ни одной рифмы.

3

С тех пор Пиня рифм больше не пишет. Ему не до рифм. Пиня и сам о себе говорит, что он в беде. Жениться ему вздумалось. Собственно, не ему, а его отцу, Герш-Лейбу, захотелось, чтобы Пиня женился и стал «человеком». Пиня женился на дочери мельника. Тесть открыл мучную лавку и посадил в ней зятя. Мой брат Эля завидует Пине, потому что у того теперь есть свое дело. А Пиня смеется. Он говорит, что это, может быть, и дело, но не для него. Что это, говорит он, за работа — пачкаться с мукой? Это хорошо для неуча, для мельника... Чем он, говорит, виноват, что не может сидеть в лавке? Не может! У него голову распирает, просто разносит... У них, говорит он, вся семья такая — у всех головы распирает...

Так говорит Пиня и не хочет сидеть в лавке. Лучше, говорит, посидеть над книгой, — по крайней мере, удовольствие получишь. Тесть его, мельник, очень сердится на него, но помалкивает, боится, как бы зять не расписал его в стихах, а кроме того, он трясется над своей дочерью. Она у него единственная. Ее зовут Тайбл. Она немного косит на один глаз, но вообще-то она очень добрая. Мама говорит, что это человек без желчи. Я не понимаю, что значит «без желчи». Куда же она девалась, ее желчь? Она по целым дням торчит в лавке, а Пиня отсиживается дома. Мы с братом почти каждый день к нему приходим. Он нам рассказывает о всех своих горестях. Когда бы мы ни пришли, он вздыхает, стонет и жалуется на несчастную свою долю. Ему здесь, говорит он, тесно и душно. Он чувствует, что задыхается.

Ему бы в другом городе жить, тогда бы все было по-иному. Если бы его выпустили отсюда хотя бы на

один год, он бы свет перевернул! Так говорит он моему брату Эле. Пиня показывает письма, которые ему пишут «большие люди». «Большие люди» пишут ему, что у него внутри что-то есть. Пиня говорит, что он и сам чувствует, что в нем что-то есть. Я смотрю на него и думаю: «Господи боже мой! Что там у него внутри?»

4

Однажды Пиня пришел к нам и вызвал брата Элю, чтобы сообщить ему что-то по секрету. Раз секрет, — я непременно должен знать. Я люблю знать все секреты. Пошел за ними следом, стал прислушиваться. То говорит Пиня, то мой брат Эля. Передаю вам их разговор.

Пиня. Что мы тут высидим?

Эля. Я то же самое говорю.

Пиня. Вот я читал, что один поехал туда с голыми руками, полгода ночевал под открытым небом, улицы подметал за кусок хлеба...

Эля. Ну, а теперь?

Пиня. Дай бог нам обоим не хуже.

Эля. Seriously?

Пиня. Seriously, seriously! Что ж, я обманывать тебя стану? Я уже говорил об этом своей Тайбл.

Эля. Ну, и что же она?

Пиня. Что ей говорить? Она едет.

Эля. Едет? Ну, а тесть?

Пиня. Кто его слушать станет? Если я уеду один, ему лучше будет? Ведь он видит, что мне на месте не сидится, что не могу я тут оставаться!

Эля. А я, думаешь, могу здесь оставаться?

Пиня. Так давай вместе поднимемся и поедем.

Эля. Подняться и поехать? А с чем?

Пиня. Шифскарты ведь нам дают бесплатно, глупенький!

Эля. Что значит — бесплатно?

Пиня. На выплату. Когда-нибудь выплатим. А пока что мы получаем их бесплатно.

Эля. Ну, а до парохода? Расходы? А билеты? Железная дорога?

Пиня. Сколько нам нужно билетов, чудак?

Эля. А ну-ка, скажи сам сколько?

Пиня. Считай: я и моя Тайбл — два, ты и твоя Броха — два. Значит, четыре.



Эля. И мама... пять.

Пиня. Значит, пять.

Эля. А Мотл?

Пиня. С него хватит полбилета. А может быть, и того меньше... Скажем, что ему еще и трех лет нет...

Эля. Ты с ума сошел?..

* * *

Что мне делать? Больше не могу терпеть. От восторга издаю визг. Оба оборачиваются ко мне:

— Пошел, постреленок! Что за манера подслушивать, когда взрослые разговаривают?

Я убегаю, подпрыгиваю и хлопаю себя по бедрам. Шутка ли — я еду! Пароход!.. Поезд!.. Билет... Полбилета... Куда, собственно, мы едем? А мне какое дело?..

Не все ли равно куда? Я еду — этого достаточно! Знаете, что я вам скажу? Если подсчитать хорошенько, то я еще в жизни своей ни разу никуда не ездил. Я даже не знаю, что значит ехать. Однажды, правда, мне довелось испытать это удовольствие. Я проехался верхом на козе нашего соседа... Дорого мне это стоило! Помимо того что я упал и расквасил себе нос, я еще получил несколько затрещин. Так что я это и за поездку не считаю.

Весь день я сам не свой. Потерял аппетит. Ночью мне снится, что я еду. Даже не еду — лечу! У меня крылья как у голубя, и я лечу. Дай бог здоровья нашему другу Пине! Он стал мне в тысячу раз милее, чем раньше. Если бы не было стыдно, я бы его расцеловал. Что за чудесный человек Пиня! Ну, не говорил я вам, что ему приходят в голову замечательные мысли?

ХII. Мы едем в Америку!

1

Ура, мы едем в Америку! Где она, эта Америка? Не знаю. Знаю только, что это далеко, ужасно далеко! Туда нужно ехать и ехать до тех пор, пока не приедешь. А по приезде попадают в «Кестл-Гартл». Там, в этом «Кестл-Гартл», вас раздевают догола и осматривают глаза. Если глаза здоровы — хорошо. Если нет — извольте ехать обратно! У меня как будто глаза здоровые. Один только раз мне пришлось повозиться с глазами. Мальчишки из школы однажды сцапали меня, разложили и запорошили мне глаза табаком. Ох и колотил же их мой брат Эля! А сейчас у меня глаза ясные, как хрусталь. Вот с моей мамой, знаете, дело обстоит гораздо хуже. Так говорит мой брат Эля. Но кто виноват? Она по целым дням и ночам плачет. С тех пор как умер отец, она не переставая плачет.

— Ради бога! — толкует мой брат Эля. — Тебе нас, наверно, совсем не жалко! Ведь нам же из-за тебя придется, упаси бог, ехать обратно!

— Глупенький! — отвечает мать. — Разве это я плачу? Само по себе плачется помимо меня...

Мать вытирает передником глаза и принимается за постель, за подушки. Нужно все подушки пересыпать. В Америке нет подушек. Там все есть, кроме подушек. Как там люди спят, не понимаю. Ведь им, должно быть, очень жестко. Моя золовка Броха помогает маме пересыпать перья. А подушек у нас, слава тебе господи, порядочно. Три большие перины, шесть подушек больших, четыре маленьких. Их называют «думками». Из них мама делает одну подушку. Я маленькие подушки люблю больше всего. По утрам я иногда затеваю с ними игры, делаю из них треугольные пироги, шляпы...

— Приедем, бог даст, благополучно туда, и опять пересыплем их в маленькие.

Так говорит мама мне и моей золовке Брохе, намекая ей на то, что и она должна поступить так же. Броха делает так же, хотя поездка ее вообще не радует. Ей тяжело расставаться с родителями. Если бы кто-нибудь в прошлом году сказал ей, что она поедет в Америку, она бы, говорит, тому в глаза наплевала.

— Если бы мне в прошлом году сказали, что я останусь вдовой... — говорит моя мама и начинает плакать.

Увидев это, мой брат Эля поднимает крик:

— Опять плакать? Ты, видно, хочешь нас погубить?!

2

Тут еще нелегкая принесла нашу соседку Песю. Увидев нас за пересыпкой подушек, она остановилась и начала душу изливать, причитать над нами:

— Едете, стало быть, в Америку? Дай вам бог приехать благополучно и счастливо устроиться. Бывает, конечно, если богу угодно... Вот в прошлом году уехала одна моя родственница, ее зовут Ривл, со своим мужем Гиле. Пишет, что мучаются, но все-таки налаживают жизнь... И сколько ни просишь их, чтобы написали по-человечески: что, и как, и каким образом? А они отвечают: Америка — страна для всех. Каждый мучается и кое-как устраивает свою жизнь... Вот и пойми как хочешь... Хорошо еще, что вообще пишут. В первое время они совсем ничего не писали, будто забыли обо всех. Мы уже тут думали, что они, упаси бог, в море утонули. И только потом, когда миновало бог знает сколько времени, пришла весточка, что они уже, слава богу, в Америке,

Мучаются и «делают жизнь»... Что и говорить, очень стоит затевать всю эту кутерьму, ломать всю свою жизнь, пересыпать подушки, ехать по морю и все такое!..

— Скажите на милость, может быть, вы перестанете наконец донимать нас своими причитаниями? — налетает на нее мой брат Эля и тут же получает отповедь:

— Донимать? Смотри, пожалуйста, какой умник выискался! Он едет в Америку мучиться и «делать жизнь»! А давно ли я тебя на руках таскала, нянчилась с тобой, возилась? А ну-ка, спроси свою мамашу, сколько я натерпелась с косточкой, которую ты однажды проглотил в пятницу вечером, когда кушал рыбу! Если бы я тогда нехватила тебя сзади раза два-три, ты бы сейчас не ехал в Америку мучиться и «делать жизнь»...

Наша соседка Песя еще долго говорила бы. На счастье, вмешалась мама и стала ее упрашивать по-хорошему:

— Умоляю вас, Песинька, душенька, сердце, любочка, дай вам бог здоровья!..

Больше мама не в силах говорить и начинает плакать. Завидев слезы на глазах у мамы, мой брат Эля вскипает. Он бросает работу, выбегает из дому и хлопает дверьми:

— Провались все это сквозь землю!

3

В доме у нас уже пусто — разгром. Мамина комната набита узлами с подушками и перинами. Узлов этих навалено чуть ли не до потолка. Когда никого нет, я забираюсь на самый верх и соскальзываю вниз, как на салазках. Кажется, никогда еще мне не было так хорошо, как сейчас. Готовить перестали уже давно. Мой брат Эля приносит с базара сушеную рыбу, и мы едим ее с луком. Рыба с луком — что может быть вкуснее! Наш друг Пиня ест вместе с нами. Он вообще очень рассеянный человек. Голова его вечно чем-то занята... А с тех пор как мы стали собираться в Америку, он и вовсе голову потерял. Так говорит мама. Одна штанина у него задрана, чулок опущен. Галстук чуть ли не на спине. И каждый раз, когда входит к нам, он обязательно стучается лбом о перекладину. Мать твердит ему одно и то же:

— Ты же сам видишь, как тебя вытянуло. Значит, надо немного нагнуться.

— Он же близорукий! — оправдывает своего товарища мой брат Эля, и они оба отправляются, чтобы покончить с нашей половиной дома. Надо расписаться. Мы уже давно продали нашу половину. Купил ее портной Зиля. Но легко сказать — купил. Не так-то просто портной покупает дом! Нудный человек этот портной Зиля! Сначала он один приходил трижды в день осматривать нашу квартиру. Обнюхивал стены, ощупывал трубу, лазил на чердак, осматривал крышу. Затем он привел свою жену. Ее зовут Мени. Стоит мне только взглянуть на нее, как меня начинает смех разбирать. Теленка нашей соседки тоже звали Мени. Оба «Мени» на одно лицо. У теленка была белая морда с круглыми глазами, и у жены портного — тоже... Потом Зиля стал приводить знатоков — осматривать квартиру. Главным образом — портных. Каждый из них отыскивал в нашем доме какой-нибудь недостаток. Наконец решено было привести отца Пини, Герш-Лейба-механика. Герш-Лейб-механик — знаток по части домов. Он честный человек. На него можно положиться. Он осмотрел нашу половину дома со всех сторон. Потом он закинул голову, сдвинул шапку на затылок, почесал под бородой и сказал:

— Этот дом может простоять, без преувеличения, лет сто, если не больше!

— Конечно! — перебил один из приглашенных портных Зилей знатоков. — Стоит его только пересыпать кирпичом, подпереть парочкой крепких бревен, смастрячить четыре новые стены и присобачить железную крышу, — тогда он может стоять и стоять, с божьего соизволения, до самого пришествия мессии!

Если бы Герш-Лейба-механика выругали, помянув родителей, или, скажем, окатили кипятком, он и то, кажется, не мог бы сильнее вспылить. Он хотел знать только одно: как это у паршивого портняжки, у ворюги и прощелыги, хватает наглости разговаривать с ним, с Герш-Лейбом-механиком, в таком тоне, такими словами, на таком наречии и таким языком?!

Я зря порадовался: думал, вот-вот начнется потасовка. А тут вмешались люди (везде и всюду, откуда ни возьмись, вырастают «люди»!), их разняли, помирили и начали торговаться. Сошлись в цене, послали за бу-

тылкой водки и спрыснули сделку. На нас со всех сторон посыпались пожелания счастливого пути, благополучного прибытия, успеха в делах, больших заработков и счастливого возвращения...

— Полегче! Из Америки не так-то скоро возвращаются! — говорит мой брат Эля.

Завязался разговор об Америке. Герш-Лейб-механик даже не сомневался, что мы вернемся обратно: дай ему бог такой кусок золота... Если бы не призыв, говорит он, ни за что не позволил бы своему Пине ехать в Америку. Америка, говорит он, это — фи! Портной Зиля просит его извинить и спрашивает: чем же это Америка — «фи»? А тем, отвечает Герш-Лейб, что Америка — паскудная страна! Тогда Зиля снова просит не обижаться на него и объяснить: откуда Герш-Лейб, собственно, знает, что Америка — паскудная страна? Герш-Лейб отвечает, что до этого он дошел своим умом. Зиля просит объяснить это и ему. Тогда Герш-Лейб начинает мямлить и доказывать. Но слово со словом не клеится, потому что он уже слегка под мухой. Да и все уже навеселе. Все чувствуют себя прекрасно. Я тоже. И только мама поминутно прячет лицо в передник и вытирает слезы. Мой брат Эля смотрит на нее и говорит тихо:

— Разбойница! Не жалко тебе глаз! Ты губишь нас!..

4

Теперь началась новая история — прощание. Мы ходим из дома в дом прощаться. Перебывали уже у всех наших родственников, соседей, знакомых. У нашего свата устроили обед, созвали всю родню, подали пиво к столу. Меня усадили отдельно с сестренкой моей золовки. Ее зовут Алта. Я уже как-то рассказывал о ней. Она старше меня на год и носит две косички, заплетенные бубликом. Когда-то мне ее сватали. С тех пор всегда, когда мы вместе, нас называют «жених и невеста». Все же мы не стесняемся разговаривать друг с другом. Она спрашивает, буду ли я скучать по ней. Ну конечно, я буду скучать! Затем она спрашивает, буду ли я писать ей письма из Америки. Разумеется, буду!

— Как же ты будешь писать? Ведь ты не умеешь!

— Подумаешь, большое дело в Америке научиться писать? — говорю я, заложив руки в карманы.

Алта смотрит на меня и улыбается. Я знаю, почему она улыбается. Она крепится. Она завидует тому, что я еду, а она нет! Мне все завидуют. Даже сынишка богача Иоси, Генех-кривоглазый, и тот, если бы мог, утопил бы меня в ложке воды! Он останавливает меня и подмигивает своим кривым глазом:

— Слышь ты! Ты едешь в Америку?

— Да! Я еду в Америку.

— Что ты там будешь делать? Побираться?

Счастье его, что при этом не было моего брата Эли. Он бы показал ему, что значит «побираться»! Но я не хочу затевать историй с таким лоботрясом. Я только показываю ему язык и удираю к соседке Песе — попрощаться с ее оравой. Орава порядочная — я уже однажды рассказывал о ней. Восемь душ — один к одному. Все меня окружают, спрашивают, доволен ли я, что еду в Америку. Тоже вопрос! Все они, конечно, здорово завидуют мне. Но больше всех завидует мне Гершл, тот, которого прозвали Вашти за то, что у него желвак на лбу. Он с меня глаз не сводит. Вздыхает и говорит: «Ох, и повидашь же ты белый свет!»

Да! Повидаю! Но как дожидаться этого!..

5

Подкатил уже Лейзер со своими «орлами». Тройка огненных коней! На месте не стоят. То переминаются с ноги на ногу, топают, то фыркают и брызгают слюной прямо мне в лицо. Не знаю, что делать раньше: то ли на лошадей смотреть, то ли помогать узлы таскать. Впрочем, я могу делать и то и другое: я стою возле лошадей и смотрю, как таскают узлы и подушки. Полон воз узлов и подушек. Целая гора подушек и перин. Пора уже усаживаться и ехать. Нам предстоит ехать сорок пять верст до железной дороги. Все уже на месте. Я, мой брат Эля, моя золовка Броха, наш друг Пиня, его жена Тайбл, вся их родня: отец Пини — Герш-Лейб-механик, часовщик Шнеер, тещь и теща Пини, мельник с мельничихой, дочь тети Крейны с птичьей физиономией. Даже старый дедушка, реб Геся, и тот пришел, чтобы сказать напустивное слово своему внуку Пине, как он должен вести себя в Америке. Из нашей родни был только пекарь Иойна со своими сыновьями. Жаль,

что я до сих пор не познакомил вас с ними. Сейчас уже не время: уезжаем в Америку. Все суетятся, смотрят на нас, советуют нам остерегаться воров.

— В Америке нет никаких воров! — говорит мой брат Эля и щупает карман, который мать пришила ему в таком месте, что ни одному вору во всем мире и в голову не могло бы прийти, что там может быть карман. Там лежат все деньги, которые мы получили за нашу половину дома. Видно, там порядочная сумма, потому что все спрашивают, хорошо ли припрятаны деньги.

— Хорошо! Хорошо! Не беспокойтесь! — говорит мой брат Эля.

Ему уже попросту надоело перед каждым отчитываться в этих деньгах. Все говорят, что пора прощаться. Приготовились. Хватъ — нет мамы! Где мама? Никто не знает. Мой брат Эля вне себя. Наш друг Пиня уже окончательно потерял свой галстук. Лейзер торопит. Он говорит, что мы можем опоздать к поезду.

Тише! Вон идет мама. Лицо у нее красное. Глаза распухли. Мой брат Эля обрушивается на нее:

— Что с тобой? Где ты была?

— На кладбище. С папой прощалась...

Брат отворачивается. Все останавливаются в безмолвии. С тех пор как мы собираемся в Америку, я впервые вспомнил об отце. Щемит сердце. Я думаю: «Все уезжают в Америку, а папа, бедный, остается здесь, на кладбище, один-одинешенек...»

Но долго раздумывать мне не дают. На меня прикрикивают, велят лезть в телегу. Но как я могу взобраться на такую гору подушек и перин? Есть, правда, выход: Лейзер подставляет мне свои широкие плечи. Внезапно начинается целование, плач, рыдание. Хуже, чем в тишебов*. Больше всех плачет мама. Она бросается на шею к нашей соседке Песе и говорит: «Вы были мне сестрой, даже лучше сестры!..» Песя плачет навзрыд, только ее полный подбородок трясется, а по жирным лоснящимся щекам катятся крупные, как горошины, слезы. Все уже расцеловались, кроме Пини. Смотреть, как Пиня целуется, — не надо никакого театра. По близорукости он никак не может попасть, куда следует. Либо целует в бороду, либо в кончик носа, либо стучается лбом в лоб. К тому же у него манера, когда он ходит, цепляться за собственные ноги. Уверяю вас, что от Пини можно умереть со смеху.



Слава тебе господи — все уже в телеге. Вернее сказать, на телеге. На самом верху на подушках и среди подушек сидят мама, Броха и Тайбл. По другую сторону — мой брат Эля и наш товарищ Пиня. Я с Лейзером — на облучке. Мама, правда, хочет, чтобы я сидел возле нее, но мой брат Эля говорит, что на облучке мне будет лучше. Конечно, лучше! На облучке я вижу перед собою весь мир и весь мир видит меня! Лейзер берется за свой кнут. Прощание продолжается. Женщины плачут.

— Будьте здоровы!

— Счастливого пути!

— Пишите о своем здоровье!

— Будьте счастливы!

— Не забывайте нас!

— Пишите каждую неделю! Ради бога — каждую неделю!

— Кланяйтесь Мойше, и Басе, и Мееру, и Злате, и Хане-Перл, и Соре-Рохл с детьми!..

— Сердечно! Будьте здоровы! Будьте здоровы!

Так кричим мы все и — я готов поклясться, что мы уже едем!

Лейзер хорошенько вытянул кнутом своих «орлов». Одного угостил сверх того кнутовищем. Колеса катятся.

Мы качаемся и подпрыгиваем. Я подскакиваю на облучке и чуть не скатываюсь вниз от радости.

Щекочет в горле. Петь хочется. Едем, едем, едем в Америку!

ХIII. Мы нарушаем границу

1

Ехать по железной дороге — сплошное удовольствие! Лошадьми тоже неплохо, но трясет так, что потом бока болят нестерпимо. Кони Лейзера хоть и летят, как орлы, однако мы порядком тащились, покуда прибыли на станцию. А когда прибыли, не могли вылезть. Мне было легче всех. Ведь я с Лейзером сидел на облучке. Правда, было жестко, все кости ныли, но зато спрыгнуть можно было за одну минуту. А вот они прыгать уже не могли. Вы знаете кто: мой брат Эля, моя золовка Броха, наш друг Пиня со своей женой Тайбл и моя мама. Хуже всех пришлось женщинам. Они где сидели, там и застряли! Пришлось сначала сбросить все узлы и всю постель и лишь потом вытаскивать наших женщин поодиночке. Все это сделал Лейзер. Он хотя и сердитый и прокликает всех и вся на чем свет стоит, но человек порядочный и извозчик честный. Жаль, что он оставил нас с узлами на станции, а сам пошел искать обратных пассажиров. Без него мы остались одни, словно среди моря. Во-первых, нам причинил немало огорчений служитель на станции. Он цеплялся к нам за то, что у нас много узлов, и не столько из-за узлов, сколько из-за постели. Дело ему большое, что мы возем много подушек! Мама пыталась говорить с ним по-хорошему, объяснила, что мы едем в Америку. А он расвирепел и послал нас в такое место, что даже стыдно сказать.

— Надо с ним поладить, дать ему сколько-нибудь... — говорит мой брат Эля нашему другу Пине.

Пиня — наш командир, голова. Он хорошо говорит по-русски. Беда только, что он уж чересчур горяч. Мой брат Эля тоже порядочная заноза, но он не так горячится, как Пиня. Тот немедленно вспыхивает и начинает ругаться. Он подошел к служителю и заговорил с ним по-русски. Передаю вам слово в слово его русскую речь:

— Слухай-но, чоловіку! Черт тобі не взяв, як ми поехали в Америку с множественное число подушки и подушечки, которые мы тобі дал на водку, и молчи, свинья!

Служитель, конечно, не остался в долгу. Он обозвал его по-всячески: «жид-халамейз», «собачья морда», «свиное ухо», «поганая вера»...

Мы боялись скандала, полиции. Мама уже заламывала руки, плакала и говорила Пине:

— Кто тебя просил язык распускать, хвастать своим умением?

— Не пугайтесь! Возьмет полтинник и помирится.

И действительно. Помирились. Пиня не переставал сыпать по-русски. А служитель, не переставая ругаться, перетаскал все узлы и все подушки в большое помещение с высокими окнами, которое называется «вокзал». Но тут история только еще начинается. В чем дело? Служитель говорит, что нас не пустят в вагон с таким количеством подушек и тряпья (это он, видно, имеет в виду одеяла: немножко порвана подкладка, вата торчит, — а для него это уже тряпье!). Решено пойти к начальнику. Кому идти? Конечно, Пине! И вот Пиня вместе со служителем отправляется к начальнику. Я иду следом за ними. С начальником Пиня объясняется совсем по-другому: он уже не так сердится, что-то говорит и размахивает руками. Произносит какие-то странные слова, которых я никогда не слышал: «Колумбус»*, «Цивилизация», «Александр фон Гумбольдт»*, «Математика». Остальные слова я уже забыл. Начальник его слушал, поглядывал и молчал. Пиня, видно, здорово ему задал! Однако не помогло и это. Пришлось всю постель сдать в багаж и получить квитанцию. Мама была вне себя: на чем же мы будем спать?

2

Мама зря беспокоилась: на чем мы будем спать? Какой там сон! Было хотя бы где сидеть. Как назло, в вагоне до того тесно, что задохнуться можно. Кроме нас, едет множество пассажиров — евреев и русских, — и все дерутся за скамейки. Из-за нашей постели мы опоздали, все лучшие места были уже заняты. Кое-как поместили наших женщин с узлами на полу. Маму — в одном конце вагона, Броху и Тайбл — в другом. Когда они хотят поговорить, им приходится кричать на весь

вагон. А пассажиры смеются над ними. Мой брат Эля и наш друг Пиня точно повисли в воздухе — ни туда, ни сюда. Пиня слепой, он поминутно стучается обо что-нибудь лбом. А я? Обо мне не беспокойтесь. Мне хорошо. Замечательно! Правда, жмут меня со всех сторон, но зато я стою у окна. И то, что я вижу, вы, конечно, никогда не видали. У меня перед глазами пробегают дома, версты, деревья, люди, поля, леса — описать это невозможно! А как мчится поезд! Как стучат колеса! Как тарыхтит! Как свистит! Как визжит! Мама боится, чтоб я не выпал в окно, она поминутно кричит мне: «Мотл! Мотл!..» А какой-то барин в синих очках ее передразнивает и повторяет следом за ней: «Мотл! Мотл!»

Пассажиры смеются. Евреи притворяются, будто ничего не слышат. А мама и вовсе не обращает на них внимания и не переставая кричит: «Мотл! Мотл!» Что такое? Она хочет, чтобы я закусил. У нас с собою много всякого добра: редька, лук, чеснок, зеленые огурчики и крутые яйца — на каждого по одному яйцу. Давно уже еда не доставляла мне такого удовольствия. Правда, помешал нашей трапезе сам Пиня. Он решил заступиться за евреев. Ему досадно, что пассажиры смеются над тем, что мы едим лук и чеснок. Он вытягивается во весь рост и обращается к тому барину, что в синих очках, на своем «русском» языке:

— А как вы кушаете, свинья?

Это, как видно, задело наших попутчиков. Один из них как встанет да как закатит нашему Пине оплеуху, — даже зазвенело! Пиня не из тех, что остаются в долгу. Он хотел дать две оплеухи сдачи. Но сослепу попал в другого... Хорошо, что в эту минуту вошел кондуктор с обер-кондуктором. Шум, суматоха... Все говорят, евреи жалуются на русских. Одному отдавили палец на ноге чемоданом, у другого сорвали шапку и выкинули за окошко. Русские кричат: «Вранье! Клевета!» А евреи ссылаются на свидетелей. Один из этих свидетелей — священник. Священник врать не станет. Пассажиры говорят, что евреи подкупили священника. Тот произносит длинную проповедь. Пока суд да дело, промелькнуло несколько станций. На каждой станции из вагона уходят пассажиры. С каждым разом становится свободнее. Наши женщины сидят уже, как барыни, на скамьях, со своими узлами. Мой брат Эля и наш друг Пиня ожили: у них лучшие места. Но только сейчас замечает Тайбл, что у ее мужа вздулась щека, что на ней видны следы

пальцев. Тайбл вне себя от огорчения, ей жаль мужа. А Пиня клянется, что ничего не чувствует. Только щеку саднит. Пройдет! Он не любит говорить о таких вещах. Он заводит беседу с оставшимися пассажирами, спрашивает, куда они едут. Оказывается, многие из них едут в Америку. Нас это очень радует.

— Помилуйте, чего же вы до сих пор молчали? Ведь мы тоже в Америку едем!

Это говорит Пиня, и мы со всеми знакомимся, узнаем, кто, откуда и к кому едет.

— Вы — в Нью-Йорк, а мы — в Филадельфию!

— А что это за Филадельфия?

— Тоже город, как и Нью-Йорк.

— Ну, положим! Филадельфия в сравнении с Нью-Йорком то же, что Эйшишки против Вильно, Деражня против Одессы, Отвоцк против Варшавы, Семеновка против Петербурга, Козелец против Харькова...

— Эге, да вы, видать, весь свет объездили...

— Иметь бы мне столько!.. Хотите, я назову вам все города, в которых побывал...

— Оставим это до другого раза. Скажите-ка лучше, как мне быть с границей?

— Будете делать то же, что и мы, что и все делают...

Попутчики усаживаются друг к другу поближе, и начинается разговор о «нарушении границы». Я никак не пойму, что значит «нарушить границу». Спросить некого. Мама — женщина. А что может знать женщина? Мой брат Эля не любит, когда ему морочат голову. Мальчик, вроде меня, говорит он, не должен вмешиваться в дела взрослых. Пиня занят. Он разговаривает. Все говорят, что лучше всего нарушать границу в Новоселице. А другой уверяет, что самое надежное — это Броды. Но тут вмешивается третий и заявляет, что Унгены — тоже неплохо. Его поднимают на смех: «Унгены — тоже мне граница! Румыния — тоже страна! Нехай их черт возьмет с такой страной и с такой границей!..»

Тише! Мы уже на границе!

3

«Граница!» Я думал — она с рогами. Оказывается, ничего особенного: те же дома, те же люди, что и у нас. Даже рынок с лавками и рундуками — все, как у нас. Моя золовка Броха и жена нашего друга Пини — Тайбл

пошли на рынок за покупками. Я хотел пойти с ними, но мама не отпускает меня от себя ни на минуту: боится, как бы меня не украли у самой границы. Брата Эли и Пини нет. Они ходят с какими-то чужими людьми, которых я не знаю. Мама говорит, что это — агенты. Агенты будут с нами нарушать границу. Один из них выглядит настоящим жуликом: зеленый кафтан, белый зонтик, вороватые глаза. Второй, видно, порядочный человек — в шляпе. И еще какая-то женщина толчется тут же. Женщина, видать, очень набожная и честная. Она носит парик* и все время разговаривает с богом. Она спрашивает у мамы: где она будет молиться над зажженными свечами, если мы здесь проведем субботу? Мама отвечает, что на субботу мы здесь не останемся. В субботу, говорит она, мы уже, с божьей помощью, будем по ту сторону. Женщина делает смиренное лицо и произносит: «Амины! Дай-то бог!» Однако она боится, что нас за нос водят. Агенты, с которыми мы сговариваемся, просто воры. Они выманят у нас деньги, говорит она, и заведут невесту куда. Если мы хотим тайком перейти границу, то это надо сделать при ее помощи — тогда все обойдется прекрасно и благополучно!.. Вот как? Стало быть, и она занимается тем же? Зачем же она носит парик и разговаривает с богом?

Но вот вернулись мой брат Эля и наш друг Пиня. Оба очень расстроены. Видно, поссорились. Один упрекает другого в том, что по его милости нам придется оставаться здесь на субботу. Но это бы еще с полгоря, — мы узнаем, что оба агента хвастают, что донесут на нас, как на нарушителей границы. Покуда что — мама уже плачет. Мой брат Эля сердится на нее за то, что она губит свои глаза. Из-за ее глаз, говорит он, нас всех в Америку не пустят! Эля и Пиня больше не разговаривают с агентами. Они заявляют: «Кончено! Не поедем в Америку и не будем нарушать границу!» У меня сердце обрывается. Я думаю, что это всерьез. Но оказывается, что это только для отвода глаз Пиня придумал! Нарочно так говорят, чтобы отвязаться от агентов. Мы начали сговариваться с женщиной, что в парике. Она взяла задаток и сказала, чтобы мы были готовы сегодня к полуночи. Ночи сейчас темные. Конец месяца. Самое лучшее время нарушать границу. Хотел бы я дожидаться, увидеть наконец, что это такое — «граница» и как это мы будем ее «нарушать».

Весь день возились с вещами. Надо было все упаковать и сдать этой женщине. Вещи она переправит потом. Главное для нее, говорит она, — это души живые, люди! И наказывает, как нам вести себя. Когда настанет полночь, мы должны выйти за город. Там, говорит она, есть холм. Холм этот надо миновать, свернуть влево и идти, идти, пока не дойдем до второго холма. От этого холма надо повернуть направо и идти вперед и вперед, до кабака. В кабак должен войти один из нас, не все. Там, говорит, мы найдем двух мужиков, пьющих за столом водку. К ним надо подойти и сказать: «Хаимова», — этого достаточно. Как только они услышат слово «Хаимова» (это ее имя), то встанут и пойдут с нами до роши. В роше нас будут ждать еще четверо мужиков. Лесом, говорит она, мы должны идти молча, без звука, чтобы, упаси бог, не услышали и не выстрелили. Там, говорит она, на каждом шагу стоит солдат с ружьем и стреляет... Из роши мужики выведут нас на дорогу, под гору, и тогда мы уже на другой стороне...

Мне вся эта история с холмами, кабаком и рошей очень по душе. Мама побаивается. Броха и Тайбл тоже. Мы подтруниваем над ними. Известное дело — женщины даже кошки боятся!..

Еле дождалась ночи. Помолились, поужинали, пождали, пока совсем стемнеет. Ровно в двенадцать часов мы все, шестером, отправились в путь. Впереди шли мы, мужчины. За нами, как полагается, женщины. Все было так, как предсказала та женщина. За городом мы увидели холм, свернули от него налево и шли, шли, пока не увидели второй холм. От этого холма мы, как нам было сказано, пошли направо и добрались до кабака. В кабак вошел один из нас. Кто? Разумеется, Пиня. И вот ждем полчаса, час, два — нету Пини! Женщины говорят, — надо зайти посмотреть, куда девался Пиня. Кому идти? Моему брату Эле. Но мама не хочет.

— А вот я пойду! — заявляю я.

Но мама говорит, что она боится.

— Погодите-ка! Вот и Пиня.

— Где ты был так долго?

- В кабаке.
- Где мужики?
- Спят.
- Что ж ты их не разбудил?
- Откуда вы знаете, что я их не будил?
- Почему ты им не сказал «Хаимова»?
- Откуда вы знаете, что я не сказал?
- Ну?
- Ну и ну!
- Так ведь очень скверно!
- А кто говорит, что хорошо?..

5

Мой брат Эля — умница! Он советует пойти в кабак вдвоем и еще раз попытаться разбудить мужиков. И действительно, не прошло и получаса, глядим, идут с обоими мужиками. Те еще заспаны, под хмельком, отплевываются и ругаются страшно. Слово «черт» повторяется чуть ли не сто раз. Наши женщины, кажется мне, начинают трусить. Я это чувствую по вздохам, по стонам, по «господу богу», которого мама каждую минуту поминает потихоньку. Громко она боится. Мы не проносим ни звука. Идем, идем, но других, четверых мужиков не видим. Где же они?

Вдруг наши два мужика останавливаются и велят нам сказать, сколько у нас денег. Нас такой страх обуял, что мы ни слова вымолвить не можем. Тогда выступает мама и говорит, что денег у нас нет. «Врешь! — отвечают они. — У всех евреев деньги есть!» При этом они достают два длинных ножа, подносят их нам к лицу и говорят: «Не отдадите все, что у вас есть, зарежем!»

Все стоят молча и дрожат, как овечки. И тут мама говорит моему брату Эле, чтобы он развязал карман и отдал деньги (это то, что мы получили за нашу половину дома). Но в эту минуту моей золовке Брохе вздумалось упасть в обморок. Увидав, что Броха упала, мама подняла крик, а глядя на нее, закричала и Тайбл...

И вдруг — трах-тарарах!! Выстрел! Эхо разнеслось по всей роще. Мужики наши словно сквозь землю

провалились. Бреха очнулась. Мама одной рукой охватила меня, другой — моего брата Элю.

— Дети! Бежим! С нами бог!

Не знаю, откуда у нее взялись силы столько времени бежать? Мы поминутно цепляемся за деревья, падаем, встаем и бежим дальше. И каждый раз мама оборачивается и спрашивает тихо:

— Пиня, бежишь? Бреха, бежишь? Тайбл, бежишь? Бегите, бегите! С нами бог!

Сколько времени мы так бежали, не могу вам сказать. Рошу мы давно уже миновали. Светать начинает. Дует прохладный ветерок. Но нам страшно жарко! И вот видим перед собой улицу, другую, белую церковь, огороды, дворы, домишки. Видно, это местечко, о котором нам пророчила та женщина. Но в таком случае мы уже «по ту сторону»! Встречаем еврея с такими пейсами, каких я в жизни не видывал. Кафтан на нем длинный, рваный, на шее зеленый шарф. Он ведет козу. Останавливаем его и здороваемся. Он оглядывает нас с головы до ног. Пиня затевает с ним разговор. Еврей с козой говорит как-то странно: как будто по-нашему, но только акает. Пиня спрашивает, далеко ли до границы. Тот смотрит на него с удивлением:

— До какой границы?

Интересная история! Оказывается, что мы уже давно на той стороне, далеко от границы.

— Чего же мы в таком случае бежим как сумасшедшие?

И всех нас одолевает смех. Женщины чуть не падают от хохота. И только мама поднимает руки кверху:

— Благодарю тебя, господи!

И раздражается плачем.

XIV. Мы уже в Бродах

1

Знаете, куда нас занесло? Аж в Броды! Я полагаю, что мы уже недалеко от Америки. Красивый город Броды! И улицы и люди здесь совсем не такие, как у нас. Даже евреи здесь какие-то другие. То есть вообще-то

они такие же самые, даже больше того, пейсы у них длиннее, чем у наших, кафтаны чуть что по земле не волочатся, носят какие-то странные шапочки, пояса, ботинки и чулки, а женщины — парики. Но язык у них! Что за язык! Это называется «немецкий». Совсем не то, что у нас. То есть слова такие же, как и у нас, но все на «а». Например: мы говорим «вос», а они — «вас»¹, мы говорим «дос», а они — «дас»², у нас — «Меер», у них — «Маер». А говорят! Поют, будто все время Пятикнижие читают. Однако мы тут же уловили эту манеру. Первым был наш друг Пиня. Он стал говорить по-немецки чуть ли не с первого дня по приезде. Ему это было легче, потому что немецкий язык он учил еще дома. Мой брат Эля говорит, что он хоть и не изучал немецкого, однако понимает не хуже Пини. Я прислушиваюсь к немецкому говору и тоже учусь. В чужой стране надо знать язык. Так уверяет Пиня. Его жена Тайбл уже разговаривает наполовину по-немецки, наполовину по-еврейски. Моя золовка Броха тоже не прочь была бы говорить по-немецки, но не может, бедная. Голова у нее непонятливая! А вот мама и слышать не хочет о немецком языке. Она заявляет, что будет говорить так, как говорила дома. Ломать язык из-за немцев она не обязана. Мама вообще на них сердита. Она думала, что немцы — честные люди. А они, оказывается, не ахти какие праведники. Намедни она была на рынке, а там ее обвели: она просила свесить фунт, а ей дали бог знает сколько...

Так рассказывает мама и приходит к заключению, что и среди немцев, видно, встречаются воры. Услыхала это моя золовка Броха, загорелась и стала размахивать руками:

— Встречаются, говорите вы? Вор на воре! Один другого чище! Их остерегаться надо, — здесь еще хуже, чем у нас! У нас, по крайней мере, знаешь, кто вор...

— У нас, глупенькая, тот, кто крадет, сам знает, что он вор.

И мама рассказывает о Химке. Была у нас когда-то такая работница, Химка. Отец, царство ему небесное, был еще жив в ту пору. Химка была очень славная

¹ Что (нем.).

² Это (нем.).

девушка, только немножко на руку не чиста. И вот, когда все уходили из дому, она, бывало, не хотела оставаться одна. Самой себя боялась, как бы она чего-нибудь не утащила...

2

У немцев все по-иному. Даже деньги у них не как у нас. Тут и не знают, что такое копейка, гривенник, дву-гривенный. Тут знают только крейцеры. Здесь все продается на крейцеры. За наш рубль дают целую груду этих крейцеров. Мама находит, что это не деньги — пуговицы. Мой брат Эля говорит, что они расползаются между пальцев, тают, как снег. Каждый день он забирается в уголок, вспарывает карман, достает рубль и опять зашивает. Назавтра снова вспарывает карман, достает рубль и зашивает. И так каждый день. Между тем дни уходят, а наших узлов и постели все еще нет. Женщина, которая помогла нам перебраться через границу, видно, здорово околпачила нас. Мало того что на нас в лесу напали ее же люди, мы еще, пожалуй, и без вещей останемся. Мама не переставая ломает руки и оплакивает наши вещи. «Постель! Подушки! Как мы двинемся в Америку без постели, без подушек?..» Пиня каждый раз придумывает новый план. Он подает «заявление» железной дороге, обратится с «прошением» к начальнику границы... Он проберется туда, к той женщине, и устроит ей скандал. Он спросит у нее: «Как это понимать?!» Однако все это ерунда! Не помогут ни «заявления», ни «прошения». Пробраться обратно ему Тайбл не позволит, хоть дай ей мешок золота. Она так и заявила. Ей еще памятен наш переход через границу. Мы все его хорошо помним и рассказываем всякому и каждому, как та женщина дала нам своих людей, чтобы переправить нас, как они нас водили, завели в лес и хотели зарезать. Счастье, что у моей золовки Брохи манера падать в обморок и что мама подняла крик. Услыхали солдаты и начали стрелять. Тогда мужики разбежались, и мы спаслись. Так рассказывает мама. Мой брат Эля рассказывает ту же историю, но немного иначе. Его перебивает Броха и рассказывает опять-таки то же самое, но по-другому. Тогда ее перебивает Тайбл и говорит, что Броха не может помнить всего, потому что она упала в обморок. И Тайбл начинает рассказы-

вать сызнава, но тут вмешивается Пиня и говорит, что она ничего не знает. Вот сейчас он расскажет все с самого начала и до конца. Каждый день и каждому в отдельности мы рассказываем нашу историю. Люди слушают, покачивают головами, причмокивают и говорят, что мы счастливы, что мы должны благодарить судьбу!

3

По эту сторону границы нам хорошо, лучше, чем дома. Мы ничего не делаем, палец о палец не ударяем. Либо сидим в гостинице, либо ходим гулять, осматривать Броды. Красивый город! Не знаю, что против него имеет моя золовка Броха. Каждый день она отыскивает новый недостаток. То ей не нравится, что грязно. То, говорит она, воняет хуже, чем у нас. Однажды ночью она проснулась с криком: на нее напали! Мы все соскочили с кроватей.

— Кто на тебя напал? Разбойники?

— Какие там разбойники! Клобы!..

Утром рассказываем хозяину гостиницы, а тот даже не знает, с чем это едят. Пиня объясняет ему по-немецки. Но хозяин говорит, что у них даже не знают, что это такое. У них, в немецкой стране, этого нет. Это мы, говорит он, верно, привезли с собою из дому... Ох и сердилась же на него Броха! Она, говорит, терпеть не может этого человека! Я не знаю за что. Он, кажется, очень порядочный. При разговоре он держит рот немного на сторону и улыбается. Кроме того, он любит давать советы: куда пойти, у кого покупать, у кого — нет. А когда мы отправляемся покупать что-нибудь, он идет с нами. Покупаем мы главным образом платье. Начали понемногу одеваться. Наш друг Пиня говорит, что неприлично ходить оборванцами. В чужом городе, говорит он, надо выглядеть по-человечески. Особенно за границей, где все чуть ли не даром. Ведь это же всему миру известно! Прежде всего он купил себе шляпу, какую носят немцы, короткий — по колено — пиджак и новый галстук. Видеть Пиню в немецком платье — мочи нет! Долговязый, тощий, близорукий, ходит вприпрыжку. А какой вид у нас! Мама говорит, что Пиня выглядит как цыган или как шарманщик. А Пиня говорит: он не знает, что лучше — цыган, шарманщик или оборванец? Это он на нас наме-

кает. Мой брат Эля говорит, что если бы он захотел, он тоже мог бы вырядиться немцем. Невелик фокус — потратить деньги, расгранжировать рубли. А рубли надо приберечь для Америки... Но Пиня отвечает, что в Америке деньги не нужны. Там, говорит он, мы сами — деньги! Он так долго уговаривает нас, что мой брат Эля покупает себе шляпу и пиджак, и мне тоже — шапочку и куртку. И вот мы втроем ходим по улицам и говорим по-немецки. Я уверен, что все принимают нас за немцев. Беда только, что следом за нами ходят женщины, то есть мама, золовка Броха и Тайбл. Они ни на шаг не отстают от нас. Мама боится, как бы я не затерялся среди немцев, не заблудился, а Броха и Тайбл просто тащатся за мужьями, как телята. Чего они боятся, я не знаю. А так как мы все время бродим вшестером, на нас глядят во все глаза. Экую невидаль нашли!

— Самые глупые люди на свете — это немцы! — говорит мой брат Эля. — Что ни скажешь, всему верят на слово.

— Только денег никому не доверяют. Деньги для них дороже всего. Душу за крейцер отдадут. За крону отца продадут, а за гульден — самого бога!

Так говорит Броха, а Тайбл ее поддерживает. Все три женщины, как я уже говорил вам, что-то недовольны немцами. Не знаю почему. А мне они нравятся. Если бы не Америка, я остался бы здесь навсегда. Где еще такие дома, как здесь? А люди! Такие добрые люди! Все продают! Даже коровы здесь не такие, как у нас; может быть, они и не умнее наших, но вид у них солиднее. Тут все выглядит по-иному. А поговорите с женщинами, они скажут, что у нас лучше. Ничего им здесь не нравится, даже гостиница. И не столько гостиница, сколько хозяйва. Они шкуру дерут, говорит Броха. За стакан кипятку деньги требуют, щепотки соли даром не дадут. Если мы вовремя не уедем отсюда, нам придется по миру ходить.

Так говорит моя золовка Броха. Но мало ли что она может сказать? Вот она о моем брате Эле говорит, что он — баба! А о нашем друге Пине и вовсе бог знает что говорит. Другая на месте Тайбл показала бы ей где раки зимуют, но Тайбл, как уверяет мама, человек без желчи. Она не перечит. Да и никто не перечит. Я тоже. Меня Броха не выносит. Называет меня «Поскребыш» или «Мотл-мордастый». Она говорит, что за время нашей поездки я отъел себе пару здоровенных

шек. Меня это ничуть не трогает. Но мама не может вытерпеть, — зачем она говорит о моих щеках? Мама начинает плакать. А мой брат Эля не любит, когда мама плачет. Он говорит, что она портит себе глаза, а с больными глазами не пускают в Америку.

4

Могу сообщить вам новость. Мы уже имеем весточку о наших вещах. Женщину, которая переправляла нас через границу, посадили в тюрьму. Пиня очень доволен. Он говорит, что поделом ей. «Позволь, а мои вещи?» — спрашивает мама. «А мои?» — спрашивает, в свою очередь, Пиня. Теперь мы уже знаем наверное, что наши вещи пропали. Что же делать? Надо ехать дальше. Другого выхода нет. Мой брат Эля совсем голову потерял. Мама его успокаивает:

— А что бы мы стали делать, глупенький, если бы у нас отобрали деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, да еще бы зарезали?

Наш друг Пиня считает, что мама права. Еврей, по его мнению, должен всегда твердить: «Все к лучшему!» Бреха язвит: недаром она своего мужа прозвала «бабой».

В общем, мы собираемся в путь. Расспрашиваем, как ехать в Америку. Люди выслушивают и дают советы, — каждый по-своему. Один говорит — через Париж. Другой — через Лондон. Третий утверждает, что через Антверпен ближе. Нам так закрутили голову, что мы уже и сами не знаем, как быть.

Парижа мама побаивается: там, говорят, чересчур шумно. Антверпен не нравится Брехе. Странное какое-то название, — она такого и не слыхивала. Остается, таким образом, Лондон. Пиня говорит, что Лондон лучше всего. Он много раз читал в географии (это книга такая), что Лондон город хоть куда. Кроме того, это родина Мойше Монтефиоре*, да и Ротшильд, говорит он, тоже из Лондона.

— Ротшильд — ведь он из Парижа! — отвечает мой брат Эля.

Но уж это всегда так: что бы один ни говорил, другой скажет наоборот. Стоит одному сказать — день, другой скажет — ночь. Они, правда, не ссорятся, но спорят.

И могут спорить часами, пока их не разнимут. Недавно заспорили они из-за немецкого слова «хрен». Один утверждал, что «хрен» по-немецки — «хран», второй настаивал на том, что «хрен» по-немецки будет «хрон». Часа два подряд ругались и, наконец, решили купить корешок хрена и показать его хозяину гостиницы. Принесли хрен и обратились к нему:

— Господин немец! У нас к вам просьба. Но только скажите нам всю правду. Как на вашем языке называется вот этот фрукт: «хран» или «хрон»?

А хозяин и говорит:

— На нашем немецком языке этот фрукт называется не «хран» и не «хрон», а «меритих».

Сумасшествие! Ведь это же придумать надо... Немец — он вообще перекошник порядочный. Сказанет иной раз словечко, — только послушать! Недаром говорят — немчура!

5

Извините меня, разговорился о глупых немцах и об их сумасшедшем языке и совсем забыл о том, что мы едем в Америку. То есть не прямо в Америку, — пока только в Лондон. И не прямо в Лондон, а во Львов. Там, во Львове, есть, говорят, комитет для эмигрантов. Авось он чем-нибудь нам поможет. Чем мы хуже других эмигрантов? Тем более что мы потерпели такой убыток — потеряли все наши узлы и постель. Мама уже готовится поговорить и поплакать перед комитетчиками. Мой брат Эля спрашивает ее:

— Только не плакать! Надо помнить о глазах. Без глаз Америка не впускает...

Так говорит мой брат Эля и идет расплачиваться с хозяином. Спустя несколько минут он возвращается бледный как смерть. В чем дело? Хозяин, говорит он, представил такой счет, что у него в глазах потемнело. За все надо платить. За подсвечники, которыми мы пользовались в субботу, он считает — за шесть подсвечников — шесть крейцеров. За молитву — четыре крейцера. Что за молитва? Оказывается, он, хозяин, читал в субботу вечером молитву, а мы слушали, — значит, с нас причитается четыре крейцера.

— Почему четыре? — спрашиваем мы.

— Хотите пять? Можно и пять! — отвечает он.

Затем он записывает в счет нечто такое, что называется «комиссион». Это что еще за напасть? А это, говорит он, ему причитается за то, что он ходил с нами покупать одежду.

Услышав это, моя золовка Броха всплеснула руками:

— Ну, свекровь, что я вам говорила? Разве эти немцы не хуже ночных разбойников в лесу? Разве наши хулиганы не праведники в сравнении с ними? В Бродах мы, по-вашему? Мы — в Содоме!!!

Сравнение с хулиганами не так задело хозяина, как сравнение Бродов с Содомом. Он загорелся! Сказал, что погромы нам устраивают за дело. Он находит, что этого еще мало. Будь он русский «кайзер», он приказал бы вырезать нас — всех до единого!..

Я, кажется, говорил уже вам, что наш друг Пиня — человек горячий. Пока его не задевают, он может молчать и молчать. Но уж если кто обмолвится не угодным ему словом, тому несдобровать! Пиня вскочил, вытянулся во весь свой рост, подошел вплотную к хозяину и прокричал ему прямо в лицо:

— Немчура проклятая! Черт бы твоего батьку взял!

Правда, это дорого стоило нашему Пине. За «немчуру» хозяин отвесил ему пару таких пощечин, что искры посыпались. Но все это было здорово интересно. Все Броды сбежались поглазеть. В общем, было весело. Я люблю, когда весело.

В тот же день мы удрали во Львов.

XV. «Краков и Львов»

1

Львов, видите ли, это уже совсем не то, что Броды. Во-первых, сам по себе город — чистота, ширина, красота! Не нагладишься. То есть, конечно, есть и во Львове улицы такие же, как в Бродах, по которым и среди лета можно пройти только в глубоких галошах и заткнув нос. Зато посреди города имеется сад, в котором разрешается гулять всем, даже козам. Свободная страна! В субботу евреи разгуливают по всем улицам, и никто им и слова не скажет. А какие люди! Чистое золото! Мама говорит,

что от Бродов до Львова — как от земли до неба. Мой брат Эля жалеет о том, что после границы первыми идут Броды, а за ними Львов. Следовало бы наоборот. Но Пиня ему растолковывает, что Львов потому-то и лучше, чем Броды, что он расположен дальше от границы и ближе к Америке.

— Ничего себе «ближе»! — отвечает Эля. — Где Львов, а где Америка!

Что касается городов, говорит Пиня, то Эля может еще у него поучиться, потому что он, Пиня, учил географию.

— Если ты учил географию, — отвечает на это Эля, — скажи мне, где находится комитет?

— Какой комитет?

— Эмигрантский!

— Сказал тоже! Какое это имеет отношение к географии?

— Кто знает географию, должен знать все!

Так говорит мой брат Эля, и мы расспрашиваем всех о комитете. Но никто этого не знает. Станный какой-то город.

— Знают, только сказать не хотят! — решает моя золовка Бреха.

Ей ничего не нравится. Львов, по ее мнению, тоже нехорош: слишком широки улицы. «Беда, — невеста чересчур хороша!» У жены нашего друга Пини, у Тайбл, другая претензия к Львову. А именно? Почему у нас, когда едят что-нибудь кислое, говорят: «Такая кислятина, что Львов и Краков увидишь!» Или, если закатят кому-нибудь оплеуху, говорят, что «он Краков и Львов увидал»?

Словом, беда с этими женщинами. На них не угодишь!..

2

Мы уже разузнали, где комитет. Это высокий дом с красной крышей. Прежде всего надо немного постоять на улице. То есть не немного, а порядочно. Потом отворяют двери. Надо подняться по лестнице. А когда поднимаешься наверх, встречаешь много людей. В большинстве это наши, русские. Их называют эмигрантами. Почти все они голодные и с грудными детьми на руках. А те, кто без грудных детей, тоже голодные. Им велят

приходить завтра. А завтра снова велют прийти завтра. Моя мама познакомилась уже со многими женщинами. У каждой из них свое горе.

— Если сравнить их горести с моими, — говорит мама, — выходит, что я счастливая!

Многие из них бежали от погромов. То, что они рассказывают, страшно! Все едут в Америку, и всем не на что ехать. Многих отослали обратно. Одним предлагают работу. Других посылают в Краков. Там, говорят, настоящий комитет. А здесь что же? Сами не знают. Велют приходить завтра, они и приходят. Где же комитет? Да вот он, комитет. А что это за комитет? Они понятия не имеют! Входит какой-то высокий дяденька с конопатым лицом и добрыми смеющимися глазами.

— Вот один из членов комитета. Он — доктор.

Доктор, с добрыми, улыбающимися глазами, усаживается на стул. К нему поминутно подходят эмигранты и о чем-то толкуют, размахивая руками. Доктор выслушивает и говорит, что он один. Он ничем помочь не может. Есть, говорит он, у нас комитет, состоящий из тридцати с лишним человек, но никто не хочет сюда приходить. Что же он один может сделать?

Но эмигранты знать ничего не хотят. Они здесь больше жить не могут. Они уже проели все, что имели. Пусть, говорят они, им дадут билеты до Америки либо отошлют обратно. Доктор твердит, что он может отослать их только в Краков, если им угодно. Там есть комитет, — может быть, он им чем-нибудь поможет. Эмигранты выслушивают и заявляют, что, пока суд да дело, им и дня прожить не на что. Доктор достает кошелек и дарит им монету. Эмигранты смотрят на монету и уходят. Но приходят другие. Они заявляют, что валяются с ног.

— Чего же вы хотите? — спрашивает несчастный доктор.

— Мы есть хотим! — говорят эмигранты.

— Вот принесли мне завтрак, ешьте! — предлагает доктор, указывая на кофе с булочками, которые ему принесли.

Он предлагает серьезно и отдает свой завтрак. Что он один может сделать? Эмигранты благодарят и добавляют, что просят не для себя, а для детей.

— Ну, приведите сюда детей! — говорит доктор и обращается к нам: — А вы чего хотите?

Тогда выступает мама и начинает рассказывать все с начала: о том, что был у нее муж — кантор, что он долго болел. Потом он умер и оставил ее, вдову, с двумя детьми — одним постарше, а другим совсем еще младенцем (это обо мне). Старшего она женила, попал он было в денежный ящик... Да деньги уплыли, а ящик остался... Тесть обанкротился, а сын должен призываться...

— Мама, куда ты заехала? — говорит мой брат Эля и начинает всю историю рассказывать сызнова, но по-другому: — Призываться не призываться, мы едем, стало быть, в Америку. То есть я, и мама, и моя жена, и маленький братишка (это я), и вот этот молодой человек (он указывает на Пиню) тоже, стало быть, едет с нами. Надо было перебираться через границу. И вот мы, стало быть, приехали на границу. Но так как паспортов у нас нет, потому что оба мы должны призываться...

— Погоди-ка, я расскажу! — перебивает Пиня и, оттолкнув моего брата, начинает ту же историю, но только немного по-иному.

Хотя Эля мне брат, я все же должен признать, что Пиня говорит гораздо красивее его. Во-первых, у него нет этих «стало быть», как у моего брата. А во-вторых, он здорово говорит по-русски. У него много слов русских и вообще замечательно красивых слов. Многих из них я не понимаю, но они красивые. Вот как начал наш друг Пиня:

— Я хочу дать вам краткий обзор всего положения, тогда вы будете иметь точку зрения. Мы едем в Америку не из-за воинской повинности, а ради самостоятельности и цивилизации, потому что мы очень стеснительны не только в рассуждении прогресса, но и в смысле воздуха, как говорит Тургенев... А во-вторых, с тех пор как начался у нас еврейский вопрос с погромами, конституцией и тому подобное, как говорит Бокль* в своей «Истории цивилизации»...

Эх, жаль! Тут только и начинались красивые слова. Пиня только было раскачался, собрался говорить и говорить... Но доктор оборвал его посредине, отхлебнул из стакана и обратился к нему с улыбкой:

— Скажите, что вам нужно?

Тогда снова выступил мой брат Эля и сказал, обращаясь к Пинне:

— Что у тебя за манера говорить ни к селу ни к городу?

Пинню это, видно, задело, он отошел в сторонку, зацепился за собственные ноги и ответил сердито:

— Ты лучше говоришь? Говори ты!

Брат Эля подошел к столу и стал рассказывать вкратце нашу историю.

4

— Приехали мы, стало быть, на границу. Приехали и начали, стало быть, с агентами разговаривать. А агенты, сами знаете, ужасные жулики. Начали они нас друг у друга отбивать, подкапываться, доносить, ябедничать... Тем временем подвернулась, стало быть, одна женщина, порядочная, честная, набожная, святая душа. Сговори-лась она, стало быть, с нами о цене и взялась всех нас переправить, раньше нас, а потом вещи. И вот дала она нам, стало быть, двух мужиков, провожатых, стало быть...

— Ишь ты, как скоро! Скажи пожалуйста! У него уже до провожатых дошло...

Это не вытерпела моя золовка Броха, оттолкнула брата и стала сама рассказывать все ту же историю, но только по-своему: как эта женщина наказала нам идти до холма, оттуда свернуть направо и опять идти и идти до второго холма. От второго холма пойти влево и идти и идти до кабака. В кабак должен был войти один из нас, встретить там мужиков, пьющих водку. Мужикам надо было сказать только одно слово: «Хаимова», — тогда они поведут нас лесом... Счастье, что у нее манера падать в обморок...

— Знаете, что я вам скажу, дорогие мои женщины? — перебил доктор. — У меня тоже манера падать в обморок. Скажите коротко, что вам надо?

Тут снова выступила мама, и между ней и доктором произошел такой разговор:

Мама. Хотите вкратце? У нас украли вещи.

Доктор. Какие вещи?

Мама. Постель: две перины, четыре подушки большие, и еще две большие подушки, и три маленькие — думки.

Доктор. Это все?

Мама. И три одеяла, два старых, одно новое. И несколько платьев, и платок шелковый, и...

Доктор. Я не об этом. Других несчастий не случилось?

Мама. Какие еще несчастья нужны вам?

Доктор. Я спрашиваю, чего вам не хватает?

Мама. Постели.

Доктор. Это все?

Мама. Мало вам?

Доктор. А билеты у вас есть? Деньги есть?

Мама. Грех жаловаться. У нас есть шифскарты, есть на билеты.

Доктор. Так чего же вам еще нужно? И слава богу. Я вам завидую. Готов поменяться. Я не шучу, я это серьезно говорю. Возьмите себе мой завтрак, нате вам моих эмигрантов, мой комитет, а вы дайте мне ваши шифскарты и билеты, — и я сегодня же уеду в Америку. Что я тут могу сделать, один, с такой уймой нищих, не сглазить бы?

Доктор какой-то... мы и сами не знаем, какой, решили мы. В общем, нечего медлить. Эля говорит, жалко деньги расходовать. Поедем лучше в Краков. Многие эмигранты едут в Краков. Пусть нам кажется, что и мы — эмигранты.

— Побывали во Львове, надо и в Кракове побывать! — говорит Пиня.

— Чтoб по поговорке было: «Краков и Львов»? — спрашивает Тайбл.

Итак, до свиданья! Едем в Краков.

XVI. С эмигрантами

1

Если хотите ехать в Америку, езжайте только с эмигрантами. С ними хорошо. Приезжаете в город, — вам незачем искать гостиницу. Она приготовлена для вас заранее. На то и комитет устроен. Он следит за тем, чтобы все для вас было приготовлено. В первую ночь по приезде в Краков нас загнали в какое-то помещение, не то камера, не то сарай. Там мы пробыли до утра.

Утром к нам пришли от комитета и переписали всех по имени. Мама, правда, не хотела называть наших имен, — боялась призыва. Мало ли что может случиться? Но эмигранты подняли ее на смех: какое отношение имеет немец к русскому призыву? Затем всех нас привели в большую гостиницу. Это большой дом со множеством кроватей и бесконечным количеством эмигрантов. «Совсем вроде нашей богадельни!» — находит моя мама. А золовка Броха говорит:

— Давайте лучше дальше поедем.

Я как-то говорил уже вам, что нашим женщинам ничего не нравится. Во всем они находят недостатки. Краков им с первой же минуты пришелся не по душе. Впрочем, мой брат Эля тоже недоволен этим городом. Краков, говорит он, это не Львов. Во Львове, по крайней мере, есть евреи, а в Кракове — нет. То есть евреи имеются, но какие-то дикие — наполовину поляки: закрученные усы и «проше, пане!»... Так говорит мой брат Эля. Пиня ему возражает. Он говорит, что здесь больше «цивилизации». Хотел бы я знать, что это такое — «цивилизация», без которой наш друг Пиня не может обойтись?

2

В гостинице, которую для нас приготовил комитет, замечательно хорошо. То есть не столько хорошо, сколько весело. Здесь каждый раз знакомишься с новыми эмигрантами. Усаживаются, едят все вместе, рассказывают истории. А какие истории! Чудеса в решете! Чудеса, случившиеся во время погромов, при явке к призыву, при переходе через границу. Каждый рассказывает о своем агенте. Спрашивают друг у друга: «Кто был вашим агентом — рыжий или черный?» И следует ответ: «Не рыжий и не черный, просто вор».

Рассказываем, конечно, и мы о нашем чуде: как мы перебирались через границу, как познакомились с одной женщиной, как она выманила у нас вещи, как ее люди завели нас в лес, спросили, сколько у нас денег, и вытащили ножи, чтобы нас зарезать. Счастье, что у нашей Брохи манера падать в обморок и что мама подняла крик, — тогда раздался выстрел, мужики удрали, а мы тем временем перебрались на другую сторону. Все внимательно слушают, покачивают головами, причмокивают.

Один эмигрант, высокий, с сердитыми глазами и с ключьями ваты в ушах, спрашивает:

— Как она выглядит, эта женщина? Набожная, святоша, с париком на голове?

Услыхав, что наша женщина как раз такая и есть, высокий эмигрант вскакивает и обращается к своей жене:

— Сора! Слышишь? Ведь это та же самая!

— Холера на нее и на всех агентов, господи! — отвечает Сора и рассказывает, как эта самая женщина обманула ее, обобрала с головы до ног и хотела всучить им шифскарты до Америки.

При слове «шифскарты» вскакивает другой эмигрант, портной, с черными глазами на бледном лице, и говорит:

— Шифскарты? Разрешите, я расскажу вам историю о шифскартах.

Портной хочет начать свой рассказ, но его перебивает другой эмигрант, по фамилии Тополинский. Он, говорит, знает более интересную историю о шифскартах. У них в местечке имеется компания, которая продает якобы шифскарты от Ливавы до Америки. И вот подцепили они одного молодого человека, выманили у него шестьдесят с лишним рублей и всучили ему какую-то бумагу с красным орлом. Приехал молодой человек в Ливаву, хочет сесть на пароход, достает и показывает свою бумагу с красным орлом. Куда там! Ничего похожего! Прошлогодний снег! Это не шифскарта, а филькина грамота!

3

Истории с шифскартами начинают мне надоедать. Мне нравятся эмигранты. В вагоне я познакомился с одним мальчиком-эмигрантом. Он одних лет со мной, зовут его Копл, и у него рассечена губа. Он как-то лазил на лестницу, свалился и упал на полено. Копл клянется, что ему не было больно, только крови много вытекло. Мало того что он губу рассек, он, говорит, получил еще вдобавок от отца. Вот тот, высокий, с злыми глазами и с ватой в ушах, и есть его отец. А женщина по имени Сора — его мама. Они, говорит он, были когда-то очень богатые. То есть не когда-то, а совсем недавно, до погрома. Я спрашиваю у него, что это такое — по-

гром? Все время слышу от эмигрантов: «погром, погром». Но что это такое, я не знаю.

— Не знаешь, что такое погром? — удивляется Копл. — Эге! Стало быть, ты совсем еще сосунок! Погром — это такая штука, которая теперь бывает повсюду. Начинается это с пустяков, но уж если начнется, то тянется дня три подряд...

— Но что ж это такое? Ярмарка?

— Ярмарка! Хороша ярмарка! Вышибают стекла! Ломают мебель! Вспарывают подушки! Пух летит, как снег!

— А зачем это?

— Вот те и здравствуй! Зачем? Громят не только дома — громят и лавки. Выбрасывают на улицу товар, топчут, грабят, рассыпают, потом обливают керосином и жгут.

— Да брось ты!

— А ты как думал? Что же я, выдумывать, что ли, стану? А потом, когда грабить уже нечего, ходят по домам с топорами, ломami и дубинами. А полиция ходит следом. Поют, свистят, кричат: «Эй, ребята, бей жидов!» Бьют, убивают, режут, штыками колют...

— Кого?

— Что значит — «кого»? Евреев!

— За что?

— Что значит — «за что»? На то и погром!

— Ну и что, если погром?

— Убирайся! Ты теленок! Не желаю с тобой разговаривать!

Копл отстраняет меня и засовывает руки в карманы, как взрослый. Мне обидно, что Копл так кочевряжится передо мной. Однако молчу. «Погоди, зазнайка! И у меня еще чего-нибудь спросишь!..» Спустя несколько минут я снова подхожу к Коплу и затеваю с ним разговор. Уже не о погромах, — о другом. Я спрашиваю, умеет ли он говорить по-немецки. Копл смеется:

— А кто же это не умеет говорить по-немецки? Немецкий — ведь это еврейский!

— Вот как? Если ты знаешь по-еврейски, скажи мне, как будет по-немецки «хрен»?

Копл еще пуще смеется, слова вымолвить не может.

— Что значит, как будет «хрен»? Хрен — это хрен!

— Значит, не знаешь!

— А как же?

Но, как нарочно, я и сам забыл, как по-немецки «хрен». Знал и забыл. Иду к брату Эле и спрашиваю. Но он говорит, что задаст мне такого «хрена», что тошно станет... Эля, видно, злится. Каждый раз, когда ему надо доставать деньги из зашитого кармана, он злится. Наш друг Пиня смеется над ним. Они затевают спор. А я отыскиваю местечко среди узлов на полу и ложусь спать.

4

Ничего мы в Кракове не добились. В комитете мы не были. Эмигранты сказали, что это напрасный труд. Приходите в комитет, говорят они, и начинается канитель. Прежде всего записывают ваши лета. Потом посылают к врачу на осмотр. Затем велют ждать. Затем велют прийти еще раз. А когда приходите, спрашивают, зачем вы пришли.

Вы отвечаете, что пришли, потому что велели прийти. Тогда вас начинают уговаривать: «И к чему вам ехать в Америку?» — «А куда же нам ехать?» — спрашиваете вы. «Где это сказано, что вы обязательно должны ехать?» — отвечают вам.

Вы рассказываете о погроме. Но они говорят: «Вы сами виноваты. Вот вчера какой-то мальчик из ваших эмигрантов украл на базаре булку!» — «А может быть, он был голоден?» — говорите вы. «А вот вчера один из ваших эмигрантов посреди улицы подрался со своей женой. Пришлось жандармов вызывать». — «Жена была права. Она узнала мужа, который бросил ее и хотел ударить в Америку. Она его неожиданно увидела здесь и застучала на месте. Он хотел вырваться и бежать. А она подняла крик...» — «А почему большинство ваших эмигрантов ходят оборванцами?» — спрашивают они. «У них ничего нет! — отвечаете вы. — Пусть им дадут одежду, они не будут ходить оборванцами».

Словом, читают мораль, а денег не дают.

Так жалуются нам эмигранты. Они считают нас счастливыми, потому что нам до сих пор не приходилось прибегать к милостям комитета. Мама говорит, что она и сейчас не стала бы обращаться к ним, если бы не постель. Если бы у нее не забрали вещей на границе, она была бы «королевой». Я вспоминаю мамин желтый шелковый платок, в котором она действительно выглядела «короле-

вой». Но мама говорит, что ничего ей так не жалко, как постель. Что мы будем делать в Америке без постели?

Мама заламывает руки и начинает плакать. Брат Эля, заслышав это, кричит на нее:

— Опять? Опять плакать? Ты, видно, забыла, что мы уже недалеко от Америки и что надо беречь глаза?

Вы думаете, мы в самом деле недалеко от Америки? Куда там! Надо еще ехать и ехать. Куда ехать, я точно не знаю. Я слышу от эмигрантов названия городов: Гамбург, Вена, Париж, Лондон, Ливерпуль... О Гамбурге все говорят, что он мог бы сгореть хотя бы сегодня. Гамбург, говорят они, это Содом! Там эмигрантов гоняют в баню, как арестантов. Таких злодеев, как в Гамбурге, нигде нет.

Так говорят эмигранты, и мы пока что собираемся в Вену. Там, говорят, есть комитет, но — настоящий!

Комитет не комитет, а я знаю одно: мы едем в Вену. Слыхали вы когда-нибудь о таком городе? Погодите немного, вот приедем в Вену, тогда я расскажу вам все, что там творится.

XVII. Вена — вот это город!

1

— Вена — вот это город!

Так решил мой брат Эля, а наш друг Пиня добавил:

— Да и какой еще город! Всем городам город!

Даже женщины, которым ничего на свете не нравится, и те согласились, что Вена — это город. Ради такого города мама достала субботний шелковый платок. Моя золовка Броха вырядилась, как на свадьбу. Надела субботнее платье и в парике, с длинными болтающимися сережками, с красным лицом выглядит как рыжая кошка в черном повойнике. Видали вы когда-нибудь рыжую кошку в черном повойнике? Я видал.

Ребята нашей соседки Песи любят вытворять с кошкой всякие штуки. Кошка у них, как я уже вам рассказывал, носит странное прозвище: «Фейге-Лея-старостица». Однажды они надели ей на голову ермолку. Ермолку, конечно, завязали тесемками, и пустили кошку бегать. Кроме того, они, видимо для красоты, прицепили

ей к хвосту гусиное крыло. Ермолка, очевидно, была великовата и сползала на глаза, а крыло выводило кошку из себя. И «Фейге-Лея-старостиха» стала метаться как сумасшедшая, бросаться на стены и причинила соседям ужасные убытки...

Ох, и влетело же тогда Песиним ребятам! Больше всех колотили Вашти, то есть Гершла, у которого желвак на лбу. Станный мальчик этот Вашти! Сколько его ни бей, а он как стенка! Скучаю я по нему больше, чем по другим! Но может быть, что мы еще увидимся с ним в Америке. Мы получили весточку, что наша соседка Песя, ее муж Мойше-переплетчик и вся орава едут в Америку. Раньше она причитала по поводу того, что мы едем в такую даль, а теперь и сама туда едет. Все нынче едут в Америку. Так пишет нам наш родственник Иойна-пекарь. Он тоже едет в Америку. Он уже на границе. Не на той, где мы переправлялись. Наша граница не годится. Тут крадут постели. На других границах тоже крадут постели, но зато не нападают в лесу с ножами, как напали на нас. Эмигранты рассказывают, что есть границы, на которых раздевают догола и отбирают все, что имеешь. Но не бьют. Нас тоже не били, но собирались. Мы чуть не умерли от страха. К счастью, выстрелили из ружья. Но я уже рассказывал вам, как мы переправлялись через границу. Мы уже давно позабыли об этом. Неохота помнить о таких вещах. Правда, женщины и сейчас еще рассказывают о чудесах, случившихся с нами. Но их перебивают мужчины, то есть мой брат Эля и наш друг Пиня, и не дают им рассказывать. Пиня говорит, что он должен написать об этом в газетах. Он уже даже начал писать нашу историю в стихах. Я вам, кажется, уже рассказывал, что Пиня пишет стихами. Стихи о границе начинаются так:

Радзивиллов — городишко. Нечем похвалиться...
Здесь перебираются украдкой за границу.
Здесь людей обкрадывают с головы до ног...
Все, что есть, отдашь и скажешь: «Милостив мой бог!»
Счастливо отделался! Спасибо и на том,
Что не угостили на прощанье кулаком,
Что без мордобоя дело обошлось,
Что не пробуравили тебя ножом насквозь...

Это только начало, говорит Пиня. Дальше, по его словам, гораздо интереснее. Он, говорит, и Броды описал, и Львов, и Краков. И все в рифму. Пиня по этой

части мастак! У него все складывается в рифмы. Он даже про собственную жену свою написал стихи. Я помню их наизусть:

Есть у меня жена —
Тайбл зовется она.
Миловидна, хороша.
Раскрасавица-душа, —
Нет на свете краше!
Да беда: не столкнуться —
Не желает возвращаться
К своему папаше...

Как вам нравятся стихи? Хороши, не правда ли? А посмотрели бы вы, как дуется Тайбл! (У нее такая манера — дуться.) Моя золовка Броха заступает за нее. Она называет Пиню «язвой». Мама называет его «недотепа». Они терпеть его не могут за то, что он сочиняет стихи. А вот мой брат Эля ему завидует. Он говорит, что в Америке рифмы и стихи — ходкий товар. Он уверен, что в Америке товар этот пойдет нарасхват. В Америке, говорит он, Пиню озолотят. Там много журналов, много еврейских газет. Пиня говорит, что он сам уверен в своем успехе в Америке. Он, говорит, чувствует, что создан для Америки и что Америка создана для него. Он ждет не дождется, как бы уже сидеть на пароходе и плыть по морю. Но пока что мы еще на суше и торчим в Вене.

2

Что мы делаем в Вене? Ничего. Гуляем по улицам. Ох и дома! Посмотрели бы вы, какие окна! Зеркала! А какие вещи! Игрушки! Одежда! Посуда! Украшения! Почти у каждой витрины мы останавливаемся и начинаем оценивать все, что видим. Мы, мужчины, оцениваем, а женщины высказывают пожелание иметь хотя бы половину того, что стоит этот город, с домами, магазинами и товарами. Пиня смеется и говорит:

— Хватит вам и десятой доли!..

— А тебе жалко? — говорит мой брат Эля и теребит свою бородку.

За время нашей поездки в Америку бородка у него здорово подросла. И очень странно подросла. Вроде венника. Я как-то нарисовал его на бумаге. Недавно я и Пиню нарисовал на бумаге, а мою золовку Броху — ме-

лом на столе. Ну и влетело же мне! Она сама, Броха то есть, увидела и узнала себя, как в зеркале. Подозвала она моего брата. Вот он мне и задал! Если бы не мама, он бы меня прикончил. Каждый раз, как увидит, что я рисую, он меня колотит. А рисовать я люблю с детства. Раньше я рисовал углем на стенах. Меня за это били. Потом стал рисовать мелом на дверях — опять били. Теперь я рисую уже карандашом на бумаге — все равно побить хотят.

— Опять за своих человечков принялся?..

Но за рисование меня бьют не так, как за лепку. Я люблю мять хлеб и делать из него поросятки. Увидит это мой брат и колотит меня по пальцам. Наш друг Пиня заступает за меня. Он говорит:

— Чего ты от него хочешь? Пусть мнет, пусть рисует! Может, суждено ему быть художником!

Брат, как слышит, начинает сыпать:

— Что? Художником? Мазилой? Церкви мазать? Стены белить? Крыши красить? Ходить с измазанными руками, как извозчик в дегте? Нет, пусть лучше будет певчим у кантора. Вот приедем, даст бог, в Америку, устрою его у кантора. У него сопрано.

— А почему не у мастера? В Америке все мастеровые. В Америке все работают!

Так заявляет Пиня, и тут же на него налетает мама:

— Вот как? Ремесленник? Не дождутся мои враги, чтобы сын кантора Пейси был ремесленником!

Вижу, что мама уже собирается плакать. Пиня оправдывается.

— Странная вы женщина! — говорит он. — А вот мы из Талмуда знаем, что раби Йоханан был сапожником, а раби Ицхок — кузнецом. Да и зачем далеко ходить? Вот мой дядя — часовщик, а мой отец — механик!

Пиня думает, что поправил дело. Оказывается, он только напортил. Мама не перестает плакать:

— Действительно, стоило моему мужу быть духовным лицом, кантором, умереть молодым, чтобы его младший сын был, упаси бог, портным или сапожником, да еще в Америке!..

— Опять? Снова плачешь? Забыла, что в Америке нужны глаза?

Так говорит мой брат Эля, и мама тут же перестает плакать.

Кем бы ни быть в Америке, — быть бы уже там! Тянет туда, — никакого терпения! Про себя я решил выучиться в Америке трем вещам: плавать, писать и курить папиросы. Все это я умею уже и сейчас, но не так хорошо, как следовало бы в Америке. Плавать я, наверное, был бы мастер, да негде было плавать. У нас на реке это невозможно. У нас, если ляжешь животом в болото, ноги болтаются на поверхности. Тоже река! А в Америке, говорят, море. Там, если ляжете на воду с пузырьем, вас унесет к черту на кулички! Писать я тоже умею, хотя никто меня этому не учил. Я списываю печатные буквы из молитвенника. Пишу я так, что прочесть трудно. Я рисую, а не пишу, мне хотелось бы писать быстро, да я не умею. А в Америке, говорят, пишут быстро. Там, говорят, все делают быстро, второпях. Там всем некогда. Так в дороге рассказывали эмигранты. Мне известно почти все, что делается в Америке, хотя я еще там не был. Там, говорят, ездят под землей и «делают» жизнь. Как ее делают, я еще не знаю. Но скоро буду знать. Я переимчивый. Увижу человека — и с первого же раза подражаю ему во всем. Однажды я представил нашего друга Пиню, показал, как он ходит вприпрыжку, как смотрит близорукими глазами, как он говорит быстро, будто горячую лапшу глотает... Моя золовка Броха покатывалась от хохота, а мама даже плакать начала от смеха. Но мой брат Эля не любит этого. Он не дает мне головы поднять. Странная история с моим братом Элей! Он любит меня и колотит до полу-смерти. Мама не позволяет ему бить меня.

— Вот будут у тебя свои дети, — говорит она, — тогда ты их и бить будешь...

Но стоит кому-нибудь чужому пальцем тронуть меня, Эля ему глаза выцарапает. Недавно как-то мальчик одного из эмигрантов мне «губернатора показал». Вы не знаете, что это значит? Сейчас расскажу вам, как это делается: намусоливают большой палец и ударяют вас в бок между ребрами и животом, так что вам свет божий в копеечку кажется. Мальчик, который мне «губернатора показал», был парень лет одиннадцати с пухлыми щеками. Ручищи у него, — отсохнуть бы им! Захотелось ему познакомиться со мной, подошел он ко мне и спросил, как меня зовут. Я говорю: «Мотл». А он

отвечает: «Мотл-капотл, дробл-дротл, Иосиф-сотл, арц-анотл...» Я спрашиваю, что это значит. А он говорит: «Это значит, что ты балда, хотя меня тоже зовут Мотл. Губернатора хочешь?» — «Хочу». — «Поди-ка сюда поближе. Сейчас покажу».

Вот я и подошел. А он «показал». Я с ног свалился. Увидала это мама и подняла крик. Тогда прибежал мой брат Эля и задал ему!

С тех пор мы с Мотлом подружились. Кроме «губернатора», он научил меня многому. Например, говорить животом. Вы умеете? Научить вас этому невозможно. С этим родятся. Надо держать рот закрытым, не двигать ни одним мускулом и лаять, как собака, или хрюкать по-свиньячьему, да так, чтобы все принялись заглядывать под стол. Я здорово напугал наших. Вы знаете, что у моей золовки Брохи манера падать в обморок. Все бросились под стол, под кровати. Я и сам нагнулся — искать собаку — и продолжал лаять. Ох и комедия была! Однако мой брат Эля в конце концов догадался, где «собака зарыта», и отдубасил меня как следует. С тех пор я забросил искусство чревовещания.

4

Мы бы уже давно уехали из Вены, если бы не «Ольянц»*. Кто такой этот «Ольянц», я не могу точно сказать. Слышу только, что говорят о нем: «Ольянц! Ольянц!» Все эмигранты злятся на него. Говорят, что «Ольянц» ничего не делает, что ему людей не жаль, что он евреев не терпит. Каждый день ходят к этому «Ольянцу» мой брат Эля и наш друг Пиня, и приходят они оттуда распаренные, как из бани.

— Загореться бы ему! — говорит Эля.

— Сгореть бы ему, как свече! — говорит Пиня.

— Дайте-ка лучше мне поговорить с «Ольянцем»! — говорит мама и берет меня за руку.

Мы все идем к «Ольянцу»: мама, и я, и Эля, и Пиня, и Броха, и Тайбл. Мне представляется, что «Ольянц» — с бородой, с поясом на животе и с красным носом. Почему с красным носом, я и сам не знаю.

Ох и таскались же мы! Моя золовка Броха пожелала «Ольянцу», чтобы у него так кололо в правом боку, как у нее в левом, — тогда он, может быть, не забирался бы к черту на рога, на самый край города!

Наконец-то добрались кое-как до «Ольянца». Живет он в шикарном доме, — «дай бог всякому!» Но двора при доме нет. Вена вообще дворов не признает. Вена любит широченные окна и огромные двери. Но двери здесь держат на запоре. «Боятся, видно, чтоб их не украли?» — говорит Броха. Ей уже и Вена не по душе! Ей не нравится, что перед тем, как войти в дом, надо звонить. Меня это не трогает. Лишь бы открывали. Но «Ольянец» не торопится открывать. Можете звонить сколько влезет, — он и с места не трогается. Думаете, мы здесь одни? Кроме нас, здесь еще много эмигрантов. Всем нужно попасть к «Ольянцу». Эмигранты смотрят, как мы звоним. «Позвоните еще немного, авось откроют, на ваше счастье!» — говорят они и смеются. У них, видать, легко на душе.

Все время прибывают новые люди. Собралось уже довольно много мужчин, женщин и детей. Я люблю, когда много народу. Если бы малыши не ревели, а машины не проклинали их и не затыкали им рты, здесь было бы довольно весело. Но вот, слава богу, отворили двери. Все ринулись в дом, началась давка. Хорошо еще, что в дверях показался какой-то тип без шапки с красной бритой рожей и стал вышвыривать нас всех поодиночке, как поленья. Одну женщину с ребенком он так толкнул, что, если бы не мы с братом Элей, она бы зубов не собрала. Она и так трижды перекувырнулась.

Прошло много времени, пока мы все поодиночке вошли в дом. И вот тут-то и началась кутерьма — батюшки! Все хотят говорить первыми, все лезут к столам. А за столами сидят люди с обнаженными головами, с бритыми бородами*, хохочут и курят сигары. Кто из них «Ольянец», не знаю. Мама тоже не знает.

— Скажите, пожалуйста, — говорит она, — кто из вас «Ольянец»? Я потерпела убыток, у меня на границе отобрали всю постель и чуть не убили меня и моих детей... Вот они, бедные сироты, муж мой умер молодым, был всю жизнь кантором...

Но ей не дают продолжать. Кто-то тащит ее за платок и указывает на двери. Говорит он так, что ничего понять нельзя. Мама не хочет уходить, покуда не добьется своего.

— Зачем вы говорите со мной по-немецки? — спрашивает она. — Говорите со мной на нашем родном

языке, — я вам всю душу выложу. Скажите, кто здесь из вас «Ольянец»?

— Свекровь! Послушайте меня, идемте отсюда! Обходились мы, по милости божьей, без «Ольянца» и без Вены, — авось и дальше хуже не будет... Господь не выдаст...

XVIII. Антверпенские чудеса

I

Слыхали вы когда-нибудь, чтобы город назывался Антверпен? Есть такой город на свете, и вот мы туда едем. Почему вдруг — в Антверпен? Потому что наш родственник, тесть моего брата Эли, пекарь Йойна, едет в Америку через Антверпен. Услыхав, что отец ее в Антверпене, моя золовка Броха засуетилась и потребовала, чтобы и мы ехали туда. Раньше она об этом городе и слышать не хотела. Ей не нравилось название. Теперь она влюбилась в Антверпен! Наш друг Пиня говорит, что ему придется отделиться от нас. Он хочет ехать из Вены прямо в Лондон. Тянет его, говорит он, в Лондон. В Лондоне, говорит он, уже пахнет Америкой: англичане... рыжие волосы... клетчатые штаны... Совсем другой мир!..

— Езжай себе на здоровье к твоим англичанам с клетчатыми волосами и рыжими штанами, а мы поедem в Америку через Антверпен.

Так говорит моя золовка Броха, а жена Пини, Тайбл, дуется, как индюшка. Я уже говорил вам, что она чуть что — начинает дуться и перестает разговаривать. Пиня спрашивает, чего она сердится. Она отвечает, что не любит англичан. «А ты их знаешь? — говорит Пиня. — Видела ли ты когда-нибудь хотя бы одного англичанина?» — «А ты где видел хотя бы одного англичанина?» — спрашивает она, в свою очередь.

Словом, решено, что мы все едем в Америку через Антверпен. Мне безразлично — хоть через тартарары, лишь бы в Америку. Я и наш друг Пиня рвемся в Америку сильнее всех. Мы чувствуем, что нам будет там хорошо. Пиня в претензии к моему брату Эле:

— Едем, едем, а с места не двигаемся!

— Кто тебя держит? — отвечает Эля. — Езжай! Беги! Лети!

— Как же я полечу, когда твоей мамаше хочется познакомиться со всеми комитетами на свете?..

Услыхала эта мама и говорит, обращаясь к Пине:

— Если ты такой умный, посоветуй, как нам ехать в Америку без постели?..

На это Пине отвечать нечего, и они снова мирятся. Наш друг Пиня не может расстаться с нами. Женщины тоже одна без другой жить не могут. Правда, они частенько ссорятся, говорят друг другу колкости. Иной раз чуть до драки не доходит. Но очень скоро они мирятся. Если бы не мама, Броха и Тайбл дружили бы недолго. Каждый день летели бы повойники... Особенно моя золовка. Она сама себя называет «спичкой». Подвернешься ей под руку в недобрый час — с грязью смешает. А пройдет минута — и она снова мягка, как тяжелой пластырь. Со мной она воюет чуть ли не с первой минуты со дня свадьбы. Она знает, что я ее не люблю. Но пуще всего она не выносит, что я смеюсь над ней. Ей всегда кажется, что я ее высмеиваю. Стоит мне посмотреть на нее — она считает, что я уже смеюсь.

Я уже рассказывал вам, что люблю рисовать и что мой брат Эля колотит меня за это. Недавно я нарисовал ногу — огромную ногу. Мелом на полу нарисовал. Посмотрели бы вы, что творилось. Она, Броха то есть, пристала ко мне, якобы это я ее ногу нарисовал! Почему именно ее? Потому, что ни у кого нет таких больших ног, как у Брохи. Она тринадцатый номер калош носит! Вы бы видели эту пару калош!.. И пошла ябедничать к моему брату Эле. Тот, как всегда, раскричался:

— Человечки? Опять за старые штучки принялся? Человечков малевать?

Вот вам! Нога уже превратилась в человека! А человек — в «человечков»!.. С ума можно сойти! Должен признаться, что чем дальше, тем сильнее становится моя страсть к рисованию. Я заполучил цветной карандаш. Мне подарил его тот самый мальчик, который однажды «показал губернатора» и научил меня говорить животом. Я уже о нем рассказывал. Его тоже зовут Мотл. Мы называем его «Мотл Большой», а меня называют «Мотл Маленький». Подружились мы с ним крепко! За то, что он подарил мне цветной карандаш, я в вагоне нарисовал его на бумаге, всего как есть, с пухлыми щеками. Я взял

с него слово, что он никому не покажет, а то, если узнает мой брат Эля, мне здорово влетит. И что же вы думаете? Он тут же отнес мой рисунок и ткнул его прямо под нос моему брату.

— Мотелева работа! Где он, этот мазила?

Так сказал мой брат Эля и стал меня разыскивать. А я уселся за маминой спиной, чтобы меня не было видно, и давлюсь от смеха. Лучшего места, чем у мамы за спиной, на всем свете нет!

2

Слава тебе господи — мы уже в Антверпене. Порядком потряслись и намыкались, но приехали! Ну и город, доложу я вам! То есть до Вены ему далеко. Вена гораздо больше и, пожалуй, красивее. Да и людей там больше. Зато в Антверпене какая чистота! Да и что за диво? Улицы здесь моют, тротуары начищают, а дома купают. Я сам видел, как их мылом намыливают и обмывают. Правда, не везде. Например, там, где находятся гостиницы, в которых живут эмигранты, все как полагается. То есть грязно, дымно, сыро, скользко, тесно, суматошно и шумно. Весело! Замечательно! Так, как мне нравится.

Нашего родственника, пекаря Иойны, еще нет. Соседки Песи с ее оравой — тоже нет. Они еще едут. Тащатся где-то по Германии. «Германия — это Содом!» — говорят эмигранты и рассказывают страшные истории. Наша беда с потерей постели — детские игрушки в сравнении с тем, что рассказывают эмигранты.

В гостинице мы познакомились с женщиной из Межбижа. Она как раз не вдова. У нее есть муж, он уже в Америке. Вот она и едет к мужу. Скоро уже год, как она тащится с двумя детьми. Перебывала везде и всюду. Нет такого города, в котором бы она не была. Перессорилась со всеми комитетами. Кое-как, с трудом добралась сюда, до Антверпена, и хочет сесть на пароход, а ей не разрешают. Думаете, у нее больные глаза? Ничего подобного! Глаза здоровые. Но она немножко тронулась. То есть вообще-то она говорит все как полагается. Но иной раз скажет вдруг что-нибудь такое, — умереть со смеху можно. Спрашивают у нее, например:

— Где ваш муж?

— В Америке.

— Чем он занимается?

— Он там — царь...

— Как же это еврей может быть царем?

А она отвечает, что в Америке все возможно... Ну, что ты будешь делать? И еще одно вбила она себе в голову: она не ест! И нам есть не велит. Говорит, чтобы мы не притрагивались к молочным продуктам, потому что все молочное здесь мясное.

— А мясное? — спрашивает мама.

— Мясное здесь не мясное и не молочное...

Мы, конечно, смеемся. Все, кроме мамы. Маме не смешно. Ей плакать хочется.

— Хорош смех! — говорит она и действительно начинает плакать.

— Уже! Давно не плакала? Хочешь, чтобы нас отослали обратно из-за твоих глаз?

Так говорит мой брат Эля, и у мамы тут же высыхают глаза. Но еще больше, чем эту женщину, мама жалеет ее несчастных детей. Не знаю, почему мама их оплакивает? Детям как будто весело! Начнет их мама говорить глупости, они смеются. Я познакомился с ними. Они рассказали мне, что их отсылают обратно домой, но их мама не хочет ехать. Она хочет в Америку, к их отцу, к царю (хи-хи-хи!)... Ее обманывают, говорят, что посылают поездом в Америку (хи-хи-хи!)... Уговорили ее, что поезд идет отсюда прямо в Америку (хи-хи-хи!)...

3

Каких только удивительных вещей не заметишь в этом Антверпене, — даже описать невозможно! Ежедневно приезжают новые люди. Большинство с большими глазами. Это называется «трахома». В Америку с трахомой не пускают. У вас может быть тысяча всяких болезней, можете быть хромым и немым, каким вам хочется, только бы не трахома. Откуда берется трахома? От заразы. Иной раз и сам не знаешь, откуда она взялась. Так рассказывают здесь, в Антверпене.

Я это слышал от одной девочки. Зовут ее Голделе. Она одних лет со мной, а может быть, старше на год. С ней приключилась интересная история. Рассказать? Познакомился я с ней в «Эзре»*. Надо вам объяснить: «Эзра» в Антверпене то же, что «Ольянц» в Вене. Это

тоже устроено для нас, для эмигрантов. Но только «Ольянц» — мужского рода, а «Эзра» — женского. Так что сами понимаете, какая между ними разница... Словом, сразу же по прибытии в Антверпен мы пошли прямо в «Эзру». «Эзра» не то что «Ольянц». «Ольянц» вышвыривает людей, как поленья, а «Эзра» никого не гонит. Можете приходить, когда угодно, можете душу изливать, сколько вам вздумается. Все, что вы говорите, заносится в книгу. Сидит девушка, которую зовут фрейлейн Зайчик, и записывает. Очень славная девушка. Она спросила, как меня зовут, и подарила мне конфетку. Но о фрейлейн Зайчик я расскажу в другой раз. Сейчас надо познакомить вас с Голделе.

Она из Кутно. Приехала сюда в прошлом году с родителями, сестрами и братьями. Было это в осенние праздники. Справили они праздники, говорит она, как дай бог всякому. То есть счастья они не искали, а медом их не баловали, — валялись, как и все эмигранты. Зато у них были шифскарты до Америки на всю семью, и одеты они были по-царски: у каждого по паре рубах и ботинки целые. Теперь она осталась с одной только рубахой и без обуви. Если бы не фрейлейн Зайчик, она бы босиком ходила. Фрейлейн Зайчик, говорит Голделе, подарила ей свои ботинки, совсем еще хорошие. Голделе показала мне эти ботинки. Они совсем еще целые, только великоваты...

Словом, миновали праздники, пришло время садиться на пароход. Предложили им показаться врачу. Пошли. Врач осмотрел их и нашел, что все здоровы и могут ехать в Америку. И только она, Голделе, ехать не может, потому что у нее трахома... Сначала они даже не поняли, что это означает. И лишь потом раскусили как следует. Это означало, что все едут в Америку, а она, Голделе, остается здесь, в Антверпене. Поднялся плач, вопли, стоны... Мама трижды в обморок падала... Отец хотел остаться здесь, но нельзя было: пропадала вся шифскарта... Тогда решили, что они поедут, а она, Голделе, останется, пока вылечит глаза... И вот уже больше года, как она лечится, а все еще не вылечилась. Фрейлейн Зайчик говорит, что это оттого, что Голделе постоянно плачет. Но Голделе уверяет, что ее глаза не вылечиваются по другой причине. Из-за синего камня! Каждый раз, когда она приходит к доктору, он натирает ей глаза тем самым камнем, которым пользуется

других больных. Если бы она, Голделе, была в состоянии купить собственный синий камень, она давно бы уже вылечилась.

— Ну, а твои родители? — спрашиваю я.

— Они в Америке. Делают жизнь. Я получаю от них письма. Почти каждый месяц присылают письмо. Вот посмотри, читать умеешь? Почитай мне.

Она достает из-за пазухи целую пачку писем и просит, чтобы я читал вслух. Я бы, конечно, прочел, но не умею читать по-писаному. Печатное я бы прочел. Она смеется и говорит, что мальчик — это не девочка, мальчик должен уметь все на свете! А ведь она, пожалуй, права! Хотелось бы мне уметь читать по-писаному! Ох и завидую я Мотлу Большому: он умеет читать и писать (я уже вам рассказывал о нем)! Голделе дала ему прочесть свои письма. Мотл Большой прочел без запинки. Почти все эти письма написаны одинаково, теми же словами:

«Дорогая Голделе, милая Голделе, дай бог тебе здоровья! Когда мы в Америке вспоминаем, что дитя наше вырвали у нас из рук, что ты там одна на чужбине, среди незнакомых людей, нам жизнь не мила! Дни и ночи мы грустим и плачем по светлой нашей звездочке, отнятой у нас...» И так далее.

Мотл Большой читает и читает, а Голделе плачет и трет глаза. Это замечает фрейлейн и сердится на нас за то, что мы расстраиваем Голделе, а ей она говорит, что ей самой себя не жаль. Она окончательно губит свои глаза! В ответ Голделе смеется, а слезы так и текут.

— Губит мои глаза доктор своим синим камнем хуже, чем я своим плачем...

Мы прощаемся с Голделе, а я обещаю ей, что завтра в это же время мы снова увидимся.

— Если богу будет угодно! — отвечает Голделе со смиренным лицом, как старуха. И мы вдвоем — я и Мотл Большой — отправляемся гулять по Антверпену.

4

Мы, то есть я, Мотл Маленький, и мой товарищ, Мотл Большой, здесь не одни. Есть у нас еще товарищ. Это мальчик лет тринадцати, звать его Мендл. Он тоже

застрял в Антверпене по пути в Америку. Не из-за глаз, а по другой причине. Его потеряли в дороге, где-то в Германии. Всю дорогу, рассказывает Мендл, они кормились одной селедкой. У него была изжога. И вот на одной станции он выскочил воды напиться и отстал от поезда, остался без билета, без гроша в кармане и без рубахи на теле. А так как языка он не знал, Мендл притворился немым. Возили его по всему свету, пока, наконец, он не увидел партию эмигрантов — евреев. Он рассказал им всю историю, те сжалились над ним и привезли его в Антверпен. Здесь он пробился до «Эзры». «Эзра» написала письмо в Америку, — авось отыщутся его родители. Вот он и ждет ответа и шифскарты. То есть не целой шифскарты, а половины, потому что он еще маленький. Собственно, он не такой уж маленький, — он притворяется. Похоже на то, что ему уже исполнилось тринадцать лет, хотя «тефилн» он еще не надевает*. У него их нет. Узнали эмигранты, что Мендлу уже тринадцать лет, а «тефилн» он не имеет, и подняли ужасный шум: «Почему не достанут для него «тефилн»?» А Мендл отвечает: «Почему вы не достанете мне обуви?»

Тогда один из эмигрантов с колючими глазами раскричался: «Ах, сорванец! Мало того что о тебе заботятся, ты еще и нахал к тому же!»

Эмигрант с колючими глазами старался изо всех сил и добился того, что остальные эмигранты купили в складчину пару «тефилн» для Мендла.

Все можно раздобыть в Антверпене. Думаете, здесь нет синагог и молелен? Ого, какие еще синагоги! Одна из них турецкая. Думаете, что там молятся турки? Нет! Там молятся евреи, такие же, как и мы, но по-турецки. То есть все шиворот-навыворот. Ни одного слова понять нельзя! Водил нас туда наш новый товарищ Мендл. Мы втроем, я — Мотл Маленький, Мотл Большой и Мендл, стали друзьями. Целыми днями мы разгуливаем по городу. В Бродах, в Кракове и Львове или в Вене мама боялась отпускать меня от себя. Здесь она не боится. Там, говорит она, сплошь отъявленные немцы, а здесь, в Антверпене, мы, по ее мнению, среди людей, среди своих. Тут и еврейскую речь услышишь. Она имеет в виду эмигрантов.

Да здравствуют эмигранты! Среди них я чувствую себя как дома. Особенно среди родных! Скоро будут

у нас гости. На будущей неделе приезжает пекарь Иойна с семьей. Не сегодня-завтра должна приехать наша соседка Песя со своей оравой. Вот тогда-то будет весело! Я вам, бог даст, все опишу.

ХІХ. Орава

1

Ведь вы уже знакомы с нашей оравой. Это соседка Песя с ее мужем — переплетчиком (его зовут Мойше), с восемью ребятами, из которых каждый, как я уже вам рассказывал, имеет свое прозвище. Младший в одних летах со мной (девять лет, десятый). Зовут его Вашти. То есть настоящее его имя Гершл, но так как у него желвак на лбу, старшие прозвали его Вашти. Мне нравится Вашти. Я люблю его за то, что он не плачет. Сколько бы вы его ни колотили, он переносит все, как резиновая губка. Никакая пуля его не берет.

Однажды он разорвал чужой молитвенник. За это отец бил его доской, на которой режут бумагу. Вашти после этого прохворал два дня кряду. Можете себе представить, он даже от булки отказывался! Думали, что он не выживет. Мать, наша соседка Песя, его уже оплакивала, а отец ходил потеряв голову. Все были уверены, что это конец, что нет больше Вашти. Оказывается, ничего подобного! На третий день он попросил хлеба и ел, как после долгого поста. Покушать они все большие охотники. «Голодное стадо» — так называет их сама Песя. Песя очень славная женщина, только слишком уж толста. У нее три подбородка. Уже несколько раз я рисовал ее на бумаге. Увидал однажды Вашти, выхватил у меня рисунок и показал своей маме. Она рассмеялась. Но узнал об этом мой брат Эля и хотел задать мне за «человечков». Счастье, что сама Песя за меня заступилась. «Ребенок, — сказала она, — дурачится... Право же, не стоит огорчаться!» Дай ей бог здоровья, этой Песе! Я люблю ее. Не терплю только, когда она меня целует. Как приехала в Антверпен, тут же бросилась меня целовать, как родного. Она со всеми целовалась. Больше всего, конечно, с мамой. Мама встретила ее, словно отца с того света увидала: она так расплакалась, что мой

брат Эля налетел на Песю и стал говорить, что из-за нее мама погубит свои глаза и не сможет пойти к доктору...

Ходить к доктору обязан каждый приезжающий в Антверпен. Это первое, о чем спрашивают друг друга: «Были уже у доктора? Что сказал вам доктор?..» Даже «Эзра» всех проходящих сейчас же отсылает к доктору.

Когда мы впервые пришли туда, мама хотела было рассказать всю историю: о том, что муж ее был всю жизнь кантором в мясницкой синагоге, но простудился и заболел... Что она все продала, чтобы спасти мужа... Что муж умер, а она осталась с двумя детьми-сиротами... Одного, слава богу, женила... Попал он в «денежный ящик»... Но деньги уплыли, а ящик остался... Затем мы продали последнее, что имели — нашу половину дома, и отправились в Америку... Перебিরались через границу под Бродами, чуть не были убиты темной ночью, потеряли все наше имущество, постель... Что мы теперь будем делать без постели в такой дальней стороне?

Мама рассказывала, «Эзра» слушала, а девушка, что сидит за столом (фрейлейн Зайчик), все записывала в книгу. Мама только еще собралась было рассказывать и рассказывать, но тут перебил ее один из «Эзры»:

— Итак, вы едете в Америку?

— Ну конечно, — отвечаем мы, — не в Егупец. В Америку.

— А у доктора вы уже были? — спросил тот, что из «Эзры».

— У какого доктора?

— Вот вам адрес, — говорит он. — Сходите прежде всего к доктору. Он осмотрит ваши глаза.

Услыхав слово «глаза», мой брат Эля взглянул на мать и побелел как полотно...

Чего он так испугался?..

2

Слава богу, мы все, кроме мамы, уже побывали у доктора. Мама пойдет попозже. Мой брат Эля боится: в последнее время она слишком много плакала...

Доктор осмотрел наши глаза, написал что-то на бумаге и запечатал в конверт. Вначале мы перепугались, думали, что он прописал нам лекарство для глаз. Спрашиваем, что он нам прописал? А он в ответ указал на

дверь. Мы сообразили, что нам велят уходить... Пришли в «Эзру» и показали то, что написал доктор. Девушка (фрейлейн Зайчик) вскрыла конверт, прочла и говорит:

— Могу вам сообщить добрую весть: доктор говорит, что глаза у вас здоровые.

Конечно, это для нас добрая весть! Но что делать с нашей мамой? Она не переставая плачет. Мы твердим ей:

— Что ты делаешь? А вдруг доктор забракует твои глаза!

— Вот об этом-то я и плачу!.. — отвечает мама и прикладывает к глазам примочку.

Примочку эту дал ей один эмигрант-фельдшер. Он ужасно некрасивый, у него какие-то дикие зубы. Однако он франтит: носит медные часы на серебряной цепочке и золотое кольцо. И фамилия у него некрасивая — Бибер! Приехал он в Антверпен вместе с оравой. Они познакомились в пути. Вместе перебирались через границу. Чудес, как с нами, у них никаких не было. Убивать их не собирались, постели не отняли, но все же они порядком намытарились. Хлебнули, говорят, горя. Им пришлось пройти через парную баню в Гамбурге. Чего только они не рассказывают об этом Гамбурге! Волосы дыбом встают! Содом, говорят они, шенок в сравнении с Гамбургом! Там с эмигрантами обходятся гораздо хуже, чем у нас с арестантами. Если бы не вот этот фельдшер, они бы погибли. Он хлопотал за них. Бибер — ужасно храбрый! Он рассказывает, как он объяснялся с немцами, — прямо-таки страх! Он нарочно говорил с ними по-русски. А русский, по его словам, он знает хорошо. Возможно, что даже лучше, чем наш Пиня. Пиня утверждает, что все, что рассказывает этот Бибер, было бы очень интересно, если бы это была правда. С первого взгляда он невзлюбил фельдшера. Он даже стихи про него сочинил. Пиня, если кого невзлюбит, сочиняет о нем стихи. Если хотите, могу их вам пересказать:

Наш фельдшер Бибер, —
Скажу без утайки, —
Мастер рассказывать
Всякие байки.
Но бывает подчас
(На дню сорок раз),
Что он и соврет —
Недорого возьмет...

Бибер-фельдшер, о котором я вам рассказываю, взялся привести в порядок мамины глаза. Он говорит, что ни один доктор в мире не отыщет в них изъяна. Во-первых, он знает это искусство еще издавна. Он фельдшер, а фельдшер — ведь это же наполовину доктор. Кроме того, он побывал в Германии и видел, что там делают с эмигрантами для того, чтобы у них были здоровые глаза. Он говорит, что там слепых зрячими делают.

— А может быть, наоборот? — спрашивает Пиня.

Бибер вспыхивает (он ужасная злюка). И начинает сыпать: Пиня, говорит он, чересчур умен! Больно хитер для Америки! А в Америке хитрецов не любят! Америка, говорит он, страна, в которой хитрость не в почете. Там что подумал, то и сказал, что сказал, то и подумал. Там слово — это слово! Америка, говорит он, держится на правде, на справедливости, на уважении, на честности, на совести и человечности, на доверии и жалости...

— А еще на чем? — спрашивает Пиня.

Бибер еще пуще сердится!

Да жаль! Помешали. Пришли сообщить, что кто-то спрашивает нас. Кто бы это мог быть? Выходим — гости! Гости! Наши родичи приехали. Пекарь Иойна со своей семьей. Снова радость, торжество! Броха целуется с родителями, мой брат Эля целуется со своим тестем и шурыями. На него глядя, Пиня тоже целуется с нашими родичами, а глядя на Пиню, целуется с ними и фельдшер...

— Кто это такой? — спрашивают они.

— Я Бибер! — отвечает фельдшер.

Пиня разражается смехом... А мама? Мама делает свое дело: плачет! Мой брат Эля вне себя. Смотрит на нее и теребит свою бородку. Но сказать он ничего не может: ведь это же свои, не чужие, земляки... Как не дать маме немножко поплакать?

— Как вы перебирались через границу? Где вас обобрали?

Это первое, о чем мы спросили наших свояков. А у тех рассказов с три короба! Но меня эти рассказы не интересовали. Я забрался в уголок с сестренкой моей золовки. Я как-то уже рассказывал вам о ней. Ее зовут Алта, она носит косички, заплетенные, как витой бублик. Вы, наверное, помните, что мне ее прочили в невесты

(на свадьбе у моего брата Эли). Тогда ей было девять лет. Теперь ей уже десять — одиннадцатый, в одних летах с Голделе, которая застряла в Антверпене из-за глаз. Я рассказываю Алте об этой девочке, о моем товарище Мотле Большом, о Мендле, об «Эзре», о барышне Зайчик, которая записывает в книгу, о докторе, который осматривает глаза. Потом рассказываю о Вене, об «Ольянце», о Кракове и Львове, о том, как мы переходили границу и чуть живыми выскочили. Я ничего не пропускаю. Алта слушает, широко раскрыв глаза. Потом она рассказывает мне об их делах. Ее отец давно уже собирался ехать в Америку, но мать не хотела. И не столько мать, сколько родня. Родня говорила, что в Америке работать надо, а мама к этому не привыкла. У ее матери была ротонда. Это отец подарил ей еще в те добрые времена, когда у них было много денег. И вот, когда стало скверно, а кредиторы стали наседать, решено было продать все и ехать в Америку. Когда дошло дело до ротонды, мать заявила: она готова продать все, только не ротонду!

— На что тебе ротонда? — спрашивает отец. — В Америке ротонда не нужна!

А мать отвечает:

— Как это, на что мне ротонда? Столько лет бога молила, добивалась ротонды, еле дождалась ее, а теперь — продать?

День и ночь только и разговору было что о ротонде! Вся родня (по материнской линии) собралась. Ссорились, ругались. Дело доходило до развода, то есть чтобы папа развелся с мамой, и все это из-за ротонды. А кто поставил на своем? Конечно, мама! Ротонду так и не продали! Взяли ее с собой, отдельно запаковали... И не успели добраться до границы, как ротонда исчезла...

Так рассказывает Алта, но дальше мне уже слушать не хочется. Мне только и надо было знать, сохранилась ли ротонда. Коль скоро ее нет, я очень доволен.

Беру с собою Алту и отправляюсь гулять. Я показываю ей город Антверпен. Но она не в восторге. Она, говорит, видала города покрупнее. Скажите пожалуйста! Вожу ее по заезжим домам, в которых живут эмигранты, знакомлю ее со своими товарищами. Но Алта ничему не удивляется: зазнается. Всегда она такая...

Потом мы все вместе — наша орава и их орава — идем в «Эзру». Там встречаем нашу соседку Песю с ее

оравой. Встречаем также Голделе. Она хочет поближе познакомиться с Алтай. Но та держится в стороне. Голделе отводит меня в угол и спрашивает: по какому случаю та девочка задирает нос, почему ей не пристало разговаривать с ней? Я рассказываю, что в прошлом году, на свадьбе у моего брата, мне ее сватали. Голделе вспыхивает, краснеет, отворачивается и трет глаза...

4

Что вы скажете о постигшем нас несчастье? Мы были с мамой у доктора — проверяли глаза. Доктор осмотрел мамины глаза и ничего не сказал. Написал записочку и положил в конверт. Пошли мы с конвертом в «Эзру». Никого не застали, кроме фрейлейн Зайчик, которая всех эмигрантов в книгу записывает. Встретила она меня смехом, — она всегда смеется, когда меня видит. Каждый раз передает мне привет от Голделе и смеется. Раскрыла она конверт, прочла записку и, перестав смеяться, заломила руки.

— Что хорошего? — спрашивает мама.

— Что уж там хорошего! — отвечает Зайчик. — Скверно, милая моя! Доктор пишет, что вы не можете ехать в Америку...

Моя золовка Броха, по своему обыкновению, тут же упала в обморок. Брат стоит без кровинки в лице. Мама и сама оцепенела, даже плакать не может... Барышня Зайчик бросилась за водой. Привела в чувство золовку, стала утешать Элю, поговорила по душам с мамой и велела прийти завтра.

По дороге мой брат Эля упрекал маму в том, что она все время плачет, и напомнил, сколько раз он говорил, чтобы она не плакала! Мама хотела ответить, но не нашла слов... Подняла глаза и проговорила:

— Господи! Окажи свою милость, пожалей детей моих, возьми меня к себе!..

Наш друг Пиня утверждает, что виноват во всем этот лгун — фельдшер Бибер. Весь день и всю ночь они не переставая грызли друг друга. Наконец настало утро. Снова приехали в «Эзру». «Эзра» посоветовала нам попытаться проехать через Лондон. Авось Лондон пропустит нашу маму с ее заплаканными глазами в Америку. А если не в Америку, то хотя бы в Канаду... Где Канада,

мы не знаем. Говорят, что это еще дальше Америки. Моему брату Эле и нашему другу Пине есть пока что о чем поспорить. Эля спрашивает:

— Пиня, скажи-ка, где это Канада? Ведь ты же был мастак по части географии...

Пиня отвечает, что Канада в Канаде, то есть не в Канаде, а в Америке. То есть он хочет сказать, что Канада это то же, что и Америка, но все же не Америка.

— Как это может быть? — спрашивает Эля.

— Ну, сам увидишь!..

А между тем надо идти к пароходу — проводить наших друзей, нашу соседку Песю, ее мужа — переплетчика Мойше и всю ее ораву. Бог ты мой, что творится на пристани! Мужчины, женщины, дети, узлы, подушки, мешки с постелью... Все бегут, кричат, плачут. Один обливается потом, другой ест, третий проклинает...

Вдруг раздается рев дикого зверя: «Гу-у-у-у-у!..» Это гудит пароход, чтобы скорее прощались. Начинаются поцелуи, беготня, плач — театр, да и только! Все прощаются. Мы тоже. Целуемся со всей оравой. Мама целуется с Песей. Та утешает маму, просит ее не горевать: они, даст бог, вскоре увидятся в Америке... Мама машет рукой и проглатывает слезы... За последнее время она плачет гораздо меньше. Наверное, приняла что-нибудь, чтобы не плакать...

Все уже на пароходе. Мы — на пристани. Ох и завидуем же мы им! А как я завидую Вашти! Когда-то он мне завидовал, теперь я ему. А Вашти в рваном картузе стоит на пароходе и показывает мне язык. Это он дразнится: он, мол, едет, а я нет.

Мне, конечно, очень обидно. Но я креплюсь и показываю ему кукиш. «На тебе!» Это должно означать: «Врешь! Все равно я скоро буду в Америке!»

О, пожалуйста, не беспокойтесь! Скоро и я буду в Америке!..

XX. Орава расплзается

1

Со дня на день орава эмигрантов становится все меньше и меньше, и Антверпен превращается в пустыню. В субботу уезжает масса эмигрантов, и все в Америку.

Уезжает с ними и мой товарищ Мотл Большой, тот самый, который научил меня «показывать губернатора», говорить животом и тому подобным вещам.

Не знаю, что такого увидел в нем мой брат Эля, но он его терпеть не может. Я думаю, что виновата Броха. У моей золовки манера подслушивать, когда говорят, подсматривать, когда смеются. Ей надо знать, почему мы смеемся! А может быть, мы смеемся над тем, что Пиня все время таскает из карманов пряники и конфеты и жует? А может быть, над фельдшером Бибером, который хвастается перед эмигрантами и так врет, что можно со смеху умереть?

Однако на этот раз она была права. Мы устроили настоящую комедию, представили ее мамашу — пекарку Ревеле — с ее ротондой. Днем и ночью она только и говорит что о своей ротонде, которую украли на границе, рта не закрывает.

Можете себе представить, что даже моя мама не выдержала и сказала:

— Ох, сватушка! Если бы я вздумала столько говорить о своей постели и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ротонде...

А пекарка Ривеле отвечает своим басом:

— Сравнили тоже!..

— Что же, у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама.

— Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

— Не понимаю, — говорит мама, — что это за разговор?

— Как аукнется, так и откликнется! — отвечает Ривеле.

— Сватушка! Я чем-нибудь задела вашу честь? — спрашивает мама.

— Кто говорит, что вы задели мою честь?

— Что же вы говорите «сравнили»?

— А разве можно сравнивать? — возмущается Ривеле. — Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей постелью, с вашими подушками!..

— А у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама.

— Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

И снова то же самое, и опять то же самое!

Комедия, да и только!

Разумеется, мы вдвоем, то есть я, Мотл Маленький, и мой товарищ, Мотл Большой, в тот же вечер и договорились:

— Знаешь что? Я буду пекарка Ривеле, а ты будешь твоя мама... Будем представлять... Но только говорить надо теми же словами и теми же голосами. Я буду говорить басом, как пекарка Ривеле, а ты — плаксивым голосом, как твоя мама.

И вот оба Мотла нарядились. Один надел парик, а другой — платок. Созвали всю ребятню: тринадцатилетнего Мендла, сестричку золочки — Алту, Голделе с больными глазами и других эмигрантских мальчиков и девочек.

И мы принялись за работу.

Мотл Маленький (*плаксивым голосом*). Ох, сватушка! Если бы я вздумала столько говорить о моей постели и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ротонде...

Мотл Большой (*басом*). Сравнили тоже!..

Мотл Маленький. Что же, у меня подушки краденые, что ли?

Мотл Большой. Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

Мотл Маленький. Не понимаю, что это за разговор?

Мотл Большой. Как аукнется, так и откликнется!

Мотл Маленький. Сватушка, я чем-нибудь задела вашу честь?

Мотл Большой. Кто говорит, что вы задела мою честь?

Мотл Маленький. Что же вы говорите «сравнили»?

Мотл Большой. А разве можно сравнивать? Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей постелью!

Мотл Маленький. А у меня подушки краденые, что ли?

Мотл Большой. Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

Но поди угадай, что как раз в эту минуту отворятся двери и на пороге окажутся гости: моя золовка Броха с ее мамашей, пекаркой Ривеле, с отцом — пекарем Ийной, и их сыновьями, моя мама, мой брат Эля, Пиня со своей женой, желтозубый фельдшер Бибер и еще какие-то мужчины и женщины!

Первым делом моя золовка Броха доложила, что я передразниваю всех на свете. Ей хотелось, чтобы весь свет со мной разделался.

Однако весь свет разделяться со мной не пожелал. С меня было довольно одного брата Эли. Рука у него сухая и костлявая. Если он отпустит вам сегодня вечером пощечину, у вас следы на щеке будут видны и послезавтра утром.

— Надо этих обоих Мотлов разлучить! — решила Броха.

И мой брат Эля сказал строго, что, если только увидит нас вдвоем, он из меня котлету сделает! Хотел бы я видеть, как он из меня котлету сделает? Он забывает, что есть на свете мама, которая скорее даст выцарапать свои больные глаза, чем допустит, чтоб из меня котлету сделали.

С маминими глазами дело обстоит неважно. То есть скверно, очень скверно! Говорят, что ее не пустят на пароход ни за миллион! Надо бежать из Антверпена. Здесь врачи — злодеи! Смотрят прямо в глаза и чуть заметят у вас трахому — кончено! Нет у них ни к кому ни уважения, ни жалости! Придется нам ехать в Америку другим путем. Каким — еще не знаем. Путей-то много, было бы с чем ехать. Похоже на то, что в кармане у моего брата Эли уже «светает». Весь капитал, который мы выручили за нашу половину дома, ушел на врачей и фельдшеров — все из-за маминих глаз. Я подслушал однажды, как мой брат Эля сказал, обращаясь к Пине:

— Дотащиться бы нам как-нибудь до Лондона!

Я, конечно, предпочел бы ехать прямо в Америку, а не в Лондон. Наша соседка Песя-толстая со всей своей оравой давно уже в Америке. Они уже «делают жизнь».

Ваши небось уже разгуливает по улицам, заложив руки в карманы, и грызет орешки. Наши родичи — пекарь Иойна с женой, с сыновьями и с моей невестой Алтой — не могли дождаться маминых глаз и уехали в Америку одни.

Ох, что творилось в тот день в Антверпене! Мы не позволили маме идти к пароходу, потому что при расставании с родственниками она будет плакать и вконец погубит свои глаза.

Но что толку? Она еще сильнее плакала. Она твердит, что мы лишаем ее единственного утешения — хотя бы выплакать свое горе, сердце облегчить!.. Но кто ее слушает?

5

Знаете, кто рад отъезду наших родичей? Ни за что не угадаете, — Голделе! Та самая девочка с большими глазами, родители которой уже больше года в Америке, а она все еще лечит глаза в Антверпене. Услыхав, что наши родственники собираются уезжать, она чуть в пляс не пустилась. В чем дело? Она терпеть не может Алту, которую мне когда-то прочили в невесты. Не любит она ее за чванство. Голделе ненавидит зазнаек.

— Твою невесту с рыжими косичками я видеть не могу: она гордячка! — сказала мне однажды Голделе. При этом лицо у нее пылало, как огонь.

— Откуда у Алты взялись рыжие косички, когда они вовсе черные? — удивился я.

Но Голделе еще пуще рассердилась, расплакалась и сказала:

— Рыжие! Рыжие! Рыжие!

Когда Голделе сердится, ее лучше всего оставить в покое, пока она отойдет. Уляжется гнев — ее узнать нельзя. Со мной она совсем как сестра. Рассказывает мне обо всем: как она работает в гостинице, подметает комнаты, кормит кур, нянчит ребят (хозяйка, у которой она живет, долгое время не имела детей; сейчас господь подарил ей сразу двойню). Затем Голделе рассказывает, как она ежедневно ходит лечить глаза и как доктор делает ей прижигание тем же синим камнем, что и другим больным.

— Эх, был бы у меня свой собственный камень, может быть, я увидела бы когда-нибудь своих папу и маму...

Так говорит Голделе, и на ее больные глаза навертываются слезы. У меня сердце разрывается. Не могу я слышать, как она говорит о своих родителях. Не могу видеть, как она плачет.

Я говорю ей:

— Знаешь, Голделе. Вот я еду в Америку. Я там сделаю жизнь и пришлю тебе оттуда синий камень.

— Не обманешь? Поклянись верой и правдой! — отвечает Голделе.

Я клянусь верой и правдой, что не забуду о ней. Как только господь мне поможет, как только начну «делать жизнь» в Америке, сейчас же вышлю ей синий камень.

6

Я уже знаю наверное, что в субботу утром мы едем в Лондон. Мы уже готовимся в путь. Моя мама, золовка Броха и Тайбл ходят из гостиницы в гостиницу прощаться с эмигрантами. И не столько прощаться, сколько излить свою душу перед другими людьми.

Что же оказывается? Нам еще грех жаловаться! Есть среди эмигрантов такие злосчастные, которые нам завидуют. Об их горестях даже не расскажешь. Все они у себя дома были зажиточными людьми, у всех был дом — полная чаша. У всех столовались нищие. Все они желают иметь столько, сколько у них отобрали. Все удачно выдали замуж и женили своих детей... А теперь все они нищие.

Странные люди! Мне уже приелись все эти истории. Раньше, бывало, как услышу про погром, я сразу настораживаюсь. Теперь я удираю. Мне больше нравятся веселые истории. Был у нас один веселый человек, хоть и лгун ужасный, — фельдшер Бибер, но и он уже в Америке.

— Небось врет там почему зря! — говорит Пиня.

— Долго ему врать не дадут. Не беспокойтесь. В Америке таких не любят... Там лгун хуже вора! — отвечает Эля.

— А почему ты знаешь? — спрашивает Броха.

И начинается канитель: я и Пиня поддерживаем брата Элю, а Тайбл держит сторону Брохи. Одни говорят одно, другие — наоборот.

Мы, мужчины: Америка — страна сплошной правды!..

Они, женщины: Америка — страна сплошных лгунов!
Мы, мужчины: Америка зиждется на правде, справедливости и сострадании!

Они, женщины: воровство, разбой, шарлатанство!..
К счастью, вмешивается мама.

— Детки, — говорит она, — к чему вам ссориться из-за Америки, когда мы еще в Антверпене?

Она, конечно, права. Мы все еще в Антверпене. Но уже ненадолго. Скоро-скоро мы уезжаем в Лондон. Все разъезжаются, все эмигранты, вся орава.

Что станет с Антверпеном?!

XXI. Прощай, Антверпен!

1

Ни один город мне не было так жалко покидать, как Антверпен. И не столько город, сколько людей. И не столько здешних людей вообще, сколько ораву эмигрантов. И не столько саму ораву, сколько моих товарищей и подруг. Многие уехали раньше нас. Вашти, Алта, Мотл Большой давно уже в Америке — делают жизнь. Остался один Мендл (Броха прозвала его «лошаком»), да еще Голделе — девочка с больными глазами. И больше никого. Что будет делать «Эзра», которая помогает эмигрантам? Кому она будет помогать? Затем жаль мне и сам Антверпен. Я буду скучать по Антверпену. Славный город, славные люди! Все торгуют брильянтами. Все посятся с камнями. Все знают одно дело: резать, гранить, шлифовать камни. Кого ни встретишь — либо камнерез, либо гранильщик, либо шлифовщик. Многие мальчишки из нашей оравы остались здесь и стали камнерезами. Если бы мы не рвались так в Америку, меня бы тоже отдали учиться, сделали бы камнерезом. Моему брагу Эле нравится это дело. Нашему другу Пине — тоже. Будь они помоложе, они, говорят, и сами принялись бы за работу — камни шлифовать. Броха смеется над ними. Она говорит, что драгоценные камни хорошо носить, а не шлифовать. Жена Пине тоже такого мнения. Тайбл и сама не прочь носить камни. Каждый день они ходят разглядывать витрины и налюбоваться не могут на брильянты и алмазы, которые валяются, как мусор.

У женщин голова кругом идет, в глазах все мелькает. Выдержать не могут! Пиня смеется над ними. Он говорит, что все эти камни для него выеденного яйца не стоят. А те, что гонятся за ними, кажутся ему сумасшедшими. Думаете, он стихов про них не сочинил? Вот как они начинаются:

Антверпен — город камней!
Знает об этом весь свет.
Кругом полно богачей, —
Нищих в Антверпене нет!
Замечательная страна!
Алмазам — грош цена.
Брильянтов здесь больше всего!
Драгоценностей? Уйма различных!
Не хватает им лишь одного —
. Наличных...

Дальше не помню.

2

Запомнить все стихи, которые сочиняет Пиня, — надо иметь министерскую голову! Мой брат Эля ругается с ним из-за этого. Он говорит, если в «Эзре» узнают, что мы сочиняем стишки про Антверпен, нас выгонят из города. А мы и перед отъездом крепко надеемся на то, что «Эзра» нам чем-нибудь поможет.

Мы ходим туда каждый день. Мы там свои люди. Девушка, которая записывает в книгу, фрейлейн Зайчик, знает всех нас по именам. Меня она любит как родного, с мамой она как сестра. Можете представить, какова она, если даже Броха считает, что у барышни Зайчик добрая, еврейская душа. Вся орава эмигрантов в нее влюблена. И особенно за то, что она разговаривает с ними не по-немецки, а по-еврейски. Остальные все говорят только по-немецки, хоть ты им кол на голове теши! Пиня заявляет, что страна эта немцам не принадлежит и что евреи могли бы здесь говорить по-еврейски. Ничего бы им от этого не сделалось. Но все евреи по эту сторону границы не любят еврейского языка. Даже нищие и те говорят здесь по-немецки. С голоду помирать будут, лишь бы по-немецки! Так говорит Броха и торопит, чтобы мы скорее ехали в Лондон. Ей уже надоел Антверпен и здешний язык. На каждом шагу только и слышишь: «Брильянты! Алмазы!» Все таскают полные карманы камней. А нам хоть бы один брильянт перепал!

— Потерял бы кто-нибудь парочку алмазов, а я бы их нашла! — говорит Броха, и глаза у нее при этом горят.

Не знаю, почему Броха так сохнет по алмазам и брильянтам? Я отдал бы вам все камни на свете за один ящик с красками и с кисточкой для рисования. Недавно я нарисовал пароход, битком набитый эмигрантами, и подарил этот рисунок Голделе. Она показала его барышне Зайчик, а та показала всем в «Эзре». Увидал это брат Эля, и опять мне досталось:

— Человечки?! Перестанешь ты когда-нибудь человечков малевать?

Давно уже Эля не колотил меня так. Я рассказал об этом Голделе, а она — барышне Зайчик. Тогда барышня Зайчик поймала моего брата и стала выговаривать ему за то, что он меня бьет. Брат Эля выслушал, вернулся домой и тогда только задал мне по-настоящему. Он говорит, что должен выбить из меня эту дурь — малевать «человечков».

3

Сегодня мы в последний раз были в «Эзре». Что мы там делали, я не знаю. Брат Эля о чем-то толковал. Пиня размахивал руками. Броха вмещивалась в их разговор, мама плакала. «Эзровцы» тоже что-то говорили, — по-немецки, разумеется. Их было трое, и каждый из них щеголял своим немецким языком... О чем они говорили, я понятия не имею! Мысленно я уже на корабле, на море, в Лондоне, в Америке... Но в эту минуту прибегает Голделе и единым духом:

— Едешь?

— Еду!

— Когда?

— Завтра.

— Куда?

— В Лондон.

— А оттуда?

— В Америку.

— А я остаюсь здесь с больными глазами, а мои родители, бог весть, увижу ли я их когда-нибудь!

Голделе плачет. У меня сердце щемит. Хочу ее утешить, — нет слов. Смотрю на нее и думаю: «Господи боже мой! Чего ты хочешь от этой девочки? Что она тебе плохого сделала?»

Беру ее за руку, ласкаю:

— Не плачь, Голделе! Вот увидишь, приеду я в Америку, устроюсь и первым делом вышлю тебе синий камень для глаз. А потом я вышлю тебе шифскарту, то есть половину шифскарты, — ведь тебе еще десяти лет нет. Приедешь в Америку, а там в «Кестл-Гартл» тебя будут ждать папа и мама. Я тоже буду там. Как будешь подъезжать к Америке, смотри на «Кестл-Гартл» в оба и ищи меня глазами. Я буду держать в руках вот этот карандаш! Видишь? Увидишь в Америке мальчика с таким карандашом в руках, — так и знай, что это я, Мотл. Потом, когда выйдешь на берег, поцелуешься с папой и мамой. Но домой ты с ними не пойдешь. Ты отдашь им свои вещи, а сама пойдешь со мной — Америку смотреть. Я покажу тебе всю Америку, потому что буду уже знать там все вдоль и поперек. Потом приведу тебя домой к твоим родителям, будешь с ними ужинать, свежий бульон...

Голделе не стала слушать дальше. Она бросилась ко мне на шею и начала меня целовать. А я — ее.

4

Манера, доложу я вам, у этой Брохи: появляется где не надо. Принесла ее нелегкая как раз в ту минуту, когда я прощался с Голделе! Она ничего не сказала, ни полслова не проронила. Протянула только своим басом на целых три версты:

— Во-о-о-о-т оно что-о-о-о!..

Потом как-то по-особому поджала губы и покрутила носом. Да еще кашлянула при этом: «К-хм!» И отправилась прямо к моему брату Эле.

Что она ему говорила, я не знаю. Знаю только, что, когда мы вышли из «Эзры», он закатил мне пощечину, да такую, что у меня в обоих ушах зазвенело.

— За что? — спросила мама. — Что случилось?

— Он знает за что! — ответил Эля, и мы все пошли в гостиницу.

А там — шум, сутолока. Надо укладываться. Я люблю смотреть, как укладываются. Мой брат Эля — мастер по упаковке. Он снимает кафтан и начинает командовать:

— Давайте сюда грязное белье! Мама, чайник! Броха! Шляпу давай! Скорей! Калоши! Пиня, слепая курица,

не видишь, что ли? Вот они, калоши, у тебя под самым носом! Мотл, чего стоишь как истукан? Помогай! Только человечков умеешь малевать!

Это уже относится ко мне. Я бросаюсь со всех ног, начинаю швырять все, что под руку подвернется. Эля вспыхивает, хочет меня побить. Но за меня заступается мама:

— Чего ты хочешь от ребенка?

Брохе не нравится, что мама называет меня «ребенком», и она с нею ссорится. Но мама ей напоминает, что я сирота, и хочет начать плакать.

Тогда говорит Эля:

— Плачь! Плачь! Выплачь все, что осталось от твоих глаз!..

Сейчас покидаем Антверпен.

Прощай, Антверпен!

XXII. Лондон, почему ты не сгоришь?

1

С тех пор как живу на свете, я не бывал на такой ярмарке, как в Лондоне. То есть не в Лондоне есть ярмарка, а сам по себе Лондон — ярмарка. Стук, звон, свист, грохот... А людей — будто маку насыпали, будто мошकारа налетела! Откуда берется столько людей и куда они все спешат? Не то голодные, не то уезжать собираются... Иначе непонятно: зачем так толкаться, орудовать локтями, опрокидывать людей и топтать их? Это я говорю о Пине. Наш друг Пиня, как вы помните, очень близорук. К тому же он всегда задирает кверху голову и ходит, как стреноженный. Человек он рассеянный, мысли у него витают в облаках.

Первое приветствие он получил на станции. Не успели мы вылезти из вагона, как случилось несчастье. Первым выскочил Пиня. Одна штанина задрана, чулок спущен, галстук, как всегда, на спине.

Никогда я не видал Пиню в таком состоянии. Он был как в жару. Начал, по своему обыкновению, сыпать непонятными словами: «Лондон! Англия! Дизраэли! * Бокль! «История цивилизации»!..» Успокоить его было невоз-

можно. И не прошло и двух минут, как наш друг Пиня лежал уже на земле, а люди шагали через него, как через полено. К счастью, жена его, Тайбл, подняла крик:

— Пиня, где ты?

Мой брат Эля бросился в толпу и вытащил его, помятого и потертого, как поношенная шляпа. Это было первое происшествие. Второе случилось в тот же день, в городе, и как раз на еврейской улице, которая носит странное название «Уайтчепель». Здесь продают рыбу и мясо, молитвенники, яблоки, квас, торты и пряники, нарезанные куски селедки, талесы, лимоны, шерсть, яйца, рюмки, горшки, калоши, лапшу, веники, свистульки, перец, веревки, точь-в-точь как у нас. Даже грязи ничуть не меньше. И пахнет так же, а порой — и хуже. Мы ужасно обрадовались, когда увидели этот Уайтчепель. А Пиня даже чересчур обрадовался.

— Бердичев! — раскричался он. — Помилуйте, друзья мои! Мы не в Лондоне, мы в Бердичеве!

Ну и показали же ему «Бердичев»! Я думал, что его в больницу отвезут. С тех пор Тайбл не отпускает его от себя ни на шаг.

Я смотрю на Уайтчепель и думаю: «Господи! Если в Лондоне такая кутерьма, то что же тогда в Америке?»

Однако поговорите с Брохой, — она вам скажет, что Лондон мог бы сгореть до того, как мы сюда приехали. С первой минуты она возненавидела этот город!

— Разве это город? — говорит она. — Это ад! Огонь мог бы пожрать его еще в прошлом году!

Мой брат Эля пытается оправдать Лондон, найти в нем достоинства. Но ничего не помогает. Броха мечет громы и молнии и желает этому городу сгореть. Тайбл ее поддерживает.

Мама говорит:

— Авось бог смилостивится, и Лондон будет нашим последним испытанием.

И только мы втроем — я, Эля и Пиня — самого высокого мнения о Лондоне. Нам нравится именно эта сутолока, этот шум и грохот.

Что нам этот грохот? Пускай грохочет! Не нравится нам то, что мы околачиваемся без дела. Ищем комитет и не можем его найти.

Кого ни спросишь, — либо не знает, либо не желает отвечать. Всем некогда, все заняты. Бегут! Но комитет нам нужен обязательно! Без комитета нам не обойтись.

Нам не на что добраться до Америки. Карман моего брата Эли опустел. Деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, расползлись, как дым.

— Что ты будешь делать со своим карманом? — шутит Пиня.

Эля сердится. Он шуток не любит. Он полная противоположность своему товарищу Пине. Эля — плаксивая душа. Пиня называет его «замороженный хозяйчик»...

Пиню я люблю за то, что он всегда весел. А с тех пор как мы приехали в Лондон, он повеселел еще больше. Он говорит, что там, в Кракове, во Львове, в Бродах, в Вене, в Антверпене, приходится объясняться по-немецки. А здесь, в Лондоне, — удовольствие. Здесь можно говорить по-еврейски, как дома, то есть наполовину по-еврейски, наполовину по-русски.

Но здешний язык еще хуже немецкого. Броха говорит, что она одного немца на трех англичан не променяет.

— Где это, — говорит она, — слыхано, чтобы улица называлась «Вайтчепель», а деньги — «айпени», «тапени», «трипени»?

Есть еще одно слово, означающее деньги: «файф». С этим словом связана целая история, случившаяся с нами. Если хотите, расскажу.

2

Вы уже знаете, что мы в Лондоне разыскиваем комитет. Отыскать в Лондоне комитет — все равно что иголку в стог сена найти. Есть, однако, бог на свете. Идем мы однажды по Уайтчепелю. Было это в сумерки. То есть не в сумерки, а днем. Но в Лондоне не бывает ни дня, ни утра — здесь всегда сумерки.

И вот встречает нас человек в короткой куртке, в какой-то чудной шапке, с любопытными глазами.

— Готов побожиться, — говорит он, — что вы евреи...

— Конечно! Разумеется! Да какие еще евреи! — отвечает Пиня.

— Не хотите ли богоугодное дело сделать? — спрашивает он.

— Например?

— У меня сегодня йорцайт*. Уйти из дому в синагогу я не могу. А чтобы помолиться дома, не хватает

нескольких человек для миньена *. Этому пареньку уже исполнилось тринадцать?

Это он — обо мне. Я доволен, что он назвал меня пареньком и думает, что я уже взрослый.

Взобрались мы с ним в темноте по лестнице и вошли в темную комнатушку, битком набитую мордастыми малышками, пропахшую жареной рыбой. Миньена еще не было. Не хватало семерых. Наш новый знакомый попросил нас посидеть, а сам выскочил на улицу — ловить желающих помолиться. Несколько раз пришлось ему бегать на улицу, пока он сколотил миньен. Тем временем я успел познакомиться с мордастыми ребятами и заглянуть в печь. Там жарилась рыба. Слово «жарить» здесь говорят так, что по-нашему получается «радоваться». Не понимаю! Рыба, что ли, очень радуется тому, что ее жарят? Так или иначе, но «радующаяся» рыба вовсе не так плоха, как это хочет представить моя золовка Броха. Во всяком случае, если бы мне сейчас предложили кусок этой рыбы, я бы очень обрадовался. Думаю, что и сама Броха тоже не отказалась бы. Мы все целый день ничего не ели. Уже несколько дней, как мы кормимся только селедкой и редькой. Наш хозяин поступил бы очень разумно, если бы предложил нам остаться и закусить. Но он, видать, и не догадывался о том, что мы голодны. Откуда я знаю? Очень просто: как только кончилось моление, а хозяин отхватил «Кадиш», он поблагодарил нас за труд и сказал, что мы свободны.

Однако мой брат Эля захотел воспользоваться случаем. Он завел разговор о комитете, поглядел при этом на жареную рыбу и проглотил слюну.

Хозяин, держась за двери одной рукой и размахивая второй, стал рассказывать о комитете невеселые вещи. Сначала он заявил, что вообще никакого комитета нет. То есть имеется комитет, и даже не один, но лондонские комитеты не так-то просто выдают деньги. Чтобы получить помощь от лондонского комитета, вам придется основательно побегать, представить документы и свидетельства, что вы действительно эмигрант и действительно едете в Америку. Потому что имеется много эмигрантов, которые только говорят, что едут в Америку. А затем, когда вы все предьявите, комитет может выдать вам некоторую сумму только на обратный путь, то есть на проезд обратно домой. Потому что лондонские комитеты относятся к Америке очень холодно.

Услыхав такие речи, мой брат Эля рассердился (вы же знаете, что он вспыльчив). А о Пине и говорить нечего. Он загорелся и пошел сыпать по-своему:

— Как можно? Какое полное право они имеют посылать нас обратно? Как им не стыдно? Здесь, в стране цивилизации?..

Но хозяин перебил его, отворил двери и сказал:

— Говори — не говори... Все равно. Вот вам адрес комитета, съездите туда, тогда сами увидите, что все ол райт!

3

Когда мы вышли на улицу, нас преследовал запах жареной рыбы. Все мы думали о ней, хотя никто, кроме Брохи, ни слова не сказал об этом. Зато Броха не поскупилась на добрые пожелания:

— Чтоб они подавились, господи боже мой, своей жареной рыбой, от которой несет за версту!..

— Чего ты хочешь от них? — возражает мама. — Порядочные люди! Живут, несчастные, в таком аду... И все же в поминальный день заботятся о миньене...

— Свекровь! — не перестает возмущаться Броха. — Пусть они сгорят вместе с их йорцайтом и их жареной рыбой! Останавливают незнакомых людей, зазывают их к себе в дом, а нет того чтобы дать ребенку кусок жареной рыбы, хотя бы из приличия...

Это она меня имеет в виду. Только что наш новый знакомый принял меня за тринадцатилетнего, а сейчас я для Брохи стал «ребенком»... «Да и вообще, хороши времена, если Броха стала заступаться за меня!» — подумал я.

Вшестером отправляемся в комитет. Наш негостеприимный хозяин посоветовал, чтобы мы не шли пешком, а сели в трамвай и поехали прямо туда. Но беда с этими лондонскими трамваями: они не любят останавливаться. Как ни маши им руками, они делают свое дело — бегут. Бежать за ним следом — напрасный труд: не догонишь. К счастью, над нами сжалился какой-то англичанин с бритыми усами. (Если увидите человека с бритыми усами, знайте — это англичанин.) Англичанин, увидев, что мы машем руками, а трамвай пробегает мимо, отвел нас к какой-то церкви и знаками объяснил, что тут надо подождать. И действительно! Не прошло и

минуты, как подошел трамвай и остановился. Мы все вошли и поехали.

В ту же минуту к нам подошел кондуктор и потребовал, чтобы мы взяли билеты. Пиня вышел вперед и спросил:

— Сколько?

— Файф! — ответил кондуктор.

Пиня еще раз спросил:

— Сколько?

— Файф! — повторил кондуктор уже с раздражением.

Тогда Пиня обращается к нам:

— Что такое? Вы слышите? Он велит нам свистеть!..

Мой брат Эля подошел к кондуктору и при помощи рук переспросил, сколько стоит проезд.

Кондуктор рассвирепел:

— Файф!

Пиня расхохотался, а Эля тоже вскипел и крикнул кондуктору:

— Сам свисти!..

Тот не выдержал и дернул за веревку, остановил трамвай и вышвырнул нас с такой злобой, как если бы мы намеревались зарезать его и отобрать сумку с деньгами.

А на поверку оказалось, что «файф» по-ихнему это пять.

— Ну, посудите сами, не должен ли сгореть такой город? — спрашивает Броха, и мы отправляемся в комитет пешком.

4

В лондонском комитете весело, как и во всех других комитетах. Во дворе валяются эмигранты, словно кучи мусора, а в комнате сидят люди, курят сигары и говорят один другому: «Ол райт!»

Разница в том, что немецкие комитетчики носят усы, закрученные кверху, и говорят по-немецки, а лондонские комитетчики сбрили наголо усы и бороды и говорят: «Ол райт!» Комедия, да и только.

Мужчины ходят бритые, а женщины носят парики. И не только женщины, даже девицы носят накладные волосы с буклями, у всех у них огромные зубы, и безобразны они до того, что с души воротит.

Тем не менее они смеются над нами, указывают на нас пальцами и так визжат, что слушать совестно.

Две девицы остановили нас посреди улицы и пристали к моему брату Эле, чтобы он пошел в «барбер-шап». Тогда мы не знали, что это значит. Теперь мы знаем: идти в «барбер-шап» — значит остричься и побриться.

Странные существа! Сами ходят забрызганные грязью по самую шею, жрут на улице жареную рыбу, от которой разит за версту, и терпеть не могут волос. Пьют они тоже основательно, только на улицах не валяются, как у нас. Им не позволяют.

— Вообще, — говорит Броха, — страна неплохая, только что гореть не хочет.

— Какая тебе польза будет от того, что она сгорит? — спрашивает Эля.

В ответ Броха обрушивается на моего брата. Она, если захочет, может. Бывает так, что она молчит, слова ни с кем не вымолвит, но иной раз прорвет ее, — тогда либо уши ватой затыкай, либо беги куда глаза глядят. Передаю вам ее речь слово в слово:

— Что ты заступаешься за этот хваленый Лондон с черным небом, с бритыми мордами, с замечательным Уайтчепелем, с радующейся рыбой, со старыми девами в буклях и в задрипанных юбках, с нищими, которые пьют джинджер — пиво, с кондукторами, которые приказывают свистеть, с праведниками, которые справляют поминальные дни и скупаются на глоток воды? Такой город обязательно должен сгореть!

Броха выпаливает все это единым духом и, сложив, как на молитве, руки, добавляет:

— Лондон, почему ты не сгоришь?!

Боже мой, когда же мы будем в Америке?..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В АМЕРИКЕ

I. Поздравьте нас, мы уже в Америке!

1

Нас можно поздравить, — мы уже в Америке. То есть говорят, что мы уже в Америке. Америки мы еще не видали, так как пока что находимся в «Кестл-Гартл». То есть так это когда-то называлось. Теперь это называется не Кестл-Гартл, а Элис-Айленд. Почему Элис-Айленд?

— Потому что владельцем этой земли был когда-то некий Эля — дурак и пустомеля! — говорит наш друг Пиня, по своему обыкновению, в рифму.

Пиня вообще ужасно зол на этот Элис-Айленд. Почему здесь задерживают эмигрантов-бедняков, а богатых сразу же по прибытии свободно пускают на берег? Это пристало бы русским жандармам, а не такой стране, как Америка! Здесь все должно быть равны. Чтобы не было ни богатых, ни бедных.

И Пиня начинает сыпать: «Колумбус, Шекспир, Бокл, цивилизация!» Он собирается написать об этом стихи и разделаться с американцами по-своему! Он им покажет! Беда только, что у него нет ни пера, ни чернил, ни клочка бумаги.

Мой брат Эля говорит, что если Пине не нравится страна, он волен ехать обратно. Впрочем, вы помните,

что Пиня и Эля редко бывают согласны. Что бы один ни сказал, другой будет утверждать обратное. «Зима и лето» — называет их моя золовка Броха и тут же получает основательную порцию от своего мужа. Эля называет ее «коровой», «взбалмошной козой» и другими именами, которые не стоит повторять. А мама говорит своей невестке, что там, где две кошки дерутся, человеку вмешиваться не следует, — как бы не оцарапали...

2

Что мы делаем в Элис-Айленде? Ждем, покуда придут из города знакомые и родственники и нас выпишут. Хотя выписывали нас уже несколько раз. Нас переписывали, записывали и выписывали при посадке на пароход, потом на самом пароходе и теперь, когда нас высаживали. Каждый раз одно и то же: кто мы такие? Куда едем? Кого имеем в Америке?

Рассказываем, что жил на свете кантор Пейся. Умер, оставил вдову — нашу маму. Есть у нее сын — Эля. У него жена Броха. А это вот его товарищ — Пиня. Это его жена — Тайбл. А я — самый младший, зовут меня Мотл. Вот мой товарищ — Мендл. А так как он большого роста, Броха прозвала его «лошаком».

Кто у нас в Америке? Да чуть ли не вся Америка — наши знакомые и друзья. Прежде всего — переплетчик Мойше и его жена Песя-толстая, наша соседка. У них орава ребят, и у каждого свое имя и прозвище. Считаем по пальцам: Пиня — Колодка, Велвл — Кот, Мендл — Черногус, Хаим — Буйвол, Файтл — Пе-те-ле-ле, Гершл с желваком на лбу, которого прозвали Вашти...

Но тут нас перебивают и говорят:

— Хватит детворы! Старших! Старших давайте!

Даем старших, перечисляем их по именам: пекарь Иойна — человек сердитый. Раз. Жена его, пекарка на границе. Услыхав слово «граница», мама вспоминает о наших пропавших вещах, спрашивает, нельзя ли их как-нибудь получить, начинает плакать. Тут на нее налетает Эля — зачем она плачет? Но мама говорит, что теперь она уже в Америке, что за свои глаза ей опасаться больше нечего, и, значит, она может плакать и плакать, сколько душе угодно.

То, что маму пропустили с ее глазами,— просто чудо! А то, что мы живы остались после путешествия по морю, — разве это не чудо? Сколько раз мы видели смерть перед глазами! Сколько раз уже прощались с жизнью!..

Вначале, когда мы сели на пароход «Принц Альберт», все было замечательно хорошо. Я и мой товарищ Мендл пустились гулять по «Принцу Альберту» вдоль и поперек. Никому так хорошо не было, как нам. Никогда у нас такой квартиры не было, как сейчас. Дом на воде! Трехэтажный дом на воде. Я однажды уже обрисовал его вам со всеми примечательностями. Представьте себе, вы сидите как будто бы в доме или гуляете, заложив руки в карманы, и в то же время едете! Кушаете и едете! Пьете и едете! А людей — столько людей перевидаешь! Целый город едет с вами. А так как все едут на одном пароходе и в одно место — в Америку, то вы знакомитесь со всеми, и все знакомятся с вами, и вы узнаете за день столько всякой всячины, сколько в другом месте и за год не узнаете.

Бог ты мой, сколько знакомств завели моя мама, Броча и Тайбл среди женщин! Но все это ничто в сравнении с количеством знакомых, которых приобрели мой брат Эля и его друг Пиня среди мужчин. Сколько они ни говорили — никак наговориться не могли. Женщины разговаривали о домашних делах: о кухне, о кладовой, о чистом и грязном белье, постели, о чулках, наволочках, ротондах... А мужчины — об Америке, о заработках, о Колумбусе, о гонениях и погромах.

Без гонений и погромов они никак обойтись не могут. А я уже давно говорил вам, что не терплю этого. Чуть заговорят о таких вещах, я ухожу. Беру за руку своего товарища Мендла, и мы отправляемся гулять по улицам «Принца Альберта».

«Принц Альберт» достаточно велик и красив. Каменные ступени, медные перила. Сталь и железо, куда ни глянь. Затем «люди», то есть прислуга! Их называют

«стюардсы» и «нойрсес». А матросы — как черти! Носятся во все стороны. Я и Мендл завидуем им. Мы даем себе слово, когда вырастем и станем большими, записаться в матросы.

Одно нехорошо на «Принце Альберте»: нас не всюду пускают. Стоит нам попытаться выбраться из третьего класса, в котором мы едем, как нас тут же прогоняют. Сами матросы! Они ужасно злые. Да и пассажиры высших классов тоже злюки порядочные. Не будь они злюками, они запретили бы матросам выгонять нас. И что им сделается? Съедем мы там что-нибудь, что ли? Мой товарищ Мендл вообще недоволен. Он не понимает, для чего нужны классы. В Америке, говорит он, нет никаких классов.

Если я не верю, то могу спросить у моего брата Эли. Но Эля не любит, когда задают глупые вопросы. Я лучше спрошу нашего друга Пиню.

Пиня как раз не прочь поговорить о таких вещах. Он может совсем вас заговорить. Его только затронь, — он, как заведенный будильник, не умолкнет, куда завод не кончится.

6

Пиню я застал на палубе. Он сидел, уткнувшись носом в книгу. Он так близорук, что читает не глазами, а кончиком носа... Я подошел к нему вплотную.

— Реб Пиня, хочу вас кое о чем спросить.

Пиня отвел нос от книги.

— Что скажешь, малыш?

Так называет меня Пиня, когда он ко мне расположен. А расположен он ко мне почти всегда, — даже когда ссорится с моим братом Элей, даже когда его жена Тайбл дуется.

Говорю ему, так, мол, и так. Правду ли говорят, что в Америке классов нет?

Надо было вам видеть, как загорелся Пиня, как он разгорячился, принялся ораторствовать, плевать, сыпать высокими словами: Америка — единственная страна настоящей свободы, настоящей справедливости! В Америке, говорит он, вот здесь можешь сидеть ты, а рядом с тобой — президент, подалее — нищий, побируша, ничтожество, а еще дальше — граф, князь, миллионер! Прогресс! Колумбус!..

Пиня только было собрался пустить в ход самые красивые слова, как его вдруг перебил какой-то эмигрант, совсем незнакомый:

— Если это и в самом деле, как вы говорите, такая счастливая страна, где все равны, — откуда же там берутся нищие и графы, побируши и вельможи? Одно из двух...

Но тут мы оставили Пиню с этим эмигрантом и другими пассажирами, — пускай себе дерутся, — лишь бы мы добились своего: узнали, что в Америке классов не существует. Выходит, стало быть, что Мендл прав. Он говорит, что классы надо ненавидеть. То есть что пассажиров высших классов надо ненавидеть!

Я не понимаю — почему? Что я могу иметь против них?

Но Мендл говорит:

— А чего они заперлись у себя во втором и в первом классе среди зеркал? Не пристало им, таким важным барам, сидеть вместе с нами здесь внизу? Или мы не такие же люди, как и они? Или бог у нас с ними не один и тот же?

Однако Мендл дождался-таки своего часа. Наступила ночь, когда вся знать, и второклассная и перво-классная, спустилась-таки к нам, в третий класс, и наступило всеобщее равенство.

Было это в ночь йом-кипур *, когда читают «Кол-ни-дрей» *.

7

Так как «Принц Альберт» вышел из Лондона в покаянные дни *, то справлять йом-кипур пришлось на пароходе. Накануне заговелись жареной картошкой — здесь это называется «петейтес». Кошерной кухни на «Принце Альберте» нет, вот и приходится нам все время питаться одной картошкой. Хлеба дают вдоволь. Чай и сахар бывают каждый день. Было бы совсем неплохо. Целый год можно так прожить. Однако моя золовка Броха говорит, что от этих «петейтес» живот разбухает. Но мало ли, что она может сказать? Ей не угодишь. Во всем она отыщет недостаток. Ей, например, и «Принц Альберт» не нравится за то, что он ползет. Где это слыхано, говорит она, чтобы поездка длилась десять дней? Ей отвечают, что виноват не пароход, а море. Наш друг Пиня принимается ей втолковывать, что моря

на земле втрое больше, чем суши. А мой брат Эля говорит, что не втрое, а вдвое. Что-что, а географию он лучше знает. На земле, говорит он, две трети воды и одна треть суши. Значит, моря вдвое больше. А Пиня говорит:

— Нет, втрое!

— Нет, вдвое!

— Втрое!

— Вдвое!

Начинается ссора, но не надолго: вскоре они мирятся.

8

Кто будет молиться у аналоя? Читать «Кол-нидрей»? Разумеется, мой брат Эля. Правда, кантором он никогда не был, но зато отец у него был кантором, известным кантором. Голос у него есть. Читает он хорошо. Что же вам еще надо?

К тому же наш друг Пиня способствовал тому, чтобы моего брата даже просили читать молитву. Он пустил по пароходу слух, нашептал каждому на ухо, что вон тот молодой человек с рыжей бородкой (Эля) — замечательный кантор. Молитвы он поет мастерски. А если ему еще поможет его братишка, вон тот малыш (это я), своим сопрано, то Судный день на пароходе будет такой, что нам сам бог и люди позавидуют!..

Сколько Эля ни умолял, чтобы его оставили в покое, как ни божился, что никогда в своей жизни в праздники у амвона не молился, ничего не помогло. Его чуть ли не силой притащили к амвону (поставили круглый столик и накрыли белой простыней), а меня Пиня так просто взял за ухо:

— А ну-ка, малыш, за работу!

И мы преподнесли пассажирам «Кол-нидрей», да так, что они небось запомнили надолго.

9

Дело не столько в «Кол-нидрей», сколько в других молитвах, и не столько в молитвах, сколько в плаче женщин и мужчин.

Вначале молящиеся только стонали, вздыхали, сморкались. Потом стали вытирать глаза, потом — потихоньку плакать, затем — все громче и громче, а потом уж вопить, причитать, падать в обморок.

Люди вспомнили о том, что всего год тому назад каждый из них жил у себя дома, молился в своей синагоге, на своем месте, у своего пюпитра, со своим молитвенником. Слушали своего кантора, своих певчих. А сейчас они скитаются, гонимые и преследуемые, как овцы, которых везут на убой, в тесноте, без воздуха...

Можете себе представить, какое у всех было настроение, если даже расфранченные пассажиры высших классов, в сверкающих цилиндрах на головах, и те не выдержали и прижимали шелковые платки к лицу, якобы вытирая пот. Но я-то хорошо видел слезы у них на глазах.

Всеобщая печаль была до того велика, что даже «стюардсы» и матросы почтительно стояли в стороне и наблюдали за тем, как люди в белых талесах, без обуви*, раскачиваются и плачут, — видно, достаточно горько у них на душе.

Мой брат Эля распелся вовсю. Я помогал ему. А поодаль, в углу, среди женщин стояла моя мама в праздничном шелковом платке, с молитвенником в руках и лила слезы в три ручья.

Маме теперь вольготно: настало ее время!

10

На следующий день мы постарались встать пораньше, чтобы начать моление вовремя. Однако ничего из этого не вышло. Невозможно было не то что молиться — стоять на ногах, нельзя было добраться до амвона. В глазах потемнело. Еле друг друга различали. Жизнь немила стала. Скверно, скверно, хоть умирай! Да, мы умирали.

Что произошло? Я сейчас очень устал, оставляю это до завтра.

II. Разверзлось Черное море*

1

Я начал было рассказывать вам, что приключилось утром Судного дня на пароходе «Принц Альберт». Это было страшное происшествие. Мы запомним его на всю жизнь.

Началось это с пустяков. Ночью, вскоре после «Кол-нидрей», на небе показалась небольшая тучка, плотное, черное облачко. Раньше других заметили это я и мой товарищ Мендл. Когда все еще были внизу и после вечерней молитвы плакали и читали псалмы, мы с Мендлом разгуливали по «Принцу Альберту». Потом, забравшись в уголок, сидели и молчали.

Было тихо, тепло и хорошо на душе. Только немного грустно. О чем думал Мендл, не знаю. Я думал о боге, восседающем вон там, на небе. Как велик должен он быть, если все это принадлежит ему! И о чем он думает, когда слышит стольких людей, читающих псалмы, восхваляющих его и изливающих перед ним свою душу? Мама говорит, что он всех видит и слышит. И все знает. Даже то, о чем я в эту минуту думаю. Нехорошо, если это так. Потому что только что я думал о вкусном яблоке, о сладкой груше или хотя бы о глотке воды, коллодной воды. От картошки все внутри горит, а пить нельзя. В йом-кипур, после «Кол-нидрей», кто станет пить воду? Эля убьет меня. Он хочет, чтобы я и вовсе постился до завтрашнего вечера. Мама говорит: «Посмотрим».

А пока что она разыскивает меня по всему пароходу и не может найти. Один из матросов сказал ей, что я и Мендл сидим на самом носу. Мама зовет:

— Мотл! Мотл!

— Что, мама?

— Как это — «что»? Спать иди. Завтра надо рано вставать! Забыл? Праздник...

Уходить не хочется. Однако надо ложиться спать!

2

Утром, когда мы проснулись, все небо было уже обложено. Море рассвирепело. Волны поднимались выше парохода и швыряли «Принца Альберта», словно щепку или игрушку. Матросы бегали взад и вперед, как затравленные мыши. «Стюардсы» держались за перила. Пассажиры ходили, прижимаясь к стенам, и падали чуть ли не на каждом шагу. Вдруг разразился ливень. Гром грохотал беспрерывно. Бог разъезжает на своей колеснице в самый йом-кипур!.. Молнии одна за другой освещали черное небо. «Принц Альберт» кряхтел,

раскачивался, поднимался и опускался. А дождь хлестал! Что это? Потоп? Но ведь бог дал клятву, что потопа на земле никогда больше не будет... *

— «Разверзлось Чермное море», — говорит мой брат Эля и наш друг Пиня подтверждает:

— Да, как в Писании сказано...

Впервые, кажется, оба сказали одно и то же.

Слова эти, видно, понравились. Каждый раз, когда кто-нибудь из пассажиров поднимается и выглядывает наружу, он говорит, что действительно «разверзлось Чермное море». Затем человек как-то странно отбегает в сторону, отдает материнское молоко и исчезает...

Какое там моление? Где уж там йом-кипур? Люди позабыли обо всем на свете.

3

В нашей семье почин положила Броха. Начала кричать, что она вот-вот умрет!.. Потом принялась проklinать моего брата Элю. Зачем он уговорил ее ехать в Америку? Она наперед знала, что Америка — это Сибирь! Хуже Сибири! Сибирь — золото в сравнении с Америкой!..

Мама хотела заступиться за своего сына, начала увещевать невестку, говорить, что человек должен уметь переносить все, потому что все от бога. Ведь вот в молитвеннике сказано...

Но что сказано в молитвеннике, она проговорить не смогла, так как ей вдруг сделалось нехорошо. Глядя на нее, упала в обморок Тайбл. Тогда выступил Пиня.

— Комедия с этими женщинами, честное слово! — произнес он, заложив руки в карманы и сдвинув шляпу набекрень. — Глупцы! Дурачье! Казалось бы, не все ли мне равно, бушует ли море, качает ли пароход? Человек, разумное существо, находит выход из положения. Когда пароход кренится сюда, я накренаюсь в другую сторону, пароход — туда, а я — в эту сторону... Это называется «баланц»...

И, кренясь то в одну, то в другую сторону, Пиня устроил такой «баланц», что сделалось дурно и моему брату Эле... Оба они вернули все, что ели когда-либо... То же было и с остальными пассажирами. Все они еле добирались до своих коек и валились, как снопы. И лишь после этого началось форменное светопреставление...

Мы с моим товарищем Мендлом держались дольше всех. У Мендла было средство, которому его научил один из эмигрантов, ехавших вместе с нами и все время дававший нам советы. Эмигрант этот — «тертый калач». Так он сам о себе говорил. Он уже трижды ездил по морю в Америку и обратно. Вот он и знает средство от моря. А средство это состоит в том, чтобы сидеть на палубе и смотреть не по ширине моря, а вдоль, и не думать, что едешь верхом на коне, а представлять себе, будто катаешься на санках по снегу.

Кончилось это тем, что наш «тертый калач» свалился полумертвый на свою койку, а я и Мендл промокли на палубе до нитки. Добраться до наших коек мы уже были не в силах. Нас взяли под руки и отвели на место.

Сколько времени все это продолжалось? День, два, а может быть, все три, — не знаю. Забыл уже. Знаю только, что, когда мы очнулись, жизнь на земле показалась нам радостной! Небо очистилось. Вода как стекло. «Принц Альберт» мчался, умытый, нарядный, рассекал колесами воду, поднимал пену, рассыпая во все стороны брызги. Пассажиры ожили, все от мала до велика вылезли наружу, на солнышко, на чудесный божий свет.

Кто-то пустил слух, что скоро покажется земля. Я и мой товарищ Мендл первые сообщили пассажирам добрую весть о том, что земля уже видна! Издали она казалась пятном, большим желтым пятном. Пятно увеличивалось, ширилось. А вот уже видать и корабли. Множество кораблей с высокими тонкими мачтами...

Все горести позабыты. Пассажиры оделись по-праздничному. Женщины принарядились. Мой брат Эля расчесал свою бороду. Броха и Тайбл повязали головы. Мама надела субботний шелковый платок. Мне и Мендлу надевать было нечего. Да и некогда. Мы уже подходили к берегам Америки. Посветлело в глазах, на душе стало весело.

Так должны были чувствовать себя евреи после перехода через Чермное море. Хотелось петь и славить бога.

— Привет тебе, Колумбус! Привет тебе, свободная страна! Золотая, счастливая держава!

Так приветствовал наш друг Пиня новую страну. Он даже шляпу снял и поклонился. А так как он близорук, то не заметил, что мимо бежит здоровенный, вспотевший матрос с красным закопченным лицом, и они столкнулись лбами. То есть нос нашего друга Пини пришелся матросу между глаз. К счастью, матрос оказался хорошим парнем. Посмотрел он на Пиню и на его разбитый нос, усмехнулся и пробормотал что-то в усы. Наверно, выругался по-американски.

Вдруг поднялась суматоха. Пассажирам третьего класса было предложено: будьте любезны спуститься обратно в свои клетушки. Займите ваши места. Сначала просили вежливо. А потом тех, кто не поторопился, стали подгонять тумаками.

И вот все уже внизу: мужчины, женщины, евреи, русские, турки, цыгане... Задохнуться можно. Двери заперли, повесили железную цепь. Мы только в окна можем видеть, что делается снаружи. Никогда мы так скверно себя не чувствовали, как сейчас. Мы сами себе казались пленными.

— За что? Почему? — спрашивает меня Мендл, и глаза у него при этом горят, так и пышут пламенем...

Оказывается, мы уже приехали. Прибыли в Америку. В чем же дело? Пассажиров первого и второго класса спустили по длинной лестнице, чуть ли не в сто ступеней. А что будет с нами? Ведь мы уже в Америке!

— Не про нас это сказано! — говорил один из пассажиров — портной из Гайсина.

Человек он вообще неплохой, только немножко нудный. Одет франтом, носит сильные очки, очень высокого мнения о себе и любит говорить наперекор. Только услышит, что вы говорите, и тут же скажет наоборот. Между

ним и нашим другом Пиней произошло уже несколько стычек. Эля с трудом их разнял. Портной дал себе слово больше не разговаривать с Пиней за то, что тот его оскорбил. Пиня обозвал его по-всякому: «портняжка», «латочник», «барахольщик»... И спросил, сколько он за свою жизнь наворовал «остатков»?..

Сейчас, когда нас заперли, портной вдруг разговаривался, пересыпая свою речь древнееврейскими словами:

— Что мы? Что наша жизнь? Кто мы такие? Что мы такое? Подобны битым черепкам... Мы как скот. Когда привозят скот, его надо осмотреть...

Тут на него налетел Пиня: сравнение ни к черту не годится! Прежде чем говорить об Америке, надо руки мыть! И начинает сыпать словами, по своему обыкновению. Он слышать не может, когда плохо отзываются об Америке.

Портной отвечает, что он об Америке не говорит ни хорошо, ни плохо. Он это только к тому, что все действительно замечательно, и чинно, и благородно, да только не про нас... Нас не так-то скоро выпустят...

Пиня выходит из себя. Он кричит:

— А что же с нами будут делать? Солить впрок?

— Солить нас не будут, — отвечает ехидно и с удовольствием портной, — но отведут в такое место, которое называется Элис-Айленд. Там нас запрут, как телят в хлеву, и будут держать, покуда нашим родичам и знакомым не заблагорассудится прийти за нами...

Пиня даже подскакивает:

— Удивительная история с этим человеком! Этот портняжка уже наперед знает обо всех несчастьях на свете! Не так чтобы стар, а опытен! Мы как будто и сами знаем, что существует Кестл-Гартл, то есть Элис-Айленд. Однако я ни от кого не слышал, что Элис-Айленд существует для того, чтобы там людей держали, как телят...

Чем дальше, тем больше горячится Пиня. Он наступал на портного, будто растерзать его хочет. Портной пугается и отходит в сторону.

— Тише! — говорит он. — Смотри пожалуйста! Зарезали его! Оклеветали его Америку! Не хотите — не надо! Вот станем старше на несколько часов, тогда помнем...

III. В заточении

1

Недаром наш друг Пиня невзлюбил Элис-Айленд, готов был сочинить о нем стихи и поссорился с моим братом Элей. Однако гнева своего Пиня не обнаруживал. Ему не хотелось, чтобы гайсинский портной знал о том, что он, Пиня, недоволен Америкой. Вот он и крепился. Но внутри у него все горело.

— Как же это? Помилуй! Запирать людей, словно скот, и держать их, как арестантов, как пленных! — говорил он шепотом моему брату Эле, когда нас доставили на Элис-Айленд.

Выходит, стало быть, что портной был прав. Он заранее предсказал, что так и будет. Правда, он немного хватил через край. Он говорил, что нас запрут в хлев, а привели нас в просторное, светлое помещение и кормили совершенно бесплатно, без денег.

Замечательные, приветливые люди! Но пока мы добрались до этого помещения, господи! По длинному мосту с дверцами по сторонам проходили мы поодиночке. На каждом шагу нас останавливала какая-нибудь новая напасть с бляхой на фуражке, осматривала, разглядывала, обыскивала, ощупывала...

Прежде всего нам выворачивали белой бумажкой веки наизнанку и осматривали глаза. Затем — все остальное. Каждый делал на нас пометку каким-то мелком и указывал рукой, куда идти — направо или налево. И только после этого мы попали в большую комнату, о которой я вам говорю. И только там мы нашли один другого. До этого мы так волновались, что потеряли друг друга. А перепуганы мы были, как телята, которых ведут на убой.

2

Чего мы, собственно, так пугались? Больше всего мы боялись за мамыны глаза: что будет с ее красными, заплаканными глазами? Оказалось, однако, что именно ее осматривали меньше всех остальных.

— Это он заступился за нас, отец ваш, царство ему небесное! — сказала мама, обнимая нас и плача от радости.

От радости она просто не знала, что делать! И брата моего узнать нельзя было. Обычно, когда начинается суматоха, когда едут, спешат, он все, что у него на душе, вымещает на мне. Затрещины сыплются, как из рукава, а Броха приправляет колотушки добрым словом...

Сейчас он будто кожу переменял. Достал из кармана и подарил мне «орендж», то есть апельсин, оставшийся с парохода. На «Принце Альберте» нам каждый день раздавали апельсины. Кто хотел, съедал, а кто не хотел, прятал свой апельсин подальше в карман, чтобы не увидели. Я свои не прятал. Как можно не съесть такую вкусную штуку?

Но громче всех выразил свою радость Пиня. Он сказал, обращаясь к нам:

— Ну? Кто умен? Я или вы? Не я ли говорил, что это враги выдумали, будто в Америку не пускают с заплаканными глазами? Бездельники, лгуны, клеветники, болтуны, злые языки, лодыри, мерзавцы! Они вам выдумают об Америке, что здесь другую веру принимать заставляют! Где он, этот гайсинский портняжка, черт бы его драл?..

Так Пиня снова поладил с Америкой.

3

В великой суматохе мы не заметили, что в нашей компании не хватает одного человека — моего товарища Мендла. Первая обнаружила это как раз Броха. Она хватилась и всплеснула руками:

— Горе мне! А где же «лошак»?

— Гром меня разрази! — крикнула мама, и мы все бросились искать Мендла. А Мендла нет как нет, словно в воду канул!

Позднее оказалось, что виноват был он сам. Во время опроса он запутался. Сначала он, как тогда в Германии, притворился немым, потом вдруг стал говорить ужасные глупости. Перво-наперво заявил, что ему всего десять лет. Потом пришлось сказать, что ему уже исполнилось тринадцать. А в конце концов он признался и рассказал чиновникам всю правду: что в Германии, при переходе через границу, родители его потеряли, а мы взяли его с собой. Адреса своих родителей он указать не может, потому что и сам его не знает. Если бы знал, где они

находятся, ему незачем было бы прибегать к чужим. Он бы и сам до них добрался.

Поэтому его вместе с другими такими же заперли в отдельной комнате. Потом их всех отошлют обратно.

4

Услыхав такую историю, мы все, конечно, решили заступиться за несчастного Мендла. Мама была вне себя. Ей придется отвечать за живого сироту. А вдруг она когда-нибудь встретит его родителей, — что она им скажет?

— Погодите, — говорит портной из Гайсина, — вы еще со своими делами не управились!..

— Здравствуйте, пожалуйста! — заявил Пиня, сердито поглядывая на портного. Он готов схватить его за глотку.

Но портной, не обращая внимания, продолжает предсказывать, как будто его спрашивают. Он посыпает солью раны. Перечисляет все беды и мучения, которые нам предстоят. Возьмут у нас, говорит он, адреса наших родных и знакомых, потом возьмут деньги на отправку телеграмм и будут ждать, покада кто-нибудь вздумает приехать. И лишь тогда, если тот, кто приедет, скажет, что знает нас и что он ручается за нашу честность и порядочность, нас выпустят из заточения.

Пиня, разумеется, вспыхивает, как спичка. Он смотрит на моего брата и говорит по адресу портного: ему хотелось бы знать только одно, — откуда он так хорошо знает законы Элис-Айленда?

На это портной отвечает, что на пароходе он познакомился с эмигрантом, который уже трижды ездил в Америку и обратно. Он, очевидно, имеет в виду «третьего калача». От него, говорит портной, он узнал все законы и обычаи. И не только это. «Третий калач» рассказал ему еще много кой-чего об Америке, так что едет он туда уже готовым американцем. Он даже говорить уже умеет по-американски. Знает такие слова, как «чикен», кичен», «шугар», «мистер», «бутчер»... Что это значит, он говорить не хочет. Сами узнаем, когда будем на месте.

Пиня отмахивается рукой и отходит в сторону, как будто хочет сказать: «Собака лает...»

Думаете, все не было именно так, как предсказал портной? Тютелька в тютельку! Когда мы прошли через чистилище докторского осмотра, у нас спросили, кто у нас есть в Америке.

В ответ первой выступила мама и сказала:

— Спросите лучше, кого у нас здесь нет?

И собралась уже называть по именам всех наших родственников и знакомых.

Это просто удовольствие смотреть на мою маму сейчас, когда ее пропустили с ее заплаканными глазами. Моя мама не такая уж молоденькая, но она еще замечательно красивая. Я давно уже не видал, чтобы мама так сияла, как сейчас.

Однако мой брат Эля не дает ей говорить. Адреса, говорит он, записаны у него на бумаге. Он лучше знает. Тут вмешивается Пиня и объясняет, что спрашивают не адреса, а имена. Но его обрывает Броха и говорит, что у Пини вообще никого нет в Америке, что все родственники и знакомые здесь — наши.

Пиня вспыхивает и спрашивает:

— В какой степени Песя-толстая, например, или ее муж — переплетчик Мойше, ближе вам, чем мне?

На это Броха отвечает, что наплевать ей на Песю-толстую. Говоря о родственниках, она имеет в виду своего отца, пекаря Ийну.

Оказалось, однако, что прав был Эля. Требуются не имена, а адреса. И тут начинается канитель с адресами.

Лучше нас всех умеет читать адреса, конечно, Пиня. Он берет у Эли бумагу, подносит ее к кончику носа и читает нараспев, как читают «Тноим» на помолвке. Но никто не может понять, что он говорит. Все слова точно наизнанку вывернуты.

Тогда Эля вырывает у него из рук бумажку с адресами и передает ее чиновнику. В ответ чиновник проносит два слова:

— Ол райт!

Мы не знаем, что это значит. Но гайсинский портной говорит, что он знает. «Ол райт» — это все равно

что по-нашему «ну, ладно!», или «ну, что ж!», или просто «ну-ну». То есть все будет в порядке.

Потом у нас взяли деньги и отправили две телеграммы. Одну — переплетчику Мойше и его жене Песетолстой. Вторую — пекарю Иойне. А нас тем временем угостили хорошим завтраком. То есть завтрак был не ахти какой. Чай, который нам подали, сказала Броха, можно ножом резать. Зато этот завтрак нам ничего не стоил. На Элис-Айленде, как я уже говорил вам, все бесплатно.

Заморив червячка, мы стали ждать наших родных и знакомых.

7

Не так-то скоро, однако, это делается, как говорится. У нас глаза на лоб вылезли, пока мы дождались наших знакомых. Первой пришла наша соседка Песя с мужем. То есть мы их не видели, так как сидим взаперти. Но нам сообщили, что пришла к нам толстая женщина с мужем. И мы догадались, что это Песя и ее муж Мойше.

К нам их не пускают. Они на допросе. Нам, конечно, досадно. Нам посоветовали «подмазать» сторожей, тогда их, может быть, допустят повидаться с нами хотя бы издали.

Но наш друг Пиня говорит, что Америка — это вам не Россия. В Америке не «подмазывают».

На это отзывается гайсинский портной (всюду он суется), он говорит, — весь мир, что один город.. «Сребро и золото выше закона...»

Пине нечего ответить.

8

И, конечно, гайсинский портной оказался прав. Нам это стоило «кводер» (это монета такая, четверть доллара), и мы сквозь решетку увидели нашу соседку Песю. Ее красное лицо и жирный подбородок были в поту. Она улыбалась нам издали. Мама кивала ей головой, и обе они плакали обильными слезами. Из-за широких плеч Песи выглядывал Мойше-переплетчик. Он уже не в картузе, как бывало дома, а в шляпе. А минуту спустя по-

казался пекарь Иойна с сердитыми глазами. Иойна мало изменился, но борода, — боже мой, где борода?.. Жена его, у которой была ротонда, тоже пришла.

Хотелось бы поздороваться, обняться, расцеловаться, расспросить друг друга о здоровье, о делах, о том, как живет в Америке...

Мне, например, не терпится узнать: где Вашти? Что делает сестра моей золовки Алта, которую мне когда-то сватали? Как поживает вся орава? Но поди кричи, надрывайся, когда шевельнуться не дают! Держат нас взаперти. И видеть мы их можем только из-за решетки, как арестанты, как пленные или как звери...

9

Жаль нашего беднягу Пиню! Он стесняется смотреть нам в глаза. Ему стыдно за Америку. Вы могли бы подумать, что Америка принадлежит ему и он за все в ответе. Вот с этих-то пор он и невзлюбил Элис-Айленд и сочинил про него рифму: «Земля эта принадлежала какому-то Эле — дураку и пустомеле...»

Это обидно моему брату, так как и его зовут Эля. Они начинают спорить и ссориться. Тогда вмешивается Броха — она, оказывается, на стороне Пини — и говорит не совсем понятно:

— Битой собаке палки не кажут...

Что она этим хочет сказать?

IV. Море слез

1

Не хватало нам своих несчастий, бед и страданий, — господь бог припас нам еще и чужие горести на Элис-Айленде. Не хватало слез, пролитых моей мамой со дня смерти отца и с тех пор, как мы скитаемся по белу свету, — она и сейчас должна проливать слезы из-за несчастий, которые мы видим здесь, на Элис-Айленде. Что ни минута, господь преподносит ей новое горе. А мама все принимает близко к сердцу, ломает руки, прячет лицо и втихомолку плачет.

— Грешешь ты, мама! — говорит ей брат Эля, и, мне кажется, он прав. Чего ей плакать? По белу свету мы уже больше не странствуем, как до сих пор. Путешествие по морю мы тоже благополучно пережили. Мы уже почти в Америке. Еще час-другой — и мы свободны. Но как же не плакать, когда видишь столько горя? Столько слез? Море слез?

Чтобы рассказать вам обо всех несчастьях, каких мы навидались на Элис-Айленде, я должен был бы засесть с вами на целый день и на целую ночь и рассказывать, рассказывать и рассказывать.

2

Что вы, например, скажете о такой истории?

Отец, мать и четверо детей задержаны — ни туда, ни сюда. В чем дело? При опросе оказалось, что их девочка лет двенадцати не умеет считать в обратном порядке. Ее спрашивают:

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать!

— А сколько лет было тебе в прошлом году в это время?

Она не знает.

— Считай от одного до двенадцати! — говорят ей.

Девочка считает.

— А теперь считай от двенадцати до одного!

Не умеет.

Спросили бы меня, я бы одним духом просчитал: двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один! Подумаешь, какой фокус!

И вот было решено, что эту девочку в Америку впускать нельзя.

Как же быть родителям и остальным детям? Горе отца и матери просто описать невозможно. А как жалко девочку! Камень и тот бы тронулся! Мама, глядя на них, плачет, а моя золовка Броха и жена Пини Тайбл тоже вытирают глаза.

3

Или как вам понравится такой случай?

Едет с нами одна женщина. Звать ее Цивья. Ее давно уже бросил муж. Она разослала письма по всему

свету и получила сообщение, что муж ее находится в Цинциннати, — это город такой в Америке. Вот она туда и едет, чтобы поймать его. На пароходе ей посоветовали, чтобы она вызвала из Нью-Йорка кого-нибудь, кто ска- зал бы, что он ее муж, — тогда ее выпустят. Совет этот исходил от «тертого калача», о котором я вам уже рас- сказывал. Помог также и гайсинский портной. «Тертый калач» взял на себя заботу вызвать одного из своих близких друзей, который выдаст себя за мужа этой Цивьи...

Однако, когда дело дошло до опроса, выяснилось, что все это обман. Человек, который пришел, оказался женатым и таким же родственником этой женщины, как вы — моим.

Батюшки, что творилось! Весь Элис-Айленд ходуном ходил. Больше всех злорадствовал Пиня, оттого что у гайсинского портного дело сорвалось. И хотя Пиня зол на Элис-Айленд за то, что нас задержали, но показывать это перед портным — дудки! Наоборот, он еще драз- нился:

— Ну, господин портной! Не говорил ли я вам, что в Америке не проходят такие штучки, фокусы, обманы? О Колумбус, слава тебе!

Зато он и получил от моей мамы. А еще больше — от Брохи. И его жена Тайбл тоже не молчала. Они ему чуть глаза не выцарапали за то, что он издевается над человеком, истекающим кровью. И как нарочно, мама подружилась с этой Цивьей, как с сестрой. Теперь не- счастную женщину отсылают обратно, а того, кто выдал себя за ее мужа, тоже по головке не поглядят. Пока что их обоих задержали, а мама по этому поводу сама не своя.

4

Молодая женщина — кровь с молоком — едет к мужу своему в Бостон. У нее ребенок, девочка с кудрявой го- ловкой, картинка. Зовут ее Кецеле¹. Настоящее имя ее — Кейля, по бабушке. Но прозвали ее Кецеле. Ей не- полных три года, но она уже повсюду бегаёт, разговари- вает, поёт и пляшет. Весь «Принц Альберт» носился с этим ребенком. Все ее любили, обнимали, целовали.

¹ Кецеле — кошечка, котик.

брали с рук на руки. «Кецеле! Кецеле!» А женщина, ее мать, с нами крепко подружилась. Она ни на минуту не отходила от моей мамы, рассказывала все, что на душе. Перечитала нам все письма от мужа. Больше трех лет они не видались. Он даже не знает своего ребенка, никогда еще не видал свою девочку и мечтает о ней день и ночь. Он даже представить себе не может, как это он вдруг увидит своего ребенка, свою Кецеле.

При этом женщина уже проливает слезы, а мама тоже вытирает глаза. Мне все это смешно: чего тут плакать? Я беру Кецеле на руки, кормлю ее кусочками яблока и апельсина, прямо из рук — в ротик. Кецеле заглядывает мне в глаза, смеется, гладит меня своей маленькой бархатной ручкой. А я целую ее маленькие теплые пальчики. Жаль, что нет у меня ящичка с красками! Я нарисовал бы Кецеле с ее шелковыми кудряшками, прекрасными голубыми глазенками и ангельским личиком. Мой товарищ Мендл смеется надо мной за то, что я вожусь с куклой. Для него она «кукла»!

И вот уже недалеко от Америки вздумалось Кецеле заболеть и... У меня мороз по коже пробегает, когда я вспоминаю это время. Полжизни отняла у меня эта девочка. Я даже говорить об этом не могу, даже думать не могу. Не требуйте от меня, чтобы я рассказал вам, что сделали с Кецеле...

Расскажу только, что было с ее матерью, когда мы приехали на Элис-Айленд. Она не плакала. Она смотрела на всех застывшими, стеклянными глазами. На вопросы не отвечала. Все боятся, что женщина тронулась... Ее отошлют обратно. Моя мама в отчаянии. Брат Эля вне себя. Он не выносит маминых слез. И Пиня что-то прчется. Не видать его...

5

Думаете, только евреям скверно на Элис-Айленде? Другие тоже мучаются, и немало.

Едет с нами целая ватага итальянцев. Все — в бархатных штанах с деревянными башмаками на ногах. Когда они ходят, башмаки стучат, как конские копыта. Славные, замечательные люди! И меня они за что-то полюбили. Называют меня как-то очень странно: «Пикколо бамбино». Угощают меня орешками и изюмом, ко-

торые они достают из карманов своих бархатных штанов. А я от таких вещей не отказываюсь. Разговаривать с ними я не могу. Они не знают моего языка, а я их не понимаю. Но мне нравится, как они говорят друг с другом. Особенно они напевают на букву «р»: «Бона сэррра!», «Мио карро!», «Прррего синьоррэ!..»

И надо же случиться беде. Уже в самом конце, когда дошло дело до опроса, один из них проболтался. Рассказал правду, что их вызвал подрядчик на работу из Лондона, по контракту, на постройку какого-то моста. А это, говорят, в Америке не разрешается. Их хотят отослать обратно.

И вот все они говорят сразу, размахивают руками и нажимают на букву «р»: «Сакррраменто!..»

Однако ничего не помогает! Жалко их ужасно. У некоторых из них я видел слезы на глазах.

6

Поздравляю вас! У нас на Элис-Айленде свадьба. Откуда вдруг свадьба? А вот послушайте.

Есть тут девушка из Чуднова, сирота, звать ее Лея. Она смуглая и приветливая. Всю дорогу она провела с нашими женщинами. С Брохой и Тайбл она так подружилась, что водой не разольешь. От них мы узнали, что Лея одинокая, никого в Америке у нее нет. С детства она работает. Сколотила немного денег и едет в Америку. В Чуднове она больше жить не может. Там во время погрома убили ее отца. Мать от горя умерла. Осталась она одна во всем мире. Добрые люди сжалились над ней, научили работе. Она шьет, и строчит, и вяжет, и гладит, — «золотые руки», говорит о ней мама. Все уверены, что в Америке Лею озолотят за ее работу. И жениха она себе найдет самого лучшего.

Лея опускает глаза и краснеет до корней волос...

Беда только, что в Америке нет никого, кто бы ее встретил и взял к себе.

И вот нашелся на «Принце Альберте» парень, Лейзер Бах. Он столяр и едет к своему дяде в Чикаго. Лейзер — чудовище: он рыжий, с толстыми двойными губами. Но я его люблю за песни. Он замечательно поет еврейские песни.

Короче говоря, решили: так как у Лейзера есть к кому ехать, а у Леи нет никого, то пускай он, Лейзер Бах, скажет, что Лея его невеста...

Придумал это, конечно, тот самый пассажир, которого называют «тертым калачом». Так оно и было. При опросе Лейзер сказался женихом, а Лея — невестой. Казалось бы, все хорошо? Оказывается, однако, что на Элис-Айленде такие фокусы не проходят: раз жених и невеста, — извольте венчаться.

Лея плачет навзрыд. Все ее уговаривают:

— Глупенькая, в чем дело? Приедете на место, он даст тебе развод, и ты снова та же Лея, что и была...

А она боится: вдруг он откажется? Но быть отправленной обратно лучше? В общем, у нас свадьба. Грустная свадьба, без музыки. Но с раввином, служкой и — со слезами, с целым морем слез.

7

Одному только человеку хорошо. Знаете кому? Гайсинскому портному. Он теперь торжествует. Говорить он ничего не говорит. Но шагает мимо нас, разглаживает бородку и поглядывает сквозь свои очки на Пиню. Но Пиня умнее его. Он уткнулся кончиком носа в какую-то книжку и будто не замечает портного. Плевать ему на него!

8

Немного своих горестей, немного чужих — все это омрачает нашу радость по поводу того, что мы уже в Америке. Мы столько навидались и слышались на этом Элис-Айленде, что вся наша семья сгрудилась и, прижавшись головами друг к другу, глядит на огромный, шумный город, расположенный вдалеке от нас.

Знаете, как мы выглядим? Мы похожи на стадо овец, сбившихся в кучу на поле, в знойный летний день, неподалеку от железной дороги, с удивлением глядящих, как мимо них с шумом и грохотом проносятся и исчезают вагоны.

Жаль, что нет у меня карандаша и бумаги, чтобы нарисовать нашу сгрудившуюся семью и остальных запер-

тых на Элис-Айленде эмигрантов, сидящих на своих узлах.

Люди вздыхают, рассказывают друг другу все, что у них наболело. Иные молчат, а иные плачут, купаются в слезах. В море слез.

V. На твердой почве

1

Если вы никогда не ездили по морю, если никогда не приходилось вам пробыть десять дней и десять ночей на воде, если вы никогда не были в плену на Элис-Айленде и не видели столько горя, страданий и мук, не купались в море слез и не смотрели во все глаза, когда наконец придут вас вызволить, — если вы сами этого не испытали, вы не сможете понять, что значит стоять обеими ногами на земле, на твердой почве.

Если бы я не боялся моего брата Эли и не стеснялся бы людей, я бросился бы на землю и перекувырнулся бы три раза кряду через голову. Так хорошо, светло и весело было у меня на душе, когда я почувствовал, что стою обеими ногами на суше.

Можете себе представить, даже такой меланхолик, как мой брат Эля, и тот стал выглядеть по-иному. Потирая руки, он обратился ко всем нам:

— Стало быть, мы уже в Америке!

— С божьей помощью, да будет благословенно имя его! — ответила мама, взглянув на небо, и добавила с глубоким вздохом: — Кто жив, тот добирается до места. Не приходит только тот, кто лежит в земле...

Это она об отце. Никогда и нигде она не забывает об отце даже на минуту.

2

Но больше и сильнее всех высказывает свою радость наш друг Пиня. Он — боюсь сказать — окончательно рехнулся, попросту с ума сошел. Встал лицом к морю, поднял правую руку, сжал кулак и разразился целой проповедью:

— Слушайте, вы, ослы, злодеи, пьянчуги, хулиганы, погромщики! Это вам мы обязаны тем, что находимся сейчас здесь, в этой стране. Если бы не ваши законы, преследования и погромы, мы не знали бы о Колумбусе, и Колумбус не знал бы о нас!..

Кто знает, как долго еще изливал бы душу наш Пиня, если бы пекарь Йойна не положил руку ему на плечо и не сказал:

— Пиня! Господь с тобой! К кому ты обращаешься? К камням? Идем! Мы опоздаем на «ферри»! Или ты хочешь остаться ночевать на Элис-Айленде?

Хватаемся за наши узлы и отправляемся к «ферри».

3

Однако это только так говорится. Не так-то скоро мы усаживаемся и едем. Вы забыли, что у нас есть еще одна забота — мой товарищ Мендл. Его не выпускают. А без него мы с места двинуться не можем. Мама говорит, что она не сможет спокойно жить в Америке, если этого сироту, упаси бог, отошлют обратно невесту куда. К счастью, мы на Элис-Айленде наткнулись на «Общество гостеприимства». Общество это имеет здесь своего человека, очень доброго и приветливого. К этому человеку нас и направили. Мы рассказали ему все, что произошло с Мендлом. Говорили мы, конечно, все сразу. Тогда этот человек нас перебил и предложил выбрать кого-нибудь одного — рассказчика. После долгих споров было решено, что рассказывать будет Броха. Почему — Броха? Потому что мужчины, Эля и Пиня, не могут видеть, как один из них говорит, чтобы не влезть в самую середину. Мама хоть и хорошо говорит, но зато чересчур долго. То есть ей непременно надо начать с Адама. О том, что был у нас отец и звали его Пейся. И что он был кантором. Потом он, не про нас будь сказано, заболел. И так далее и так далее. А тот до конца выслушать не хочет. А у моей золовки Брохи это выходит скоро. «Слово-другое и — магарыч!» — как говорит Мойше-переплетчик.

Лишь тогда, когда Броха рассказала вкратце историю Мендла, человек от «Общества гостеприимства» принял за работу. Он куда-то побежал, вернулся и снова убежал. И наконец, после всех трудов и мучений, привел-таки парня.

А когда Мендла привели, человек от «Общества гостеприимства» взял его за ухо и прочел ему наставление:

— Помни же, паренек, мы поручились за тебя, обещали, что ты будешь хорошо себя вести. Два года подряд ты в нашем распоряжении... Мы будем следить за тобой. Если не будешь вести себя как полагается, тебя вышлют обратно, откуда приехал!..

Потом этот человек записал его имя, переписал наши имена и имена всех наших родных и знакомых и их адреса. И мы — свободны. Можем идти куда хотим и делать что угодно.

Думаете, Мендла это тронуло? Ничуть! Мой товарищ Мендл из тех, кого ничто не берет. За это я люблю его. Как вспомню о своем товарище, о том, кем он был и кем потом, спустя долгое время, стал, — прямо-таки чудеса! Но до этого еще далеко. Пока что мы на «ферри».

«Ферри» — это такой пароход, или паром, на котором можно ехать вместе с лошадьми и возами и с чем угодно. «Ферри» достаточно длинен и широк, чтобы я со своим товарищем Мендлом мог, взявшись за руки, бродить по нему вдоль и поперек...

В первую минуту мама была занята с нашими родственниками и знакомыми. Все говорили, расспрашивали друг друга о жизни и делах. Но немного погодя мама спохватилась, что нас нет, и, конечно, подняла ужасный шум. Она была уверена, что мы упали в воду и утонули. А мы, оказывается, заметив лестницу, взобрались на второй этаж «ферри» и оттуда увидели страшно высокую железную фигуру какой-то женщины, похожей на кормилицу. Но не успели мы как следует разглядеть эту фигуру, как услышали крики мамы и увидели перед собой моего брата Элю. Он был страшно зол на нас за тот страх, который мы нагнали на всех нашим исчезновением. Нам бы, конечно, здорово досталось. Мой брат Эля рассчитался бы с нами как следует. Но, к счастью, моя золовка Броха вдруг почувствовала себя нехорошо и как завизжит не своим голосом:

— Ой, свекровушка, мне дурно!..

Броха хотела начать свои фокусы, как это было на море... Но дай бог здоровья гайсинскому портному (он ни на минуту не отстаёт от нас)! Он налетел на нее и стал усовещивать:

— Такой особе, как вы, не сглазить бы, следовало бы знать разницу между морем и мелкой речонкой! Фи, право же, стыдно!

Броха стала оправдываться: она не знала, что это речка, она думала, что мы снова на море. Но Пиня говорит, — ему кажется, что по одному только запаху можно отличить море от реки. Море пахнет рыбой, а в реке рыбы нет. Тогда гайсинский портной спрашивает, откуда он это взял. А Пиня отвечает, что он разговаривает не с ним, что он вообще не любит затевать споров с портными. Тут вмешивается переплетчик Мойше. Он напоминает Пине, что мы уже в Америке. А Америка, говорит он, страна портных. В Америке портной такая же почтенная личность, как у нас самый уважаемый домовладелец, а может быть, и больше. В Америке, говорит он, портные имеют свою «июнию». «Июния» — это почти то же, что у нас «цех». Но здешняя «июния» — это совсем не то, что наш «цех»...

— И мы, пекари, тоже имеем свою «июнию», — добавляет пекарь Иойна. — Наша «июния» пекарей, пожалуй, не меньше портновской.

— Ну, что вы сравниваете! — перебивает переплетчик.

И начинается спор о том, чья «июния» крупнее.

— Еще несколько минут, и мы в Нью-Йорке! — говорит Пиня, обращаясь к Эле, чтобы прекратить разговор об «июниях», который всем нам порядком надоел...

Мы всматриваемся в город, вырастающий перед глазами и приближающийся с каждой минутой.

Ох, какой город! Какие высоченные дома! Церкви, а не дома! А окна! Тысячи окон! Эх, будь у меня карандаш и бумага!..

6

Тррах-тарарах-тах-тах-тах! Тах! Дзинь-дзинь-дзинь-глин-глон! У-а! У-а! У-а! Ду-ду-ду-ду-д! Фью! Ай-яй-яй-яй-яй! И снова: тррах-тах-тах! И вдруг врывается хрипый визг недорезанной свиньи: хрр-хрю-хрю!

Таковы были звуки, ошеломившие нас в первую минуту, когда мы прибыли в Нью-Йорк. До этих пор, на

воде, мы были спокойны. Но здесь, как только мы почувствовали, что действительно стоим обеими ногами на земле, в самой Америке, нас охватил страх от грохота и сутолоки...

Первой растерялась мама. Она выглядела, как испуганная наседка, которая растопыривает крылья и, раскрыв клюв, квоочет над своими цыплятами.

— Мотл! Мендл! Эля! Броха! Пиня! Тайбл! Где вы? Идите сюда! — кричит она, раскинув руки.

— Господь с вами, свекровь! Чего вы кричите? — говорит Броха. А Эля добавляет:

— Кончится тем, что из-за твоего крика нас вышлют из Америки!

— В четверг, после дождичка! — заявляет Пиня, заложив руки в карманы и сдвинув на затылок шляпу. — Не дождутся этого наши враги!

Напор толпы был ужасен. Наш друг Пиня чуть не оказался в таком же положении, как в свое время в Лондоне, когда мы туда приехали. То есть еще минута, — и он лежал бы, измятый и растоптанный, посреди улицы. На сей раз он отделался тумачком в бок. Но удар был до того сильный, что шляпа у Пини слетела с головы и покатилась куда-то в сторону. Это отняло у нас несколько лишних минут, и мы опоздали на «кар», то есть на трамвай. Пине больше нравится слово «кар», и мы все с узлами влезли в него и захватили все свободные места. Едем в город.

— Слава тебе господи! Избавились от напасти, от гайсинского портного! — радуется Пиня.

А мой брат Эля говорит:

— Погоди радоваться! Если бог захочет оказать нам свою милость, то мы еще не раз встретимся с ним в Нью-Йорке...

VI. На нью-йоркской улице

1

Въезд в Нью-Йорк ужасен! Сама по себе езда не так страшна, как пересадка из одного вагона в другой. Только как будто бы сели, — и уже вы летите, как орлы, где-то в вышине по длинному узкому мосту, — убиться

можно! Это у них называется «элевейтор». Думаете, это все? Не торопитесь! Вылезаете из «элевейтора», пересаживаетесь в другой вагон, спускаетесь по лестнице, словно в погреб, и летите уже под землей, да так быстро, что в глазах мелькает. Это уже называется «цобвей». Почему «цобвей»? Мой брат Эля говорит, что и у нас говорят «цобвей», когда погоняют волов.

Пиня хохочет до упаду.

— Придумал тоже! Волы, — говорит он, — еле ползут, а это — летит!

— На то и Америка, чтобы летало... — отвечает Эля.

Но тут вмешивается моя золовка Броха и заявляет, что та же Америка была бы гораздо лучше, если бы здесь не летали по-сумасшедшему. Она клянется, что больше не поедет. Кончено! Ни на «элевейторе», ни на «цобвее», хоть озолоти ее! Лучше уж она пешком будет ходить, чем так вот носиться сломя голову где-то под облаками или под землей.

— Не поднимай меня и не швыряй! — добавляет она.

Странная женщина моя золовка! Я, например, готов разезжать на «элевейторе» и на «цобвее» день и ночь. Мой товарищ Мендл — тоже.

2

Казалось бы, мы уже побывали на всем свете. Видели, казалось бы, трамваи и во Львове, и в Кракове, и в Вене, и в Антверпене, и в Лондоне. Но такой тесноты, такой толкотни и давки, как здесь, в этом аду, мы нигде не видали! Булавочной головке упасть некуда. Один выходит, двое входят. Сидеть негде. Приходится стоять. Падаешь. Надо держаться за кольцо. Здесь это называется «висеть на страпе». Все тело млеет. А поможет бог и освободится место, на него много охотников. Наконец с трудом захватываешь место. Оглянешься — сидишь между двух черных людей. Негр и негритянка. Какие странные люди! Ужасно толстые губы, крупные белые зубы и белые ногти. Сидят и что-то жуют, будто жвачку, как быки.

Лишь потом я узнал, что жвачка эта называется у них «чойнгом». Это такая конфета из резинки. Ее держат во рту и жуют. Глотать этого нельзя. «Бои», то есть

мальчишки, старики и калеки только тем и живут, что торгуют этой жвачкой.

Наш друг Пиня, если помните, ужасный лакомка. Любит сласти. Дорвался он однажды до этих конфеток и потихоньку проглотил полную коробку. Кончилось это тем, что он сотворил над собой какую-то ужасную историю, чуть не отравился. Врачи выкачивали из него через глотку этот «чойнгом». Спасли.

Однако я забегаю вперед. Возвращаюсь к нашему въезду в город Нью-Йорк.

3

Все время поездки на «элевейторе» и на «цобвее» наши мужчины и женщины только и делали, что разговаривали. Я говорю «разговаривали», но это неверно. Как можно разговаривать на «элевейторе» или на «цобвее»? От шума, лязга и грохота колес, от скрежета рельсов, от звона стекол оглохнуть можно. Вы сами своего голоса не слышите! Вы вынуждены кричать друг другу на ухо, как при разговоре с глухим. Наши даже охрипли от крика. Мама несколько раз умоляла Песю:

— Песинька, душечка, голубушка, любочка! Давайте оставим это до другого раза!

Но, помолчав минуту, они снова начинают кричать изо всех сил. Да и не удивительно: живые люди, старые друзья, бывшие соседи. Как же сдержаться и не излить друг перед другом душу? Столько времени не виделись. А поговорить есть о чем, поговорить нужно о многом!

4

Наговорившись и накричавшись о разных других вещах, перешли к вопросам: куда заехать, у кого остановиться? После долгих рассуждений и споров было решено, что мама, я и наш друг Пиня со своей Тайбл останутся у нашей соседки Песи-толстой. А Эля и Броча заедут к ее родителям — пекарю Иойне и Ривеле.

А как же Мендл?

Песя заявляет, что Мендла она берет к себе. Но пекарка Ривеле говорит — нет! У Песи, не сглазить бы, и без того едоков хватает. Песе это обидно. Она говорит,

что нет во рту лишних зубов и нет у матери лишних детей.

— Погодите! Давайте спросим его самого! — предлагает муж Песи, переплетчик Мойше, и спрашивает Мендла: куда ему хочется — к ним или к пекарю?

А Мендл отвечает, что хочет быть там, где его товарищ Мотл. Я не сомневался, что Мендл так и скажет.

5

— Уже скоро, еще одна «стейшн» и — «стап!» — говорит пекарь Иойна уже по-американски.

Мы не понимаем, что значит «стейшн» и «стап». Он объясняет, что «стейшн» — это станция, а «стап» — значит остановка, конец пути.

— Сват! — удивляется мама. — С каких это пор вы начали разговаривать на здешнем языке?

А пекарка Ривеле отвечает:

— Уверяю вас, сватушка, что через неделю и вы начнете разговаривать на здешнем языке. Потому что, если вы выйдете на улицу и спросите: «Где здесь мясник?» — то можете спрашивать до послезавтра, — никто вам не ответит.

— А как же я должна сказать? — спрашивает мама.

— Вам придется спросить, где здесь «бучер», — отвечает Песя.

— Не дождутся они! — вмешивается Броха. — Хоть лопни они все, я буду говорить «мясник», «мясник», «мясник»!

6

Вдруг — остановка. Пекарь Иойна подхватил свою жену, моего брата Элю и золовку Броху, и все они бросились к выходу. Мама тоже поднялась. Она хотела проводить своих детей, попрощаться. Поднялся и Пиня — попрощаться со своим товарищем, а заодно и условиться, когда и где они увидятся.

Но — куда там! Где там! Не успели оглянуться, как Иойна, его жена, мой брат и Броха уже были по ту сторону. Кондуктор захлопнул двери, вагон рванулся вперед.

Пиня как стоял ошеломленный и растерянный, так и свалился с ног. Минуту спустя он уже лежал у ка-

кой-то негритянки на коленях. А та отшвырнула его от себя обеими руками так, что он полетел на другую сторону скамьи, а его шляпа покатила к дверям.

Мало того, поднялся хохот. Весь вагон помирал со смеху. Я и мой товарищ Мендл тоже смеялись. За это нам досталось от мамы и от Пининой жены, Тайбл.

Но как же тут не смеяться?

Всему на свете приходит конец. Пришел конец и нашему въезду в Нью-Йорк. Мы уже на улице. Здесь это называется «стрит».

Если бы я не знал, что мы в Америке, я был бы уверен, что мы в Бродах или во Львове. Те же мужчины, те же женщины, те же крики и та же грязь, что и там. Только что шум и сутолока здесь гораздо больше и грохот сильнее. Да и дома выше, не в пример выше. Шесть этажей — это чепуха. Есть дома в двенадцать этажей, и в двадцать, и в тридцать, и в сорок... И еще выше. Но об этом потом.

Пока что мы с узлами на улице. Надо еще порядочное расстояние пройти пешком. Здесь это называется «вокен». Вот мы и «вокаем». Впереди — переплетчик Мойше на своих коротких ногах. За ним его жена, Песя-толстая. Ее с трудом ноги несут: до того она жирна и увесиста. За Песей «вокают» Пиня со своей Тайбл. От «вокания» Пини можно умереть со смеху. Он приплясывает на своих длинных ногах, цепляющихся одна за другую. Одна штанина спущена, другая задрана. Шляпа на затылке. Галстук — по ту сторону. Удивительная фигура, — так и просится на бумагу.

Я и мой товарищ Мендл «вокаем» позади всех. Останавливаемся чуть ли не у каждого окна. Нам нравится, что надписи сделаны по-еврейски и что за стеклами выставлены еврейские вещи: молитвенники, арбеканфесы, ермолки, маца... Ни с того ни с сего в самом начале зимы — маца! Видать, еврейский город. Но стоять подолгу нам не дают. Мама зовет:

— Идите сюда!

Значит, надо идти.

7

Кто не видал нью-йоркской «стрит», тот ничего интересного не видал. Чего тут только нет! Мужчины торгуют, женщины сидят и беседуют, Дети спят

в колясках. Коляски здесь называют «кереджес». Все они одинаковы. Здесь же на улице кормят маленьких молоком из бутылочек. Дети постарше играют во всевозможные игры: в пуговицы, в «бол», играют в колясках, в саночках, катаются на «скэйтс». Это такая штука на четырех колесиках, которую привязывают к ногам. На них бегают. От шума и детских голосов оглохнуть можно. Улица принадлежит детям. Никто не посмеет прогнать их отсюда. Вообще, Америка — страна, созданная для детей. За это я люблю ее. Пусть кто-нибудь посмеет пальцем тронуть ребенка! Мой брат Эля испытал это на себе самом. Десятому закажет! А дело было так.

Однажды я и Мендл были на улице и играли в «чекес». Это игра с круглыми деревянными пуговками, которыми стреляют.

И вот в самый разгар игры налетел на нас мой брат Эля. По старой своей привычке, он ухватил меня одной рукой за ухо, а другой собирался закатить мне основательную оплеуху.

Но тут как из-под земли вырос «бой», этакий здоровяк. Он подбежал к брату и вырвал меня у него из рук. Потом он засучил рукава и сказал что-то по-американски. А так как мой брат Эля английского языка не понимает, то этот парень сжал кулак и поднес его к самому носу брата. Тут же собралась толпа. Эля стал оправдываться по-еврейски, говорить, что он мне приходится братом и имеет поэтому право учить меня уму-разуму.

Но те, что сбежались, заявили, что в Америке так не водится: брат, не брат, а колотить младшего не полагается...

8

Заговорился я и совсем забыл, что мы уже прибыли на место, то есть к нашей соседке Песе и ее мужу, переплетчику Мойше. Войдя в дом, мы никого из оравы не застали. Оглядываюсь по сторонам, ищу своего старого товарища Вашти. Нет ни Вашти, ни остальных. Куда они все девались?

А вот послушайте.

VII. Орава на работе

1

Я рассказывал вам, что мы пришли к нашей соседке Песе-толстой и никого из ее оравы не застали дома. В чем же дело? Оказывается, вся орава — на работе. Но прежде чем рассказать вам, чем каждый из них занят, надо описать, как расположился в Америке наш переплетчик Мойше. Во-первых, самый дом. У нас в местечке Песя-толстая даже побоялась бы забираться на такую высоту. Идешь и идешь по лестницам, — чуть ли не на сто ступеней, пока доберешься до квартиры. А в квартире комнат и комнатусек без конца. А в каждой комнате кровати с одеялами, занавески на окнах... Одно помещение называется «кичен», по-нашему — кухня. Но печи здесь нет. Стоит железная плита с дырами для варки, а воду берут здесь прямо из стены — холодную и горячую — сколько угодно! Отвернули кран — и готово.

2

Через несколько дней, когда мой брат Эля и его жена Броха пришли проведать нас, Пиня взял его за руку, привел в кухню и, показав ему оба крана с водой, заговорил, по своему обыкновению:

— Ну, Эля, как тебе нравится Колумбус?

Но Эля, конечно, в долгу не остался.

— Сейчас ты горой за Колумбуса стоишь. А что ты говорил раньше, на Элис-Айленде? — спросил он.

В ответ на это Пиня стал доказывать, что Элис-Айленд не принадлежит Америке. Элис-Айленд расположен между Америкой и заграницей. Эля заявил, что все это чепуха. Начался спор, как всегда, но тут вмешалась Броха и сказала, что оба они ничего не знают и что спор этот ломаного гроша не стоит.

Однако я начал рассказывать о квартире переплетчика и отвлекся. Извините, возвращаюсь к нашей соседке Песе и к ее детям — к ораве.

3

Нашему переплетчику Мойше и его жене Песе-толстой никогда, конечно, и не снилось, что они будут жить в такой квартире и иметь столько комнат. Для

всего — отдельная комната. Комната для спанья называется «бэд рум». Для еды особая комната — «дейнинг рум».

«Почему «дейнинг рум?»» — ломают себе головы Эля и Пиня и никак понять не могут, откуда берется такое слово...

Но переплетчик Мойше говорит:

— К чему зря ломать себе голову? Главное то, что я в Нью-Йорке своим домком живу, а дети у меня, с божьей помощью, работают... Грех жаловаться.

Смотрю я на переплетчика Мойше и думаю: «Господи! Как меняется человек! Дома его и не слышать было. Всюду и везде орудовала Песя. Он знал только свое дело — клейстер варить и книги клеить. А здесь он на целую голову вырос». Шутка ли, когда у человека нет забот. Все дети работают и приносят деньги. Я вам перечислю всех по именам и расскажу, чем они заняты и сколько зарабатывают.

Мама завидует нашей соседке Песе, что бог дал ей столько детей, не сглазить бы...

4

Старшего парня дома называли «Колодкой». Здесь его зовут Сэм. Почему — Сэм? Не знаю. Знаю только, что он уже зарабатывает деньги. Он служит в «пей-пербакс-фактори». Но вы, конечно, не знаете, с чем это едят? Придется объяснить вам. Это фабрика, на которой делают коробки из картона. Вы не думайте, что это очень трудная «джаб» («джаб» — это работа). Сам он коробок еще не делает. Он только разносит их. Берет связку коробок по десяти дюжин в руку и бежит с ними по узким улицам между автомобилями и трамваями... Тут надо смотреть в оба, а то раздавят. За это он получает два с половиной доллара в неделю и надеется на прибавку. Со временем он, может быть, будет получать три доллара в неделю. Это — на первое время. А немного погодя «босс» (хозяин) обещает научить его делать коробки. Босс говорит: «Ты только будь хорошим «боем», тогда все будет «ол райт». По-нашему это значит: «Не будь дураком — будешь кушать кашу с молоком».

Второй паренек, Велвл, которого называли «Котом», теперь уже называется Вилли. Он тоже — «деливер бой», то есть мальчик на побегушках. Он работает в «гроссер-стор», или, по-нашему, в бакалейной лавке. Это уже труднее. Вставать надо ранехонько, когда сам бог еще спит. Прежде всего приходится рассортировать и упаковать заказы. Потом разнести их покупателям. В пакетах бывают печенье, масло, сыр, яйца, сахар, молоко, сметана. Со всем этим приходится лазить по лестницам, на двести ступеней до самого «тап-флор», то есть на самый верх, под крышу. Сделать это надо к тому же быстро, одним духом, потому что нужно еще успеть вернуться и подмести магазин, убрать его и сделать всякую другую работу до полудня. После полудня он свободен. Получает Вилли немного — всего пятнадцать сентов в день, за исключением пятницы. В пятницу он получает целый кводер и халу на субботу.

То, что я рассказал вам, касается старших мальчиков. Младшим здесь не разрешают работать по утрам. В Америке дети обязаны ходить в «скул», то есть в хедер. Не то — скандал! А учат тут бесплатно, да еще книги вам дают.

Наш друг Пиня, когда узнал об этом, был вне себя. Он вспомнил, что у нас дома еврейских детей в гимназию не принимают. А тут, в Америке, вас силой тащат. Не то будете платить штраф.

— Ради одного этого, — говорит Пиня, — наши черносотенцы должны были бы живьем в землю зарыться!..

Но так как в школу ходят только до полудня, то во вторую половину дня можно чем-нибудь заниматься и зарабатывать. Так они и делают, младшие ребята Песи.

Один, тот, которого зовут «Черногус», работает в аптеке. Здесь это называется «дрог-стор». Он моет бутылки и бегаёт на почту за марками. Здесь их называют «стэмпс» и продают в аптеке. За свою работу «Черногус» получает доллар с четвертью в неделю.

— На улице не валяется! — говорит переплетчик Мойше и забирает у него деньги.

Файтеля — «Пе-те-ле-ле» — здесь называют Филип-пом. Он тоже полдня учится в школе, а во вторую половину дня торгует еврейскими газетами, которые называются «пейперс». Он бегаёт по Ист-бродвею (это такая улица) и кричит: «Пейперс! Пейперс!» Зарабатывает он от сорока до пятидесяти сентов в день, а иногда и больше. И эти деньги, конечно, идут к отцу в котел. Все зарабатывают, а переплетчик всех их содержит.

Все зарабатывают. Даже мой товарищ Гершл, который с желваком на лбу и прозван за это Вашти. Но здесь его называют не Гершл и не Вашти, а Герри. Он учится в школе. А во вторую половину дня он стоит за лотком на Ривингтон-стрит у одной знакомой, из нашего же местечка, и помогает ей продавать рис, ячмень, горох, бобы, орехи, изюм, миндаль, инжир, финики, рожки и соленые огурцы. Работы у него немного. Он должен только следить, чтобы не таскали. Потому что женщина, когда приходит спрашивать крупы, тем временем берет изюм, миндаль или финик и отправляет к себе в рот. Зато он сам частенько лакомится вкусными вещами.

Вашти не станет от меня что-нибудь скрывать. Он признался, что однажды так дорвался до изюма, что у него потом три дня подряд живот болел. За работу свою он ничего не получает, — разве что перепадет ему от покупателя за доставку. Он получает иной раз пенни или два, а то и пять. У нас это называется «на чай». Здесь говорят: «тип». За неделю бывает, что и доллар набегит. Дома у себя Вашти и во сне никогда копейки не видал. Разве что в пурим, когда разносят подарки. Но пурим бывает раз в год, а тут у него каждый день праздник. Ежедневно деньги зарабатывает.

— Колумбус! Тебя озолотить надо! — сказал Пиня, когда он проходил по Ривингтон-стрит и увидел Вашти за лотком. Он купил у него рожков на три сента и один сент подарил Вашти — «на чаек».

А сам переплетчик Мойше тоже без дела не сидит. Он теперь не занимается переплетным мастерством, как у себя дома. Потому что в Америке, говорит он, это дело требует огромных средств на аренду магазина и покупку инструментов, кроме того, нужно приобрести знакомства.

С другой стороны, пойти в подручные, служить — ему, говорит он, уже не по летам. Вот ему и посоветовали — среди своих не пропадешь! — арендовать книжный ларек на Эссекс-стрит.

Нашему другу Пине это ужасно нравится. Он, говорит, и сам охотно занялся бы таким делом. А нравится это потому, что, как он говорит, около чего трешься, того и наберешься. Пиня любит книги, как рыба — воду. Уж он как дорвется до книги, уткнется в нее носом. — его и не оторвешь.

И даже наш сват, пекарь Иойна, и тот больше не занимается прежним своим делом. И все потому же: чтобы открыть пекарню, говорит он, нужно состояние Ротшильда. Кроме того, нужно еще принадлежать к «июнии». А он, говорит, уже слишком стар для этого. Пойти к кому-нибудь работать, не состоя в «июнии», он боится, так как в случае забастовки, — а это в Америке каждый день случается, — ему могут и голову разбить. Что же делать? Скверно.

И вот ему посоветовали хлеба и булок не печь, а заняться выпечкой пирожков! Домашних пирожков с творогом или с капустой. И что же вы думаете? Пекарь Иойна успевает! Его пирожки славятся по всему Ист-сайду. Если пройдете по Эссекс-стрит и увидите на одном из окон надпись крупными буквами по-еврейски: «Здесь продаются домашние пирожки», — знайте, что это наш сват, тесть моего брата Эли, пекарь Иойна. А если вы на той же улице, как раз напротив, увидите еще одну надпись по-еврейски: «Здесь продаются домашние пирожки», — знайте, что это уже не наш сват, пекарь Иойна. Это его конкурент, так что вы туда не ходите. Лучше идите к тестю моего брата Эли. А чтобы не ошибиться, вот вам примета: как войдете, сразу

узнаете нашего свата — он человек сердитый. Если его не узнаете, то узнаете ее, пекарку Ривеле. У нее двойной подбородок и бусы на шее. А мою золовку Броху вы, без сомнения, узнаете: у нее большущие ноги. Еще там толчется ее сестренка, конопатая девочка с косичками. Ее зовут Алта, когда-то мне ее сватали. Но о ней поговорим в другой раз.

VIII. Мы ищем занятие

1

Нельзя пожаловаться, — мы очень желанные гости у нашей соседки Песи и у ее мужа — переплетчика Мойше. И живется нам здесь совсем неплохо. И весело! А уж в воскресенье, когда вся орава свободна от работы, — и вовсе говорить не приходится. Мы, то есть вся ребятня, собираемся вместе, и мой товарищ Мендл с нами, — и отправляемся в театр, то есть в «мувинг-пикчурс»¹. Стоит это пять сентов с человека, а чудес навидаешься таких, что просто голова кругом! Будь я сыном короля или внуком Джейкоба Шифа, я бы дни и ночи пропадал в кинематографе. Я бы и не вылезал оттуда. И мой товарищ Мендл — тоже. И Вашти, которого здесь называют Герри, — тоже.

Поговорите, однако, с моим братом Элей, — он вам скажет, что это глупости, чепуха, детская забава. Но если это детская забава, почему же туда так тянет нашего друга Пиню, и его жену Тайбл, и мою золовку Броху? Но у моего брата на все имеется готовый ответ: у женщин, говорит он, ума столько же, сколько у детей, а Пиня, по его мнению, ходит в кинематограф просто назло ему, Эле. Кончилось, однако, это тем, что Эля однажды в воскресенье и сам с нами пошел. С тех пор он, ни одного воскресенья не пропуская, ходит смотреть картины. Все мы ходим — и стар и мал. Даже Песя, и переплетчик Мойше, и наши родственники — все! Одна только мама не ходит. Ее муж, говорит она, будет в земле лежать, а она — по театрам ходить? Не дождутся этого ее враги!

¹ Кино (англ.).

Нам живется неплохо у наших соседей, совсем-таки неплохо. Но нельзя же все время жить в гостях. Надо искать какое-нибудь дело — «джаб». В Америке, говорит мой брат Эля, каждый должен «делать жизнь».

Он озабочен больше всех. Ежедневно приходит от своего тестя и усаживается с мамой говорить о делах. Броха тоже садится. И наш друг Пиня тут же. У Пини планов и проектов — без конца. Но все его планы никуда не годятся. То есть вообще-то они годятся, но брату не нравятся. А если что и понравится брату, ему возражает Броха. Пине, например, пришла мысль, чтобы он, Эля, Броха и Тайбл поступили на фабрику и сделали портными, то есть шили бы на машине. Но Броха говорит, что не стоило ради такой замечательной профессии бросать дом и рисковать жизнью на море. Подумаешь, какое счастье — на старости лет заделаться портными! На это Эля отвечает, что он еще не знает, что лучше: продавать пирожки на Эссекс-стрит или шить на машине? Броха, конечно, вспыхивает оттого, что Эля попрекает ее пирожками, и намекает ему на то, что если бы не отцовские пирожки, они все пухли бы от голода...

Нашего друга Пиню я люблю за его речи. Его, когда он разгорячится, удовольствие слушать. Когда все наговорились всласть, он вскочил и, размахивая обеими руками, произнес целую речь. Я помню ее слово в слово. Вот что сказал Пиня:

— О! Вы темные, дикие люди! Глубоко еще сидят в вас отсталые взгляды! Но Америка — это не страна жандармов! Все миллионеры и миллиардеры Америки в молодости работали тяжело и трудно. Кто на фабрике, кто на улице. Спросите Рокфеллера, Карнеги, Моргана, Вандербильтта, кем был каждый из них в свое время? Не подметали они улиц? Не продавали газет? Не чистили чужих сапог за пятак?

Или взять, к примеру, автомобильного короля, мистера Форда. Спросите его, не был ли он когда-то шофером, извозчиком? Да и великие люди, такие, как

Вашингтон, Линкольн, Рузвельт, — что же они, так и родились великими людьми, президентами? Даже нынешний президент Вильсон, да простит он мне, — разве не был меламедом?..

4

Этого мой брат Эля уже не мог стерпеть. Он перебил речь нашего друга Пини:

— Ну, братец, хватил через край... Осторожнее! Не забывай, пожалуйста, что Вильсон пока-то король...

Но Пиню, когда он разгорячится, не уймешь. Он высмеял моего брата Элю:

— Ха-ха! Король? Какой король? Откуда король? В Америке нет никаких королей!

— Ну ладно, не король, так президент. Какая разница? — попытался отделаться Эля.

Но Пиня перебил его:

— Большая разница! От короля до президента, как от неба до земли! Король — это король, а президент — это президент! Король — это по наследству, а президента выбирают. Захотим мы — и Вильсон будет президентом еще четыре года, а не захотим — и снова он меламед! А знаешь ли ты, что через несколько лет и я могу стать президентом?

— Ты? Президент?

— Я — президент!..

5

Никогда, с тех пор как я знаю своего брата Элю, я не видел, чтобы он так смеялся, как в этот раз. Вы знаете, что брат мой человек озабоченный, меланхолик. Редко когда увидишь его смеющимся. А если он и смеется, то как-то наполовину.

Но на этот раз на него такой смех напал, что мама даже перепугалась. Однако было над чем посмеяться. Надо было видеть нашего друга Пиню, как он стоит, заложив руки в карманы узких брюк, едва охватывающих его новые большие американские ботинки... Надо было видеть его галстук, который Тайбл то и дело поправляет на нем, чтобы он лежал как следует, а галстук не слушается, хоть режь его... а жесткая американ-

ская шляпа, которая не желает сидеть на месте! И главное, его близорукие глаза и острый крючковатый нос, который в рот заглядывает...

— Господи боже мой! И вот такой будет президентом?.. Ну как же тут не смеяться!..

6

Вдоволь насмеявшись, мой брат Эля обращается к маме:

— Ну ладно. Нас Пиня уже обеспечил. Мы все отправляемся на фабрику и будем строчить юбки на машине. А о самом Пине и подавно заботиться нечего: ведь он же, бог даст, будет президентом... Но что делать с нашими малышами?

Эля имеет в виду меня и моего товарища Мендла. Он не выносит того, что мы околачиваемся без дела. Он страшно злится, когда мы болтаемся на улице и играем в мяч или в пуговицы. Однажды он попытался схватить меня за ухо, но вы помните, чем это кончилось? Какой-то парень сунул ему кулак прямо под нос, чтобы он знал, что в Америке можно драться только с равными.

— Да вы о себе позаботьтесь, а о ребятах заботы мало! — говорит переплетчик Мойше, тем самым намекая на то, что мы хоть и милые гости, но пора и нам уже кое-чем заняться и зарабатывать на хлеб...

7

А нам, думаете, приятно сидеть на чужих хлебах из милости? Моя мама помогает Песе на кухне. Она печет, и готовит, и стирает, и убирает. Жена Пини застилает кровати и подметает полы в комнатах. Сам Пиня помогает переплетчику в ларьке. Правда, толку от этой помощи не так уж много. Пиня, как увидит книги, уткнется в них носом — и будь здоров! Однако это бы еще с полгоря. У него к тому же манера писать. Послал ему бог перо, в котором вечно держатся чернила. Бумага здесь стоит дешево — дешевле паревой репы, — вот он и сидит и царапает.

— Ты учишься писать? — спрашивает Эля.

Но Пиня не отвечает. Он складывает исписанные листы, прячет их глубоко в боковые карманы пиджака с обеих сторон и выглядит как распухший.

8

Мы, то есть я и мой товарищ Мендл, тоже без дела не сидим. Покуда у нас еще будет «джаб», мы изо всех сил помогаем Песиной ораве. Я помогаю старшему — «Колодке», которого зовут Сэм, разносить картонные коробки. А мой товарищ Мендл помогает иной раз Вилли, который служит в бакалейной лавке, или Файтелю — Филиппу, который торгует газетами. За нашу работу мы ничего не получаем, кроме того что по воскресеньям они берут нас за свой счет в театр, то есть в «мувинг-пикчурс». А когда мы выходим из театра, они угощают нас мороженым. Здесь это называют «айз-крим» и едят либо с двумя кусками бисквита, либо запивают содовой водой. Потом мы гуляем в парке. А парков в Нью-Йорке много и всюду пускают бесплатно. Замечательная страна — Америка! Ходи куда хочешь и делай что угодно!

9

Когда есть время, я забегаяю к старому своему товарищу Вашти. Но его «боссиха» (хозяйка) не особенно рада моим визитам. Она заметила, что Вашти иногда подсовывает мне кусок рожка или парочку изюминок и миндалин. Двух сластен, говорит она, ее ларек выдержать не может!

Так что я больше туда не хожу. Я жду, когда Вашти придет вечером домой. Иной раз он приносит мне в кармане что-нибудь вкусное. Но Броха, как увидит, что я жую, тут же докладывает моему брату Эле. Эля спрашивает, что я жую. Я отвечаю: «Чойнгом». То, что все в Америке жуют. Но Броха говорит, что у нее с души воротит от этой жвачки.

— Не все ли тебе равно? — удивляется Эля. — А если коровы жуют жвачку?

Тут вмешивается Пиня. Он не может допустить, чтобы американцев сравнивали с коровами. Он говорит:

— Ты берешь народ, первый, величайший, мудрейший

и самый свободный народ в мире, и сравниваешь его с... коровами! Скажи мне, пожалуйста, что было бы с нами, если бы Колумбус, упаси бог, не открыл Америку?

— Другой открыл бы! — отвечает просто и не задумываясь Эля.

10

Слава тебе господи! Могу сообщить вам радостную весть: у нас уже есть занятие. Больше нам не придется ходить без дела, прибегать к милости и есть чужой хлеб. Мы уже работаем на фабрике. То есть не я и не мой товарищ Мендл. Нас не принимают, мы еще слишком молоды. На фабрику идут пока двое из нашей семьи — мой брат Эля и наш друг Пиня.

Что значит работать на фабрике и как там работают? Об этом я вам расскажу.

IX. Мы работаем на фабрике

I

Как работают на фабрике, я не могу вам точно сказать. Я и сам не знаю. Меня туда не пускают, потому что мне еще тринадцати лет нет. Знаю только то, что слышу от моего брата Эли и от нашего друга Пини. Каждый вечер, вернувшись домой с фабрики, они рассказывают всякие чудеса. Приходят они измученные и голодные, и мы садимся ужинать. Ужин — по-здешнему «сапер». Броха терпеть не может это слово, как правверный еврей — свинину. Есть еще слово, которое она не выносит. Это — «винде». «Винде» — здесь означает окно. Затем она слышать не может, когда говорят «стакингс». Вы, конечно, никогда не догадаетесь, что «стакингс» — это... чулки! Или — как вам нравится словечко «дишес»? Кажалось бы, «посуда», говорит Броха, гораздо красивее! А что может быть проще слова «ложка»? Так нет же, им это не по вкусу. По-ихнему ложка — это «спун». Недаром у Брохи поговорка (у нее имеются свои поговорки): «Какова страна, таков и язык...»

Эля и Пиня работают в разных мастерских. Один — «опрейтор», то есть попросту говоря портной. Второй — гладильщик. Портной не должен шить вручную. Он строчит на машине. Но и это надо уметь, — само по себе не строчится. Откуда же моему брату Эле уметь шить на машине, когда ни отец, ни дед, ни прапрадед никогда портными не были и машины в глаза не видали? Наши предки, говорит мама, были сплошь канторы, раввины и синагогальные служки. Скверно, конечно! Но на то и Америка: нет в Америке такого дела, которым бы человек заниматься не мог. В Америке всему выучиваются. Возьмите, к примеру, раввина. Ведь для того, чтобы быть раввином, уж наверное требуется умение? Раввин должен уметь хотя бы разрешать спорные вопросы! Тем не менее в Америке имеются раввины (здесь их называют «реверентами»), которые у себя на родине были мясниками. Мой брат Эля познакомился здесь с одним специалистом по обрезаниям. У себя на родине он был портным, да еще дамским к тому же!

— Как же это так? — спрашивает Эля.

— Америка! — отвечает тот.

Как мой брат Эля научился строчить? А как же дамский портной научился делать обрезание? Эля порядком натерпелся. Ему давали остатки материи, чтобы он прошивал их на машине. Вот он и прошивал — туда и обратно, — покуда дело не пошло на лад. На следующий день он уже строчил. Правда, можете себе представить, что это была за строчка! Но хорошо и то. А вот Пиня и этого не смог. Не потому, что он ленился. Упаси бог! Пиня готов тачку на себе возить, лишь бы жить в Америке. Но беда в том, что он ужасно близорук и делает все второпях. Его тоже посадили за машину, как и моего брата. И ему дали прострочить куски материи. Но с ним случилось несчастье, или, как здесь говорят: «эксиденц». Наш друг Пиня второпях задел за свой пиджак и пристрочил левый рукав. Хорошо еще, что машина по руке не прошла. Ох и хохотали же над ним! Портновская

братия подняла его на смех! Прозвали его «грингорн», то есть «зеленым». А «зеленый» — это такой, который только что приехал с родины и ничего еще в Америке не знает. «Зеленый» — это позор, хуже вора...

Но это бы еще, как Броха говорит, с полгоря. Слушалось нечто похуже. Сейчас узнаете.

4

Как раз в той мастерской, где мой брат работал за машиной и где начал было учиться наш друг Пиня, находился наш старый знакомец и враг Пини — портной из Гайсина.

Если вы помните, мы с этим гайсинским портным ехали вместе на корабле «Принц Альберт». Вы, наверное, помните также, что с нашим другом Пиней этот портной был на ножах. И вот надо же богу устроить так, чтобы Пиня повстречался с ним в одной мастерской! Да как еще повстречался! Гайсинский портной здесь, оказывается, важная персона. Он не «опрейтор», он — «катер», то есть закройщик. Он кроит, а портные шьют. Но этого мало. Он говорит, что недолго будет заниматься этим делом. Он надеется вскоре стать «дизайнером». А это и вовсе большая шишка! «Дизайнер» — это мастер, который делает фасоны, модельщик. А модельщик зарабатывает пятьдесят долларов в неделю и семьдесят пять, а то и все сто!

Уж если везет человеку, так везет! Как наша Броха говорит: «Одному бог даст все, другому — ничего...»

5

Как только Пиня переступил порог мастерской, к нему навстречу вышел портной из Гайсина, уставился на него через свои серьезные очки, протянул руку и воскликнул:

— Хеллоу, земляк! Ай-ду-ю-ду?

Это значит: «Здравствуйте, пожалуйста! Как изволите поживать, уважаемый?»

Пиня смотрит на него своими близорукими глазами: «Это что еще за шут гороховый?» Он его даже не узнал.

И лишь когда тот назвал «Принца Альберта», Пиня вспомнил, кто это такой. И, говорит он, ему будто трижды сердце пробуравили!

Казалось бы, что такого сделал ему этот гайсинский портной? Но Пиня говорит, что видеть его не может! Если бы он знал, что ему будут платить тысячи долларов в час, он и то не остался бы ни на минуту в этой мастерской! А к тому же еще этот «эксидентц» с пристроченным рукавом...

6

Словом, «опрейтором» Пиня уже не будет. Он пошел в другую мастерскую и нанялся в гладильщики. Собственно, пока еще только в подручные. Когда он научится, тогда пойдет дальше и выше. До чего он доберется?

— Ничего нельзя знать! — говорит Пиня. — Никто не знает, кому завтрашний день принадлежит. Ни Карнеги, ни Вандербильдт, ни Рокфеллер не знали, что впоследствии они будут тем, что они есть...

А пока наш Пиня основательно мучается. И все из-за того, что он вечно торопится. К тому же эта близорукость. Ежедневно он приходит ошпаренный.

Однажды он пришел с искалеченным носом. В чем дело? Во время глажки он обжег себе нос. Каким образом утюг угодил ему в нос? Но Пиня говорит, что нос не стал дожидаться, куда утюг пожалует к нему. Нос не поленился и сам потянулся к утюгу.

Как же так все-таки? Оказывается, Пиня разыскивал кусок материи, но по близорукости нагнулся к столу и ткнул самым кончиком носа в раскаленный утюг.

— Растяпа в сугроб упадет и то на камень наткнется...

Полагаю, что, если я и не скажу вам, вы сами догадаетесь, что слова эти принадлежат Брохе. Моя зловка умеет вернуть словечко...

7

Броха недовольна. Мама — тоже. И Тайбл — тоже. Но видите вы когда-нибудь, чтобы женщины были довольны? Они оплакивают нас, мужчин, потому что нам

приходится в Америке так трудиться, чтобы «делать жизнь». Шутка ли, работать на фабрике! В половине восьмого нужно быть уже на работе. Час продолжается езда до фабрики. А перекусить что-нибудь тоже надо. А помолиться и подавно нужно. Вот и подумайте, когда же мы должны встать? А опоздать нельзя ни на минуту. Если опоздаете, вам за каждые пять минут вычитывают полдневный заработок. Откуда они знают, опоздали вы или нет? На то и Америка. В Америке на каждой фабрике имеются такие часы. Как только пришли на работу, вы прежде всего нажимаете на часы. Здесь они называются «клак». Слово «клак», говорит мой брат Эля, происходит от слова «колокол»; колокол звонит, и часы тоже звонят...

— Но так называются только стенные часы. Карманные часы не звонят и называются поэтому «ватч».

— Почему «ватч»? — спрашиваю я у Эли.

— А как же им называться?

— Вачики...

— Почему «вачики»?

— Потому что карманные часы — это «часики». Ведь вот «бой» означает «парень», а мальчик — это «бойчик»...

Эля начинает сердиться и говорит, что я научился у Пини говорить наперекор. Хорошо еще, что Пини при этом нет. Будь он здесь, они бы поссорились из-за этого слова, так же как недавно они чуть не подрались из-за слова «брек-фиш» — завтрак.

Эля сказал, что завтрак называется «брек-фиш» потому, что к завтраку едят рыбу или селедку...¹

— Почему же «брек-фиш», а не «брек-селедка»? — спросил Пиня.

— Глупая твоя башка! — ответил Эля. — А селедка не рыба?

Пиня почувствовал себя побитым и предложил:

— Давай спросим у американца!

И не поленились, остановили на улице бритого еврея (это было в субботу) и спросили:

— Вы давно в Америке живете?

— Тридцать лет. А в чем дело?

— Объясните нам, пожалуйста, почему у вас завтрак называется «брек-фиш»?

¹ Рыба по-еврейски — «фиш».

— Кто вам сказал, что завтрак — это «брек-фиш»? — удивился тот.

— А как же?

— Брекфест! Брекфест! Брекфест! — трижды прокричал американец и добавил: — Зеленые дикари!..

8

Боюсь, что на фабрике мы долго не продержимся. Мой брат Эля говорит, что рабочим досаждают «форман». На каждой фабрике имеется «форман» — старший надзиратель. И не один, а на каждом этаже свой «форман». На этаже, где работает Эля, «форман» — изверг, злодей! Когда-то он сам был «опрейтором». Но выслужился и стал надзирателем. Рабочие говорят, что он хуже «босса».

По мастерской пошел слух, что надзиратель передвигает часы.

Так что, когда бы вы ни пришли, у вас опоздание! Понимаете, какой жулик?!

А наш друг Пиня рассказывает о своей мастерской еще более интересные истории. Их «форман» не разрешает рабочему заглянуть в газету. Читать за работой газету — упаси бог! О курении и говорить не приходится. Словом перекинуться нельзя. В мастерской, если не считать лязга и грохота машин, такая тишина, что слышно, как муха пролетит. И еще одно «удобство» у них в мастерской: утюги греются на керосине. Здесь это называется «газ», но воняет он не лучше нашего керосина.

9

Словом, запах керосина так ударяет в голову, что рабочие падают в обморок и должны бросать работу. За это у них высчитывают из жалованья. То есть когда выдадут полчку за неделю, у вас ничего не остается. То вы опоздали на пять минут, — долой полдня, то вы ушли слишком рано, — еще полдня долой... А то вы в обморок упали, — целый день пропал.

Нет! Так больше нельзя. Придется бастовать.

Х. Мы бастуем!

1

Мне кажется, никогда в жизни так хорошо не бывает, как во время забастовки! Это вроде того, как если учишься у злого меламеда, который больно дерется, а у него отбирают всех ребят и подыскивают для них другого учителя. И вот, пока подыщут, вы не ходите в хедер...

Мой брат Эля и наш друг Пиня перестали ходить на фабрику. Наш дом совсем по-иному выглядит с тех пор, как они бастуют. Раньше мы их, бывало, видели раз в неделю — в воскресенье. Потому что, как я вам уже рассказывал, когда работаешь на фабрике, надо вставать на рассвете, чтобы, не дай бог, не опоздать. А когда они возвращались домой, я, бывало, уже спал. Почему? Потому что они работали сверхурочно, то есть даже после того, как все уходили домой. Работать их никто не заставлял, — они просто хотели побольше заработать. А в том, что при получке у них высчитывали дни, они ведь не виноваты.

— Допустим, что разбойники напали... — говорил Эля.

— Допустим, что ты глуп! — отвечала моя золовка Броха.

Если бы она, говорит Броха, работала на фабрике, она бы не давала себе на ноги наступать! Всем этим надзирателям и «боссам» тошно было бы от нее, уверяет она. Ей можно поверить! Она умеет!

2

Зато и радовалась она, когда во всех мастерских объявили забастовку. Это значит, портные всего Нью-Йорка побросали утюги да ножницы и — гуд бай! Батюшки, что творилось! И дома, и на улице, и в «холлах»! «Холл» — это зал или театр. Собираются туда портные со всего Нью-Йорка на митинг, и говорят, и говорят, и говорят... Таких слов наслушаетесь, каких вы никогда и не слышали: «Дженераль-страйк», «юнион», «организованно», «сорок восемь часов», «повышенное жалованье», «скэбы», «штрейкбрехеры», «пикеты»... и тому подобные слова, которых вы не понимаете. Мой товарищ Мендл

говорит, что он слова эти понимает, но объяснить мне не может. «Старше будешь, сам поймешь!» — говорит он. Возможно. А пока я присматриваюсь к людям, вижу, как они горячатся, и у меня руки чешутся: так хочется нарисовать их, изобразить каждого в отдельности, как он выглядит, что делает, как стоит и говорит.

3

Взять, к примеру, моего брата Элю. Сам он ни слова не говорит. Он только подходит то к одной, то к другой кучке людей, просовывает туда нос или настораживает ухо. При этом он грызет ногти и ужасно волнуется. Удовольствие видеть, как мой брат кивает головой каждому, что бы тот ни говорил. Он со всеми соглашается. Вот подошел к нему портной с желваком на лбу. Портной ухватил его за лацкан, трясет его и уверяет, что все это ни к чему, что напрасен весь этот шум. Портные своей забастовкой ничего не добьются, потому что общество фабрикантов гораздо сильнее нас! И мой брат утвердительно кивает головой. А я боюсь, что Эля, так же как и я, даже не знает, что это такое за «общество фабрикантов»... Потому что вот подошел к нему другой портной — с утиной физиономией. Портной этот шлепает губами, держит брата за пуговицу и поминутно выкрикивает: «Нет! Мы должны бороться, бороться до конца!»

И Эля слушает и тоже кивает головой... Жаль, что нет при этом моей золовки. Уж она бы ему сказанула...

4

Совсем по-иному выглядел наш друг Пиня. Кто не видал его и не слышал его речей на митингах, тот ничего интересного в своей жизни не видал. Как выглядит Пиня, вы знаете по моим прежним рассказам. Его близорукие глаза и крючковатый нос, что в рот глядит, вы, конечно, помните. Не забыли вы, надо полагать, и его длинных, узких брюк — одна штанина спущена, другая задрана, — его галстук на расстегнутой манишке... А как он горячится, как сыплет, словно из пожарного рукава, громкими словами и именами великих людей!..

И вот представьте себе Пиню, выступающего перед тысячной толпой, которая к тому же не желает его слу-

шать! Начал он с Колумба, с открытия Америки, затем перешел к Соединенным Штатам и только было собрался говорить и говорить, но ему не дали.

— Кто этот оратор? — спрашивает один портной у другого.

— Какой-то «зеленый»! — отвечает тот.

— Что ему нужно?

— Чего он болтает?

— Морочит голову!

— Шарап! — выкрикивает один, а другие подхватывают:

— Шарап!

5

Вообще говоря, «шарап» — это слово нехорошее. Означает оно: «Долой». Однако наш друг Пиня слов не пугается. Пиня, когда он разговорится, — все равно что бочка с водой, из которой вынули затычку. Можете придерживать рукой, можете затыкать отверстие тряпкой — ничего не поможет. Пока вода не вытечет до последней капли, труд ваш напрасен. Пиня должен ответить свое. Разве что его стащат с трибуны. На этот раз с ним так и пришлось поступить. Два портновских подмастерья, гладильщики, взяли его за обе руки и честь честью сняли с трибуны.

Однако это не помешало ему договорить до конца. Он закончил свою речь, уже идя с нами домой. А когда мы пришли, он еще долго говорил перед моей мамой, перед золовкой Брохой и перед своей женой Тайбл. Я и мой товарищ Мендл тоже были среди слушателей. И мне кажется, что Пиня был прав. Но поговорите с женщинами... Когда Пиня кончил, моя золовка Броха сказала, по своему обыкновению, не совсем понятно:

— Не все ли равно индюку, когда его зарежут — на пурим или на пасху?..

Может быть, вы знаете, что она хотела сказать?

6

Между тем проходит день за днем. Забастовка продолжается. Рабочие держатся крепко. Митинги собираются каждый день. И каждый раз на новом месте.

Однако и фабриканты, говорят, тоже держатся крепко. Они не хотят уступать. Но все говорят, что уступить им придется. Нет того, чего рабочие не могли бы добиться. Дело доходит до последнего средства. Если и это не поможет, тогда все кончено! Так говорят наши. Что ж это за средство? Мы соберемся, все забастовщики всего Нью-Йорка, и пройдем по улицам с демонстрацией. Это значит, что тысячи и тысячи портных пройдут с флагами по всему городу. Мне и моему товарищу Мендлу это нравится. Мы будем первыми. Но поговорите с такой женщиной, как моя золовка Броха, и она вам скажет, что на ее взгляд — это детская игра, вроде игры в солдатики...

— Жаль ваших сапог! — говорит она.

Послушали бы вы, что ответил ей на это Пиня!

7

Дело с забастовкой зашло у нас уже довольно далеко. Я и мой товарищ Мендл уже готовились, как готовятся к Четвертому июля. В этот день в Америке праздник. На улицах стреляют из ракетниц и, случается, говорят, что даже людей убивают. Шутка ли — Четвертое июля! Ведь это же день, когда Соединенные Штаты освободились от врагов...

Я и Мендл были уже настроены по-праздничному. Но торжество наше было омрачено. На Канель-стрит убили человека. Эту весть принес Пиня. Он был на месте и видел убитого. Он говорит, человек этот заслужил свою смерть — это был гангстер.

— Что это такое — гангстер? Вор? — спрашивает мама.

— Хуже вора! — отвечает Пиня.

— Разбойник?

— Хуже разбойника!

— Что может быть хуже разбойника? — удивляется мама.

— Гангстер, — говорит Пиня, — хуже разбойника, потому что разбойник — это разбойник, а гангстер — это наемный злодей. Его наняли, чтобы он избивал забастовщиков. Он напал на девушку-забастовщицу и хотел ее избить. Та подняла крик, сбежались люди, и началась драка.

Больше от Пиня ничего нельзя было добиться. Он шагал на своих длинных ногах взад и вперед и страшно волновался. Он рвал на себе волосы и сыпал словами и именами:

— Эх, Колумбус! Ай-яй, Вашингтон! Ай-яй, Линкольн!

Наконец Пиня поднялся и убежал.

8

Пока суд да дело, а пострадали мы — я и мой товарищ Мендл. Мама поклялась своим здоровьем и жизнью, что ни за какие деньги не пустит нас на улицу! Ни меня, ни Мендла, ни Элю, ни Броху, ни Тайбл. Потому что если дошло до того, что на улицах убивают людей, так о чем же говорить! Она на всех нас нагнала такого страха, что Тайбл расплакалась, как ребенок: бог знает где сейчас ее Пиня!..

Тогда мама забыла о нас и стала утешать бедную Тайбл: есть у нас великий бог, ничего с Пиней не случится. Он, с божьей помощью, благополучно вернется домой и будет мужем своей жене и отцом своим детям, которые, бог даст, еще когда-нибудь будут. Пока что у Тайбл детей нет. Она лечится и надеется, что дети у нее будут.

— И много детей! — говорит мама.

— Аминь! Дай бог! — говорю я и тут же получаю затрещину от моего брата Эли, чтоб я не был озорником и не совал свой нос куда не следует.

9

Слава тебе господи, — Пиня пришел. Пришел с радостной вестью: человек, гангстер, которого убили, оказывается, жив и будет жить. Но калеккой он останется уже навсегда. Его не убили насмерть, его просто здорово отколотили, вышибли глаз и сломали руку.

— Поделом! Пусть не будет гангстером!

Но маме его жалко:

— Пусть он себе будет кем хочет. Есть бог на небе, пусть он с ним и рассчитывается. За что ему было ломать руку и выбивать глаз? Чем провинились его жена и несчастные дети, чтобы иметь отца калекку?..

Забастовка затянулась, и мы ходим без дела. Мой брат Эля вне себя. Мама его утешает. Она говорит, что бог, который привел нас в Америку, нас, надо надеяться, не покинет. Наш родственник, пекарь Иойна и наши добрые друзья, Песя-толстая и ее муж — переплетчик Мойше, да и все остальные друзья и знакомые приходят к нам каждый день и утешают нас. Небо, говорят они, наземь еще не валится. Где это сказано, что в Америке надо обязательно заниматься портновским делом? Можно прожить и без этого. Как? Сейчас я вам расскажу, как мы «делаем жизнь» в Америке.

XI. Касриловка в Нью-Йорке

1

Прежде чем рассказать вам, как мы «делаем жизнь» в Америке, я должен перечислить по именам, кто здесь находится из наших друзей и знакомых, так как только благодаря им мы понемногу оправились и начали заново строить свою жизнь. Оказывается, что у нас здесь есть и друзья и знакомые, — дай бог не сглазить! Вся Касриловка перебралась в Америку. После нашего отъезда из дому, говорят они, там начался переполох, смятение, бегство. Там произошел страшный погром, резня и пожар — весь город сгорел дотла! Новость эту сообщила нам мама. Где бы ни стряслась какая-нибудь беда, первой узнает о ней мама. Где? В синагоге. В «Касриловской синагоге». Есть и такая в Нью-Йорке.

2

В первую же неделю по приезде в Нью-Йорк мама прежде всего расспросила о синагоге, куда можно было бы ходить молиться по субботам. Оказалось, что в Нью-Йорке синагоги, слава богу, имеются чуть ли не на каждой улице. В первый раз нас проводила наша соседка Песя. Синагога эта — наша. То есть прихожане, которые там молятся, все из нашего местечка. Она так и назы-

вается: «Касриловская синагога». Там мы увиделись со многими нашими земляками. Прежде всего мы увидели — угадайте кого? Будь вы семи пядей во лбу, — все равно не отгадаете. Во-первых, кантора, нашего кантора Герш-Бера с длинной бородой, того самого, у которого я когда-то служил в певчих, если вы помните, и таскал на руках его Добцю. Девочка умерла еще в Касриловке во время погрома. А кантор Герш-Бер с женой и старшими детьми живут в Америке. Он здесь и кантор, и обрезальщик, и меламед. Здесь это называется не меламед, а «тычер». Почему «тычер»? Потому что он тычет чем попало в ребят. Делает он это незаметно, чтобы никто не видел. Потому что бить ребят в Америке не разрешается, как я вам уже рассказывал. Говорят, что Герш-Бер здесь очень неплохо зарабатывает. Но он сильно изменился. То есть вообще-то он тот же самый, что и был, но одевается он по-другому. Если бы он дома надел такую шляпу, как здесь, за ним бы бегали. Кафтан на нем тоже укорочен, а пейсы подрезаны. Только бороду он не трогает. Зато ее трогают другие. В Америке бороды не любят. Однажды поймали его на улице озорники и хотели отрезать ему бороду. На счастье, подбежали люди и спасли его. С тех пор он, когда ходит по улице, прячет бороду в воротник пальто.

3

Сапожник Бере тоже здесь. Это тот самый Бере, у которого мой брат Эля когда-то нанимался травить мышей. Если вы помните, сапожник Бере любит рассказывать всякие чудеса, выдумывать невесть какие истории, иначе говоря, не прочь соврать. Он и здесь занимается сапожным делом, как и дома. Рассказывает он о своей работе такие вещи, что если бы это было правдой хотя бы на одну треть, так и то было бы замечательно. Бере заявляет, что он лучший сапожник в Америке. С его сапогами, говорит он, носятся по всей стране. Клянется он так, что и богоотступнику поверить можно. Сам президент будто бы заказал у него пару сапог.

Мой брат Эля говорит, что история с президентскими сапогами — такая же правда, как и история о кошке, которую съели крысы, рассказанная им когда-то...

Даже богач Иося, которому у нас в местечке все завидовали, и тот здесь, в Америке. Но он уже больше не богач. В чем дело? Его пришиб погром. От самого погрома он, собственно, не так уж пострадал. Правда, его пограбили, мебель сломали, постель распороли, товар из лавки порастаскали. Но их не били, потому что три дня и три ночи они прятались в погребе и чуть от голода не умерли. Но все это было бы с полгоря. Беда в том, что все его должники обанкротились. Тогда и ему пришлось прекратить платежи. Кто мог бы ждать, что такой надежный человек, как реб Иося, должен будет обанкротиться и бежать из Касриловки? Бежал он среди ночи. Куда? В Америку.

Его сынишку, Генеха-кривого, вы, наверное, помните? Помните, как он смеялся надо мной, что я еду в Америку? Теперь он здесь таскается по улицам и, завидев меня, убегает. Ему и сейчас, видите ли, не пристало разговаривать со мной! Мой товарищ Мендл говорит, что он ему обязательно и второй глаз приведет в порядок. Мендл терпеть не может, когда чванятся и задирают нос.

Интереснее всего то, что и лекарь Менаше, и его Менашиха тоже здесь. Вы, конечно, помните их сад с персиками, с вишнями, с яблоками и грушами? Все это пошло прахом. Сожгли их дом и сад, все превратили в пепел. Вы бы их теперь не узнали. Оба состарились и поседели. Он развозит лоток с яблоками и апельсинами, а она торгует чаем Высоцкого.

— Горе горькое, — говорит мама со слезами на глазах, — до чего они дожили...

— Поделом! Черт с ними! — говорит мой брат Эля, и я с ним совершенно согласен.

По делом Менашихе, — она была ведьма, нищему жалела гнилое яблочко, упавшее с дерева. Думает, я забыл, как меня однажды сцапали на крыше... Покуда жив, помнить буду!

За то время, что мы таскались по заграницам, нашу Касриловку разгромили, разграбили и пожгли. Похоже, что и наша половина дома, которую мы продали портному Зиле, тоже сгорела. А Зиля сейчас здесь, он по-прежнему портняжит. Разница только в том, что дома он был сам себе хозяином, а здесь, в Америке, он служит. Иной раз — подручным гладильщиком брюк, иной раз — «опрейтором» на машине. Зарабатывает он семь-восемь долларов в неделю. Ему бы, говорит он, этого было маловато, но ему помогают три дочери. Они шьют рубашки.

Рубашки здесь называются «шойртс». Я спрашиваю моего брата Элю, откуда взялось такое слово, но он не знает. Пиня говорит ему, что он и многих других слов не знает. На это Эля отвечает, что корень других слов ему понятен. Тогда Пиня спрашивает:

— Откуда берется слово «бучер»? И почему «бучер» — это мясник?

— Потому, — отвечает Эля, — что мясник расчучивает тушу на куски...

— А почему же портной называется «опрейтором»?

— Потому, — говорит Эля, — потому что... Чего ты пристал ко мне? Обязан я, что ли, понимать все слова, которые говорят в Америке?

— Не кричи, пожалуйста! Подумаешь, осчастливил! — говорит Пиня и обращается ко мне: — Поди-ка сюда, малыш! Если хочешь что-нибудь узнать, никогда не спрашивай у твоего брата Эли. Он ничего не знает.

— Оба вы знаете не больше покойника! — вмешивается моя золовка Броха, заступаясь за своего мужа.

7

Однако я отвлекся посторонними разговорами и забыл, что начал перечислять, кто из наших знакомых находится в Америке.

Кроме членов семьи нашего друга Пини, здесь сейчас вся Касриловка. Возможно также, что и семья Пини тоже переберется сюда. Отец Пини, Герш-Лейб-механик, и его дядя, часовщик Шнеер, пишут Пине, что они бы выехали, да только денег у них нет. Они просят

выслать им шифскарты. Вот мы теперь и копим гроши. Когда накопим несколько долларов для уплаты задатка, мы вышлем им шифскарты на выплату, в рассрочку. А выплатить они смогут, потому что приедут они сюда не с пустыми руками. Механик Герш-Лейб пишет, что он придумал новую печь, которая требует очень мало дров, почти ничего. Как? Это его секрет. А часовщик Шнеер придумал часы, на которые вся Америка будет бегать любоваться, как на чудо. Что ж это за часы? А вот послушайте, что пишут нашему Пине из дому.

8

Сами по себе это обыкновенные стенные часы, с обыкновенным циферблатом. Однако, когда вы хорошенько присмотритесь к циферблату, вы увидите, что на нем нарисованы солнце, луна и звезды. Думаете, это все? Погодите! Каждый раз, когда часы бьют двенадцать, открывается маленькая дверца и выходят из нее сначала офицер со шпагой, а затем двенадцать солдат-музыкантов. Офицер взмахивает шпагой, и двенадцать солдат играют марш и уходят. Дверцы закрываются и — кончено!

Как вы думаете, можно с такими часами заработать деньги в Америке? Над этими часами Пинин дядя проработал добрых несколько лет. Они были уже почти готовы, но во время погрома их разбили в куски.

Однако ничего, — лишь бы мысль осталась. Пусть он только приедет в Америку, и все будет, как здесь говорят, ол райт.

9

А о том, как мы «делаем жизнь», я все еще вам не рассказал. Но это я оставляю до следующего раза.

ХII. Мы делаем жизнь

1

Первым выбился на дорогу и начал делать жизнь мой брат Эля. А кому он этим обязан? Маме. Она по субботам ходит молиться в «Касриловскую синагогу» и встречается там с разными людьми. Вот она и позна-

комилась с президентихой, то есть с женой старосты синагоги. Староста здесь называется «президент». Президентиха — славная женщина и очень уважает мою маму за то, что она всегда знает, на чем остановился кантор и что он говорит. А здешние женщины понятия не имеют о том, что они читают в молитвеннике. Так говорит моя золовка Броха. Она уверяет, что здешние женщины ходят в синагогу только для того, чтобы показывать свои брильянты. И что они, извините, ужасные дуры. Броха говорит, что они ни аза не смыслят, что они умеют только жрать и сплетничать...

Мама ее перебивает и говорит:

— А разве то, что ты рассказываешь, дочь моя, не сплетня?

Броха отвечает, что ей можно, потому что она рассказывает своим, а не чужим...

Однако вернемся к президентихе и к ее мужу — президенту «Касриловской синагоги».

2

Слышали вы что-нибудь об «Ибру нейшонэл вуршт компани»? Там продают еврейскую кошерную колбасу, сосиски, жареные языки и копченое мясо. Во всех концах города эта компания имеет магазины, в которые вы приходите покупать кошерную колбасу. Если вы голодны и у вас есть время, вы велите подать себе горячие сосиски, только что из кипятка, и едите их с хреном или с горчицей, как вам угодно. Если вы не стеснены в деньгах, можете заказать себе еще одну порцию. Я и мой товарищ Мендл однажды уписали по три порции и чувствовали, что могли бы одолеть еще по две, — да только пороху у нас не хватило... Но не об этом я хотел вам рассказать.

3

А рассказать я хотел вот что. Президент нашей синагоги является одним из хозяев этой колбасной компании. И вот мама через президентиху добилась, чтобы президент принял моего брата Элю на службу. То есть продавцом. Если кто-нибудь приходит и

велит подать горячие сосиски, надо не постесняться и подать.

Вначале мой брат поломался: «Помилуйте, молодой человек с бородкой, сын кантора Пейси и зять пекаря Иойны и вдруг — подавальщик!»

Но тут его отчитал Пиня.

— Ты что думаешь? — мылил ему шею Пиня. — Ты думаешь, что все еще живешь в проклятой Касриловке? Ты в Америке! В Америке такие же порядочные люди, как ты, например Карнеги, Рокфеллер, Вандербильдт, торговали газетами, разносили спички, чистили сапоги на улицах. Прочти биографию какого-нибудь Джорджа Вашингтона *, Эйбрама Линкольна * или других великих людей, тогда увидишь, что сыну кантора Пейси вполне пристало продавать сосиски.

4

Но здесь Пине основательно влетело от моей мамы. Покуда Пиня сыпал именами — Карнеги, Рокфеллер, Вандербильдт, — это ее не трогало. Но когда он наряду с Вашингтоном и Линкольном упомянул имя моего отца, кантора Пейси, — это ее задело. Она сказала, что не знает, кто такой Вашингтон и кем был Эйбрам Линкольн. Очень возможно, что это были порядочные люди и очень почтенные евреи, но она не хочет, чтобы имя ее мужа таскали сюда, в Америку. Пусть он, говорит она, будет в раю добрым заступником за нее, за нас и за всех евреев.

— Аминь! — говорю я и тут же получаю пощечину от моего брата Эли, чтобы не совал свой нос куда не надо.

5

Короче говоря, у моего брата есть занятие, и он делает жизнь. Он продает сосиски, подает к столу и получает за это, во-первых, пять долларов в неделю, а кроме того, его два раза в день кормят. Это тоже чего-нибудь стоит. А чего стоит то, что в магазин приходит масса народу? Каждый день он знакомится с самыми почтенными людьми Нью-Йорка. Есть надежда, что мой брат далеко пойдет, потому что он понравился

хозяевам и пользуется большим уважением у покупателей. Покупатель любит, когда его обслуживает порядочный человек, неприрожденный лакей. Единственный недостаток в том, что у моего брата, не про вас будь сказано, растет борода. Не будь у него бороды, он был бы совсем-совсем ол райт. Но борода, как назло, здесь, в Америке, разрослась у него и в ширину и в длину. То есть больше в ширину, чем в длину.

Пиня говорит, что Эля мог бы свою бородку, как говорят в Америке, немного обкорнать. Так, как сделал это он, Пиня. Он зашел к парикмахеру, сел в кресло и закинул голову, не говоря ни слова, потому что тогда еще по-английски говорить не умел.

Парикмахер подошел, взял его за нос и, рассказывает Пиня, ничего не сделал. Он только хорошенько намылил ему все лицо и прошелся по нему бритвой всего два раза, а потом попросил встать. А когда Пиня встал, рассказывает он, и взглянул в зеркало, он себя не узнал. На лице у него не осталось даже следа от бороды и усов. Гладко, как доска для теста. Ему, говорит он, показалось, что он улыбается...

Бог ты мой, как ему досталось от его жены Тайбл! Она, бедняга, два раза падала в обморок и даже заболела от горя и стыда. Но так было только в первое время. Теперь она уже привыкла. Пиня каждую неделю бреет все лицо и выглядит как настоящий американец. Он уже говорит по-английски и постоянно жует «чойнгом». Но он уже этого больше не глотает... Если бы он к тому же следил, чтобы манишка не была растегнута, чтобы галстук был на месте и чтобы обе штанины были вровень, а не одна вверху, а другая внизу, — он был бы вполне джентльменом.

6

Если бы у Пини не кружилась голова (он родом из такой семьи — «головастых»), если бы он не носился со всякими крупными делами, которые здесь называются «бизнес», он мог бы делать жизнь. Собственно, он и так живет, беда только в том, что он каждый раз хватается за другое дело. Зато у него достоинство: он не стыдится никакой работы на свете. Он готов делать все, что ему

прикажут, лишь бы заработать доллар. Подметать улицу? Ну что ж! Сгрести уголь? И то хорошо. Продавать газеты? И того лучше. Америка, говорит он, страна свободная, а стыдно только красть. Вот потому-то, говорит он, здесь все работают и никто не ворует. Воруют только итальянцы. Урожденный американец, говорит Пиня, ни за что не украдет, пусть хоть золото лежит. Американец никогда вас не обманет, никогда не соврет. Так уверяет Пиня. Он даже стихи сочинил об Америке. Все стихотворение я не помню, могу сказать только несколько строчек наизусть. Вот как оно начинается:

Колумбова страна
Для «зеленых» создана.
Огромная страна —
Ей нет конца и края.
Здесь лжи в помине нет,
Неправды здесь не знают...

Не помню, как у него там дальше, а кончается это стихотворение так:

Америка — справедливости страна:
Здесь есть президент, здесь нету царя...

Мой брат Эля смеется над ним. Он говорит, что «страна» и «царя» — не бог вещь какая удачная рифма. На это Пиня отвечает присказкой: «Если мужа звать Яшкой, можно пить из его фляжки, а если мужа звать Лейзер, так черт его батьке...» Спрашивается: где же рифма? Ответ: «Черт его батьке без всякой рифмы...»

7

Думаете, что наши женщины не зарабатывают? Я имею в виду мою золовку Броху и жену Пини, Тайбл. Они работают на мужских галстуках. А кому они должны быть благодарны? Опять-таки моей маме и опять таки тому, что она ходит по субботам в синагогу. Она там познакомилась с одной «олрайтницей», то есть богачихой (богачей здесь называют «олрайтниками»). Эта богачиха, не тем будь помянута, была когда-то прислугой у нас, в Касриловке, у богача Иоси. Зовут ее Крейнлл. С ней произошла целая история, которую можно рассказать вкратце.

Был у нас в Касриловке когда-то мясник по имени Мейлах. У этого Мейлаха служил парень по имени Нехемья. И вот этот Нехемья влюбился в эту Крейндл и хотел на ней жениться. А жениться ему было не на что. Он и надумал: однажды мясник Мейлах дал ему деньги, чтобы купить на ярмарке корову. А он, Нехемья то есть, взял эти деньги и вместе с Крейндл удрал в Америку. Ему повезло, и он здесь стал «олрайтником», а Крейндл сделалась богачихой. Теперь у них своя фабрика галстуков.

Крейндл справляла годовщину смерти своей матери и по этому случаю пришла в синагогу. Здесь она встретила маму и не отеклась от старого знакомства. Узнав от мамы, что мой отец был кантор Пейся, она еще крепче подружилась с мамой и обещала ей помочь, чем может. Мама ей ответила, что помощи ей не нужно, она хотела бы только получить работу для своих детей. Слово за слово, и богачиха добилась от своего мужа места на фабрике для моей золовки Брохи и для Тайбл. Недели две они ходили на Бродвей работать на фабрике. А потом мама добилась, чтобы им давали работу на дом, так что им не приходилось сидеть по целым дням в мастерской.

9

Однако это продолжалось недолго: покуда был сезон, они были заняты, а затем, когда работы не стало, наши женщины остались без дела. Но мы особенно не огорчались, потому что: «Господь бог одной рукой карает, другой исцеляет». Так говорит моя мама. Я этого уразуметь не могу: к чему карать, а потом исцелять? Не лучше ли не карать, тогда богу и исцелять не приходилось бы... И еще говорит мама, что «господь посылает исцеление до хворобы...».

10

К чему это она говорит? Сейчас узнаете. Но давайте немного отдохнем, чтобы набраться сил для дальнейшего рассказа.

ХІІІ. Исцеление до хворобы

1

Я обещал вам рассказать, что моя мама имела в виду, когда говорила, что «бог посылает исцеление до хворобы». Дело было так.

Моему брату Эле надоело служить в еврейской колбасной компании. Это дело не для него. Не забудьте, что мой брат Эля — сын кантора Пейси. Он человек деликатный. У него голос, он хорошо умеет молиться у амвона. Пристало ли такому человеку подавать сосиски к столу? Но это само по себе было бы, может быть, не так уж важно, — беда в том, что существуют разные люди. Есть люди благородные, порядочные. Такой человек заходит, велит подать себе порцию сосисок, садится, съедает, платит и — до свидания.

2

Существуют, однако, и другие люди. Иной раз попадаете невежа, вот он и начинает душу мотать. То ему кажется, что сосиски недостаточно горячи, то ему не хватает горчицы... Да и говорит он не как полагается: «Будьте, мол, добры, подайте еще одну порцию!» Он свистнет или шелкнет пальцами и рявкнет: «Эй, человек! Еще порцию!» А мой брат Эля не привык, чтобы с ним так разговаривали. Он вспыхивает и такому грубияну не отвечает. Тот начинает сердиться и кричит еще громче: «Эй, профессор! Поди сюда!» Тогда Эля отвечает: «Какой я вам профессор?..» Тот еще больше раздражается и начинает кричать. Услышит это хозяин, подходит к моему брату и спрашивает по-английски:

— Что тут с тобой происходит?

Эля не отвечает.

— Почему ты не отвечаешь, когда я тебя спрашиваю? — кипятится хозяин.

А Эля говорит:

— Спросите у меня по-человечески, тогда я вам отвечу.

— А как это по-человечески? — говорит хозяин.

— По-человечески — значит, по-еврейски... — отвечает Эля.

— А если я говорю по-английски, так я, по-твоему, крокодил?

— Может быть...

— В таком случае, — говорит хозяин, — получай расчет. То есть завтра можешь дома сидеть...

3

«Раз в три дня кусок хлеба есть буду, только бы не продавать сосисок!» Так говорит мой брат Эля. Наш друг Пиня с ним не согласен. Пиня придерживается того взгляда, что Америка страна свободная, что в Америке все пристало. А если вы хотите с ним спорить, он тут же приводит в пример своих миллионеров: «Карнеги... Вандербильдт... Рокфеллер...»

— Откуда ты знаком с этими людьми? — спрашивает Эля.

— А откуда я знаю, что творится в русском «Дворе»? — отвечает Пиня.

— В самом деле, откуда ты это знаешь?

— Если бы ты читал столько романов, сколько я, — отвечает Пиня, — ты бы, может быть, тоже знал...

4

Пиня имеет в виду книги, которые он читает у переплетчика Мойше. Книги эти напечатаны на простом еврейском языке. Они толстые, тяжелые, тяжелее маминного молитвенника. Переплетчик Мойше дает их читать за плату. И зарабатывает на этом, потому что одну книгу читают чуть ли не сто человек, — главным образом женщины. Женщины любят романы. Моя золовка Броха читает их по субботам днем. Моя мама и Тайбл очень любят слушать, как Броха читает. Мама тут же засыпает, а Тайбл слушает и вздыхает. Иногда даже плачет, — у нее сердце доброе. Будь это не в субботу и если бы можно было, я нарисовал бы кистью на бумаге, как Броха читает, как мама спит и как Тайбл плачет...

Однако мы немного заговорились, а между тем все еще не знаем, как это бог посылает исцеление до хворобы.

Прежде всего — о хворобе. Конечно, это хвороба, когда такой человек, как мой брат Эля, ходит без дела. Он не может работать так, как наш друг Пиня. Пине, например, ничего не стоит взять лопату зимой и чистить снег на улице. Эля говорит, что он бы тоже пошел чистить снег, но только не на улице.

— А чего бы ты хотел? — говорит Пиня. — Чтобы тебе твою порцию снега на дом приносили?

Эле досадно, что Пиня шутит.

— Тебе, видно, хорошо! Оттого ты и остришь! — говорит Эля.

— Конечно, хорошо, как только вспомню, что я живу в Америке...

— Счастье тебе привалило! — говорит Эля и с досадой уходит в «Касриловскую синагогу».

И вот тут, в «Касриловской синагоге», и приходит исцеление. Каким образом? А вот услышите.

Я, кажется, уже рассказывал вам, что в то лето, когда мы таскались по лондонскому Уайтчепелю, у нас на родине, в нашей милой Касриловке, произошел ужасный погром с пожаром вдобавок. Все, что можно было разграбить, — разграбили. Что можно было сломать — переломали. Остальное подожгли и сожгли. Что касается бедняков, то о них говорить не приходится. Кроме нескольких подушек, им терять было нечего. Они благодарили бога, что в живых остались. Потому что были и такие, которых били и которые от этих побоев умерли. Несчастные ребятишки частью погибли от рук хулиганов, частью умерли с голоду. Но об этих не говорят. Говорят о тех, которые вчера еще были зажиточными, состоятельными, богатыми людьми, а на следующий день превратились в нищих, бедняков, без рубахи на теле и без куска хлеба. Вот об этих несчастных, когда подумаешь, говорят наши, мороз по коже дерет! Почему мороз не дерет по коже, когда думаешь о бедняках и об их несчастных детях, — я никак понять не могу. Мой товарищ Мендл тоже не понимает этого. Он гово-

рит, что у касриловцев такая уж манера: если бедняк умирает от голода, это для них пустяки. А вот если богач превращается в нищего, — их черт за душу хватает!..

7

Словом, среди наших касриловских богачей был один по имени Мойше-Нойах. Помимо того что он имел собственный дом и двор с садом, он вообще был богач. Доказательство: летом он расхаживал в одних кальсонах и в халате. Бедняк бы не отважился показаться в нижнем белье. Стало быть, надо полагать, что он был человек сильный, богатый, — он мог ни с кем не считаться. Кроме того, весь мир знает, что от матери ему остались в наследство три магазина посреди базарной площади. Была у него когда-то и дойная корова. Лавки на базаре приносили ему достаточно дохода, даже предостаточно. Тем не менее его жена Нехама-Мирл (ее называли «Дехаба-Бирл», потому что у нее был заложен нос и она гнусавила) добывала от этой коровы почти все пропитание для своих домашних. А для того чтобы никто ее скотину не сглазил, Нехама-Мирл любила жаловаться, что корова перестала доиться и больше не дает молока... Но Касриловку не обманешь. Все знали, что это вранье, что корова доиться не перестала и дает молоко...

Теперь представьте себе, что такой человек, как Мойше-Нойах, удирает в Америку, голый, босый, в чем мать родила, — как же его не пожалеть? Но что может делать Мойше-Нойах в Америке? Работать на фабрику он не пойдет, дети его тоже. И вот люди из касриловского землячества пожалели его и сделали служкой в «Касриловской синагоге».

8

Быть служкой в Америке — дело нешуточное. Служка в Америке живет лучше, нежели домохозяин в Касриловке. От одних поминок и годовщин можно разбогатеть. Здесь очень тщательно соблюдают годовщины. В течение всего года не молятся. Некогда: время — деньги. Но если у кого-нибудь случится годовщина смерти

какого-нибудь родственника, он бросает все дела и бежит в синагогу. А из синагоги он бежит в еврейский ресторан и заказывает кошерный обед, потому что у него сегодня годовщина. Вот в таких случаях службе и перепадет немалая толика. А уж если у кого-нибудь сыну исполняется тринадцать лет, тут служба и вовсе крупно зарабатывает.

У нас, на родине, когда мальчику исполнялось тринадцать лет, ему надевали тефилн и заставляли молиться каждый день. Здесь, в Америке, тринадцатилетие — праздник. Мальчику надевают маленький талес и его, как жениха, вызывают к торе. Пропишит он, как молодой петушок, главу из «Пророков»*, а потом поднимает руки и лепечет вызубренную наизусть проповедь, обязательно по-английски. Упаси бог — по-еврейски! Затем идут к раввину (здесь он называется «рабей», ходит бритый и выглядит, как у нас польский ксендз). Раввин накрывает мальчика своими широкими рукавами и благословляет его...

9

Короче говоря, Мойше-Нойах имеет хорошее занятие. Единственный недостаток в том, что он должен сам ходить по хозяевам и собирать пожертвованные ими деньги и ежемесячные взносы в пользу синагоги. Посудите сами, пристало ли человеку, который совсем недавно был богачом, служить сборщиком? Его жена даже плакала и изливала душу моей маме.

— Можете мне поверить на слово, — говорила она, — что каждый раз, когда мой муж отправляется собирать деньги, он жизни своей не рад...

Выслушав жалобы Нехамы-Мирл, моя мама посоветовала ей, чтобы Мойше-Нойах взял в сборщики моего брата Элю. Ему это будет в помощь, а брат заработает. Мойше-Нойах, конечно, ухватился за этот план обеими руками. Мой брат Эля вначале колебался, ему это было не особенно приятно, но тут пришел на помощь Пиня. Он, по своему обыкновению, разговорился и задал Эле как следует:

— Не понимаю, откуда у тебя такая гордость? Чем ты лучше Карнеги, Рокфеллера, Вандербильдта?..

И пошел!

Пиня умеет, если захочет!

Кто мог бы думать, что такая мелкая должность, как сборщик у синагогального служки, со временем превратится в большое дело? И даже не в одно, а в целых два дела. С одной стороны — в сборщика мебельной фирмы, для моего брата Эли, и, с другой — в сборщика страховой компании, для нашего друга Пини. Однако я вижу, что вы не понимаете, о чем я говорю? Погодите немного, я все объясню вам.

XIV. Мы сборщики

1

В Америке хорошо то, что все вам приносят прямо в дом. И все вам дают на выплату. За один доллар в неделю вы можете обставить свою квартиру по-барски.

Здесь никто ничего не покупает за наличные деньги. Разве только такой человек, как Джейкоб Шиф. Он, говорят, самый богатый человек в Америке. Богаче его нет. Так говорит мой брат Эля. А наш друг Пиня уверяет, что Карнеги гораздо богаче, и Вандербильт тоже, а Рокфеллер и подавно! Но Эля не соглашается: ни в коем случае! Те, может быть, имеют больше земли, имени, но наличных денег — дудки! Шиф богаче всех. Тогда Пиня начинает горячиться и кричит, что Эля сам не знает, что говорит. Одних пожертвований Рокфеллер раздает за год больше, чем все состояние Шифа. Тут уж не выдерживает Эля и говорит Пине, что он юдофоб, антисемит, потому что, если бы Рокфеллер даже и был богаче Шифа, он все равно должен был бы говорить, что Шиф богаче. Потому что Шиф еврей.

— Будь он хоть трижды еврей! — отвечал Пиня. — Из-за этого я буду лгать? Ты, Эля, чересчур часто забываешь, что мы в Америке, что в Америке терпеть не могут лжи!

— Столько бы болячек нашим врагам, да на хорошем месте, и столько добрых лет нам всем, сколько выдумок и лжи говорят за один день в Нью-Йорке, не считая Бруклина, Бронзвила и Бронкса.

Так говорит моя золовка Броха, и спору приходит конец.

Коль скоро мебель дают на выплату по одному доллару в неделю, значит, нужен человек, который ходил бы из дома в дом получать эти доллары. Для этого существуют сборщики. Их много, каждый сборщик имеет свой участок, свои дома. Работа его состоит в том, что он должен постучать в дверь, потом войти и поздороваться. Потом он говорит: «Какая сегодня прекрасная погода!» Затем он выдает вам квитанцию, забирает доллар и говорит: «Гуд бай». Больше говорить не надо. Шапку снимать не обязательно. Здесь это не в моде. Можете войти в самый богатый дом в шапке, калошах, курить при этом сигарету, или насвистывать что-нибудь, или жевать ваш «чойнгом». Никто вам ни слова не скажет. На то и Америка.

Мой брат Эля очень доволен своим занятием. Это гораздо лучше, чем стоять в колбасной и продавать сосиски. Да и зарабатывает он гораздо больше. Раз на раз не приходится. Иную неделю зарабатывает восемь долларов, иногда десять, а то и двенадцать. Это зависит от погоды. При хорошей погоде можно ходить пешком, при скверной — приходится ехать на трамвае. А это стоит никель. Однако таких никелей у моего брата уходит немного. Потому что по натуре он человек скуповатый. Совсем не то что Пиня. У нашего Пини гораздо более широкая натура. Он редко ходит пешком. Он, говорит, вынужден ездить, так как он близорук, его и раздавить могут. И не столько из-за близорукости, сколько из-за того, что он вечно о чем-нибудь думает. У него голова пухнет. К тому же он ни минуты не может обойтись без того, чтобы не заглянуть в книгу или в газету. А иной раз бывает, что он вдруг начинает писать. Ходит, думает и думает, не слышит, что ему говорят, потом хватается карандаш или перо и начинает писать! Исписать он может десять листов со всех сторон. Что он там написал и что он делает с написанным — никто не знает. Даже его жена Тайбл и та не знает. Когда Эля спрашивает, что он написал, Пиня отвечает:

— Поживем — узнаем...

Мы уже как будто бы пожили, но знать мы еще ничего не знаем.

Однако это не мешает нашему другу Пине зарабатывать на жизнь. Да как еще зарабатывать! Пиня тоже сборщик. Не по мебели, а по страхованию. Здесь все застраховываются: молодые и старые, женщины и дети, отцы и матери, сестры и братья, дедушки и бабушки. И тоже не на наличные, а в рассрочку, — от никеля и до доллара в неделю. Чем больше сумма страхования, тем больше вы должны платить. Есть такие дома, где все люди — от прадедушки до правнука — все застрахованы от смерти. А если застрахованы еще не все, сборщик должен застраховать незастрахованных. Что значит «страховать» и как это застраховывают человека от смерти, я точно не знаю. Знаю только, что мой брат Эля отказался от этого занятия. Он предпочел иметь дело с мебелью. Почему? Потому что сборщик платы за мебель должен обходиться, как я уже вам говорил, только словами «здравствуйте» и «до свидания». А при страховании надо говорить, уговаривать, заговаривать и переговаривать. На это мастер наш друг Пиня. Он и стенку разговорить может, он и мертвому язык развяжет.

Нашему Пине совершенно безразлично, кто вы такой и что вы такое. О чем бы вы ни говорили, он обязательно сведет на свое. Если вы застрахованы, вы можете говорить о страховании. А если вы не застрахованы, то вы подавно должны говорить о страховании. И уж если вы заговорили, то вы от Пини не отвертитесь. Уж он вас застрахует. А если не вас, то вашу жену, ребенка, деда, тещу, кузину, вашего соседа... То есть вы застраховываете себя с тем, что если ваш сосед умрет раньше вас, то вы получаете от страховой компании добрых несколько сот долларов. Сосед ваш тоже застраховывается. То есть, если, упаси бог, вы умрете раньше его, он получит от компании несколько сот долларов. Платите вы оба по одному кводеру в неделю. Ходить сами выплачивать взносы вы не обязаны — компания приходит к вам. Не сама, а через сборщика. Пиня приходит и получает у вас деньги. За это ему платят пятнадцать процентов комиссионных.

Это — за сбор денег. А если он вас застрахует заново, то есть если он «выпишет вам новый полис», агент получает в пятнадцать раз больше. Иначе говоря, если вы уплачиваете один кводер страховой премии, агент получает от компании пятнадцать кводеров сразу! Вот и сосчитайте, сколько это составляет?! Теперь представьте себе, что нашему Пине удастся выписывать по два, по три, а то и больше полисов в день, и все по кводеру! Ведь это же целое состояние!

— Боже мой! Ведь вы весь дом золотом завалите! — говорит моя золовка Броха, а Тайбл даже краснеет, глядя на своего Пиню, достающего из всех карманов кводеры и никели.

— А вы что думали? — отвечает Пиня, раскладывая отдельно кводеры и никели. — Думаете, что Карнеги, Вандербильдт и Рокфеллер так и родились со своими миллионами?..

Где бы взять сейчас лист белой бумаги? Я нарисовал бы углем такую картину: стол, за столом сидит мама, сложив руки. Рядом с ней, по одну сторону, стоит Броха, высокая, долговязая, большеногая. По другую сторону — Тайбл, маленькая, щуплая, как цыпленок. Обе они работают — одна шьет, другая вяжет. У одного края стола — мой брат Эля, обросший бородой, держит пачку карточек в одной руке и стопку бумажных долларов в другой. Это он собрал за день. По другую сторону стола стоит, согнувшись, наш друг Пиня, бритый, настоящий американец. Он вытаскивает из обоих карманов кводеры и никели. А так как он близорук, то каждую монету он подносит к самому носу. На столе уже две высокие стопки: в одной кводеры, в другой никели. Но Пиня еще не кончил. У него еще много монет. Это можно видеть по его брючным карманам, которые распухли, чуть не лопаются...

Ничего нет вечного на свете, и никогда человек не бывает доволен тем, что имеет. Надоело нам ходить и собирать чужие доллары, кводеры и никели. Лучше

маленькие булочки, да свои, нежели большие пироги, да чужие. Так говорит Броха.

Первым невзлюбил свое занятие мой брат Эля. Надоело ему дело, и не столько само по себе дело, сколько его клиенты. Некоторые перестали платить. Одни заявили: «Забирайте вашу мебель, она нам ни к чему не нужна...» Другие предъявляли претензии: «Почему кровать скрипит? Почему в зеркале сразу два лица видно? Почему ящики комода не хотят ни открываться, ни закрываться? И почему каждый стул весит три пуда? А когда сядешь на него, — будто на гвозди сел!..» А кое-кто надумал переехать на другую квартиру. Вот и ищи их!

Но хуже всего вот что: есть такие, которые обязались платить еженедельно. Покуда они могли, они платили. А сейчас они больше не могут. Почему? Кормилец семьи заболел, или остался без работы, или случилась забастовка. Потерять клиента не хочется. Что же делать? И Эля выкладывает пока что из своего кармана.

Словом, что говорить? Скверно!

9

Думаете, наш друг Пиня доволен своим занятием? Тоже нет. Пока уломаешь клиента, говорит он, глаза на лоб вылезут. Разговариваешь с ним три дня и три ночи. Разъясняешь ему, дураку такому, смысл страхования, кое-как добился согласия, а на следующий день оказывается, что он раздумал или врач написал о нем бог знает что: не понравился ему клиент. Но хуже всего для страхового агента то, что клиенты часто перестают платить. Тогда у агента вычитают в пятнадцать раз больше того, что составляет страховая премия. Пиня говорит, что, если бы не отказы от уплаты премии, он бы весь дом золотом завалил! Но, на его счастье, несколько клиентов сразу, будто сговорившись, прекратили платежи.

— Пускай они сгорят — эти клиенты, и страховки, и агенты, и отказы — вместе со страховыми компаниями! — говорит Пиня.

Лучше уж он вместе с Элей начнет собственное дело. Несколько долларов они оба, с божьей помощью, скопили, они могут дело делать.

И решено было, что мы затеваем собственное дело.

XV. Мы затеваем бизнес

1

Все, что душе вашей угодно, вы можете найти в газетах. Вплоть до птичьего молока. Если вы ищете работу, вы ее найдете в газете. Нужны рабочие руки — тоже найдете в газете. Ищете ли вы жениха или невесту — и их в газете найдете. Если вам нужно дело — то и его найдете в газете. Мы искали дело, поэтому мы стали изо дня в день просматривать газету и остановились на объявлении следующего содержания: «Постоянный сигарно-конфетно-сельтерский ларек продается. Напротив школы. Причина — семейные обстоятельства. Хороший доход гарантирован. Спешите!»

Если вы еще зелены, то есть недавно живете в Америке, надо вам растолковать, что значит ларек. Это — стол, за которым продают сигареты, письменные принадлежности, конфеты и содовую воду, а также газеты. Стол этот помещается напротив школы. А продают его из-за того, что муж с женой разводятся, или по каким-либо другим семейным обстоятельствам...

2

Жена моего брата Эли, Броха, поначалу выступила с возражениями: во-первых, откуда известно, что все это правда? А во-вторых, к чему нам вмешиваться в чужие дрязги? Если муж и жена хотят развестись, какое нам до этого дело?..

Думаете, Броха только в этом случае возражала? Она и во всяких других делах отыскивала недостатки. Мой брат Эля давно уже махнул на нее рукой. Но и досталось же ему от нее! Она дала ему понять, что у него нет никаких оснований зазнаваться. Пусть он не думает, что если он на три четверти обкорнал свою бороду, то он уже может задирать нос...

На это Эля ответил, что ее отец, пекарь Иойна, и вообще снял бороду... Но тут вмешался наш друг Пиня и сказал:

— Знаете что? Держу с вами пари — два против одного, что вы среди ста миллионов американцев не най-

дете и полудюжины человек с бородами! Иначе назовите меня лгуном!

— Ну и что же из этого следует? — спросила мама. — Что мне до всех?.. Поговорите лучше о другом...

Моя мама не любит, когда говорят о бородах. С нее, говорит она, достаточно того, что сын кантора Пейси так разделался со своей бородой!..

3

Дело, которое мы затевали, имело много достоинств. Первое это то, что мой брат Эля, если вы помните, еще у нас дома был мастером по изготовлению разного рода напитков. Поэтому нам было выгодно готовить содовую воду и продавать большой стакан за один сент. С сиропом — два сента. Сироп мы тоже делали сами. Второе достоинство в том, что у нас были самые дешевые конфеты. За один сент мы давали полную горсть. Да и сами мы тоже могли сосать конфеты. Говоря «мы», я имею в виду себя, моего товарища — Мендла и Пиню. Мы втроем помогали Эле, стояли за нашим столом и лакомились, когда никто не видел. Только когда здесь бывала Броха, лакомиться было нельзя. А она, как назло, чуть ли не целыми днями торчала у лотка и помогала торговать. Мы все помогали, даже Тайбл, даже мама. Покупатель, когда подходил к нашему лотку, даже пугался, увидев семью с таким количеством бизнесменов. Но это к лучшему: покупатель любит лезть туда, где тесно.

4

Лучшее время для нашего дела — это лето, жаркие дни. Летом в Нью-Йорке суший ад. Люди весь день едят мороженое. Продают его в сэндвичах, то есть между двумя бисквитами кладут немного мороженого. Это стоит пенни. Зарабатываем мы при этом ровно половину. Но главный наш заработок — вода. Это холодный напиток, который здесь называется «сайдер», что-то вроде кисло-сладкого или сладко-кислого кваса, который пенится и щиплет за язык. Те, что пробовали когда-нибудь шампанское, говорят, что у этого напитка точно такой же вкус. И хотя «сайдер» — напиток американский, тем

не менее готовит его — кто бы вы думали? — мой брат Эля.

Чего только Эля не умеет? Вы не смотрите на то, что в нем чуть душа держится. Наш друг Пиня уже несколько раз упрекал моего брата в том, что его шампанское обладает одним только качеством — оно холодное. А вообще оно никуда не годится. Ничуть не сладко! На это мой брат отвечает: если это шампанское никуда не годится, отчего же Пиня по целым дням его хлебает?

— А что тебе, если я хлебаю? — говорит Пиня. — Сколько может выпить человек? Если я буду пить подряд с утра до ночи, — и то не знаю, выпью ли я на один никель.

Тут вмешивается Броха и говорит, что никель тоже на улице не валяется. Тогда заступает за своего мужа Тайбл и заявляет, что ее Пиня — такой же компаньон в деле, как и Эля, а компаньон может, кажется, позволить себе израсходовать иной раз никель?

Хорошо, что мама сидит тут же. Она говорит, что если бы ее озолотили, она бы и за грехи свои даже не притронулась к этому американскому напитку, который выглядит, как сивуха, и от которого тошнит!

Все смеются и поневоле перестают говорить друг другу колкости.

5

Позднее, в середине лета, когда поспевают арбузы, мы делаем еще лучший бизнес. Мы разрезаем арбуз на много кусков и получаем по сенту за кусок. Если попадется удачный арбуз, его превращают в золото. И несколько кусков еще остаются на столе. Тогда у нас хороший ужин. Потому что нарезанный арбуз нельзя оставлять на следующий день: от него остается месиво. Вот мы, то есть я, мой товарищ Мендл и Пиня, молим бога, чтобы оставалось как можно больше кусков...

6

Однако все это такие вещи, которые хороши в свое время. Пройдет лето, кончится сезон — и конец шампанскому и арбузам! Зато сигареты — это товар, не знающий никаких сезонов. Сигареты продаются круглый год,

и мы на этом совсем неплохо зарабатываем. Сигареты бывают разные. Есть по сенту за штуку, а есть и дешевле — две штуки за сент. Сигареты — это тоже такой предмет, которым иной раз полакомиться можно, купить тайком, чтобы никто не видал.

И надо же однажды случиться так, что я утащил сигаретку и мы с моим товарищем Мендлом ее закурили. Я потяну, и он потянет. И все прошло бы благополучно. Но существует на свете Броха. Надо было ей пронюхать, что мы курим сигаретку. Она пошла и доложила Эле. Тогда мой брат задал мне такую сигаретку, что я ее до сих пор помню! Дело было даже не столько в сигаретке, сколько в том, что это случилось в субботу. Сын кантора Пейси курит в субботу — за это убить бы следовало! Тут даже мама добавила, что поделом вору и мука...

С тех пор мы сигарет больше не курим. Я даже запаха их не выношу...

7

Кроме сигарет, у нас имеются еще и газеты для продажи. Еврейские газеты и журналы. Зарботки от этого невелики, но зато нашему другу Пине есть что читать. Он не пропускает ни одной газеты. Как уткнется носом, его не оторвать. Тянет его, говорит он, к газетам, словно магнит. Ему и самому очень хочется писать в газетах. Он уже несколько раз был на Ист-бродвее, где газеты печатаются. Что он там делал — неизвестно. Думаю, что он носил туда несколько своих стихотворений. Потому что как только доставляют пачку газет, первым за них хватается наш друг Пиня. Он ищет и рыщет по всем уголкам, даже руки у него дрожат. Потом он срывается с места и бежит на Ист-бродвей. Мой брат Эля спрашивает, какие дела у него на Ист-бродвее. А Пиня отвечает, что он ищет бизнес.

— А разве у нас не бизнес? — спрашивает Эля.

— Вот это, по-твоему, бизнес? — отвечает Пиня. — Целая семья из семи едоков за одним лотком! Тоже мне дело!

— Откуда семь едоков? — спрашивает Эля.

Пиня считает по пальцам: он и Тайбл — двое, Эля и Броха — вот уже четверо, мама — пять, и два малыша — семь.

«Малыши» — это я и мой товарищ Мендл.

Маме досадно. Она заступает за меня и за моего товарища. Она говорит, что мы честно зарабатываем свой хлеб. Рано утром, до того как ларек открывается, мы разносим утренние газеты нашим клиентам. Потом мы ходим в школу (да, мы уже ходим в школу!). А когда мы возвращаемся, то помогаем делать бизнес.

Мама так и говорит, она уже тоже наполовину изъясняется на здешнем языке. Она говорит уже не «кухня», а «кичен», не «курица», а «чикен». Но беда в том, что она путает эти слова и получается у нее: «Пойду в курицу посолить кухню...»

Все смеются, она тоже смеется.

— Ладно, — говорит она, — как бы ни сказать, была бы думка хороша...

XVI. Хеллоу, земляк!

1

Однажды утром я и мой товарищ Мендл обегали со свежими газетами наших клиентов. Вдруг я почувствовал удар в спину и услышал:

— Хеллоу, земляк!

Обернулся, смотрю — это Мотл! Мотл Большой — тот самый, который таскался с нами по белу свету: в Кракове и Львове, в Вене и Антверпене. Если вы помните, этот Мотл научил меня «показывать губернатора» и говорить животом. Он вместе с другими уехал гораздо раньше нас. В то время как мы блуждали по лондонскому Уайтчепелю, он давно уже был в Америке. У него уже тогда было занятие, которое он и сейчас не оставил. Он работает в заведении, где чистят платья. Как? Берут, говорит он, например, пару измятых брюк, кладут их в машину между двумя валиками, валики нагреваются, а потом поворачивают колесо и — брюки выглажены!

— А вы чем занимаетесь? — спрашивает Мотл Большой.

— Мы, — говорю я, — доставляем газеты нашим клиентам, до того как идем в школу. А когда возвращаемся из школы, мы помогаем в деле. У нас ларек...

— Ого! — говорит Мотл Большой, удивляясь моему английскому языку. — Ты уже совсем неплохо говоришь по-английски. И сколько же зарабатывают в неделю такие бизнесмены, как вы?

— В среднем, — говорю я, — мы можем заработать один доллар в неделю. А иной раз — один с четвертью...

— И это все? — говорит Мотл Большой пренебрежительно. — Я один зарабатываю три доллара в неделю... А как звать этого джентльмена? — говорит Мотл, указывая на моего товарища.

Я отвечаю, что его зовут Мендл. Мотл смеется и говорит, что «Мендл» — это никуда не годится! Что это за имя?

— А как же ему называться? — спрашиваю я.

Мотл задумывается на минутку и потом говорит, что лучше бы моему товарищу называться Мэйк, а не Мендл. Мэйк — это красивее.

— А как же тебя звать? — спрашиваю я.

— Мэкс.

— В таком случае, — говорю я, — я тоже должен называться Мэкс. Ведь меня тоже зовут Мотл...

— Значит, твое имя Мэкс! — говорит он и прощается с нами: — Гуд бай, Мэкс! Гуд бай, Мэйк!

Мы уславливаемся встретиться в ближайшее воскресенье в кинематографе. Обмениваемся адресами и расходимся по своим делам.

В воскресенье, после обеда, я и мой товарищ Мэйк, которого недавно называли Мендл, идем в кинотеатр посмотреть знаменитого артиста Чарли Чаплина. Мой брат Эля и наш друг Пиня тоже идут с нами. Всю дорогу они говорят о Чарли Чаплине: какой это большой человек, сколько он зарабатывает, и о том, что он еврей. Но так как Эля и Пиня никогда столкнуться не могут, мой

брат спрашивает, чем так знаменит Чарли Чаплин. Пиня отвечает, что тысячу долларов в неделю не платят кому попало...

— Откуда ты знаешь? Ты считал его деньги? — спрашивает Эля.

Пиня говорит, что он об этом читал в газетах.

— А откуда известно, что Чарли Чаплин еврей?

И об этом, говорит Пиня, пишут в газетах.

— А откуда это знают газеты?

— Газеты знают все! — отвечает Пиня. — Ведь вот знают же, что Чарли Чаплин немой от рождения, что он не умеет писать и читать, что отец у него был пьяница, что он сам был клоуном в цирке...

Эля выслушивает все это и говорит хладнокровно:

— А может быть, все это враки?

Пиня вспыхивает и говорит, что мой брат нудный человек... Я согласен с Пиней. Хоть Эля и приходится мне родным братом, но он все-таки нудный. Что правда, то правда...

4

Только мы подошли к кассе покупать билеты, как услышали:

— Здорово, Мэкс! Как поживаете, Мэйк?

Это был Мотл Большой, которого теперь уже называют Мэкс.

— Не покупайте билетов, — сказал он, — я угощаю...

Он достал из кармана полдоллара, бросил его девушке, сидящей у окошка, и приказал дать три билета «наверх», то есть на галерею.

— Это что еще за напасть? — спрашивает у нас Эля.

Мы рассказали ему, кто это такой. Эля смерил его взглядом с головы до ног и спросил, почему он с ним не поздоровался.

— Что же ты так заважничал в Америке, что тебе даже не пристало говорить по-еврейски?

Мотл Большой не ответил. Но в это время откуда-то из входных дверей послышался визгливый голос, будто кто-то с улицы сказал:

— Идиот!

Мы все обернулись к двери, но никого не увидели. Посмотрели с удивлением друг на друга. Эля бросился к дверям, Пиня — за ним, но и там никого не было. По-

смотрели на потолок, по углам, — нигде ни души. Что бы это могло быть?

А Мотл Большой взял за руки меня и моего товарища, и мы втроем взобрались на галерею. Тут он рассказал нам по секрету, что это он, Мэкс, животом произнес слово «идиот». И тут же повторил свой фокус. Нас обуял такой хохот, что мы едва могли высидеть и смотреть на все шутки, которые проделывал Чарли Чаплин.

5

За всю свою жизнь вы, наверное, не видели такого шута горохового, как этот Мотл Большой, или Мэкс. Уж на что, казалось бы, Чарли Чаплин мастер вытворять разные штуки! А Мэкс подражает ему, копирует его во всем. Когда мы вышли из театра, он приклеил себе пару черных усиков, как у Чарли Чаплина, надринул котелок на лоб, как Чарли Чаплин, ноги вывернул и стал ходить, вихляя задом и размахивая тросточкой, — точь-в-точь как Чарли Чаплин! Мой товарищ Мендл, или Мэйк, не мог удержаться и бросился его целовать. И все люди, которые стояли возле театра на улице, указывали на него пальцами: «Вон идет второй Чарли Чаплин...»

Можете себе представить, что даже такой серьезный человек, как мой брат Эля, и тот держался за бока и хохотал. Хохотал он, однако, недолго. Спустя минуту его веселье было омрачено. В чем дело? Дело в том, что вдруг послышался голос будто из-под земли, из погребка:

— Идиот!

6

Все наклонились, стали заглядывать в подвал, мимо которого мы проходили. Прислушивались. Мэкс тоже прислушивался, как и все, будто он тут совсем ни при чем... И вдруг голос донесся откуда-то сзади, сверху, будто с крыши:

— И-ди-от!

Эля, а за ним и все остальные задрали головы кверху и смотрели во все глаза. Это была замечательная картина. Я и мой товарищ Мэйк знали, откуда исходит голос, не могли удержаться и вдруг прыснули от хохота.

Это задело моего брата Элю. Будь это не в Нью-Йорке, на улице, мне бы не миновать оплеух. Но так как это произошло посреди Нью-Йорка, на улице, Эля ограничился тем, что хорошенько выругал нас — меня и моего товарища Мэйка. Потом он стал читать нам мораль. Он указал на Мотла Большого, то есть на Мэкса, и сказал:

— Берите пример с вашего товарища... Такой же паренек, как и вы, а вот он не хохочет...

— И-ди-от! — снова послышалось из-за спины Эли.

Эля обернулся, а на него глядя, обернулся и Пиня. Мы — вслед за ними. Обернулся и Мэкс. Я и Мэйк чуть не лопнули от хохота.

— В Америке камни говорят... — Так выразился наш друг Пиня. Он хотел бы только знать: кого это называют «идиотом»?

— Того, кто спрашивает, — ответил Эля.

Как же, однако, он был поражен, когда из-под земли вдруг послышался приглушенный голос:

— Ошибаетесь, реб Эля! Идиот, извините, это вы сами...

.....

С тех пор мой брат Эля больше не ходит в кино-театр и не хочет ничего слышать о Чарли Чаплине.

XVII. Мы расширяем свой бизнес

В Америке не любят топтаться на одном месте. В Америке двигаются вперед, то есть растут, расширяются. Нашего ларька не хватало на то, чтобы содержать семью из семерых человек. Мы стали искать более крупное дело. Не ларек, не стол, а целый магазин, то есть лавку.

В Америке долго искать не приходится. Надо только, как я вам уже рассказывал, следить по газетам. Там можно найти все, что угодно. Беда только, что за дело, которое на ходу, надо хорошо заплатить. Имя стоит денег. За фирму иной раз приходится платить больше, чем за товар. В доказательство могу вам сказать, что даже наш ларек, который приносил едва десять долларов в неделю, мы продали за хорошие деньги только из-за фирмы. Какой-то «зеленый» откупил его у нас. Он даже не особенно допытывался, сколько мы зарабатываем. Ему достаточно было видеть, что семеро душ вертятся вокруг одного лотка и живут. Стало быть, это — бизнес...

2

Ларек свой мы продали со всем товаром, с посудой и даже с витриной. Но секрета изготовления содовой воды, разного рода сиропов, а главное, напитка, который называется «сайдер», мой брат Эля не хотел раскрыть ни за какие деньги. Он сказал, что каждый делает то, что умеет. Вот, например, он изготавливает вино на пасху. Пасхальное вино моего брата славится по всей Америке. Вы не смотрите на то, что он его делает впервые! Все наши знакомые, которые молятся вместе с нами в «Касриловской синагоге», пообещали покупать вино на пасху только у нас. Наш друг Пиня распространил слух и разтрезвонил по Нью-Йорку, что мой брат Эля изготавливает пасхальное вино, которое может пить сам президент. А трезвонить наш Пиня большой мастер. Здесь это называется «реклама». Пиня говорит, что на этом, на рекламе, держится вся Америка. Каждый купец может расхваливать свой товар, каждый рабочий может рекламировать свою работу. Весь мир может знать, что мой напиток кислее уксуса, а я могу объявлять, что он слаще сахара. Вы можете быть убеждены, что работа моя ломаного гроша не стоит, а я могу ее ценить в миллион. На то и Америка — свободная страна.

3

Расхвалив и разрекламировав по всему «Дауптауну» пасхальное вино моего брата Эли, Пиня однажды отозвал его в сторону и сказал:

— Послушай, Эля, я расписал твое пасхальное вино как нельзя лучше. Смотри же, не осрами меня. А то ты, чего доброго, наготовишь вина такого же вкуса, как твой напиток в Касриловке... Помни же, что это Америка, что здесь пьют вино, а не квас.

Эля чувствовал себя обиженным и не хотел отвечать. За него ответила Броха. Она словно кипятком ошпарила Пиню:

— Посторонний человек, услышав такие речи, мог бы подумать, что в Америке живут одни только знатные люди и аристократы, которые ничего, кроме вина, не пьют и как сыр в масле катаются... Дал бы мне господь столько счастливых лет, сколько кружек суровца¹ и огуречного рассола здесь выпивают за день!.. Я своими глазами видела олрайтницу с Гренд-стрит, которая заказала ведро яблочного кваса и сотню кислых яблок, кислиц... И уверяю вас, что эти кислицы гораздо лучше и вкуснее здешних апельсинов и грейпфрутов — даже не поймешь, как их резать и с чем их едят...

Я не передаю до конца всего, что сказала Броха, потому что она, как начнет говорить, не так-то скоро кончит. Пиня это тоже знает. В таких случаях он надевает шапку и уходит. Это самое лучшее средство. Я тоже так поступаю.

4

«Магазин по продаже конфет, сигарет, письменных принадлежностей, газет и т. п. спешно продается. Очень дешево. Выгодное дело. Лучшее соседство. Причина — одиночество владельца...»

Это мы вычитали в газете и сразу почувствовали, что дело нам подходит. Начали ходить осматривать магазин. Первыми пошли мужчины, то есть мой брат Эля, наш друг Пиня и мы вдвоем, то есть я и мой товарищ Мендл, которого уже зовут Мэйк. Нам дело понравилось. Затем пошли женщины: мама, Броха и Тайбл. Им не понравилось. Каждая из них обнаружила какой-нибудь недостаток. Мама сказала, что это слишком далеко от синагоги. Правда, на той улице тоже есть синагога, но это чужая, не наша «Касриловская синагога». Эля спрашивает: разве в той синагоге не тот же самый еврейский бог, что

¹ Суровец — сырой мучной квас.

и в «Касриловской»? Но мама отвечает, что бог-то один, да прихожане другие. Она привыкла к касриловцам. С ними, говорит она, и молишься как-то по-другому. Она представить себе не может, как она будет слушать другого кантора, не нашего Герш-Бера?

5

Таковы претензии мамы. Броха находит другой недостаток: что мы будем делать с таким количеством комнат? На что нам пять комнат? Наша соседка Песя-толстая посоветовала лишние комнаты сдать квартирантам со столом.

Но Броха говорит:

— Этого еще не хватало! Возиться со столовниками...

А Тайбл, как попугай, повторяет вслед за Брохой то же самое.

Тогда Пиня обращается к своей жене:

— Может быть, ты бы когда-нибудь сказала свое собственное слово, а не пережевывала слова Брохи?..

Тогда выступает Броха и окатывает Пиню холодной водой:

— Всяк судит о другом, а не о себе...

И Тайбл снова повторяет вслед за Брохой:

— Всяк судит о другом, а не о себе...

— А что бы ты стала делать, — говорит Пиня, обращаясь к своей жене, — если бы ты была одна?

На это отвечает Броха:

— Если бы да кабы...

И следом за ней то же самое говорит Тайбл.

— Тьфу! — сплевывает Пиня и уходит.

6

Думаете, одни мы ходили смотреть магазин? Ходили также наши родственники, друзья и знакомые. Прежде всего пошел пекарь Иойна, затем пошла его жена. Вдвоем они пойти не могут, так как не на кого оставить пироги. Вот они и ходят поодиночке. Потом пошел переплетчик Мойше, а за ним Песя-толстая... Впрочем, извините меня, я ошибся: раньше пошла Песя-толстая, а уже потом переплетчик Мойше. Еще пошло несколько наших

знакомых, которые молятся с нами в одной синагоге, то есть несколько касриловцев, знающих толк в делах. Но владелец магазина их плохо принял. Попросту говоря — выгнал. Он заявил, что никак не мог себе представить такую огромную семью! Это задело мою маму. И она отправилась вместе с Брохой. Броха закатила ему такой концерт, что он ее надолго запомнит. Кончилось это тем, что этот бизнесмен поклялся перед богом, что продает свое дело только потому, что собирается жениться. Но теперь он уже раскаивается. Если у женщины, говорит он, может быть такой язычок, как у нашей Брохи, то жениться не стоит. Лучше, говорит он, оставаться до гроба холостяком.

7

Однако это только так говорится. Бизнесмен так же горячо хотел продать свое дело, как мы желали его купить. Тем более что наш ларек мы уже почти продали. Я говорю «почти», потому что наш покупатель силой всучил нам десять долларов в задаток. Здесь это называется «депозит». Мы уже раскаивались, что взяли депозит, потому что этот «зеленый» висел у нас над душой по целым дням и не хотел отходить от нашего ларька. Ужасно нудный человек, гораздо более нудный, чем мой брат Эля. Мой брат — золото в сравнении с ним. «Зеленый» до того надоедал нам, что мы уже швыряли обратно его задаток, но он не хотел брать. Он влюбился в наш ларек, он был уверен, что мы богатеем.

— «Зеленый» остается «зеленым»! — говорит наш друг Пиня.

8

Что такое «зеленый», — право, не знаю. Мой товарищ Мэйк тоже не знает. Слышим, что говорят: «зеленый», «зеленый», и мы вслед за ними повторяем.

Вздумалось мне нарисовать покупателя нашего ларька мелом на тротуаре. Я намалевал его зеленым мелком. Все сразу узнали, кого я нарисовал, и хохотали. Кроме моего брата Эли. Он не смеялся. Бить он меня не стал, но заставил мокрой тряпкой стереть рисунок. Не то нам придется платить штраф. Попробуйте плюнуть на улице —

немедленно вырастает городской (здесь он называется «полисмен»). Он берет вас за ухо и отводит в участок. А там вас штрафуют на пять долларов. В Америке очень строго!

9

Вы, пожалуй, думаете, что здесь всюду чистота, как в Антверпене, что никто не плюет на улице? Ошибаетесь. Плюют и харкают на чем свет стоит. Америка — свободная страна. Разве что на Пятой авеню не плюют. Да и то не везде. Только там, где живут миллионеры. Миллионеры не плюют. Плюет только тот, кому нехорошо. А богачу хорошо, — чего ему плевать?..

XVIII. Мы переезжаем

1

В Америке — обычай: переезжать. То есть перебраться из одной квартиры в другую, меняют одно дело на другое. Все обязаны переезжать. Если кто-нибудь не переезжает по доброй воле, — его заставляют. То есть, если вы не платите за квартиру, на вас подают в суд и выбрасывают на улицу. Это называется: вас выселили. Не удивляйтесь поэтому, если вас спросят: «Когда вы переезжаете?» А когда спрашивают, надо отвечать. Мой брат Эля однажды поплатился за то, что не хотел отвечать одному из наших клиентов, которого мы снабжаем спичками. Каждую неделю он получает у нас коробку спичек бесплатно. Здесь спички дают без денег. Да и незачем ждать, покуда дадут. Подходят и берут.

2

Клиент, о котором я рассказываю, — странный человек. Его стоит описать. Кто он такой, мы не знаем, где он живет и чем занимается, мы тоже не знаем. Человек он, судя по всему, небогатый. Это видно по его потертому костюму, который он носит постоянно, по поношенной шляпе и заплатанным ботинкам. Зато он человек

очень аккуратный. Приходит он каждый день в один и тот же час, в одну и ту же минуту. Берет утреннюю газету, просматривает первую и последнюю страницы, заглядывает в середину и кладет на место. Ни разу он у нас ничего не купил, если не считать того, что каждую неделю он берет у нас бесплатно коробок спичек и ежедневно читает газету. Моему брату Эле это, конечно, досадно. Хорошо один раз, другой раз. Но не каждый же день! И вот однажды Эля ему сказал:

— Это стоит пенни...

Клиент продолжает свое дело: читает первую, потом последнюю страницу газеты.

Мой брат повышает голос:

— Это стоит сент!

Клиент взглянул на него, сложил газету и положил ее на место.

.
.

Конец

ПРИМЕЧАНИЯ

К началу 90-х годов прошлого столетия талант Шолом-Алейхе-ма достигает полной зрелости. Позади такие произведения, как роман «Сендер Бланк и его семейка» (1887), «Степеню» (1888), «Иоселе-соловей» (1889), много рассказов и новелл.

Наиболее художественно совершенным из них является один из его шедевров — «Менахем-Мендл».

«Менахем-Мендл» Шолом-Алейхем писал с 1892 по 1903 год. Отдельные «серии» по мере написания Шолом-Алейхем печатал брошюрами или в периодической прессе, а затем включил их в юбилейное (25-летие литературной деятельности, 1908 г.) Собрание сочинений, изданное в 1909 году.

Положительные черты народа изображены Шолом-Алейхемом в образе Тевье-молочника из одноименной повести. Насколько в лице Менахем-Мендла писатель художественно отрицает категорию «людей воздуха», настолько в образе Тевье он утверждает физически и духовно здоровые черты народа. Недаром писатель-гуманист вложил в образ Тевье весь лиризм своей благородной души.

Книга состоит из ряда новелл-монологов. В большинстве этих новелл Тевье рассказывает писателю о своих думах и переживаниях в связи с личной драмой той или иной его дочери, которые хотя и были «с веком наравне».

Новеллы, объединенные в «Тевье-молочнике», печатались в течение двадцати лет, с 1894 по 1914 год.

Монологическая форма — доминирующая и наиболее любимая манера Шолом-Алейхе-ма. К ней прибегает писатель в третьем своем шедевре — «Мальчике Мотле», в серии монологов «Железнодорожные рассказы» и во множестве других рассказов, таких, как «Будья Ротшильд» и прочие.

Склонность Шолом-Алейхе-ма к монологической форме не случайна. Она тесно связана с народным характером его творчества. Форма монолога дает возможность персонажам — обездоленным труженикам и беднякам — «высказаться», непосредственно излить наболевшую душу.

Недаром один из героев писателя просит врача, к которому он пришел за советом по поводу болезни желудка, чтобы тот его выслушал, «то есть не болезнь мою чтобы вы выслушали, — о болезни будем говорить потом... Я хочу, чтобы вы выслушали *меня самого* (курсив Шолом-Алейхема. — *Е. А.*), так как не каждый врач дает говорить» («У доктора»).

Монологи, вошедшие в данное издание, были написаны в разное время, начиная с 1901 года и кончая последними месяцами жизни писателя.

По своей тематике они весьма разнообразны, с большой амплитудой социально-политического звучания, начиная с сугубо бытовых зарисовок и кончая ярко выраженными революционными мотивами. Впрочем, и в бытовых зарисовках социальное содержание не выхожено.

Повесть «Мальчик Мотл» завершает настоящий том. Первая часть повести печаталась в течение 1907—1908 годов. На русском языке под названием «Дети черты» была впервые опубликована в 1910 году.

В первой части повести автор, изображая судьбу детей «черты оседлости», показывает процесс полного развала патриархальных устоев и рисует тенденцию пролетаризации обитателей местечка. Во второй части повести, которая была написана в 1916 году в США, Шолом-Алейхем запечатлел трагическую судьбу «искателей счастья», неизмеримые страдания людей труда Нового Света, скроенного на эксплуататорский лад Старого.

Вместе со своими любимыми героями в США страдал и сам Шолом-Алейхем. Вынужденный туда перебраться во время первой мировой войны, которая застала его в Германии и откуда он был выслан, писатель часто болел. В мае 1916 года он скончался, и вторая часть повести осталась незаконченной.

МЕНАХЕМ - МЕНДЛ

Повесть в письмах

Ко второму изданию

Впервые напечатано в 1909 году в юбилейном издании Собрания сочинений, посвященном двадцатипятилетию литературной деятельности Шолом-Алейхема.

Стр. 7. *Егупец*. — Так называется Киев в произведениях Шолом-Алейхема.

Стр. 8. *Ханука* — иудейский праздник, справляется ежегодно в течение восьми дней месяца кислев (соответствует декабрю) в память освящения Иерусалимского храма и освобождения Иудеи от греческого владычества во II в. до н. э.

«Л О Н Д О Н»

Одесская биржа

Впервые напечатано в небольшом выпуске «Колмевасер цу дер Юдишер фолкс-библиотек» («Вестник Еврейской народной библиотеки»), изданном Шолом-Алейхемом в 1892 году в Одессе.

Стр. 9. *Касриловка* — вымышленное Шолом-Алейхемом название глухого местечка в так называемой «черте оседлости» в царской России.

«Лондон» — здесь: валюта и ценные бумаги, которыми спекулировали на бирже.

Стр. 10. *Бродский* — крупный капиталист на Украине, владелец сахарных заводов.

Стр. 11. «*Госы*» — ценные бумаги, на которые в данный момент цена повысилась. «*Бесы*» — ценные бумаги, на которые в данный момент цена упала.

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу... — По традиции того времени, все письма начинались формальным стереотипным обращением, полным самых лестных эпитетов, возвеличивающих адресата независимо от фактического отношения к нему пишущего и содержания самого письма.

Стр. 14. «*Стеллаж*» — биржевая операция с разными ценными бумагами, построенная на оплате курсовой разницы.

Стр. 19. *...которого прозвали «Гамбетта»* — по ассоциации с популярным в то время французским буржуазным политическим деятелем — адвокатом Гамбеттой Леоном-Мишелем (1838—1882).

Бисмарк фон Шейнгаузен, Отто (1815—1898) — государственный деятель Пруссии и Германии, организатор интервенции против Парижской коммуны во Франции в 1871 г.

Стр. 20. *Восточная стена* — восточная сторона; согласно религиозной легенде — часть света, где «господь бог поместил рай», и потому места вдоль восточной стены в синагоге считаются самыми почетными. Но в современных («хоральных») синагогах особой восточной стены нет.

Кантор — священнослужитель, читающий нараспев молитвы у аналоя во время синагогального богослужения.

...хоть и бреет бороду, но... — Иудейской религией брить бороду запрещено.

Талес — покрывало, которым, согласно иудейскому ритуалу, женатые евреи накрывают плечи во время молитвы.

Стр. 25. *Блейхредер* — один из крупнейших немецких банкиров того времени. Прославился тем, что накануне 1871 г. организовал для Бисмарка заем для войны с Францией.

«Б У М А Ж К И»

Егупецкая биржа

Впервые напечатано в сборнике «Дер хойзфрайнд» («Друг дома»), т. V, Варшава, 1896.

Стр. 28. «*Бумажки*» — акции и облигации займа, выпускавшиеся для продажи на бирже разными акционерными обществами.

Стр. 30. «*Ангажирую*» — здесь употреблено в смысле «заказываю».

«*Путивль*» (искаж. «Путилов»), «*Транспорт*», «*Волга*», «*Мальцевские*» — акции по названию выпустивших их акционерных обществ.

Бойберик — пародированное название станции Боярка — дачной местности (ныне — город) под Киевом.

...в Егупце мне жить нельзя. — Имеется в виду Киев, где при царизме евреи не имели права жительства.

Стр. 31. *Казни египетские* — беды и несчастья, которыми, согласно библейской легенде, бог наказал египетского фараона за то, что он не хотел освободить древнееврейские племена.

Стр. 32. «*Девидент*» (искаж. «дивиденд») — доход от повышения цены акций, выплачиваемый акционерным обществом владельцам акций.

Стр. 33. *Меламед* — учитель начальной еврейской религиозной школы (хедера).

Первозильдейцы — евреи, купцы первой гильдии (разряда). Они имели право жить также вне «черты оседлости», в том числе — в Киеве.

Стр. 36. «*Лилипуты*» — акции «лилипоп» Варшавского общества мостостроения.

«*Возочки*» — название акций.

Купон — прикрепленная к акции квитанция, по которой выплачивается определенный процент в соответствующий срок.

Стр. 43. «*Картаж*» (искаж. «куртаж») — вознаграждение маклеру за посредничество в биржевой сделке. «*Крадеж*» — кража, здесь употребляется как каламбур к слову «картаж».

Стр. 46. ...*шмардованцев* — пренебрежительно, вместо «карбованцев» (укр.), то есть рублей.

Стр. 47. *Содом* — библейский город, населенный, согласно легенде, одними грешниками, за что бог разрушил его.

М И Л Л И О Н Ы

Купцы, маклеры и «спекулянты»

Впервые напечатано в 1899—1900 годах в ряде номеров еженедельника «Дер юд» («Еврей»).

Стр. 52. *Титус* — римский император Тит Флавий, победивший евреев Палестины в семилетней войне (66—73 гг. н. э.); он опустошил страну и разрушил Иерусалимский храм в 70 г. н. э. В сознании еврейского народа Тит остался олицетворением жестокости и угнетения.

Гицель — живодер.

Стр. 58. *Учет* (учет векселей) — банковая операция, состоявшая в получении ссуды под залог срочных векселей (денежных обязательств третьих лиц) с условием выкупить их в случае неуплаты в срок векселедателем.

Стр. 60. *Кугл* — субботняя бабка (запеканка).

Стр. 62. *Закладная* — документ о получении в банке ссуды под залог недвижимого имущества.

Стр. 63. ...*сняла бы парик*. — По еврейской религиозной традиции, замужние женщины обязаны были накрывать голову париком.

Стр. 64. *Демиевка* — район в дооктябрьском Киеве.

Слободка — предместье Киева на левом берегу Днепра.

Стр. 74. *Реб* — в смысле господин. Произносится при обращении к старшему или знатному.

Стр. 77. *Сионизм* — реакционное националистическое движение, организованное идеологами еврейской буржуазии в начале 80-х годов XIX в.

Теодор Герцль (1860—1904) — австрийский писатель. Один из идеологов так называемого политического сионизма.

Стр. 78. ...*ждут тебя, как мессию*. — Мессия — мифический избавитель еврейского народа.

Стр. 82. *Дрейфус* — «Дело Дрейфуса» — позорное судилище над офицером генерального штаба, ложно обвиненного в 1894 г. французской реакцией и военщиной в шпионаже и предательстве.

Стр. 83. ...*до Ротшильда*. — Ротшильды — династия банкиров-миллионеров во Франции.

Стр. 84. *Бордеро* (франц.) — помесечная выписка из банковского счета. Здесь: злостный донос.

Золя Эмиль (1840—1902) — крупный французский писатель, во время дела Дрейфуса поднял свой голос против клерикальной и военной реакции. Французский буржуазный суд приговорил его 23 февраля 1898 г. к тюремному заключению.

Мерси — французский военный министр Мерсье.

ПОЧТЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Менахем-Мендл — писатель

Впервые под названием «Новая профессия» напечатано в 1903 году в газете «Дер фрайнд» («Друг»). В 1909 году Шолом-Алейхем эти письма переработал и под названием «Почтенная профессия» включил во второе издание книги «Менахем-Мендл».

Стр. 91. «*Фленция*» (искаж. «инфлюэнца») — то же, что и грипп.

«*Голенар*» — пародированное «гонорар», означает «круглый дурак».

Стр. 93. *Коллектор* — тогда агент по распространению лотерейных билетов.

Литвак. — Так называли евреев, говорящих на литовско-белорусском диалекте языка идиш.

Стр. 95. *Муж ее был солдатом...* — по-видимому, николаевским солдатом. Этим солдатам-евреям, прослужившим в царской армии при Николае I, и их потомкам разрешалось проживать во всех местностях России, в том числе там, где евреям проживать было запрещено.

НЕ ВЕЗЕТ!

Менахем-Мендл — шадхен

Впервые под названием «Дрейфус второй» напечатано в 1901 году в еженедельнике «Дер юд». В 1909 году под названием «Не везет!» включено во второе издание книги «Менахем-Мендл».

Стр. 102. *Шадхен* — посредник в брачных делах.

Стр. 103. *Просвещенец* — здесь: в значении человека со светским образованием, в отличие от человека ортодоксально религиозного толка.

Хасид — последователь религиозно-мистического течения в иудаизме — хасидизма. Хасидизм возник в конце 30-х годов XVIII в., провозглашал источником веры не ум и ученость, а чувство и экстаз, посредством которых самый простой человек из народа может слиться с богом.

Стр. 104. *Носит дома шапку... Не пишет по субботам...* — По законам иудейской религии, евреям запрещено ходить с непокрытой головой и писать в субботу.

Талмуд — многотомный сборник еврейских догматических, религиозно-философских, правовых, моральных и бытовых предписаний; сложился в течение многих веков (IV в. до н. э. — IV в. н. э.).

Приверженец Садагоры — приверженец садагорского цадика, одного из руководителей хасидов.

Наполовину хасид, наполовину немец — короткие пейсы и длинный сюртук... — в отношении своего внешнего вида, в отношении одежды придерживается частично религиозных традиций, частично — светских норм.

Зачетная квитанция — квитанция на уплату денег за освобождение от воинской повинности при царизме. Это положение действовало до конца XIX в.

Стр. 105. *...как Иосиф Прекрасный... как Соломон Мудрый* — персонажи библейских сказаний.

Стр. 111. *«Тюды»* — искаж. «этюды».

«Колдунья» — оперетта основоположника еврейского театра А. Гольдфадена (1840—1908).

Стр. 118. *Штрафует* — искаж. «страхует».

ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТЬЕ

Менахем-Мендл — агент

Впервые напечатано в 1901 году в еженедельнике «Дер юд». В 1909 году включено во второе издание книги «Менахем-Мендл».

Стр. 119. *«Аквитебль»* (искаж. «эквитебль») — акции, выпущенные акционерным обществом под этим названием.

Стр. 120. *«Инквизитор»* (искаж. «активизитор») — страховой агент.

«Кружной» — искаж. «окружной».

Стр. 124. *...с размалеванным «востоком».* — В старое время в домах верующих евреев на восточной стене («мизрех»), к которой становятся лицом во время молитвы, по обычаю, висела картина

с традиционным изображением национального орнамента, пейзажа или цитаты из Библии.

Стр. 129. *Шифскарта* — документ на право проезда на океанском корабле.

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК

«АЗ НЕДОСТОЙНЫЙ»

СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО

Впервые со вступлением «Аз недостойный» напечатано в сборнике «Дер хойзфрайд», т. IV, Варшава, 1895.

Стр. 131. *Иаков, Исав* — по Библии, два брата.

Стр. 134. *Пятидесятница* (швуэс) — еврейский религиозный праздник на пятидесятый день со второго дня пасхи.

Стр. 135. *Пятикнижие* — первый отдел Библии, в состав которого входят так называемые пять книг Моисеевых: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.

«*Поучение отцов*» — один из трактатов Талмуда, в котором сформулированы этические принципы иудаизма.

Стр. 137. *Левиты* — греческое название членов библейского колена Левиина, служителей иудейского культа.

Стр. 145. *Лехаим!* — за жизнь (здравица)!

Стр. 149. *...дважды по восемнадцать.* — Число восемнадцать считается счастливым числом, так как по буквенному обозначению это число составляет древнееврейское слово «хай», что означает «жизнь».

Стр. 150. *Коробочный сбор* — специальный налог при царизме на «кошерное мясо» (мясо от скота и птицы, зарезанных по законам иудейской религии). Этот налог сдавался государством в аренду кому-нибудь из богачей. Чтобы побольше заработать на этой сделке, арендаторы часто увеличивали цены (таксу) на мясо, что ложилось тяжким бременем на плечи бедноты.

ХИМЕРА

Впервые напечатано в 1899 году в еженедельнике «Дер юд».

Стр. 153. «*Притчи*». — Имеются в виду Притчи Соломоновы — одна из библейских книг, краткие изречения которой отличаются дидактико-моральным содержанием.

Стр. 156. «...все суета сует», как сказал царь Давид. — На самом деле этот афоризм принадлежит не царю Давиду, а царю Соломону (книга «Екклезиаств»).

Стр. 160. ...как у праотца Авраама... сказано: «сеявшие со слезами пожнут с пенем». — Этот афоризм ничего общего не имеет с содержанием повествования Тевье. Кроме того, он вовсе не принадлежит патриарху Аврааму, а взят из Псалмов.

Н Ы Н Е Ш Н И Е Д Е Т И

Впервые напечатано в 1899 году в еженедельнике «Дер юд».

Стр. 170. *Трефное* — пища, запрещенная иудейской религией к употреблению.

«Аскакурдо демасканто декурносе дефаршмахто» — набор несуществующих слов, несколько напоминающих в звуковом отношении словосочетания арамейских талмудических сентенций.

Стр. 174. *Стихи из «Песни Песней»* — из небольшой любовно-эротической поэмы, включенной в состав Библии.

Стр. 176. *Ежели есть свинину, то пусть по бороде течет!* — Поскольку иудейская религия запрещает есть свинину, это бытовое изречение следует понимать в том смысле, что коль грешить, то пусть уж для извлечения максимальной пользы, или, как говорит русская народная поговорка: «Семь бед — один ответ».

Г О Д Я

Впервые напечатано в 1904 году в газете «Дер фрайнд».

Стр. 189. *Раби Иоханан Гасандлер* — Иоханан-сапожник — один из авторов Талмуда (II в. н. э.).

Стр. 190. *Феферл* — еврейский перевод фамилии «Перчик».

Стр. 194. «Свобода и избавление придут из другого места» — фраза из библейской книги «Эсфирь», а не из Мидраша (сборник комментариев к Библии), как это толкует Тевье.

Раши — раби Шлойме Ицхаки (1040—1105) — комментатор Библии и Талмуда.

Стр. 200. *Куци* — осенний еврейский религиозный праздник.

Стр. 204. ...что сегодня *гейшанорабо*, когда на небе решается наша судьба. — По религиозному преданию, в седьмую ночь праздни-

ка кушей — гейшанорабо — на небесном престоле утверждается вынесенный в Судный день всевышний приговор, которым определяется судьба каждого человека на будущий год.

Х А В А

Впервые напечатано в 1906 году в еженедельнике «Дос юдише фолк» («Еврейский народ»), Вильно.

Стр. 207. *«Берешит бара элохим...»* — «Сначала бог сотворил...» — первые слова Библии.

Ш П Р И Н Ц А

Впервые напечатано в 1907 году в ежедневной газете «Унзер лебн» («Наша жизнь»), Варшава.

Стр. 220. *Кишинев, «коснетуция», погромы...* — Речь идет о еврейском погроме, спровоцированном царским правительством в Кишиневе и других городах в 1903 г., о так называемой «конституции», которую царь, под давлением мощного революционного движения в России, декларировал 17 октября 1905 г.

Стр. 223. *Хедер* — еврейская начальная религиозная школа.

Стр. 224. *...ради праздника решили верхом прокатиться.* — По законам иудейской религии, евреям запрещается ездить в субботу и в праздники. Здесь Тевье иронически упрекает приехавших парней в нарушении религиозных законов.

Стр. 233. *Иов* — герой библейской легенды, согласно которой бог, с целью испытания стойкости Иова, насылал на него одно несчастье за другим.

Т Е В Ъ Е И Д Е Т В П А Л Е С Т И Н У

Впервые напечатано в 1909 году в газете «Дер фрайнд», Варшава.

Стр. 236. *«Не гляди на сосуд...»* — афоризм из книги «Поучения отцов»: «Не гляди на сосуд (оболочку), а в его содержимое».

Стр. 237. *«Либо как детей, либо как рабов»* — фраза из молитвы, произносимой в Рош-гашана (Новый год, по еврейскому древнему

летосчислению), когда бог якобы свершает свой годичный суд над людьми. Молящиеся взывают к господу: «Если считаешь нас своими детьми, то сжался, как отец над детьми, и если мы — рабы твои, то и мы молим тебя вынести нам оправдательный приговор». А Тевье использует приводимые им слова для прямого протеста против бога: «Выкинет господь-вседержитель такую штуку, врагам бы моим такую долю!»

Стр. 238. *...нанял я человека — по Голде «Кадиш» читать.* — Согласно иудейской религии, на протяжении одиннадцати месяцев после смерти отца или матери сыновья обязаны после каждой литургии читать поминальную молитву — «Кадиш». В случае отсутствия сына, обычно нанимали постороннего набожного еврея для произнесения этой молитвы.

Стр. 240. *Аман* — по Библии, всесильный царедворец, замышлявший истребить еврейский народ.

Стр. 248. *Поляков* — крупный железнодорожный магнат в дореволюционной России.

Стр. 250. *Все старые евреи едут в Палестину...* — Палестина считалась у набожных евреев «священной землей», и они устремлялись туда на старости лет — там умереть и быть похороненными.

«Стена плача» — остатки стены одного из сооружений в Иерусалиме, которую набожные евреи считают западной стеной Иерусалимского храма, разрушенного 1900 лет тому назад.

Питом и Рамзес — древнеегипетские города, построенные, по библейской легенде, древнееврейскими племенами.

Стр. 254. *Падан-Арам* — библейская местность у земли Ханаанской, здесь в смысле: любая другая местность.

Царица Савская — согласно библейской легенде, мудрая и богатая женщина, друг царя Соломона.

Стр. 257. *«И нет преимущества у человека перед скотом...»* — фраза из библейской книги Екклесиаст.

ИЗЫДИ!

Впервые напечатано в 1914 году в «Ди юднше вельт» («Еврейский мир»), Вильно.

Стр. 258. *Изыди!* (по древнееврейски — «Лех лехо!») — глава из Пятикнижия, в которой повествуется, что бог приказал патриарху Аврааму: «Изыди из земли твоей, от родства и из дома отца твоего». Это слово стало у евреев синонимом изгнания из мест их постоянного проживания.

Стр. 261. *...как наши предки в Египте...* — Согласно библейской версии, древнееврейские племена были порабощены в Древнем Египте, и под надзором смотрителей их принуждали воздвигать разные сооружения для египтян.

Раздел «Болок». — Болок — библейский персонаж (Валак), царь моавитян, которого бог покарал за непокорность. Фигуральное выражение «обучать кого-нибудь разделу «Болок» обозначает очень сурово с ним поступить, покарать его.

Стр. 265. *И «бысть во дни» Бейлиса...* — Мендл Бейлис в 1911 г. был ложно обвинен царским правительством в ритуальном убийстве русского мальчика. «Дело Бейлиса» вызвало возмущение со стороны демократической и революционной общественности России. На суде выяснилась вся нелепость и подлость обвинения, и Бейлис был оправдан.

МОНОЛОГИ

Цикл, объединяющий часть рассказов и новелл, написанных Шолом-Алейхемом в период с 1901 по 1916 год в форме монолога.

ГОРШОК

Впервые напечатано в 1902 году в еженедельнике «Дер юд», Варшава.

Стр. 275. *Ребе* — почтительное обращение к раввину, цадику (духовный руководитель хасидов), к меламеду (учитель в хедере).

Стр. 280. *...обет давала... «продавала» его и обратно «выкупала», и еще одно имя прибавила...* — По суеверным представлениям религиозных евреев, один из «методов» исцеления больного — давать обет о пожертвовании на благотворительные цели определенной суммы, соответствующей сумме числового значения букв имени больного: это называлось «продавать» и «выкупать». «Прибавить имя» означало «обмануть» ангела смерти.

Стр. 284. *«...горшок... придется выкинуть!»* — По законам иудейской религии, запрещается мешать молочное с мясным; религиозные евреи пользовались посудой отдельной для молочных и мясных блюд. Если молочное попадало в мясную посуду или наоборот, посуда и ее содержимое считались «трефными», и их выбрасывали.

ГУСИ

Впервые напечатано в 1902 году в еженедельнике «Юдише фолксцайтунг» («Еврейская народная газета»), Варшава.

Стр. 290. *Капорес* (искупление) — иудейский религиозный ритуал, состоящий в том, что в канун Судного дня мужчина берет петуха, а женщина курицу, и, читая соответствующую молитву, вертят птицей вокруг головы и произносят: «Да будет это моей заменой... моим искуплением. Этот петух (эта курица) пойдет на смерть, а я обрету счастливую, долгую и мирную жизнь!» Птица идет в пищу.

Стр. 292. *Кошерный* — противоположность понятия «трефной» — пища, разрешенная к употреблению по законам иудейской религии. «*Ценисты*» — искаж. «снонисты».

Стр. 294. *Фарфель* — вид лапши.

НЕМЕЦ

Впервые напечатано в 1912 году в еженедельнике «Юдише фолксцайтунг», Варшава.

БЕЛАЯ ПТИЦА

Впервые напечатано в 1904 году в ежедневной газете «Дер фрайнд», Петербург.

Стр. 309. *...не слушать звуков рога...* — В день иудейского религиозного Нового года (Рош-гашана) в синагоге трубят в бараний рог специального назначения.

Цшокке Г. (1771—1848) — немецкий педагог и публицист, сочинения которого были популярны среди еврейских просветителей XIX в.

Элul — название последнего месяца иудейского календаря (соответствует августу — сентябрю).

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЦИМЕС

Впервые напечатано в 1904 году в ежедневной газете «Дер фрайнд», Петербург.

Стр. 314. *Цимес* — морковное сладкое блюдо.

Стр. 315. *Бунимович* — виленский банкир.

Стр. 316. *Любавичская синагога* — синагога, в которой молились последователи любавичского цадика (вождь хасидов, проживавший в местечке Любавичи, бывшей Могилевской губернии).

Сирота — знаменитый кантор в России, впоследствии эмигрировавший в Америку.

...кормится за счет Двойры-Эстер — в столовой благотворительного общества имени Двойры-Эстер.

Стр. 317. *...в шалаше...* — Набожные евреи в праздник кущей устраивают шалаш, символизирующий шалаша, в которых, по библейским преданиям, жили древнееврейские племена, бродившие соток лет по пустыне.

ЗА СОВЕТОМ

Впервые напечатано в 1904 году в еженедельной газете «Дер тог» («День»), Петербург.

У ДОКТОРА

Впервые напечатано в 1904 году под названием «Человек с желудком» в еженедельной газете «Дер тог», Петербург.

«ЦАРСТВЕНЕ НЕБЕСНОЕ»

Впервые напечатано в 1904 году в газете «Дер фрайнд», Петербург.

Стр. 340. *Тора* — см. Пятикнижие (прим. к стр. 135).

Стр. 341. «*Море Небухим*» («Учитель заблудших») — сочинение еврейского философа и богослова Маймонида (1135—1204).

Филактерии (тефили) — молитвенная принадлежность, представляющая собой кожаные коробочки, в которых помещены написанные на пергаменте библейские тексты.

Стр. 347. *Очаков* — турецкая крепость, взятая Суворовым в 1788 г.

Стр. 349. *Габай* — староста в синагоге или каком-либо братстве.

...милосердные из милосердных... — характеристика евреев в Талмуде.

Стр. 354. *Гоморра* — библейский город, который, как и Содом, был населен, согласно легенде, одними грешниками, за что бог разрушил его.

И О С И Ф

Впервые напечатано в 1905 году в ежедневной газете «Дер вег» («Путь»), Варшава.

Стр. 360. ...хрюкающего... — свинина, которая иудейской религией запрещалась употреблять в пищу.

Стр. 364. *Бebelь* Август (1840—1913) — один из основателей германской социал-демократической партии.

Х А Б Н О

Впервые напечатано в 1905 году в ежемесячном журнале «Ди юдише цукунфт» («Еврейская будущность»), Краков.

Стр. 376. *Территориализм* — еврейское буржуазно-националистическое движение, стремившееся к образованию еврейского государства не обязательно в Палестине, а на любой территории.

Ахадгаамизм, клойзнеризм — разные течения в сионизме периода 1905 г.

Казенный раввин (в отличие от духовного раввина) — чиновник, который избирался общиной и утверждался губернатором, вел записи актов состояния еврейской общины, приводил к присяге солдат-евреев и выполнял другие подобные функции.

Талмудтора — начальная религиозная еврейская школа, которая содержалась на средства общины.

Стр. 381. «*Кидеш*» — молитва над вином во время субботней и праздничной трапезы.

«*Змирес*» — субботние песнопения.

«*Габдала*» — молитва над свечами вечером на исходе субботы.

Т Р И В Д О В Ы

Впервые напечатано в 1907 году в газете «Дер фрайнд», Петербург.

Стр. 400. *Книга Иова* — одна из библейских книг философского содержания.

Стр. 403. *Нигилистка*. — Нигилисты — представители демократической, передовой интеллигенции 60-х годов XIX в., отрицавшие принципы и традиции дворянской культуры. Противники революционной демократии называли «нигилистами» также всех революционно настроенных людей.

Эсеры — члены или последовательницы мелкобуржуазной (а в годы гражданской войны — контрреволюционной) партии эсеров, существовавшей в России в 1902—1920 гг.

Кадетки — члены или последователи буржуазной партии, существовавшей в России в 1905—1917 гг.

Стр. 408. *Бундовец* — член еврейской мелкобуржуазной националистической партии «Бунд».

Стр. 409. *...будто сам господь изрек это на горе Синайской*. — Согласно библейской легенде, бог Яхве на этой горе объявил пророку Моисею Тору, религиозное учение, изложенное в первых пяти книгах Библии.

Кант Иммануил (1724—1804) — философ, родоначальник немецкой классической философии.

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632—1677) — философ-материалист и атеист, преданный раввинами анафеме.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист.

Спенсер Герберт (1820—1903) — английский буржуазный психолог и социолог.

С Р И В Ъ Е Р Ы

Впервые напечатано в 1910 году в газете «Ди найе вельт» («Новый мир»), Варшава.

Стр. 417. *Пурим* — весенний иудейский религиозный праздник.

Г И Т Л П У Р И Ш К Е В И Ч

Впервые напечатано в 1911 году в газете «Хайнт» («Сегодня»), Варшава.

Стр. 420. *Высоцкий* — владелец крупной фирмы по торговле чаем в дореволюционной России.

Пуришкевич В. М. (1870—1920) — крупный помещик, ярый реакционер-черносотенец.

Стр. 424. *Пергамент* — депутат II и III Государственных дум в царской России, представитель партии кадетов.

Стр. 425. *Ниселович и Фридман* — депутаты III Государственной думы, представители партии кадетов.

МИСТЕР ГРИН НАХОДИТ ЗАНЯТИЕ

Впервые напечатано в 1915 году в газете «Дер тог», Нью-Йорк.

Стр. 429. *Джейкоб Шиф, Нейтан Штраус, Генри Фишл* — американские банкиры.

...если я вам скажу, что говорит мистер Грин, вы будете думать: зеленый? желтый? синий? — Грин по-еврейски — зеленый, и персонаж, по ассоциации с этой фамилией, произносит слова, также обозначающие краски.

«Зеленый» — иммигрант в Америке до его акклиматизации.

Десять покаянных дней. — Так в иудейском календаре называются первые десять дней месяца элул, дни между Новым годом и Судным днем.

Стр. 430. *А кто же нам протрубит в рог?* — Имеется в виду обряд «шофара», то есть библейское предписание в дни праздников и веселья трубить в бараний рог. Церемониал обряда требовал сноровки, так как надо было уметь во время богослужения извлекать из рога барана (шофара) в определенном порядке глубокие, продолжительные и басовые звуки.

Даунтаун — часть Нью-Йорка, расположенная в низменности.

Стр. 431. *Аптаун* — часть Нью-Йорка, расположенная на возвышенности.

ИСТОРИЯ С «ЗЕЛЕНЫМ»

Впервые напечатано в 1916 году в газете «Вархайт» («Правда»), Нью-Йорк.

МАЛЬЧИК МОТЛ

Повесть

Первая часть впервые публиковалась в течение 1907—1908 годов в еженедельнике «Дос юдише фолк» и в газете «Дер фрайнд» под названием «Эмигранты». Вторая часть печаталась в 1916 году в нью-йоркской газете «Вархайт».

Стр. 442. *Симхес-тойре* — название заключительного дня осеннего еврейского религиозного праздника кушей.

Стр. 444. *«Мишнаэс»* — сборник законоположений в шести частях, составляющий древнейшее ядро Талмуда.

Стр. 451. *Мозиндовид* («Щит Давида») — шестиконечная звезда, символ иудаизма, для правоверных евреев служит талисманом.

Стр. 455. *«Да возвеличится...»* — начальный стих заупокойной молитвы.

Стр. 458. *Вашти* (Астинь) — согласно библейской книге «Эсфирь», жена Артаксеркса.

Стр. 471. *Тноим* — брачный акт, который составляется до венчания и в котором оговорены материальные условия помолвки.

Стр. 473. *Арбеканфес* — четырехугольное полотнище с кистями по углам (цицес) и с вырезом посередине для надевания. Религиозные евреи носили его под верхней одеждой.

Стр. 479. *Рамбам* — раби Моше бен Маймон, или Маймонида (см. прим. к стр. 341).

Стр. 503. *«Агоде»* и *«Слихес»*. — «Агоде» («Хагада») — книга легенд и сказаний об исходе евреев из Египта. «Слихес» — книга предновогодних молитв о всепрощении.

Стр. 510. *...о турецкой войне*. — Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 гг.

Стр. 517. *Габе* — см. «габай» (примеч. к стр. 349).

Стр. 527. *Тишебов* — девятый день месяца аба (июль), день поста и скорби в память разрушения Иерусалимского храма.

Стр. 530. *Колумбус* — Колумб Христофор (ок. 1451—1506) — мореплаватель, открывший Америку.

Гумбольдт Александр (1769—1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и географ.

Стр. 533. *Она носит парик* — то есть она правоверная женщина (см. прим. к стр. 63).

Стр. 541. *Монтефиоре* Мойше (1784—1885) — английский банкир и филантроп.

Стр. 546. *Бокль* Генри Томас (1821—1862) — английский прогрессивный буржуазный социолог.

Стр. 558. *«Ольянц»* (искаж. «Альянс») — комитет помощи эмигрантам.

Стр. 559. *...с обнаженными головами, с бритыми бородами* — признак вольномыслия, ибо иудейская религия запрещает евреям обнажать свои головы и брить бороды.

Стр. 563. *«Эзра»* («Помощь») — благотворительный комитет.

Стр. 566. *...ему уже исполнилось тринадцать лет, хотя «тефилн» он еще не надевает*. — Согласно иудейскому вероучению, мальчик в

тринадцать лет достигает религиозного совершеннолетия и обязан иметь молитвенную принадлежность «тефилин» (см. прим. к стр. 341).

Стр. 583. *Дизраэли* Бенджамин (лорд Биконсфилд, 1804—1881) — крупный английский политический деятель и писатель.

Стр. 585. *Йорцайт* — ежегодный обряд воспоминания души в день смерти близкого, сопровождаемый зажиганием свечей и чтением поминальной молитвы «Қадиш».

Стр. 586. *Миньен* — необходимый кворум (десять мужчин в возрасте старше тринадцати лет) для свершения синагогального богослужения.

Стр. 594. *Йом-кипур* — Судный день. Согласно иудейской религии, бог в этот день судит всех людей и предопределяет их судьбы на год вперед.

«Қол-нидрей» — молитва, читаемая в Судный день.

Покаянные дни — см. десять покаянных дней (прим. к стр. 429).

Стр. 596. *Без обуви*. — Иудейская религия запрещает носить обувь в Судный день.

Разверзлось Черное море. — Имеется в виду библейская легенда о чудесном переходе древнееврейскими племенами Черного (Красного) моря.

Стр. 598. *...потопа на земле никогда больше не будет*. — Имеется в виду библейская легенда о потопе и обещание бога впредь не поражать «все живущее» таким способом.

Стр. 650. *Вашингтон* Джордж (1732—1799) — первый президент США.

Линкольн Авраам (1809—1865) — шестнадцатый президент США, прославился борьбой за равноправие негров.

Стр. 658. *«Пророки»*. — Так называются книги, которые составляют второй отдел Библии.

СОДЕРЖАНИЕ

Менахем-Мендл. Повесть в письмах. Перевод М. Шамбадала.

Ко второму изданию	7
«Лондон» (<i>Одесская биржа</i>)	9
«Бумажки» (<i>Егупецкая биржа</i>)	28
Миллионы (<i>Купцы, маклеры и «спекулянты»</i>)	50
Почтенная профессия (<i>Менахем-Мендл — писатель</i>)	90
Не везет! (<i>Менахем-Мендл — шадхен</i>)	102
Горе-злосчастье (<i>Менахем-Мендл — агент</i>)	119

Тевье-молочник. Перевод М. Шамбадала.

«Аз недостойный» (<i>Письмо Тевье-молочника к автору</i>)	131
Счастье привалило!	134
Химера	152
Нынешние дети	168
Годл	188
Хава	206
Шпринца	220
Тевье едет в Палестину (<i>Рассказано самим Тевье в железнодорожном вагоне</i>)	236
Изыди!	258

Монологи

Горшок. Перевод Я. Тайца	275
Гуси. Перевод М. Шамбадала	286

Немец. Перевод С. Гехта. Редакция И. Бабеля . . .	297
Белая птица. Перевод М. Шамбадала	308
Праздничный цимес. Перевод Р. Рубиной	314
За советом. Перевод М. Зоценко	320
У доктора. Перевод М. Шамбадала	333
«Царствие небесное». Перевод С. Гехта. Редакция И. Бабеля	340
Иосиф. Перевод Л. Юдкевича	359
Хабно. Перевод Р. Рубиной	375
Три вдовы. Перевод М. Шамбадала	386
С Ривьеры. Перевод Р. Рубиной	415
Гитл Пуришкевич. Перевод М. Шамбадала	420
Мистер Грин находит занятие. Перевод М. Шамба- дала	428
История с «зеленым». Перевод Р. Рубиной	432

Мальчик Мотл. Повесть. Перевод М. Шамбадала.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Сегодня праздник — плакать нельзя! . . .	441
II. Мне хорошо — я сирота!	454
III. Что из меня выйдет?	460
IV. Мой брат Эля женится	469
V. У меня выгодная должность	477
VI. Золотое дно	484
VII. Напиток моего брата Эли	490
VIII. Мы наводняем мир чернилами	497
IX. Последствия чернильного наводнения . . .	504
X. Улица чихает	507
XI. Наш друг Пиня	514
XII. Мы едем в Америку!	521
XIII. Мы нарушаем границу	529
XIV. Мы уже в Бродах	536
XV. «Краков и Львов»	543
XVI. С эмигрантами	543
XVII. Вена — вот это город!	553
XVIII. Антверпенские чудеса	560
XIX. Орава	567
XX. Орава расплзается	573
XXI. Прощай, Антверпен!	579
XXII. Лондон, почему ты не сгорншь?	583

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В А М Е Р И К Е

I. Поздравьте нас, мы уже в Америке!	590
II. Разверзлось Черное море	596
III. В заточении	602
IV. Море слез	607
V. На твердой почве	613
VI. На нью-йоркской улице	617
VII. Орава на работе	623
VIII. Мы ищем занятие	628
IX. Мы работаем на фабрике	633
X. Мы бастуем!	639
XI. Касриловка в Нью-Йорке	644
XII. Мы делаем жизнь	648
XIII. Исцеление до хворобы	654
XIV. Мы сборщики	659
XV. Мы затеваем бизнес	664
XVI. Хеллоу, земляк!	668
XVII. Мы расширяем свой бизнес	672
XVIII. Мы переезжаем	677
Примечания <i>Е. Лойцкера</i>	681

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ
Собрание сочинений
Том 4

Редактор

Г. Фальк

Художественный редактор

Г. Кудряцев

Технический редактор

О. Ярославцева

Корректоры

Г. Асланянц

и Н. Гористова

Сдано в набор 26/IV 1972 г.
Подписано к печати 25/XII 1972 г.
Бумага типогр. № 1 84×108¹/₃₂ — 22 печ. л.
36,96 усл. печ. л. 36,8 уч.-изд. л.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 236.
Цена 1 р. 35 к.

Издательство

«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
«Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
г. Ленинград, Л-52,
Измайловский проспект, 29